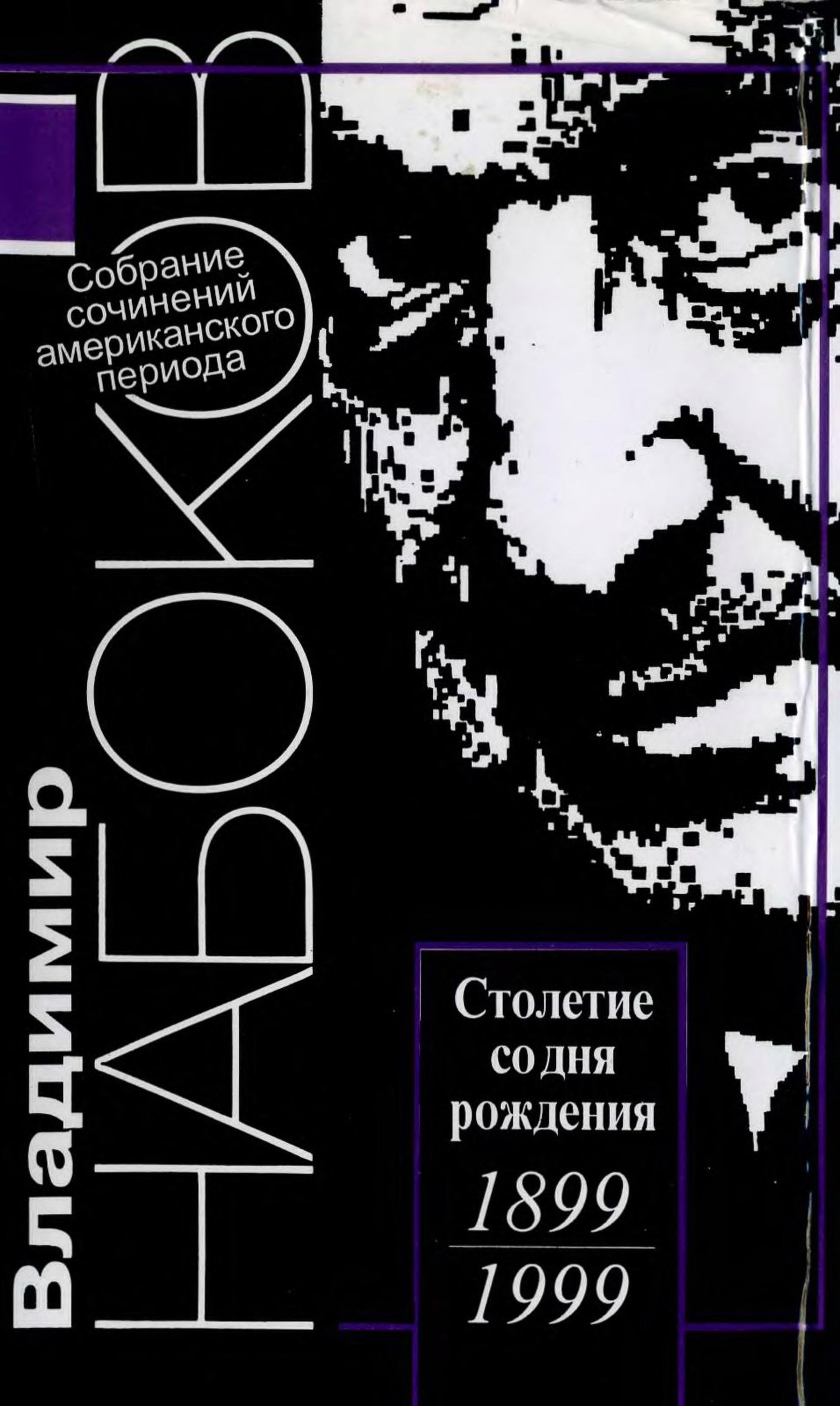

Владимир
НАБОКОВ
Собрание
сочинений
американского
периода
Столетие
со дня
рождения
1899
1999



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

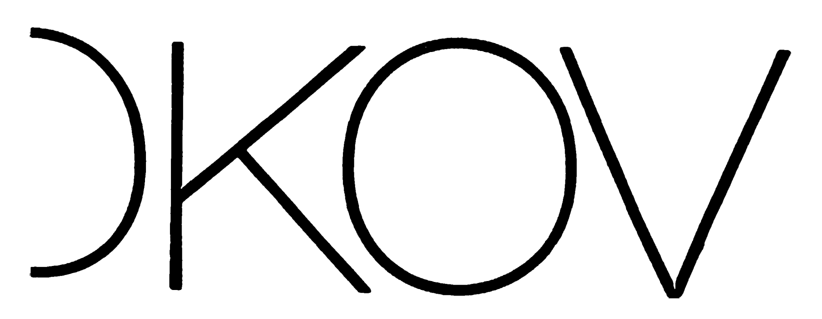


СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АМЕРИКАНСКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



В Л А Д И М И Р
Н А Б О К О В

Пнин

Рассказы

Бледное пламя

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2004

ББК 84.7 США
Н 14

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Комментарии
А. М. Люксембурга и С. Б. Ильина

Художник
М. Г. Занько

ISBN 5-89091-014-0
ISBN 5-89091-023-X (Т.3)

От составителей

Романы, по хронологическим причинам оказавшиеся в этом томе, при всех их различиях можно назвать "университетской дилогией" Набокова. Большую часть прожитых в США лет Набоков провел в университетских городках, арендуя, подобно Кинботу, дома или квартиры надолго уехавших жителей этих городков, меняя их один за другим, подобно Пнину. Университетскую Америку Набоков знал хорошо, и ему было что "ссужать своим персонажам".

Разумеется, место действия — не единственное, что объединяет "Пнина" и "Бледное пламя". Все англоязычные романы Набокова можно, наверное, рассматривать в качестве глав очень большой монографии, трактующей о различных аспектах (интеллектуальных, духовных, эстетических, лингвистических и т. д.) столкновения двух несхожих культур (интеллектуальных, духовных... — ряд повторяется). Эти два романа могли бы образовать в ней две, пожалуй, самые яркие главы.

Романы перекликаются между собой и на уровне тонкой структуры: в "Пнине" Виктору и Тимофею Палычу снится один и тот же сон из набоковских черновиков к "Бледному пламени"; в самом "Бледном пламени" Пнин наконец-то становится "полным профессором" и даже пригретая им приблудная собачонка получает в награду за пережитое счастливую старость.

Теперь следует сказать что-то и о рассказах, тем более что в этом томе нашего издания они впервые представлены полностью. Все написанные Набоковым по-английски девять рассказов были опубликованы им с 1943 по 1959 год, что охватывает почти все американские годы автора. Собранные воедино, эти рассказы, на наш взгляд, отображают в миниатюре едва ли не всю эволюцию его творчества — от мнимо-реалистического "Помощника режиссера" до обманчиво-фантастических "Ланса" и "Сестер Вэйн" — и образуют пресловутый логический мост между еще вполне реалистическим "Пниным" и — начиная с "Бледного пламени" — все более "сновидными" романами позднего Набокова.

И наконец, два самых последних замечания: фамилия Пнин для англоязычного читателя практически непроизносима, а "Бледное пламя" числится романом лишь за неимением более верного определения.

PNIN

Vladimir Nabokov

DOUBLEDAY & COMPANY, INC.
GARDEN CITY, NEW YORK
1957

PNIN
a novel by
VLADIMIR
NABOKOV

Пнин

Перевод Сергея Ильина

РОМАН

1957

Глава первая

1

Пожилой пассажир, сидевший у одного из северных окон неумолимо мчавшего вагона, рядом с пустым сиденьем и лицом к двум другим, тоже пустым, был не кто иной, как профессор Тимофей Пнин. Идеально лысый, загорелый и чисто выбритый, он казался, поначалу, довольно внушительным — обширное коричневое чело, очки в черепаховой оправе (скрывающие младенческое отсутствие бровей), обезьянье надгубье, толстая шея и торс силача в тесноватом твидовом пиджаке, — впрочем, осмотр завершался своего рода разочарованием: журавлиными ножками (в эту минуту обтянутыми фланелью и перекрещенными) с хрупкими на вид, почти что женскими ступнями.

Алой шерсти обвислые носки были в сиреневых ромбах; приличные черные полуботинки "оксфорды" обошлись ему почти во столько же, во сколько вся остальная его одежда (включая и бандитский огненный галстук). До начала 40-х годов, в степенную европейскую пору его жизни, он всегда носил длинные кальсоны, окончанья которых заправлялись в опрятные шелковые носки умеренной расцветки и со стрелкой, державшиеся на обтянутых бумазеей икрах при помощи подвязок. В те дни обнаружить хотя бы на миг белизну этих исподних, слишком высоко поддернув штанины, представлялось Пнину столь же постыдным, сколь появление перед дамами без воротничка и галстука; ибо даже когда увядшая мадам Ру — консьержка убогого доходного дома в шестнадцатом округе Парижа, где Пнин скоротал пятнадцать лет после бегства из ленинизированной России и завершения университетского образования в Праге, — поднималась к нему за платой, чопорный Пнин,

если он еще был без faux col[1], прикрывал горловую запонку целомудренной дланью. Все изменилось в пьянительной атмосфере Нового Света. Ныне, в пятьдесят два года, он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и просторные брюки, укладывая же ногу на ногу, прилежно, намеренно и бесстыдно обнаруживал огромный кусок оголенной голени. Таким мог увидеть его попутчик; впрочем, исключая солдата, спавшего в одном конце вагона, и двух женщин, поглощенных дитятей в другом, весь вагон принадлежал Пнину.

Пора поделиться секретом. Профессор Пнин ошибся поездом. Он об этом не знал, как не знал и кондуктор, уже пролагавший по поезду путь к вагону Пнина. Собственно говоря, Пнин в эту минуту был весьма собою доволен. Приглашая его прочесть ежепятничную лекцию в Кремоне — это примерно в двухстах верстах к западу от Вайнделла, академического пристанища Пнина с 1945 года, — вице-президентша Женского клуба Кремоны мисс Джудит Клайд посоветовала нашему другу ехать наиболее удобным поездом, оставляющим Вайнделл в 1.52 пополудни и приходящим в Кремону в 4.17; однако Пнин, который подобно многим русским испытывал необычайное пристрастие ко всякого рода расписаниям, картам, каталогам, коллекционировал их, — особливо бесплатные — со свежительной радостью человека, получающего нечто ни за что, и который с особенной гордостью сам разбирал расписания, обнаружил, проведя своего рода исследование, неприметную метку подле еще более удобного поезда (отпр. Вайнделл 2.19, приб. Кремона 4.32); метка означала, что по пятницам, и только по пятницам, поезд "2.19" останавливается в Кремоне на пути в далекий, гораздо больший город, украшенный столь же сочным итальянским именем. К несчастию для Пнина, расписание ему попалось пятилетней давности и несколько устаревшее.

Он преподавал русский язык в университете Вайнделла — довольно провинциальном заведении, отличительными чертами которого были: искусственное озерцо посреди

[1] Пристежной воротничок (*фр.*).

кампуса с подправленным ландшафтом, увитые плющом связующие здания галереи, фрески с довольно похожими изображеньями преподавателей в миг передачи ими светоча знаний от Аристотеля, Шекспира и Пастера толпе устрашающе сложенных фермерских сыновей и дочурок и обширное, деятельное, пышно цветущее отделение германистики, которое возглавлявший его доктор Гаген не без самодовольства называл (весьма отчетливо выговаривая каждый слог) "университетом в университете".

В осеннем семестре нынешнего (1950-го) года реестр записавшихся на курс русского языка включал одну студентку промежуточной группы, полную и старательную Бетти Блисс, одного, известного лишь по имени (Иван Дуб — он так и не воплотился), в группе повышенной сложности и трех в процветавшей начальной: Джозефину Малкин, чьи дед и бабка происходили из Минска, Чарльза Макбета, чудовищная память которого уже поглотила десяток языков и готова была похоронить еще десять, и томную Эйлин Лэйн — этой кто-то внушил, что, овладев русским алфавитом, она сумеет без особых затруднений прочесть "Анну Карамазову" в оригинале. Как преподаватель Пнин едва ли годился в соперники тем рассеянным по всей ученой Америке поразительным русским дамам, которые, не имея вообще никакого особого образования, ухитряются с помощью интуиции, говорливости и своего рода материнской пылкости чудесным образом сообщать знание своего сложного и прекрасного языка группе невинноочитых студентов, погружая их в атмосферу песен о "Волге-матушке", чая и красной икры; в то же время Пнин-преподаватель даже и не осмеливался хотя бы приблизиться к величественным чертогам современной научной лингвистики, к этому аскетическому братству фонем, к храму, в котором ревностные молодые люди изучают не сам язык, но метод научения других людей способам обучения этому методу, каковой метод, подобно водопаду, плещущему со скалы на скалу, перестает уже быть средой разумного судоходства и, возможно, лишь в некотором баснословном будущем сумеет обратиться в инструмент для разработки эзотерических наречий — базового баскского и ему подобных, —

на которых будут разговаривать одни только хитроумные машины. Вне всяких сомнений, подход Пнина к его работе был и любительским, и легковесным, основанным, по существу, на упражнениях из грамматики, изданной главой отделения славистики гораздо большего, чем Вайнделлский, университета — маститым мошенником (русский язык его отдавал анекдотом, но он щедро ссужал свое достославное имя произведениям безымянных поденщиков). Пнин, при множестве недостатков, обладал обезоруживающим старомодным обаянием, которое, как уверял угрюмых попечителей университета стойкий защитник Пнина доктор Гаген, представляло собой изящный импортный товар, достойный оплаты в местной валюте. И хоть степень по социологии и политической экономии, с определенной помпой полученная Пниным в 1925 году в Пражском университете, к середине века уже ничего не значила, роль преподавателя русского языка вовсе не была для него непосильной. Его любили не за какие-то особые дарования, но за незабываемые отступления, когда он снимал очки, чтобы улыбнуться прошлому, массируя тем временем линзы настоящего. Ностальгические отступления на ломаном английском. Лакомые крохи автобиографии. О том, как Пнин прибыл в Soedinyon nïe shtatï: — Проверка на корабле перед высадкой. Очень хорошо! "Что-то для декларации?" — Ничего. — "Очень хорошо!" — Он спрашивает: "Вы анархист?" — Я отвечаю, — рассказчик берет тайм-аут, чтобы предаться уютному немому веселью, — во-первых, что мы будем понимать под словом "анархизм"? Анархизм практический, метафизический, теоретический, отвлеченный, мистический, индивидуальный, социальный? "Когда я был молод, — говорю я ему, — все это для меня имело значение". — Мы имели очень интересную дискуссию, вследствие которой я провел на Эллис-Айленд две целые недели, — чрево начинает вздыматься; вздымается; рассказчик бьется в конвульсиях.

Впрочем, в рассуждении юмора, случались занятия и похлеще. С застенчиво таинственным выраженьем благодетельный Пнин, припасший для деток дивное лакомство, которое когда-то пробовал сам, и уже обнаруживший

в невольной улыбке неполный, но пугающий набор пожелтелых зубов, открывал на кожаной изящной закладке, предусмотрительно им туда вложенной, потрепанную русскую книгу. Он открывал ее и немедля — случалось это так же часто, как и не случалось, — выражение крайнего смятения искажало его живые черты: приоткрыв рот, он принимался лихорадочно перелистывать книгу во всех направлениях; порой проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу, — или убеждался наконец, что все же верно ее заложил. Выбираемый им отрывок происходил обычно из какой-нибудь старой и простодушной комедии купеческих нравов, на скорую руку состряпанной Островским почти столетие назад, или из столь же почтенного, но еще более одряхлевшего образчика основанной на словоискажениях пустой лесковской веселости. Пнин демонстрировал этот лежалый товар скорее с полнозвучным пылом классической Александринки, нежели с суховатой простотой Московского Художественного; поскольку, однако, для уяснения хоть какой ни на есть забавности, еще сохранившейся в этих отрывках, требовалось не только порядочное владение разговорной речью, но и немалая литературная умудренность, а его бедный маленький класс не отличался ни тем ни другим, исполнитель наслаждался ассоциативными тонкостями текста в одиночку. Воздымание, отмеченное нами в иной связи, становилось теперь похожим на истинное землетрясение. Нацелив память на дни своей пылкой и восприимчивой юности, — полный свет, все маски разума пляшут в пантомиме, — в бриллиантовый космос, кажущийся еще более свежим оттого, что история прикончила его единым ударом, — Пнин пьянел от собственных вин, предъявляя один за другим образцы того, что, как вежливо полагали слушатели, представляло собой русский юмор. Наконец веселье становилось для него непосильным, грушевидные слезы катили по загорелым щекам. Не только жуткие зубы его, но и немалая часть розоватой верхней десны выскакивала вдруг, будто черт из табакерки, рука взлетала ко рту, крупные плечи тряслись и перекатывались. И хоть слова, придушенные пляшущей рукой, были теперь вдвойне неразличимы для класса, полная его сдача

собственному веселью оказывалась неотразимой. К тому времени, когда сам он становился совсем беспомощным, студенты уже валились на пол от хохота: Чарльз прерывисто лаял, как заводной, ослепительный ток неожиданно прелестного смеха преображал лишенную миловидности Джозефину, а Эйлин, отнюдь ее не лишенная, студенисто тряслась и неприлично хихикала.

Все это, впрочем, не меняет того обстоятельства, что Пнин ошибся поездом.

Как следует нам диагностировать этот прискорбный случай? Пнин, это стоит подчеркнуть особо, вовсе не был типичным образчиком благонамеренной немецкой пошлости прошлого века, der zerstreute Professor[1]. Напротив, он был, возможно, чересчур осторожен, слишком усерден в выискивании дьявольских ловушек, слишком бдителен, ибо опасался, что окружающий беспорядок (непредсказуемая Америка!) подтолкнет его к совершению какого-нибудь дурацкого промаха. Это мир, окружавший его, был рассеян, и это его, Пнина, задачей было — привести мир в порядок. Жизнь его проходила в постоянной войне с неодушевленными предметами, которые не желали служить, или распадались на части, или нападали на него, или же злонамеренно пропадали, едва попадая в сферу его бытия. Руки у него были в редкой степени бестолковые, но поскольку он мог в мгновение ока соорудить из горохового стручка губную гармонику об одной ноте, заставить плоский голыш десять раз отскочить от глади пруда, при помощи пальцев показать на стене теневого зайца (целиком и даже с мигающим глазом) и исполнить множество иных пустяковых фокусов, имеющихся в запасе у всякого русского, он почитал себя знатоком ремесел и мастером на все руки. На разного рода технические приспособления он взирал в суеверном, оцепенелом восторге. Электрические машинки его завораживали. Пластики просто валили с ног. До глубины души обожал он застежки-молнии. И однако набожно включенный в розетку будильник обращал его утро в бессмыслицу после полночной грозы, оцепенившей

---

[1] Рассеянный профессор (*нем.*).

местную электростанцию. Оправа очков с треском лопалась прямо по дужке, оставляя в его руках две одинаковые половинки, которые он робко пытался соединить, надеясь, быть может, что некое чудо органической реставрации поможет ему. Застежка-молния — и именно та, от которой джентльмен зависит в наибольшей степени, — слабела в его удивленной ладони в кошмарный миг отчаяния и спешки.

И он все еще не знал, что ошибся поездом.

Зоной особой опасности был для Пнина английский язык. Перебираясь из Франции в Штаты, он вообще не знал английского, не считая всякой малополезной всячины вроде "the rest is silence", "nevermore", "week-end", "who's who"[1] да нескольких незатейливых слов наподобие "eat", "street", "fountain pen", "gangster", "Charleston", "marginal utility"[2]. С усердием приступил он к изучению языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного президента. В 1941 году, на исходе первого года обучения, он продвинулся достаточно для того, чтобы бойко пользоваться оборотами вроде "wishful thinking" и "okey-dokey"[3]. К 1942 году он умел уже прервать свой рассказ фразой "To make a long story short"[4]. Ко времени избрания Трумэна на второй срок Пнин мог управиться с любой темой, однако дальнейшее продвижение застопорилось, несмотря на все его старания, и к 1950 году его английский по-прежнему был полон огрехов. В эту осень он дополнял свой русский курс чтением еженедельных лекций в так называемом симпозиуме ("Бескрылая Европа: обзор современной континентальной культуры"), руководимом доктором Гагеном. Все лекции нашего друга, включая и те, что он от случая к случаю читал в других городах, редактировал один из младших сотрудников отделения германистики. Процедура была довольно сложная. Профессор Пнин добросовестно

---

[1] "Дальнейшее — молчанье", "никогда больше", "конец недели, выходные дни", "кто есть кто" (*англ.*).

[2] "Есть", "улица", самопишущее перо", "гангстер", "Чарльстон", "маргинальное употребление" (*англ.*).

[3] "Пустое мечтание", "ладно" (*англ.*).

[4] "Короче говоря" (*англ.*).

переводил свой изобилующий присловьями русский речевой поток на лоскутный английский. Молодой Миллер исправлял перевод. Затем секретарша доктора Гагена, мисс Айзенбор, печатала его на машинке. Затем Пнин выкидывал места, которых он не понимал. Затем он зачитывал остаток своей еженедельной аудитории. Без приготовленного загодя текста он был совершенно беспомощен, к тому же он не владел старинным способом сокрытия немощи: двигая глазами вверх-вниз, зачерпнуть пригоршню слов, пересыпать ее в аудиторию и затянуть конец предложения, пока ныряешь за новой. Поэтому он предпочитал читать свои лекции, влипая глазами в текст, — медленным, монотонным баритоном, казалось, карабкавшимся вверх по одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются боящиеся лифта люди.

Кондуктору, седовласому, с отеческим выражением человеку в оправленных сталью очках, низковато сидящих на его простом практичном носу, и с кусочком грязного пластыря на большом пальце, оставалось управиться только с тремя вагонами, прежде чем он достигнет последнего, в котором катил Пнин.

А Пнин между тем предавался удовлетворению особой, пнинианской потребности. Он пребывал в состоянии пнинианского затруднения. Среди прочих предметов, неотделимых от пнинианского ночлега в чужом городе, — таких, как колодки для обуви, яблоки, словари и прочее, — его гладстоновский саквояж содержал относительно новый черный костюм, в котором он собирался читать нынче вечером лекцию дамам Кремоны ("Коммунист ли русский народ?"). В нем находилась и лекция, предназначенная для симпозиума, имеющего состояться в следующий понедельник ("Дон Кихот и Фауст"), — Пнин намеревался изучить ее завтра, на обратном пути в Вайнделл, — и работа аспирантки Бетти Блисс ("Достоевский и гештальт-психология"), каковую он был обязан прочесть за доктора Гагена, основного руководителя умственной деятельности Бетти. Затруднение было вот какое: если держать кремонский манускрипт — стопку аккуратно сложенных вдвое стандартных машинописных страниц, — при себе, в безопасности

телесной теплоты, существуют (теоретически) шансы, что он забудет переместить его из пиджака, надетого на нем сейчас, в тот, который он наденет после. С другой стороны, если *сейчас* засунуть лекцию в карман костюма, лежащего в саквояже, его замучит, — это он знал отлично, — мысль о возможной покраже багажа. С третьей стороны (умственные состояния этого рода непрестанно обзаводятся лишними сторонами), во внутреннем кармане теперешнего пиджака лежит драгоценный бумажник с двумя десятидолларовыми купюрами, вырезанным из газеты ("New York Times") письмом, которое он написал — с моей помощью — в 1945 году по поводу Ялтинской конференции, и свидетельством о натурализации, — и опять-таки, существовала физическая возможность вытащить бумажник, если он вдруг понадобится, так, что при этом роковым образом изменится местоположение сложенной лекции. За двадцать минут, проведенных в поезде нашим другом, он успел два раза открыть саквояж, чтобы поиграть с различными бумажками. Когда кондуктор добрался до его вагона, прилежный Пнин с натугой вникал в плод последнего усилия Бетти, начинавшийся словами: "Если мы рассмотрим духовный климат, в котором мы живем, мы не сможем не заметить..."

Вошел кондуктор; он не стал будить солдата; он заверил женщин, что даст им знать о приближении их станции; и вот он уже качал головой над билетом Пнина. Остановку в Кремоне отменили два года назад.

— Важная лекция! — возопил Пнин. — Что делать? Катастрофа!

Седовласый кондуктор присел, степенно и с удобством, на супротивное сиденье и, сохраняя молчание, занялся наведением справок в потрепанной книге, полной вкладышей с загнутыми уголками. Через несколько минут, а именно в 3.08, Пнину нужно будет сойти в Уитчерче, — это позволит ему попасть на четырехчасовой автобус, который около шести высадит его в Кремоне.

— Я думал, я выиграл двенадцать минут, а теперь я теряю почти два целых часа, — горько вымолвил Пнин. После чего, прочистив горло и не внимая утешениям седо-

голового добряка ("ничего, поспеете!"), он снял очки для чтения, подхватил тяжеленный саквояж и направился в тамбур, дабы там ожидать, пока скользящее мимо замешательство зелени не будет зачеркнуто и замещено определенностью станции, уже возникшей в его сознании.

2

Уитчерч материализовался по расписанию. Горячее, оцепенелое цементное пространство и солнце, лежащее за геометрическими телами разнообразно и чисто вырезанных теней. Погода здесь стояла для октября невероятно летняя. Настороженный Пнин вошел в подобие ожидательной залы с ненужной печкой посередине и огляделся. Единственная ниша в стене позволяла увидеть верхнюю половину потного молодого человека, который заполнял какие-то ведомости, разложенные перед ним на широкой деревянной конторке.

— Информацию, пожалуйста, — сказал Пнин. — Где останавливается четырехчасовой автобус в Кремону?

— Прямо через улицу, — не поднимая глаз, отрывисто ответил служитель.

— А где возможно оставить багаж?

— Этот саквояж? Я за ним присмотрю.

И с национальной небрежностью, всегда приводившей Пнина в замешательство, молодой человек затолкал саквояж в угол своего укрытия.

— Квиттэнс? — поинтересовался Пнин, заменяя английский "receipt"[1] англизированной русской "квитанцией".

— А что это?

— Номерок? — попытал счастья Пнин.

— Да на что он вам, — сказал молодой человек и возвратился к своим занятиям.

Пнин оставил станцию, удостоверился в существовании автобусной остановки и вошел в кофейню. Он поглотил

---

[1] Квитанция (*англ.*).

сэндвич с ветчиной, спросил другой и его поглотил тоже. Ровно без пяти четыре, уплатив за еду, но не за превосходную зубочистку, тщательно выбранную им из стоявшей у кассы миленькой чашки, изображавшей сосновую шишку, Пнин воротился на станцию за багажом.

Теперь на посту был другой человек. Первого позвали домой, чтобы он срочно отвез жену в родильное заведение. С минуты на минуту вернется.

— Но я должен получить мой чемодан! — вскричал Пнин.

Сменщику было очень жаль, но он ничего не мог поделать.

— Да вот же он! — возопил Пнин, перегибаясь и указывая.

Жест вышел не самый удачный. Еще продолжая указывать, он осознал, что предъявляет права не на тот саквояж. Указательный палец его заколебался. Колебание было фатальным.

— У меня автобус на Кремону! — кричал Пнин.

— В восемь будет другой, — сказал служитель.

Что оставалось делать нашему бедному другу? Ужасное положение! Он глянул через улицу. Автобус только что подкатил. Лекция даст ему пятьдесят добавочных долларов. Его рука вспорхнула к правой стороне груди. Слава Богу, *она* здесь! Очень хорошо! Он не наденет черного костюма — вот и все! Он прихватит его на обратном пути. В свое время он терял, бросал, вообще лишался куда более ценных вещей. Энергично, почти беззаботно Пнин взобрался в автобус.

На этой новой стадии своего путешествия он проехал всего лишь несколько городских кварталов, когда разум его посетило ужасное подозрение. С того самого времени, как он расстался с саквояжем, его левый указательный палец попеременно с внутренним краем правого локтя проверял присутствие бесценного груза во внутреннем кармане пиджака. Одним махом он выдрал его оттуда. Это была работа Бетти.

Испустив то, что представлялось ему международным выражением мольбы и испуга, Пнин выкарабкался из

кресла. Раскачиваясь, добрался до выхода. Водитель одной рукой хмуро выдоил из машинки пригоршню центов, возместил ему стоимость билета и остановил автобус. Бедный Пнин высадился посреди чужого города.

Не так уж он был и крепок, как позволяла думать его мощно выпяченная грудь, и волна безнадежной усталости, которая внезапно накрыла его тяжеловатый в верхней части корпус, как бы относя его от реальности, была для него ощущением не вполне незнакомым. Он сознавал, что бредет по сырому, зеленому и лиловатому парку строгого, отчасти кладбищенского пошиба, с преобладанием мрачных рододендронов, лоснистых лавров, раскидистых тенистых деревьев и стриженых газонов; и едва свернул он в аллею дубов и каштанов, которая, по кратким словам водителя, вела обратно к вокзалу, как это жутковатое ощущение, этот холодок нереальности полностью им овладел. Было ли тому виной что-то из съеденного? Те пикули с ветчиной? Или то была загадочная болезнь, которой до сей поры не смог обнаружить ни один из его докторов? Мой друг терялся в догадках, теряюсь в них и я.

Не знаю, отмечал ли уже кто-либо, что главная характеристика жизни — это отъединенность? Не облекай нас тонкая пленка плоти, мы бы погибли. Человек существует, лишь пока он отделен от своего окружения. Череп — это шлем космического скитальца. Сиди внутри, иначе погибнешь. Смерть — разоблачение, смерть — причащение. Слиться с ландшафтом — дело, может быть, и приятное, однако тут-то и конец нежному эго. Чувство, которое испытывал бедный Пнин, чем-то весьма походило и на это разоблачение, и на это причащение. Он казался себе пористым, уязвимым. Он потел. Его пронизывал страх. Каменная скамья под лаврами спасла его от падения на дорожку. Был ли этот приступ сердечным припадком? Сомневаюсь. В данном случае я — его доктор, и позвольте мне повторить еще раз: сомневаюсь. Мой пациент принадлежал к тем редким и злополучным людям, что относятся к своему сердцу ("полому, мускулистому органу" — по зловещему определению "Webster's New Collegiate Dictionary"[1], лежавшего

---

[1] "Новый словарь Уэбстера для учащихся" (*англ.*).

в осиротевшем саквояже Пнина) с тошным страхом, с нервическим омерзением, с болезненной ненавистью, словно к могучему, слизистому чудищу, паразиту, к которому противно притронуться и с которым, увы, приходится мириться. Время от времени доктора, озадаченные его шатким и валким пульсом, проводили тщательное обследование, кардиограф выписывал баснословные горные цепи и указывал на дюжину смертельных недугов, исключавших один другого. Он боялся притронуться к собственному запястью. Он никогда не пытался заснуть на левом боку, даже в те гнетущие часы, когда жертва бессонницы томится по третьему боку, испробовав два наличных.

И вот теперь, в уитчерчском парке, Пнин испытывал то, что он уже испытал 10 августа 1942 года, и 15 февраля (в свой день рождения) 1937 года, и 18 мая 1929 года, и 4 июля 1920-го, — ощущение, что отвратный автомат, обитающий в нем, обзавелся собственным разумом и не просто живет своей животной жизнью, но насылает на него боль и боязнь. Прижимая бедную лысую голову к каменной спинке скамьи, он вспоминал все прежние приступы такой же немощи и отчаяния. Может быть, на этот раз — пневмония? Дня два назад он продрог до костей на одном из тех дружеских американских сквозняков, которыми хозяин дома угощает ветреной ночью своих гостей после второго круга выпивки. Внезапно Пнин почувствовал (уж не умирает ли он?), что соскальзывает в детство. Это чувство обладало резкостью ретроспективных деталей, составляющей, как уверяют, драматическое достояние утопающих, — особенно на прежнем Русском флоте, — феномен удушья, которое бывалый психоаналитик, забыл его имя, объяснял подсознательным возрождением шока крещения, вызывающим как бы взрыв воспоминаний, промежуточных между первым погружением и последним. Все случилось мгновенно, — нет, однако, иного способа описать случившееся, как прибегая к нижеследующему многословию.

Пнин происходил из почтенной, вполне состоятельной петербургской семьи. Отец его, доктор Павел Пнин, глазной специалист с солидной репутацией, имел однажды честь лечить от конъюнктивита Льва Толстого. Мать

Тимофея — хрупкая, нервная маленькая женщина с осиной талией и короткой стрижкой — была дочерью знаменитого некогда революционера по фамилии Умов (рифмуется с “zoom off”[1]) и немки из Риги. В полуобмороке он видел приближающиеся глаза матери. Воскресенье, середина зимы. Ему одиннадцать лет. Он готовил уроки на понедельник — к занятиям в Первой гимназии, — как вдруг его тело пронизал непонятный озноб. Мать смерила температуру, посмотрела на него с оторопелым недоумением и немедленно послала за ближайшим другом отца, педиатром Белочкиным. То был насупленный человечек с кустистыми бровями, короткой бородкой и коротким же бобриком. Откинув полы сюртука, он опустился на край Тимофеевой кровати. Понеслись взапуски докторские пузатые золотые часы и пульс Тимофея (легко победивший). Затем оголили торс Тимофея, и доктор припал к нему ледяным голым ухом и наждачным виском. Подобно плоской ступне некоего одноногого существа, ухо бродило по груди и спине Тимофея, прилипая к тому или этому участку кожи и перетопывая на следующий. Доктор ушел не раньше, чем мать Тимофея и дюжая служанка, державшая английские булавки в зубах, заковали приунывшего маленького пациента в похожий на смирительную рубашку компресс. Компресс состоял из слоя влажного холста, слоя потолще, образованного гигроскопической ватой, еще одного — плотной фланели и противно липучей клеенки (цвета мочи и горячки), залегавшей между болезненно льнущим к коже холстом и мучительно повизгивающей ватой, окруженной внешним слоем фланели. Будто бедная куколка в коконе, лежал Тимоша под кучей добавочных одеял, но они ничего не могли поделать с ветвистой стужей, ползшей в обе стороны по ребрам от заиндевелой спины. Веки саднили, не позволяя закрыться глазам. От зрения осталась лишь овальная боль с косыми проколами света; привычные очертания стали питомниками жутких видений. Вблизи кровати стояла четырехстворчатая ширма полированного дерева с выжженными по нему картинками, изображавшими устлан-

[1] С шумом взлетать (*англ.*).

ную войлоком палой листвы верховую тропу, пруд в кувшинках, согбенного старика на скамье и белку, державшую в передних лапках какой-то красноватый предмет. Тимоша, обстоятельный мальчик, нередко гадал, что бы это такое было (орех? сосновая шишка?), и вот теперь, не имея иного занятья, он решил попробовать разгадать эту сумрачную тайну, но жар гудел в голове, потопляя любое усилие в боязни и боли. Еще пуще угнетало его боренье с обоями. Он всегда без труда обнаруживал, что сочетание трех различных лиловатых соцветий и семи разновидных дубовых листьев раз за разом с успокоительной точностью повторяется по вертикали; сейчас, однако, его беспокоило то непреклонное обстоятельство, что ему никак не удается понять, какой же порядок включения и отбора управляет повтореньем рисунка по горизонтали; существование порядка доказывалось тем, что он ухватывал там и сям — на протяжении стены от кровати до шкапа и от печки до двери — повторное появление того или иного члена последовательности, но стоило ему попытаться уйти вправо или влево от выбранного наугад сочетания трех соцветий с семью листками, как он немедля запутывался в бессмысленном переплетении дубов и рододендронов. Здравый смысл подсказывал, что если злокозненный художник — губитель рассудка и друг горячки — упрятывал ключ к узору с таким омерзительным тщанием, то ключ этот должен быть так же бесценен, как самая жизнь, и найденный, он возвратит Тимофею Пнину его повседневное здравие и повседневный мир; вот эта-то ясная — увы, слишком ясная — мысль и заставляла его упорствовать в борьбе.

Ощущение, что он запаздывает к какому-то сроку, отвратительно точно назначенному, вроде начала уроков, обеда или времени отхода ко сну, отягощало неловкой поспешностью его затруднительный поиск, понемногу сползавший в бред. Цветы и листья, ничуть не теряя их извращенной запутанности, казалось, одним волнообразным целым отделялись от бледно-синего фона, а фон, в свой черед, утрачивал бумажную плосковатость и раскрывался в глубину до того, что сердце зрителя почти разрывалось, отвечая этому расширению. Он еще мог различить

сквозь отделившиеся гирлянды кое-какие частности детской, оказавшиеся поживучей, к примеру лаковую ширму, блик на стакане, латунные шишечки на спинке кровати, впрочем, они мешали дубовым листьям и пышным цветам даже меньше, чем внутреннее отраженье предмета в оконном стекле мешает пейзажу снаружи, видимому сквозь это стекло. И хоть свидетель и жертва этих фантазмов лежал, укутанный, в постели, он же, — в согласии с двойственной природой внешнего мира, — одновременно сидел на скамье в лиловато-зеленом парке. В один ускользающий миг ему показалось, что он, наконец-то, держит искомый ключ в руках, но, налетая издалека, зашелестел ветер, мягкий шум его рос, пока он ерошил рододендроны, — уже отцветшие, ослепшие, — ветер спутал разумный узор, присущий некогда миру вокруг Тимофея Пнина. Что же, он жив — и довольно. Прислон скамейки, к которому он привалился, так же реален, как одежда на нем, или бумажник, или дата Великого Московского Пожара — 1812 год.

Дымчатая белка, на удобных калачиках сидевшая перед ним на земле, покусывала косточку персика. Ветер притих и тут же вновь зашебуршился в листве.

Приступ оставил его немного напуганным и ослабелым, но он сказал себе, что, будь это настоящий сердечный припадок, он бы наверняка испытывал куда большие тревогу и озабоченность, и этот окольный резон изгнал испуг окончательно. Четыре часа, двадцать минут. Он высморкался и потащился к станции.

Прежний служитель вернулся. "Вот вам ваш саквояж, — весело сказал он. — Сожалею, что вы пропустили кремонский автобус".

— По крайности, — и сколько достойной иронии постарался вложить наш невезучий друг в это "по крайности", — с вашей женой все в порядке, надеюсь?

— Будет в порядке. Похоже, придется ждать до утра.

— А теперь, — сказал Пнин, — где расположен публичный телефон?

Служитель махнул карандашом вдаль и вбок, насколько достал, не вылезая из логова. Пнин пошел с саквояжем в руке, но был окликнут. Теперь карандаш торчал поперек улицы.

— Слушайте, видите, там двое парней грузят фургон? Они прямо сейчас едут в Кремону. Скажите им, что вы от Боба Горна. Они вас возьмут.

3

Некоторые люди — и я в их числе — не переносят счастливых концов. Нам кажется, что нас надувают. Беда происходит всегда. В деяньях рока нет места браку. Лавина, остановившаяся по пути вниз в нескольких футах над съежившейся деревушкой, поступает и неестественно, и неэтично. Если бы я читал об этом кротком пожилом господине, а не писал о нем, я предпочел бы, чтобы он, достигнув Кремоны, обнаружил, что лекция назначена не на эту пятницу, а на следующую. В действительности, однако ж, он не только благополучно доехал, но и успел отобедать: фруктовый коктейль на затравку, мятное желе к неопределимой принадлежности мясу, шоколадный сироп и ванильное мороженое. И вскоре за тем, переевший сладкого, облаченный в черный костюм и успевший пожонглировать тройкой рукописей, которые он в итоге все впихнул в пиджак, чтобы среди прочих оказалась и нужная (одолевая тем самым несчастный случай математической необходимостью), Пнин уже сидел на стуле близ кафедры, стоя за которой Джудит Клайд — блондинка без возраста, в искусственных аквамариновых шелках, с большими плоскими щеками в красивых леденцово-розовых пятнах и с яркими глазами, купавшимися за пенсне без оправы в безумной синеве, — представляла докладчика.

— Сегодня, — говорила она, — нашим докладчиком будет... Это, кстати, уже третья наша пятница: в прошлый раз, как вы помните, мы с наслаждением слушали рассказ профессора Мура о сельском хозяйстве Китая. Сегодня здесь с нами, я горда сообщить вам об этом, уроженец России, а ныне гражданин нашей страны, профессор, — теперь, боюсь, я добралась до самого трудного, — профессор Пан-нин. Надеюсь, я правильно это произнесла. Он, разумеется, вряд ли нуждается в том, чтобы его представ-

ляли, и все мы счастливы, что он здесь с нами. У нас впереди долгий вечер, долгий и поучительный, и я уверена, что всем вам захочется задать ему разные вопросы. Кстати, его отец, как мне рассказывали, был домашним доктором Достоевского, кроме того, он много путешествовал по обе стороны железного занавеса. Поэтому я не стану больше отнимать у вас драгоценное время и только добавлю несколько слов о нашей следующей пятничной лекции из этой программы. Я уверена, что все вы с огромной радостью узнаете, что мы припасли для вас чудесный сюрприз. Наш следующий лектор — это выдающийся поэт и прозаик мисс Линда Лейсфильд. Все мы знаем, что она написала стихи, рассказы и прозу. Мисс Лейсфильд родилась в Нью-Йорке. Ее предки с обеих сторон сражались в рядах бойцов Революционной Войны — тоже с обеих сторон. Свое первое стихотворение она сочинила еще студенткой. Многие ее стихи — по крайней мере три из них — опубликованы в антологии “Отклики. Сто лирических стихотворений американских женщин о любви”. В 1932 году она получила премию, присуждаемую...

Но Пнин не слушал. Легкая зыбь, отголосок недавнего приступа, приковала его зачарованное внимание. Ее хватило всего на несколько ударов сердца с добавочной систолой здесь и там — последнее, безвредное эхо, — она растворилась в скудной реальности, когда почтенная хозяйка вечера пригласила его за кафедру; но пока видение длилось, каким оно было ясным! В середине первого ряда он увидел одну из своих прибалтийских теток в жемчугах, кружевах и накладных белокурых буклях, надеваемых ею на все выступления знаменитого, хоть и бездарного актера Ходотова, которого она издалека обожала, пока не сошла с ума окончательно. Подле нее сидела и обмахивалась программкой, застенчиво улыбаясь, клоня гладкую темную головку и сияя Пнину нежным карим взором из-под бархатистых бровей, его мертвая возлюбленная. Убитые, забытые, неотмщенные, неподвластные тлению, бессмертные сидели его старинные друзья, расточившись по смутному залу среди людей совсем недавних, вроде мисс Клайд, скромно вернувшейся в первый ряд. Ваня Бедняшкин, расстрелянный

красными в Одессе в 1919-м за то, что отец его был либералом, весело помахал бывшему однокашнику рукой из заднего ряда. И усевшиеся понеприметней, доктор Павел Пнин и его взволнованная жена, оба немного размытые, но в целом прекрасно оправившиеся от темного их распада, смотрели на сына с такой же всепоглощающей любовью и гордостью, с какой смотрели в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике в честь столетия победы над Наполеоном он (мальчик в очках, такой одинокий на сцене) читал стихотворение Пушкина.

Недолгое видение исчезло. Старая мисс Херринг, отставной профессор истории, автор книги “Россия пробуждается” (1922), перегнувшись через одного-двух соседей по креслам, похвалила мисс Клайд за ее речь, а из-за спины этой дамы другая мерцающая старушка застилала ей взор парой иссохших, беззвучно хлопающих рук.

Глава вторая

1

Утренний перезвон знаменитых колоколов Вайнделлского колледжа был в самом разгаре.

Лоренс Дж. Клементс, ученый, преподающий в Вайнделле, чьим единственным популярным курсом была "Философия жеста", и его жена Джоан (Пенделтон, выпуск 1930-го) недавно расстались с дочерью, лучшей студенткой отца: на предпоследнем курсе Изабель вышла замуж за выпускника Вайнделла, получившего в далеком западном штате место инженера.

Колокола музыкально звенели под серебряным солнцем. Обрамленный просторной оконницей городок Вайнделл — белые тона, черный узор ветвей — выступал (как на детском рисунке — в примитивной, лишенной воздушной глубины перспективе) на сланцево-сером фоне холмов; всюду лежал нарядный иней; сияли лаковые плоскости запаркованных автомобилей; старый, похожий на цилиндрического кабанчика скотч-терьер миссис Дингуолл отправился в свой обычный обход — вверх по Уоррен-стрит, вниз по Спелман-авеню и обратно; но ни дружеское участие соседей, ни красота ландшафта, ни переливчатый звон не делали это время года приятней: через две недели, с неохотой помедлив, учебный год вступал в свою самую суровую пору — в весенний семестр, и Клементсы чувствовали себя подавленно и одиноко в их милом, продуваемом сквозняками, старом доме, который, казалось, свисал с них ныне, будто дряблая кожа и просторный костюм какого-то дурня, ни с того ни с сего сбросившего треть своего веса. Все-таки Изабель еще так молода и рассеянна, и они ничего, по сути, не знают о родне ее мужа, они и видели-то лишь

свадебный комплект марципановых лиц в снятом для торжества зале с воздушной новобрачной, совсем беспомощной без очков.

Колокола, которыми вдохновенно управлял доктор Роберт Треблер, деятельный сотрудник музыкального отделения, все еще в полную силу звенели в ангельском небе, а над скудным завтраком из лимонов и апельсинов Лоренс, светловолосый, лысоватый, нездорово полный, поносил главу французского отделения, одного из тех, кого Джоан пригласила к ним сегодня на встречу с профессором Энтвислом из Голдвинского университета.

— Чего это ради, — пыхтел он, — тебе приспичило приглашать Блоренджа? Вот уж мумия, зануда, оштукатуренный столп просвещения!

— Мне *нравится* Энн Блорендж, — сказала Джоан, подчеркивая кивками свои слова и свою привязанность. "Вульгарная старая злыдня!" — воскликнул Лоренс. "Трогательная старая злыдня", — тихо возразила Джоан, и именно в этот миг доктор Треблер звонить перестал, а телефон — начал.

Сказать по правде, искусство введения в повествование телефонного разговора пока еще сильно отстает от умения писателей передать беседу, ведомую из комнаты в комнату или из окошка в окошко над грустной узенькой улочкой древнего города, где так драгоценна вода и ослы так несчастны, где торгуют коврами и всюду, куда ни глянь, минареты, и иностранцы, и дыни, и трепетное утреннее эхо. Когда Джоан проворной машистой поступью достигла настырного аппарата прежде, чем тот умолк, и произнесла "хэлло" (заводя брови и поводя глазами), ей ответила гулкая тишина; все, что она смогла разобрать, — это был звук дыхания, привольный и ровный; немного погодя голос воздыхателя сказал с забавным иностранным акцентом: "Один момент, извините меня", — сказал словно бы между делом, и опять заслышались вдохи и выдохи и чуть ли не хмыканье с гмыканьем, а может быть и легкие стоны, сопровождаемые похрустываньем — как будто от торопливо листаемых страниц.

— Хэлло! — сказала она.

— Вы, — осторожно предположил голос, — миссис Файр?

— Нет, — сказала Джоан и повесила трубку. — И кроме того, — продолжала она, перемахнув на кухню и обращаясь к мужу, который уже подобрался к бекону, приготовленному ею для себя, — ты же не станешь отрицать, что Джек Кокерелл считает Блоренджа первоклассным администратором.

— Кто звонил?

— Кому-то понадобилась миссис Фьюер или Фейер. Слушай, если ты и дальше будешь пренебрегать всем, что Джордж... (Доктор О. Дж. Хэлм, их домашний врач.)

— Джоан, — сказал Лоренс, который после куска опаловой ветчины стал значительно благодушней, — Джоан, дорогая моя, ты ведь сказала вчера Маргарет Тейер, что хочешь сдать комнату, верно?

— О Господи, — сказала Джоан, и телефон послушно зазвонил заново.

— По всему судя, — произнес тот же голос, с удобством возобновляя беседу, — я по ошибке использовал имя информатора. Я соединился с миссис Клемент?

— Да, это миссис Клементс, — сказала Джоан.

— Это говорит профессор ... — последовал несуразный взрывчик. — Я веду русские классы. Миссис Файр, которая теперь полдня работает в библиотеке...

— Да, миссис Тейер, я знаю. Так вы хотите взглянуть на комнату?

Он хотел. Может ли он осмотреть ее приблизительно в полчаса? Да, она будет дома. И Джоан хлопнула трубкой о рычаг.

— Кто на сей раз? — спросил муж, оглядываясь по пути наверх, в уединение кабинета, и не снимая с перил весноватой пухлой руки.

— Лопнувший пинг-понговый мячик. Русский.

— Профессор Пнин, Господи Боже! — воскликнул Лоренс. — "Я с ним знаком; то в самом деле перл..." Ну нет, я напрочь отказываюсь пускать этого монстра в свой дом.

И он свирепо полез наверх. Она спросила вослед:

— Лор, ты кончил вчера статью?

— Почти. — Он свернул по изгибу лестницы за угол, Джоан слышала, как ладонь его, скрипя, скользит по перилам и затем ударяет по ним. — Сегодня закончу. Сначала придется подготовиться к экзамену по ЭС, черт бы их побрал.

Что означало "Эволюция смысла" — главный его курс (двенадцать слушателей, увы, далеко не апостолов); курс открывался и должен был завершиться фразой, обреченной в будущем на повсеместное цитирование: "Эволюция смысла является в некотором смысле эволюцией бессмыслицы".

2

Полчаса спустя Джоан, взглянув поверх помертвелых кактусов в окно стекленой веранды, увидала мужчину в макинтоше и без шляпы, с головой, похожей на отполированный медный шар, оптимистически жмущего звонок у парадной двери прекрасного кирпичного дома соседей. Сзади него стоял — в позе, исполненной почти такого же простодушия, — старый скотч-терьер. Вышла со шваброй миссис Дингуолл, впустила копотливого, важного пса и указала Пнину на дощатую обитель Клементсов.

Тимофей Пнин уселся в гостиной, скрестил "по-американски" ноги и ударился в разного рода ненужные подробности. Curriculum vitae[1] — сжатое до размеров ореха (правда, кокосового). Родился в 1898 году в Петербурге. Родители умерли от тифа в 17-м. В 18-м году перебрался в Киев. Провел пять месяцев в Белой Армии, сначала в качестве "полевого телефониста", затем в Управлении военной разведки. В 19-м бежал в Константинополь от вторгшихся в Крым красных. Завершил университетское образование...

— Надо же, и я там была девочкой, в том же самом году, — сказала обрадованная Джоан. — Отец ездил в Турцию по поручению правительства и взял нас с собой. Мы

[1] Жизнеописание (*лат.*).

с вами могли встречаться! Я помню, как по-турецки "вода". И еще там был сад с розами...

— Вода по-турецки "су", — сказал Пнин, языковед поневоле, и продолжил рассказ о своем увлекательном прошлом: Завершил университетское образование в Праге. Был связан с различными научными учреждениями. Затем — "Ну, совсем коротко говоря, с 25-го жил в Париже, покинул Францию в начале Гитлеровской войны. Теперь здесь. Американский гражданин. Преподаю русский и тому подобные вещи в Вандаловском университете. У Гагена, главы кафедры германистики, доступны любые справки. Или в общежитии холостых преподавателей".

Ему там неудобно?

— Слишком много людей, — сказал Пнин. — Любопытных людей. Тогда как для меня сейчас необходимо абсолютное уединение. — Он откашлялся в кулак с неожиданно пещерным звуком (почему-то напомнившим Джоан встреченного ею однажды профессионального донского казака) и взял быка за рога: "Я должен предупредить, — мне вырвут все зубы. Это отвратительная операция".

— Ну что ж, пойдемте наверх, — бодро сказала Джоан.

Пнин разглядывал розовостенную, в белых воланах комнату Изабель. Внезапно пошел снег, хоть небо и отливало чистой платиной. Медленное, мерцающее нисхождение отражалось в безмолвном зеркале. Пнин обстоятельно изучил "Девочку с котенком" Хекера над кроватью и "Козленка, отбившегося от стада" Ханта над книжной полкой. Затем он подержал руку в некотором удалении от окна.

— Температура однородна?

Джоан метнулась к радиатору.

— Жутко горячий, — парировала она.

— Я спрашиваю, нет ли здесь воздушных потоков?

— О да, воздуха у вас будет предостаточно. А вот здесь ванная — маленькая, но только ваша.

— Без douche?[1] — спросил Пнин, глянув вверх. — Возможно, это и лучше. Мой друг, профессор Шато из Колумбийского университета, однажды сломал ногу в двух мес-

[1] Душ (*фр.*).

тах. Теперь я должен подумать. Какую цену вы собирались потребовать? Я это спрашиваю потому, что не дам больше доллара в день, — не включая, конечно, пансиона.

— Годится, — с приятным быстрым смешком сказала Джоан.

Во второй половине того же дня один из студентов Пнина, Чарльз Макбет ("Сумасшедший, сколько можно судить по его опусам", — обыкновенно говаривал Пнин), с готовностью перевез багаж Пнина в патологически лиловом автомобиле, у которого слева не хватало крыла, и после раннего обеда в "Яйцо и Мы" — недавно учрежденном и не весьма процветающем ресторане, куда Пнин захаживал из чистого сострадания к неудачникам, — наш друг приступил к выполнению приятной задачи — к пнинизации своей новой квартиры. Отрочество Изабель то ли ушло отсюда вместе с ней, то ли было изгнано матерью, но следам ее детства почему-то дозволили остаться, и прежде чем найти наиболее удобные местоположения для замысловатой лампы солнечного света, для громадной пишущей машинки с русским алфавитом, помещавшейся в заклеенном скочем разбитом гробу, для пяти пар миловидных, удивительно маленьких башмаков с десятью укоренившимися в них колодками, для хитроумного приспособления, моловшего и варившего кофе, — не совсем такого же хорошего, как то, что взорвалось в прошлом году, — для четы будильников, каждую ночь принимавших участие все в том же забеге, и для семидесяти четырех библиотечных книг — по преимуществу старых русских журналов, солидно переплетенных в БВК, — Пнин деликатно изгнал в стоящее на лестничной площадке кресло с полдюжины одиноких томов, таких, как "Птицы в вашем доме", "Счастливые дни в Голландии" и "Мой первый словарь" ("Более 600 иллюстраций, изображающих животных, человеческое тело, фермы, пожары, — подобранных на научной основе"), а также одинокую деревянную бусину с дырочкой посередке.

Джоан, которая слишком часто, быть может, прибегала к слову "трогательный", объявила, что пригласит этого трогательного ученого выпить с гостями, муж же ее сказал в ответ, что он тоже трогательный ученый — и если она

действительно исполнит эту угрозу, то он лучше пойдет в кино. Впрочем, когда Джоан поднялась к Пнину, он отклонил ее предложение, бесхитростно сообщив, что решил больше спиртного не употреблять. Три супружеские пары и Энтвисл появились около девяти, а к десяти вечер был в разгаре, и тут Джоан, разговаривая с хорошенькой Гвен Кокерелл, заметила облаченного в зеленый свитер Пнина: он стоял в проеме двери, ведущей к подножию лестницы, и держал на отлете — так, чтобы его было видно, — стаканчик. Джоан устремилась к нему и едва не столкнулась с мужем, рысью припустившим через комнату, чтобы остановить, удушить, уничтожить Джека Кокерелла, заведующего английским отделением, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым номером, — он был одним из величайших, если не самым великим в кампусе имитатором Пнина. Тем временем его модель говорила Джоан: "В туалете нет чистого стакана, и кроме того, существуют другие неприятности. От пола дует и от стен дует..." Но доктор Гаген, приятный прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно его приветствовал, и в следующую минуту Пнина, заменив ему стакан хайболом, уже представляли профессору Энтвислу.

— Здравствуйте как поживаете хорошо спасибо, — прогремел Энтвисл, прекрасно подделывая русскую речь, — он и впрямь сильно смахивал на благодушного царского полковника в штатском. — Как-то ночью, в Париже, — продолжал он, поблескивая глазами, — в кабаре "Уголок", это представление убедило компанию русских кутил, что я их соплеменник и только притворяюсь американцем.

— Годика через два-три, — сказал Пнин, пропустив один автобус и влезая в следующий, — меня тоже будут принимать за американца, — и все расхохотались, кроме профессора Блоренджа.

— Мы вам добудем электрическую печку, — тихо сказала Джоан, предлагая Пнину оливки.

— А что она печет? — подозрительно спросил Пнин.

— Там видно будет. Есть еще жалобы?

— Да — звуковые помехи, — сказал Пнин. — Я слышу каждый, буквально каждый звук снизу. Но сейчас, я полагаю, не место обсуждать этот вопрос.

3

Гости расходились. Пнин с чистым стаканом в руке вскарабкался наверх. Энтвисл и хозяин дома последними вышли на крыльцо. Мокрый снег медленно плыл в черной ночи.

— Какая жалость, — сказал профессор Энтвисл, — что мы никак не соблазним вас перебраться в Голдвин. Там у нас и Шварц, и старый Крейтс, — они из числа величайших ваших почитателей. И озеро у нас настоящее. И чего только нет. Имеется даже свой профессор Пнин.

— Я знаю, знаю, — сказал Клементс, — но все эти предложения, которые я получаю, слишком уж запоздали. Я собираюсь скоро уйти на покой, а до того предпочел бы остаться хотя и в затхлой, но привычной дыре. А как вам понравился, — он понизил голос, — мосье Блорендж?

— Неплохой малый, по-моему. Правда, должен признаться, временами он напоминал мне того, вероятно, легендарного заведующего французским отделением, который считал Шатобриана знаменитым шеф-поваром.

— Поосторожней, — сказал Клементс. — Этот анекдот впервые рассказали о Блорендже. И в нем что ни слово, то правда.

4

Назавтра героический Пнин отправился в город, помахивая тростью на европейский манер (вверх-вниз, вверх-вниз) и присматриваясь к различным предметам, — он силился, в философском усердии, представить, какими увидит их после ожидающего его испытания, — дабы потом, припомнив свои представления, воспринять их сквозь призму ожидания. Двумя часами позже он тащился назад, припадая на трость и ни на что не глядя. Теплый поток

боли понемногу смывал лед и одеревенение анестезии в оттаивающем, еще полумертвом, гнусно искалеченном рту. Несколько дней затем он пребывал в трауре по интимной части своего естества. Он с изумлением обнаружил, как сильно был привязан к своим зубам. Его язык, толстый и гладкий тюлень, привыкший так весело плюхаться и скользить между знакомых скал, проверяя очертания своего потрепанного, но по-прежнему надежно укрепленного царства, бухаться из пещеры в бухту, взбираться на тот выступ, копаться в этой выемке, отыскивать пучок сладкой морской травы всегда в одной и той же расселине, ныне не находил ни единой вехи, существовала лишь большая темная рана, terra incognita[1] десен, исследовать которую мешали страх и отвращение. И когда ему наконец установили протезы, получилось что-то вроде черепа невезучего ископаемого, оснащенного осклабленными челюстями совершенно чужого ему существа.

Лекций у него в это время по плану не было, и экзаменов он тоже не посещал, их принимал за него Миллер. Прошло десять дней, и неожиданно новая игрушка начала доставлять ему радость. Это было откровение, восход солнца, крепкий прикус деловитой, алебастрово-белой, человечной Америки. Ночами он держал свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, там оно улыбалось само себе, розовое и жемчужное, совершенное, словно некий прелестный представитель глубоководной флоры. Большая работа, посвященная старой России, дивная греза, смесь фольклора, поэзии, социальной истории и petite histoire[2], которую он так любовно обдумывал последние десять, примерно, лет, теперь, когда головные боли ушли, а новый амфитеатр из полупрозрачного пластика как бы таил в себе возможности и сцены, и исполнения, наконец-то казалась осуществимой. При начале весеннего семестра его класс не мог не заметить перемен: Пнин сидел, кокетливо постукивая резиновым кончиком карандаша по своим ровным, слишком ровным резцам и клыкам, пока кто-нибудь из

[1] Неведомая земля (*лат.*).
[2] Анекдот (*букв.* малая история) (*фр.*).

студентов переводил предложение из “Начального курса русского языка” старого и румяного профессора Оливера Брэдстрита Манна (на самом деле от начала и до конца написанного двумя тщедушными поденщиками — Джоном и Ольгой Кроткими, ныне уже покойными), что-нибудь вроде “The boy is playing with his nurse and his uncle”[1]. А однажды вечером он подстерег Лоренса Клементса, торопившегося тайком проскочить к себе в кабинет, и издавая бессвязные триумфальные клики, принялся демонстрировать красоту своего приобретения, легкость, с которой оно вынимается и вставляется, а также убеждать удивленного, но отнюдь не враждебного Лоренса завтра же утром первым делом пойти и вырвать все зубы.

— Вы станете исправившимся человеком, совсем как я, — восклицал Пнин.

К чести Лоренса и Джоан нужно сказать, что они довольно быстро оценили уникальные достоинства Пнина, хоть он и походил более на домового, чем на жильца. Он учинил нечто непоправимое со своим новым нагревателем и мрачно заявил, что это пустяки, все равно скоро весна. Он обладал неприятным обыкновением усердно чистить щеткой одежду, стоя на лестничной площадке, — щетка клацала по пуговицам, — и так по пяти минут каждый Божий день. Он страстно влюбился в стиральную машину Джоан. И несмотря на запрещение к ней подходить, его снова и снова ловили на нарушенье запрета. Позабыв о приличиях и осторожности, он скармливал ей все, что попадалось под руку: свой носовой платок, кухонные полотенца, груды трусов и рубашек, контрабандой притаскиваемых им из своей комнаты, — все это единственно ради счастья следить сквозь иллюминатор за тем, что походило на бесконечную чехарду заболевших вертячкой дельфинов. Как-то в воскресенье, обнаружив, что он дома один, он не устоял и из чисто научной любознательности скормил могучей машине чету заляпанных глиной и зеленью парусиновых туфель на резиновой подошве; туфли утóпали с пугающим аритмическим звуком, точно армия, переходящая

[1] “Мальчик играет со своей няней и своим дядей” (*англ.*).

мост, и вернулись назад без подошв, и Джоан вышла из расположенной за буфетной маленькой гостиной и печально сказала: "Тимофей, опять?" Но она прощала его и любила сидеть с ним за кухонным столом, оба грызли орехи или пили чай. Дездемона, старая цветная служанка, которая приходила по пятницам убирать в доме и с которой, было время, сам Господь ежедневно обменивался сплетнями ("Дездемона, — говорил мне Господь, — этот мужчина, Джордж, он нехороший"), углядела как-то Пнина, когда он в одних только шортах, солнечных очках и сверкающем на широкой груди православном кресте нежился в неземном сиреневом свете солнечной лампы, и уверяла с тех пор, что он — святой. Лоренс, поднявшись однажды к себе в кабинет, потаенное и священное логово, хитро устроенное на чердаке, разъярился, обнаружив мягкий свет включенных ламп и толстошеего Пнина, укоренившегося на тощих ножках в углу и безмятежно перелистывающего книгу: "Извините меня, я лишь попастись", — сообщил, глянув через приподнятое плечо, кроткий пролаза (чей английский язык обогащался с удивительной быстротой); но как бы там ни было, а вечером того же дня случайная ссылка на малоизвестного автора, мимолетная аллюзия, молчаливо опознанная на заднем плане мысли, — дерзкий парус, мелькнувший на горизонте, — неосознанно привели двух мужчин к тихому духовному согласию; в сущности, оба они чувствовали себя по-настоящему непринужденно лишь в теплом мире подлинной учености. Люди — как числа, есть среди них простые, есть иррациональные, — и Клементс, и Пнин принадлежали ко второму разряду. С тех пор они частенько "умствовали", встречаясь и застревая на пороге, на площадке лестницы, на двух разновысоких ступеньках (обмениваясь высотами и поворачиваясь друг к другу) или прохаживаясь в противоположных направлениях по комнате, которая в эти минуты существовала для них, по выраженью Пнина, лишь в качестве "меблированного пространства" ("espace meublé"[1]). Скоро выяснилось, что Тимофей является истинной энциклопедией русских кив-

[1] "Меблированное пространство" (*фр.*).

ков и ужимок, что он свел их в таблицу и может кое-что добавить к Лоренсовой картотеке, посвященной философской интерпретации жестов — иллюстративных и неиллюстративных, связанных с национальными особенностями и с особенностями окружающей среды. Очень было приятно смотреть, как двое мужчин обсуждают какое-нибудь предание или верование: на Тимофея, словно расцветающего в амфорическом жесте, на Лоренса, отмахивающегося рукой. Лоренс снял даже фильм, посвященный тому, что Тимофей считал существенной частью русского "кистеведения": Пнин в тенниске, с улыбкой Джоконды на устах, демонстрирует жесты, лежащие в основе таких русских глаголов, — подразумевающих движения рук, — как "махнуть", "всплеснуть", "развести": рука роняется, как бы смахивая усталую уступку; две руки театрально распахиваются в изумленном отчаянии; "разъединительный" жест — ладони разъезжаются в знак беспомощной покорности. А в заключение Пнин очень медленно показывал, как в международном жесте "потрясанья перстом" полуповорот, легкий, как фехтовальный изгиб запястья, преобразует торжественное русское указание ввысь — "Судия Небесный все видит!" — в немецкое изображение палки — "Ты свое получишь!". "Впрочем, — добавлял объективный Пнин, — русская метафизическая полиция отлично крушит и физические кости тоже".

Извинившись за свой "небрежный туалет", Пнин показал этот фильм группе студентов, — и Бетти Блисс, аспирантка кафедры сравнительной литературы, где Пнин был ассистентом доктора Гагена, объявила, что Тимофей Павлович выглядит совершенно как Будда из восточного фильма, который она смотрела на азиатском отделении. Эта Бетти Блисс — полная, материнской складки девушка лет примерно двадцати девяти — являла собой нежное терние в стареющей плоти Пнина. Лет десять назад у нее был любовник — красивый прохвост, который бросил ее ради одной шлюшки; потом у нее приключился затяжной, безнадежно запутанный роман — более чеховский, нежели достоевский — с калекой, ныне женатом на своей сиделке,

дешевой красотке. Бедный Пнин колебался. В принципе супружество не исключалось. В блеске своих новых зубов он, после одного семинара, когда удалились все остальные, зашел так далеко, что держал, легонько похлопывая, ее полную руку в своей, пока они сидели рядком и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе "Как хороши, как свежи были розы". Она еле закончила чтение, вздохи распирали ей грудь, плененная ладонь трепетала. "Тургеневу, — сказал Пнин, полагая ладонь обратно на стол, — приходилось по прихоти некрасивой, но обожаемой им певицы Полин Виардо изображать идиота в шарадах и tableaux vivants[1], а мадам Пушкина сказала: "Надоел ты мне со своими стихами, Пушкин", — а уже старая — подумать только! — жена исполина, исполина Толстого гораздо сильней, чем его, любила красноносого дурака-музыканта!"

Пнин ничего не имел против мисс Блисс. Стараясь представить себе безмятежную старость, он с приемлемой ясностью видел, как она несет ему плед или заправляет самопишущую ручку. Да, конечно, она ему нравилась, — но сердце его принадлежало другой.

Кота, как сказал бы Пнин, в мешке не утаишь. Для того чтобы объяснить жалкое волнение, охватившее моего бедного друга однажды вечером в середине семестра, — он как раз получил телеграмму и самое малое сорок минут мерил шагами комнату, — необходимо сказать, что Пнин не всегда был одинок. Клементсы в отблесках уютного пламени играли в китайские шашки, когда Пнин, топоча, спустился по лестнице, оскользнулся и чуть не упал к их ногам, подобно жалобщику в некоем древнем городе, полном неправедных судей, но удержал равновесие — затем лишь, чтобы врезаться в кочергу со щипцами.

— Я пришел, — задыхаясь, сказал он, — чтобы проинформировать или, правильнее, спросить вас, могу ли я принять визитера, женщину, — в дневное время, конечно. Это моя бывшая жена, ныне доктор Лиза Винд, может быть, вы про нее слыхали в психиатрических кругах?

---

[1] Живые картины (*фр.*).

5

Встречаются среди наших любимых женщины, чьи глаза — по случайному сочетанию очерка и блеска — воздействуют на нас не сразу, не в минуту робкого восприятия, но, подобно задержанной и накопленной вспышке света, после, когда сама жестокая уже удалилась, а волшебная мука осталась при нас, установив в темноте свои линзы и лампы. Какими бы ни были глаза Лизы Пниной, ныне Винд, они, казалось, обнаруживали их сущность, их чистейшую воду, лишь при воспоминанье о них, вот тогда пустое, слепое, влажно-аквамариновое сияние принималось зиять и трепетать, как если бы вам под веки били брызги солнца и моря. На самом деле глаза у нее были бледно-голубые, прозрачные, с контрастно черными ресницами и ярко-розовой лузгой; глаза чуть оттягивались к вискам, куда от каждого веером расходились кошачьи морщинки. Копна темных каштановых волос над глянцевитым лбом, снежно-розовый цвет лица, очень светлая красная губная помада — если не считать некоторой толстоватости щиколок и запястий, навряд ли имелся какой-либо изъян в ее цветущей, живой, стихийной и не очень ухоженной красоте.

Пнин, о ту пору молодой, подающий надежды ученый, и она, тогда более, чем теперь, походившая на прозрачную русалку, но в сущности та же самая женщина, познакомились в Париже году в 25-м. Он носил редкую рыжеватую бороду (ныне, если он не побреется, вылезает лишь белая щетина, — бедный Пнин, бедный дикобраз-альбинос), и эта расчесанная на стороны монастырская поросль, венчаемая толстым лоснистым носом и невинными глазами, отлично передавали телесный облик старомодной интеллигентской России. Скромная должность в Аксаковском институте (рю Вер-Вер) вкупе с другой — в русской книжной лавке Савла Багрова (рю Грессе) доставляли ему средства к существованию. Лиза Боголепова, студентка-медичка, едва перевалившая за двадцать и совершенно очаровательная в черном шелковом джампере и строгого покроя юбке, уже работала в Медонской санатории, руководимой замечательной, устрашающей старой дамой, доктором Розеттой

Стоун, одной из наиболее сокрушительных психиатрисс тех дней. А кроме того, Лиза писала стихи — все больше запинающимся анапестом; Пнин и увидел-то ее впервые на одном из тех литературных вечеров, где молодые эмигрантские поэты, покинувшие Россию в пору их тусклого, неизбалованного созревания, монотонно читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая могла бы стать для них чем-то большим, нежели стилизованно грустной игрушкой, безделицей, найденной на чердаке, хрустальным шаром, внутри которого, если его потрясти, начинает падать над крохотной елью и избушкой из папье-маше мягко светящийся снег. Пнин написал к ней потрясающее любовное письмо, — ныне хранимое в частном собрании, — и она прочла его, обливаясь слезами жалости к себе, когда оправлялась после попытки фармацевтического самоубийства, причиной коего был довольно глупый роман с одним литератором, который теперь... А впрочем, неважно. Пятеро аналитиков, все близкие ее друзья, в один голос сказали: "Пнин — и сразу ребенок".

Брак едва ли переменил образ их жизни — разве что Лиза перебралась в пыльную квартиру Пнина. Он продолжал свои исследования в области славистики, она свои — в сфере психодраматики, и как прежде, несла лирические яички, откладывая их по всему дому, точно пасхальный кролик; и в этих зеленых и лиловых стихах — о дитяти, которого ей хотелось бы выносить, и о любовниках, которых ей хотелось иметь, и о Петербурге (спасибо Анне Ахматовой) — каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение были уже использованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди парижских русских влиятельного литературного критика Жоржика Уранского и за обедом с шампанским в "Уголке" уговорил милягу посвятить очередную его feuilleton[1] в одной из русских газет прославлению Лизиной музы, на чьи каштановые кудри Жоржик невозмутимо водрузил корону Анны Ахматовой, и Лиза разразилась слезами счастья — ни дать ни взять

[1] Рубрика, "колонка" (*фр.*).

маленькая Мисс Мичиган или Орегонская Королева Роз. Пнин, не ведавший о подоплеке событий, таскал в своей честной записной книжке газетную вырезку с этим бесстыдным враньем и наивно зачитывал оттуда кусочки забавляющимся друзьям, пока вырезка не истерлась и не засалилась окончательно. Не ведал он и о делах посерьезней, он, собственно говоря, как раз подклеивал останки рецензии в альбом тем декабрьским днем 1938 года, когда Лиза позвонила ему из Медона и сообщила, что уезжает в Монпелье с человеком, понимающим ее "органическое эго", — с доктором Эриком Виндом, — и что больше Тимофей никогда ее не увидит. Незнакомая рыжая француженка зашла за Лизиными вещами и сказала: "Ну что, подвальная крыса, больше нет ни одной бедной девушки, чтобы ее taper dessus"[1], — а месяц или два погодя притекло немецкое письмо от доктора Винда с выражениями сочувствия и с извинениями, заверяющее lieber Herr Pnin[2], что он, доктор Винд, исполнен желания жениться на женщине, "которая пришла из Вашей жизни в мою". Пнин, разумеется, дал бы ей развод с такой же готовностью, с какой отдал бы и жизнь, обрезав влажные стебли, добавив листов папоротника и все обернув в целлофан, хрустящий, как в пропахшем почвенной сыростью цветочном магазине, когда дождь превращает Светлое Воскресенье в серые и зеленые зеркала; оказалось, однако, что у доктора Винда есть в Южной Америке жена, особа с извращенным умом и поддельным паспортом, и она не желает, чтобы ее беспокоили, покамест некоторые ее планы не приобретут окончательного вида. Той порой Новый Свет поманил Пнина: его близкий друг, профессор Константин Шато, предложил из Нью-Йорка какую угодно помощь для совершения миграционного вояжа. Пнин известил о своих планах доктора Винда и послал Лизе последний номер эмигрантского журнала, в котором ее упоминали на 202-й странице. Он уже наполовину прошел безотрадную преисподнюю, выдуманную (к вящей радости Советов) европейскими бюрократа-

---

[1] Щупать (*фр.*).

[2] Дорогой господин Пнин (*нем.*).

ми для обладателей этой никчемной бумажки, нансеновского паспорта (своего рода справки об освобождении под честное слово, выдаваемой русским эмигрантам), когда в один сырой апрельский день 1940 года в дверь его сильно позвонили и, тяжело ступая, пыхтя и толкая перед собой комод семимесячной беременности, вошла Лиза и объявила, сорвав шляпу и скинув туфли, что все было ошибкой и что отныне она снова — законная и верная жена Пнина, готовая следовать за ним повсюду — если понадобится, то и за океан. Те дни были, вероятно, счастливейшими в жизни Пнина, — постоянный накал тяжкого, болезненного блаженства, — и вызревание виз, и приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прямо через одежду приставившего пустышку стетоскопа к стесненному сердцу Пнина, и участливая русская дама (моя родственница), которая так помогла в американском консульстве, и путешествие в Бордо, и прекрасный чистый корабль, — все отзывалось сочным привкусом волшебной сказки. Пнин не только готов был усыновить дитя, когда таковое явится на свет, он страстно стремился к этому, и Лиза с удовлетворенным, отчасти коровьим выражением слушала, как он излагает свои педагогические планы, ибо казалось, что он и впрямь слышит первый вопль младенца и первое его слово, долетевшие из близкого будущего. Всегда охочая до засахаренного миндаля, она теперь поглощала его в баснословных количествах (два фунта между Парижем и Бордо), и аскетический Пнин созерцал ее алчность, с завистливой радостью покачивая головой и пожимая плечами, и что-то от шелковистой гладкости этих dragées[1] осталось в его сознании навсегда слитым с памятью о ее тугой коже, о цвете лица и безупречных зубах.

Несколько опечалило то, что, едва поднявшись на борт, она бросила один-единственный взгляд на взбухавшее море, сказала: “Ну, это извините” — и быстро ретировалась в корабельное чрево, где и пролежала на спине большую часть плавания — в каюте, которую она делила с говорливыми женами трех немногословных поляков (борца, садов-

---

[1] Драже (*фр.*).

ника, парикмахера), в их-то обществе и путешествовал Пнин. На третий день пути, надолго задержавшись в кают-компании после того, как Лиза отправилась спать, он охотно согласился на партию в шахматы, предложенную бывшим редактором франкфуртской газеты, — печальным патриархом с мешками под глазами, в закрывающем горло свитере и в брюках-гольф. Ни тот ни другой хорошими игроками не были: оба питали склонность к эффектным, но совершенно бессмысленным жертвам, и каждый слишком стремился выиграть; особенно же разнообразил развитие партии фантастический немецкий язык, на котором изъяснялся Пнин ("Wenn Sie so, dann ich so, und Pferd fliegt"[1]). Затем подошел еще один пассажир и сказал, entschuldigen Sie[2], нельзя ли ему понаблюдать за игрой? И сел с ними рядом. У него были рыжеватые, коротко остриженные волосы и длинные бледные ресницы, напоминающие лепизму, он носил поношенный двубортный пиджак, и вскоре уже беззвучно квохтал всякий раз, как патриарх после величавого созерцания наклонялся, чтобы сделать нелепый ход. В конце концов этот участливый наблюдатель и, очевидно, знаток не устоял и, оттолкнувши пешку, которую только что двинул вперед его соотечественник, дрожащим перстом указал на ладью, которую старый франкфуртец немедленно сунул под мышку защиты Пнина. Наш герой проиграл, разумеется, и намеревался уже покинуть кают-компанию, но знаток перехватил его, сказав entschuldigen Sie, нельзя ли ему немного поговорить с Herr Pnin?[3] ("Как видите, я знаю ваше имя", — заметил он в скобках, подняв кверху свой столь употребительный указательный палец) — и предложил выпить в баре по кружке пива. Пнин согласился, и когда перед ними поставили кружки, вежливый незнакомец продолжил так: "В жизни, как и в шахматах, всегда полезно анализировать свои намерения и мотивы. В тот день, когда мы взошли на борт, я походил на расшалившееся дитя. На следующее

---

[1] Если вы так, то я так, и конь летит (*нем.*).

[2] Виноват (*нем.*).

[3] Господин Пнин (*нем.*).

утро, однако, я начал уже опасаться, что проницательный муж — это не комплимент, но ретроспективная гипотеза — рано или поздно изучит список пассажиров. Сегодня я предстал перед судом моей совести и был признан виновным. Я более не в силах сносить обмана. Ваше здоровье. Это совсем не похоже на наш немецкий нектар, но все-таки лучше, чем кока-кола. Мое имя — доктор Эрик Винд, увы, оно вам небезызвестно".

Пнин в молчании, с подергивающимся лицом, оставив одну ладонь лежать на мокрой стойке бара, начал неуклюже сползать с неудобного грибообразного стула, но Винд положил на его рукав пять длинных чувствительных пальцев.

— Lasse mich, lasse mich[1], — постанывал Пнин, пытаясь стряхнуть вялую раболепную лапу.

— Пожалуйста! — сказал доктор Винд. — Будьте справедливы. Осужденному всегда дают последнее слово, это его право. Даже наци соблюдают его. И прежде всего, — я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить по меньшей мере половину проезда дамы.

— Ach nein, nein, nein[2], — сказал Пнин. — Закончим этот кошмарный разговор (diese koschmarische Sprache).

— Как вам угодно, — сказал доктор Винд и принялся внедрять в сознание распятого Пнина следующие пункты: что все это было Лизиной идеей — "упрощает дело, вы понимаете, для блага нашего ребенка" (слово "наш" прозвучало триличностно); что к Лизе следует относиться как к очень больной женщине (беременность, в сущности говоря, есть сублимация стремления к смерти); что он (доктор Винд) женится на ней в Америке, — "куда я также направляюсь", — добавил доктор Винд для ясности; и что ему (доктору Винду) должно дозволить уплатить хотя бы за пиво. С этого дня и до конца путешествия, которое из серебряного с зеленым превратилось в однообразно серое, Пнин нарочито занялся английскими учебниками и, хоть

[1] Оставьте меня, оставьте меня (*нем.*).

[2] Ах, нет, нет, нет (*нем.*).

и оставался с Лизой неизменно кротким, старался видеть ее настолько редко, насколько это было возможным без того, чтобы у нее зародились подозрения. То тут, то там возникал неизвестно откуда доктор Винд, делая издали знаки одобрения и ободрения. И наконец, когда величавая статуя выросла из утренней дымки, где стояли, готовые воспламениться под солнцем, зачарованные тусклые здания, подобные таинственным разновысоким прямоугольникам, которые видишь на гистограммах, изображающих относительные проценты (природные ресурсы, частоты рождения миражей в различных пустынях), доктор Винд решительно приблизился к Пнину и представился официально, — "поскольку мы, все трое, должны ступить на землю свободы с чистыми сердцами". И после недолгого и довольно комичного совместного проживания на Эллис-Айленд Тимофей и Лиза расстались.

Были кое-какие сложности, но в конце концов Винд на ней женился. В первые пять американских лет Пнин несколько раз мельком виделся с нею в Нью-Йорке; он и Винды натурализовались в один и тот же день; потом, после его переезда в Вайнделл в 1945 году, полдюжины лет прошло без встреч и без писем. Впрочем, время от времени он получал о ней вести. Недавно (в декабре 1951 года) его друг Шато прислал ему номер психиатрического журнала со статьей доктора Альбины Дункельберг, доктора Эрика Винда и доктора Лайзы Винд "Использование групповой психотерапии при консультировании супругов". Пнина всегда смущали Лизины "психоослиные" интересы, и даже теперь, когда ему следовало бы стать безразличным, он ощутил легкий укол отвращения и жалости. Она и Эрик работали под руководством великого Бернарда Мэйвуда, доброго великана, которого сверхадаптивный Эрик именовал "боссом", в Исследовательском бюро при Центре планирования состава семьи. Поощряемый покровителем — своим и жены, — Эрик разрабатывал затейливую идею (скорее всего не ему принадлежащую), состоявшую в том, чтобы заманить наиболее дураковатых и податливых клиентов Центра в психотерапевтическую западню — кружок

“снятия напряжения”, на манер деревенского сообщества для помощи соседям в стежке одеял, где молодые замужние женщины, объединенные в группы по восемь, расслаблялись в удобной комнате, жизнерадостно и бесцеремонно обращаясь друг к дружке по имени, а доктора сидели к группе лицом, и секретарь помаленьку записывал, и травматические эпизоды всплывали, будто трупы, со дна детства каждой из дам. На этих посиделках женщин понукали с полной откровенностью обсуждать меж собой сложности их супружеского несопряжения, за чем, разумеется, следовало сопоставление записей, относящихся к их сожителям, которых также допрашивали в особливых “группах мужей”, столь же непринужденных да еще и с раздачей большого числа сигар и анатомических схем. Протоколы и медицинские подробности Пнин пропустил, — нет и нам необходимости входить здесь в эти веселенькие детали. Довольно будет сказать, что уже на третьем собрании женской группы, после того как та или иная дамочка, побывши дома, узрила свет и вернулась, дабы описать новооткрытые ощущения своим пока еще заблокированным, но восторженно внимающим сестрам, звенящая нота ревивализма приятно окрасила продолжение их трудов (“Ну, девочки, когда Джордж прошлой ночью...”). Но и это не все. Доктор Эрик Винд надеялся разработать методу, которая позволила бы свести всех этих жен и мужей в единую группу. Жутковато, кстати сказать, было слышать, как он и Лиза смакуют словечко “группа”. Профессор Шато в длинном письме к расстроенному Пнину уверял, что доктор Винд называет “группой” даже сиамских близнецов. И действительно, прогрессивный, идеалистически настроенный Винд мечтал о счастливом мире, составленном из сиамских стоглавов — анатомически сопряженных сообществ, целая нация коих строится вокруг связующей печени. “Вся эта психиатрия — не что иное, как разновидность коммунистического микрокосма, — роптал Пнин в своем ответе Шато. — Неужели нельзя оставить людям их личные печали? Спрашивается, не есть ли печаль то единственное на земле, чем человек действительно обладает?”

6

— Знаешь, — субботним утром сообщила мужу Джоан, — я решила сказать Тимофею, что от двух до пяти дом поступает в их полное распоряжение. Мы просто обязаны предоставить этим трогательным людям все удобства. Мне есть чем заняться в городе, а тебя я подброшу в библиотеку.

— Видишь ли, — отвечал Лоренс, — как раз сегодня мне совершенно не хочется, чтобы меня подбрасывали и вообще как-нибудь передвигали. Кроме того, весьма маловероятно, что для воссоединения им понадобятся все восемь комнат.

Пнин надел новый коричневый костюм (оплаченный лекцией в Кремоне) и после торопливого завтрака в "Яйцо и Мы" пошел через кое-где оснеженный парк к вайнделлской автобусной станции — и появился там на час раньше срока. Он не стал гадать, по какой причине Лиза ощутила вдруг настоятельную потребность увидеться с ним на обратном пути из частной школы Св. Варфоломея близ Бостона, куда следующей осенью поступал ее сын: все, что ему было ведомо, — это паводок счастья, пенящийся и растущий за невидимой перемычкой, которую могло теперь прорвать в любую минуту. Он встретил пять автобусов и в каждом ясно видел Лизу, махавшую ему за окном, пока она и прочие пассажиры гуськом продвигались к выходу, но автобусы пустели один за другим, а Лиза не появлялась. Внезапно он услыхал за собой ее звучный голос ("Тимофей, здравствуй!") и, круто повернувшись, увидел ее выходящей из того единственного "Грейхаунда", касательно которого он решил, что в нем ее быть не может. Какие перемены смог различить в ней наш друг? Господи, какие там перемены! Это была она. Она всегда, во всякий холод, казалась разгоряченной и жизнерадостной, и сейчас, пока она сжимала его голову, ее котиковая шубка распахнулась над сборчатой блузкой, и Пнин вдыхал грейпфрутовый аромат ее шеи, и все бормотал: "Ну, ну, вот и хорошо, ну вот!" — простой словесный реквизит души, — и она воскликнула: "Ба, да у него замечательные новые зубы!" Он

подсадил ее в таксомотор, ее яркий прозрачный шарф зацепился за что-то, и Пнин подскользнулся на тротуаре, и таксист сказал: "Осторожней" и взял у него чемодан, и все это уже происходило прежде и точно в том же порядке.

Это школа в английских традициях, — рассказывала Лиза, пока они ехали по Парк-стрит. Нет, есть она не хочет, плотно позавтракала в Олбани. Очень изысканная школа — "very fancy", сказала она по-английски, — мальчики играют в подобие тенниса — руками бьют мячик от стенки к стенке, — с ним в классе будет учиться — (и она с поддельной непринужденностью произнесла известное на всю Америку имя, которое ничего не сказало Пнину, поскольку не принадлежало ни поэту, ни президенту). "Кстати, — прервал ее Пнин, пригибаясь и указывая, — отсюда как раз виден уголок кампуса". И все это ("Вижу, вижу, кампус как кампус"), все это, включая стипендию, благодаря влиянию доктора Мэйвуда. ("Ты знаешь, Тимофей, ты бы как-нибудь написал ему несколько слов, просто из вежливости".) Тамошний ректор, он священник, показывал ей награды, завоеванные Бернардом, когда тот учился в школе. Эрик, разумеется, хотел отправить Виктора в бесплатную школу, но она взяла верх. А жена его преподобия Хоппера — племянница английского графа.

— Ну вот. Это мой palazzo[1], — игриво промолвил Пнин, которому никак не удавалось сосредоточиться на ее быстрой речи.

Они вошли, — и он почувствовал вдруг, что этот день, которого он ждал с такой жгучей и страстной жаждой, кончается слишком быстро, — уходит, уходит и через несколько минут уйдет совсем. Может быть, — думал он, — если она скажет, не откладывая, чего она от него хочет, день сумеет помедлить и станет по-настоящему радостным.

— Какой жуткий дом, — сказала она, садясь в кресло у телефона и снимая ботики — такими знакомыми движеньями! — Ты посмотри на эту акварель с минаретами. Они, должно быть, ужасные люди.

— Нет, — сказал Пнин, — они мои друзья.

---

[1] Чертог (*итал.*)

— Мой дорогой Тимофей, — говорила она, поднимаясь с Пниным наверх, — в свое время у тебя были совершенно ужасные друзья.

— А вот моя комната, — сказал Пнин.

— Я, пожалуй, прилягу на твою целомудренную постель, Тимофей. И через несколько минут я прочитаю тебе одно стихотворение. Опять наплывает моя адская мигрень. Целый день так хорошо себя чувствовала.

— У меня есть аспирин.

— Uhn-uhn, — сказала она, и это заемное отрицание до странного не вязалось с родной ей речью.

Он отвернулся, когда она принялась стаскивать туфли, звук их падения на пол напомнил ему стародавние дни.

Она лежала навзничь — черная юбка, белая блузка, каштановые волосы, — розовой ладонью прикрывая глаза.

— Ну, а как твои дела? — спросил Пнин (пусть она скажет, что ей от меня нужно, скорее!), садясь в белую качалку у радиатора.

— У нас очень интересная работа, — сказала она, по-прежнему заслоняя глаза, — но я должна сказать тебе, что больше не люблю Эрика. Наши отношения распались. К тому же Эрик равнодушен к ребенку. Говорит, что он отец земной, а ты, Тимофей, отец водоплавающий.

Пнин рассмеялся: он раскачивался, хохоча, и отроческая качалка явственно затрещала под ним. Глаза его были как звезды и совершенно мокрые.

С минуту она удивленно глядела на него из-под полной руки — потом продолжила:

— У Эрика по отношению к Виктору ригидный эмоциональный блок. Я уж и не знаю, сколько раз мальчик должен был убивать его в своих снах. И кроме того, в случае Эрика, — я это давно заметила, — вербализация только запутывает проблемы, вместо того чтобы их прояснять. Он очень трудный человек. Какое у тебя жалованье, Тимофей?

Он ответил.

— Ну, что же, — сказала она, — не Бог весть что. Но я полагаю, ты можешь даже что-то откладывать, — этого более чем достаточно для твоих нужд, для твоих микроскопических нужд, Тимофей.

Ее живот, плотно стянутый черной юбкой, два-три раза подпрыгнул в уютной, безмолвной, добродушной усмешке-воспоминании, и Пнин высморкался, продолжая покачивать головой с восторженным и сладостным весельем.

— Послушай мои последние стихи, — сказала она и, вытянув руки вдоль тела и вытянувшись на спине, мерно запела протяжным, глубоким голосом:

Я надела темное платье,
И монашенки я скромней;
Из слоновой кости распятье
Над холодной постелью моей.

Но огни небывалых оргий
Прожигают мое забытье,
И шепчу я имя Георгий —
Золотое имя твое!

— Он очень интересный человек, — продолжала она безо всякой остановки. — В общем-то, он практически англичанин. В войну летал на бомбардировщике, а сейчас работает в маклерской фирме, но его там не любят и не понимают. Он из старинного рода. Отец его был мечтатель, владелец плавучего казино, представляешь, ну и так далее, но его разорили во Флориде какие-то еврейские гангстеры, и он по собственной воле сел в тюрьму вместо другого, — это семья героев.

Она умокла. Шелест и звон в белых органных трубах скорее подчеркивали, чем нарушали тишину, повисшую в маленькой комнатке.

— Я обо всем рассказала Эрику, — продолжала Лиза со вздохом. — Теперь он твердит, что смог бы меня излечить, пожелай я ему помогать. Увы, я уже помогаю Георгию. Ну что же, *c'est la vie*[1], как оригинально выражается Эрик. Как ты ухитряешься спать, когда с потолка висит паутина? — Она посмотрела на ручные часы. — Бог ты мой, мне же нужно поспеть на автобус в полпятого. Придется тебе вызвать таксомотор. Я должна еще сказать тебе что-то очень важное.

---

[1] Такова жизнь (*фр.*).

Вот оно, наконец, — и с каким опозданием.

Она хотела, чтобы Тимофей откладывал для мальчика немного денег каждый месяц, потому что она не может сейчас обращаться с просьбами к Бернарду Мэйвуду, — и она может умереть, — а Эрику все равно, что будет дальше, — и кто-то же должен время от времени посылать ребенку небольшую сумму, как будто от матери — на карманные расходы, ведь ты понимаешь, он ведь будет жить среди богатых мальчиков. Она напишет к Тимофею — адрес и другие подробности. Да, она и не сомневалась, что Тимофей — прелесть ("Ну, какой же ты душка"). А теперь, где тут у них уборная? И будь добр, позвони насчет таксомотора.

— Кстати, — сказала она, когда он подавал ей пальто и, как всегда, наморщась, искал ускользавшее устье рукава, а она совала руку и шарила, — знаешь, Тимофей, ты зря купил этот коричневый костюм: джентльмены не носят коричневого.

Он подождал, покамест она отъедет, и парком пошел восвояси. Схватить ее, удержать — такую, как есть, с ее жестокостью, пошлостью, с ослепительными голубыми глазами, с ее ничтожной поэзией, с толстыми ногами, с ее нечистой, сухой, убогой, детской душой. Вдруг он подумал: Ведь если люди воссоединяются на Небесах (я в это не верю, но пусть), что же я стану делать, когда ко мне подползет и опутает это ссохшееся, беспомощное, увечное существо — ее душа? Но я пока на земле и, как ни удивительно, жив, и что-то есть и во мне, и в жизни —

Казалось, он совершенно нежданно (ибо отчаянье редко ведет к усвоенью великих истин) оказался на грани простой разгадки мировой тайны, но его отвлекли настойчивой просьбой. Белка, сидевшая под деревом, углядела шедшего по тропинке Пнина. Одним быстрым, струистым движеньем умный зверек вскарабкался на кромку питьевого фонтанчика, и когда Пнин приблизился, потянулся к нему овальным личиком, с хрипловато-трескучим лопотанием раздувая щеки. Пнин понял и, покопавшись немного, нашел то, что полагалось нажать. Презрительно поглядывая на него, жаждущая грызунья тотчас принялась

покусывать коренастый мерцающий столбик воды и пила довольно долго. "Наверное, у нее жар", — думал Пнин, плача привольно и тихо, продолжая меж тем услужливо жать на краник и стараясь не встретиться взглядом с устремленными на него неприятными глазками. Утолив жажду, белка ускакала без малейших признаков благодарности.

Водоплавающий отец поплелся своей дорогой, дошел до конца тропинки и свернул в боковую улочку, где стоял маленький бар, выстроенный в виде бревенчатой избушки с гранатовыми стеклами в створчатых окнах.

7

Когда Джоан с полной сумкой провизии, тремя пакетами и двумя журналами вернулась в четверть шестого домой, она обнаружила в почтовом ящике у крыльца заказное авиаписьмо от дочери. Прошло уже больше трех недель с тех пор, как Изабель коротко написала родителям, сообщив, что после медового месяца в Аризоне благополучно достигла города, в котором живет ее муж. Жонглируя пакетами, Джоан вскрыла конверт. Письмо было экстатически счастливым, и она проглотила его, и все слегка поплыло перед ее глазами в сиянии облегчения. На наружной двери она нащупала, а потом, слегка удивясь, увидала свисающие в кожаном футлярчике из замка ключи Пнина, похожие на кусочек его интимнейших внутренностей; она открыла с их помощью дверь и, едва войдя, услышала доносящийся из буфетной громкий анархический грохот — один за другим открывались и закрывались ящики посудных шкапов.

Она сложила на кухонный буфет пакеты и сумку и спросила, поворотясь в направлении грохота: "Что вы там ищете, Тимофей?"

Он вышел, багровый, с безумным взором, и Джоан с ужасом увидала, что лицо его залито слезами.

— Я ищу, Джон, вискозу и соду, — трагически объявил он.

— Содовой, боюсь, нет, — сказала Джоан с присущей ей ясной англосаксонской невозмутимостью, — а виски

сколько угодно в столовой горке. Однако не лучше ли вам выпить со мной чаю?

Он взмахнул по-русски руками: “сдаюсь”.

— Нет, я вообще ничего не хочу, — сказал он и с невыносимым вздохом сел за кухонный стол.

Она присела рядом и раскрыла один из принесенных ею журналов.

— Давайте смотреть картинки, Тимофей.

— Я не хочу, Джон. Вы же знаете, я не понимаю, что в них реклама, а что — нет.

— Вы успокойтесь, Тимофей, и я вам все объясню. Вот, посмотрите, — эта мне нравится. Видите, как забавно. Здесь соединены две идеи — необитаемый остров и девушка “в облачке”. Взгляните, Тимофей, ну, пожалуйста, — он неохотно надел очки для чтения, — это необитаемый остров, на нем всего одна пальма, а это — кусок разбитого плота, и вот матрос, потерпевший крушение, и корабельная кошка, которую он спас, а здесь, на скале...

— Невозможно, — сказал Пнин. — Такой маленький остров, и тем более с пальмой, не может существовать в таком большом море.

— Ну и что же, *здесь* он существует.

— Невозможная изоляция, — сказал Пнин.

— Да, но... Ну, право же, Тимофей, вы нечестно играете. Вы прекрасно знаете, ведь вы согласились с Лором, что мышление основано на компромиссе с логикой.

— С оговорками, — сказал Пнин. — Прежде всего, сама логика...

— Ну хорошо, боюсь, мы отклонились от нашей шутки. Вот, посмотрите на картинку. Это матрос, а это его киска, а тут тоскующая русалка, она не решается подойти к ним поближе, а теперь смотрите сюда, в “облачка” — над матросом и киской.

— Атомный взрыв, — мрачно сказал Пнин.

— Да ну, совсем не то. Гораздо веселее. Понимаете, эти круглые облачка изображают их мысли. Ну вот мы и добрались до самой шутки. Матрос воображает русалку с парой ножек, а киске она видится законченной рыбой.

— Лермонтов, — сказал Пнин, поднимая два пальца, — всего в двух стихотворениях сказал о русалках все, что о них можно сказать. Я не способен понять американский юмор, даже когда я счастлив, а должен признаться... — Трясущимися руками он снял очки, локтем отодвинул журнал и, уткнувшись в предплечье лбом, разразился сдавленными рыданиями.

Она услышала, как отворилась и захлопнулась входная дверь, и минуту спустя Лоренс с игривой опаской сунулся в кухню. Правой рукой Джоан отослала его, левой показав на лежавший поверх пакетов радужный конверт. Во вспыхнувшей мельком улыбке содержался конспект письма; Лоренс сграбастал письмо и, уже без игривости, на цыпочках вышел из кухни.

Ненужно мощные плечи Пнина по-прежнему содрогались. Она закрыла журнал и с минуту разглядывала обложку: яркие, как игрушки, школьники-малыши, Изабель и ребенок Гагенов, деревья, отбрасывающие еще бесполезную тень, белый шпиль, вайнделлские колокола.

— Она не захотела вернуться? — негромко спросила Джоан.

Пнин, не отрывая лба от руки, начал пристукивать по столу вяло сжатым кулаком.

— Ай хаф нафинг, — причитал он между звучными, влажными всхлипами. — Ай хаф нафинг лефт, нафинг, нафинг![1]

---

[1] У меня ничего нет... У меня ничего не осталось, ничего, ничего! (*искаж. англ.*)

Глава третья

1

За те восемь лет, что Пнин провел в Вайнделлском колледже, он менял жилища — по тем или иным причинам (главным образом акустического характера) — едва ли не каждый семестр. Скопление последовательных комнат у него в памяти напоминало теперь те составленные для показа кучки кресел, кроватей и ламп, и уютные уголки у камина, которые, не обинуясь пространственно-временными различиями, соединяются в мягком свете мебельного магазина, а снаружи падает снег, густеют сумерки, и в сущности, никто никого не любит. Комнаты его вайнделлского периода выглядели весьма опрятными в сравнении с той, что была у него в жилой части Нью-Йорка — как раз посередине между "Tsentral Park" и "Reeverside"[1], — этот квартал запомнился бумажным мусором на панели, яркой кучкой собачьего кала, на которой кто-то уже поскользнулся, и неутомимым мальчишкой, лупившим мячом по ступенькам бурого облезлого крыльца; но даже и эта комната становилась в сознании Пнина (где еще отстукивал мяч) положительно щегольской, когда он сравнивал ее со старыми, ныне занесенными пылью жилищами его долгой среднеевропейской поры, поры нансеновского паспорта.

Впрочем, чем старее, тем разборчивей становился Пнин. Приятной обстановки ему уже было мало. Вайнделл — городок тихий, а Вайнделлвилль, лежащий в прогале холмов, — тишайший, но для Пнина ничто не было достаточно тихим. Существовала — в начале его тутошней жизни — одна "студия" в продуманно меблированном общежитии

---

[1] Центральный парк и Риверсайд (*искаж. англ.*) — районы Нью-Йорка.

холостых преподавателей, очень хорошее было место, если не считать некоторых издержек общительности ("Пинг-понг, Пнин?" — "Я больше не играю в детские игры"), пока не явились рабочие и не взялись дырявить мостовую, — улица Черепной Коробки, Пнинград, — и снова ее заделывать, и это тянулось чередованием тряских черных зигзагов и оглушительных пауз — неделями, — и казалось невероятным, что они смогут когда-нибудь отыскать тот бесценный инструмент, который ошибкой захоронили. Была еще (это если выбирать там и сям лишь самые выдающиеся неудачи) другая комната в имевшем замечательно непроницаемый вид доме, называвшемся "Павильоном Герцога", в Вайнделлвилле: прелестный kabinet, над которым, однако, каждый вечер под рев туалетных водопадов и буханье дверей угрюмо топотали примитивными каменными ногами два чудовищных изваяния, — в коих невозможно было признать обладавших худосочным сложением настоящих его верхних соседей, ими оказались Старры с отделения изящных искусств ("Я Кристофер, а это — Луиза"), ангельски кроткая и живо интересующаяся Достоевским и Шостаковичем чета. Также была — уже в других меблированных комнатах — совсем уж уютная спальня-кабинет, в которую никто не лез за даровым уроком русского языка, однако, едва лишь грозная вайнделлская зима начала проникать в этот уют посредством мелких, но язвительных сквознячков, дувших не только от окна, а даже из шкапа и штепселей в плинтусах, комната обнаружила нечто вроде склонности к умопомешательству, загадочную манию, — а именно, в серебристом радиаторе завелась у Пнина упорно бормочущая, более или менее классическая музыка. Он пытался заглушить ее одеялом, словно певчую птицу в клетке, но пение продолжалось до той поры, пока дряхлая матушка миссис Тейер не перебралась в больницу, где и скончалась, после чего радиатор перешел на канадский французский.

Он испытал иные обители: комнаты, снимаемые в частных домах, которые хоть и отличались один от другого во множестве смыслов (не все, например, были обшиты досками, некоторые были оштукатурены, по крайней мере —

частично), все же обладали одной общей родовой чертой: в книжных шкапах, стоявших в гостиной или на лестничных площадках, неизменно присутствовали Хендрик Виллем ван Лун и доктор Кронин; их могла разделять стайка журналов, или какой-то лощеный и полнотелый исторический роман, или даже очередное перевоплощение миссис Гарнетт (и уж в таком доме, будьте уверены, где-нибудь непременно свисала со стены афиша Тулуз-Лотрека), но эта парочка обнаруживалась неизменно и обменивалась взорами нежного узнавания, наподобие двух старых друзей на людной вечеринке.

2

Он вернулся до поры в общежитие, однако то же самое сделали и сверлильщики тротуара, да кроме них подоспели и новые неудобства. Сейчас Пнин все еще снимал розовостенную, в белых оборках спальню на втором этаже дома Клементсов, это был первый дом, который ему по-настоящему нравился, и первая комната, в которой он прожил более года. К нынешнему времени он окончательно выполол все следы ее прежней жилицы, во всяком случае, так он полагал, ибо не заметил, и видимо, не заметит уже никогда, веселую рожицу, нарисованную на стене как раз за изголовьем кровати, да несколько полустершихся карандашных отметок на дверном косяке, первая из которых — на высоте в четыре фута — появилась в 1940 году.

Вот уже больше недели Пнин один управлялся в доме: Джоан Клементс улетела в западный штат навестить замужнюю дочь, а два дня спустя, — едва начав весенний курс философии, — улетел на Запад и профессор Клементс, вызванный телеграммой.

Наш друг неторопливо съел завтрак, приятную основу коего составило молоко, по-прежнему поступавшее в дом, и в половине девятого был готов к ежедневному походу в кампус.

Сердце мое согревает тот российско-интеллигентский способ, посредством которого Пнин попадает внутрь

своего пальто: склоненная голова обнаруживает ее совершенную голизну, подбородок, длинный, как у Герцогини из Страны Чудес, крепко прижимает перекрещенные концы зеленого шарфа, удерживая их на груди в требуемом положении, а Пнин тем временем, вскидывая широкие плечи, исхитряется попасть руками в обе проймы сразу, еще рывок, — и пальто надето.

Он подхватил свой портфель, проверил его содержимое и вышел.

Уже находясь от крыльца на расстоянии, равном броску газеты, Пнин вдруг вспомнил о книге, которую библиотека колледжа настоятельно просила вернуть, чтобы ею мог воспользоваться другой читатель. Минуту он боролся с собой, книга была еще нужна ему, однако слишком сильное сочувствие испытывал добрый Пнин к пылкому призыву иного (неведомого ему) ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым томом: то был том 18-й, — посвященный преимущественно Толстому, — "Советского Золотого Фонда Литературы", Москва—Ленинград, 1940.

3

Органами, отвечающими за порождение звуков английской речи, являются: гортань, нёбо, губы, язык (пульчинелла этой труппы) и последнее (по порядку, но не по значению) — нижняя челюсть; на ее-то сверхэнергические и отчасти жевательные движения и полагался главным образом Пнин, переводя на занятиях куски из русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина. Если его русский язык был музыкой, то английский — убийством. Особые затруднения ("дзи-ифи-икультси-и" на пниновском английском) были у него связаны со смягчением звуков, ему никак не удавалось устранить дополнительную русскую смазку из "t" и "d", стоящих перед гласными, которые он столь причудливо умягчал. Его взрывное "hat" ("I never go in hat even in winter")[1] отличалось от обще-

[1] "Шляпа" ("Я никогда не ношу шляпы, даже зимой") (*искаж. англ.*).

американского выговора "hot"[1] (типичного, скажем, для обитателей Вайнделла) лишь большей краткостью и оттого более походило на немецкий глагол "hat" (имеет). Долгие "o" у него неукоснительно становились короткими: "no"[2] звучало просто по-итальянски, что усиливалось его манерой утраивать это простое отрицание ("May I give you a lift, Mr Pnin?" — "No-no-no, I have only two paces from here"[3]). Он не умел (и не догадывался об этом) хоть как-то произносить долгое "у": единственное, что он мог смастерить, когда приходилось сказать "noon", это вялую гласную немецкого "nun" ("I have no classes in after*nun* on Tuesday. Today is Tuesday")[4].

Вторник, верно; однако какое же сегодня число, вот что хотелось бы знать? День рождения Пнина, например, приходился на 3 февраля — по юлианскому календарю, в полном согласии с коим он в 1898 году родился в Петербурге. Теперь Пнин его больше не праздновал — отчасти потому, что после разлуки с Россией день этот как-то бочком проскакивал под григорианской личиной (тринадцатью, нет, двенадцатью днями позже), отчасти же потому, что на протяжении учебного года он жил в основном от понедельника до пятницы.

На затуманенной мелом классной доске Пнин выписал дату. Сгиб его руки еще помнил тяжесть "ЗФЛ'а". Дата, записанная им, ничего не имела общего с днем, ныне стоявшим в Вайнделле:

26 декабря 1829 года

Он старательно навертел большую белую точку и прибавил пониже:

3.03 пополудни, Санкт-Петербург

---

[1] "Жаркий, горячий" (*англ.*).

[2] Нет (*англ.*).

[3] "Подвезти вас, м-р Пнин?" — "Нет-нет-нет, мне тут всего два шага" (*англ.*).

[4] "Теперь, ныне" (*нем.*). ("Во вторник после полудня у меня не бывает занятий. Сегодня вторник") (*англ.*).

Все это усердно записывали: Фрэнк Бэкман, Роз Бальзамо, Фрэнк Кэрролл, Ирвинг Д. Герц, прекрасная и умная Мэрилин Хон, Джон Мид-младший, Питер Волков и Аллен Брэдбери Уолш.

Пнин, зыблясь в безмолвном веселье, вновь уселся за стол: у него имелась в запасе история. Эта строчка из дурацкой русской грамматики: "Брожу ли я вдоль улиц шумных" ("Whether I wander along noisy streets") является на самом деле первой строкой знаменитого стихотворения. Хоть и предполагалось, что Пнин на занятиях по начальному русскому курсу должен придерживаться простых языковых упражнений ("Ма́ма, телефон! Брожу ли я вдоль улиц шумных. От Владивостока до Вашингтона 5000 миль"), он не упускал случая увлечь своих студентов на литературную и историческую экскурсию.

В восьми четырехстопных четверостишиях Пушкин описал болезненную привычку, не покидавшую его никогда, — где бы он ни был, что бы ни делал, — привычку сосредоточенно размышлять о смерти, пристально вглядываясь в каждый мимолетящий день, стараясь угадать в его тайнописи некую "грядущую годовщину": день и месяц, которые обозначатся когда-нибудь и где-нибудь на его гробовом камне.

— "And where will fate send me", несовершенное будущее, "death"[1], — декламировал вдохновенный Пнин, откидывая голову и переводя с отважным буквализмом, — "in fight, in travel or in waves? Or will the neighbouring dale"[2] — то же, что "долина", теперь мы сказали бы "valley", — "accept my refrigerated ashes"[3], poussière, "cold dust"[4], возможно, вернее. "And though it is indifferent to the insensible body"[5]...

Пнин добрался до конца и тогда, театрально ткнув в доску куском мела, который продолжал держать в руке,

---

[1] И где судьба пошлет мне... смерть (*англ.*).

[2] В бою, в странствиях или в волнах? Или соседний дол (*англ.*).

[3] Долина, — примет мой охлажденный прах (*англ.*).

[4] Пыль, прах (*фр.*), холодная пыль (*англ.*).

[5] И хотя нечувствительному телу безразлично (*англ.*).

отметил, с какой тщательностью Пушкин указал день и даже минуту, когда было записано это стихотворение.

— Однако, — вскричал Пнин, — он умер совсем, совсем в другой день! Он умер... — Спинка стула, на которую с силой налег Пнин зловеще треснула, и вполне понятное напряжение класса разрядилось в молодом громком смехе.

(Когда-то, где-то — в Петербурге, в Праге? — один из двух музыкальных клоунов вытянул из-под другого рояльный стул, а тот все играл в сидячей, хоть и лишенной сидения позе, не попортив своей рапсодии. Где же? Цирк Буша в Берлине!)

4

Пнин не уходил из классной на то время, пока студенты начального курса вытекали наружу, а студенты курса повышенной сложности просачивались вовнутрь. Кабинет, в котором лежал сейчас на картотечном ящике "Зол. фонд лит.", полуобернутый зеленым шарфом Пнина, находился на другом этаже в конце гулкого коридора, бок о бок с преподавательской уборной. До 1950 года (а теперь уже 1953-й, — как время-то летит!) Пнин делил с Миллером, — одним из младших преподавателей, — комнату на отделении германистики, а затем ему предоставили в исключительное пользование кабинет R — прежде там хранились швабры, но теперь его отделали заново. Всю весну Пнин любовно его пнинизировал. Кабинет достался ему с двумя плебейскими стульями, пробковой доской для объявлений, с забытой уборщиком жестянкой от половой мастики и столом об одной тумбе из неизвестно какого дерева. В административном отделе Пнин выхитрил маленький стальной картотечный ящик с совершенно очаровательным запором. Руководимый Пниным молодой Миллер заключил в объятия и перетащил сюда принадлежащую Пнину половинку разъемного книжного шкапа. У старой миссис МакКристалл, в чьем белом дощатом доме Пнин скоротал посредственную зиму (1949—1950), он приобрел за три доллара потертый, некогда турецкий ковер. С помощью того

же уборщика была привинчена к краю стола точилка для карандашей — весьма утешительное и весьма философское устройство, напевавшее, поедая желтый кончик и сладкую древесину, "тикондерога-тикондерога" и завершавшее пение беззвучным кружением в эфирной пустоте, — что и нам всем предстоит. Были у него и иные, еще более амбициозные планы, к примеру, приобрести покойное кресло и торшер. Когда после лета, проведенного за преподаванием в Вашингтоне, Пнин воротился в свой кабинет, на его ковре спала разжиревшая псина, а его мебель теснилась в темном углу, уступив место величественному столу из нержавеющей стали и парному к нему вращающемуся креслу, в котором сидел, писал и сам себе улыбался новоимпортированный австрийский ученый, доктор Бодо фон Фальтернфельс; и с этого времени Пнин махнул на кабинет R рукой.

5

В полдень Пнин, как обычно, вымыл руки и голову.

Он забрал из кабинета R пальто, шарф, книгу и портфель. Доктор Фальтернфельс писал и улыбался; его бутерброд лежал, наполовину развернутый; его собака издохла. Пнин спустился унылой лестницей и прошел через Музей Ваяния. Дом Гуманитарных Наук, в котором, впрочем, гнездились также Орнитология с Антропологией, соединялся ажурной, рококошной галереей с другим кирпичным строением — Фриз-Холлом, вмещающим столовые и преподавательский клуб; галерея отлого шла вверх, затем круто сворачивала и спускалась, теряясь в устоявшемся запахе картофельных хлопьев, в печали сбалансированного питания. В летнее время ее решетки оживлял трепет цветов, ныне же ледяной ветер насквозь продувал их наготу, и кто-то натянул подобранную красную варежку на носик помертвелого фонтана, стоявшего там, где одно из ответвлений галереи уходило к Дому президента.

Президент Пур, высокий, медлительный, пожилой господин в темных очках, года два назад начал терять зрение

и теперь ослеп почти полностью. Однако каждый день он с постоянством небесного светила приходил в Фриз-Холл, ведомый племянницей и секретаршей; являя фигуру почти античного величия, он шел в своем личном мраке к невидимому лэнчу, и хоть все давно привыкли к этим трагическим появлениям, тень тишины всякий раз повисала над залом, когда его подводили к резному креслу и он ощупывал край стола; и странно было видеть на стене прямо за ним его стилизованное подобие в сиреневом двубортном костюме и в туфлях цвета красного дерева, уставившее сияющие фуксиновые глаза на свитки, которые вручали ему Рихард Вагнер, Достоевский и Конфуций, — группа эта была лет десять назад вписана Олегом Комаровым с отделения изящных искусств в знаменитую фреску Ланга 1938 года, на которой вкруг всей обеденной залы шествовала пышная процессия исторических персонажей вперемешку с преподавателями Вайнделла.

Пнин, желавший кое о чем спросить соплеменника, сел рядом с ним. Этот Комаров, сын донского казака, был коротышкой с короткой же стрижкой и с ноздрями "мертвой головы". Он и Серафима — его крупная и веселая москвичка-жена, носившая тибетский талисман на свисавшей к вместительному мягкому животу длинной серебряной цепочке, — время от времени закатывали русские вечера с русскими hors d'oeuvres[1], гитарной музыкой и более или менее поддельными народными песнями, — предоставляя застенчивым аспирантам возможность изучать ритуалы "vodka-drinking"[2] и иные замшелые национальные обряды; и встречая после этих празднеств неприветливого Пнина, Серафима с Олегом (она возводила очи горе, а он свои прикрывал ладонью) лепетали с трепетным самоумилением: "Господи, сколько мы им даем!" — под словом "им" разумелось отсталое американское население. Только другой русский мог понять, какую реакционно-советофильскую смесь являли собой псевдокрасочные Комаровы, для которых идеальная Россия состояла из Красной Армии,

---

[1] Закуски (*фр.*).

[2] "Питие водки" (*англ.*).

помазанника Божия, колхозов, антропософии, Православной Церкви и гидроэлектростанций. Обыкновенно Пнин и Комаров находились в состоянии приглушенной войны, но встречи были неизбежны, и те из их американских коллег, что видели в Комаровых "грандиозных людей" и передразнивали забавника Пнина, пребывали в уверенности, что художника с Пниным — водой не разольешь.

Трудно было бы сказать, не прибегая к некоторым весьма специальным тестам, который из двух — Пнин или Комаров — хуже говорил по-английски; всего вероятней — Пнин; но по причинам возраста, общей образованности и несколько более длительного пребывания в американских гражданах Пнин находил возможным поправлять английские обороты, часто вставляемые в свою речь Комаровым, и Комарова это бесило даже сильнее, чем "антикварный либерализм" Пнина.

— Слушайте, Комаров, — сказал Пнин (довольно невежливое обращение). — Я никак не возьму в толк, кому здесь могла понадобиться эта книга, — ведь не моим же студентам; впрочем, если даже и вам, я все равно не понимаю — зачем.

— Мне — нет, — ответил, взглянув на книгу, Комаров. — Not interested[1], — добавил он по-английски.

Пнин молча пошевелил губами и нижней челюстью, желая что-то сказать, однако не сказал и углубился в салат.

6

Поскольку сегодня был вторник, он мог сразу после лэнча отправиться в свой любимый приют и остаться там до обеда. Никакие галереи не соединяли библиотеку Вайнделлского колледжа с другими строениями, но с сердцем Пнина она соединялась крепко и сокровенно. Он шел мимо огромной бронзовой фигуры первого президента колледжа Альфеуса Фриза — в спортивной кепке и бриджах, державшего за рога бронзовый велосипед, на который он,

[1] Не интересуюсь (*англ.*).

судя по положению его левой ноги, навеки прилипшей к левой педали, вечно пытался взобраться. Снег лежал на седле, снег лежал и в нелепой корзинке, которую недавние шалуны прицепили к рулю. "Хулиганы", — пропыхтел Пнин, покачав головой, и слегка оскользнулся на одной из плиток дорожки, круто спускавшейся по травянистому скату между безлиственных ильмов. Помимо большой книги под правой рукой, он нес в левой свой старый, европейского вида черный портфель и мерно помахивал им, держа за кожаную хватку и вышагивая к своим книгам, в свой скрипториум среди стеллажей, в рай российской премудрости.

Эллиптическая голубиная стая в круговом полете, серея на взлете, белея на хлопотливом спуске и снова серея, прошла колесом по ясному бледному небу над библиотекой колледжа. Скорбно, будто в степи, свистнул далекий поезд. Тощая белка метнулась через облитый солнцем снежный лоскут, где тень ствола, оливково-зеленая на мураве, становилась ненадолго серовато-голубой, само же дерево с живым скребущим звуком поднималось, голое, в небо, по которому в третий и в последний раз пронеслась голубиная стая. Белка, уже невидимая в развилке, залопотала, браня познедеев, возмечтавших выжить ее с дерева. Пнин опять поскользнулся на черном льду мощеной дорожки, махнул от внезапного встряха рукой и с улыбкой пустынника наклонился, чтобы поднять "Зол. Фонд Лит.", который лежал, широко раскрывшись на снимке русского выгона с Львом Толстым, устало бредущим на камеру, и долгогривыми лошадьми за его спиной, тоже повернувшими к фотографу свои невинные головы.

"В бою ли, в странствии, в волнах"? Иль в кампусе Вайнделла? Слегка пошевеливая зубными протезами, на которые налипла пленочка творога, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки.

Подобно многим пожилым преподавателям колледжа, Пнин давно уже перестал замечать студентов — в кампусе, в коридоре, в библиотеке, — словом, где бы то ни было, за вычетом их функциональных скоплений в классах. Поначалу его сильно печалил вид кое-кого из них, крепко

спавших среди развалин Знания, уронив бедные молодые головы на скрещенные руки; теперь он никого не видел в читальне, разве что попадались там и сям пригожие девичьи затылки.

За абонементным столом сидела миссис Тейер. Ее матушка приходилась двоюродной сестрой матери миссис Клементс.

— Как поживаете, профессор Пнин?

— Очень хорошо, миссис Файр.

— Лоренс и Джоан еще не вернулись?

— Нет. Я принес назад эту книгу, потому что получил эту карточку...

— Неужели бедняжка Изабель и вправду разводится?

— Не слышал об этом. Миссис Файр, позвольте мне спросить...

— Боюсь, если они вернутся с ней, нам придется искать для вас другую комнату.

— Да позвольте же мне задать вопрос, миссис Файр. Эта карточка, которую я получил вчера, — может быть, вы мне скажете, кто этот другой читатель.

— Сейчас посмотрю.

Она посмотрела. Другим читателем оказался Тимофей Пнин: том 18 был им затребован в прошлую пятницу. Верно было также и то, что том 18 был уже выдан тому же Пнину, который держал его с Рождества и который стоял сейчас, возложив на него руки и напоминая судью с родового портрета.

— Не может быть! — вскричал Пнин. — В пятницу я заказывал том 19 за 1947 год, а не том 18 за 1940-й.

— Но посмотрите, вы написали "том 18". Во всяком случае, 19-й пока регистрируется. Этот вы оставите у себя?

— 18-й, 19-й, — бормотал Пнин. — Велика разница! Год-то я правильно написал, вот что важно! Да, 18-й мне еще нужен, и пришлите мне открытку потолковее, когда получите 19-й.

Негромко ворча, он отнес громоздкий, сконфуженный том в свой альков и сложил его там, обернув шарфом.

Они просто читать не умеют, эти женщины. Год же был ясно указан.

Как обычно, он отправился в зал периодики и просмотрел новости в последнем (суббота, 12 февраля, — а нынче вторник, о небрежный читатель!) номере русской газеты, с 1918 года ежедневно выпускаемой в Чикаго русскими эмигрантами. Как обычно, он внимательно изучил объявления. Доктор Попов, сфотографированный в новом белом халате, сулил пожилым людям новые силы и радости. Музыкальная фирма перечисляла поступившие в продажу русские граммофонные записи, например "Разбитая жизнь. Вальс" и "Песенка фронтового шофера". Отчасти припахивающий Гоголем гробовщик расхваливал свои катафалки de luxe[1], пригодные также для пикников. Другой гоголевский персонаж, из Майями, предлагал "двухкомнатную квартиру для трезвых среди цветов и фруктовых деревьев", тогда как в Хэммонде комната мечтательно предлагалась "в небольшой тихой семье", — и без какой-либо особой причины читающий вдруг с пылкой и смехотворной ясностью увидел своих родителей — доктора Павла Пнина и Валерию Пнину, его с медицинским журналом, ее с политическим обзором, — сидящими в креслах друг к дружке лицом в маленькой, весело освещенной гостиной на Галерной, в Петербурге, сорок лет тому назад.

Изучил он и очередной кусок страшно длинного и скучного препирательства между тремя эмигрантскими фракциями. Началось все с того, что фракция А обвинила фракцию Б в инертности и проиллюстрировала обвинение пословицей "Хочется на елку влезть, да боится на иголку сесть". В ответ появилось ядовитое письмо к редактору от "Старого Оптимиста", озаглавленное "Елки и инертность" и начинавшееся так: "Есть старая американская пословица, гласящая: 'Тому, кто живет в стеклянном доме, не стоит пытаться убить одним камнем двух птиц'". Теперешний номер газеты содержал фельетон на две тысячи слов — вклад представителя фракции В, — названный "О елках, стеклянных домах и оптимизме", и Пнин прочитал его с большим интересом и сочувствием.

---

[1] Роскошный (*фр.*).

Затем он вернулся в свою кабинку, к собственным изысканиям.

Он замыслил написать "Малую историю" русской культуры, в которой российские несуразицы, обычаи, литературные анекдоты и тому подобное были бы подобраны так, чтобы отразить в миниатюре "Большую историю" — основное сцепление событий. Пока он находился на благословенной стадии сбора материала, и многие достойные молодые люди почитали для себя за честь и удовольствие наблюдать, как Пнин вытягивает каталожный ящик из обширной пазухи картотеки, несет его, словно большой орех, в укромный уголок и там тихо вкушает духовную пищу, то шевеля губами в безгласных комментариях — критических, озадаченных, удовлетворенных, — то подымая рудиментарные брови и забывая их опустить, и они остаются на просторном челе еще долгое время после того, как теряются все следы неудовольствия и сомнения. С Вайнделлом ему повезло. Превосходный библиофил и славист Джон Тэрстон Тодд (чей бородатый бронзовый бюст возвышался над питьевым фонтанчиком) навестил в девяностых годах гостеприимную Россию, а после его смерти книги, которые он во множестве вывез оттуда, тихо спланировали на дальние стеллажи. Натянув резиновые перчатки, дабы его не ужалило скрытое в металлических полках американское электричество, Пнин приходил к этим книгам и вожделенно их созерцал: малоизвестные журналы ревущих шестидесятых в мрамористых обложках, исторические монографии столетней давности с бурыми пятнами плесени на усыпительных страницах, русские классики в ужасных и трогательных камеевых переплетах с тиснеными профилями поэтов, напоминавшими влажноочитому Тимофею о детстве, в котором праздные пальцы его блуждали по книжной обложке со слегка потертой пушкинской бакенбардой или запачканным носом Жуковского.

Сегодня он начал (с отнюдь не горестным вздохом) выписывать из посвященного русским сказаниям объемистого труда Костромского (Москва, 1855), — редкая книга, из библиотеки не выдается, — место, где говорится о ста-

ринных языческих игрищах, которые все еще совершались о ту пору по дремучим верховьям Волги в дополнение к христианским обрядам. Во всю праздничную неделю мая — так называемую Зеленую неделю, потом уже ставшую неделей Пятидесятницы, — сельские девушки плели венки из лютиков и жабника и, распевая обрывки древних любовных заклинаний, вешали эти венки на прибрежные ивы, а в Троицын день венки стряхивались в реку и, расплетаясь, плыли, словно змеи, и девушки плавали среди них и пели.

Тут странное словесное сходство поразило Пнина, он не успел ухватить его за русалочий хвост, но сделал пометку в справочной карточке и вновь нырнул в Костромского.

Когда Пнин снова поднял глаза, наступил уже час обеда.

Сняв очки, он протер костяшками державшей их руки свои голые, усталые глаза и, все еще погруженный в мысли, уставил кроткий взгляд на окно вверху, где постепенно проступал, размывая его размышления, фиалковый сумеречный воздух с серебристым оттиском потолочных флуоресцентных ламп и среди черных паучьих сучьев отражалась шеренга ярких книжных корешков.

Прежде чем покинуть библиотеку, он решил проверить, как произносится слово "interested", и обнаружил, что Уэбстер или по крайней мере его потрепанное издание 1930 года, лежавшее на столе в справочном зале, помещает ударение не на третий слог, — в отличие от него. Пнин поискал в конце список опечаток, не нашел такового и, закрыв слоноподобный словарь, с внезапным страхом сообразил, что где-то внутри его осталась в заточении справочная карточка с заметками, которую он так и держал в руке. Теперь придется искать и искать — среди 2500 тонких страниц, из которых иные разорваны! Услышав его восклицание, учтивый м-р Кейс — долговязый, розоволицый библиотекарь с прилизанными белыми волосами и в галстуке бабочкой — приблизился, приподнял колосса за обложки, перевернул и слегка встряхнул, отчего тот извергнул карманный гребешок, рождественскую открытку, заметки Пнина и призрачно-прозрачный листок папиросной бумаги, который с бесконечной медлительностью ниспал к

ногам Пнина и был затем водворен м-ром Кейсом поверх Больших Печатей Соединенных Штатов и Их Территорий.

Пнин уложил справочную карточку в карман и при этом безо всякой подсказки вспомнил то, чего не сумел припомнить недавно:

...плыла и пела, пела и плыла...

Конечно! Смерть Офелии! "Гамлет"! В добром старом русском переводе Андрея Кронеберга 1844 года, бывшем отрадой юности Пнина и его отца и деда! И здесь, так же как в пассаже Костромского, присутствуют, как помнится, ивы и венки. Где бы, однако, это проверить как следует? Увы, "Гамлет" Вильяма Шекспира не был приобретен мистером Тоддом, он отсутствовал в библиотеке Вайнделлского колледжа, а сколько бы раз вы ни выискивали что-либо в английской версии, вам никогда не приходилось встречать той или другой благородной, прекрасной, звучной строки, которая на всю жизнь врезалась в вашу память при чтении текста Кронеберга в великолепном издании Венгерова. Печально!

Уже совсем стемнело в печальном кампусе. Над дальними, еще более печальными холмами замешкалось под кучами туч небо густого черепашьего цвета. Душераздирающие огни Вайнделлвилля дрожали в складке этих сумеречных холмов и, по обыкновению, притворялись волшебными, хотя в действительности, как хорошо знал Пнин, городок, ежели до него добраться, окажется всего лишь шеренгой кирпичных домов с заправочной станцией, катком и супермаркетом. Шагая к маленькой таверне на Лайбрери-лэйн, к большой порции виргинской ветчины и доброй бутылке пива, Пнин внезапно ощутил ужасную усталость. Не только том "Зол. Фонда" отяжелел после ненужного посещения библиотеки, но и что-то еще, днем пропущенное Пниным мимо ушей, теперь томило и тяготило его, как тяготят нас задним числом глупости, которые мы совершили, грубости, до которых себя допустили, или угрозы, которыми предпочли пренебречь.

7

Сидя над второй неспешной бутылкой, Пнин обговаривал сам с собой следующий свой шаг или, вернее, выступал посредником в переговорах между Пниным, у которого устала голова и который плохо спал в последнее время, и ненасытимым Пниным, желавшим, по обыкновению, продолжить чтение дома до той поры, пока двухчасовой товарный не застонет, поднимаясь долиной. Было решено наконец, что он ляжет спать сразу после посещения программы, представляемой в Новом холле каждый второй вторник энергичными Кристоффером и Луизой Старр и состоящей из довольно мудреной музыки и редких фильмов, — программы, которую в прошлом году президент Пур назвал, отвечая на некую нелепую критику, — "возможно, наиболее вдохновенным и вдохновляющим из предприятий, осуществляемых в нашем академическом сообществе в целом".

"ЗФЛ" мирно спал на коленях Пнина. Слева от него сидели двое студентов-индусов. Справа — дочь профессора Гагена, горластая девица, изучающая драматургию. Комаров, благодарение Богу, уселся слишком далеко позади, чтобы сюда смогли донестись его навряд ли интересные замечания.

Первая часть программы (три дряхлые короткометражки) навеяла скуку на нашего друга: эта тросточка, этот котелок, это бледное лицо, эти черные дугообразные брови, эти подергивающиеся ноздри не производили на него ни малейшего впечатления. Плясал ли несравненный комедиант с увенчанными цветами нимфами под солнцем, рядом с заждавшимся кактусом, или был доисторическим человеком (с гибкой дубиной взамен гибкой трости), или его пожирал глазами здоровенный Мак Свейн посреди лихорадочного ночного клуба, старомодный, безъюморный Пнин оставался безучастным. "Клоун, — ворчал он себе под нос, — даже Глупышкин с Максом Линдером были смешнее".

Вторую часть программы составил документальный советский фильм, сделанный в конце сороковых годов.

Предполагалось, что в нем нет ни капельки пропаганды, а одно только чистое искусство, радость и эйфория гордого труда. Нечесаные статные девушки маршировали во время древнего Праздника Весны со штандартами, на которых были начертаны строки старинных русских песен вроде: “Руки прочь от Кореи”, “Bas les mains devant la Corée”, “La paz vencera a la guerra”, “Der Friede beseigt den Krief”[1]. Санитарный самолет перебирался в Таджикистане через заснеженный хребет. Киргизские актеры посещали санаторию горняков и давали под пальмами импровизированное представление. С горного пастбища где-то в легендарной Осетии пастух по портативному радио докладывал Министру сельского хозяйства тамошней Республики о рождении ягненка. Мерцало Московское метро, его колонны и статуи, и шестеро предположительных пассажиров сидели по мраморным скамьям. Семья заводского рабочего, приодевшись, коротала тихий вечерок дома, посреди гостиной, тесной от декоративных растений, под громадным шелковым абажуром. Восемь тысяч футбольных болельщиков смотрели матч между “Торпедо” и “Динамо”. Восемь тысяч граждан на Московском заводе электроаппаратуры единодушно избирали товарища Сталина кандидатом в депутаты от Сталинского избирательного округа Москвы. Новейшая пассажирская модель “ЗИМ’а” с семьей заводского рабочего и еще кой-какими людьми отъезжала на загородный пикник. И тут...

“Я не должен, не должен, ох, какое идиотство”, — твердил себе Пнин, чувствуя, как безотчетно, смехотворно, унизительно исторгают его слезные железы горячую, детскую, неодолимую влагу.

В солнечном мареве — парные лучи стояли между белых стволов берез, проливались сквозь колеблющуюся листву, петлистыми пятнами дрожали на коре, стекая в высокие травы, дымясь и сверкая в призрачных, немного нечетких

---

[1] “Руки прочь от Кореи” (*искаж. фр.*), “Мир победит войну” (*искаж. исп.*), “Мир победит войну” (*нем.*, с ошибкой в слове Krieg).

гроздьях цветущей черемухи, — лесная русская глушь приняла в себя путника. По ней тянулась старая лесная дорога с двумя мягкими колеями и безостановочным движением грибов и ромашек. В сознании путника, устало бредущего в свое анахроническое жилище, он все еще шел по этой дороге; он снова был юношей, шагающим по лесу с толстой книгой подмышкой, дорога выводила его в романтическое, вольное, возлюбленное сияние огромного, не скошенного временем поля (кони прыжками уходили в стороны, хлеща серебристыми гривами по высоким цветам), а дремота уже одолевала Пнина, который теперь уютно свернулся в постели с тикающей и такающей на ночном столике четою будильников — один на 7.30, другой на 8.00.

Комаров в небесно-синей рубахе склонился, настраивая гитару. Праздновался день рождения, и спокойный Сталин с глухим стуком опускал свой бюллетень на выборах правящих гробоносителей. В бою ли, в стран... в волнах или в Вайнделле... "Вандерфул!" — сказал доктор Бодо фон Фальтернфельс, поднимая голову от писанины.

Пнин почти уже провалился в бархатное забытье, когда снаружи случилось что-то ужасное: стеная и хватаясь за лоб, статуя преувеличенно хлопотала над сломанным бронзовым колесом, — и Пнин пробудился, и караван огней и горбатых теней прошел по оконным занавесям. Хлопнула дверца автомобиля, машина отъехала, ключ отомкнул хрупкий сквозистый дом, заговорили три трепещущих голоса, вздрогнув, осветились дом и щель под дверью Пнина. Это была горячка, инфекция. В страхе и в немощи, беззубый, одетый в ночную сорочку Пнин услыхал, как поскакал по лестнице вверх чемодан, — на одной ноге, но очень ретиво, — и по той же, столь им знакомой лестнице взлетела пара юных ног, и уж различалось нетерпеливое дыхание... И впрямь, наверное, машинальное воскрешение счастливых воспоминаний о возвращении домой из скучных летних лагерей заставило бы Изабель пинком ноги распахнуть свою — Пнинову — дверь, не останови ее вовремя остерегающий оклик матери.

Глава четвертая

1

Король, его отец, в белой-белой спортивной рубашке с отложным воротником и черном-черном блейзере сидел за просторным столом, чья полированная поверхность удваивала, перевернув, верхнюю половину тела, превращая его в подобие фигурной карты. По стенам огромной, в деревянных панелях, комнаты темнели портреты предков. В остальном она мало чем отличалась от кабинета директора школы Св. Варфоломея, находящейся на побережье Атлантики — примерно в трех тысячах миль к западу от воображаемого Дворца. Обильный весенний ливень хлестал по французским окнам, за которыми, куда ни глянь, дрожала и дымилась зеленая молодая листва. Казалось, ничто, кроме пелены дождя, не отделяет и не защищает Дворец от революции, которая вот уже несколько дней сотрясала город... На самом деле отцом Виктора был чудаковатый беженец-доктор, которого он никогда особенно не любил и которого не видел теперь уже почти два года.

Король, его более приемлемый отец, принял решение не отрекаться. Газеты не выходили. Восточный Экспресс со всеми его транзитными пассажирами застрял на пригородной станции, картинные пейзане стояли на дебаркадере, отражаясь в лужах и глазея на занавешенные окна длинных загадочных вагонов. Дворец с его террасными садами, и город под дворцовым холмом, и главная площадь города, где, несмотря на погоду, уже рубили головы и плясал народ, — все это находилось в самом центре креста, поперечины коего обрывались в Триесте, Граце, Будапеште и Загребе, как показывает "Справочный атлас мира" Рэнда Мак-Нэлли. А в самом центре этого центра сидел Король, спокойный и бледный и в целом довольно похожий на

сына, каким этот подросток воображал себя в свои сорок лет. Спокойный и бледный, с чашкой кофе в руке, Король сидел спиной к изумрудово-серому окну и слушал не снявшего маски посланца — дородного пожилого вельможу в мокром плаще, сумевшего сквозь дождь и мятеж проскользнуть из осажденного Государственного Совета в отрезанный от мира Дворец.

— Абдикация! Добрая треть алфавита! — с легким акцентом холодно и язвительно молвил Король. — Я отвечаю — нет. Предпочитаю неизвестную величину изгнания.

Сказавши так, вдовый Король взглянул на настольную фотографию прекрасной женщины (ныне покойной), на ее огромные голубые глаза, на карминовый рот (фото было цветным, негоже для Короля, ну да ладно). Ветви сирени, расцветшей внезапно и преждевременно, буйно бились в обрызганные дождем стекла, словно маски, не допущенные на бал. Старый посланец поклонился и побрел по пустоши кабинета назад, втайне раздумывая, не умнее ли будет оставить в покое историю и удрать в Вену, где у него имелась кое-какая недвижимость... Конечно, мать Виктора на самом-то деле вовсе не умерла; она разошлась с его отцом, доктором Эриком Виндом (ныне проживающим в Южной Америке) и вот-вот собиралась выйти в Буффало замуж за человека по фамилии Черч.

Ночь за ночью Виктор погружался в эти легкие мечтания, стараясь приманить сон в свою холодную нишу, куда из неугомонного дортуара долетал каждый звук. Обычно он не успевал добраться до решающего эпизода бегства, когда Король, в одиночестве — solus rex[1] (как именуют одинокого короля шахматные композиторы), — мерил шагами берег Богемского моря на мысе Бурь, где обещал ожидать его в мощной моторной лодке Персиваль Блейк, развеселый американец-авантюрист. В сущности, сама отсрочка этого волнующего и утешительного эпизода, само продленье соблазна, венчающего раз от разу повторявшиеся фантазии, и образовывали основной механизм усыпительного воздействия.

---

[1] Одинокий король (*лат.*).

Снятый в Берлине для американской аудитории итальянский фильм, в котором мальчишку с обезумевшим взором и в мятых шортах гнал по трущобам, развалинам и борделям многократный агент; версия "Очного цвета", недавно поставленная в соседней женской школе Св. Марфы; анонимный кафкианский рассказ, напечатанный в журнале ci-devant avant-garde[1] и прочитанный в классе мистером Пеннантом, меланхолическим англичанином "с прошлым"; и не в последнюю очередь обрывки семейных преданий о давнем (тому уже тридцать пять лет) бегстве русских интеллигентов от ленинского режима — вот очевидные источники Викторовых фантазий; одно время они сильно его волновали, но ныне приобрели характер чисто утилитарный — простого и приятного снотворного средства.

2

Ему уже исполнилось четырнадцать, но выглядит он на два-три года старше, — и не из-за высокого роста (в нем около шести футов), а вследствие непринужденной легкости манер, выражения дружелюбной обособленности на простом, но приятном лице и полного отсутствия неуклюжести или скованности, что, отнюдь не исключая сдержанности либо скромности, сообщает нечто солнечное застенчивой и независимой вежливости его спокойной повадки. Сидевшая под левым глазом коричневая родинка размером почти в цент подчеркивала бледность щек. Не думаю, чтобы он кого-то любил.

Страстная детская привязанность давно сменилась в его отношении к матери нежной снисходительностью, и когда она на гладком и мишурном нью-йоркском английском с металлически-резкими носовыми тонами и мягкими провалами в пушистые руссицизмы потчевала при нем посторонних рассказами, которые он слышал бессчетное множество раз и которые были либо чересчур приукрашены, либо

[1] Некогда авангардный (*фр.*).

весьма неточны, все, что он позволял себе, — это тайный вздох усмешливого смиренья. Хуже приходилось, когда доктор Эрик Винд, напрочь лишенный юмора педант, веривший в безупречную чистоту своего английского языка (усвоенного в немецкой гимназии), важно выкладывал перед теми же посторонними замшелые остроты, именуя океан "бассейном" с убежденным и лукавым выражением человека, в виде драгоценного дара подносящего слушателю пикантный оборот. Родители изо всей их психотерапевтической мочи изображали Лая с Йокастой, но мальчик оказался довольно посредственным Эдипчиком. Дабы не усложнять модного треугольника фрейдистической любовной интриги (мать—отец—дитя), первый Лизин муж не упоминался вообще. И только когда супружество Виндов стало разваливаться, примерно в то время, как Виктора записали в школу Св. Варфоломея, Лиза сообщила ему, что она, прежде чем покинуть Европу, называлась госпожою Пниной. Она рассказала, что первый ее муж также перебрался в Америку, что фактически Виктор скоро увидится с ним, а поскольку все, о чем невнятно толковала Лиза (широко раскрывая лучистые, в черных ресницах голубые глаза), неукоснительно приобретало налет прелести и тайны, фигура великого Тимофея Пнина, ученого и джентльмена, преподающего практически мертвый язык в знаменитом Вайнделлском университете, находившемся примерно в трехстах милях к северо-западу от Св. Варфоломея, приобрела в гостеприимном сознании Виктора удивительное обаяние, родовое сходство с теми болгарскими царями и средиземными принцами, что были всемирно известными знатоками бабочек или морских раковин. Поэтому он обрадовался, когда профессор Пнин вступил с ним в серьезную и чинную переписку: за первым письмом, составленным на прелестном французском, но очень неважно отпечатанным, последовала красочная открытка с изображением "белки серой". Открытка принадлежала к познавательной серии "Наши млекопитающие и птицы", которую Пнин приобрел целиком специально для этой переписки. Виктор с удовольствием узнал, что название "squirrel" (белка) происходит от греческого слова, означающего

"тенехвостая". Пнин пригласил Виктора на ближайшие каникулы в гости и проинформировал мальчика, что встретит его на автобусной станции Вайнделла. "Чтобы быть признанным, — писал по-английски Пнин, — я появлюсь в темных очках и с черным портфелем в руках с моей серебряной монограммой".

3

И Эрика, и Лизу Винд болезненно занимала наследственность, и вместо того чтобы радоваться художественному дарованию Виктора, они сумрачно тревожились по поводу ее родовых корней. Искусство и наука были довольно живо представлены в унаследованном им прошлом. Следовало ли отнести пристрастие Виктора к краскам на счет Ганса Андерсена (никакого родства со снотворным датчанином), бывшего в Любеке витражным художником, пока он не спятил (вообразив себя кафедральным собором) вскоре после того, как его любимая дочь вышла за седого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах и деда Эрика по материнской линии? Или Викторова почти патологическая точность во владении карандашом и пером явилась побочным продуктом боголеповской учености? Ибо прадедом матери Виктора (и седьмым сыном деревенского батюшки) был не кто иной, как тот самый редкостный гений, Феофилакт Боголепов, у которого один лишь Николай Лобачевский и мог оспорить звание величайшего русского математика. Остается только гадать.

Гений — это несхожесть. Двух лет от роду Виктор не чертил спиралистых загогулин, пытаясь изобразить пуговицу или иллюминатор, как делают миллионы детей, — а у тебя почему не так? Он любовно выводил круги — совершенно круглые и совершенно замкнутые. Трехлетний ребенок, когда его просят срисовать квадрат, изображает один сносный угол, а все прочее удовлетворенно передает волнистой или скругленной чертой; Виктор же в три года не только с презрительной точностью воспроизвел далеко не идеальный квадратик, изображенный исследователем (д-р Лайза Винд), но и добавил рядом с копией другой —

поменьше. Он так и не прошел той начальной стадии графической активности, на которой дети рисуют "Kopffüssler'ов" (головастиков) или шалтаев-болтаев с L-образными ножками и с руками, заканчивающимися грабельными зубьями; собственно говоря, он вообще избегал изображать человеческие фигуры, и когда папа (д-р Эрик Винд) заставил его нарисовать маму (д-р Лайза Винд), он отозвался прелестной волной, сообщив, что это — мамина тень на новом холодильнике. В четыре года он выдумал собственный способ штриховки. В пять начал рисовать предметы в перспективе: точный ракурс боковой стены, карликовое деревце вдали, один предмет полузаслоняет другой. А в шесть Виктор уже различал то, чего многие взрослые так и не научаются видеть, — оттенки теней, разницу в цвете между тенью от апельсина и тенью от сливы или плода авокадо.

Для Виндов Виктор был трудным ребенком постольку, поскольку он таковым быть отказывался. С точки зрения Винда, каждому мальчику свойственны пылкое стремление оскопить своего отца и ностальгическая потребность вновь войти в материнское лоно. Однако Виктор не обнаруживал никаких поведенческих отклонений — в носу не ковырял, большого пальца не сосал и даже ногтей не обкусывал. Д-р Винд, дабы избегнуть того, что он, будучи радиофилом, именовал "статическими наводками личностного родства", подверг своего неприступного сына психометрическому тестированию, проведенному в Институте двумя сторонними лицами — молодым д-ром Стерном и его улыбчивой женой ("Я — Луис, а это Кристина"). Результаты, впрочем, оказались не то пугающими, не то нулевыми: семилетний субъект проявил в так называемом "Тесте на изображение животных" Годунова сенсационное умственное развитие семнадцатилетнего юноши, когда же ему был предъявлен так называемый "Тест для подростков" Фэрвью, соответствующий показатель быстро съехал до уровня двух лет. Сколько трудов, мастерства и выдумки потрачено на разработку этих изумительных методов! А некоторые пациенты совсем не желают сотрудничать, просто позор! Существует, к примеру, "Тест на абсолютно

свободные ассоциации” Кента-Розанофф, в котором малютку Джо или Джейн просят откликаться на “стимулирующие слова”, каковы “стол”, “утка”, “музыка”, “тошнота”, “толщина”, “низкий”, “глубокий”, “длинный”, “блаженство”, “плод”, “мать”, “гриб”. Существует очаровательная игра “Любопытство-Позиция” Бьевра — утеха дождливых вечеров, — когда маленьких Сэма или Руби просят выставлять закорючки против названий тех вещей, которых он (она) побаивается, к примеру “смерть”, “падение”, “сновидение”, “циклоны”, “похороны”, “отец”, “ночь”, “операция”, “спальня”, “ванная”, “сливаться” и тому подобное; существует “Абстрактный тест” Августы Ангст, в котором малышке (das Kleine) приказывают изобразить, не отрывая руки, понятия из заданного списка (“стоны”, “наслаждение”, “темнота”). И, конечно, есть еще “Игра в куклы”, где маленьким Патрику или Патриции предлагают чету одинаковых резиновых куколок и хорошенький кусочек пластилина, — который Пат может приделать к одной из них перед тем, как она или он начинает игру, — а еще выдают красивенький кукольный домик, в котором так много комнат и масса изящных крошечных вещиц, включая ночной горшок размером не более желудевой чашечки, и домашнюю аптечку, и кочергу, и двуспальную кровать, и даже махонькие резиновые перчатки на кухне, и ты, детка, можешь быть совсем нехорошим(-ей) и делать с куклой-папой все, что захочешь, если тебе покажется, что она побила куклу-маму, когда в их спальне погас свет. Но дурной мальчик Виктор не пожелал играть с Лу и Тиной, он пренебрег куколками, он вычеркнул все перечисленные в списке слова (что вообще против правил) и сотворил рисунки, не имеющие вовсе никакого недочеловеческого значения.

Ничего, представлявшего хотя бы малейший интерес для терапевтов, не смог обнаружить Виктор и в тех прекрасных, да, *прекрасных!* кляксах Роршаха, в которых другие детишки видят (или обязаны видеть) самые разные вещи — репки, скрепки и поскребки, червей имбецильности, невротические стволы, эротические галоши, зонты или гантели. Опять-таки, и ни один из небрежных набросков

Виктора не представлял так называемой мандалы — термин, предположительно означающий (на санскрите) магический круг, — д-р Юнг и с ним иные прилагают его ко всякой каракульке, более-менее близкой по форме к четырехсторонней протяженной структуре, — таковы, например, ополовиненный манговый плод, или колесо, или крест, на котором "эго" распинаются, как морфо на расправилках, или, говоря совсем уже точно, молекула углерода с четверкой ее валентностей — эта главная химическая компонента мозга, машинально увеличиваемая и отображаемая на бумаге.

Стерны сообщали, что "к сожалению, психологическая ценность ментальных картин и словесных ассоциаций Виктора полностью затемняется художественными наклонностями мальчика". И с той поры маленькому пациенту Виндов, трудно засыпавшему и страдавшему отсутствием аппетита, разрешили читать в постели заполночь и уклоняться от утренней овсянки.

4

Планируя образование своего сына, Лиза разрывалась между двух либидо: потребностью оделить его новейшими благами современной детской психотерапии и стремлением найти среди американских систем религиозного отсчета наилучшее приближение к мелодическим и благотворным радостям православия, этого кроткого исповедания, чьи требования к личной совести столь малы в сравнении с утешениями, которые оно предлагает.

Сначала маленький Виктор попал в прогрессивный детский сад в Нью-Джерси, потом, по совету одних русских друзей, он посещал там же школу. Управлял школой священник епископальной церкви, зарекомендовавший себя благоразумным и способным учителем, снисходительным к одаренным детям, как бы ни были они чудачливы и скандальны; Виктор определенно был несколько странен, но зато очень тих. В двенадцать лет он перешел в школу Св. Варфоломея.

Внешне "Сен-Барт" представлял собой большую массу претенциозного красного кирпича, воздвигнутую в пригороде Крэнтона, штат Массачусетс, в 1869 году. Главное здание образовывало три стороны большого прямоугольника, четвертую составляла сводчатая галерея. Островерхую башенку над воротами, покрытую с одного боку лоснистым пятилистным плющом, несколько тяжеловесно венчал каменный кельтский крест. Ветер рябью бежал по плющу, как по конской спине. Напрасно считают, что со временем тон красного кирпича становится более сочным, — в добром старом Сен-Барте он становился лишь более грязным. Ниже креста и прямо над звучной на вид, но на деле совершенно лишенной эха входной аркой было изваяно что-то вроде кинжала, — попытка изобразить мясницкий нож, который так неодобрительно держит (в "Венском требнике") святой Варфоломей, один из Апостолов, — а именно тот, с которого содрали заживо кожу, оставив его на съедение мухам летом 65 года по Рождеству Христову или около того, в городе Албанополисе, ныне Дербенте, на юго-востоке России. Гроб его, выброшенный гневливым царем в Каспийское море, мирно приплыл на остров Липари, что у берегов Сицилии, — последнее, видимо, следует счесть легендой, особенно если принять во внимание, что Каспийское море еще со времен плейстоцена оставалось морем исключительно внутренним. Под этим геральдическим орудием, напоминавшим скорее нацеленную ввысь морковку, отполированные буквы английской готики выводили "Sursum"[1]. На мураве перед воротами обыкновенно дремали в своей приватной Аркадии две смирные английские овчарки, принадлежавшие одному из учителей и нежно друг к дружке привязанные.

Лизе при первом посещении школы все здесь очень понравилось, — от площадок для игры в "файвс" и часовни до гипсовых слепков по коридорам и снимков соборов в классных. Спальни трех младших классов были поделены на ниши, в каждой свое окно; в конце спальни располагалась комната воспитателя. Не мог посетитель не восхитить-

---

[1] Ввысь (*лат.*).

ся и прекрасным гимнастическим залом. Весьма также поражали воображение дубовые скамьи и подбалочный свод часовни, полстолетия назад сооруженной в романском стиле на средства Джулиуса Шонберга, шерстяного фабриканта и брата всемирно известного египтолога Сэмюеля Шонберга, погибшего при землетрясении в Мессине. В школе служили двадцать пять преподавателей и ректор — преподобный Арчибальд Хоппер, облачавшийся в теплые дни в элегантно-серое священническое одеяние и выполнявший свои обязанности в лучезарном неведении интриги, которая вот-вот грозила завершиться его низвержением.

5

Хотя верховным органом Виктора были глаза, общее представление о Сен-Барте проникло в его сознание большей частью через посредство обоняния и слуха. Затхлый, унылый запах старого лакированного дерева стоял в дортуарах, ночами звучали в нишах громкие гастрические взрывы, сопровождаемые нарочито усиленными особого рода взвизгами кроватных пружин, а по утрам (в 6.45) гудел в коридоре — над пустырем головной боли — звонок. Запах идолопоклонства и ладана исходил от курильницы, свисавшей на цепях и на цепных тенях с ребристого потолка часовни; звучал медовый голос преподобного Хоппера, тонко сплетавшего изысканности с вульгаризмами, звучал Гимн 166 “Солнце души моей”, который новичкам вменялось в обязанность заучивать наизусть, и несло по раздевалке застарелым потом из большой корзины на колесах, содержавшей общий запас гимнастических суспензориев, — противный серый клубок, из которого следовало выпутать для себя подвязку, надевавшуюся в начале спортивного часа, — и как печальны и резки казались вскрики, гроздьями долетавшие с каждой из четырех спортивных площадок!

Обладая коэффициентом интеллектуального развития под сто восемьдесят (при среднем в девяносто), Виктор легко стал первым из тридцати шести учеников класса,

собственно, — одним из трех лучших в школе. Он не испытывал особого уважения к большинству учителей, но почитал Лэйка — чудовищно толстого, с кустистыми бровями и волосатыми руками, принимавшего в присутствии спортивных, румяных мальчишек (Виктор не относился ни к тем ни к другим) вид угрюмого смущения. Похожий на Будду, Лэйк царил в удивительно опрятной студии, схожей больше с приемной в художественной галерее, чем с мастерской. Ничто не украшало ее бледно-серых стен, кроме двух картинок в одинаковых рамках: копии фотошедевра Гертруды Кэзебиер "Мать и дитя" (1897) с мечтательным, ангеловидным младенцем, смотрящим вверх и в сторону (на что?), и точно так же тонированной репродукции головы Христа с Рембрандтовых "Паломников на пути в Эммаус" с таким же, лишь чуть менее небесным выражением глаз и рта.

Он родился в Огайо, учился в Париже и в Риме, учил в Эквадоре и в Японии. Был признанным художественным экспертом, и многие диву давались, — что заставляло его на протяжении последних десяти лет хоронить себя в школе Св. Варфоломея? Одаренный угрюмым темпераментом гения, он был лишен оригинальности и сознавал это; его собственные полотна всегда казались замечательно тонкими имитациями, хотя никто и никогда не сумел бы с полной уверенностью сказать, чьей манере он подражает. Глубинное знание бесчисленных технических приемов, безразличие ко всякого рода "школам" и "течениям", отвращение к шарлатанам, убежденность, что не существует никакой решительно разницы между жантильной акварелью прошлого века и, скажем, условным неопластицизмом или банальной беспредметностью нынешнего, и что ничего, кроме личного дара, в счет не идет, — все это делало из него недюжинного учителя. В школе не испытывали особенного восторга ни от методов Лэйка, ни от результатов их применения, однако держали его, потому что наличие в штате по крайности одного знаменитого чудака есть свидетельство стиля. Среди множества утешающих душу вещей, которым учил Лэйк, было то, что расположение цветов солнечного спектра образует не замкнутый круг, но

спираль оттенков — от кадмиево-красного и оранжевых, через стронциево-желтый и бледную райскую зелень, к кобальтово-синему и лиловым, и здесь последовательность не переходит сызнова к красным, но вступает на новый виток, который начинается с лавандово-серого и теряется в золушкиных тенях, выходящих за пределы человеческого восприятия. Он учил, что не существует ни Мусорной школы, ни Мизерной школы, ни школы Мазутной. Что произведение искусства, созданное из веревки, почтовых марок, левой газетки и голубиного помета, имеет своей основой набор смертельно скучных банальностей. Что нет ничего пошлее и буржуазнее, чем паранойя. Что Дали — это, в сущности, брат-близнец Нормана Рокуэлла, украденный в детстве цыганами. Что Ван Гог второсортен, а Пикассо велик, несмотря на его коммерческий пунктик; и что если Дега сумел обессмертить calèche[1], то почему бы Виктору Винду не сделать того же для автомобиля?

Один из способов достичь этого состоял в том, чтобы заставить окрестный пейзаж пронизать автомобиль. Тут сгодился бы полированный черный седан, особенно припаркованный на пересечении обсаженной деревьями улицы с одним из тех грузноватых весенних небес, чьи обрюзглые серые облака и амебные кляксы синевы кажутся более вещественными, чем укромные ильмы и уклончивая мостовая. Разоймем теперь кузов машины на отдельные линии и плоскости и снова их сложим, переведя на язык отражений. Последние будут иными для каждой из частей: крыша покажет нам перевернутые деревья со смазанными ветвями, врастающими, подобно корням, в водянистую фотографию неба, где дом проплывает, как кит, — спохватной мыслью об архитектуре; одну из сторон капота загрунтует полоска густого небесного кобальта; тончайший узор черных веток отразится в заднем стекле; и замечательно пустынный вид — растянувшийся горизонт, далекий дом и одинокое дерево — вытянется вдоль бампера. Этот процесс подражания и слияния Лэйк называл необходимой "натурализацией" рукотворных вещей. На улицах Крэнтона

---

[1] Коляска (*фр.*).

Виктор находил подходящий автомобиль и несколько времени слонялся вокруг. Внезапное солнце — полускрытое, но слепящее — присоединялось к нему. Для того воровства, какое задумал Виктор, лучшего соучастника не найти. В хромированном покрытии, в оправленном солнцем стекле головных фар он видел улицу и себя самого достойными сравнения с микрокосмической версией комнаты (уменьшенные люди — вид сверху), возникавшей в особом, волшебно выпуклом зеркале, какими полтысячи лет тому пользовались Ван Эйк, Петрус Кристус и Мемлинг, вписывая себя в подробные интерьеры за спиною кислого торговца или домашней Мадонны.

В последний номер школьного журнала Виктор представил стихотворение о живописцах, подписанное псевдонимом "Муанэ" и с эпиграфом: "Следует вообще избегать дурных красных цветов, даже старательно изготовленные, они остаются дурными" (цитата из старой книги по технике живописи, неожиданно обернувшаяся политическим афоризмом). Начиналось оно так:

Leonardo! Strange diseases
strike at madders mixed with lead:
nun-pale now are Mona Lise's
lips that you had made so red[1].

Он мечтал смягчать (подобно Старым Мастерам) свои краски медом, фиговым соком, маковым маслом и слизью розовых улиток. Он любил акварель и масло, но побаивался слишком хрупкой пастели и слишком жесткой темперы. Он изучал свои материалы с тщанием и терпением ненасытного ребенка — одного из тех подмастерьев художника (это уже мечтается Лэйку!), коротко стриженного парнишки с яркими глазами, проводившего годы и годы, растирая краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского небописца, в мире янтаря и райской глазури. В восемь лет

[1] Леонардо! Странные хворобы / поражают морену, смешанную со свинцом: / монашески бледны губы Моны Лизы, / которые ты сделал столь красными (*англ.*).

он как-то сказал матери, что хочет написать воздух. В девять он познал чувственное наслаждение постепенной размывки. И что ему было до того, что эта нежная светотень, отпрыск приглушенных красок и прозрачных полутонов, давно уже померла за тюремной решеткой абстрактного искусства, в богадельне прескверного примитивизма? Он по очереди помещал предметы — яблоко, карандаш, шахматную пешку, гребешок — за стакан воды и испытующе вглядывался в каждый из них: красное яблоко превращалось в аккуратно вырезанную красную полоску, ограниченную прямым горизонтом, — полстакана Красного моря, Счастливая Аравия. Короткий карандаш, если его наклонить, изгибался подобно стилизованной змее, а удерживаемый стойком, становился чудовищно толстым — пирамидальным. Черная пешка, когда ее двигали взад-вперед, расщеплялась, оборачиваясь четою черных муравьев. Гребешок, поставленный на попа, заполнял стакан чудесно располосованной жидкостью — коктейлем "Зебра".

6

В канун того дня, когда собирался приехать Виктор, Пнин зашел в спортивный магазин на вайнделлской Мэйн-стрит и потребовал футбольный мяч. Требование было не по сезону, но мяч ему дали.

— Нет-нет, — сказал Пнин. — Мне не нужно яйца или, скажем, торпеды. Я хочу простой футбольный мяч. Круглый!

И посредством ладоней и запястий он очертил портативный земной шар. Это был тот самый жест, к которому Пнин прибегал на занятиях, рассказывая о "гармонической целостности" Пушкина.

Продавец поднял палец и молча принес мяч.

— Да, вот этот я куплю, —с величавым удовлетворением сказал Пнин.

Неся подмышкой покупку, обернутую в бурую бумагу и заклеенную скочем, он вошел в книжную лавку и спросил "Мартина Идена".

•

— Иден-Иден-Иден, — потирая лоб, быстро повторила высокая смуглая женщина. — Постойте, — вы имеете в виду не книгу о британском государственном деятеле? Или ее?

— Я имею в виду, — ответил Пнин, — знаменитое произведение — роман знаменитого американского писателя Джека Лондона.

— Лондон-Лондон-Лондон, — произнесла женщина, держась за виски.

Ей на помощь явился с трубкой в руке мистер Твид, ее муж, сочинитель стихов местного значения. После некоторых поисков он вынес из пыльных глубин своего не весьма процветающего магазина старое издание "Сына Волка".

— Боюсь, это все, — сказал он, — что у нас есть из книг данного автора.

— Странно! — сказал Пнин. — Превратности славы! В России, помнится, все — дети, взрослые, доктора, адвокаты, — все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но о'кэй, о'кэй, беру.

Воротившись в дом, где он снимал комнату в этом году, профессор Пнин выложил мяч и книгу на стол расположенной в верхнем этаже гостевой. Склонив набок голову, он оглядел дары. Бесформенно обернутый мяч выглядел не очень привлекательно, и Пнин его разоблачил. Показался красивый кожаный бок. Комната была опрятной, уютной. Школьнику наверняка понравится эта картинка, на которой снежок сбивает цилиндр с профессора. Постель только что застелила женщина, приходившая прибирать в доме; старый Билл Шеппард, владелец дома, поднялся с первого этажа и с важным видом ввинтил новую лампочку в настольную лампу. Теплый и влажный ветер протискивался в открытое окно, и слышался шум ручья, бурливо бегущего низом. Собирался дождь. Пнин затворил окно.

У себя в комнате, помещавшейся на этом же этаже, он обнаружил записку. По телефону передали лаконичную телеграмму от Виктора, сообщавшую, что он задержится ровно на двадцать четыре часа.

7

Виктора и еще пятерых мальчиков лишили одного бесценного дня пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Виктор, имевший слабый желудок и не имевший недостатка по части обонятельных фобий (каждую из которых он любовно скрывал от Виндов), на самом деле в курении не участвовал, если не считать двух-трех робких попыхиваний; несколько раз он покорно сопровождал на запретный чердак двух своих лучших друзей, безудержных авантюристов, — Тони Брэйда-младшего и Ланса Боке. Попасть туда можно было, пройдя кладовку и поднявшись затем по железной лесенке, выходившей на узкие мостки, шедшие прямо под кровлей. Здесь одновременно видимым и осязаемым становился чарующий, пугающе хрупкий скелет здания — доски и балки, путаница разгородок, слоистые тени, хлипкая дранка, сквозь которую нога проваливалась в трескучую штукатурку, опадавшую под ней с невидимого потолка. Лабиринт заканчивался маленькой платформой, подвешенной на крюках в амбразуре на самом верху декоративного фронтона, среди пестрой неразберихи затхлых комиксов и свежего сигарного пепла. Пепел обнаружили; мальчики повинились. Тони Брэйду, внуку прославленного ректора школы Св. Варфоломея, разрешили, учтя семейные обстоятельства, уехать: любящий кузен хотел повидаться с ним перед тем, как отплыть в Европу. Тони благоразумно попросил, чтобы его задержали наравне с остальными.

Как я уже говорил, ректором во времена Виктора был его преподобие м-р Хоппер — темноволосое, со свежим цветом лица, не лишенное приятности пустое место, пылко обожаемое бостонскими матронами. Пока Виктор и его преступные друзья обедали с семейством Хопперов, в их адрес время от времени отпускались, — особенно усердствовала сладкогласая миссис Хоппер, англичанка, тетушка которой вышла замуж за графа, — прозрачные намеки: его преподобие, весьма вероятно, смягчится и возьмет шестерых мальчуганов, в этот последний их вечер здесь, в город, в кино, вместо того чтобы отправить всех спать пораньше.

И вот, после обеда, дружески подмигнув, она предложила им следовать за его преподобием, бодро шагавшим к выходу.

Старомодные попечители школы, возможно, и склонны были предать забвению парочку порочек, которым Хоппер за время его короткой и ничем не примечательной карьеры подвергнул нескольких сугубых лиходеев; но не существует на свете мальчишки, который переварил бы подленькую ухмылку, искривившую красные губы ректора, когда тот приостановился на пути к вестибюлю, дабы прихватить аккуратно сложенную квадратом одежду — сутану и стихарь; автофургон ждал у дверей, и "подклепав кандалы", как выразились мальчики, вероломный служитель культа отвез их за двенадцать миль на выездную проповедь в Радберн, в промозглую кирпичную церковь, на показ тамошней худосочной пастве.

8

Теоретически из Крэнтона проще всего добраться до Вайнделла, взяв такси до Фреймингема, там сев в скорый поезд на Олбани, а в Олбани пересев в местный и проехав немного к северо-западу; на деле же этот простейший способ был также и наименее удобным. То ли между двумя железными дорогами существовала застарелая феодальная распря, то ли они сговорились предоставить честный спортивный шанс иным средствам передвижения, факт остается фактом: сколько бы вы ни тасовали расписания, трехчасовое ожидание в Олбани оставалось наикратчайшим из возможных.

Имелся еще автобус, уходивший из Олбани в 11 утра и приходивший в Вайнделл в 3 часа дня, но, чтобы попасть на него, пришлось бы выехать из Фреймингема поездом в 6.31, а Виктор знал, что так рано ему не подняться; вместо этого он отправился чуть более поздним и значительно более медленным поездом, позволявшим попасть в Олбани на последний автобус до Вайнделла; этот автобус и доставил его туда в половине девятого вечера.

На всем пути шел дождь. Дождь шел и на подступах к вайнделлскому вокзалу. Из-за присущей его натуре мечтательной и мягкой рассеянности Виктор во всякой очереди неизменно оказывался последним. Он давно уже свыкся с этим изъяном, как свыкаешься с хромотой или слабым зрением. Слегка ссутулясь из-за своего роста, он без нетерпения следовал за гуськом вытекавшими из автобуса на сверкающий асфальт пассажирами: две грузные старые дамы в полупрозрачных плащах, похожие на картофелины в целлофане, семи-восьмилетний стриженный ежиком мальчик с хрупкой, украшенной ямочкой шеей, многоугольный, стеснительный пожилой калека, который отверг постороннюю помощь и выбирался из автобуса по частям, троица румяных вайнделлских студенточек в брючках, доходивших до розовых коленок, измаянная мать мальчугана и еще пассажиры, а уж за ними — Виктор с саквояжем в руке и двумя журналами подмышкой.

Под аркой автобусной станции совершенно лысый мужчина, смугловатый, в темных очках и с черным портфелем, склонился в дружелюбных приветственных расспросах к мальчику с тонкой шеей, тот, однако, упрямо качал головой и указывал на мать, ожидавшую, когда из чрева "Грейхаунда" появится багаж. Весело и застенчиво Виктор прервал это quid pro quo[1]. Господин с коричневой лысиной снял очки и, разогнувшись, посмотрел вверх-вверх-вверх на долгого-долгого-долгого Виктора, на его голубые глаза и рыжевато-русые волосы. Развитые скуловые мускулы Пнина приподнялись, округлив загорелые щеки: лоб, нос, даже крупные красивые уши — все приняло участие в улыбке. В общем и целом встреча получилась весьма удовлетворительной.

Пнин предложил оставить багаж и пройтись один квартал, если Виктор не боится дождя (дождь лил, и асфальт, как каровое озеро, блестел в темноте под большими, шумливыми деревами). Поздний обед, рассудил Пнин, — это целый праздник для мальчика.

---

[1] Недоразумение, путаница (*лат.*).

— Ты хорошо доехал? Неприятных приключений не было?

— Никаких, сэр.

— Ты очень голоден?

— Нет, сэр. Не особенно.

— Меня зовут Тимофей, — сказал Пнин, когда они поудобнее уселись перед окном захудалого старого ресторанчика. — Второй слог произносится как "muff"[1], а ударение — на последнем слоге, "эй", как в слове "prey"[2], но немного протяжнее. "Тимофей Павлович Пнин", что означает "Тимоти, сын Пола". В отчестве ударение на первом слоге, а все остальное глотается, — Тимофей Палыч. Я долго сам с собой обсуждал этот вопрос, — давай протрем ножи и вилки, — и решил, что ты должен называть меня просто м-р Тим, или еще короче — Тим, как делает кое-кто из моих чрезвычайно симпатичных коллег. Это — ты что будешь есть? Телячью отбивную? О'кэй, я тоже съем телячью отбивную, — это, разумеется, уступка Америке, моей новой родине, чудесной Америке, которая порой поражает меня, но всегда внушает почтение. Поначалу я сильно смущался...

Поначалу Пнин сильно смущался легкостью, с которой в Америке перескакивают на манеру обращаться друг к дружке по именам: после одной-единственной вечеринки с айсбергом в капле виски для начала и со множеством виски, сдобренного каплей водопроводной воды под конец, ожидается, что ты теперь вечно будешь называть незнакомца с седыми висками "Джимом", а он тебя "Тимом". Если же ты забывался и наутро обращался к нему "профессор Эверет" (его настоящее имя для вас), это оказывалось (для него) жутким оскорблением. Перебирая своих русских друзей — по всей Европе и Соединенным Штатам, — Тимофей Палыч мог легко насчитать по малости шестьдесят близких ему людей, с которыми он был накоротке знаком года, скажем, с 1920-го и которых никогда не называл иначе как Вадим Вадимыч, Иван Христофорович

[1] Промах (*англ.*).
[2] Добыча (*англ.*).

или Самуил Израилевич, — каждого по-своему, разумеется, — и они, столь же тепло к нему расположенные, называли его по имени-отчеству, крепко пожимая при встрече руку: "А-а, Тимофей Палыч! Ну как? А вы, батенька, здорово постарели!"

Пнин говорил. Виктора его говор не удивлял, — он слышал немало русских, говоривших по-английски, и не смущался тем, что Пнин произносит слово "family"[1] так, словно первый его слог — это "женщина" по-французски.

— Мне по-французски легче говорить, чем по-английски, — сказал Пнин, — а ты, vous comprenez le français? Bien? Assez bien? Un peu?[2]

— Très un peu[3], — сказал Виктор.

— Жаль, но ничего не поделаешь. Теперь я тебе расскажу про спорт. Первое в русской литературе описание бокса мы находим в стихотворении Михаила Лермонтова, родившегося в 1814-м году и убитого в 1841-м, — очень легко запомнить. Напротив, первое описание тенниса можно обнаружить в романе Толстого "Анна Каренина", оно относится к 1875 году. Однажды, в пору моей юности, — это было в России, в сельской местности, на широте Лабрадора, — мне дали ракетку, чтобы я поиграл с семьей ("family") востоковеда Готовцева, ты, может быть, слышал о нем. Стоял, помнится, чудный летний день, мы играли, играли, играли, пока не потеряли все двенадцать мячей. Тебе тоже, когда ты состаришься, интересно будет вспомнить о прошлом.

Другой игрой, — продолжал Пнин, обильно подслащивая свой кофе, — был, натурально, крокет. Я был чемпионом крокета. Впрочем, любимой народной потехой были так называемые "городки", что означает "маленькие города". Помню площадку в саду и чудесное ощущение юности: я был крепок, ходил в вышитой русской рубахе, теперь никто не играет в такие здоровые игры.

---

[1] Семья (*англ.*).

[2] Вы понимаете французский? Хорошо? Достаточно хорошо? Немного? (*фр.*)

[3] Совсем немного (*фр.*).

Он покончил с отбивной и продолжил изложение своего предмета.

— На земле, — рассказывал Пнин, — рисовали большой квадрат и устанавливали в нем такие цилиндрические деревянные плашки, вроде колонн, представляешь? — а потом с некоторого расстояния метали в них толстую палку, с силой, как бумеранг, — таким широким взмахом руки, — извини меня, — к счастью, это не соль, а сахар.

Я и теперь еще слышу, — говорил Пнин, поднимая дырчатую сахарницу и покачивая головой в удивлении перед упорством памяти, — и теперь еще слышу "трах!", когда кто-нибудь попадал по деревяшкам и они взлетали на воздух. Ты почему не доедаешь? Не нравится?

— Ужасно вкусно, — сказал Виктор, — но я не голоден.

— О, ты должен есть больше, гораздо больше, если хочешь стать футболистом.

— Боюсь, я равнодушен к футболу. Вернее, я его терпеть не могу. Сказать по правде, я и в других играх не очень силен.

— Ты не любишь футбола? — спросил Пнин, и на его выразительном лице появилось испуганное выражение. Он выпучил губы. Он раскрыл их, — но ничего не сказал. Молча съел он ванильное сливочное мороженое, в котором ванили не было, да и делали его не из сливок.

— А теперь мы заберем твой багаж и такси, — сказал Пнин.

Как только они достигли Шеппард-хауза, Пнин затащил Виктора в гостиную и торопливо познакомил его с хозяином, старым Биллом Шеппардом, прежним управляющим хозяйством колледжа (совершенно глухим, с кнопкой в ухе), и с его братом, Бобом Шеппардом, приехавшим недавно из Буффало, чтобы жить с Биллом после того, как жена Билла скончалась. На минуту оставив Виктора с ними, Пнин торопливо затопотал наверх. Дом был легко уязвимым строением, и обстановка внизу отозвалась разнообразными вибрациями на топот вверху и на внезапный скрежет оконной рамы в комнате для гостей.

— Или вот эта картина, — говорил глухой мистер Шеппард, тыча нравоучительным пальцем в висящую на стене

большую мутную акварель, — тут изображена ферма, на которой мы с братом обычно проводили лето годов этак пятьдесят назад. Ее написала мамина школьная подруга, Грэйс Уэллс, у ее сына, Чарли Уэллса, отель в Вайнделл-вилле, по-моему, доктор Нин его знает — очень, очень хороший человек. Покойница-жена тоже рисовала. Я вам сейчас покажу кое-какие ее работы. Ну, вот хоть это дерево, видите, за амбаром, — его и не углядишь...

Страшные треск и грохот донеслись с лестницы. Пнин, по пути вниз, оступился.

— Весной 1905 года, — говорил мистер Шеппард, угрожая картине пальцем, — под этим самым тополем...

Он увидел, как брат вместе с Виктором бросились из комнаты к подножию лестницы. Бедный Пнин проехался спиной по последним ступенькам. С минуту он пролежал навзничь, туда-сюда поводя глазами. Ему помогли подняться. Кости остались целы.

Улыбнувшись, Пнин сказал:

— Совсем как в превосходном рассказе Толстого, — ты должен как-нибудь прочитать его, Виктор, — про Ивана Ильича Головина, который тоже упал и приобрел впоследствии почку рака. Теперь Виктор пойдет со мной наверх.

С саквояжем в руке Виктор последовал за Пниным. На площадке висела репродукция “La Berceuse”[1] Ван Гога, и Виктор походя приветствовал ее кивком иронического узнавания. Комнату для гостей заполнил шум дождя, лившего по душистым ветвям в черноте, обрамленной раскрытым окном. На столе лежала завернутая книга и десятидолларовая бумажка. Виктор просиял и поклонился хмуроватому, но доброму хозяину. “Разверни-ка”, — сказал Пнин.

С учтивой готовностью Виктор подчинился. Он присел на край кровати, — русые волосы лоснистыми прядями упали на правый висок, полосатый галстук повис, выбившись из-под серой куртки, раздвинулись нескладные, затянутые серой фланелью колени, — и живо открыл книгу. Он собирался ее похвалить, во-первых, потому что это подарок, и во-вторых, он думал, что книга переведена с родного

---

[1] Колыбельная (*фр.*).

языка Пнина. Он помнил, что в Психометрическом институте работал доктор Яков Лондон, уроженец России. На беду, Виктору подвернулся абзац о Заринске, дочери вождя юконских индейцев, и он с легким сердцем принял ее за русскую барышню. "В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, был и страх и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива, она даже дышать забывала..."[1]

— Я думаю, мне это понравится, — сказал вежливый Виктор. — Прошлым летом я читал "Преступление и..." — Молодой зевок растянул стойко улыбавшийся рот. С приязнью, с одобрением, с болью сердечной смотрел Пнин на Лизу, раззевавшуюся после долгого, счастливого вечера у Арбениных или Полянских, — в Париже, пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет назад.

— Довольно чтения на сегодня, — сказал Пнин. — Я знаю, это очень увлекательная книга, но ты сможешь читать и читать ее завтра. Желаю тебе спокойной ночи. Ванная напротив, через площадку.

И пожав Виктору руку, он ушел в свою комнату.

9

Все еще шел дождь. В доме Шеппарда погасли огни. Ручей, обычно трепетной струйкой сочившийся по оврагу за садом, этой ночью обратился в шумный поток, который кувыркался, истово пресмыкаясь перед силой тяжести, и нес по буковым и еловым проходам прошлогодние листья, какие-то безлистые ветки и новенький, не нужный ему футбольный мяч, недавно скатившийся вдоль пологой лужайки после того, как Пнин казнил его на старинный манер — выбрасываньем из окна. Пнин заснул наконец, несмотря на ощущение неудобства в спине, и в одном из тех сновидений, что по-прежнему преследуют русских изгнанников, хоть со времени их бегства от большевиков прошла уже треть столетия, увидел себя в несуразном плаще, несущимся прочь из химерического дворца по ог-

[1] Перевод Норы Галь.

ромным чернильным лужам, под затянутой облаками луной, а после шагающим вдоль пустынной полоски берега со своим покойным другом Ильей Исидоровичем Полянским, ожидая стука моторной лодки, в которой явится за ними из безнадежного моря их загадочный спаситель. Братья Шеппарды не спали в смежных кроватях, на матрацах "Прекрасный отдых", — младший слушал дождь, идущий во тьме, и раздумывал, не продать ли им все же этот дом с его гулкой кровлей и волглым садом; старший лежал, думая о тишине, о влажном зеленом кладбище, о старой ферме, о тополе, в который много лет назад ударила молния и убила Джона Хеда, смутного дальнего родича. Виктор на сей раз заснул мгновенно, едва засунув голову под подушку, — недавно изобретенный способ, о котором д-р Эрик Винд (сидящий сейчас на скамье у фонтана в Кито, Эквадор) никогда не узнает. Около половины второго Шеппарды захрапели, глухой погромыхивал после каждого вздоха и вообще звучал куда солиднее брата, высвистывавшего сдержанно и печально. На песчаном берегу, по которому продолжал расхаживать Пнин (его встревоженный друг пошел домой, за картой), появились и пошли на него чередой отпечатки чьих-то ступней, и он проснулся, хватая ртом воздух. Ныла спина. Пятый час уже. Дождь перестал.

Пнин вздохнул русским вздохом ("ох-хо-хо") и поискал положение поудобней. Старый Билл Шеппард протащился вниз, в уборную, сокрушая за собою дом, потом поплелся назад.

Вот и опять все уснули. Жаль, что никто не видал представления, разыгранного на пустынной улице, — там рассветный ветер наморщил большую, светозарную лужу, превратив отраженные в ней телефонные провода в неразборчивые строки черных зигзагов.

Глава пятая

1

С верхней площадки старой, редко навещаемой наблюдательной вышки — “дозорной башни”, как она называлась прежде, — стоящей на восьмисотфутовом лесистом холме, именуемом Маунт-Эттрик, в одном из прекраснейших среди прекрасных штатов Новой Англии, предприимчивый летний турист (Миранда или Мэри, Том или Джим, — их карандашные имена почти сплошь покрывали перила) мог любоваться морем зелени, состоящим из кленов, буков, пахучего тополя и сосны. Милях примерно в пяти к западу стройная белая колокольня метила место, на котором укоренился городишко Онкведо, некогда славный своими источниками. В трех милях к северу, на приречной прочисти у подножия муравчатого пригорка, различались фронтоны нарядного дома (называемого розно: “Куково”, “Дом Кука”, “Замок Кука” или “Сосны” — его исконное имя). Вдоль южного отрога Маунт-Эттрик, просквозив Онкведо, уходила к востоку автострада штата. Многочисленные проселки и пешеходные тропы пересекали лесистую равнину, изображавшую треугольник, ограниченный довольно извилистой гипотенузой мощеного проселка, уклонявшегося из Онкведо на северо-восток — к “Соснам”, — длинным катетом упомянутой автострады и коротким — реки, стянутой стальным мостом вблизи Маунт-Эттрик и деревянным у “Куково”.

Теплым пасмурным днем лета 1954 года Мэри или Альмира, или, уж коли на то пошло, Вольфганг фон Гете, коего имя вырезал вдоль балюстрады некий старомодный шутник, могли бы увидеть автомобиль, перед самым мостом свернувший с автострады и теперь бестолково тыкавшийся туда-сюда в лабиринте сомнительных дорог. Он

продвигался опасливо и нетвердо и всякий раз, что новая мысль посещала его, осаживал, подымая за собою пыль, словно пес, кидающий задними лапами землю. Особе менее благодушной, нежели наш воображаемый зритель, могло бы, пожалуй, представиться, что за рулем этого бледно-голубого, яйцевидного, двудверного седана, в неопределенных летах и посредственном состоянии, сидит слабоумный. На самом же деле им правил профессор Вайнделлского университета Тимофей Пнин.

Брать уроки в вайнделлской водительской школе Пнин затеял еще в начале года, но "истинное понимание", как он выражался, осенило его лишь месяца через два, он тогда слег с разболевшейся спиной и не имел иных занятий, как изучение (упоительное) сорокастраничного "Руководства для водителей", изданного губернатором штата совместно с еще одним знатоком, а также статьи "Автомобиль" в Encyclopedia Americana, снабженной изображениями Трансмиссий, Карбюраторов, Тормозных колодок и участника "Глидденского турне" (американской кругосветки 1905 года), засевшего в проселочной грязи средь наводящего уныние пейзажа. Тогда и только тогда, томясь на ложе страданий, вертя ступнями и переключая воображаемые передачи, он одолел наконец двойственность своих первоначальных смутных представлений. Во время настоящих уроков с грубияном инструктором, который мешал развитию его стиля вождения, лез с ненужными указаниями, что-то выкрикивая на техническом жаргоне, норовил на повороте вырвать у Пнина руль и постоянно досаждал спокойному, интеллигентному ученику вульгарной хулой, Пнин оказался совершенно неспособным перцептуально соединить машину, которую он вел в своем сознании, с той, какую он вел по дороге. Теперь они наконец-то слились. Если он и провалил первый экзамен на водительские права, то главным образом потому, что затеял с экзаменатором спор, неудачно выбрав минуту для попытки доказать, что нет для разумного существа ничего унизительней требования, чтобы оно развивало в себе постыдный условный рефлекс, вставая при красном свете, когда вокруг не видать ни единой живой души — ни проезжей, ни пешей.

В следующий раз он оказался осмотрительней и экзамен сдал. Неотразимая старшекурсница Мэрилин Хон, посещавшая его русский класс, продала ему за сотню долларов свой смирный старый автомобиль: она выходила замуж за обладателя машины куда более роскошной. Поездка из Вайнделла в Онкведо с попутной ночевкой в туристском кемпинге получилась медленной и трудной, но лишенной происшествий. Перед самым въездом в Онкведо он остановился у заправочной станции и вылез из машины глотнуть сельского воздуха. Непроницаемо белое небо висело над клеверным полем, и вопль петуха, зазубренный и забубенный, — вокальная похвальба — доносился со сложенной у лачуги поленницы дров. Какая-то случайная нота в крике слегка охриплой птицы и теплый ветер, прильнувший к Пнину в поисках внимания, узнавания, чего-нибудь, бегло напомнили ему тусклый давний дымчатый день, в который он, первокурсник Петроградского университета, сошел на маленькой станции летнего балтийского курорта, и звуки, и запахи, и печаль —

— Малость душновато, — сказал волосаторукий служитель, начиная протирать ветровое стекло.

Пнин вытащил из бумажника письмо, развернул прикрепленный к нему крохотный листок с мимеографированным наброском карты и спросил служителя, далеко ли до церкви, у которой полагалось свернуть налево, чтобы попасть в "Дом Кука". Просто поразительно, до чего этот человек походил на коллегу Пнина из Вайнделлского университета, на доктора Гагена, — одно из тех зряшных сходств, бессмысленных, как дурной каламбур.

— Ну, туда есть дорога получше, — сказал поддельный Гаген. — Эту-то грузовики совсем размололи, да и не понравится вам, как она петляет. Значит, сейчас поезжайте прямо. Проедете город. А милях в пяти от Онкведо, как проскочите слева тропинку на Маунт-Эттрик, перед самым мостом возьмете первый поворот налево. Там хорошая дорога, гравий.

Он живо обогнул капот и проехался тряпкой по другому краю ветрового стекла.

— Повернете на север да так и берите к северу на каждом перекрестке, там, правда, просек многовато, в лесу, но вы берите все время к северу и доберетесь до "Кукова" ровно за двенадцать минут. Мимо не проедете.

Теперь Пнин, уже около часа плутавший в лабиринте лесных дорог, пришел к заключению, что "брать на север" да, в сущности, и само слово "север" — ничего ему не говорят. Он также не мог уяснить, что понудило его — разумного человека — послушаться случайно подвернувшегося болтуна вместо того, чтобы твердо следовать педантично точным указаниям, которые друг его, Александр Петрович Кукольников (известный здесь как Ал Кук), прислал ему вместе с приглашением провести лето в его большом и гостеприимном поместье. Наш неудачливый водитель заблудился к этому времени слишком основательно, чтобы суметь вернуться на автостраду, а поскольку он не обладал значительным опытом маневрирования на узких, ухабистых дорогах со рвами и чуть ли не оврагами по обеим сторонам, колебания Пнина и его попытки нащупать правильный путь и приняли те причудливые визуальные формы, за которыми зритель, расположась на дозорной вышке, мог бы следить сострадающим оком; впрочем, на этих заброшенных и безжизненных высотах не было ни единой живой души, за исключением муравья (а у того своих забот хватало), сумевшего за несколько часов дурацкого усердия каким-то образом достигнуть верхней площадки и балюстрады (его "автострады") и понемногу впадавшего в такое же самое состояние озабоченности и тревоги, что и нелепый игрушечный автомобиль, двигавшийся внизу. Ветер утих. Море древесных вершин под бледным небом никакой, казалось, жизни не вмещало. Однако хлопнул ружейный выстрел, взвился в небо сучок. Плотно пригнанные верхушки ветвей в той части иначе бездвижного леса заколебались в спадающей череде встряхиваний и скачков, свинговый ритм прошел от дерева к дереву, и все опять успокоилось. Другая минута прошла, и тогда совершилось все сразу: муравей отыскал балясину, ведущую на крышу башни, и полез по ней с обновленным усердием, вспыхну-

ло солнце, и Пнин, уже достигший пределов отчаяния, вдруг очутился на мощеной дороге со ржавым, но все блестящим указателем, направляющим путника “К ‘Соснам’”.

2

Ал Кук был сыном Петра Кукольникова, богатого московского купца из старообрядцев, самоучки, мецената и филантропа, — знаменитого Кукольникова, которого дважды сажали при последнем царе в довольно уютную крепость за денежную поддержку эсеровских групп (по преимуществу террористических), а при Ленине умертвили (после почти недели средневековых пыток в советском застенке) как “агента империализма”. Семья его в 1925 году добралась через Харбин до Америки, и молодой Кук, благодаря спокойному упорству, практической сметке и некоторым научным навыкам, достиг высокого и обеспеченного положения в огромном химическом концерне. Добродушный, очень замкнутый, плотного сложения человек с большим недвижным лицом, стянутым посередке маленьким аккуратным пенсне, он казался тем, кем и был — администратором, масоном, игроком в гольф, человеком преуспевающим и осторожным. Он говорил на бесцветном, замечательно правильном английском языке с еле заметным славянским акцентом и был чудесным хозяином — молчаливой разновидности — с мерцающими глазами и хайболом в каждой руке; и только лишь когда кое-кто из русских друзей, самых давних и близких, засиживался у него заполночь, Александр Петрович затевал вдруг разговоры о Боге, о Лермонтове, о Свободе, обнаруживая наследственную черту опрометчивого идеализма, способную немало смутить подслушивающего марксиста.

Он женился на Сюзан Маршалл — милой, говорливой блондинке, дочери Чарльза Дж. Маршалла, изобретателя, — и поскольку никто не сумел бы вообразить Александра и Сюзан иначе как в окружении большой и здоровой семьи, меня и иных привязанных к ним людей поразило известие, что вследствие операции Сюзан навек осталась бездетной.

Они еще были молоды и любили друг дружку со старомодными простотою и цельностью, весьма утешительными для глаз, и, не имея возможности населить свое поместье детьми и внуками, собирали летом каждого четного года престарелых русских (так сказать, отцов и дядей Кука); а по нечетным приглашали “американцев” — то есть деловых знакомых Александра или друзей и родичей Сюзан.

Пнин ехал в “Сосны” впервые, но я бывал там и прежде. Русские эмигранты — либералы и интеллигенты, покинувшие Россию в начале 20-х, — толпами слонялись по дому. Их можно было обнаружить во всяком пятнышке крапчатой тени, — сидящими на деревенских скамьях, беседуя об эмигрантских писателях: Алданове, Бунине, Сирине; лежащими в качающихся гамаках с воскресным номером русской газеты поверх лица (традиционная защита от мух); пьющими на веранде чай с вареньем; бродящими по лесу в раздумьях о съедобности местных поганок.

Самуил Львович Шполянский, крупный, величественно спокойный старый господин, и маленький, возбудимый, заикающийся граф Федор Никитич Порошин — оба были около 20-го года членами одного из тех героических Краевых правительств, что создавались в русской глуши горстками демократов для отпора диктатуре большевиков, — прогуливались в сосновых аллеях, обсуждая тактику, которую надлежало принять на ближайшем объединенном заседании Комитета Свободной России (основанного ими в Нью-Йорке) с иной антикоммунистической организацией, помоложе. Из беседки доносились приглушенные белой акацией обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим историю философии, и профессором Шато, преподававшим философию истории: “Реальность — это долговременность!” — бухал один из голосов, Болотова; “Никак нет! — восклицал другой. — Мыльный пузырь так же реален, как зуб ископаемого!”

Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов девятнадцатого столетия, были, сравнительно с прочими, юноши. Другие мужчины в большинстве уже перевалили за шестьдесят и устало тащились дальше. Напротив,

некоторым дамам, графине Порошиной, например, и мадам Болотовой, было всего лишь под пятьдесят, и благодаря гигиенической атмосфере Нового Света, они не только сохранили, но и усовершенствовали свою привлекательность. Кое-кто из родителей привозил с собою детей — здоровых, рослых, вялых, трудных американских детей студенческого возраста, не чувствующих Природы, не владеющих русским и не имеющих ни малейшего интереса к тонкостям родительского происхождения и прошлого. Казалось, что они пребывали в "Соснах" в телесной или духовной плоскости, нигде не пересекавшей ту, в которой обитали их родители: временами переходя из своего мира в наш сквозь некое межпространственное мерцание, отвечая резкостью на добродушную русскую шутку или участливый совет и вновь расточаясь в воздухе, всегда отчужденные (так что родителям начинало казаться, будто они дали жизнь поколению эльфов) и предпочитавшие любой купленный в Онкведо продукт — любую консервную банку — восхитительной русской снеди, которой Куки потчевали гостей на продолжительных, громогласных обедах, задаваемых на крытой веранде. С великой печалью говорил Порошин о своих детях (второкурсниках Игоре и Ольге): "Мои близнецы повергают меня в отчаяние. Когда я встречаюсь с ними — за обедом или завтраком — и пытаюсь им рассказать об интереснейших, увлекательнейших вещах, скажем, о выборном самоуправлении на русском Крайнем Севере в семнадцатом веке или, к примеру, что-то из истории первых медицинских школ в России, — есть, кстати, превосходная монография Чистовича об этом, изданная в 1883 году, — они попросту разбегаются по своим комнатам и включают там радио". Эти молодые люди были в "Соснах" и тем летом, когда туда пригласили Пнина. Они, впрочем, оставались невидимы и страшно скучали бы в этой глуши, не закатись сюда на уик-энд из Бостона поклонник Ольги в импозантном автомобиле, университетский молодой человек, фамилии которого никто, похоже, толком не знал, и не найди Игорь подружки в Нине, дочери Болотовых, статной растрепе с египетскими глазами

и смуглыми конечностями, обучавшейся в нью-йоркской балетной школе.

Хозяйство "Сосен" вела Прасковья, крепкая шестидесятилетняя женщина из простых, такая живая, словно лет ей было десятка на два меньше. Радостно было смотреть, как она стоит на заднем крыльце и обозревает цыплят, — уперев руки в боки, облегаемые вислыми домодельными шортами, одетая в подобающую почтенной матроне кофту, украшенную фальшивыми бриллиантами. Она нянчила Александра и его брата еще в Харбине, когда те были детьми, а ныне ей помогал по дому муж, спокойный и мрачный старый казак, у которого главными в жизни страстями были: переплетное дело (самостоятельно освоенный и почти патологический процесс, коему он норовил подвергнуть всякий подвернувшийся под руку старый каталог или сенсационный журнальчик), приготовление наливок и истребление мелкого лесного зверья.

Из гостей этого лета Пнин прекрасно знал профессора Шато, друга своей молодости, — в начале двадцатых оба учились в Пражском университете; он хорошо знал и Болотовых, в последний раз виденных им в 1949 году, когда он приветствовал их речью на торжественном обеде, устроенном в "Барбизон-Плаза" Ассоциацией русских ученых-эмигрантов по случаю приезда Болотовых из Франции. Лично меня никогда особенно не привлекали ни сам Болотов, ни его философские труды, в которых темное так удивительно сочетается с тривиальным; у него, может статься, целая гора достижений, но состоит эта гора из плоскостей; мне, впрочем, всегда была по душе Варвара, пышная и веселая жена потрепанного философа. До первого приезда в "Сосны" в 1951 году ей ни разу не довелось видеть природу Новой Англии. Тутошние березы и черника так ее заморочили, что в ее разумении Онкведское озеро расположилось на одной широте не с Охридским, скажем, озером на Балканах (самое для него место), но с Онежским, что на севере России, — там провела она первые свои пятнадцать летних сезонов, прежде чем бежать от большевиков в Западную Европу вместе с теткой, Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей.

В результате колибри в пробном полете или катальпа в цвету произвели на Варвару впечатление неестественного и экзотического видения. Огромные дикобразы, приходившие грызть лакомые, душистые бревна старого дома, или грациозные, жутковатые скунсики, воровавшие на заднем дворе молоко у кошек, казались ей баснословнее картинок старинного бестиария. Ее чаровало и ставило в тупик множество растений и тварей, которых она не умела назвать, она принимала желтую пеночку за залетную канарейку и прославилась тем, что, задыхаясь от гордости и восторга, притащила однажды, чтобы украсить стол по случаю дня рождения Сюзан, охапку прекрасных листьев ядоносного сумаха, прижимая их к розовой, веснущатой груди.

3

Болотовы и мадам Шполянская, маленькая, худощавая женщина в брюках, оказались первыми, кто увидел Пнина, когда он опасливо вывернул на песчаную аллею с диким люпином вдоль обочин и, сидя очень прямо, окоченело вцепившись в руль, будто фермер, привычный более к трактору, чем к автомобилю, вкатился на скорости в десять миль и на первой передаче в рощицу старых, взъерошенных, имеющих на удивление доподлинный вид сосен, что отделяла мощеную дорогу от “Замка Кука”.

Варвара живо вскочила с лавки в беседке, где она и Роза Шполянская только что накрыли Болотова, читавшего затрепанную книгу и курившего запретную сигарету. Она приветствовала Пнина, хлопая в ладоши, а муж ее продемонстрировал все радушие, на какое был способен, медленно помахав книгой, в которую сунул взамен закладки большой палец. Пнин заглушил мотор и сидел, во весь рот улыбаясь друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубашки был расстегнут, штормовка с приспущенной молнией казалась чрезмерно узкой для внушительной груди, бронзоватая лысая голова с наморщенным лбом и рельефной червеобразной веной на виске низко склонялась, пока он копался в дверце и выныривал из машины.

— Автомобиль, костюм, — ну прямо американец, прямо Эйзенхауэр! — сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовне Шполянской.

— Сорок лет назад у нас с вами были общие друзья, — заметила эта дама, с любопытством разглядывая Пнина.

— Ох, давайте не упоминать таких астрономических цифр, — сказал Болотов, подходя и заменяя травинкой служивший закладкой большой палец. — Знаете, — продолжал он, тряся руку Пнина, — в седьмой раз перечитываю "Анну Каренину", а удовольствие получаю такое же, какое испытывал не сорок, а шестьдесят лет назад — семилетним мальчишкой. И всякий раз открываешь что-то новое, вот сейчас, например, я заметил, что Лев Николаич не знает, в какой день начался его роман: вроде бы и в пятницу, поскольку в этот день часовщик приходит к Облонским заводить в доме часы, но также и в четверг, который упоминается в разговоре на катке между Левиным и матерью Китти.

— Да Господи, что за разница, — вскричала Варвара. — Кому, скажите на милость, нужен точный день?

— Я могу вам назвать точный день, — сказал Пнин, перемигивая изломанный солнечный свет и вдыхая памятный запах северных сосен. — Действие романа завязывается в начале 1872 года, и именно в пятницу, двадцать третьего февраля по новому стилю. Облонский читает в утренней газете, что Бейст, как слышно, проехал в Висбаден. Это, разумеется, граф Фредерик Фердинанд фон Бейст, только что получивший пост австрийского посланника при Сент-Джеймском дворе. После представления верительных грамот Бейст уехал на континент и провел там со своей семьей несколько затянувшиеся рождественские каникулы — два месяца, а теперь возвращался в Лондон, где, согласно его собственным двухтомным мемуарам, шли приготовления к назначенному на двадцать седьмое февраля в соборе Святого Павла благодарственному молебну по случаю выздоровления принца Уэльского от тифозной горячки. Однако, и жарко же у вас! Я, пожалуй, явлюсь пред пресветлые очи Александра Петровича да схожу окупнуться в реке, которую он так живо мне описал.

— Александр Петрович уехал до понедельника — по делам или развлекаться, — сказала Варвара, — а Сусанна Карловна, по-моему, загорает на любимой лужайке за домом. Только покричите, пока не подошли слишком близко.

4

"Замок Кука" представлял собой трехэтажный особняк, выстроенный из бревен и кирпича около 1860 года и частью перестроенный полвека спустя, когда отец Сюзан купил его у семейства Дадли-Грин, чтобы превратить в аристократический курортный отель для наиболее богатых посетителей целебных источников Онкведо. Это было затейливое строение смешанного покроя, в котором готика щетинилась сквозь пережитки флорентийского и французского стилей. При начальном проектировании оно, вероятно, относилось к той разновидности, которую Сэмюель Слоун, архитектор тех времен, определял как "Неправильную Северную Виллу, отвечающую высшим запросам светской жизни" и называемую "северной" по причине "восходящей тенденции ее кровель и башен". Увы, недолго завлекали туристов шик этих шпилей и веселый, отчасти даже разгульный, облик, приобретенный особняком оттого, что его составляли несколько "северных вилл" поменьше, поднятых на воздух и каким-то образом сколоченных воедино, так что недопереваренные куски кровель, неуверенные фронтоны, карнизы, неотесанные угловые камни и прочие выступы торчали во все стороны. К 1920 году воды Онкведо загадочным образом утратили все свое волшебство, и по смерти отца Сюзан тщетно пыталась продать "Сосны", поскольку у нее с мужем имелся иной дом, поудобнее, в богатом квартале того промышленного города, где муж работал. Впрочем, теперь, когда они привыкли использовать "Замок" для увеселения своих многочисленных друзей, Сюзан даже радовалась, что это любимое ею кроткое чудище не нашло покупателя.

Внутреннее разнообразие дома не уступало наружному. В просторный вестибюль, сохранивший в щедрых размерах камина нечто от гостиничного периода, открывались четы-

ре большие комнаты. Лестничные перила и по крайности одна из балясин датировались 1720 годом, — их перенссли в строящийся дом из другого, гораздо более старого, самое местоположение коего ныне уже утратилось. Очень старыми были и прекрасные, украшенные изображеньями дичи и рыб филенки стоящего в обеденной зале буфета. В полудюжине комнат, из которых состоял каждый верхний этаж, и в двух крыльях тыльной части здания среди разрозненных предметов обстановки обнаруживалось какое-нибудь обаятельное бюро атласного дерева или романтическая софа красного, но также и разного рода поделки, жалкие и громоздкие, — ломаные кресла, пыльные столы с мраморными столешницами, мрачные этажерки с темными стеклышками в задней стене, скорбными, словно глаза пожилых обезьян. Комната наверху, доставшаяся Пнину, не без приятности выглядывала на юго-восток и вмещала: остатки золоченых обоев по стенам, армейскую койку, простой умывальник и всякие полки, бра и лепные завитки. Пнин, подергав, открыл створку окна, улыбнулся улыбчивому лесу, снова вспомнил далекий первый день в деревне, — и скоро уже сошел вниз, облаченный в новый темно-синий купальный халат и пару обыкновенных резиновых галош на босу ногу — предосторожность вполне разумная, когда предстоит идти по сырой и, возможно, кишащей гадами траве. На садовой террасе он встретил Шато.

Константин Иваныч Шато, тонкий и очаровательный ученый чисто русских кровей, несмотря на фамилию (полученную, как меня уверяли, от обруселого француза, который усыновил Ивана-сироту), преподавал в большом нью-йоркском университете и не виделся со своим дражайшим Пниным самое малое пять лет. Они обнялись, тепло урча от радости. Должен признаться, я и сам когда-то подпал под обаяние ангельского Константина Иваныча — а именно в ту пору, как мы ежедневно сходились зимой 35-го не то 36-го года для утренней прогулки под лаврами и цельтисами Грассе, что на юге Франции (он делил там виллу с несколькими русскими экспатриантами). Мягкий голос его, рафинированный петербургский раскат его "р", спокойные глаза грустного карибу, рыжеватая козлиная

бородка, которую он все теребил крошащими движениями длинных, хрупких пальцев, — все в Шато (пользуясь литературным оборотом, столь же старомодным, как он сам) порождало у его друзей чувство редкой приятности. Несколько времени он и Пнин разговаривали, делясь впечатлениями. Как нередко случается с держащимися твердых принципов изгнанниками, они всякий раз, сызнова встречаясь после разлуки, не только стремились встать вровень с личным прошлым друг друга, но и, обмениваясь несколькими быстрыми паролями, — намеками, интонациями, которые невозможно передать на чужом языке, — подводили итог последним событиям русской истории: тридцати пяти годам беспросветной несправедливости, что последовали за столетием борьбы за справедливость и мерцающих вдали надежд. Затем они перешли к обычному профессиональному разговору преподавателей-европейцев, оказавшихся вне Европы: вздыхали и качали головами по адресу "типичного американского студента", который не знает географии, наделен иммунитетом к шуму и почитает образование всего лишь за средство для получения в дальнейшем хорошо оплачиваемой должности. После того каждый осведомился у другого, как подвигается его работа, и каждый был до чрезвычайности скромен и сдержан, касаясь своих занятий. Наконец, уже шагая обросшей канадским златотысячником луговой тропкой к лесу, через который пробегала по каменистому руслу речушка, они заговорили о здоровье: Шато, выглядевший столь беспечным с рукой в кармане белых фланелевых брюк и в щегольски распахнутом поверх фланелевого жилета люстриновом пиджаке, весело сообщил, что в скором будущем ему предстоит сложная полостная операция, а Пнин сказал, смеясь, что всякий раз, как *он* проходит рентген, доктора тщетно пытаются разобраться в том, что они именуют "тенью за сердцем".

— Хорошее название для плохого романа, — заметил Шато.

Перейдя муравчатый пригорок и почти уж войдя в лес, они приметили машисто шагавшего к ним по покатому полю краснолицего, почтенного господина в легком поло-

сатом костюме, с копной седых волос и с лиловатым припухлым носом, похожим на большую малинину; черты его искажала недовольная гримаса.

— Вот, приходится ворочаться за шляпой, — театрально вскричал он, приблизившись.

— Вы не знакомы? — промурлыкал Шато и вскинул руки в жесте представления. — Тимофей Павлыч Пнин, Иван Ильич Граминеев.

— Мое почтение, — сказали оба, крепко пожимая друг другу руки и кланяясь.

— Я думал, — продолжал Граминеев, обстоятельный повествователь, — что оно как с утра пошло, так и будет весь день хмуриться. По глупости вылез с непокрытой головой. Теперь мне солнце выжигает мозги. Пришлось прервать работу.

И он указал на вершину холма. Там — тонким силуэтом на фоне синего неба — стоял его мольберт. С этого возвышения он писал вид лежащей за ним долины, дополненный причудливым старым амбаром, кривой яблонькой и буренкой.

— Могу предложить вам мою панаму, — сказал добрый Шато, но Пнин, уже достав из кармана халата большой красный носовой платок, сноровисто вязал узлы на каждом из четырех его уголков.

— Очаровательно... Премного благодарен, — сказал Граминеев, прилаживая этот головной убор.

— Одну минуту, — сказал Пнин. — Вы узлы подоткните.

Проделав это, Граминеев двинулся полем вверх, к своему мольберту. Он был известным, строго академического толка живописцем, чьи задушевные полотна — “Волга-матушка”, “Неразлучная троица” (мальчик, собачка и кляча), “Апрельская прогалина” и тому подобные — по-прежнему украшали московский музей.

— Кто-то мне говорил, — сказал Шато, когда они с Пниным подходили к реке, — что у Лизиного сына редкий дар к живописи. Это правда?

— Да, — ответил Пнин. — Тем более обидно, что его мать, которая, по-моему, вот-вот в третий раз выскочит

замуж, вдруг на все лето забрала его в Калифорнию, — а если бы он приехал со мной сюда, как предполагалось, у него была бы великолепная возможность поучиться у Граминеева.

— Вы преувеличиваете ее великолепие, — мягко возразил Шато.

Они достигли пузырящегося, мерцающего потока. Вогнутая плита, уместившаяся меж двух водопадиков, верхнего с нижним, образовала естественный плавательный бассейн под соснами и ольхой. Не любитель купаться, Шато с удобством устроился на валуне. Во весь учебный год Пнин регулярно подставлял свое тело лучам солнечной лампы, поэтому когда он разделся до купальных трусов, оно засветилось под солнцем, пробивающимся сквозь приречные заросли, сочными оттенками красного дерева. Он снял крест и галоши.

— Взгляните, как мило, — сказал склонный к созерцательности Шато.

Десятка два мелких бабочек, все одного вида, сидели на влажном песке, приподняв и сложив крылья, так что виднелся их бледный испод в темных точках и крохотных павлиньих глазках с оранжевыми обводами, идущими вдоль кромки задних крыльев; одна из сброшенных Пниным галош вспугнула нескольких бабочек, и обнаружив небесную синеву лицевой стороны крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, и снова опали.

— Жаль, нет здесь Владимира Владимировича, — заметил Шато. — Он рассказал бы нам все об этих чарующих насекомых.

— Мне всегда казалось, что эта его энтомология — просто поза.

— О нет, — сказал Шато. — Когда-нибудь вы его потеряете, — добавил он, указывая на православный крест на золотой цепочке, снятый Пниным с шеи и повешенный на сучок. Его блеск озадачил пролетавшую стрекозу.

— Да я, может быть, и не прочь его потерять,— сказал Пнин. — Вы же знаете, я ношу его лишь по сентиментальным причинам. А сантименты становятся обременительны.

В конце концов, в этой попытке удержать, прижимая к груди, частицу детства слишком много телесного.

— Вы не первый, кто сводит веру к осязанию, — сказал Шато; он был усердным приверженцем православия и сожалел об агностическом расположении друга.

Слепень, подслеповатый олух, уселся Пнину на лысину и был оглушен шлепком его мясистой ладони.

С валуна, меньшего, чем тот, на котором расположился Шато, Пнин осмотрительно сошел в коричневую и синюю воду. Он заметил, что на руке его остались часы, снял их и положил в галошу. Медленно поводя загорелыми плечьми, Пнин тронулся вперед, петлистые тени листьев трепетали, скользя по его широкой спине. Он остановился и, разбивая блеск и тени вокруг, намочил склоненную голову, протер мокрыми ладонями шею, увлажнил каждую из подмышек и после, сложив ладоши, скользнул в воду. Гонимая благородными жестами стиля брасс, вода струилась по сторонам от него. Пнин торжественно плыл вдоль окаемка естественного бассейна. Он плыл, издавая размеренный шум, — полужурчание, полупыхтение. Он мерно выбрасывал ноги, разводя их в коленях, одновременно складывая и распрямляя руки, похожий на большую лягушку. Проплавав так две минуты, он вылез из воды и присел на валун — пообсохнуть. Затем он надел крест, часы, галоши и халат.

5

Обед подавали на крытой веранде. Усевшись около Болотовых и распуская сметану в красной ботвинье, где тренькали красноватые кубики льда, Пнин машинально возобновил прежний разговор.

— Обратите внимание, — сказал он, — на значительное расхождение между духовным временем Левина и телесным — Вронского. К середине книги Левин и Китти отстают от Вронского с Анной на целый год. А к тому воскресному вечеру в мае 1876 года, когда Анна бросается под товарный поезд, она успевает прожить с начала романа больше четырех лет; для Левина за тот же период —

с 1872-го по 1876-й — минуло едва ли три года. Это лучший пример относительности в литературе, какой мне известен.

Отобедав, предложили играть в крокет. Тут предпочитали расстановку ворот, освященную временем, но технически совершенно неправомочную, когда пару ворот из десяти перекрещивают в середине поля, образуя так называемую “клетку”, или “мышеловку”. Сразу выяснилось, что Пнин, игравший в паре с мадам Болотовой против Шполянского и графини Порошиной, как игрок превосходит всех остальных. Едва только вбили колышки и приступили к игре, как он преобразился. Из привычно медлительного, тяжеловесного и довольно скованного господина он превратился в страшно подвижного, скачущего, безгласого горбуна с хитрой физиономией. Казалось, постоянно была его очередь бить. Держа молоток очень низко над землей и чуть помахивая им между расставленных журавлиных ножек (он произвел небольшую сенсацию, переодевшись к игре в бермудские шорты), Пнин предварял каждый удар легкими прицельными качаниями, затем аккуратно тюкал по шару и тотчас, еще сгорбленный, пока шар катился, резво перебегал в то место, где, по его расчетам, шару предстояло остановиться. С геометрическим шиком он прогнал его через все ворота, исторгнув у болельщиков вопли восторга. Даже Игорь Порошин, словно тень проходивший мимо, неся две жестянки пива на какое-то приватное пиршество, на секунду привстал и одобрительно покивал головой, перед тем как сгинуть в кустах. Впрочем, с рукоплесканиями смешивались жалобы и протесты, когда Пнин с жестоким безразличием крокетировал или, правильнее, ракетировал шар противника. Помещая вплотную к нему свой шар и утверждая на нем удивительно маленькую ступню, он с такой силой бил по своему, что чужой улетал с поля. Обратились к Сюзан, и она сказала, что это полностью против правил, но мадам Шполянская заверила всех, что прием этот вполне законен, добавив в подтверждение, что, когда она была маленькой, ее английская гувернантка называла его “Гонконгом”.

После того как Пнин коснулся столба, и игра завершилась, и Варвара ушла с Сюзан накрывать стол к вечернему

чаю, Пнин тихо ретировался на скамейку под соснами. Какое-то до крайности неприятное и пугающее ощущение в сердце, испытанное им лишь несколько раз во всю его взрослую жизнь, вновь посетило его. Не боль, не перебои, но довольно жуткое чувство утопания в окружающем мире и растворения в нем — в закате, в красных древесных стволах, в песке, в тихом воздухе. Между тем Роза Шполянская, заметив, что Пнин сидит в одиночестве, и воспользовавшись этим, подошла к нему ("сидите, сидите!") и опустилась рядышком на скамью.

— Году в 16-м или в 17-м, — сказала она, — вы должны были слышать мою девичью фамилию, Геллер, — от одних ваших близких друзей.

— Нет, не припомню, — сказал Пнин.

— Да это в общем-то и не важно. Не думаю, чтобы мы когда-то встречались. А вот моих кузенов, Гришу и Миру Белочкиных, вы знали хорошо. Они все время о вас рассказывали. Он теперь живет в Швейцарии, по-моему, — и вы слышали, конечно, об ужасном конце его бедной сестры...

— Да, конечно, — сказал Пнин.

— Ее муж, — сказала мадам Шполянская, — был милейший человек, мы с Самуил Львовичем очень близко знали его и его первую жену, Светлану Черток, пианистку. Нацисты интернировали его отдельно от Миры, он погиб в том же лагере, что и мой старший брат, Миша. Вы не знали Мишу, нет? Он тоже был когда-то влюблен в Миру.

— Тшай готофф, — позвала с веранды Сюзан на своем забавном чисто-практическом русском. — Тимофей, Розочка! Тшай!

Пнин сказал мадам Шполянской, что через минуту придет, но остался после ее ухода сидеть в темнеющей аллее, сложив ладони на молотке, который он все еще держал.

Две керосиновые лампы уютно освещали дачную веранду. Доктор Павел Антонович Пнин, отец Тимофея, глазной специалист, и доктор Яков Григорьевич Белочкин, отец Миры, педиатр, никак не могли оторваться от шахмат в углу веранды, так что госпожа Белочкина попросила горничную отнести им чай — стаканы в серебряных подстаканниках, простоквашу с черным хлебом, землянику и ее

культурную разновидность, клубнику, и лучистые золотые варенья, и бисквиты, и вафли, и крендельки, и сухарики — туда, на особый японский столик, близ которого они играли, чтобы не звать двух поглощенных игрой докторов на другой конец веранды, к общему столу, за которым сидели остальные члены семьи и гости — кто ясно различимый, кто потонувший в лучезарном тумане.

Незрячая рука доктора Белочкина взяла кренделек; зрячая рука доктора Пнина взяла ладью. Доктор Белочкин хрустнул крендельком и уставился на прореху в рядах своих фигур; доктор Пнин макнул умозрительный сухарик в чайный стакан.

Сельский дом, тем летом нанятый Белочкиными, находился на том же балтийском курорте, вблизи которого сдавала Пниным дачу вдова генерала Н., — дача стояла на границе ее обширных владений, заболоченных и неровных, с запущенной усадьбой в бахроме темных лесов. Тимофей Пнин был снова неловким, застенчивым и упрямым восемнадцатилетним юношей, ожидающим в сумерках Миру, — и хотя рассудочное мышление ввернуло в керосиновые лампы по электрической колбе, перетасовало людей, обратив их в стареющих эмигрантов, и прочно, безнадежно, навеки обнесло светящуюся веранду проволочной сетью, мой бедный Пнин с галлюцинаторной отчетливостью увидел Миру, с веранды скользнувшую в сад и шедшую к нему меж высоких душистых цветков табака, чья смутная белизна сливалась с белизной ее платья. Видение как-то связывалось с ощущением распирания и взбухания в груди. Он осторожно отложил молоток и, чтобы избыть эту муку, пошел прочь от дома по примолкшей сосновой роще. Из стоящей у сторожки с садовыми инструментами машины, в которой укрылись по крайности двое гостящих детей, исходил устойчивый стрекот радиомузыки.

— Джаз, джаз, жить они не могут без джаза, эти дети, — проворчал про себя Пнин и свернул на тропинку, ведущую в лес и к реке. Он вспомнил увлечения своей и Мириной юности — любительские спектакли, цыганские песни, ее страсть к фотографии. Где они ныне — художественные снимки, которые она делала постоянно: щенята, облака,

цветы, апрельская прогалина с тенями берез на влажном сахаристом снегу, солдаты, позирующие на крыше товарного вагона, край закатного неба, рука, держащая книгу? Он вспомнил их последнюю встречу на набережной Невы в Петрограде и слезы, и звезды, и тепло шелковой красной, как роза, изнанки ее каракулевой муфты. Гражданская война (1918—1922) разлучила их: история разорвала их помолвку. Тимофей отправился на юг, чтобы ненадолго примкнуть к деникинской армии, а семья Миры бежала от большевиков в Швецию, потом осела в Германии, и там Мира со временем вышла замуж за русского торговца пушниной. В самом начале тридцатых Пнин, к тому времени уже женившийся, приехал с женою в Берлин, где она хотела побывать на конгрессе психотерапевтов, и как-то вечером в русском ресторане на Курфюстендамм снова встретился с Мирой. Они обменялись несколькими словами, она улыбнулась ему памятной улыбкой — из-под темных бровей — с присущим ей выражением застенчивого лукавства, и обвод ее приподнятых скул, удлиненные глаза, нежность кистей и щиколок остались все теми, остались бессмертными, — а потом она присоединилась к мужу, надевавшему в гардеробе пальто, и вот и все, уцелела лишь замирающая нежность, родственная дрожащему очерку стихов, которые знаешь, что знаешь, но припомнить не можешь.

То, о чем помянула разговорчивая мадам Шполянская, вернуло образ Миры с необычайной силой, и это встревожило Пнина. Лишь в отчуждении неизлечимой болезни, в равновесии разума, знаменующем близкую смерть, с этим можно было на миг совладать. Чтобы жить, сохраняя рассудок, Пнин в последние десять лет приучил себя никогда не вспоминать о Мире Белочкиной, — и не потому, что память о юношеской любви, банальной и краткой, сама по себе угрожала миру его души (увы, воспоминания о браке с Лизой были достаточно властными, чтобы вытеснить какой угодно прежний роман), но потому, что никакая совесть и, следовательно, никакое сознание не в состоянии уцелеть в мире, где возможны такие вещи, как смерть Миры. Приходится забывать, — ведь нельзя же жить с мыслью о том, что эту грациозную, хрупкую молодую

женщину с такими глазами, с такой улыбкой, с такими садами и снегами в прошлом, привезли в скотском вагоне в лагерь уничтожения и умертвили инъекцией фенола в сердце, в нежное сердце, которое билось в сумерках прошлого под твоими губами. И поскольку точный характер ее смерти зарегистрирован не был, в его сознании Мира умирала множеством смертей и множество раз воскресала лишь для того, чтобы умирать снова и снова: вышколенная медицинская сестра уводила ее, и хрустело стекло, и ей прививали какую-то пакость, столбнячную сыворотку, и травили синильной кислотой под фальшивым душем, и сжигали заживо в яме, на политых бензином буковых дровах. По словам следователя, с которым Пнину довелось разговаривать в Вашингтоне, только одно можно было сказать наверное: слишком слабую, чтобы работать (хотя еще улыбавшуюся и находившую силы помогать другим еврейкам), ее отобрали для умерщвления и сожгли всего через несколько дней после прибытия в Бухенвальд, в прекрасные леса Большого Эттерсберга, как звучно звался этот край. Это — час неспешной прогулки от Веймара, здесь бродили Гете, Гердер, Шиллер, Виланд, неподражаемый Коцебу и иные. "Aber warum — ну почему, — стенал доктор Гаген, нежнейшая из душ живых, — почему им нужно было устроить этот кошмарный лагерь так близко!" — ибо и впрямь он был близок (каких-то пять миль) к культурному сердцу Германии, "этой нации университетов", как изысканно выразился президент Вайнделлского колледжа, известный своим пристрастием к mot juste[1], делая по случаю Дня Благодарения обзор европейской ситуации, в котором он не пожалел теплых слов и для другого пыточного застенка — для "России, страны Толстого, Станиславского, Раскольникова и других великих и достойных людей".

Пнин медленно шел под торжественными соснами. Небо угасало. Он не верил во всевластного Бога. Он верил, довольно смутно, в демократию духов. Может быть, души умерших собираются в комитеты и, неустанно в них заседая, решают участь живых.

---

[1] Точное слово (*фр.*).

Начинали досаждать комары. Время чая. Время шахмат с Шато. Странный спазм миновал, он снова мог дышать. На дальнем гребне холма, на том самом месте, где несколько часов назад стоял мольберт Граминеева, две темные профильные фигуры рисовались на фоне угольно-красного неба. Они стояли близко, лицом к лицу. С тропинки было не разобрать — дочь ли это Порошина с ее ухажером, Нина ли Болотова и молодой Порошин или просто эмблематическая пара, с легким изяществом помещенная на последней странице уходящего от Пнина дня.

Глава шестая

1

Начался осенний семестр 1954 года. Снова на мраморной шее затрапезной Венеры в вестибюле Дома Гуманитарных Наук появился изображающий поцелуй вермилионовый след губной помады. Снова "Вайнделлский Летописец" принялся обсуждать Проблему Парковки. Вновь принялись ретивые первокурсники выписывать на поля библиотечных книг полезные примечания вроде "описание природы" или "ирония", а в прелестном издании стихов Малларме какой-то особенно вдумчивый толкователь уже подчеркнул фиолетовыми чернилами трудное слово *oiseaux* и нацарапал поверху "птицы". Снова осенние ветра облепили палой листвой бок решетчатой галереи, ведущей от Гуманитарных Наук к Фриз-Холлу. Снова тихими вечерами запорхали над лужайками и асфальтом огромные янтарно-бурые данаиды, лениво дрейфуя к югу, свесив под крапчатыми телами не до конца поджатые сяжки.

Колледж скрипел себе помаленьку. Усидчивые, обремененные беременными женами аспиранты все писали диссертации о Достоевском и Симоне де Бовуар. Литературные кафедры трудились, оставаясь под впечатлением, что Стендаль, Галсворти, Драйзер и Манн — большие писатели. Пластмассовые слова вроде "конфликта" и "образа" пребывали еще в чести. Как обычно, бесплодные преподаватели с успехом пытались "творить", рецензируя книги своих более плодовитых коллег, и как обычно, множество везучих сотрудников колледжа наслаждалось или приготавливалось насладиться разного рода субсидиями, полученными в первую половину года. Так, смехотворно мизерная

дотация предоставляла разносторонней чете Старров с отделения изящных искусств — Кристофферу Старру с его младенческим личиком и его малютке-жене Луизе — уникальную возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти удивительные молодые люди неведомо как получили разрешение проникнуть. Тристрам В. Томас ("Том" для друзей), профессор антропологии, получил от фонда Мандовилля десять тысяч долларов на изучение привычного рациона кубинских рыбаков и пальмолазов. Другое благотворительное заведение пришло на помощь Бодо фон Фальтернфельсу, позволив ему завершить наконец составление "библиографии печатных и рукописных материалов последних лет, посвященных критическому осмыслению влияния учеников Ницше на современную мысль". И последнее, но отнюдь не самое малое: некий особо расщедрившийся фонд обеспечил знаменитому вайнделлскому психиатру Рудольфу Ауре возможность применить к десяти тысячам школьников так называемый "Тест пальца и чашки", в котором дитя окунало указательный палец в чашки с цветными жидкостями, после чего измерялись и наносились на разного рода увлекательные диаграммы соотношения между длиной пальца и его увлажненной частью.

Начался осенний семестр, и доктор Гаген оказался в весьма затруднительном положении. Летом один из старых друзей неофициально осведомился у него, не поразмыслит ли Гаген о том, чтобы со следующего года взять на себя с упоительной щедростью оплачиваемое профессорство в Сиборде — университете куда более солидном, нежели Вайнделл. Эта часть проблемы решалась относительно просто. Оставался, однако, еще тот леденящий душу факт, что отделение, которое он столь любовно взрастил и с которым французское отделение Блоренджа с его куда более богатыми фондами не могло и сравниться по уровню воздействия на культуру, — это отделение придется оставить в лапах предателя Фальтернфельса, которого он, Гаген, выкопал в Австрии и который обратился теперь против него же, исхитрясь посредством закулисных интриг просто-напросто захватить руководство влиятельным ежеквартальником

"Europa Nova"[1], основанным Гагеном в 1945 году. Предполагаемый уход Гагена, о котором он ничего покамест своим коллегам не сообщал, имел бы и более грустные последствия: приходилось бросить на произвол судьбы внештатного профессора Пнина. Постоянного русского отделения в Вайнделле не было, и все академическое существование моего бедного друга зависело от использования его эклектическим отделением германистики в своего рода "сравнительно-литературном" побеге одной из его ветвей. Бодо — из чистой злобы — этот побег, разумеется, отсечет, и Пнин, не имевший с Вайнделлом постоянного контракта, вынужден будет подать в отставку, — разве что его согласится принять какое-то иное литературно-языковое отделение. Необходимой для этого гибкостью обладали лишь два из них — английское и французское. Однако Джек Кокерелл, заведующий английским, с неодобрением относился ко всему, что делал Гаген, считал Пнина посмешищем и, собственно говоря, неофициально, но обнадеживающе торговался с выдающимся англо-русским писателем, способным при необходимости взять на себя преподавание всех тех курсов, которые Пнину приходилось читать, чтобы выжить. Как к последнему прибежищу Гаген обратился к Блоренджу.

2

Две интересные особенности отличали Леонарда Блоренджа, заведующего отделением французского языка и литературы: он не любил литературу и не знал французского языка. Последнее не мешало ему покрывать гигантские расстояния ради участия в совещаниях по проблемам современного языкознания, на которых он щеголял своим невежеством, словно некой величавой причудой, и с помощью мощных залпов здорового масонского юмора отражал любую попытку втянуть его в обсуждение тонкостей "парле-ву". Высоко ценимый добытчик средств, он совсем

[1] "Новая Европа" (*лат.*).

недавно склонил одного богатого старца, которого безуспешно обхаживали три крупных университета, содействовать посредством фантастических размеров пожертвования продвижению расточительных изысканий, проводимых аспирантами доктора Славского, родом канадца, и имевших целью возвести на холме рядом с Вайнделлом "Французскую Деревню" (две улочки и площадь), которую предстояло скопировать с древнего городка Ванделя в Дордони. Несмотря на элемент грандиозности, всегда присущий административным фейерверкам Блоренджа, сам он был человеком аскетических вкусов. В свое время ему привелось учиться в одной школе с Сэмом Пуром, президентом Вайнделлского университета, и в течение многих лет, даже после того как последний лишился зрения, эти двое рыбачили вместе на холодном, перерытом ветрами озере, лежавшем в конце обросшей кипреем гравиевой дороги, в семидесяти милях к северу от Вайнделла, на засоренной кустарником (карликовый дуб и питомниковые сосны) равнине, являющей на языке Природы синоним трущобы. Его жена, милая женщина из простых, говоря о нем у себя в клубе, называла его "профессор Блорендж". Он читал курс под названием "Великие французы", — заставив свою секретаршу скопировать этот курс из подшивки "Гастингсова Исторического и Философского Журнала" за 1862—1894 годы, найденной Блоренджем на чердаке и в библиотеке колледжа не представленной.

3

Пнин как раз снял маленький домик и пригласил Гагенов и Клементсов, — и Тейеров, и Бетти Блисс — на новоселье. Утром этого дня добрый доктор Гаген явился с визитом отчаяния в кабинет Блоренджа и посвятил его, и только его одного, в ситуацию в целом. Когда он сказал Блоренджу, что Фальтернфельс — отъявленный антипнинист, — Блорендж сухо ответствовал, что и он тоже; фактически, однажды встретив Пнина в обществе, он "определенно почувствовал" (удивительно, правду сказать, до чего

эти практические господа склонны чувствовать, вместо того чтобы думать), что Пнина не следовало бы и близко подпускать к американскому университету. Верный Гаген отметил, что Пнин на протяжении нескольких семестров прекрасно справлялся с романтиками и что он — под присмотром французской кафедры — наверняка одолел бы и Шатобриана с Виктором Гюго.

— Этой публикой занимается доктор Славский, — сказал Блорендж, — вообще, я иногда думаю, что мы переборщили по части литературы. Вот посмотрите, на этой неделе мисс Мопсуэстиа начинает экзистенциалистов, этот ваш Бодо дает Ромена Роллана, а я читаю о генерале Буланже и о де Беранже. Нет, этого добра у нас определенно хватает.

Гаген выложил последнюю карту, предположив, что Пнин мог бы вести курс французского языка: как у многих русских, у нашего друга имелась в детстве француженка-гувернантка, а после революции он прожил в Париже больше пятнадцати лет.

— Вы хотите сказать, — сурово спросил Блорендж, — что он умеет *говорить* по-французски?

Гаген, хорошо осведомленный об особых требованиях Блоренджа, замялся.

— Ну, Герман, бросьте! Да или нет?

— Я уверен, что он сможет приспособиться.

— Так говорит он по-ихнему или нет?

— Ну, в общем, да.

— В таком случае, — сказал Блорендж, — мы не сможем использовать его в начальном курсе. Это было бы нечестно по отношению к нашему мистеру Смиту, — он ведет его в этом семестре, и естественно, обходится тем, что на один урок опережает студентов. Теперь, значит, так, — мистеру Хашимото нужен помощник в его переполненной промежуточной группе. А читает этот ваш деятель по-французски не хуже, чем разговаривает?

— Я повторяю, он сможет приспособиться, — увиливая от прямого ответа, сказал Гаген.

— Знаю я эти “приспособиться”, — хмуро сказал Блорендж. — В 50-м, когда Хаш уехал, я нанял лыжного

инструктора из Швейцарии, а он возьми и протащи сюда копии какой-то старой французской антологии. Мы целый год потратили, чтобы вернуть класс к начальному уровню. Так вот, если этот ваш, как его там, по-французски не читает...

— Боюсь, что читает, — со вздохом сказал Гаген.

— Ну, так у нас ему вообще нечего делать. Вы же знаете, мы верим только в записи речи и в прочую механику. И никаких книг!

— Но есть еще курс повышенной сложности, — пробормотал Гаген.

— Им занимаемся мы с Каролиной Славской, — ответил Блоренджж.

4

Для Пнина, ничего не ведавшего о печалях своего покровителя, новый осенний семестр начался очень удачно: у него никогда еще не было ни столь малого числа студентов на попечении, ни столь большого количества времени для собственных изысканий. Изыскания эти давно уже вошли в ту чудесную стадию, когда они достигают поставленной прежде цели и уходят дальше, и формируется новый организм, так сказать, паразитирующий на созревающем плоде. Пнин отвращал умственный взор от конца работы, который был виден настолько ясно, что различалась даже звездчатая шутиха, воспламененное "sic!"[1]. Этого берега следовало избегать, как места, гибельного для восторгов бесконечного приближения. Справочные карточки постепенно плотной массой утяжеляли обувную коробку. Сопоставление двух преданий; драгоценные частности нравов или нарядов; ссылка, проверенная и оказавшаяся извращенной неведеньем, небрежностью или обманом; дрожь в хребте от счастливой догадки; все эти бесчисленные триумфы бескорыстной учености растлили Пнина, обратив его в упоенного, опоенного сносками маниака, что возмущает

[1] Так! (*лат.*)

покой книжных клещей, мирно живущих в унылом томе в фут толщиной единственно для того, чтобы сыскать в нем ссылку на том, еще пуще унылый. А на ином, более человеческом уровне помещался кирпичный домик, снятый им на Тодд-роуд, угол Клифф-авеню.

Прежде этот дом населяло семейство покойного Мартина Шеппарда, дядюшки предыдущего домохозяина Пнина на Крик-стрит, в течение многих лет управлявшего землями Тодда, которые город Вайнделл ныне скупил, дабы оборудовать в стоящей на них разбросанной усадьбе современную лечебницу. Ели и плющ укутали запертые ворота усадьбы, верхушку которых Пнин мог видеть в конце Клифф-авеню из северного окна своего нового дома. Авеню составляла поперечину буквы "Т", в левой развилке которой и обитал Пнин. Насупротив его фронтона прямо через Тодд-роуд (образовавшей ножку "Т") старые ильмы отгораживали песчаную закраину ее латаного асфальта от кукурузного поля, лежащего к востоку, а вдоль западной обочины, за изгородью, подразделение молодых елей, одинаковых выскочек, маршировало к кампусу, немного не доходя до следующего дома — отстоящего почти на полмили к югу от дома Пнина увеличенного сигарного ящика, в котором жил тренер университетской футбольной команды.

Ощущение жизни в отдельном доме, и притом совершенно самостоятельной, было для Пнина чем-то необычайно упоительным и поразительно утоляющим старую, усталую потребность его сокровенного "я", забитую и оглушенную почти тридцатью пятью годами бездомья. Одной из самых сладостных особенностей жилища была тишина — ангельская, деревенская, совершенно безмятежная, являющая, стало быть, благодатный контраст непрестанной какофонии, с шести сторон окружавшей его в наемных комнатах прежних пристанищ. И как просторен казался маленький дом! С благодарным изумлением Пнин думал, что не будь революции, бегства из России, экспатриации во Франции, натурализации в Америке, все — и это в лучшем случае, в лучшем, Тимофей! — все могло бы сложиться

почти что так же: профессорство в Харькове или в Казани, такой же домик в предместье, старые книги внутри, запоздалые цветы снаружи. Дом, чтобы быть совсем уже точным, был двухэтажный, из вишнево-красного кирпича, с белыми ставнями и драночной кровлей. Зеленый лужок, посреди которого он стоял, образовал перед ним палисадник аршин в пятьдесят шириной, а за домом граничил с отвесным мшистым утесом, увенчанным изжелта-бурой порослью. Вдоль южной стороны дома рудиментарная подъездная дорожка вела к беленому гаражу, где разместился принадлежащий Пнину автомобиль "для бедных". Странная сетчатая корзинка, чем-то смахивающая на увеличенную бильярдную лузу — только без дна, — висела неизвестно зачем над дверью гаража, на белизну которой она отбрасывала тень, столь же ясно очерченную, как ее собственное плетение, но покрупнее и в голубых тонах. Травянистую площадку между садиком и утесом навещали фазаны. Сирень — краса русских садов, — чье весеннее великолепие, в меду и гудении, с нетерпеньем предвкушал мой бедный друг, безжизненно теснилась вдоль одной из стен дома. И высокое листопадное дерево, которое Пнин (береза-липа-ива-тополь-дуб-осина) не умел обозначить, роняло большие, сердцевидные ржавые листья и тени бабьего лета на деревянные ступени открытого крыльца.

Расхлябанного вида нефтяная подвальная печь старалась что было сил, слабо выдыхая тепло через отдушины в полах. Кухня глядела нарядно и весело, и Пнин чудесно проводил время, возясь со всякого рода кухонной утварью — с кастрюлями и противнями, с тостерами и сковородками, доставшимися ему вместе с домом. Мебель в гостиной стояла скудная, выцветшая, зато там имелась довольно милая ниша с огромным старым глобусом, на котором Россия была голубой, а Польшу частью обесцветили, а частью соскребли. В крохотной столовой, где Пнин намеревался устроить для гостей ужин "а-ля фуршет", пара хрустальных шандалов с подвесками разбрасывала по утрам радужные переливы, очаровательно тлевшие на буфете, напоминая моему сентиментальному другу о витражных переплетах,

что окрашивали солнечный свет в оранжевые, зеленые и фиолетовые тона на русских дачных верандах. Посудный шкап, принимавшийся погромыхивать всякий раз, что Пнин проходил мимо, тоже был знаком ему по тусклым задним комнатам прошлого. Второй этаж состоял из двух спален, в обеих обитало когда-то множество малых детей и от случая к случаю — взрослых. Полы оказались изодраны оловянными игрушками. Со стены комнаты, в которой Пнин решил почивать, он снял красный картонный вымпел с загадочным словом "Кардиналы", намалеванным по нему белой краской, но маленькому красному креслу-качалке для трехлетнего Пнинчика дозволено было остаться в углу. Недееспособная швейная машина загораживала коридор, ведущий в ванную комнату; стоявшая там всегдашняя куцая ванна из тех, что производит для карликов нация великанов, требовала для ее заполнения такого же долгого времени, как арифметические цистерны и бассейны русских задачников.

Теперь он мог устроить прием. В гостиной имелась софа, на которой уместятся трое, имелась там также чета покойных кресел, кресло глубокое, набитое слишком туго, кресло с камышовым сиденьем, один пуфик и скамеечки под ноги. Просматривая короткий список гостей, он вдруг ощутил странную неудовлетворенность. В списке была крепость, но недоставало букета. Конечно, он очень привязан к Клементсам (настоящие люди — не истуканы, коих в кампусе большинство), с которыми он вел такие восхитительные беседы в те дни, когда снимал у них комнату; конечно, он испытывал огромную благодарность к Герману Гагену за массу добрых услуг, взять хоть прибавку, устроенную им совсем недавно; конечно, миссис Гаген была, как выражались в Вайнделле, "милейшей особой"; конечно, миссис Тейер всегда помогала ему в библиотеке, а муж ее обладал утешительной способностью демонстрировать, насколько немногословным может быть человек, если он безусловно избегает говорить о погоде. Однако в этом подборе людей не хватало чего-то необычайного, оригинального, и старый Пнин вспомнил о днях рождения своего

детства — о полудюжине приглашенных детей, всегда почему-то одних и тех же, о тесных туфлях, ноющих висках, тяжкой, вязкой, безотрадной скуке, которая нападала на него после того, как было уже переиграно во все игры и буйный двоюродный братец принимался третировать красивые новые игрушки самым дурацким и пошлым образом; он вспомнил и об одиноком гуде в ушах, когда во время предлинной игры в прятки, битый час просидев в неудобном укрытии, он вылез из душного и темного шкапа в комнате прислуги только затем, чтобы узнать, что все игроки давно разошлись по домам.

Навещая популярную бакалейную лавку, расположенную между Вайнделлом и Изолой, он столкнулся с Бетти Блисс, пригласил и ее, и она сказала, что все еще помнит стихотворение в прозе о розах Тургенева с его рефреном “как хороши, как свежи” и, конечно, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика профессора Идельсона с женой-скульпторшей, и они ответили, что придут с удовольствием, но потом позвонили, чтобы сказать, что им страшно жаль, — они позабыли о более раннем приглашении. Он пригласил молодого Миллера, уже доцента, и Шарлотту, его хорошенькую веснущатую жену, но выяснилось, что ей вот-вот предстояло родить. Он пригласил старика Кэррола, начальствующего над уборщиками Фриз-Холла, и его сына Фрэнка, который был единственным одаренным студентом моего друга и написал блестящую докторскую работу о соотношениях русских, английских и немецких ямбов; но Фрэнк оказался в армии, а старик Кэррол признался, что “мы с хозяйкой не очень водимся с профи”. Пнин позвонил президенту Пуру, с которым однажды беседовал во время приема в саду (пока не пошел дождь) об усовершенствовании учебного плана, — и попросил его прийти, однако племянница президента ответила на приглашение, что дядя “никого теперь не навещает, за исключением нескольких близких друзей”. Пнин уже было отказался от надежд оживить список гостей, как вдруг совершенно новая и действительно превосходная мысль пришла ему в голову.

5

Мы с Пниным давно уже примирились с тем пугающим, но редко обсуждаемым обстоятельством, что в штате любого наугад взятого колледжа всякий может найти не только человека, чрезвычайно похожего на своего дантиста или на местного почтмейстера, но также и человека, имеющего двойника в своей собственной профессиональной среде. Что говорить, мне известен случай существования тройников в относительно скромном университете, причем, если верить его востроглазому президенту, Фрэнку Риду, коренным в этой тройке был, как ни парадоксально, я сам; я помню еще, как покойная Ольга Кроткая рассказывала мне однажды, что среди пятидесяти, что ли, преподавателей Школы интенсивного изучения языка военного времени, в которой этой несчастливой, лишенной одного легкого даме довелось преподавать беловежский и угро-финский, наличествовало ни много ни мало как шесть Пниных, помимо подлинного и, на мой взгляд, неподдельного образца. Не следует поэтому полагать удивительным, что даже Пнин, человек в обыденной жизни не очень приметливый, обнаружил-таки (на девятый примерно год пребывания в Вайнделле), что долговязый старикан в очках, с академическими стальными кудерками, спадающими на правую сторону его узкого, но сморщенного чела, и с глубокими бороздами, нисходящими по бокам острого носа к углам длинной верхней губы, человек, которого Пнин знал как профессора Томаса Уинна, заведующего кафедрой орнитологии, и с которым он даже разговаривал на какой-то вечеринке о веселых золотистых иволгах, унылых кукушках и иных лесных русских птицах, — что не всегда этот человек оставался профессором Уинном. Временами он, так сказать, обращался в кого-то другого, кого Пнин по имени не знал, но классифицировал с веселостью склонного к каламбурам иностранца как "Туинна" (или, по-пнински, "Твина"). Мой друг и соотечественник скоро сообразил, что никогда уже не сможет быть уверенным, действительно ли похожий на филина, споро шагающий господин, который через день на другой попадался ему на пути в самых

разных местах, — между кабинетом и классом, между классом и лестницей, между питьевым фонтанчиком и уборной, — действительно ли он является его случайным знакомым, орнитологом, с коим он почитал за долг раскланиваться на ходу, или это Уиннообразный чужак, откликающийся на его сдержанное приветствие с тою же механической вежливостью, с какой сделал бы это всякий случайный знакомец. Сами встречи были очень короткими, поскольку и Пнин, и Уинн (или Туинн) шагали споро; а иногда Пнин, дабы избегнуть обмена учтивым рявканьем, притворялся, будто читает на ходу письмо, или ухитрялся надуть быстро надвигавшегося коллегу и мучителя, увильнув по лестнице и двигаясь дальше по коридору нижнего этажа; впрочем, он не успел и дня порадоваться своей изобретательности, уже назавтра едва не налетев на Твина (или Вина), топающего нижним коридором. Когда же начался новый осенний семестр (для Пнина десятый), докука усугубилась тем, что часы занятий Пнина изменились, обессмыслив тем самым некоторые пути, которыми он привык передвигаться, пытаясь избегнуть и Уинна, и его подражателя. Казалось, Пнин обречен терпеть их вовек. Ибо, припомнив еще кой-какие дубликаты, попадавшиеся ему в прошлом, — обескураживающие сходства, заметные только ему одному, — раздосадованный Пнин сказал себе, что просить кого-либо помочь разобраться в Т. Уиннах бесполезно.

В день его праздника, в ту минуту, когда он заканчивал поздний завтрак в Фриз-Холле, Уинн или его двойник — ни тот ни другой никогда прежде здесь не появлялись — вдруг присел рядом с ним и сказал:

— Давно хочу спросить вас кое о чем, — вы ведь преподаете русский, не правда ли? Прошлым летом я читал в журнале статью о птицах...

("Вин! Это Вин!" — сказал себе Пнин и понял, что нужно идти напролом.)

— ... так вот, автор статьи, — не помню, как его имя, по-моему, русское, — упоминает, что в Скоффской губернии, надеюсь, я правильно это выговорил, местный хлеб выпекают в форме птицы. Символ в основе своей, конечно,

фаллический, но я подумал, может, вам что-нибудь известно об этом обычае?

Вот тут-то блестящая мысль и озарила Пнина.

— Я к вашим услугам, сударь, — сказал он с нотой восторга, дрогнувшей в горле, ибо он наконец-то узрел способ наверняка прояснить персону хотя бы исконного Уинна, любителя птиц. — Да, сударь, я знаю все об этих "жаворонках", или "allouettes", об этих... английское название нам придется поискать в словаре. А потому я пользуюсь случаем и сердечно приглашаю вас посетить меня нынче вечером. В половине девятого, post meridiem[1]. Небольшая soirée[2] по случаю новоселья, ничего более. Приводите также и вашу супругу, — или вы принадлежите к Ордену Холостяков, — так сказать, к валетам виней?

(О, многосмысленный Пнин!)

Его собеседник сказал, что он не женат. Он будет рад прийти. А по какому адресу?

— Тодд-родд, девятьсот девяносто девять, очень просто! В самом конце дороги (rodd), там, где она встречается с Клиф-авню. Маленький кирпичный домик и большой черный утес (cleef).

6

В тот вечер Пнин с трудом дотерпел до начала кулинарных занятий. Он приступил к ним сразу после пяти и прервался лишь для того, чтобы облачиться к приему гостей в сибаритскую домашнюю куртку — из синего шелка, с кистями и атласными отворотами, — выигранную им на эмигрантском благотворительном базаре в Париже лет двадцать назад, — как время-то летит! К ней он выбрал старые брюки от смокинга — столь же европейского происхождения. Разглядывая себя в треснувшем зеркале аптечного шкапчика, он надел тяжелые черепаховые очки для чтения, из-под хомутика которых ладно выпирал его русский нос картошкой. Он осклабил искусственные зубы. Он обозрел щеки

[1] После полудня (*лат.*).

[2] Вечеринка (*фр.*).

и подбородок, дабы убедиться, сохранило ли силу утреннее бритье. Сохранило. Большим и указательным пальцами он изловил торчавший из носа длинный волосок, выдернул его со второго рывка и смачно чихнул, завершив взрыв довольным "ах!".

В половине восьмого явилась, чтобы помочь в последних приготовлениях, Бетти. Бетти теперь преподавала историю и английский язык в средней школе Изолы. Она не изменилась с тех дней, как была полногрудою аспиранткой. Близорукие, серые, в розовых ободках глаза таращились на вас с той же неподдельной симпатией. Те же густые волосы гретхеновским кольцом лежали вокруг головы. Тот же шрам виднелся на мягком горле. Однако на пухлой руке появилось обручальное колечко с брильянтиком, и она с застенчивой гордостью показала его Пнину, ощутившему укол смутной печали. Он подумал, что было время, когда он мог бы приударить за ней, — да, собственно, и приударил бы, не будь она наделена разумом горничной, который также не претерпел изменений. Она по-прежнему могла рассказывать предлинную историю, имеющую основой "она говорит — а я говорю — а она говорит". Ничто в целом свете не могло разуверить ее в мудрости и остроумии любимого дамского журнала. Она сохранила привычку, свойственную, как свидетельствовал ограниченный опыт Пнина, еще двум-трем молодым провинциалкам, — застенчиво хлопать вас по рукаву (скорее из благодарности, чем в отместку) при любом замечании, напоминающем о каком-либо ее незначительном промахе: "Бетти, вы забыли вернуть книгу" или "Бетти, по-моему, вы говорили, что никогда не пойдете замуж", — и перед тем, как ответить, она протестующе тянулась к вашему запястью, отнимая руку перед самым касанием.

— Он биохимик и теперь в Питтсбурге, — рассказывала Бетти, помогая Пнину укладывать намазанные маслом ломти французской булки вокруг горшочка со свежей, лоснящейся серой икрой и прополаскивать три огромные виноградные грозди. Имелись также: большое блюдо холодной вырезки, настоящий немецкий pumpernickel[1], и тарелка

[1] Ржаной хлеб из грубой муки (*нем.*).

весьма особенного винегрета (где креветки якшались с пикулями и горошком), и сосисочки в томатном соусе, и горячие пирожки (с грибами, с мясом, с капустой), и орехи четырех видов, и разные занятные восточные сладости. Напитки представляли: бутылка виски (вклад Бетти), рябиновка, коктейль из коньяка с гренадином и, разумеется, Пнин-пунш — забористая смесь охлажденного шатоикем, грейпфрутового сока и мараскина, которую важный хозяин дома уже принялся перемешивать в большой чаше сверкающего аквамаринового стекла с узором из завитых восходящих линий и листьев лилии.

— Ой, какая чудная вещь! — воскликнула Бетти.

Пнин оглядел чашу с радостным изумлением, как бы увидев ее впервые. Это подарок от Виктора, сказал он. Да, как он, как ему нравится в этой школе? Так себе нравится. Начало лета он провел с матерью в Калифорнии, потом два месяца проработал в гостинице в Йосемите. *Где?* В отеле в Калифорнийских горах. Ну, а после вернулся в школу и вдруг прислал вот это.

По какому-то ласковому совпадению чаша появилась в тот самый день, когда Пнин сосчитал кресла и замыслил сегодняшнее торжество. Она пришла упакованной в ящик, помещенный в другой ящик, помещенный внутрь третьего, и обернутой в массу бумаги и целлофана, разлетевшегося по кухне, как карнавальная буря. Чаша, возникшая из нее, была из тех подарков, которые поначалу порождают в сознании получателя красочный образ — геральдический силуэт, с такой символической силой отражающий чарующую природу дарителя, что реальные свойства самого подарка как бы растворяются в чистом внутреннем свете, но внезапно и навсегда обретают сияющую существенность, едва их похвалит человек посторонний, которому истинное великолепие вещи неведомо.

7

Музыкальный звон пронизал маленький дом, явились Клементсы с бутылкой французского шампанского и букетом георгин.

Джоан — темно-синие глаза, длинные ресницы, короткая стрижка — надела старое черное шелковое платье, более элегантное, чем все, до чего смогли бы додуматься иные преподавательские жены; приятно было смотреть, как добрый, старый и лысый Тим Пнин слегка наклоняется, чтобы коснуться губами легкой кисти Джоан, которую только одна она из всех вайнделлских дам умела поднять на высоту, потребную русскому джентльмену для поцелуя. Еще потолстевший против прежнего Лоренс в приятном костюме из серой фланели опустился в легкое кресло и немедля сцапал первую попавшуюся книгу, ею оказался карманный англо-русский и русско-английский словарь. Держа очки в руке, Лоренс завел глаза и попытался извлечь из памяти нечто, что ему всегда хотелось проверить, но чего он никак не мог припомнить теперь, и эта поза подчеркивала поразительное, отчасти *en jeune*[1], сходство между ним и вышедшим из-под кисти Яна Ван Эйка каноником Ван-дер-Пале с его ореолом встрепанного пуха и квадратной челюстью, захваченным приступом рассеянной мечтательности в присутствии озадаченной Мадонны, к которой статист, переодетый Святым Георгием, пытается привлечь внимание доброго каноника. Тут было все — узловатый висок, печальный затуманенный взор, складки и рытвины мясистого лица, тонкие губы и даже бородавка на левой щеке.

Едва Клементсы уселись, как Бетти ввела человека, интересующегося булочками в форме птиц. Пнин уж было произнес "профессор Вин", как Джоан, — возможно, не очень кстати — прервала попытку их познакомить, воскликнув: "О-о, Томаса мы знаем! Кто же не знает Тома?" Тим Пнин отретировался на кухню, а Бетти пустила по кругу болгарские сигареты.

— А я-то думал, Томас, — заметил Клементс, перекрещивая толстые ноги, — что вы уже в Гаване, интервьюируете лезущих по пальмам рыбаков.

— Что ж, я и отправлюсь туда после зимней сессии, — сказал профессор Томас. — Конечно, большая часть полевых исследований уже проведена другими.

---

[1] Молодецкое (*фр.*).

— Все-таки приятно было получить эту субсидию, а?

— Работая в нашей области, — с полным самообладанием ответил Томас, — приходится предпринимать множество нелегких поездок. Собственно говоря, я могу махнуть и на Наветренные острова. Если, — прибавил он с гулким смехом, — сенатор Мак-Карти не отменит заграничных поездок.

— Он получил субсидию в десять тысяч долларов, — сказала Джоан Бетти, и та проделала физиогномический реверанс, состроив особенную гримаску, состоящую из медленного полукивка с одновременным выпячиванием подбородка и нижней губы и автоматически выражающую уважительное, поздравительное и отчасти завистливое осознание Бетти такого замечательного события, каковы обед с начальником, помещение в "Who's Who" или знакомство с герцогиней.

Тейеры, приехавшие в новом фургончике, преподнесли хозяину изящную коробку конфет, а Гаген, пришедший пешком, торжественно держал на отлете бутылку водки.

— Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, — сердечно сказал Гаген.

— Доктор Гаген, — сказал Томас, пожимая ему руку, — надеюсь, Сенатор не видел, как вы разгуливаете с этой штукой.

Добрый доктор заметно постарел за последний год, но оставался таким же крепким и квадратным, как и всегда, — накладные плечи, квадратный подбородок, квадратные ноздри, львиное надпереносье и прямоугольная щетка седых волос, чем-то похожая на фигурно постриженный куст. На нем был черный костюм при нейлоновой белой сорочке и черном же галстуке, по которому летела красная молния. Миссис Гаген не позволила прийти ужасная мигрень, разыгравшаяся, увы, в самый последний миг.

Пнин внес коктейли: "Орнитолог сказал бы не 'петушьи', а 'фламинговые' хвосты", — лукаво сострил он.

— Спасибо! — пропела, снимая с подноса бокал и поднимая тонкие брови, миссис Тейер — на той веселой ноте благовоспитанного вопрошания, которая по замыслу сочетает в себе удивление с самоумалением и приятностью.

Привлекательная, манерная, румяная дама лет сорока или около, с жемчужными искусственными зубами и позлащенными волнистыми локонами, она была провинциальной кузиной умной, непринужденной Джоан Клементс, объехавшей целый свет, побывавшей даже в Турции и в Египте и вышедшей за наиболее оригинального и наименее любимого в вайнделлском кампусе ученого. Тут следует также помянуть добрым словом и мужа Маргарет Тейер, — его звали Рой, — скорбного и молчаливого сотрудника английского отделения, бывшего, если не считать его развеселого заведующего, Джека Кокерелла, гнездилищем ипохондриков. Внешне Рой представлял фигуру вполне заурядную. Нарисуйте пару ношеных коричневых мокасин, две бежевые заплатки на локтях, черную трубку, глаза под густыми бровями, а под глазами мешочки, и все остальное заполнить будет нетрудно. Где-то посередке висело невнятное заболевание печени, а на заднем плане помещалась поэзия восемнадцатого столетия, частное поле исследований Роя, — выбитый выгон с тощим ручьем и кучкой изрезанных инициалами деревьев; ряды колючей проволоки с двух сторон отделяли его от поля профессора Стоу — предшествующий век, где и ягнята были белее, и травка помягче, и ручеек побурливей, — а также от присвоенного профессором Шапиро начала девятнадцатого столетия с его мглистыми долинами, морскими туманами и привозным виноградом. Рой Тейер избегал разговоров о своем предмете, собственно, он избегал разговоров о всяком предмете, угробив десяток лет безрадостной жизни на исчерпывающий труд, посвященный забытой компании никому не нужных рифмоплетов; он вел подробный дневник, заполняя его шифрованными стихами, которые потомки, как он надеялся, когда-нибудь разберут и, смерив прошлое трезвым взглядом, объявят величайшим литературным достижением нашего времени, — и, насколько я в состоянье судить, вы, возможно, и правы, Рой Тейер.

После того как все распробовали и похвалили коктейль, профессор Пнин присел на одышливый пуфик близ своего наиновейшего друга и сказал:

— Я подготовил сообщение о полевом жаворонке, сударь, о котором вы сделали мне честь меня допросить. Возьмите это домой. Здесь отпечатанный на пишущей машинке сжатый отчет с библиографией. Я думаю, мы можем теперь переместиться в другую комнату, где нас, я думаю, ожидает ужин à la fourchette.

8

Гости с полными тарелками перетекли обратно в гостиную. Появился пунш.

— Господи, Тимофей, откуда у вас эта совершенно божественная чаша? — воскликнула Джоан.

— Виктор подарил.

— Но *где же* он ее раздобыл?

— Полагаю, в антикварной лавке в Крэнтоне.

— Господи, она же должна стоить целое состояние.

— Один доллар? Десять? Или меньше?

— Десять долларов — чушь! Я бы сказала, две сотни. Да вы *посмотрите* на нее. Взгляните на этот витой узор. Знаете, вам надо показать ее Кокереллам. Они разбираются в старом стекле. На самом деле у них даже есть кувшин из Лейк-Данмор, но он выглядит бедным родичем вашей чаши.

Маргарет Тейер в свой черед восхитилась и сказала, что ребенком она представляла себе стеклянные башмачки Золушки точь-в-точь такими же, зеленовато-синими; в своем ответе профессор Пнин отметил, что, primo[1], он был бы рад услышать хоть от кого-то, что содержимое не уступает сосуду, и, secundo[2], что башмачки Сандрильоны были не из стекла, а из меха русской белки — vair по-французски. Это, сказал он, очевидный случай выживания наиболее приспособленного из слов, — verre[3] больше говорит воображению, нежели vair, каковое слово, как он полагает, произошло не

[1] Во-первых (*лат.*).
[2] Во-вторых (*лат.*).
[3] Стекло (*фр.*).

от varius — разнообразный, пестрый, — но от "веверица", то есть от славянского названия определенной разновидности прекрасного, бледного, как у зимней белки, меха, голубоватого или лучше сказать "сизого", голубиного ("columbine") тона, — "от латинского "columba", голубь, как хорошо известно кое-кому из присутствующих, так что вы, миссис Файр, как видите, в общем-то правы".

— Содержимое превосходно, — произнес Лоренс Клсментс.

— Очень вкусный напиток, — сказала Маргарет Тейер.

("А я всегда полагал, что "columbine" — это какой-то цветок", — сказал Томас Бетти, и та с готовностью согласилась.)

Поговорили об относительном возрасте кое-кого из детей. Виктору скоро будет пятнадцать. Эйлин, внучке старшей сестры миссис Тейер, пять лет. Изабель — двадцать три, ей очень нравится работа секретарши в Нью-Йорке. Дочери доктора Гагена двадцать четыре, она вот-вот воротится из Европы после чудесно проведенного лета, — она разъезжала по Баварии и Швейцарии с весьма любезной старой дамой — Дорианной Карен, известной в двадцатых кинозвездой.

Зазвонил телефон. Кто-то желал поговорить с миссис Шеппард. С точностью, совершенно ему в этих делах не свойственной, непредсказуемый Пнин не только отбарабанил ее новый адрес и телефон, но и добавил таковые же ее старшего сына.

9

К десяти часам Пнин-пунш и Бетти-скотч вынудили кое-кого из гостей разговаривать громче, чем они о себе полагали. Алое зарево разливалось с одной стороны по шее миссис Тейер — под синей звездой ее левой серьги; сидя навытяжку, она потчевала хозяина рассказом о распре между двумя ее сослуживцами. Это была простенькая конторская история, однако тональные переходы от мисс Визг к мистеру Бассо и сознание того, как замечательно протекает вечер, заставляли Пнина пригибаться и восторженно

гоготать, прикрываясь ладонью. Рой Тейер слабо помаргивал, глядя вдоль серого пористого носа в свой пунш и вежливо слушая Джоан Клементс, у которой, когда она бывала, как нынче, навеселе, появлялось соблазнительное обыкновение перемаргивать, а то и совсем закрывать синие в черных ресницах глаза и прерывать свои речи, — дабы выделить оговорку или собраться с мыслями, — глубокими придыханиями ("хо-о-о"): "Но не кажется ли вам — хо-о-о — что то, что он пытается сделать — хо-о-о — практически во всех своих романах — хо-о-о — это — хо-о-о — выразить фантасмагорическую повторяемость определенных положений?" Бетти сохранила свое управляемое маленькое "я" и со знанием дела пеклась о закусках. В том конце комнаты, где помещалась ниша, Клементс угрюмо вращал неповоротливый глобус, а Гаген, старательно избегая традиционных интонаций, к которым он прибегнул бы в более свойской компании, рассказывал ему и ухмылявшемуся Томасу свежий анекдот о мадам Идельсон, слышанный миссис Гаген от миссис Блорендж. Подошел Пнин с тарелкой нуги.

— Это не вполне для ваших непорочных ушей, Тимофей, — сказал Гаген Пнину, который всегда признавался, что не видит соли ни в одном из "скабрезных анекдотов", — однако...

Клементс перебрался поближе к дамам. Гаген начал рассказывать историю заново, Томас — заново ухмыляться. Пнин ладонью брезгливо отмахнулся от рассказчика — "да ну вас" — и сказал:

— Я слышал этот же самый анекдот лет тридцать пять назад в Одессе и даже тогда не смог понять, что в нем смешного.

10

На еще более поздней стадии вечеринки вновь произошли некоторые перегруппировки. В углу кушетки скучающий Лоренс перелистывал альбом "Фламандские шедевры", подаренный Виктору матерью и забытый им у Пнина. Джоан сидела на скамейке у мужниных ног,

поставив тарелку с виноградом на подол широкой юбки, и прикидывала, когда можно будет уйти, не обидев Тимофея. Прочие слушали рассуждения Гагена о современном образовании:

— Можете надо мной смеяться, — говорил он, бросая острый взгляд на Клементса, который покачал головой, отвергая вызов, и протянул альбом Джоан, показав ей в нем нечто такое, от чего она захихикала.

— Можете надо мной смеяться, но я утверждаю, что единственный способ выбраться из этой трясины, — самую капельку, Тимофей, спасибо, — это запереть студента в звуконепроницаемой камере и уничтожить лекционные залы.

— Да, конечно, — шепотом сказала мужу Джоан, возвращая альбом.

— Я рад, что вы со мной согласны, Джоан, — продолжал Гаген. — Однако, когда я попытался развить эти мысли, меня назвали "enfant terrible"[1], и, быть может, дослушав меня до конца, вы не так легко со мной согласитесь. В распоряжении изолированного студента будут фонографические записи по всевозможным предметам...

— Но личность лектора, — сказала Маргарет Тейер. — Она же что-нибудь да значит.

— Ничего! — выкрикнул Гаген. — В том-то и ужас! Кому, например, нужна *его*, — он указал на сияющего Пнина, — кому нужна его личность? Никому! Они, не дрогнув, откажутся от блестящей личности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей.

— Тимофея можно было бы показывать по телевизору, — сказал Клементс.

— О, я бы смотрела с восторгом, — сказала Джоан, улыбнувшись хозяину, а Бетти с силой закивала. Пнин низко им поклонился и развел руками — "обезоружен".

— А что думаете *вы* о моем спорном проекте? — спросил Гаген у Томаса.

— Я могу вам сказать, что думает Том,— произнес Клементс, продолжая разглядывать все ту же картинку в книге,

---

[1] Возмутитель спокойствия (*букв.* ужасное дитя) (*фр.*).

раскрытой у него на коленях. — Том думает, что наилучший способ обучения чему бы то ни было состоит в том, чтобы устраивать обсуждения в классе, то есть дозволять двадцати безмозглым юнцам и двум нахальным невротикам пятьдесят минут толковать о том, о чем понятия не имеют ни они, ни их преподаватель. Надо же, — продолжал он без всякого логического перехода, — три последних месяца ищу эту картину, а она — вот она. Издателю моей новой книги по философии жеста понадобился мой портрет, а мы с Джоан знаем, что видели нечто поразительно похожее у Старых Мастеров, но даже период вспомнить не можем. И вот пожалуйста. Только и осталось, что добавить спортивную рубашку да убрать руку этого вояки.

— Я вынужден решительно протестовать, — начал Томас.

Клементс передал раскрытый альбом Маргарет Тейер, и та раскатисто засмеялась.

— Я вынужден протестовать, Лоренс, — сказал Томас. — Свободное обсуждение с привлечением широких обобщений — это гораздо более реалистичный подход к образованию, чем старомодное чтение формальных лекций.

— Разумеется, разумеется, — сказал Клементс.

Джоан поднялась и накрыла узкой ладонью стакан, который собрался наполнить Пнин. Миссис Тейер посмотрела на часики, после — на мужа. Мягкий зевок растянул Лоренсов рот. Бетти спросила у Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, специалиста по летучим мышам, который живет в Санта-Кларе на Кубе. Гаген попросил стакан воды или пива. Кого он мне напоминает? — внезапно подумал Пнин. — Эрика Винда? Но почему? Внешне они совершенно различны.

11

Финальную сцену сыграли в прихожей. Гаген никак не мог отыскать трость, с которой пришел (она завалилась за баул в стенном шкафу).

— А *я* думаю, что оставила сумочку там, где сидела, — говорила миссис Тейер, легонько подталкивая задумчивого мужа к гостиной.

Пнин и Клементс напоследок разговорились, стоя по сторонам двери, словно чета раскормленных кариатид. Они втянули животы, пропуская безмолвного Тейера. Посреди комнаты стояли Томас и Бетти, — он, заложив руки за спину и время от времени привставая на носки, она с подносом в руках, — и беседовали о Кубе, где, по сведениям Бетти, какое-то время жил двоюродный брат ее нареченного. Тейер слонялся от кресла к креслу и вдруг обнаружил, что держит в руке белую сумку, так, впрочем, и не поняв, где он ее подцепил, — голова его была занята составлением строк, которые он запишет сегодня ночью:

"Мы сидели и пили, каждый с отдельным прошлым, скрытым внутри, с будильниками судьбы, поставленными на разобщенные сроки, — когда наконец изогнулось запястье и взоры супругов сошлись..."

Между тем Пнин спросил у Джоан Клементс и Маргарет Тейер, не угодно ли им взглянуть, как он обставил верхние комнаты? Мысль пришлась им по вкусу. Он повел их наверх. Его так называемый kabinet теперь выглядел очень уютно, драный пол укрылся более или менее пакистанским ковром, который он когда-то купил для своей комнаты в колледже и который недавно вытянул, сохраняя решительное безмолвие, из-под ног изумленного Фальтернфельса. Шотландский плед, кутаясь в который Пнин пересек в 40-м году океан, и несколько подушек местной выделки прикрыли недвижимую кровать. Розоватые полки, на которых он обнаружил поколения детских книг, начиная с "Чистильщика Тома, или Пути к успеху" Горацио Алджера-младшего (1869), минуя "Рольфа в лесах" Эрнеста Томпсона Сэтона (1911) и кончая "Комптоновской энциклопедией в картинках", изданной в 1928 году в десяти томах с туманными маленькими фотографиями, — отягощались теперь тремястами шестьюдесятью пятью единицами хранения библиотеки Вайнделлского колледжа.

— Как подумаешь, что все это я проштамповала, — вздохнула миссис Тейер, в шутливом ужасе закатывая глаза.

— Некоторые проштампованы миссис Миллер, — сказал Пнин, приверженец исторической истины.

В спальне посетителей сильнее всего поразили: складная ширма, защищавшая кровать о четырех столбах от пронырливых сквозняков, и вид из выстроившихся рядком окошечек — темная каменная стена, круто вздымающаяся в пятидесяти футах от зрителя, с полоской бледного звездного неба над черной порослью вершины. Через лужайку за домом по отпечатку окна прошел в темноту Лоренс.

— Наконец-то вам по-настоящему удобно, — сказала Джоан.

— И знаете, что я вам скажу, — ответил Пнин, доверительно приглушая голос, задрожавший от торжества. — Завтра утром я под занавесом тайны встречусь с джентльменом, который хочет помочь мне купить этот дом!

Они спустились вниз. Рой протянул жене сумку Бетти. Герман нашел свою трость. Стали разыскивать сумочку Маргарет. Вновь появился Лоренс.

— Гуд-бай, гуд-бай, профессор Вин! — пропел Пнин, щеки его румянил и круглил свет фонаря над крыльцом.

(Все еще не покинув прихожей, Бетти и Маргарет Тейер дивились на трость гордого доктора Гагена, недавно присланную ему из Германии, — на суковатую дубинку с ослиной головой вместо ручки. Голова могла шевелить одним ухом. Трость принадлежала баварскому деду доктора Гагена, деревенскому пастору. Согласно записи, оставленной пастором, механизм второго уха испортился в 1914 году. Гаген носил ее, как он сказал, для защиты от одной овчарки с Гринлаун-лэйн. Американские собаки не привычны к пешеходам. А он всегда предпочитает прогулку поездке. Починить ухо невозможно. По крайней мере, в Вайнделле.)

— Хотел бы я знать, почему он меня так назвал, — сказал Т. В. Томас, профессор антропологии, Лоренсу и Джоан, когда они подходили сквозь синеватую тьму к четверке автомобилей, стоявших под ильмами на другой стороне дороги.

— У нашего друга, — ответил Клементс, — собственная номенклатура. Его словесные вычуры сообщают жизни волнующую новизну. Огрехи его произношения полны мифотворчества. Обмолвки — пророчеств. Мою жену он называет Джоном.

— Все же меня это как-то смущает, — сказал Том.

— Скорее всего, он принял вас за кого-то другого, — сказал Клементс. — И насколько я в состоянье судить, вы вполне можете оказаться кем-то другим.

Они еще не перешли улицу, как их нагнал доктор Гаген. Профессор Томас, храня озадаченный вид, уехал.

— Ну что же, — сказал Гаген.

Чудесная осенняя ночь — сталь на бархатной подушке.

Джоан спросила:

— Вы правда не хотите, чтобы мы вас подвезли?

— Тут ходьбы десять минут. А в такую прекрасную ночь прогулка — это обязанность.

Они постояли с минуту, глядя на звезды.

— И все это — миры, — произнес Гаген.

— Или же, — зевая, сказал Клементс, — жуткая неразбериха. Я подозреваю, что на самом деле — это флуоресцирующий труп, а мы у него внутри.

С освещенного крыльца донесся сочный смех Пнина, досказавшего Тейерам и Бетти Блисс историю о том, как он однажды тоже нашел чужой ридикюль.

— Ну пошли, мой флуоресцирующий труп, пора двигаться, — сказала Джоан. — Приятно было увидеться с вами, Герман. Кланяйтесь от меня Ирмгард. Какая чудесная вечеринка. Я никогда не видела Тимофея таким счастливым.

— Да, спасибо, — рассеянно ответил Гаген.

— Видели бы вы его лицо, — сказала Джоан, — когда он сказал нам, что намерен завтра поговорить с агентом по недвижимости о покупке этого чудного дома.

— Что? Вы уверены, что он это сказал? — резко спросил Гаген.

— Вполне уверена, — сказала Джоан. — И если кто-то нуждается в доме, так это, конечно, Тимофей.

— Ну, доброй ночи, — сказал Гаген. — Рад был повидаться. Доброй ночи.

Он подождал, пока они заберутся в машину, поколебался и зашагал обратно к освещенному крыльцу, где Пнин, стоя как на сцене, во второй или в третий раз обменивался рукопожатиями с Тейерами и с Бетти.

("Я никогда, — сказала Джоан, сдавая машину назад и выкручивая руль, — то есть *никогда* не позволила бы моей дочери отправиться за границу с этой старой лесбиянкой". — "Осторожней, — сказал Лоренс, — он, быть может, и пьян, но не так далеко от нас, чтобы тебя не услышать".)

— Ни за что вам не прощу, — говорила Бетти веселому хозяину, — что вы не позволили мне вымыть посуду.

— Я ему помогу, — сказал Гаген, поднимаясь по ступеням и стуча о них тростью. — А вам, детки, пора разбегаться.

И после финального круга рукопожатий Тейеры с Бетти удалились.

12

— Прежде всего, — сказал Гаген, входя с Пниным в гостиную, — я, пожалуй, выпью с вами последний бокал вина.

— Отменно! Отменно! — вскричал Пнин. — Давайте прикончим мой cruchon[1].

Они расположились поудобнее, и д-р Гаген заговорил:

— Вы — замечательный хозяин, Тимофей. А эта минута — одна из приятнейших. Мой дедушка говорил, что стакан доброго вина надо смаковать так, словно он — последний перед казнью. Интересно, что вы кладете в этот пунш. Интересно также, действительно ли вы намереваетесь, как утверждает наша очаровательная Джоан, купить этот дом?

— Не то чтобы намереваюсь, — так, потихоньку присматриваюсь к этой возможности, — с булькающим смешком ответил Пнин.

[1] Крюшон (*фр.*).

— Я сомневаюсь в разумности этого шага, — продолжал Гаген, нянча в ладонях стакан.

— Естественно, я надеюсь в конце концов получить постоянный контракт, — с некоторым лукавством сказал Пнин. — Я уже девять лет как внештатный профессор или, как это здесь называют, "помощник профессора". Годы бегут. Скоро я буду заслуженный помощник в отставке. Гаген, почему вы молчите?

— Вы ставите меня в очень неловкое положение, Тимофей. Я надеялся, что вы не поднимете этого вопроса.

— Я не поднимаю вопроса, я лишь говорю, что надеюсь, ну, не на следующий год, так хотя бы к сотой годовщине отмены рабства Вайнделл мог бы принять меня в штат.

— Видите ли, мой дорогой друг, я должен сообщить вам прискорбную тайну. Это пока неофициально, так что вы должны обещать мне никому об этом не говорить.

— Клянусь, — подняв руку, сказал Пнин.

— Вы не можете не знать, — продолжал Гаген, — с какой любовной заботой я создавал наше замечательное отделение. Я тоже уже не молод. Вы говорите, Тимофей, что провели здесь девять лет. Я же *двадцать девять* лет всего себя отдавал этому университету! Все мои скромные способности. Мой друг, профессор Крафт, недавно так написал мне: "Вы, Герман Гаген, один сделали для Германии в Америке больше, чем все наши миссии сделали для Америки в Германии". И что же происходит теперь? Я вскормил этого Фальтернфельса, этого дракона, у себя на груди, и теперь он пролез на ключевые посты. От подробностей этой интриги я вас избавлю.

— Да, — сказал Пнин со вздохом, — интриги — это ужасно, ужасно. Но с другой стороны, честный труд всегда себя оправдывает. Мы с вами начнем в следующем году несколько чудных курсов, я уж давно их обдумываю. О Тирании, о Сапоге, о Николае Первом. Обо всех предтечах современных жестокостей. Гаген, когда мы говорим о несправедливости, мы забываем об армянской резне, о пытках, выдуманных в Тибете, о колонистах в Африке... История человека — это история боли!

Гаген наклонился к другу и похлопал его по бугристому колену.

— Вы чудесный романтик, Тимофей, и при более счастливых обстоятельствах... Однако я должен сказать вам, что в ближайшем весеннем семестре мы собираемся учинить нечто и впрямь небывалое. Мы учредим Драматическую Программу — с представлением сцен из различных авторов, от Коцебу до Гауптмана. Я рассматриваю это как своего рода апофеоз... Но не будем отвлекаться. Я тоже романтик, Тимофей, и потому не могу работать с людьми вроде Бодо, как того желают наши попечители. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне предложили заменить его начиная со следующей осени.

— Поздравляю, — тепло сказал Пнин.

— Спасибо, мой друг. Это действительно хорошее и приметное положение. Там я смогу применить накопленный здесь бесценный опыт в более широких научных и административных масштабах. Конечно, поскольку я знаю, что Бодо не оставит вас на германском отделении, я первым делом предложил им взять со мной и вас, но мне было сказано, что славистов в Сиборде и так достаточно. Тогда я переговорил с Блоренджем, однако и французское отделение тоже заполнено. И это очень жаль, поскольку Вайнделл считает, что было бы слишком большим финансовым бременем платить вам за два или три русских курса, которые перестали привлекать студентов. Политические тенденции, возобладавшие в Америке, не поощряют, как мы знаем, интереса к вещам, связанным с Россией. С другой стороны, вам будет приятно узнать, что английское отделение пригласило одного из ваших наиболее блестящих соотечественников, действительно обворожительного лектора, я его слушал однажды; по-моему, это ваш старый друг.

Пнин прочистил горло и спросил:

— Это значит, что они меня увольняют?

— Ну, Тимофей, не относитесь к этому так трагично. Я уверен, что ваш старый друг —

— Кто этот старый друг? — прищурившись, осведомился Пнин.

Гаген назвал имя обворожительного лектора.

Наклонившись вперед, опершись о колена локтями, сжимая и разжимая ладони, Пнин произнес:

— Да, я знаю его лет тридцать, а то и дольше. Мы с ним друзья, но одно я могу сказать совершенно определенно. Я никогда не буду работать под его началом.

— Не спешите, Тимофей, утро вечера мудренее. Может быть, удастся найти какой-то выход. Как бы там ни было, у нас имеется прекрасная возможность как следует все обсудить. Мы просто будем преподавать по-прежнему, вы и я, как будто ничего не случилось, nicht war?[1] Мы должны быть мужественными, Тимофей!

— Значит, они меня выставили, — сказал Пнин, сжимая ладони и кивая головой.

— Да, мы с вами в одной лодке, в одной и той же лодке, — произнес жизнерадостный Гаген и встал. Было уже очень поздно.

— Ну, я иду, — сказал Гаген, который был хоть и меньшим, чем Пнин, приверженцем настоящего времени, но также отдавал ему должное. — Это был чудесный вечер, и я ни за что не позволил бы себе испортить вам праздник, не сообщи мне наш общий друг о ваших оптимистических планах. Доброй ночи. Да, кстати... Жалованье за осенний семестр вы, разумеется, получите целиком, а там, глядишь, удастся чем-то разжиться для вас и в весеннем семестре, в особенности если вы согласитесь снять с моих старых плеч кое-какую рутинную конторскую работу да примете живое участие в драматической программе в Новом Холле. Я думаю, вам даже стоит попробовать сыграть какую-нибудь роль — под руководством моей дочери, — это отвлечет вас от печальных мыслей. А теперь — сразу в постель и усыпите себя добрым детективом.

На крыльце он подергал неотзывчивую руку Пнина с силой, достаточной для двоих. Затем взмахнул тростью и бодро сошел по ступеням.

Сетчатая дверь хлопнула за его спиной.

---

[1] Не так ли? (*нем.*)

— Der arme Kerl[1], — пробормотал про себя добросердый Гаген, направляясь к дому. — По крайней мере, я подсластил пилюлю.

13

С буфета и из гостиной Пнин перенес в кухонную раковину грязную посуду и столовое серебро. Он поместил оставшуюся снедь в холодильник, под яркий арктический свет. Ветчину и язык съели начисто, также и маленькие сосиски, но винегрет успеха не имел, сохранилось, кроме того, довольно икры и мясных пирожков, чтобы завтра можно было перекусить раз-другой. "Бум-бум-бум", — сказал буфет, когда он проходил мимо. Обозрев гостиную, он приступил к уборке. Последняя капля Пнин-пунша сверкала в прекрасной чаше. Джоан раздавила в тарелке вымазанный губной помадой сигаретный окурок. Бетти следов не оставила и даже снесла все бокалы на кухню. Миссис Тейер забыла на тарелке, рядом с кусочком нуги, хорошенький буклет разноцветных спичек. Мистер Тейер скрутил с полдюжины бумажных салфеток, придав им самые прихотливые очертания. Гаген загасил растрепанную сигару о несъеденную кисть винограда.

Перейдя в кухню, Пнин изготовился мыть посуду. Он снял шелковую куртку, галстук и челюсти. Для защиты рубашки и смокинговых брюк он надел субреточный пятнистый передник. Он соскоблил с тарелок в бумажный мешок лакомые кусочки, чтобы после отдать их белой чесоточной собачонке с розовыми пятнами на спине, которая иногда заходила к нему под вечер, — ибо не существует причин, по которым несчастье человека должно лишать радости собаку.

Он приготовил в мойке мыльную ванну для тарелок, бокалов и серебра и с бесконечной осторожностью опустил аквамариновую чашу в тепловатую пену. Оседая и набирая воду, звучный флинтглас запел приглушенно и мягко.

[1] Бедняга (*нем.*).

Пнин ополоснул под краном янтарные бокалы и серебро и погрузил их туда же. Затем извлек ножи, вилки, ложки, промыл их и стал вытирать. Работал он очень медленно, с некоторой размытостью движений, которая в человеке менее обстоятельном могла бы показаться рассеянностью. Собрав протертые ложки в букетик, он поместил его в вымытый, но не вытертый кувшин, а затем стал доставать их оттуда и протирать одну за одной. В поисках забытого серебра он пошарил под пузырями, среди бокалов и под мелодичной чашей и выудил щипцы для орехов. Привередливый Пнин обмыл их и принялся вытирать, как вдруг ногастая штука каким-то образом вывернулась из полотенца и рухнула вниз, точно человек, свалившийся с крыши. Пнин почти поймал щипцы, пальцы коснулись их на лету, но лишь протолкнули в укрывшую сокровище пену и за нырком оттуда донесся мучительный клекот бьющегося стекла.

Пнин швырнул полотенце в угол и, отвернувшись, с минуту простоял, глядя в темноту за порогом распахнутой задней двери. Зеленое насекомое, крохотное и беззвучное, кружило на кружевных крыльях в сиянии яркой голой лампы, висевшей над лоснистой лысой головою Пнина. Он выглядел очень старым — с приоткрытым беззубым ртом и пеленою слез, замутившей пустые, немигающие глаза. Наконец, застонав от мучительного предчувствия, он повернулся к раковине и, собравшись с силами, глубоко погрузил в воду руку. Осколок стекла укусил его в палец. Он осторожно вынул разбитый бокал. Прекрасная чаша была невредима. Взяв свежее кухонное полотенце, Пнин продолжил хозяйственные труды.

Когда все было вымыто и вытерто, и чаша, отчужденная и безмятежная, стояла на самой надежной полке буфета, и маленький яркий дом был накрепко заперт в огромной ночи, Пнин присел за кухонный стол и, достав из его ящика листок желтоватой макулатурной бумаги, расцепил автоматическое перо и принялся составлять черновик письма:

"Дорогой Гаген, — писал он ясным и твердым почерком, — позвольте мне ремюзировать (зачеркнуто) резюмировать разговор, состоявшийся нынче ночью. Должен признаться, он отчасти меня поразил. Если я имел честь правильно вас понять, вы сказали..."

Глава седьмая

1

Первое мое воспоминание о Тимофее Пнине связано с кусочком угля, залетевшим мне в левый глаз в весеннее воскресенье 1911 года.

Стояло одно из тех резких, ветреных, сияющих петербургских утр, когда последние прозрачные куски ладожского льда уже унесены Невою в залив, и индиговые волны ее, вздымаясь, плещут в береговой гранит, и причаленные к стенке огромные буксиры и барки мерно трутся и скрипят, и медь и красное дерево заякоренных паровых яхт сияют под изменчивым солнцем. Я испытывал прекрасный новый английский велосипед, подаренный мне на двенадцатый день рождения, и пока я катил к нашему розоватого камня дому на Морской по гладкой, ровно паркет, деревянной панели, сознание того, что я серьезнейшим образом ослушался гувернера, терзало меня меньше, чем зернышко жгучей боли на крайнем севере моего глазного яблока. Домашние средства вроде прикладывания ватки, смоченной в холодном чае, или примененья методы, называемой "три к носу", только ухудшили положение, и когда я назавтра проснулся, то, что засело под верхним веком, ощущалось как твердый многогранник, при каждом слезливом моргании погружавшийся на все большую глубину. В полдень меня свезли к лучшему окулисту, доктору Павлу Пнину.

Глупое происшествие из тех, что навсегда застревают в восприимчивом детском сознании, размечает пространство времени, проведенного мною и гувернером в заполненной солнечной пылью и плюшем приемной д-ра Пнина, где голубой мазок окна миниатюрно отражался в стеклянном колпаке золоченых бронзовых часов на камине и пара мух

описывала медленные четырехугольники вокруг безжизненной люстры. Дама в шляпе с плюмажем и ее муж в темных очках, храня супружеское безмолвие, сидели на диване; вошел кавалерийский офицер и присел с газетой к окну; затем муж удалился в кабинет д-ра Пнина; а затем я заметил странное выражение на лице моего гувернера.

Здоровым оком я проследил направление его взгляда. Офицер склонялся к даме. По-французски он бегло корил ее за что-то, сделанное или не сделанное вчера. Она протянула ему для поцелуя руку в перчатке. Он приник к перчаточному глазку — и ушел, излеченный от своего недуга, в чем бы тот ни заключался.

Мягкостью черт, массивностью тела, тонкостью ног и обезьяньими очертаньями уха и верхней губы д-р Павел Пнин очень походил на Тимофея, каким тот стал через три-четыре десятка лет. Впрочем, у отца бахрома соломенных волос оживляла восковую плешь; он, подобно покойному доктору Чехову, носил пенсне в черной оправе на черном же шнурке; он говорил слегка заикаясь, голосом вовсе не похожим на будущий голос сына. И какое божественное облегчение испытал я, когда с помощью крохотного инструмента, похожего на барабанную палочку эльфа, ласковый доктор удалил у меня из глаза преступный черный атом! Интересно, где она теперь, эта соринка? Сводящий с ума, наводящий уныние факт, — где-то ведь она существует.

Возможно оттого, что посещая одноклассников, я видел и другие жилища людей среднего достатка, у меня безотчетно сложился образ квартиры Пнина, вернее всего, отвечающий истине. А потому могу сообщить здесь, что она, возможно (а возможно, и нет), состояла из двух порядков комнат, разделенных длинным коридором; по одной стороне — приемная, кабинет доктора, дальше, предположительно, столовая и гостиная; а по другой — две или три спальни, классная, ванная, комната прислуги и кухня. Я уже уходил с флаконом глазной примочки, а мой гувернер, пользуясь случаем, выспрашивал у д-ра Пнина, может ли перенапряжение глаз вызывать расстройство желудка, когда отворилась и затворилась входная дверь. Д-р Пнин

проворно вышел в переднюю, о чем-то спросил, получил тихий ответ и вернулся с сыном Тимофеем, гимназистом тринадцати лет, одетым в гимназическую форму: черная рубаха, черные штаны, глянцевый черный ремень (я учился в более либеральной школе, мы одевались там кто во что горазд).

Действительно ли я помню его ежик, припухлое бледное лицо, красные уши? Да, явственно. Я помню даже, как он неприметно вывернул плечо из-под гордой отцовской руки, когда гордый отцовский голос сказал: "Этот мальчик только что получил пять с плюсом на экзамене по алгебре". Из дальнего конца коридора несся сильный запах кулебяки с капустой, а за открытой дверью классной виднелась карта России на стене, книги на полке, чучело белки и игрушечный моноплан с полотняными крыльями и резиновым моторчиком. У меня был похожий, купленный в Биаррице, только в два раза крупней. Если долго вертеть пропеллер, резинка начинала навиваться по-иному, занятно скручиваясь, что предвещало близость ее конца.

2

Через пять лет, проведя начало лета в нашем поместье под Петербургом, мама, младший брат и я приехали погостить к скучнейшей старой тетке в ее удивительно запущенную усадьбу, расположенную невдалеке от знаменитого балтийского курорта. Как-то после полудня, когда я, испытывая сосредоточенный восторг, расправлял исподом вверх исключительно редкую аберрацию большой перламутровки, у которой серебристые полосы, украшающие изнанку задних крыльев, соединялись, придавая им ровный металлический отлив, вошел слуга с сообщением, что старая госпожа призывает меня к себе. Я нашел ее в гостиной за разговором с двумя сконфуженными молодыми людьми в студенческих тужурках. Один, покрытый светлым пушком, был Тимофеем Пниным, другой, с рыжеватой челкой, — Григорием Белочкиным. Они пришли испросить у моей двоюродной бабушки разрешения использовать стоящую

на границе ее владений пустую ригу для постановки пьесы. Ставился русский перевод трехактной "Liebelei" Артура Шницлера. Справиться с этой затеей им помогал Анчаров, полупрофессиональный провинциальный актер, репутация которого зиждилась по преимуществу на поблеклых газетных вырезках. Не приму ли и я участия? Однако в шестнадцать лет я был столь же заносчив, сколь и застенчив, — и отверг роль безымянного Господина в акте первом. Переговоры закончились общим замешательством, отнюдь не разряженным тем, что Пнин или Белочкин опрокинул стакан грушевого квасу, — и я вернулся к моим бабочкам. Две недели спустя меня каким-то образом уговорили посетить представление. Ригу заполняли дачники и раненые солдаты из ближнего лазарета. Я пришел вместе с братом, а с нами рядом сидел эконом бабушкина именья Роберт Карлович Горн, веселый толстяк из Риги с налитыми кровью фарфоровыми глазами, от всей души хлопавший в самых неподходящих местах. Помню запах украсившей ригу хвои и глаза деревенских детей, поблескивавшие сквозь щели в стенах. Первые ряды стояли так близко к помосту, что когда обманутый муж выхватил пачку любовных писем, написанных его жене Фрицем Лобгеймером, студентом и драгуном, и швырнул их Фрицу в лицо, было с полной ясностью видно, что это — старые почтовые открытки с отрезанными марочными уголками. Я совершенно убежден, что небольшую роль этого гневного Господина сыграл Тимофей Пнин (хотя, разумеется, в дальнейших актах он мог появляться в иных ролях); впрочем, желтое пальто, пушистые усы и темный парик, посередке разделенный пробором, так преображали его, что микроскопический интерес, возбуждавшийся во мне его существованием, вряд ли может служить порукой какой-либо сознательной уверенности с моей стороны. Фриц, молодой любовник, обреченный пасть на дуэли, не только завел за сценой загадочную интрижку с Дамой в черном бархате, женой Господина, он играл также сердцем Христины, наивной венской девушки. Роль Фрица исполнял плотный сорокалетний Анчаров в жгуче-коричневом гриме, он ударял себя в грудь с таким звуком, будто ковер выбивал, а его имп-

ровизированные усовершенствования роли, до заучивания которой он не снизошел, почти парализовали приятеля Фрица — Теодора Кайзера (Григорий Белочкин). Особа, бывшая в подлинной жизни состоятельной старой девой, которую обхаживал Анчаров, весьма неумело изображала Христину Вейринг, дочь скрипача. Роль модисточки Мизи Шлягер, возлюбленной Теодора, очаровательно исполнила хорошенькая девушка с нежной шеей и бархатными глазами, сестра Белочкина, она и заслужила в тот вечер самые долгие рукоплескания.

3

Маловероятно, разумеется, чтобы в последовавшие за этим годы революции и гражданской войны я имел случай вспомнить д-ра Пнина с его сыном. Если я и восстанавливаю ранние впечатления в каких-то подробностях, то лишь для того, чтобы показать, какие мысли мелькнули в моем уме, когда в самом начале двадцатых, апрельским вечером, в парижском кафе, я пожимал руку русобородого, ясноглазого Тимофея Пнина, молодого, но сведущего автора нескольких превосходных статей по русской культуре. У эмигрантских писателей и художников имелось обыкновение собираться в “Трех фонтанах” после читок или лекций, столь популярных тогда среди русских изгнанников; вот после одного из таких событий я, еще охриплый от чтения, попытался не только напомнить Пнину о прежних наших встречах, но также потешить его и окружающих чрезвычайной ясностью и силой моей памяти. Однако он отрицал все. Он сказал, что смутно помнит мою двоюродную бабушку, но что меня он отродясь не видел. Сказал, что по алгебре у него вечно были плохие отметки, и уж во всяком случае, отец никогда не показывал его пациентам; что в “Забаве” (“Liebelei”) он играл одну только роль — отца Христины. Он повторил, что мы никогда прежде не встречались. Наши недолгие пререкания были не чем иным, как взаимным добродушным подтруниванием, все вокруг смеялись; впрочем, я, заметив, как неохотно он

признается в своем прошлом, перешел к иным, менее личным предметам.

Постепенно моей основной слушательницей стала замечательно красивая девушка в черном шелковом свитере и с золотой лентой в каштановых волосах. Она стояла передо мной, уперев правый локоть в ладонь левой руки, держа сигарету, словно цыганка, между большим и указательным пальцами правой; сигарета дымила, и девушка щурила яркие голубые глаза. Это была Лиза Боголепова, студентка-медичка, писавшая к тому же стихи. Она спросила, нельзя ли ей прислать стихи мне на суд. Несколько позже я увидел ее сидящей рядом с отвратительно волосатым молодым композитором по имени Иван Нагой; они пили "на брудершафт", а за несколько стульев от них доктор Баракан, талантливый невропатолог и последний любовник Лизы, следил за ней с тихим отчаянием в темных миндалевидных глазах.

Через несколько дней она прислала стихи; вот достойный образчик ее творений, подобные ему сочинялись "под Ахматову" и иными эмигрантскими рифмессами — куцые жеманные вирши, передвигающиеся на цыпочках трех более-менее анапестовых стоп и грузно оседающие с последним задумчивым вздохом:

Самоцветов кроме очей
Нет у меня никаких,
Но есть роза еще нежней
Розовых губ моих.
И юноша тихий сказал:
"Ваше сердце всего нежней..."
И я опустила глаза...

Неполные рифмы вроде "сказал — глаза" считались тогда очень изысканными. Отметим, кроме того, эротический подтекст и намеки cour d'amour[1]. Я ответил Лизе, написав, что стихи ее плохи и что сочинительство ей лучше оставить. Спустя еще какое-то время я встретил ее в другом

---

[1] Любовные (*букв.* суд любви) (*фр.*).

café, сидящей в цвету и пламени за длинным столом вместе с дюжиной молодых русских поэтов. С упорством загадочным и насмешливым она не сводила с меня своего сапфирового взора. Мы разговорились. Я попросил дозволения еще раз взглянуть на ее стихи в каком-нибудь месте потише. Я его получил. Я сказал ей, что стихи поразили меня, оказавшись даже хуже, чем при первом прочтении. Она жила в самой дешевой из комнат декадентской гостинички, без ванны и с четой щебечущих молодых англичан по соседству.

Бедная Лиза! Конечно, и ей выпадали артистические минуты, когда майской ночью она останавливалась на убогой улочке, чтобы восхититься, о нет, — вострепетать пред красочными останками старой афиши на черной мокрой стене под светом уличной лампы или под льнущей к фонарю сквозистой зеленью лип, но все же она принадлежала к женщинам, сочетающим здоровую внешность с истерической неряшливостью, лирические порывы — с очень практичным и очень плоским умом, дурной нрав — с сентиментальностью и вялую податливость — с недюжинной способностью толкать людей на сумасбродные выходки. Побуждаемая некоторыми чувствами и определенным ходом событий, рассказ о коих навряд ли заинтересует читателя, Лиза проглотила пригоршню снотворных пилюль. Уже проваливаясь в беспамятство, она опрокинула открытую бутылку темно-красных чернил, которыми записывала стихи, и эту яркую струйку, выползавшую из-под двери, заметили Крис и Лу — как раз вовремя, чтобы ее спасти.

После этих неприятностей мы не виделись недели две, но накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в скверике, расположенном в конце улицы, на которой я жил, стройная и чужая в новом платье, сизом, как Париж, и в действительно прелестной новой шляпке с крылом синей птицы. Она протянула мне сложенный листок. “Мне нужен от вас последний совет, — сказала она голосом, который французы зовут “белым”. — Вот полученное мною предложение о браке. Я буду ждать до полуночи. Если от вас не будет вестей, я его приму”. И окликнув такси, уехала.

Письмо по случаю осталось в моих бумагах. Вот сей лист:

"Увы, боюсь, что только жалость родят мои признанья, Lise (автор, хоть он и пишет по-русски, всюду пользуется этой французской формой ее имени, чтобы, как я полагаю, избежать и фамильярного "Лиза", и формального "Елизавета Иннокентьевна"). *Человеку чуткому всегда жалко видеть другого в неловком положении. А мое положение — определенно неловкое.*

Вас, Lise, окружают поэты, ученые, художники, дэнди. Прославленный живописец, сделавший в прошлом году Ваш портрет, теперь, говорят, спился в дебрях Массачусетса. Каких только слухов не ходит. И вот, я осмеливаюсь писать к Вам.

Я не красив, не интересен, не талантлив. Я даже не богат. Но, Lise, я предлагаю Вам все, что у меня есть, до последней капельки крови, до последней слезы, все. И поверьте, это больше, чем может Вам предложить какой угодно гений, ведь гению приходится многое оставлять про запас и, стало быть, он не в состоянии предложить Вам всего себя, как я. Быть может, счастье не суждено мне, но я знаю, я сделаю все, чтобы Вы были счастливы. Я хочу, чтобы Вы писали стихи. Я хочу, чтобы Вы продолжали Ваши психотерапевтические опыты, — в которых я многого не понимаю, сомневаясь и в правильности того, что мне удается понять. Кстати, в отдельном конверте я посылаю Вам изданную в Праге брошюру моего друга, профессора Шато, который с блеском опровергает теорию Вашего д-ра Халпа о том, что рождение представляет собою акт самоубийства со стороны младенца. Я позволил себе исправить очевидную опечатку на 48-й странице великолепной статьи Шато. Остаюсь в ожидании Вашего" (вероятно, *"решения"* — низ листа вместе с подписью Лиза отрезала).

4

Когда через полдюжины лет я вновь оказался в Париже, мне сказали, что вскоре после моего отъезда Тимофей Пнин женился на Лизе Боголеповой. Она прислала мне вышедший в свет сборник ее стихов "Сухие губы", надпи-

сав темно-красными чернилами: "Незнакомцу от Незнакомки". Я встретился с ней и с Пниным в доме известного эмигранта, эсера, за вечерним чаем — на одном из тех непринужденных сборищ, где старомодные террористы, героические монахини, одаренные гедонисты, либералы, дерзновенные молодые поэты, пожилые писатели и художники, издатели и публицисты, вольнодумные философы и ученые являли род особого рыцарства, деятельное и значительное ядро сообщества изгнанников, треть столетия процветавшего, оставаясь практически неведомым американским интеллектуалам, у которых хитроумная коммунистическая пропаганда создавала об эмиграции туманное, целиком надуманное представление как о мутной и полностью вымышленной массе так называемых "троцкистов" (уж и не знаю, кто это), разорившихся реакционеров, чекистов (перебежавших или переодетых), титулованных дам, профессиональных священников, владельцев ресторанов, белогвардейских союзов, — массе, культурного значения не имеющей решительно никакого.

Воспользовавшись тем, что Пнин на другом конце стола погрузился в политические дебаты с Керенским, Лиза со всегдашней ее грубой прямотой сообщила мне, что она "обо всем рассказала Тимофею", что он "святой" и что он меня "простил". По счастью, она не часто сопровождала его на поздние приемы, где я имел удовольствие сиживать с ним бок о бок или насупротив в обществе близких друзей, на нашей маленькой одинокой планете, над черным и бриллиантовым городом, и свет лампы падал на чье-нибудь сократовское чело, и ломтик лимона кружился в стакане помешиваемого чая. Как-то ночью, когда доктор Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я заговорил с невропатологом о его двоюродной сестре Людмиле, ныне леди Д., — мы встречались с ней в Ялте, Афинах и Лондоне, — как вдруг Пнин через стол крикнул д-ру Баракану: "Да не верьте вы ни одному его слову, Георгий Арамович. Он же все сочиняет. Он как-то выдумал, будто мы с ним в России учились в одном классе и сдували друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик". Баракана и меня до того изумил этот внезапный порыв, что мы так и остались сидеть, молча уставясь один на другого.

5

Когда вспоминаешь давних знакомых, поздние впечатления часто оказываются невнятнее ранних. Я помню разговор с Лизой и ее новым мужем, д-ром Эриком Виндом, между двумя действиями русской пьесы, в Нью-Йорке, где-то в начале сороковых. Винд сказал, что испытывает "по-настоящему теплое чувство к герр профессор Пнин", и поделился со мной некоторыми причудливыми подробностями их совместного вояжа из Европы в начале Второй мировой войны. В те годы я несколько раз сталкивался в Нью-Йорке и с Пниным — на различных общественных и научных торжествах, однако единственное живое воспоминание осталось у меня от нашей совместной поездки в вест-сайдском автобусе одним очень праздничным и сырым вечером 52-го года. Мы приехали, каждый из своего университета, чтобы выступить в литературной и художественной программе перед большой аудиторией эмигрантов, собравшихся в Нью-Йорке по случаю сотой годовщины смерти одного великого писателя. Пнин преподавал в Вайнделле уже с середины сороковых, и я никогда не видел его более крепким, цветущим и уверенным в себе. Мы оба оказались, как он пошутил, "восьмидесятниками", то есть оба остановились на ночь в восьмидесятых улицах Вест-Сайда; и пока мы висли на соседних ремнях переполненного и порывистого автобуса, мой добрый друг ухитрялся сочетать мощные нырки и повороты головы (в непрестанных попытках проверить и перепроверить номера пересекаемых улиц) с великолепным пересказом всего того, что он не смог за недостатком времени сказать на праздновании о разветвленных сравнениях у Гомера и Гоголя.

6

Решившись принять профессорство в Вайнделле, я оговорил возможность пригласить кого сочту необходимым для преподавания в особом русском отделении, которое я

собирался учредить. Получив согласие, я написал Тимофею Пнину в самых сердечных выражениях, какие смог подобрать, предлагая ему помочь мне любым способом и в любой степени, для него удобных. Его ответ удивил и обидел меня. Он коротко написал, что покончил с преподаванием и не намерен даже дожидаться конца весеннего семестра, — после чего обратился к иным предметам. Виктор (о котором я из учтивости справился) живет с матерью в Риме; она развелась с третьим мужем и вышла за итальянского торговца картинами. Пнин закончил письмо сообщением, что, к его величайшему сожалению, ему придется покинуть Вайнделл за два-три дня до публичной лекции, которую мне предстояло прочесть во вторник, пятнадцатого февраля. Места своего назначения он не назвал.

“Грейхаунд”, который привез меня в Вайнделл в понедельник, четырнадцатого, пришел туда уже затемно. Меня встретили Кокереллы и пригласили на поздний ужин к себе домой, и получилось, что я заночевал у них, — вместо того чтобы отоспаться в отеле, каково было первоначальное мое намерение. Гвен Кокерелл оказалась очень хорошенькой женщиной сильно за тридцать, с профилем котенка и с грациозными членами. Ее муж, с которым я однажды уже встречался в Нью-Хейвене и которого запомнил как довольно вялого, луноликого, невыразительного и белесого англичанина, приобрел с тех пор безошибочное сходство с человеком, которого он передразнивал почти уже десять лет. Я устал и не был особенно склонен развлекаться застольным спектаклем, однако должен признать, что Джек Кокерелл изображал Пнина в совершенстве. Его хватило чуть не на два часа, он показал мне все — Пнина на лекции, Пнина за едой, Пнина, строящего глазки студентке, Пнина, излагающего эпопею с электрическим вентилятором, который он неосмотрительно водрузил на стеклянную полку над ванной, в которую тот едва не слетел, потрясенный собственными вибрациями; Пнина, пытающегося убедить профессора Уинна, орнитолога, едва с ним знакомого, что они — старые друзья, Том и Тим, и Уинна, приходящего к заключению, что он имеет дело с кем-то, изображаю-

щим профессора Пнина. Все это строилось, разумеется, на жестикуляции и диком английском Пнина, впрочем, Кокерелл ухитрялся передавать и такие тонкости, как различие между молчанием Пнина и молчанием Тейера, когда они сидят, погрузившись в раздумья, в соседних креслах преподавательского клуба. Мы получили Пнина в книгохранилище и Пнина на озере в кампусе. Мы услышали, как Пнин порицает различные комнаты, которые он поочередно снимал. Мы выслушали рассказ Пнина о том, как он учился водить машину, а также о его действиях при первом проколе шины — на пути с "птицефермы какого-то тайного советника царя", где, как полагал Кокерелл, Пнин проводил летние отпуска. Мы добрались, наконец, до сделанного Пниным заявления о том, что его "выстрелили" (shot), под чем, согласно имитатору, бедняга разумел "выставили" (fired), — я сомневаюсь, чтобы мой бедный друг мог впасть в такую ошибку. Блестящий Кокерелл поведал нам также о странной распре между Пниным и его соплеменником Комаровым — посредственным стенописцем, продолжавшим добавлять фресковые портреты преподавателей колледжа к тем, что уже были когда-то написаны на стенах университетской столовой великим Лангом. Хотя Комаров принадлежал к иному, нежели Пнин, политическому течению, художник-патриот усмотрел в удалении Пнина антирусский выпад и принялся соскребать хмурого Наполеона, стоявшего между молодым, полнотелым (ныне костлявым) Блоренджем и молодым, усатым (ныне бритым) Гагеном, намереваясь вписать туда Пнина; была показана и сцена во время ленча между Пниным и ректором Пуром: разгневанный, пузырящийся Пнин, утративший всякий контроль над тем английским, каким он владел, тыкал трясущимся пальцем в зачаточный очерк призрачного мужика на стене и вопил, что будет судиться с колледжем, если его лицо появится над этой косовороткой; здесь была и его аудитория — непроницаемый Пур, объятый тьмой своей слепоты, ожидающий, когда Пнин иссякнет, чтобы громко спросить: "А этот иностранный господин тоже у нас работает?" О, имитация была бесподобно смешной, и хоть Гвен Кокерелл, надо полагать, слышала про-

грамму множество раз, она хохотала так громко, что старый пес Собакевич, коричневый кокер с залитым слезами лицом, принялся ерзать и принюхиваться ко мне. Представление, повторяю, было блестящим, но чрезмерно затянутым. К полуночи веселье выдохлось; улыбка, которую я держал на плаву, приобретала, чувствовал я, признаки губной спазмы. В конце концов все выродилось в такую скуку, что я уже начал гадать, не стало ль для Кокерелла его занятие Пниным — в силу некоего поэтического возмездия — своего рода роковым помешательством, замещающим исходное посмешище собственной жертвой.

Мы выпили порядочное количество виски, и где-то после полуночи Кокерелл принял одно из тех внезапных решений, которые — в определенном градусе опьянения — кажутся столь осмысленными и смешными. Он объявил о своей уверенности в том, что старая лиса Пнин никуда вчера не уехал, а забился поглубже в нору. Так отчего бы не позвонить и не проверить? Он и позвонил, и хоть ответа на вереницу настойчивых нот, изображающих действительный звон в воображаемой далекой прихожей, не последовало, представлялось разумным, что этот совершенно нормальный телефон, уж верно, отключили бы, если бы Пнин и вправду освободил дом. Я по-дурацки рвался сказать что-то дружеское моему доброму Тимофей Палычу, так что спустя несколько времени тоже попробовал дозвониться. Внезапно раздался щелчок, открылась звуковая перспектива, отзвук тяжелого дыхания, и неумело искаженный голос сказал: "He is not at home, he has gone, he has quite gone" ("Его нет дома, он ушел, он совсем ушел"), — и трубку повесили; однако это не спасло моего старого друга, ибо и лучший его подражатель не смог бы столь подчеркнуто срифмовать "at"[1] с немецким "hat"[2], "home"[3] с французским "homme"[4] и "gone"[5] с началом "Гонерильи".

---

[1] В, у (*англ.* предлог).
[2] Имеет (*нем.*).
[3] Дом (*англ.*).
[4] Человек, мужчина (*фр.*).
[5] Ушел (*англ.*).

Кокерелл предложил подъехать к дому 999 по Тодд-роуд и спеть окопавшемуся там Пнину серенаду, но тут уж вмешалась миссис Кокерелл, и после вечера, почему-то оставившего в моей душе подобие дрянного привкуса во рту, мы отправились спать.

7

Я провел дурную ночь в прелестной, проветренной, приятно обставленной спальне, где ни окно, ни дверь толком не закрывались, а полное собрание сочинений о Шерлоке Хольмсе, которое годами гоняется за мной, подпирало лампу у изголовья, до того слабую и изнуренную, что даже гранки, взятые мной для просмотра, не смогли подсластить бессонницу. Громыхание грузовиков сотрясало дом каждые две минуты; я задремывал и подскакивал, задыхаясь, и какой-то свет, проникавший с улицы сквозь пародийную штору, добирался до зеркала и ослеплял меня мыслью, что я стою перед расстрельной командой.

Я устроен таким образом, что, прежде чем я смогу противостоять невзгодам дня, мне совершенно необходимо проглотить сок трех апельсинов. Поэтому в половине восьмого я наскоро принял душ и через пять минут вышел из дома в обществе длинноухого и подавленного Собакевича.

Воздух был резким, небо — ясным и оттертым до блеска. Далеко на юг видна была пустая дорога, взбегающая между снежных заплат на сизый холм. Высокий безлистый тополь, бурый, словно метла, поднимался от меня по правую руку, долгая утренняя его тень тянулась на противную сторону улицы и падала там на зубчатый кремовый дом, который, по уверениям Кокерелла, мой предшественник, увидев входящих туда людей в фесках, счел за турецкое консульство. Я свернул налево, на север, и прошел пару кварталов вниз по холму — к ресторану, примеченному мною накануне; однако заведение еще не открылось, и я повернул назад. Едва я сделал пару шагов, как груженный пивом большой грузовик, загрохотал вверх по улице; сразу

за ним тянулся бледно-голубой седан, из которого выглядывала белая собачья головенка; следом катил второй грузовик, точь-в-точь такой, как первый. Смиренный седан был забит узлами и сумками; и Пнин сидел за рулем. Я испустил приветственный рев, но он не заметил меня, и я надеялся только, что сумею взбежать по холму достаточно быстро и настигну его, когда в квартале отсюда красный свет преградит ему путь.

Я успел обежать задний грузовик и еще раз увидеть напряженный профиль моего старого друга, одетого в шапку с ушами и теплый, с меховым воротом, плащ; но в следующий миг свет позеленел, белая собачонка, высунувшись, облаяла Собакевича, и все устремилось вперед — первый грузовик, Пнин, второй грузовик. Оттуда, где я стоял, я следил, как они уменьшаются в рамке дороги, между мавританским домом и итальянским тополем. Крошка-седан храбро обогнул передний грузовик и, наконец-то свободный, рванул по сияющей дороге, сужавшейся в едва различимую золотистую нить в мягком тумане, где холм за холмом творят прекрасную даль и где просто трудно сказать, какое чудо еще может случиться.

Кокерелл, в коричневом халате и сандалиях, впустил кокера и повел меня в кухню, к английскому завтраку из унылых почек и рыбы.

— А теперь, — сказал он, — я расскажу вам о том, как Пнин, взойдя в Кремоне на сцену Женского клуба, обнаружил, что привез не ту лекцию.

mewhat provincial
zed by an artificial lake
landscaped
necting
playing
ulty in th
knowled
Pasteur
n boys ar
ive, buoy
nt which i
ted (prono
tinctly) a
In the F
year

NABOKOV'S
QUARTET
BY
VLADIMIR
NABOKOV

PUBLISHERS: 1966

NABOKOV'S
QUARTET
BY VLADIMIR NABOKOV

ose pr
disp
ared t
leen
at by
ssian
An
eache
mpe
ies, s
who
formal training a
ad any
by dint of intui
external bo

Рассказы

Перевод Сергея Ильина

— 1943-1959 —

ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ

1

В 1899 году в грузном, уютно ватном Петербурге видная культурная организация — "Общество поощрения русской словесности" — решила торжественно почтить память поэта Константина Перова, скончавшегося за полстолетия до того в пылком возрасте двадцати четырех лет. Перова называли русским Рембо, и хоть французский юноша превосходил его одаренностью, уподобление не было вовсе несправедливо. Всего восемнадцати лет он написал свои замечательные "Грузинские ночи" — длинную, бессвязную "эпическую грезу" , некоторые пассажи которой как бы прорывают завесу своего традиционно восточного убранства, создавая небесный сквозняк, от которого прямо между лопаток читателя вдруг возникает ощущение истинной поэзии.

Следом, три года спустя, вышел томик стихов: Перов увлекся кем-то из немецких философов, и несколько пьес этого тома производят печальное впечатление из-за нелепых потуг сочетать неподдельный лирический спазм с метафизическим объяснением мира; но остальные еще и сейчас живы и необычайны как в те дни, когда этот странный юноша шерстил русский словарь и сворачивал привычным эпитетам шеи, заставляя поэзию вопить и захлебываться, а не чирикать. Большинству читателей более по душе те из его стихов, в которых восхитительный вихрь невразумительного красноречия, о коем один критик сказал, что оно "не указывает врага, но наполняет нас жаждою битвы", выражает идеи равенства, столь характерные для России пятидесятых годов. Я же предпочитаю более чистую и одновременно ритмически более сложную его лирику, — скажем, "Цыгана" или "Нетопыря".

Перов был сыном мелкого землевладельца, о котором известно лишь, что он покушался в своем именье под Лугой выращивать чай. Большую часть времени, проведенного юным Константином в Петербурге (прибегнем к интонации биографических писаний), он потратил на неопределенное хождение в университет, а затем на неопределенные же поиски чиновничьего места; в сущности, о его занятиях известно немногое, — помимо тех пустяков, которые можно дедуктивным путем вывести из общих склонностей его круга. Одно место в письме прославленного поэта Некрасова, как-то столкнувшегося с ним в книжной лавке, рисует нам образ угрюмого, неуравновешенного, "неуклюжего и пылкого" юноши с "детским взором и плечьми возчика мебели".

Он упоминается также в полицейском донесении как "вполголоса совещавшийся с двумя другими студентами" в кофейне на Невском. А его сестра, вышедшая замуж за рижского купца, как говорят, сожалела о бурных романах поэта с прачками и белошвейками. Осенью 1849 года он навестил отца, намереваясь просить денег на поездку в Испанию. Отец, отличавшийся простотою душевных движений, дал ему лишь пощечину; несколько дней спустя бедный юноша утонул, купаясь по соседству в реке. Его платье и полуобгрызенное яблоко нашли под березой, тела же отыскать не сумели.

Слава ему выпала вялая: отрывок из "Грузинских ночей" — вечно один и тот же во всех антологиях; неистовая статья радикального критика Добролюбова (1859), восхваляющая революционные околичности самых слабых его стихов; сложившееся в восьмидесятых общее представление, что реакционная среда чинила препоны чистому, пусть и бессвязному отчасти таланту, а там и вовсе его заела, — вот, пожалуй, и все.

В девяностых годах, вследствие оздоровления поэтических интересов, совпавшего, что порою случается, с эрой суровой и скучной политики, вокруг поэзии Перова затеялась суета повторного узнавания, — а со своей стороны и либеральные деятели были не прочь подхватить добролюбовские обиняки. Весьма успешно прошла подписка на

возведение памятника Перову в одном из публичных парков. Крупный издатель, соединив все доступные крохи сведений о жизни Перова, выпустил полное собрание его сочинений в одном приятно увесистом томе. Ежемесячники напечатали несколько ученых статей. Памятный вечер в одном из лучших залов столицы собрал большую толпу.

2

За несколько минут до начала, когда ораторы еще сходились в расположенную за сценой комнату юбилейного комитета, дверь распахнулась, впустив кряжистого старика в сюртуке, который — на его или на чьих-то еще плечах — видывал лучшие времена. Нисколько не внимая упредительным крикам двух студентов с лентами на рукавах, облеченных властью служителей и пытавшихся его задержать, он с замечательно достойным видом приблизился к столу устроителей, поклонился и произнес:

— Я — Перов.

Мой друг, почти вдвое старший меня и оставшийся ныне единственным живым свидетелем тех событий, рассказывал мне, что председатель (редактор газеты, обладавший немалым опытом обращения с чудачливыми приставалами), не подняв глаз, сказал: “Гоните его в шею”. Никто этого делать не стал, — возможно, оттого, что каждый склонен к определенной учтивости при обращении со старым и предположительно очень пьяным господином. Старик присел к столу и, выбрав самого тихого на вид человека — Славского, переводчика Лонгфелло, Гейне и Сюлли-Прюдома (а впоследствии члена террористической группы), — деловито осведомился, собраны ли уже “деньги на памятник” , и если собраны, когда ему можно их получить?

Все свидетельства сходятся в том, что свои притязания старик излагал удивительно мирно. Он не напирал. Он просто заявлял их, как бы вовсе не сознавая возможности того, что ему могут не поверить. Поразительно, и все же, сидя в той уединенной комнатке, окруженный личностями,

столь значительными, еще только в самом начале всей этой странной истории, он, со своей патриархальной бородой, выцветшими глазками и носом картошкой, умиротворенно расспрашивал о доходах предприятия, не давая себе решительно никакого труда привести хотя бы такие доказательства, какие с легкостью мог подделать заурядный самозванец.

— Вы что же, родственник? — спросил кто-то.

— Я — Константин Константинович Перов, — терпеливо сказал старик. — Мне, впрочем, дали понять, что в зале присутствует младший член нашей семьи, да что-то нигде его не видно.

— А лет вам сколько же будет? — спросил Славский.

— Мне семьдесят четыре года, — ответил старик, — я пострадал от нескольких недородов кряду.

— Вам, разумеется, известно, — заметил актер Ермаков, — что поэт, чью память мы чтим сегодня, утонул в Оредежи ровно пятьдесят лет назад.

— Вздор, — резко ответил старик. — Я разыграл эту комедию, имея на то свои причины.

— А теперь, сударь мой, — сказал председатель, — вам и вправду лучше уйти.

Они и думать о нем забыли, едва только выпорхнув на резко освещенную сцену, где еще один стол, длинный, покрытый торжественной красной тканью, с нужным числом кресел за ним, давно уж завораживал публику блеском традиционного графина. По левую сторону от стола красовался писанный маслом портрет, ссуженный Шереметевской галереей: он изображал двадцатидвухлетнего Перова — смуглого, романтически растрепанного молодого человека в рубашке с открытым воротом. Подпорку благочестиво укрывали цветы и листья. На авансцене высилась кафедра, также с графином, за кулисами ожидал выезда перед началом музыкальной программы концертный рояль.

Зал заполняли литераторы, просвещенные адвокаты, гимназические учителя, ученые-словесники, восторженные студенты обоих полов и тому подобный люд. Имелось тут и несколько полицейских осведомителей, рассаженных по укромным углам, — правительство на опыте знало, что

самые степенные культурные сборища обладают странным обыкновением внезапно оборачиваться оргией революционной пропаганды. То обстоятельство, что одно из первых стихотворений Перова содержало завуалированный, но одобрительный намек на возмущение 1825 года, требовало принятия определенных предосторожностей, ибо неизвестно, что могло приключиться после публичного произнесения таких, к примеру, строк: "Сибирских пихт угрюмый шорох с подземной сносится рудой".

Как сказано в одном из газетных отчетов: "Вскоре почудилось, что смутное подобие скандала на манер Достоевского (подразумевается известная балаганная сцена в "Бесах") нагнетает в зале обстановку неловкости и тревоги". Дело в том, что старик неспешно последовал на сцену за семью членами юбилейного комитета и попытался усесться вместе с ними за стол. Председатель, главная забота коего состояла в том, чтобы избежать публичной потасовки, приложил все усилия, дабы заставить старика отступиться. Состроив на показ залу любезную улыбку, он прошептал патриарху, что вышвырнет его вон, ежели тот не отпустит спинку кресла, которую Славский — с безмятежным видом, но проявляя железную хватку, — тишком выворачивал из шишковатой старческой лапы. Старик не сдался, однако потерпел поражение и остался без места. Тогда он огляделся, приметил за кулисой рояльный табурет и преспокойно выволок его на сцену за долю секунды до того, как руки скрытого от публики служителя попытались вырвать табурет и вернуть обратно. Старик уселся несколько вбок от стола и немедленно стал экспонатом номер один.

Тут члены комитета совершили роковую ошибку, снова забыв о нем; они, это следует повторить, более всего были обеспокоены тем, чтобы избежать неприятной сцены; к тому же несносного компаньона наполовину скрывала от их глаз стоявшая близ портрета голубая гортензия. К несчастью, публика видела старика более чем отчетливо: видела, как он усаживался на свой невзрачный пьедестал (постоянным поскрипываньем намекавший на способность вращаться), как открывал очешник и по-рыбьи дышал на очки, — совершенно спокойный, невозмутимый, — видела

маститую главу, поношенный черный сюртук и штиблеты с резинками, одновременно приводящие на ум и нуждающегося русского профессора, и преуспевающего русского гробовщика.

Председатель, вставши за кафедру, начал вступительную речь. Шепот зыбью прошел по залу, — всем, натурально, хотелось узнать, кто этот достойный старик. Утвердив на носу очки и упершись в колена ладонями, он несколько времени вглядывался, оборотясь, в портрет, затем отвернулся от него и обозрел первый ряд. Ответные взоры не могли не сновать между лоснистой его лысиной и кудрявой главой на портрете, ибо за время долгой председательской речи подробности вторжения распространились по залу и чье-то воображение уже принялось тешиться мыслью, что поэт почти легендарной поры, уютно приписанный к ней учебниками, анахроническое существо, живое ископаемое в сетях невежественного рыбака, Рип-ван-Винкль в некотором роде, впав в тусклое старческое слабоумие, и впрямь забрел на вечер, посвященный его юной славе.

— ...так пусть же имя Перова, — завершая речь, говорил председатель, — никогда не забудется мыслящей Россией. Тютчев сказал, что наша страна вечно будет помнить Пушкина, как первую свою любовь. Относительно Перова мы можем сказать, что он был первым опытом русской вольности. На поверхностный взгляд, эта вольность сводится к поразительной щедрости поэтических образов Перова, взывающей более к художнику, нежели к гражданину. Но мы, представители более трезвого поколения, склонны раскрывать для себя более глубокий, более жизненный, более гуманный и общественный смысл таких его строк, как:

Когда в тени кладбищенской стены
укрыт последний снег, и вороная
соседская кобылка отдает
мгновенной синевой в мгновенном блеске
апрельского слепительного дня,
и в негритянских пригоршнях Земли
лучатся лужи сколками небес, —
душа бредет в разодранном плаще
к слепым, бездольным, темным, к тем, кто гнет

вседнервно спины в кабале у толстых,
чьи очи от забот и вожделений
поблекли и уже не зрят проталин,
ни синей лошади, ни чудотворной лужи.

Взрыв рукоплесканий приветствовал эти строки, но внезапно хлопки прервались, смененные всхлипами неуместного смеха; ибо, пока председатель, в котором еще вибрировали только что произнесенные слова, возвращался к столу, бородатый незнакомец встал и поблагодарил аплодирующих, резко кивая и нескладно маша руками, вид его выражал смесь вежливой признательности с некоторым раздражением. Славский и двое служителей произвели отчаянную попытку спровадить его, но в глубине зала поднялся крик: "Позор, позор!" и "А-ставь-те-ста-ри-ка!"

В одном из отчетов мне попалось предположение, что среди публики имелись у старца сообщники, я, впрочем, думаю, что такой поворот в достаточной мере объясняется состраданием толпы, возникающим с тою же внезапностью, что и ее озлобление. "Старик" , при том что ему пришлось бороться сразу с тремя, ухитрился сохранить замечательное достоинство повадки, и когда те, кто без особого рвения нападал на него, отступились, и он поднял опрокинутый в схватке табурет, по залу прошел довольный шумок. Вот только атмосфера вечера была испорчена безвозвратно. Самые молодые и разухабистые из публики уже буйно веселились. Председатель, подрагивая ноздрями, налил себе стакан воды. Двое осведомителей украдкой переглянулись из двух углов зала.

3

За речью председателя последовал отчет казначея касательно сумм, полученных от многочисленных учреждений и лиц на возведение памятника Перову в одном из пригородных парков. Старик неспешно извлек из кармана клочок бумаги и огрызок карандаша, приладил листок на колено и принялся записывать называемые цифры. Затем на

сцене на миг появилась внучка перовской сестры. С этим номером программы устроителям пришлось изрядно повозиться, поскольку особу, о которой идет речь, — толстую, с выпученными глазами, восковобелую молодую даму, — лечили от меланхолии в приюте для душевнобольных. Всю в трогательно розовом, с перекошенным ртом, ее на мгновение показали публике и тут же быстро увлекли назад — в крепкие руки предоставленной заведением полногрудой женщины.

Между тем Ермаков — в ту пору баловень театралов, что-то вроде душки-тенора драматической сцены — начал шоколадным голосом читать монолог Князя из "Грузинских ночей", и тут стало ясно, что даже самых рьяных его поклонников больше интересует реакция старика, чем красоты исполнения. При строках:

Когда металл бессмертен, где-то есть
на свете пуговка, — я обронил ее
в саду, гуляя на седьмом году.
Найди ее, пусть сведает душа,
что ждет ее, как всякую иную,
спасение и благостный приют... —

в выдержке старика наметилась первая трещинка и, медленно развернув пространный платок, он смачно высморкался, — со звуком, от которого густо затененные, алмазным блеском горящие глаза Ермакова закосили, точно у оробелого боевого коня.

Платок вернулся в складки сюртука, и лишь через несколько секунд после того в первом ряду заметили, что из-под очков старика льются слезы. Он не пытался их утереть, хоть несколько раз рука его с растопыренными, словно клешня, пальцами поднималась к очкам и падала снова, как если бы он опасался (совершеннейшая из деталей всего утонченного шедевра), что всякий подобный жест привлечет внимание к слезам. Громовые овации, последовавшие за чтением, определенно в большей мере относились к исполнительскому мастерству старика, чем к стихам

в передаче Ермакова. И едва они смолкли, старец поднялся и вышел на край сцены.

Комитет не пытался остановить его — по двум причинам. Во-первых, председатель, доведенный до отчаяния возмутительным поведением старика, ненадолго отлучился, чтобы отдать некоторые распоряжения. Во-вторых, кое-кого из устроителей понемногу одолевала смесь странных сомнений, так что, когда старик оперся на кафедру, на зал пала полная тишина.

— И вот слава, — сказал он голосом столь сиплым, что из дальних рядов закричали: "Громче, громче!"

— Я говорю, вот она — слава, — повторил он, хмуро оглядывая публику сквозь очки. — Два десятка бездумных виршей, слова, годные только скакать и звякать, и тебя помнят, будто ты пользу какую принес человечеству! Нет, господа, не обольщайтесь. Наша держава и трон царя-батюшки еще стоят, в неуязвимой их мощи, аки застывший перун, а заблуждавшийся юноша, полвека назад маравший бунтарские стишки, ныне стал законопослушным стариком, уважаемым порядочными согражданами. Стариком, позвольте добавить, нуждающимся в вашей поддержке. Я — жертва стихий: земля, которую я вспахал в поте лица своего, агнцы, вспоенные мною, нивы, что помавали мне золотистыми дланями...

Именно тут чета здоровенных полицейских быстро и безболезненно устранила старика. Публика только ахнула, а уж его понесли: манишка на сторону, борода на другую, манжета висит на запястье, но в глазах — все та же добродетельная серьезность.

Ведущие газеты, сообщая о торжествах, лишь мельком упомянули об омрачившем их "прискорбном происшествии". Однако скандально известная "Санкт-Петербургская Летопись" — сенсационно-реакционный листок, издаваемый братьями Херстовыми на потребу нижесреднего класса и блаженно-полуграмотной подслойки рабочего люда, разразилась чередою статей, твердивших, будто упомянутое "прискорбное происшествие" было не чем иным, как вторым пришествием подлинного Перова.

4

Тем временем старика подобрал очень богатый, вульгарно чудивший купец Громов, дом которого заполняли бродячие монахи, прощелыги-целители и “погромистики”. “Летопись” брала у самозванца одно интервью за другим. Чего только не говорил он в них о “лакеях революционной партии” , мошеннически отрицающих подлинность его и прикарманивших его деньги. Он намеревался по суду стребовать эти деньги с издателя полного собрания сочинений Перова. Спившийся словесник, громовский приживал, указывал на сходство (к несчастью, довольно разительное) между обликом старца и чертами лица на портрете.

На тех же страницах появился подробный, но совершенно неправдоподобный рассказ о том, как он инсценировал самоубийство, чтобы зажить праведным христианином в самом сердце Святой Руси. Кем он только ни был: коробейником, птицеловом, перевозщиком на Волге, пока не приобрел наконец клочка земли в отдаленной губернии. Я видел экземпляр убогой книжонки “Смерть и воскрешение Константина Перова” , одно время ее вместе с “Мемуарами Амазонки” и “Похождениями маркиза де Сада” продавали на улицах трясучие попрошайки.

И все же лучшее, что я сыскал, роясь в старых подшивках, это расплывчатый снимок бородатого самозванца, взгромоздившегося на мраморный пьедестал недостроенного памятника Перову посреди облетевшего парка. Он стоит навытяжку, сложив на груди руки, на нем круглая меховая шапка и новые калоши, но никакого пальто; у ног его расположилась кучка приверженцев, их мелкие белые лица смотрят в камеру с особенным пупоглазым и самоуверенным выражением, какое встречаешь порой на старых снимках линчевателей.

В подобной обстановке напыщенного хулиганства и реакционного самодовольства (столь неразлучной с выражением официальных воззрений в России, как бы ни звался ее царь — Александр, Николай или Иосиф) интеллигенция едва ли смогла бы снести ужас отождествления чистого, пылкого, революционно настроенного Перова,

каким он предстает в его стихах, с пошлым стариком, блаженно барахтающимся в живописном свинарнике. Трагическая сторона положения состояла в том, что если Громов и братья Херстовы на самом-то деле не очень и верили, будто предмет их увеселений — это подлинный Перов, немало честных, развитых людей томилось невыносимой мыслью, что ими отвергнута Истина и Правота.

Как сказано в недавно опубликованном письме Славского к Короленко: "Содрогаешься при мысли, что небывалым в истории подарком судьбы, Лазаревым воскрешением великого поэта, могут неблагодарно пренебречь, — нет, хуже того, счесть его дьявольской уловкой человека, чьим единственным прегрешением было полувековое молчание да несколько минут необдуманных речей". Изложено путано, но суть ясна: образованная Россия боялась не столько стать жертвой надувательства, сколько совершить ужасный промах. Существовало, впрочем, нечто такое, чего она боялась и того пуще, а именно — крушения идеала; ведь наш российский радикал готов сокрушить что угодно, но только не какую-нибудь пустяковую побрякушку, которую радикализм лелеет невесть по каким причинам.

Поговаривали, что на некоем тайном собрании "Общества поощрения русской словесности" эксперты тщательно сличили множество оскорбительных посланий, которыми старик, проявляя завидное постоянство, продолжал осыпать своих врагов, со старым письмом, написанным поэтом в ранней юности. Найденное в одном частном архиве, оно почиталось единственным образчиком руки Перова, и никто, кроме ученых, вглядывавшихся в его выцветшие строки, не ведал о его существовании. Как, впрочем, не ведаем и мы, к чему клонились их выводы.

Поговаривали еще, что удалось собрать порядочную сумму и что к старику обратились в обход его безобразных приятелей. По всей видимости, ему предложили достойное помесячное пособие на тех условиях, что он вернется к своему хозяйству и останется там в чинном молчании и безвестности. По всей также видимости, предложение было принято, ибо старик исчез с тою же внезапностью, с какою объявился, Громов же утешился, заменив утраченного лю-

бимца неким сомнительного толка гипнотизером французской выделки, год-другой спустя снискавшим кое-какой успех при Дворе.

Памятник, торжественно открытый своим порядком, стал любимым пристанищем местных голубей. Спрос на собрание сочинений к четвертому изданию благородным образом выдохся. Наконец, несколько лет спустя, самый старый, но отнюдь не самый толковый житель тех мест, где родился Перов, передал некоторой журнальной даме врезавшийся ему в память рассказ отца о найденном в речных камышах скелете.

5

Тем бы все и закончилось, если бы не пришла революция, выворачивая тучные пласты земли, а с ними беловатые проростки травы и жирных сизых червей, которых в ином случае так бы никто и не увидел. Когда в начале двадцатых в темном, голодном, но болезненно оживленном городе стали плодиться всякие странноватые культурные учреждения (вроде книжных лавок, где знаменитые, но сильно бедствующие писатели продавали собственные книги, и проч.), кто-то сумел заработать двухмесячный паек, основав музейчик Перова, что привело к новому воскрешению.

Экспонаты? Да, собственно говоря, все те же, не считая еще одного (письма). Подержанное прошлое в потрепанном зальце. Овальные глаза и каштановые кудри бесценного шереметевского портрета (растрескавшегося по открытому вороту, что наводило на мысль о тайной попытке усечения главы); считавшийся собственностью Некрасова растрепанный томик “Грузинских ночей” ; посредственная фотография сельской школы, построенной на месте дома и сада отца поэта. Забытая кем-то из посетителей поношенная перчатка. Несколько изданий Перова, расставленных так, чтобы занять побольше места.

И поскольку все эти скудные реликвии ни в какую не желали образовать счастливую семью, к ним добавили кое-какие предметы, связанные с эпохой, — вроде халата,

в котором знаменитый радикальный критик расхаживал по своему обставленному в стиле рококо кабинету, и цепей, в которых он же сидел в своем бревенчатом сибирском остроге. И поскольку, повторимся, ни эти предметы, ни портреты писателей той поры не создавали потребного изобилия, посредине убогой комнаты установили модель первого русского поезда (сороковые годы, Санкт-Петербург — Царское Село).

Старик, шагнувший уже далеко за девяносто, но сохранивший внятность речи и прямизну осанки, водил посетителей с таким видом, будто был в музее не сторожем, а хозяином. Создавалось удивительное впечатление, что вот сейчас он проведет вас в другую (несуществующую) комнату, где уже накрыт для ужина стол. Тем не менее все его достояние образовывали крывшаяся за ширмами печка да лавка, на которой он спал; впрочем, если кто-то покупал одну из книг, выставленных на продажу при входе, он надписывал ее, словно это разумелось само собой.

Потом, одним утром, женщина, носившая ему еду, нашла его на лавке мертвым. Какое-то время в музее проживали три скандальных семейства, и вскоре от его содержимого не осталось и следа. Словно некая лапища с треском выдрала кипу страниц из множества книг, или игривый сочинитель запечатал бесенка фантазии в сосуд истины, или...

Ну, не важно. Так или иначе, в следующие двадцать или того около лет Россия Перова совершенно забыла. Молодые советские граждане знают о его сочинениях не больше, чем о моих. Безусловно, настанет время, когда его опять издадут и снова полюбят; все же никак не отделаешься от мысли, что при теперешнем положении дел люди многое теряют. Гадаешь еще и о том, во что превратят будущие историки старика и что они выведут из его поразительных притязаний. Но это, разумеется, дело десятое.

Бостон, 1944

ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА

1

И как же это понимать? Да видите ли, порою жизнь именно и бывает — помощником режиссера. Сегодня пойдем в кино. Назад в тридцатые и дальше — в двадцатые, а там уж рукой подать до старенького европейского "Иллюзиона". Она была знаменитой певицей. Не опера, нет, даже не "Сельская честь". "La Slavska" звали ее французы. Стиль: десятая доля цыганщины, одна седьмая от русской бабы (каковой она и была изначально) и на пять девятых "расхожий" — под "расхожим" я разумею гоголь-моголь из поддельного фольклора, армейской мелодрамы и казенного патриотизма. Дроби, оставшейся незаполненной, довольно, полагаю, чтобы дать представление о физическом великолепии ее необыкновенного голоса.

Выйдя из мест, бывших, по крайней мере географически, самым сердцем России, она с годами достигла больших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, а там и Двора, где стиль этого рода весьма одобрялся. В артистической Федора Шаляпина висела ее фотография: осыпанный жемчугами кокошник, подпирающая щеку рука, спелые губы, слепящие зубы и неуклюжие каракули поперек: "Тебе, Федюша". Снежные звезды, являвшие, пока не оплывали края, свое симметрическое устройство, нежно ложились на плечи, на рукава, на шапки и на усы, ждущие в очереди открытия кассы. До самой смерти своей она пуще любых сокровищ берегла — или притворялась, что бережет, — затейливую медаль и громоздкую брошь, подаренную царицей. Сработавшая их ювелирная фирма наживала порядочные барыши, при всяком торжественном случае преподнося императорской чете ту или иную эмблему тяжеловесной державы (и что ни год — все более дорогую): скажем,

аметистовую глыбу с утыканной рубинами бронзовой тройкой, застрявшей на вершине, словно Ноев ковчег на горе Арарат; или хрустальный шар величиною в арбуз, увенчанный золотым орлом с квадратными брильянтовыми глазами, очень похожими на распутинские (много лет спустя Советы показали наименее символичные из этих поделок на Всемирной выставке — в качестве образчиков своего процветающего искусства).

Шло бы все так, как должно было по всем приметам идти, она могла бы еще и сегодня выступать в оснащенном центральным отоплением Дворянском Собрании или в Царском, а я выключал бы поющий ее голосом приемник в каком-нибудь дальнем степном углу Сибири-матушки. Но судьба сбилась с пути, и когда приключилась революция, а за нею — война Белых и Красных, ее лукавая крестьянская душа выбрала партию попрактичней.

Сквозь тающее имя помощника режиссера мы видим, как мчатся вскачь призрачные полки призрачных казаков верхами на призрачных лошадях. Затем возникает подтянутый генерал Голубков, лениво озирающий поле боя в театральный бинокль. Когда фильмы и мы еще были молоды, нам обычно показывали то, что открывалось взорам, в двух аккуратно слепленных кружках. Теперь не то. Теперь мы видим, как вялость покидает Голубкова, как он взлетает в седло, мгновенье маячит в небе на вздыбленном жеребце и бешено скачет в атаку.

Но вот неожиданный инфракрасный в спектре Искусства: вымещая условный пулеметный рефлекс — привычное “тра-та-та”, — женский голос запевает вдали. Он близится, близится и наконец заполняет собою все. Прекрасное контральто ширится в русских напевах, наобум набранных музыкальным директором в студийном архиве. Кто это там, во главе инфракрасных? Женщина. Певучая душа вон того, отменно обученного батальона. Идет впереди, топчет люцерну и разливается в песне про Волгу-Волгу. Подтянутый и бесстрашный джигит Голубков (теперь-то нам ясно, кого это он углядел), невзирая на множество ран, на полном скаку подхватывает красиво бьющуюся добычу и мчит ее вдаль.

Странное дело, но сама жизнь разыграла этот убогий сценарий: я лично знал по меньшей мере двух очевидцев события; часовые истории пропустили его, не окликнув. Вскоре мы видим ее сводящей с ума офицерское общество своей полногрудой красой и буйными, буйными песнями. То была Belle Dame с порядочной примесью Merci и с напором, коего недоставало Луизе фон Ленц или Зеленой Леди. Она подсластила горечь отступления Белых, начавшегося вскоре за ее появлением в стане генерала Голубкова. Мы видим мрачные промельки воронов или ворон, или каких там птиц удалось раздобыть, чтобы реяли в сумерках и опускались, кружа, на усеянную телами равнину где-нибудь в округе Вентура. Окоченелая рука солдата Белых сжимает медальон с портретом матери. А на развороченной груди павшего рядом Красного бойца трепещет письмо из дома, и та же старушка моргает за его наплывающими на зрителя строками.

И следом — привычный контраст: взрывается бравурная музыка, слышится пение, мерно хлопают руки, топают сапоги — перед нами попойка в штабе генерала Голубкова: танцует с кинжалом точеный грузин, смущенный самовар перекашивает лица, и Славская, гортанно смеясь, откидывает голову, и в стельку пьяный жирный штабной, раздирая ворот и выпячивая сальные губы для скотского поцелуя, тянется через стол (крупный план опрокинутого стакана), чтобы облапить — пустоту, ибо подтянутый и совершенно трезвый Голубков ловко выдергивает ее из-за стола, и они стоят перед пьяной оравой, и Голубков произносит холодным и ясным голосом: “Господа, вот моя невеста”, — и в наступившем ошеломленном молчании шальная пуля пробивает засиневшее на рассвете стекло, и канонада рукоплесканий приветствует романтическую чету.

Я почти не сомневаюсь, что ее пленение не было только игрою случая. Случайности на студию не допускаются. И еще менее сомневаюсь я в том, что, когда начался великий исход и они, подобно многим иным, потянулись через Секердже к Мотц-штрассе и рю Вожирар, генерал с женою уже трудились на пару, общая была у них песня и общий шифр. Став, что было вполне естественно, деятельным

членом Б.Б. (“Союза Белых Бойцов”), он неустанно разъезжал, организуя военные курсы для русских юношей, устраивая благотворительные вечера, подыскивая пристанища для бездомных, улаживая местные разногласия, — и все это самым скромным, непритязательным образом. Я думаю, какая-то польза от него все же была — от этого Б.Б. Но, на беду для его духовного здравия, он не смог обособиться от монархических группировок, не сознавая того, что сознавала эмигрантская интеллигенция: невыносимой пошлости, ура-гитлеризма этих потешных, но противных сообществ. Когда благонамеренные американцы спрашивают, знаком ли мне обаятельный полковник Такой-то или величавый старый князь де Вышибальски, у меня не хватает духу открыть им прискорбную правду.

Хотя, разумеется, состояли в Б.Б. и личности иного разбора. Я говорю о тех искателях приключений, что, служа общему делу, переходили границу где-нибудь в оглушенном снегом еловом бору, и побродив по родной стороне в обличиях, некогда употреблявшихся, странно сказать, эсерами, мирно возвращались, доставляя в маленькое парижское café под вывеской “Esh-Bubliki” или в крошечную, без вывески, берлинскую Kneipe разные полезные разности, какие шпионы обыкновенно доставляют своим хозяевам. С течением времени иные из них запутались в хитросплетеньях иноземных разведок и забавно подскакивали, когда к ним подходили сзади и хлопали по плечу. Другие хаживали за кордон для собственного удовольствия. Один или двое, возможно, и вправду верили, что каким-то таинственным образом готовят воскрешение священного, пусть отчасти и затхлого прошлого.

2

Нас ожидает теперь череда несосветимо скучных событий. Первый из почивших председателей Б.Б. стоял во главе всего Белого Движения и, безусловно, был самым достойным в нем человеком; кое-какие смутные симптомы, сопровождавшие его неожиданный недуг, приводят на ум

тень отравителя. Его преемника — крупного, сильного мужчину с громовым голосом и головой как пушечное ядро — похитили неизвестные, и есть основания полагать, что умер он от непомерной дозы хлороформа. Третий председатель — однако моя бобина крутится слишком шибко. На деле устранение первых двух взяло семь лет, и не потому, что такие дела быстрее не делаются, а просто имелись особые обстоятельства, и они диктовали точные сроки, ибо надлежало соразмерять внезапность возникновения вакансий с постепенным продвижением по службе некоего лица. Объяснимся.

Голубков был не только многократным шпионом (тройным, говоря точнее), но также и преамбициозным человечком. Почему мечты о главенстве в организации, одной ногой стоящей в могиле, так тешили его душу — загадка лишь для того, кто не ведает ни увлечений, ни страстей. Ему страсть как хотелось, вот и все. Труднее понять его уверенность в том, что он сумеет сохранить свою ничтожную жизнь, затесавшись меж грозных противников, чьи опасные деньги и опасную помощь он принимал. Мне понадобится все ваше внимание, потому что будет жаль, если вы упустите тонкости этой картины.

Советы навряд ли тревожила весьма маловероятная перспектива того, что химерическая Белая Армия сумеет когда-либо возобновить военные действия против их слитной махины; но то обстоятельство, что крохи информации об их фортах и фабриках, собираемые пронырами из Б.Б., автоматически попадают в благодарные немецкие руки, раздражало их чрезвычайно. Немцев же мало интересовали трудноразличимые цветовые оттенки эмигрантской политики, — но сердил бестолковый патриотизм председателя Б.Б., время от времени воздвигавшего на этических основаниях препоны гладкому потоку дружеского сотрудничества.

Получалось, что Голубкова едва ли не Бог послал. Советы питали твердую уверенность, что при его главенстве все шпионы Б.Б. будут им ведомы и хитроумно снабжаемы ложными сведеньями на жадную немецкую потребу. Равно и немцы не сомневались, что сумеют при нем внедрить

изрядное множество своих абсолютно надежных людей в ряды обычных агентов Б.Б. Ни одна из сторон не обманывалась касательно преданности Голубкова, но каждая надеялась обратить к собственной выгоде его переменчивое вероломство. Ну а чаяния простых русских людей, семейств, тяжко трудящихся в отдаленных частях российской диаспоры, перебиваясь скудным, но честным промыслом, словно и не покидали они Саратова или Твери, растящих хилых детей и наивно почитающих Б.Б. своего рода рыцарством Круглого Стола, олицетворяющим все, что было и будет милого, достойного, сильного на баснословной Руси, — эти чаянья наверняка покажутся монтажерам чрезмерным уклонением от главной темы картины.

При основании Б.Б. кандидатура генерала Голубкова (разумеется, чисто теоретическая, ибо смерти председателя никто не ожидал) располагалась в самом низу списка — не то чтобы соратники-офицеры не ценили его легендарной отваги, а просто он оказался самым молодым генералом в армии. Ко времени выборов следующего председателя Голубков уже обнаружил столь разительные организаторские способности, что полагал для себя возможным уверенно вымарать несколько имен, промежуточных в списке, спасая, кстати сказать, жизни их обладателям. По устранении второго генерала многие члены Б.Б. были убеждены, что очередной кандидат — генерал Федченко — уступит человеку помоложе и порасторопней его те привилегии, вкусить от которых ему позволяли возраст, доброе имя и академическая выучка. Однако старик, хоть и испытывал сомнения относительно вкуса предполагаемых яств, счел за трусость уклонение от поста, уже двоим стоившего жизни. Пришлось Голубкову, стиснув зубы, рыть новую яму.

Ему недоставало внешней привлекательности. Не было в нем ничего от столь популярного у вас русского генерала — то есть особи здоровой, дородной, толстошеей и пучеглазой. Он был тощ, узок, остролиц, с пробритыми усиками и прической, у русских называемой "ежиком" — короткой, колючей, стоящей торчком и плотной. Тонкий серебряный браслет облегал его волосистое запястье; он угощал вас домодельными русскими папиросами или английскими

“Kapstens”, как он их называл, аккуратно уложенными в старый поместительный портсигар черной кожи, который сопутствовал ему в предположительном дыму бесчисленных битв. Он был до крайности вежлив и до крайности неприметен.

Всякий раз что Славская “принимала” в доме у какого-либо ее покровителя (бесцветного балтийского барона; доктора Бахраха, чья первая жена была знаменитой Кармен; русского купца старого закала, отменно коротавшего время в обезумелом от инфляции Берлине, где он скупал дома прямо кварталами — по десять фунтов штука), безмолвный муж ее неприметно сновал по гостиной, принося вам бутерброд с колбасой и огурчиком или запотелую стопку водки; и пока Славская пела (на этих непринужденных вечерах она обыкновенно певала сидя, с кулаком у щеки и баюкая локоть в ладони), он стоял в сторонке, к чему-нибудь прислонясь, или на цыпочках крался к далекой пепельнице, чтобы нежно поставить ее на толстый подлокотник вашего кресла.

Пожалуй, в рассуждении актерства он малость пережимал по части неприметности, нечаянно внося в создаваемый образ черты наемного лакея, — что задним числом представляется удивительно точным; с другой стороны, он, полагаю, пытался выстроить роль на контрасте и, верно, испытывал упоительный трепет, узнавая по определенным сладостным знакам — наклону головы, вращению глаз, — что в дальнем углу комнаты Такой-то привлекает внимание новичка к тому обаятельному обстоятельству, что столь невзрачный, скромный человек совершал в пору легендарной войны небывалые подвиги (в одиночку брал города и прочее в этом роде).

3

В те дни (немногим раньше, чем дитя света выучилось говорить) немецкие фильмовые компании, плодившиеся, точно поганки, задешево нанимали тех из русских эмигрантов, чьим единственным упованием и ремеслом остава-

лось их прошлое — то есть людей вполне нереальных, — дабы они представляли в картинах "реальную" публику. От такого сцепления двух фантазмов человеку чувствительному начинало казаться, будто он очутился в зеркальной камере или, лучше сказать, в зеркальной тюрьме, где уже и себя-то от зеркала не отличишь.

Так вот, когда я вспоминаю берлинские и парижские залы, где пела Славская, и попадавшихся там людей, мне чудится, будто я переснимаю на "техниколор" и озвучиваю какую-то допотопную фильму, в которой жизнь представала сереньким трепыханьем, похороны — резвой пробежкой и только море было окрашено (тошной синькой), а за экраном неведомо кто крутил ручку машины, невпопад имитируя шум прибоя. Некий темный субъект, кошмар благотворительных обществ, лысый, с безумным взором, наискось переплывает поле моего зрения (напоминая сидячей позой пожилого зародыша) и чудесным образом всаживается в кресло заднего ряда. Наш милый князь тоже здесь во всей красе: стоячий воротничок и линялые гетры. И маститый, но приверженный мирскому батюшка с крестом, мерно вздымающимся на его обширной груди, сидя в первом ряду, смотрит прямо перед собой.

Выступавшие на этих, воскрешаемых в моей памяти именем Славской, празднествах русских правых отличались природой столь же призрачной, что и публика, их посещавшая. Виртуоз-гитарист с поддельной славянской фамилией, из тех, что мелькают в мюзик-холльной афишке среди первых дешевых ее номеров, здесь пожинал небывалые лавры, — и ослепительная роскошь его инкрустированного стеклом инструмента, и шелковые небесно-голубые штаны приходились под стать остальному действу. Следом за ним выходил пожилой бородатый прохвост в ветхой визитке, бывший член союза "Святая Русь превыше всего", и расписывал, что вытворяют с русским народом Сыны Израилевы и масоны (два потаенных семитских клана).

А теперь, дамы и господа, мы имеем огромную честь и удовольствие... И она возникала на жутком фоне из пальм и национальных флагов, и облизывала бледным языком обильно накрашенные губы, и возлагала лайковые ладони

на стянутый корсетом живот, а тем временем ее постоянный аккомпаниатор, мраморноликий Иосиф Левинский, забредавший в тени ее пения и в личный концертный зал царя, и в салон товарища Луначарского, и в неописуемые константинопольские заведения, проигрывал короткую вступительную фразу, несколько нотных камушков, брошенных в виде мостика поперек ручья.

Иногда, в определенного толка домах, она начинала с исполнения национального гимна, а там уж переходила к бедноватому, но с неизменным восторгом принимаемому репертуару. За гимном неизменно следовала "Старая калужская дорога" (с разбитой молнией сосной на сорок девятой вирше), а затем песня, начинавшаяся — в немецком переводе, отпечатанном пониже русского текста, — словами "Du bist im Schnee begraben, mein Russland"[1], и старинная народная (сочиненная в восьмидесятых частным лицом) — про разбойничьего атамана и его персидскую красавицу-княжну, которую он, обвиненный товарищами в мягкотелости, выкинул в Волгу.

Вкус у нее был никакой, техника беспорядочная, общий тон ужасающий; и все же люди, для которых музыка и сентиментальность — одно, или те, кто желал, чтобы песни доносили дух обстоятельств, в которых они их когда-то впервые услышали, благодарно отыскивали в могучих звуках ее голоса и ностальгическое утоление, и патриотический порыв. Считалось, что она особенно трогает душу, когда звучит в ее пении нота буйного безрассудства. Кабы не вопиющая фальшь этих порывов, они еще могли бы спасти ее от законченной пошлости. Но то мелкое и жесткое, что заменяло Славской душу, лезло из ее пения наружу, и наивысшим достижением ее темперамента, — был водокрут, но никак не вольный поток. Когда теперь в каком-нибудь русском доме заводят граммофон и слышится ее законсервированное контральто, я с некоторым содроганием вспоминаю эту мишурную имитацию вокального апофеоза: последний страстный вопль обнаруживал всю анатомию рта, красиво веяли иссиня-черные волосы, скре-

[1] "Ты погребена под снегом, моя Россия" (*нем.*).

щенные руки притискивали к груди увитую в ленты медаль, — она благодарила за оргию оваций, и ее широкое смуглое тело оставалось скованным, даже когда она кланялась, втиснутое в тугой серебристый атлас, придававший ей сходство не то со снежной бабой, не то с почетной ундиной.

4

Теперь вы увидите ее (ежели цензор не сочтет дальнейшее оскорблением религиозного чувства) преклонившей колена в медовой дымке переполненной русской церкви, сладко плачущей бок о бок с женой или вдовой (она-то в точности знала — с кем) генерала, чье похищение так ловко устроил ее муж и так толково произвели те крупные, расторопные, безымянные мужчины, которых шеф прислал в Париж.

Вы увидите ее также в иной день, два-три года спустя, поющей в одной квартирке на рю Жорж Санд для тесного круга поклонников, — смотрите, глаза ее чуть сужаются, поющая улыбка тает, это муж, задержанный улаживаньем последних деталей одного подручного дельца, проскальзывает в залу и с мягким укором отвергает попытку седого полковника уступить ему место; и сквозь бессознательные рулады, изливаемые в десятитысячный раз, она (слегка близорукая, как Анна Каренина) вглядывается в мужа, пытаясь различить некие знаки, и вот, когда та наконец потонула, и уплыли расписные челны, и последний предательский круг на поверхности Волги-реки (округ Самара) расточился в унылой вечности, — ибо эту песню она всегда пела последней, — муж подошел к ней и голосом, которого не могли заглушить никакие хлопки человеческих рук, произнес:

— Маша, завтра уж дерево срубят!

Пустячок насчет дерева был единственной актерской шалостью, которую Голубков позволил себе за все время своей мирной, по-голубиному серой карьеры. Мы простим ему эту несдержанность, если припомним, что речь шла о последнем из генералов, стоявших у него на пути, и что события следующего дня автоматически приводили его к

избранию. Последнее время их друзья ласково подшучивали (птичка русского юмора легко насыщается крошками) над забавной распрей двух больших детей: она вздорно настаивала, чтобы срубили разросшийся старый тополь, затемнявший окно ее студии в их летнем пригородном домике, а он уверял, что этот стойкий старик — среди ее поклонников самый цветущий (уморительно, правда?) и хотя бы поэтому следует его пощадить. Отметим еще грубовато-добродушную дородную даму в горностаевом палантине, корящую галантного генерала за слишком поспешную капитуляцию, и сияющую улыбку Славской, раскрывшей холодные, словно студень, объятия.

Назавтра, под вечер, генерал Голубков проводил жену к портнихе, посидел там несколько времени, читая “Paris-Soir”, а затем был ею отправлен за платьем, которое она собиралась расставить, да запамятовала прихватить. Через уместные промежутки времени она сносно изображала телефонные переговоры с домом, громогласно направляя мужнины поиски. Армянка-портниха и белошвейка, маленькая княгиня Туманова, немало потешались в смежной комнате над разнообразием ее деревенской божбы (помогавшей не пересушить роль, для импровизирования которой одного лишь воображения ей не хватало). Это сшитое на живую нитку алиби предназначалось не для латания прошлого на случай, если вдруг что-то не сладится, — ибо “не сладиться” ничего не могло; а просто должно было снабдить человека, и так стоявшего вне любых подозрений, рутинным отчетом о его передвижениях, если кому-либо приспичит вдруг выяснять, кто видел генерала Федченко последним. Перерыв достаточное количество воображаемых гардеробов, Голубков объявился с платьем (разумеется, давно лежавшим в машине). Пока жена продолжала примерку, он успел дочитать газету.

5

Тридцати пяти, примерно, минут его отсутствия хватило с лихвой. Около того времени, когда она принялась дурачиться с молчащим вмертвую телефоном, он, уже подобрав

генерала на пустынном углу, вез его на выдуманное свидание, заблаговременно обставленное так, чтобы сделать его таинственность натуральной, а участие в нем — непременным долгом. Через несколько минут он заглушил мотор и оба вылезли из машины.

— Это не та улица, — сказал генерал Федченко.

— Не та, — сказал генерал Голубков, — но машину лучше оставить здесь. Не нужно, чтобы она маячила перед кафе. Мы пройдем этой улочкой, тут рядом. Всего две минуты ходьбы.

— Хорошо, пойдемте, — сказал старик и откашлялся.

Улицы в этой части Парижа носят имена различных философов, и ту, которой они пошли, некий начитанный отец города назвал "рю Пьер Лябим". Она неторопливо втекала, минуя темную церковь и какие-то строительные леса, в смутный квартал запертых особняков, отрешенно стоявших посреди собственных парков за чугунными оградами, на которых медлили по пути с голых ветвей на мокрую мостовую умирающие кленовые листья. По левой стороне улочки тянулась длинная стена, и там и сям виднелась на шершавой ее седине кирпичная крестословица; в одном месте имелась в этой стене зеленая дверца.

Когда они приблизились к ней, генерал Голубков извлек покрытый боевыми шрамами портсигар и остановился, закуривая. Генерал Федченко, человек некурящий, но вежливый, остановился тоже. Дул, ероша сумерки, порывистый ветер, первая спичка погасла.

— Я все же считаю, — сказал генерал Федченко, возобновляя разговор об одном незначительном деле, которое они на ходу обсуждали, — я все же считаю, — сказал он (чтобы хоть что-то сказать, стоя так близко к зеленой дверце), — что уж если отец Федор непременно желает платить за все это жилье из собственных средств, то мы могли бы хоть топливом его обеспечивать.

И вторая спичка погасла. Спина прохожего, смутно маячившая вдали, в конце концов исчезла. Во весь голос генерал Голубков выбранил ветер, и, поскольку то был сигнал к нападению, зеленая дверь отпахнулась и три пары рук с невероятной скоростью и сноровкой смахнули стари-

ка с глаз долой. Дверца захлопнулась. Генерал Голубков закурил наконец и торопливо пошел назад.

Больше никто старика не видел. Тихие иностранцы, на один тихий месяц снявшие некий тихий особнячок, оказались невинными датчанами или голландцами. Обман зрения, не более. Нет никакой зеленой двери, есть только серая, и ее никакими человеческими силами не взломать. Тщетно я рылся в превосходных энциклопедиях: философа по имени Пьер Лябим не существует.

Но я — я заглядывал гадине в глаза. Ходит у нас, у русских, пословица: "всево двое и есть — смерть да совесть". Тем-то и замечательна человеческая природа, что можно порой совершить добро и того не заметить, но зло всякий творит сознательно. Один ужасный преступник, чья жена была еще хуже него, однажды рассказывал мне, — я был в ту пору священником, — что его вечно томил потаенный стыд за то, что стыд, еще более потаенный, не позволяет ему спросить у жены: презирает ли она его в сердце своем или сама втайне гадает, не презирает ли он ее в сердце своем? Поэтому я хорошо представляю, какие были лица у генерала Голубкова и его жены, когда они наконец остались одни.

6

Впрочем, ненадолго. Часов около десяти вечера генерал Р. известил по телефону генерала Л., Секретаря Б.Б., что госпожа Федченко крайне встревожена необъяснимым отсутствием мужа. Тут только вспомнил генерал Л., что около полудня Председатель сказал ему — словно бы мельком (но таков уже был обычай старика), — что должен кое-что сделать в городе, ближе к вечеру, и что если он не вернется к восьми, то не будет ли генерал Л. любезен прочесть записку, оставленную в среднем ящике председательского стола. Теперь два генерала кинулись к кабинету, помешкали там недолго, побежали назад за ключами, забытыми генералом Л., и наконец, совершенно убегавшись, отыскали записку. В ней говорилось: "Меня гнетет

странное предчувствие, которого я, может быть, впоследствии устыжусь. На 5.30 у меня назначена встреча в кафе на рю Декарт, 45. Предстоит знакомство с информатором с той стороны. Я подозреваю ловушку. Встречу готовил генерал Голубков, он же отвезет меня в своей машине".

Опустим слова генерала Л. и ответные речи генерала Р. Ясно одно — соображали оба туго, да к тому же много потратили времени на путаные телефонные препирательства с гневливым владельцем кафе. Уже около полуночи Славская, кутаясь в цветистый халат и стараясь казаться заспанной, впустила их в дом. Ей не хотелось тревожить мужа, уже, как она уверяла, уснувшего. Ей хотелось узнать, в чем дело, уж не стряслось ли чего с генералом Федченко?

— Он исчез, — сообщил честный генерал Л.

— Ах! — сказала Славская и упала без чувств, едва не обрушив при этом маленькую гостиную. Что бы ни думало большинство ее поклонников, сцена потеряла в ее лице не так уж и много.

Так или иначе генералы умудрились не проговориться Голубкову о записке, и он, сопровождая их в штаб-квартиру Б.Б., полагал, что генералы и вправду намерены обсудить с ним, звонить ли в полицию сразу или прежде посоветоваться с восьмидесятивосьмилетним адмиралом Громобоевым, который по какой-то смутной причине считался Соломоном Б.Б.

— Что это значит? — спросил генерал Л., протягивая Голубкову роковую записку. — Прочитайте внимательно, прошу вас.

Голубков прочитал внимательно — и сразу же понял, что все погибло. Мы не станем заглядывать в бездну его чувств. Пожав узкими плечами, он возвратил записку.

— Если это действительно писал генерал, — сказал он, — а должен признать, рука очень похожа, то я могу сказать лишь одно — кто-то выдал себя за меня. Впрочем, я имею основания думать, что адмирал Громобоев сможет меня оправдать. Предлагаю сейчас же ехать к нему.

— Да, — сказал генерал Л., — поедем сейчас же, хоть время и позднее.

Генерал Голубков, со свистом надев дождевик, вышел первым. Генерал Р. помог генералу Л. отыскать его шарф. Шарф соскользнул за одно из тех кресел в прихожей, чей удел — принимать в себя не людей, а вещи. Генерал Л. вздохнул и надел старую фетровую шляпу, использовав для исполнения этого тонкого дела обе руки. Затем он шагнул к двери.

— Минуту, генерал, — понизив голос, сказал генерал Р. — Я хочу кое о чем вас спросить. Как офицер офицеру, — вы совершенно уверены, что... ну, что генерал Голубков говорит правду?

— Это нам и следует выяснить, — ответил генерал Л., принадлежавший к числу людей, которые думают, будто всякое предложение, если в нем все слова на месте, непременно что-нибудь значит.

В дверях они слегка поддержали друг дружку за локотки. Наконец генерал постарше принял уступку и не без лихости вышел. Затем оба остановились на площадке, ибо лестница поразила их полным своим безмолвием. "Генерал!" — крикнул в пролет генерал Л. Затем они посмотрели один на другого. Затем торопливо и неловко загрохотали по выщербленным ступеням вниз, и вышли наружу, и встали под черной моросью, и посмотрели туда, сюда и снова один на другого.

Ее арестовали ранним утром следующего дня. Во все время следствия она ни разу не вышла из образа убитой горем невинности. Французская полиция, исследуя возможные версии, проявляла странную вялость, словно бы считая исчезновение русских генералов своего рода занятным туземным обычаем, восточным дивом, процессом распада, без которого, пожалуй, лучше бы и обойтись, да поди его упреди. Создавалось, впрочем, впечатление, что о технике трюка с исчезновением Sûreté знает куда больше, чем позволяет ей высказать дипломатическая осмотрительность. Европейские газеты писали о деле сочувственно, но как бы посмеиваясь и скучая. В общем, большого шума "L'affaire Slavska"[1] не наделало, — русская эмиграция была

[1] Дело Славской (*фр.*).

решительно не в фокусе. По забавному совпадению и немецкое, и советское агентства печати коротко сообщили, что два генерала Белых скрылись из Парижа, прихватив с собой казну Белой Армии.

7

Судебное разбирательство получилось на удивленис путаным и недоказательным, свидетели отнюдь не блистали, а окончательный приговор, вынесенный Славской по обвинению в насильственном похищении, был юридически очень спорным. Незначащие мелочи постоянно заслоняли основной предмет разбирательства. Люди, не внушающие доверия, вспоминали именно то, что требовалось, и наоборот. Всплыл какой-то счет, подписанный неким Гастоном Куло, фермером, “pour un arbre abattu”[1]. Генерал Л. и генерал Р. ужасно намучились в лапах ката-адвоката. Парижский “клошар”, живописно небритое существо с хорошо вызревшим красочным носом (эта роль и вовсе простая), из тех, что таскают все свое земное достояние в обширных карманах, а износивши последний носок, обертывают ступню слоями драной газеты и вечно сидят, растопыря ноги и приладив пообок бутылку вина, под осыпающейся стеной какого-нибудь недостроенного дома, который никогда и не будет достроен, потряс публику рассказом о виденном им из удобного угла грубом обращении с пожилым человеком. Две русские дамы, из которых одну какое-то время тому лечили от острой формы истерии, показали, что в день преступления видели, как генерал Голубков куда-то вез в машине генерала Федченко. Русский скрипач, обедая в вагоне-ресторане немецкого поезда... впрочем, что пользы пересказывать все эти несуразные домыслы.

Мелькают последние кадры — Славская в тюрьме. Смиренно вяжет в углу. Пишет, обливаясь слезами, письма к госпоже Федченко, утверждая в них, что теперь они —

---

[1] “За срубленное дерево” (*фр.*).

сестры, потому что мужья обеих схвачены большевиками. Просит разрешить ей губную помаду. Рыдает и молится в объятиях бледной юной русской монашенки, которая пришла поведать о бывшем ей видении, в котором открылась невиновность генерала Голубкова. Причитает, требуя вернуть ей Новый Завет, который полиция держит у себя, — держит, главным образом, подальше от экспертов, так славно начавших расшифровывать кое-какие заметки, нацарапанные на полях Евангелия от Иоанна. Вскоре после начала Второй мировой войны у нее обнаружилось непонятное внутреннее расстройство, и, когда одним летним утром три немецких офицера появились в тюремной больнице и пожелали увидеть ее, немедленно, им сказали, что она умерла, — и может быть, не солгали.

Остается только гадать, сумел ли муж дать ей знать о себе или он счел более безопасным предоставить жену ее собственным горестям. Куда он отправился, бедный perdu[1]? Зеркалами возможности не заменишь замочную скважину знания. Быть может, он отыскал свой рай в Германии, получив там незначительную административную должность в Училище юных шпионов Бедекера. Быть может, он воротился в страну, где некогда в одиночку брал города. Быть может, и нет. Быть может, некто, самый-самый большой шеф, призвал его к себе и с легким иностранным акцентом, с вкрадчивостью хорошо всем нам известного сорта, сказал: "Боюсь, друг мой, вы больше нам не нужны", — и едва только X повернулся, чтобы уйти, как мягкий указательный палец доктора Пуппенмейстера нажал неприметную кнопку на краешке безучастного письменного стола, и люк разверзся под X, и он полетел навстречу смерти (он, который "слишком много знал") или переломал свои курьезные кости, рухнув прямо в гостиную пожилой четы, обитающей этажом ниже.

Как бы там ни было, представление закончилось. Вы помогаете вашей девушке надеть пальто и присоединяетесь к медленно ползущему в направлении выхода потоку вам подобных. Запасные выходы распахиваются в неожидан-

[1] Погибший, пропавший, исчезнувший (*фр.*).

ные боковые приделы ночи, втягивая ближние к ним ручейки. Если вы, подобно мне, предпочитаете для простоты ориентирования выходить через те же двери, какими вошли, вы скоро снова минуете афиши, что показались такими притягательными часа два назад. Русский кавалерист в полупольском мундире, склоняется с поло-пони, чтобы сгрести красотку в красных сапожках и каракулевой папахе, из под которой выбиваются черные локоны. Триумфальная Арка трется плечом о Кремль с тусклыми его куполами. Сверкая моноклем, агент Иностранной Державы вручает генералу Голубкову связку секретных бумаг... Скорее, дети, выйдем отсюда в трезвую темноту, в шаркающую безмятежность привычных панелей, в прочный мир, полный хороших веснущатых мальчиков и духа товарищества. Здравствуй, реальность! Как освежает вещественная сигарета после всех этих вздорных волнений! Видишь, и тот тощий, подтянутый человечек тоже раскурил свою "Lookee", постучав ею о старенький кожаный портсигар.

Бостон, 1943

“КАК-ТО РАЗ В АЛЕППО...”

Дорогой В. Среди прочего это письмо должно сообщить вам, что я наконец здесь, в стране, куда вели столь многие закаты. Одним из первых, кого я здесь встретил, оказался наш добрый старый Глеб Александрович Гекко, угрюмо пересекавший Колумбус-авеню в поисках petit café du coin[1], которого ни один из нас троих никогда уж больше не посетит. Он, похоже, считает, что так ли, этак ли, а вы изменили нашей отечественной словесности, он сообщил мне ваш адрес, неодобрительно покачав седой головой, как бы давая понять, что получить весточку от меня — это радость, которой вы не заслуживаете.

У меня есть сюжет для вас. Что напоминает мне — то есть сама эта фраза напоминает мне — о днях, когда мы писали наши первые, булькающие, словно парное молоко, вирши, и все вокруг — роза, лужа, светящееся окно — кричало нам: “Мы рифмы!” — как, верно, кричало оно когда-то Ченстону и Калмбруду: “I'm a rhyme!” Да, мы живем в удобнейшей вселенной. Мы играем, мы умираем — ig-rhyme, umi-rhyme. И гулкие души русских глаголов ссужают смыслом бурные жесты деревьев или какую-нибудь брошенную газету, скользящую, и застывающую, и шаркающую снова, бесплодно хлопоча, бескрыло подскакивая вдоль бесконечной, выметенной ветром набережной. Впрочем, именно теперь я не поэт. Я обращаюсь к вам, как та плаксивая дама у Чехова, снедаемая желанием быть описанной.

Я женился — позвольте прикинуть — через месяц, что ли, после вашего отъезда из Франции и за несколько не-

---

[1] Маленькое угловое кафе (*фр.*).

дель до того, как миролюбивые немцы с ревом вломились в Париж. И хоть я могу предъявить документальные доказательства моего брака, я ныне положительно уверен, что жена моя никогда не существовала. Ее имя может быть вам известным из какого-то иного источника, но все равно: это имя иллюзии. Я потому и способен говорить о ней с такой отрешенностью, как если б я был персонажем рассказа (одного из ваших рассказов, говоря точнее).

То была любовь скорее с первого прикосновения, чем с первого взгляда, ибо я и раньше несколько раз встречал ее, не испытывая никаких особенных чувств, но однажды ночью я провожал ее домой, и какой-то сказанный ею забавный пустяк заставил меня со смехом склониться и легко поцеловать ее волосы, — что говорить, всем нам знаком тот слепящий удар, который получаешь, подбирая простую куколку с пола тщательно заброшенного дома: сам солдат ничего не слышит, он ощущает лишь экстатическое беззвучие и безграничное расширение того, что было во всю его жизнь игольчатой точкой света в темном центре его существа. Собственно, причина, по которой мы мыслим смерть в небесных понятиях, в том-то и состоит, что видимая нами твердь, особенно ночью (над нашим угасшим Парижем с сухопарыми арками бульвара Эксельманс и непрестанным альпийским плеском безлюдных его писсуаров), есть наиболее точный и вечный символ того огромного безмолвного взрыва.

Но я никак не могу ее разглядеть. Она остается туманной, как лучшее из моих стихотворений — то, столь жестоко осмеянное вами в “Литературных Записках”. Пытаясь представить ее, я вынужден цепляться рассудком за крохотную бурую родинку на ее пушистом предплечье, — как в непонятном предложении сосредоточиваешься на знаке препинания. Может быть, если б она почаще прибегала к гриму или прибегала к нему с пущим постоянством, я смог бы теперь увидеть ее лицо или хотя бы нежные поперечные борозды сухих, жарко румяных губ; но ничего не выходит, хоть я все еще ощущаю порой их уклончивое касание, словно чувства играют со мною в жмурки, в том всхлипывающем сне, где мы с ней неуклюже цепляемся друг за

дружку посреди надрывающего сердце тумана, и я не различаю цвета ее глаз из-за пустого сияния слез, переполнивших их и утопивших райки.

Она была много моложе меня, — не как Натали дивных плеч и длинных серег в сравненье со смуглым Пушкиным, — но все-таки и у нас имелся зазор, достаточный для той обратной романтики, что находит отраду в подражании судьбе неповторимого гения (до ревности, до грязи, до острой боли, с которой видишь, как миндалевые глаза за павлиньими перьями веера обращаются к ее белокурому Кассио), — раз уж не получается подражать его стихам. Правда, мои ей нравились, вряд ли она раззевалась бы, как делала та, другая, всякий раз что стихотворению мужа случалось превзойти длиною сонет. И если она для меня осталась фантомом, то, верно, и я тем же был для нее: думаю, ее привлекли лишь потемки моей поэзии; а там она продрала в завесе дыру и увидела неприятное лицо чужака.

Как вам известно, уже в течение долгого времени я собирался последовать примеру вашего счастливого бегства. Она описала мне своего дядю, жившего, по ее словам, в Нью-Йорке: он преподавал в колледже на юге верховую езду и в конце концов женился на богатой американке; у них была дочка, глухорожденная. Она говорила, что давным-давно потеряла их адрес, но несколько дней погодя адрес чудесным образом нашелся, и мы написали драматическое письмо, на которое так и не дождались ответа. Да это было не так уж и важно, поскольку я тем временем получил солидный аффидавит от профессора Ломченко из Чикаго; однако совсем еще немногое успели мы сделать для обзаведения нужными бумагами, как началось вторжение, а между тем я предвидел, что если мы застрянем в Париже, то раньше ли, позже, но какой-нибудь участливый соотечественник укажет заинтересованной стороне несколько мест в одной моей книге, где я говорю, что Германия, при всех ее черных грехах, все же обречена навек остаться всесветным посмешищем.

Так начался наш злополучный медовый месяц. Сдавленные и сотрясаемые в гуще апокалиптического исхода, ожидающие поездов, которые безо всякого расписания шли

неизвестно куда, бредущие сквозь затхлые декорации абстрактных городов, живущие в вечных сумерках физического изнурения, мы бежали; и чем дальше мы убегали, тем ясней становилось, что понукает нас нечто большее, чем дуролом в сапогах и пряжках, оснащенный набором поразному приводимого в движение хлама, — нечто иное, чего он был только символом, нечто чудовищное и неуяснимое, безвременная и безликая масса незапамятного ужаса, который и здесь, в зеленой пустоте Центрального Парка, еще наваливается на меня со спины.

О, она сносила все достаточно стойко — со своего рода изумленным весельем. Впрочем, однажды, ни с того ни с сего, она принялась вдруг рыдать посреди соболезнующего вагона.

— Собака, — говорила она, — мы бросили собаку. Я не могу забыть несчастной собаки.

Неподдельность ее горя поразила меня, потому что собаки у нас не было.

— Я знаю, — сказала она, — но я попыталась представить, что мы все же купили того сеттера. Только подумай, как бы он теперь скулил за запертой дверью.

И о покупке сеттера никогда разговоров никаких не велось.

И еще не хотелось бы мне позабыть кусок большой дороги и семью беженцев (две женщины, ребенок), у которой умер в пути старик-отец или дед. На небе в беспорядке толпились черного и телесного цвета тучи, уродливый солнечный луч бил из-за шапки холма, а покойник лежал на спине под рыжим платаном. Женщины попытались руками и палкой вырыть при дороге могилу, но земля оказалась слишком тверда, они отступились и сидели бок о бок среди малокровных маков, чуть в стороне от трупа и его задранной вверх бороды. И только мальчик все скреб и скоблил и дергал траву, пока не отвалил плоского камня и не замер на корточках, забыв о цели своих важных трудов; вытянув тонкую выразительную шею, подставлявшую все позвонки палачу, он с удивленьем и упоением наблюдал тысячи мелких, бурых, бурлящих муравьев, метавшихся в стороны, разбегавшихся, мчавших к безопасным местам в Гар, в Од,

в Дром, в Вар, в Восточные Пиренеи, — мы с ней ненадолго остановились лишь в По.

Попасть в Испанию оказалось трудно, и мы решили отправиться в Ниццу. В городке по имени Фожер (остановка десять минут) я вытиснулся из поезда, чтобы купить еды. Когда через пару минут я вернулся, поезд ушел, а сварливый старик, отвечающий за зиявшую передо мной жестокую пустоту (жаркое сияние угольной пыли меж равнодушных голых рельс и одинокий кусок апельсиновой кожуры), грубо заявил, что я вообще не имел права тут выходить.

В лучшем мире я добился бы, чтобы мою жену отыскали и объяснили бы ей, как поступить (билеты и большая часть денег остались при мне), но в тех обстоятельствах моя бредовая борьба с телефоном оказалась бесплодной, и я оставил в покое стаю слабеньких голосков, облаивавших меня издалека, послал две-три телеграммы, которые, вероятно, только сейчас и отправляются в путь, и поздно вечером поехал местным поездом в Монпелье, дальше которого вряд ли доплелся бы ее поезд. Там я ее не нашел, и пришлось выбирать между двух вариантов: продолжать намеченный путь, поскольку она могла сесть на марсельский поезд, к которому я едва-едва не поспел, или ехать назад, потому что она могла вернуться в Фожер. Не помню уже, какие путаные рассуждения привели меня в Марсель и в Ниццу.

Помимо таких рутинных действий, как препровождение ложных сведений в некое количество малообещающих мест, полиция ничем мне помочь не смогла; один полицейский наорал на меня за надоедливость, другой увернулся от дела, усомнясь в подлинности моего брачного свидетельства, поскольку печать на нем стояла с той стороны, какую он предпочел счесть для нее непригодной; третий, жирный "комиссар" с водянисто-карими глазками, признался, что он, когда не на службе, тоже пишет стихи. Я навещал различных моих знакомых из тех многочисленных русских, что обитали в Ницце или замешкались на ее берегах. Я слушал, как те из них, в чьих жилах оказалась еврейская кровь, рассказывают о своих обреченных соро-

дичах, вбиваемых в поезда, идущие в ад; и пока я сидел в каком-нибудь битком набитом кафе, глядя на млечно-голубое море, а из-за моей спины доносился, как из пустой раковины, шелест, снова и снова повествующий о резне и разлуке, о сером рае за океаном, о повадках и прихотях суровых консулов, в собственном моем положении проступало по контрасту нечто пошло жовиальное.

Через неделю после моего приезда сюда ленивый сыщик зашел за мной и отвел по кривой и смрадной улочке к дому в черных подтеках, с которого время и грязь почти уже стерли слово "отель"; здесь, сообщил он, отыскалась моя жена. Девушка, которую он предъявил, оказалась, конечно, совершенно мне неизвестной, однако мой друг Хольмс несколько времени пытался принудить ее и меня признаться, что мы женаты, а ее молчаливый и мускулистый постельный партнер стоял рядом и слушал, скрестив голые руки на волосатой груди.

Когда я наконец отвязался от этих людей и поплелся назад в свой квартал, мне случилось пройти мимо плотной очереди, ожидавшей у входа в продуктовую лавку; в самом ее конце вытягивалась, приподымаясь на цыпочки, чтоб разглядеть, что же в точности продают, моя жена. Помнится, первые ее слова, обращенные ко мне, были о том, что она рассчитывала на апельсины.

Ее рассказ казался немного путаным, но вполне заурядным. Она вернулась в Фожер и, вместо того чтобы справиться на станции, где я для нее оставил записку, пошла прямо в комиссариат. Компания беженцев предложила ей присоединиться к ним; ночь она провела в велосипедном магазине, где не было велосипедов, на полу, вместе с тремя пожилыми женщинами, лежавшими, по ее словам, в ряд, словно три бревна. На следующий день она сообразила, что ей недостанет денег добраться до Ниццы. В конце концов она кое-что заняла у одной из бревенчатых женщин. Она, однако, ошиблась поездом и заехала в город, названия которого не запомнила. В Ницце она появилась два дня назад и встретила в русской церкви каких-то друзей. Те ей сказали, что я где-то поблизости, ищу ее и вскорости, наверное, ей подвернусь.

Некоторое время спустя я сидел на краешке единственного в моей мансарде стула и придерживал ее за стройные юные бедра (она расчесывала мягкие волосы, откидывая голову при каждой отмашке), неожиданно смутная улыбка ее сменилась странным подергиваньем, она опустила руку мне на плечо, глядя на меня сверху вниз, как будто я был отражением в пруду, впервые ею замеченным.

— Я наврала тебе, милый, — сказала она. — Я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с одним скотом, мы познакомились в поезде. Мне вовсе этого не хотелось. Он торгует жидкостью для волос.

"Назначьте день и совершите казнь. За веером, перчатками и маской". Эту ночь и много других я провел, вытягивая из нее кроху за крохой, но так всего и не вытянул. Странная навязчивая идея овладела мной: что сначала я должен выяснить каждую мелочь, восстановить все по минутам, а уж там решить, смогу ли я это вынести. Но граница желанного знания оказалась недостижимой, да я и не мог предсказать хоть примерно ту точку, за которой сочту себя насытившимся, потому что знаменатель любой дроби знания, разумеется, потенциально так же бесконечен, как и число интервалов между ее долями.

Ах, в первый раз она была слишком усталой, чтобы противиться, а потом не противилась, уверясь, что я ее бросил; она, видимо, полагала, что такие объяснения должны стать для меня своего рода утешительным призом, а не бессмыслицей и пыткой, чем они являлись на деле. Так продолжалось целую вечность; порой она теряла терпение, потом опять собиралась с силами, бездыханным шепотом отвечая на мои непотребные вопросы или пытаясь с жалкой улыбкой ускользнуть в полубезопасность не относящихся к делу толкований, а я давил и давил на обезумелый коренной зуб, пока мои челюсти чуть не взрывались от боли, от жгучей боли, почему-то казавшейся мне предпочтительней тупой, гудливой муки смиренного долготерпения.

И заметьте, прерывая это дознание, мы пытались получить от артачливых властей некие документы, которые, в свой черед, дадут законные основания для подачи проше-

ния о бумагах третьего рода, каковые могли послужить ступенькой к получению разрешения, дозволяющего его обладателю подать прошение о получении еще одних документов, которые, глядишь, и дадут, а может, и не дадут ему средства открыть, как и почему это случилось. Ибо сумей я даже вообразить ту мерзкую возвратную сцену, я не смог бы связать ее острые гротескные тени со смутными членами моей жены, содрогающейся, хрипящей и тающей в моих яростных объятиях.

Так что ничего нам не оставалось, как только мучить друг друга, часами ожидать в префектуре, заполнять формуляры, совещаться с друзьями, уже знакомыми на ощупь с сокровеннейшими потрохами всевозможных виз, уламывать секретарей и вновь заполнять формуляры, и в итоге ее похотливый и многоликий разъездной торговец потонул в призрачной мешанине огрызающихся чиновников с крысиными усиками, истлевших кип полустершихся записей, смрада фиолетовых чернил, взяток, засунутых под гангренозные пятна промокашек, жирных мух, щекотавших влажные шеи холодными подушечками проворных лапок, свежеснесенных, неуклюже вогнутых фотографий шести двойников-недочеловеков, трагических глаз и терпеливой учтивости просителей, родившихся в Слуцке, в Стародубе, в Бобруйске, воронок и блоков Святой Инквизиции, ужасной улыбки лысого мужчины в очках, которому объявили, что паспорт его никак не отыщут.

Признаюсь, как-то вечером, после особенно гнусного дня, я рухнул на каменную скамью, плача и проклиная издевательский мир, в котором липкие лапы консулов и комиссаров жонглируют миллионами жизней. Тут я заметил, что и она тоже плачет, и сказал ей, что все это, в сущности, было бы пустяком, когда бы она не сделала того, что сделала.

— Ты станешь думать, что я ненормальная, — сказала она с силой, которая на секунду почти превратила меня в реального для нее человека, — но я не сделала этого, клянусь тебе, не сделала. Может быть, я живу несколькими жизнями сразу. Может быть, я хотела тебя испытать.

Может быть, эта скамейка — сон, а мы с тобою сейчас в Саратове или на какой-то звезде.

Было бы скучно возиться с различными стадиями, через которые я прошел, прежде чем окончательно принять первую версию ее задержки. Я не разговаривал с ней, был все больше один. Она мерцала и меркла и вновь возникала с каким-нибудь пустяком, который, думалось ей, я, быть может, приму, — с пригоршней вишен, с тремя драгоценными сигаретами либо с чем-либо в этом же роде, — она обхаживала меня с ровной, немой мягкостью сиделки, что ходит за брюзгливо выздоравливающим пациентом. Я перестал навещать большую часть наших общих друзей, потому что они утратили всякий интерес к моим паспортным делам и, казалось мне, стали вдруг неопределенно враждебными. Я написал несколько стихотворений. Я пил вино — столько, сколько удавалось добыть. В один из дней я прижал ее к моей стенающей груди, и мы уехали в Кабуль на неделю и там лежали на круглой розовой гальке узкого пляжа. Странно сказать, чем счастливее казались наши новые отношения, тем сильнее я ощущал потаенный ток горькой печали, но говорил себе, что это — родовая черта всякой подлинной благодати.

Тем временем что-то сместилось в подвижном узоре наших судеб, и наконец я вышел из темной и жаркой канцелярии с двумя пухлыми visas de sortie[1], лежавшими в чаше моих дрожащих ладоней. В должное время им впрыснули сыворотку США, и я понесся в Марсель и ухитрился добыть билеты на ближайшее судно. Я воротился и отгрохал по лестницам вверх. На столе я увидел розу в бокале — румяная сахаристость ее очевидной красы, паразитические пузырьки воздуха, прилипшие к стеблю. Два запасных ее платья исчезли, исчез ее гребень, исчезло клетчатое пальто и муаровая головная лента с бантом, служившая ей шляпкой. Не было приколотой к подушке записки, не было во всей комнате ничего, что могло бы меня просветить, ибо, конечно, роза являлась попросту тем, что французские рифмоплеты зовут une cheville[2].

---

[1] Выездная виза (*фр.*).

[2] Длиннота (*фр.*).

Я пошел к Веретенниковым, которые ничего не смогли мне сказать; к Геллманам, которые отказались сказать что-либо; и к Елагиным, которые колебались, говорить мне или не стоит. В конце концов старуха, — а вы знаете, какова Анна Владимировна в решительные минуты, — потребовала, чтобы подали ее трость с резиновым наконечником, тяжело, но решительно вытащила свое крупное тело из любимого покойного кресла и отвела меня в сад. Здесь она сообщила, что, будучи вдвое старше меня, она имеет право сказать, что я хам и подлец.

Вообразите сцену: маленький, гравистый сад с одиноким кипарисом и синим кувшином из “Тысячи и одной ночи”, треснувшая терраса, на которой дремал, укрывши пледом колени, отец старухи, когда оставил пост новгородского губернатора, чтобы провести в Ницце несколько последних своих вечеров; бледно-зеленое небо; запах ванили в густеющих сумерках; металлический свирест сверчков (две октавы выше среднего до) и Анна Владимировна — складки на щеках резко подрагивают, она осыпает меня материнскими, но совершенно мной не заслуженными оскорблениями.

В несколько последних недель, дорогой мой В., всякий раз что она в одиночку навещала три-четыре семейства, знакомых нам обоим, призрачная моя жена по капле вливала в нетерпеливые уши этих добрых людей удивительную историю. Вкратце: что она безумно влюбилась в молодого француза, способного дать ей дом с башенками и знатное имя; что она молила меня о разводе, и я отказал; будто бы даже сказав, что скорее застрелю ее и сам застрелюсь, чем один отплыву в Нью-Йорк; что ее, — сказала она, — отец в подобном же случае повел себя джентльменом; что мне, — сказал я, — наплевать на ее cocu de père[1].

Нелепые подробности этого рода имелись в избытке, и все зацеплялись одна за другую столь замечательным образом, что нельзя дивиться требованию старой дамы, дабы я поклялся не гоняться за любовниками со взведенным пистолетом в руке. Они уехали, сказала она, на виллу в Лозере.

---

[1] Полоумный папаша (*фр.*).

Я осведомился, попадался ли ей когда-нибудь на глаза этот мужчина. Нет, но ей показывали его фотографию. Я уж было ушел, когда Анна Владимировна, несколько поутихшая и даже протянувшая мне пять пальцев для поцелуя, вдруг вспыхнула снова, ударила тростью о гравий и произнесла глубоким и сильным голосом:

— Но одного я вам никогда не прощу — ее собаки, несчастного существа, которое вы удавили своими руками, прежде чем покинуть Париж.

Превратился ли господин с достатком в коммивояжера, или метаморфоза была обратной, или опять-таки был он ни тем ни другим, но неразборчивым русским, который приволакивался за ней перед нашей женитьбой, — все это решительно не имеет значения. Она ушла. Конец. Я оказался бы идиотом, предайся я сызнова бредовым поискам и ожиданиям.

На четвертое утро долгого и гнетущего морского вояжа я повстречал на палубе важного, но приятного старого доктора, с которым в Париже игрывал в шахматы. Он спросил, не слишком ли беспокоит бурное море мою жену. Я ответил, что плыву один, вследствие чего он приобрел вид ошарашенный и сообщил мне, что дня за два до отплытия, и именно в Марселе, видел ее бродившей по набережной — довольно бесцельно, как ему показалось. Она сказала, что я вот-вот подойду с багажом и билетами.

Вот тут, сдается мне, и содержится главная соль рассказа, — хотя, если вы возьметесь его писать, пусть лучше будет не доктор, — с этим персонажем уже изрядно переусердствовали. Именно в ту минуту я вдруг наверное осознал, что ее вообще не было, никогда. Скажу вам и еще кое-что. Приехав сюда, я поспешил удовлетворить отчасти болезненное любопытство: я отправился по адресу, некогда данному ею, и обнаружил безномерной пролет меж двух конторских домов; я поискал имя ее дяди в адресной книге, там его не оказалось; я навел кой-какие справки, и Гекко, который знает все, сообщил мне, что этот человек и его наездница-жена и вправду существовали, но переехали в Сан-Франциско после того, как умерла их глухая дочурка.

Рассматривая прошлое графически, я вижу наш искромсанный роман поглощенным глубокой долиной тумана, залегшей между скалистых отрогов двух образованных фактами гор; жизнь была реальной прежде, жизнь, надеюсь, будет реальной и отныне. Хоть и не завтра. Может быть, послезавтра. От вас, счастливого смертного, с вашей прелестной семьей (что Инесса? что ваши двойняшки?) и множеством разнообразных занятий (что ваши лишайники?), вряд ли следует ждать, что вы сумеете распутать мое несчастье в понятиях людского сообщества, но вы могли бы кое-что прояснить, пропустив его сквозь призму вашего искусства.

"Но ведь жалко!" Черт бы побрал ваше искусство, я отвратительно несчастен. Она еще бродит туда-сюда там, где бурые сети расстелены для просушки на горячих каменных плитах и крапчатый свет воды переливается на борту рыбачьей зашвартованной лодки. Где-то, в чем-то я совершил роковую ошибку. Бледные крохи ломаной чешуи там и сям посверкивают в бурых ячейках. Если я не буду осторожен, все это может завершиться в "Алеппо". Поберегите меня, В.: вы отягчите вашу игральную кость свинцом непереносимого смысла, если возьмете это слово в заглавие.

Бостон, 1943

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ, 1945

Так случилось, что у меня имеется малопочтенный тезка, полный — имя, фамилия, отчество, — человек, которого я никогда во плоти не видел, но имею возможность судить об этой пошлой личности по ее беспорядочным налетам на твердыню моей жизни. Неразбериха началась в Праге, где мне довелось жить в середине двадцатых годов. Я получил письмо из маленькой библиотеки, состоявшей, по-видимому, при какой-то из организаций Белой Армии, подобно мне выехавшей из России. Письмо в озлобленных тонах требовало, чтобы я немедленно возвратил экземпляр "Протоколов сионских мудрецов". Книга эта, некогда уныло одобренная Государем, представляет собой подложный меморандум, составленный полуграмотным проходимцем и оплаченный тайной полицией; единственной целью его было — подстрекнуть погромы. Библиотекарь, подписавшийся Синепузовым, утверждал, будто я держу то, что он счел возможным назвать "столь популярной и ценной книгой", вот уже больше года. Он ссылался на прежние просьбы, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, по каковым городам, видимо, носило моего соименника.

Я зримо представил себе молодого, очень белого эмигранта машинально реакционной разновидности, образование которого прервала революция и который успешно наверстывал утраченное время традиционными способами. Он, как видно, очень любил путешествовать, — я тоже: вот все, что было в нас общего. В Страсбурге одна русская дама спросила меня, не мой ли это брат женился на ее льежской племяннице. Одним весенним днем в Ницце ко мне в отель зашла девица с каменным лицом меж двух длинных серег, спросила меня, окинула одним-единственным взглядом,

извинилась и ушла. Другой раз, в Париже, я получил телеграмму, нервно извещавшую: "NE VIENS PAS ALPHONSE DE RETOUR SOUPÇONNE SOIS PRUDENT JE T'ADORE ANGOISSÉE"[1], и признаюсь, испытал мрачное удовлетворение, вообразив как мой бойкий двойник с букетом в руках неминуемо нарывается на Альфонса с его женой. Несколько лет спустя (я в то время читал лекции в Цюрихе) меня вдруг арестовали за то, что я будто бы разбил в ресторане три зеркала — своего рода триптих, изображающий моего соименника пьяным (первое зеркало), вдребезги пьяным (второе) и пьяным буяном (третье). Наконец, в 1928 году французский консул грубо отказался проштамповать мой потрепанный нансеновский (цвета морской волны) паспорт, поскольку, заявил он, я уже однажды пролез в его страну безо всякого разрешения. В пухлом досье, которое было в конце концов извлечено на свет, я мельком увидел физиономию моего тезки. Он носил подбритые усики и стригся "ежиком", сволочь.

Вскоре после того перебравшись в Соединенные Штаты и осев в Бостоне, я решил, что стряхнул наконец эту нелепую тень. Затем — в прошлом месяце, если быть точным, — раздался телефонный звонок.

Женщина с тяжелозвонным голосом сообщила, что она — миссис Сибил Холл, близкая подруга миссис Шарп, которая написала ей, посоветовав "связаться" со мной. С миссис Шарп я был знаком, и мне даже в голову не пришло, что и я, и моя миссис Шарп могут оказаться совсем другими людьми. Златогласая миссис Холл сказала, что в пятницу вечером у нее дома состоится небольшое собрание, я мог бы прийти, ибо по слышанному ею обо мне она уверена, что дискуссия очень, очень меня увлечет. Хотя любого рода собрания мне ненавистны, я приглашение принял, побужденный к тому мыслью, что, отказавшись, пожалуй, огорчу миссис Шарп — приятную, коротко стриженную немолодую даму в темно-бордовых брючках, с которой я познакомился на Тресковом мысе,

[1] "Не приезжай Альфонс подозревает будь благоразумен обожаю тревожусь" (*фр.*).

где она делила коттедж с женщиной помоложе: обе были средней руки художницами — левого толка и с приличным достатком — очень милые.

Вследствие некоторых злоключений, никак не относящихся к предмету настоящего рассказа, я добрался до многоквартирного дома миссис Холл гораздо позже, чем намеревался. Престарелый лифтер, странно похожий на Рихарда Вагнера, хмуро поднял меня наверх; неулыбчивая горничная миссис Холл, особа с длинными ручищами, свисавшими по бокам, ожидала в прихожей, пока я избавлюсь от пальто и калош. Главным украшеньем прихожей служила известного рода декоративная ваза, китайской выделки и, вероятно, весьма древняя — высокая, тошнотворной раскраски тварь, такие всегда ужасно меня угнетают.

Пока я переходил претенциозную комнатку, буквально набитую символами того, что рекламные авторы именуют “изящной жизнью”, и пока меня вводили — теоретически, ибо горничная пропала, — в просторный и томно буржуазный салон, до меня понемногу стало доходить, что это именно такое место, где можно нарваться на какого-нибудь пожилого обормота, которого кормили в Кремле икрой, или на деревянного советского русского, и что моя знакомая, миссис Шарп, по какой-то причине всегда сожалевшая о моем презрении к линии партии, к коммунизму и к “гласу его хозяина”, по-видимому, решила, бедняжка, будто подобный опыт способен благотворно повлиять на мой кощунственный разум.

Из общества в дюжину человек выделилась хозяйка — плоскогрудая женщина с длинными конечностями и с губной помадой на выступающих зубах. Она споро представила меня почетному и прочим гостям, и дискуссия, прерванная моим появлением, возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. Это был щуплый мужчина с прилизанными темными волосами и лоснящимся лбом; длинноногая лампа, стоявшая у него за плечом, освещала его так ярко, что можно было различить крупицы перхоти на воротнике его смокинга и полюбоваться белизною сжатых ладоней, одна из которых, как я обнаружил, была невероятно вялой и влажной. Он относился к породе людей, слабые подбо-

родки которых, впалые щеки и незадачливые кадыки обнаруживают часа через два после бритья, — когда истает тактичный тальк, — сложную систему розовых прыщиков, частью скрытых синевато-серой штриховкой. Он носил перстень с гербом, и я почему-то вспомнил смугловатую русскую девицу из Нью-Йорка, до того напуганную возможностью сойти — из-за внешности — за еврейку, что она таскала крестик прямо на горле, хоть веры в ней было так же мало, как и ума. Английский язык оратора отличался приятной беглостью, но жесткое "джар" в произношении слова "Germany" ("Германия") и назойливо возникавший эпитет "wonderful" ("чудесный"), первый слог которого звучал как "ван", обличали его тевтонское происхождение. Он то ли был, то ли стал, то ли вот-вот собирался стать профессором немецкого языка, или музыки, или сразу обоих где-то на Среднем Западе; имени его я не уловил, и потому буду звать его "д-р Шу".

— *Естественно*, он был безумен! — вскричал д-р Шу в ответ на какой-то вопрос одной из дам. — Помилуйте, ведь только безумец мог так запутать войну. И я, подобно вам, определенно надеюсь, что в скором времени, если выяснится, что он жив, его надежно упрячут в санаторию какой-нибудь нейтральной страны. Вполне по заслугам. Безумием было нападать на Россию вместо того, чтобы вторгнуться в Англию. Безумием было надеяться, что война с Японией удержит Рузвельта от решительного вмешательства в европейские дела. Наихудший безумец — это тот, кто не учитывает возможности чужого безумия.

— Так вот все думаешь, думаешь, — сказала толстая дамочка, по-моему, миссис Малберри, — а ведь тысячи наших мальчиков, убитых на Тихом океане, остались бы живы, если бы все эти самолеты и танки, которые мы отдавали Англии и России, использовать для уничтожения Японии.

— Вот именно, — сказал д-р Шу. — В том-то и состояла ошибка Адольфа Гитлера. Будучи безумцем, он не смог взять в расчет интриги безответственных политиканов. Будучи безумцем, он верил, что другие правительства станут

действовать в согласии с принципами милосердия и здравого смысла.

— Я всегда вспоминаю о Прометее, — сказала миссис Холл. — Как он похитил огонь и был ослеплен разгневанными богами.

Старая дама в ярко-синем платье, вязавшая в углу, попросила д-ра Шу объяснить, почему же немцы не восстали против Гитлера.

Д-р Шу на миг опустил веки.

— Ответ ужасен, — с натугой сказал он. — Вы знаете, я сам немец, чистой баварской крови, хотя и лояльный гражданин этой страны. И тем не менее я собираюсь сказать о моих былых соотечественниках нечто ужасное. Немцы, — мягкие ресницы вновь полуприкрыли глаза, — немцы — это нация мечтателей.

К этому времени я, разумеется, уяснил, что миссисхоллова миссис Шарп в такой же полноте отличается от моей, в какой я — от моего соименника. Кошмар, в который меня занесло, ему, вероятно, представился бы уютным вечером в обществе родственных душ, а д-р Шу — необычайно умным и блестящим causeur[1]. Робость и, возможно, нездоровое любопытство удерживали меня от того, чтобы уйти. Сверх того, разволновавшись, я начинаю так заикаться, что любая моя попытка высказать д-ру Шу мое о нем мнение прозвучала бы подобием выхлопов мотоцикла, не желающего заводиться морозной ночью, на нетерпимой улочке городского предместья. Я огляделся, пытаясь увериться, что все это настоящие люди, а не Петрушкин вертеп.

Хорошеньких женщин тут не было — все достигли сорока пяти или перевалили за них. Все, готов поручиться, принадлежали к книжным клубам, к бриджным клубам, к клубам блажным и к великой холодной общине подруг неминуемой смерти. Все казались беззаботно бесплодными. У кого-то, надо думать, имелись дети, но как их породили на свет, стало теперь забытой загадкой; многие отыскали подмену созидательной силе в разного рода эсте-

[1] Собеседник (*фр.*).

тических домогательствах, таких, например, как украшение комитетских зал. Я только взглянул на одну из них, сидевшую рядом со мной, — напряженную даму с веснущатой шеей, — и уж знал, что она, урывками прислушиваясь к д-ру Шу, тревожится, по всем вероятиям, о чем-то предназначенном украсить некое общественное действо или увеселение военной поры, точную природу которого я определить не сумел. Я понял, однако, как сильно она нуждается в этом добавочном штрихе. "Что-нибудь в центре стола, — размышляла она. — Нужно что-то такое, от чего они рты разинут, — может быть, большую — огромную! — вазу искусственных фруктов. Не из воска, конечно. Что-нибудь миленькое, под мрамор".

Очень, очень жаль, что во время знакомства с дамами в мозгу у меня не отложились их имена. Имена двух сидевших на стульях тощих взаимозаменяемых незамужних женщин начинались на "В", что же до прочих, то одна из них наверняка звалась мисс Биссинг. Это я ясно расслышал, но, правда, не смог потом связать ни с одним из лиц или лицеобразных объектов. Мужчина, кроме меня и д-ра Шу, присутствовал лишь один — мой соотечественник, полковник Маликов или Мельников, в передаче миссис Холл имя его прозвучало скорее как Милуоки. Пока разносили какое-то блеклое безалкогольное питье, он наклонился ко мне, издав кожистый скрип, как если б носил сбрую под потертым синим костюмом, и хриплым русским шепотом сообщил, что имел честь знавать моего достопочтенного дядюшку, которого я тут же представил в виде румяного, но несъедобного яблочка с фамильного древа моего соименника. Д-р Шу, однако, вновь принялся разглагольствовать, и полковник выпрямился, обнаружив в удаляющейся улыбке желтый сломанный клык и обещая учтивыми жестами, что мы всласть наговоримся позднее.

— Трагедия Германии, — изрек д-р Шу, аккуратно складывая бумажную салфетку, которой он вытер тонкие губы, — это также и трагедия культурной Америки. Я выступал во множестве женских клубов и в прочих центрах просвещения и всюду замечал, как глубоко ненавистна всякому утонченному и чувствительному человеку война

в Европе, ныне, по счастью, завершившаяся. И еще я замечал, с какой охотой память культурных американцев обращается к более радостным дням, к путешествиям за границу, к незабываемым месяцам и к еще более незабываемым годам, проведенным некогда в стране искусства, музыки, философии и доброго юмора. Они вспоминают милых друзей, которых они там имели, время, проведенное в учении и довольстве в лоне семьи какого-нибудь немецкого аристократа, исключительную чистоту во всем, песни на закате прекрасного дня, чудесные маленькие города, весь этот мир доброты и романтики, найденный ими в Мюнхене или в Дрездене.

— *Моего* Дрездена больше нет, — сказала миссис Малберри. — Наши бомбы уничтожили и его, и все, что он олицетворял.

— Британские в данном случае, — мягко сказал д-р Шу. — Но, конечно, война есть война, хоть я и допускаю, что затруднительно представить немецкий бомбардировщик, преднамеренно выбирающий своей мишенью какое-нибудь священное историческое место в Пенсильвании или Вирджинии. Да, война ужасна. Фактически она становится почти нестерпимой, когда ее навязывают двум нациям, имеющим столь много общего. То, что я сейчас скажу, может удивить вас своей парадоксальностью, но право же, вспоминая солдат, погибших в Европе, невольно говоришь себе, что они по крайней мере избавлены от ужасных опасений, которыми мы, гражданские лица, вынуждены втайне терзаться.

— Мне кажется, это очень верно, — медленно кивая, заметила миссис Холл.

— Да, но как же все эти истории? — спросила вяжущая старуха. — Ну, про которые все время пишут в газетах, — насчет немецких зверств. Я полагаю, это все больше пропаганда?

Д-р Шу улыбнулся усталой улыбкой.

— Я ожидал этого вопроса, — с оттенком печали в голосе произнес он. — К сожалению, пропаганда, преувеличения, фальшивые фотографии и тому подобное стали орудиями современной войны. Не удивлюсь, если и немцы

сочиняли истории о жестоком обращении американских солдат с невинным гражданским населением. Вспомните хотя бы все небылицы, выдуманные о так называемых германских зверствах в Первую мировую войну, — жуткие рассказы о совращенных бельгийских женщинах и тому подобное. Что же, сразу после войны, летом 1920 года, если не ошибаюсь, особый комитет немецких демократов досконально изучил этот вопрос, а все мы хорошо знаем, как педантически дотошны и скрупулезны немецкие эксперты. И что же, они не нашли ни единой крупицы свидетельств в пользу того, что немцы вели себя не так, как подобает солдатам и джентльменам.

Одна из мисс В. иронично заметила, что зарубежным корреспондентам тоже хочется кушать. Замечание было не лишено остроумия. Все оценили ее ироничное и остроумное замечание.

— С другой стороны, — продолжал д-р Шу, когда улеглось веселье, — давайте на миг забудем о пропаганде и обратимся к обыденным фактам. Позвольте мне нарисовать для вас картину из прошлого, картину довольно прискорбную, но, быть может, необходимую. Я попрошу вас представить, как немецкие юноши с гордостью вступают в какой-нибудь завоеванный ими польский или русский город. Они идут и поют. Они не знают, что их фюрер безумен; они простодушно верят, что принесли павшему городу надежду, счастье и чудесный порядок. Откуда им знать, что в результате дальнейших ошибок и заблуждений Адольфа Гитлера их победа приведет со временем к тому, что враг обратит в пылающее поле битвы каждый из городов, в который они, эти немецкие юноши, надеялись принести вечный мир? Храбро маршируя по улицам во всем своем убранстве, со своими чудесными боевыми машинами и знаменами, они улыбаются всем и каждому, потому что они трогательно добродушны и полны самых лучших намерений. И вот, постепенно, они замечают, что улицы, по которым они так по-мальчишески, так уверенно маршируют, заполняет безмолвная и неподвижная толпа евреев, взирающих на них со свирепой ненавистью, оскорбляющих каждого проходящего мимо них солдата, — нет, не слова-

ми, для этого они слишком умны, — но злобными взглядами и плохо скрываемыми ухмылками.

— Уж я эти взгляды знаю, — мрачно произнесла миссис Холл.

— Да, но они их не знали, — плачущим голосом сказал д-р Шу. — Вот в чем все дело. Они были озадачены. Они недоумевали и терзались обидой. И что они сделали? Поначалу они пытались побороть эту ненависть терпеливыми объяснениями и маленькими знаками доброты. Но стена ненависти, окружавшая их, становилась лишь толще. В конце концов им пришлось взять под стражу главарей этой злобной и заносчивой коалиции. Что им еще оставалось делать?

— Я знала одного старого русского еврея, — сказала миссис Малберри. — Ну, просто деловой знакомый мистера Малберри. Так вот, он мне однажды признался, что с удовольствием задушил бы своими руками первого попавшегося немецкого солдата. Я пришла в такой ужас, что просто стояла перед ним и не знала, что сказать.

— А вот я бы ему сказала, — произнесла коренастая женщина, сидевшая, разведя колени. — По правде говоря, больно много теперь толкуют про наказание, которое ожидает немцев. А ведь и они тоже люди. Любой разумный человек согласится с вашими словами насчет того, что не виноваты они в этих так называемых немецких зверствах, большую часть которых, скорее всего, сами же евреи и выдумали. Я просто из себя выхожу, когда слышу всю эту трескотню про печи да про застенки, в которых, если они вообще существовали, и орудовало-то всего несколько человек, таких же ненормальных, как Гитлер.

— Что ж, мне кажется, следует понимать, — со своей невыносимой улыбкой сказал д-р Шу, — и принимать во внимание работу живого семитского воображения, которое контролирует американскую прессу. Следует помнить и о том, что имели место чисто санитарные мероприятия, к которым опрятные немецкие солдаты вынуждены были прибегать, избавляясь от трупов умиравших в лагерях стариков, а в некоторых случаях — и от жертв эпидемии тифа. Сам я совершенно свободен от каких бы то ни было

расовых предрассудков и потому не могу понять, как соотносятся эти вековые расовые проблемы с позицией, которую следует занять по отношению к Германии ныне, когда она капитулировала. Особенно если вспомнить про обращение, которому подвергаются туземцы в британских колониях.

— Или про то, как обходились еврейские большевики с русским народом — ай-я-яй! — заметил полковник Мельников.

— Но теперь ведь все по-другому, правда? — спросила миссис Холл.

— Теперь-то конечно, — сказал полковник. — Теперь великий русский народ воспрянул, а моя родина снова стала великой державой. Мы имели трех великих вождей. Мы имели Ивана, которого враги называли Грозным, потом Петра Великого, а теперь имеем Иосифа Сталина. Я сам из Белых русских, служил в Императорской гвардии, но я также русский патриот и русский христианин. Сегодня в каждом слове, доносящемся из России, я чувствую мощь, я чувствую величие прежней России-матушки. Она опять стала страной солдат, веры и истинных славян. И я знаю, что когда Красная Армия входила в немецкие города, ни единого волоса не упало с немецких плеч.

— Голов, — сказала миссис Холл.

— Да, — сказал полковник, — никаких голов не упало с их плеч.

— Мы все в восторге от ваших соотечественников, — сказала миссис Малберри. — Но как быть с распространением коммунизма в Германии?

— Если мне будет дозволено высказать одно соображение,— сказал д-р Шу, — я хотел бы указать, что, если мы не проявим осторожности, Германии больше не будет. Основная проблема, перед лицом которой окажется эта страна, состоит в том, чтобы не дать победителям поработить германскую нацию, отправив молодых и здоровых, слабых и пожилых, интеллектуалов и штатских, — на каторжные работы в бескрайние земли Востока. Это противно всем принципам демократии и ведения войн. Если вы скажете мне, что немцы точно так же поступали с завоеванными

ими народами, я вам напомню о трех моментах: во-первых, немецкое государство не было демократическим и нельзя было ожидать, что оно станет действовать как таковое; во-вторых, большинство так называемых “рабов”, если не все они, переезжало по собственной свободной воле; и в-третьих, — и это самое важное, — их хорошо кормили, хорошо одевали, они жили в цивилизованной среде, которую — при всем нашем естественном восхищении обширностью населения России и разнообразием присущих ей географических условий — немцы вряд ли смогут найти в стране Советов.

— Не следует забывать и о том, — продолжал д-р Шу, драматически возвышая голос, — что нацизм, в сущности, был не исконно немецкой, но чужеродной для немцев системой, угнетавшей народ Германии. Адольф Гитлер — австриец, Лей — еврей, Розенберг — полуфранцуз, полутатарин. Германская нация так же изнывала под этим негерманским игом, как страдали от последствий войны, ведшейся на их территории, другие страны Европы. Для мирного населения, которое не только калечили и убивали, но драгоценную собственность которого, его чудесные дома, уничтожали бомбами, нет особой разницы, сбрасывались ли эти бомбы самолетами немцев или союзников. Немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, греки и все прочие народы Европы являются ныне членами одного трагического братства, все они равны в горестях и надеждах и заслуживают равного к себе отношения, так давайте же оставим задачу отыскания виновных и суда над ними будущим историкам, беспристрастным старым ученым из бессмертных центров европейской культуры, из мирных университетов Гейдельберга, Йены, Бонна, Лейпцига, Мюнхена. Пусть Феникс Европы вновь расправит свои орлиные крылья, и Бог да благословит Америку.

Наступила почтительная пауза, во время которой д-р Шу трепетно раскуривал сигарету, а затем миссис Холл, очаровательным девичьим жестом сжав ладони, попросила его завершить собрание какой-нибудь прекрасной музыкой. Он вздохнул, поднялся, мимоходом отдавил мне ногу, извиняясь, тронул меня кончиками пальцев за колено и,

присев за рояль, склонил главу и оставался недвижим несколько звучно безмолвных секунд. Затем медленно и очень нежно он уложил сигарету в пепельницу, пепельницу перенес с рояля в услужливые ладони миссис Холл и снова свесил голову. Наконец он чуть прерывающимся голосом сказал:

— Прежде всего я сыграю "Усеянное звездами знамя".

Чувствуя, что этого мне не снести, — уже, собственно говоря, ощущая, как к горлу подкатывает тошнота, — я встал и поспешно покинул комнату. Только при подходе к шкапу, в который, как я приметил, горничная поместила мою одежду, меня настигла миссис Холл и с нею лавина далекой музыки.

— Вам уже пора уходить? — спросила она. — Неужели действительно пора?

Я отыскал пальто, уронил плечики и с топотом влез в калоши.

— Вы либо глупцы, либо убийцы, — сказал я. — Либо и то и другое вместе. А этот человек — грязный немецкий шпион.

Как я уже упоминал, в решительные минуты меня поражает сильное заикание, а потому эта фраза вышла не столь гладкой, какова она на бумаге. Но свое она сделала. Прежде чем миссис Холл нашлась с ответом, я грохнул за собой дверью и снес пальто вниз по лестнице, как несут дитя из горящего дома. Уже на улице я обнаружил, что шляпа, едва мной не надетая, принадлежит не мне.

То была изрядно поношенная мягкая фетровая шляпа, именуемая здесь почему-то "федорой", несколько посерее моей и с лентой поуже. Мне она оказалась мала. Внутри имелся ярлык "Werner Bros. Chicago"[1], пахла она чужой щеткой и чужой жидкостью для волос. Принадлежать полковнику Мельникову, лысому, как кегельный шар, она не могла, что же до мужа миссис Холл, то он, насколько я понимаю, либо умер, либо держит свои шляпы в какой-то другой квартире. Противно было тащить эту дрянь с собой,

---

[1] "Братья Вернер, Чикаго" (*англ.*).

однако ночь была холодна и дождлива, так что я использовал ее в качестве зачаточного зонта. Едва добравшись до дому, я засел за письмо в Федеральное бюро расследований, но не очень в этом преуспел. Моя неспособность схватывать и удерживать имена серьезно вредила качеству информации, которой я хотел поделиться, а так как следовало объяснить мое присутствие на собрании, пришлось притянуть массу расплывчатых и невнятно подозрительных сведений касательно моего тезки. И что хуже всего, при связном изложении подробностей вся история начинала отдавать сновидением и гротеском, ибо, в сущности, я только и мог сообщить, что человек, проживающий где-то на Среднем Западе, человек, которого я не знал даже по имени, с симпатией отзывался о немецком народе перед компанией старых дур, собравшейся на частной квартире. А если учесть выражения той же симпатии, которых все больше выходит из-под пера кой-каких хорошо известных обозревателей, происшедшее, насколько я в состоянии судить, могло быть совершенно законным.

На следующее утро, рано, в дверь позвонили, я отворил ее и увидел перед собой д-ра Шу, с непокрытой головой, в дождевике, с осторожной полуулыбкой на сине-розовом лице. Он молча протягивал мне мою шляпу. Я принял ее и промямлил какие-то выражения благодарности. Последние он ошибочно принял за приглашение войти. Я не мог припомнить, куда засунул его “федору”, и судорожные поиски, которые мне приходилось вести более-менее под его присмотром, скоро обратились в фарс.

— Послушайте, — сказал я, — я пришлю вам шляпу почтой, с посыльным, как угодно, если найду ее, а не найду — так чек.

— Но я сегодня уезжаю, — мягко сказал он. — И кроме того, мне хотелось бы услышать какие-то объяснения того странного замечания, которое вы адресовали моему очень близкому другу, миссис Холл.

Он терпеливо слушал, пока я со всей доступной мне лаконичностью высказывался в том духе, что это ей объяснят власти, полиция.

— Вы заблуждаетесь, — сказал он наконец. — Миссис Холл — хорошо известная в обществе дама, у нее обширные связи в официальных кругах. Слава Богу, мы живем в великой стране, где всякий может высказывать свои мысли, не подвергаясь оскорблениям за выражение личных убеждений.

Я велел ему убираться.

Когда затих мой последний лепет, он сказал:

— Я уйду, но прошу вас запомнить, что в этой стране... — И в знак учтивого укора он помахал согнутым пальцем — из стороны в сторону, на немецкий манер.

Прежде чем я успел решить, куда его стукнуть, он выкатился из квартиры. Я весь дрожал. Моя неспособность действовать решительно, временами забавлявшая меня и даже доставлявшая тонкое удовлетворение, теперь обернулась гнусной неполноценностью. Внезапно в глаза мне бросилась шляпа д-ра Шу — в прихожей, под телефонным столиком, на кипе старых журналов. Я подбежал к выходящему на улицу окну, раскрыл его и в ту минуту, что д-р Шу показался четырьмя этажами ниже, запустил шляпой в него. Описав параболу, шляпа плюхнулась, точно блин, посреди мостовой. Затем она сделала сальто, на несколько дюймов промазала мимо лужи и улеглась, зияя, неправильной стороною кверху. Д-р Шу, не поднявши глаз, признательно помахал мне рукой, подобрал шляпу, убедился, что грязи на ней не слишком много, надел и пошел прочь, бойко вихляя задом. Я часто гадал, как этим мозгливым немцам удается, нацепив дождевик, становиться такими пухлыми со спины.

Остается только сказать, что неделю спустя мне доставили письмо, написанное на удивительном русском языке, которого не передать никаким переводом.

“Милостивый сударь, — говорилось в нем, — всю мою жизнь вы преследовали меня. Лучшие друзья отворачивались от меня, прочитав ваши книги и сочтя меня автором этой упадочной, декадентской писанины. В 1941 году, а потом и в 1943 немцы арестовывали меня во Франции за слова, которых я никогда не говорил и не думал. Теперь и здесь, в Америке, не удовольствовавшись причинением мне

всевозможных досад в иных странах, вы имеете наглость выдавать себя за меня и в пьяном виде заявляться в дом высокочтимой особы. Я этого не потерплю. Я мог бы упрятать вас за решетку и опозорить как самозванца, но полагаю, что вам это не понравится, а потому предлагаю, чтобы в качестве возмещения..."

Сумма, которую он запросил, оказалась, в сущности, очень скромной.

Бостон, 1945

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

1

В четвертый раз за то же число лет перед ними встала проблема: что подарить на день рождения молодому человеку с неизлечимо поврежденным рассудком? Желаний он не имел. Творения человеческих рук представлялись ему либо ульями зла, дрожащими в пагубном оживлении, которое только он и умел воспринять, либо грубыми приспособлениями, негодными к использованию в его отвлеченном мире. Исключив множество вещей, способных напугать его или обидеть (любой механизм, к примеру, был под запретом), родители выбрали пустячок, невинный и вкусный, — корзинку с десятью баночками разных фруктовых желе.

Ко времени его рождения они уже состояли в браке долгое время: миновало еще двадцать лет, теперь они стали совсем стариками. Ее тускловато-каштановые, поседевшие волосы были уложены кое-как. Она носила дешевые черные платья. В отличие от других женщин ее возраста (от миссис Сол, к примеру, их ближайшей соседки с лилово-розовым от грима лицом под шляпкой в виде пучка полевых цветов), она подставляла придирчивому свету весеннего дня оголенное белое лицо. Муж ее, бывший на родине довольно преуспевающим коммерсантом, ныне целиком зависел от своего брата Исаака, настоящего американца с почти сорокалетним стажем. С Исааком они видались нечасто и между собой называли его “князем”.

В ту пятницу все складывалось неладно. Поезд подземки лишился жизненных токов между двумя станциями, и четверть часа только и слышалось, что прилежное биение

сердца да шелест газет. Автобуса, на котором нужно было ехать дальше, пришлось дожидаться сто лет, а приехал он битком набитым горластыми школьниками. Лил сильный дождь, когда они поднимались по ведущей к санатории бурой дорожке. Там снова пришлось ждать, и вместо их мальчика, привычно шаркая входившего в комнату (бедное лицо в пятнах от угрей, плохо выбритое, хмурое, смущенное), явилась наконец уже знакомая им и вовсе неинтересная сестра и весело объявила, что он опять пытался покончить с собой. С ним все в порядке, сказала она, но посещение может его растревожить. В этом заведении так отчаянно не хватало людей и всякую вещь так легко могли засунуть не туда или перепутать с другой, что они решили не оставлять подарка, а принести его потом, когда придут снова.

Подождав, пока муж раскроет зонт, она взяла его под руку. Он все прочищал горло с особой звучностью, означавшей, что он расстроен. Перейдя улицу, они встали под навесом автобусной остановки, муж сложил зонт. В нескольких футах от них под качающимся и плачущим деревом полумертвый бесперый птенец беспомощно дергался в луже.

За долгую поездку к станции подземки она и муж не обменялись ни словом: всякий раз что она взглядывала на его старые руки (набухшие вены, кожа в коричневых пятнах), сжатые и подрагивающие на ручке зонта, она ощущала, как поднимаются изнутри и напирают слезы. Она огляделась, пытаясь за что-то зацепиться сознанием, и с легким потрясением, смесью сочувствия и удивления увидела, что одна из пассажирок, темноволосая девушка с неопрятно подмалеванными красным ногтями на пальцах ног, плачет, прислонясь к плечу женщины постарше. На кого эта женщина так похожа? Она похожа на Ревекку Борисовну, дочь которой вышла за одного из Соловейчиков — в Минске, давным-давно.

В последний раз, когда их сын пытался покончить с собой, выбранный им способ был, по словам доктора,

шедевром изобретательности; он преуспел бы, если бы не завистливый сосед-пациент, решивший, что он учится летать, и помешавший ему. Чего он хотел на самом деле, так это продрать в своем мире дыру и сбежать.

Система его безумия стала предметом подробной статьи, напечатанной в ученом ежемесячнике, впрочем, задолго до того она и муж сами ее разгадали. "Мания упоминания" — так назвал ее Герман Бринк. В этих случаях — очень редких — больной воображает, будто все, что происходит вокруг, содержит скрытые намеки на его существо и существование. Он исключает из заговора реальных людей, — потому что считает себя намного умнее всех прочих. Мир явлений тайно следует за ним, куда б он ни направлялся. Облака в звездном небе медленными знаками сообщают друг другу немыслимо доскональные сведения о нем. При наступлении ночи деревья, темно жестикулируя, беседуют на языке глухонемых о его сокровеннейших мыслях. Камушки, пятна, блики солнца, складываясь в узоры, каким-то ужасным образом составляют послания, которые он обязан перехватить. Все сущее — шифр, и он — тема всего. Одни филеры, такие как стекла, тихие заводи, суть равнодушные соглядатаи, другие — пиджаки в магазинных витринах — пристрастные свидетели, линчеватели по натуре; еще другие (грозы, текущая вода), истеричные до безумия, имеют о нем искаженное представление и нелепо заблуждаются, толкуя его поступки. Приходится вечно быть начеку и каждую минуту, каждый кусочек жизни отдавать расшифровке волнообразных движений окрестных вещей. Самый воздух, выдыхаемый им, снабжается биркой и убирается в архив. И если б еще любопытство, которое он пробуждает, ограничивалось ближайшим его окружением — увы, это не так! С расстоянием потоки неистовых сплетен ширятся, становясь многословнее и мощнее. Плывут над огромными равнинами увеличенные в миллионы раз очертания его кровяных телец; а еще дальше громады гор, невыносимой крепости и высоты, выводят на языке гранита и горюющих елей конечную истину его бытия.

2

Когда они выбрались из духоты и грома подземки, последние подонки дня мешались с уличными огнями. Она хотела купить немного рыбы на ужин и вручила ему корзинку с баночками, сказав, чтобы он шел домой. Он долез до третьей площадки и тут вспомнил, что днем отдал ей ключи.

Молча он сел на ступени и молча встал, когда минут через десять она поднялась, тяжело ступая по лестнице, через силу улыбаясь, покачивая головой в осужденье своей глупости. Они вошли в свою двухкомнатную квартиру, и он сразу направился к зеркалу. Растянув большими пальцами рот в жуткой, словно у маски, гримасе, он вытащил новую, безнадежно неудобную челюсть и оборвал сочлененные с ней длинные бивни слюны. Пока она накрывала на стол, он читал русскую газету. Так, читая, он поглощал тусклую снедь, для которой не требовалось зубов. Она понимала его состояние и тоже молчала.

Он лег, а она осталась в гостиной с колодой замызганных карт и старыми альбомами. Насупротив через узкий двор, где дождь тренькал в темноте по искореженным мусорным бакам, мягко светились окна, и за одним из них виднелся мужчина в черных штанах, навзничь лежавший, закинув голые руки, на неприбранной постели. Она опустила шторы и стала перебирать фотографии. Младенцем он выглядел более удивленным, чем большинство детей. Из складки альбома выпала немецкая горничная, что служила у них в Лейпциге, и ее толстомордый жених. Минск, революция, Лейпциг, Берлин, Лейпциг, смазанный, наклонный фасад дома, совсем не в фокусе. Четыре года, в парке: угрюмый, пугливый, лоб в складочках, отводит глаза от настырной белки так же, как от всякого чужака. Тетя Роза, суматошная, нескладная старуха с тревожными глазами, жившая в трепетном мире дурных новостей, банкротств, железнодорожных крушений, раковых опухолей, — пока немцы не убили ее и с нею вместе всех, о ком она так волновалась. Шесть лет — это тогда он стал рисовать чудесных птиц с человеческими руками и ногами и мучиться

бессонницей, совсем как взрослый мужчина. Его двоюродный брат, теперь прославленный шахматист. Снова он, восьмилетний, его уже трудно понять, он боится обоев в коридоре и одной картинки в книге, изображающей всего только мирный ландшафт с валунами на склоне холма и старым тележным колесом, повисшим на ветке безлистого дерева. Десять лет: в тот год они покинули Европу. Стыд, жалость, унизительные затруднения, уродливые, злые, отсталые дети, с которыми он учился в той специальной школе. Тут-то и настала в его жизни пора, совпавшая с долгим выздоровлением от воспаления легких, когда все мелкие фобии, которые родители упрямо считали причудами изумительно одаренного мальчика, как бы спеклись в плотный клубок логически переплетенных иллюзий, полностью отгородивших его от любого нормального разума.

Она смирилась с этим и со многим, многим иным, — потому что, в сущности, жить — это и значит мириться с утратами одной радости за другой, а в ее случае и не радостей даже — всего лишь надежд на улучшение. Она думала о нескончаемых волнах боли, которую по какой-то причине приходится сносить ей и мужу; о невидимых великанах, невообразимо терзающих ее мальчика; о разлитой в мире несметной нежности; об участи этой нежности, которую либо сминают, либо изводят впустую, либо обращают в безумие; о заброшенных детях, самим себе напевающих песенки по неметеным углам; о прекрасных сорных растениях, которым некуда спрятаться от землепашца и остается только беспомощно наблюдать за его обезьяньей сутулой тенью, оставляющей за собой искалеченные цветы, за приближением чудовищной тьмы.

3

Было уже за полночь, когда она услышала из гостиной, как застонал муж. Он вошел, волоча ноги, в накинутом поверх ночной сорочки старом пальто с каракулевым воротником, которое предпочитал красивому голубому халату

— Я не могу спать, — выкрикнул он.

— Почему, — спросила она, — почему ты не можешь спать? Ты был такой усталый.

— Я не могу спать потому, что я умираю, — сказал он и лег на кушетку.

— Это желудок? Хочешь, я позвоню доктору Солову?

— Какие доктора, зачем доктора, — простонал он. — К черту докторов! Мы должны побыстрее забрать его оттуда. Иначе нам отвечать. Отвечать! — повторил он и сел, скрючившись, опустив на пол ступни и стукая себя в лоб стиснутым кулаком.

— Хорошо, — тихо сказала она, — мы заберем его завтра утром.

— Я бы чаю выпил, — сказал муж и ушел в уборную.

С трудом нагнувшись, она собрала несколько карт и снимков, соскользнувших с кушетки на пол: валет червей, девятка пик, туз пик, Эльза и ее омерзительный хахаль.

Он вернулся повеселевшим, на ходу громко объясняя:

— Я все обдумал. Мы отдадим ему спальню. Каждый будет часть ночи проводить рядом с ним, а другую — здесь, на кушетке. По очереди. Найдем доктора, чтобы навещал его хотя бы два раза в неделю. А князь пусть говорит что хочет. Да и нечего ему будет сказать, так выйдет даже дешевле.

Зазвонил телефон. В такое время он никогда не звонил. Левый шлепанец соскользнул с ноги мужа, он застыл посреди комнаты, шаря пяткой и пальцами, по-детски раскрыв беззубый рот, изумленно уставясь на жену. На звонки отвечала она, потому что лучше знала английский.

— Можно Чарли? — спросил пасмурный девичий голос.

— Какой номер вам нужен? Нет. Это неправильный номер.

Трубка мягко легла на рычаг. Ее рука поднялась к усталому старому сердцу.

— Как он меня напугал, — сказала она.

Муж неловко улыбнулся и тут же возобновил взволнованный монолог. Они заберут его прямо с утра. Ножи и вилки придется держать под замком. Впрочем, даже в худшем своем состоянии он для людей не опасен.

Телефон зазвонил снова. Тот же молодой бестонный голос спросил Чарли.

— У вас неправильный номер. Я вам скажу, что вы делаете: вы набираете букву О вместо нуля.

Они уселись за неожиданно праздничное ночное чаепитие. Подарок стоял на столе. Муж шумно прихлебывал чай; лицо его раскраснелось, время от времени он поднимал стакан и покручивал, чтобы сахар разошелся получше. Вена с той стороны его лысой головы, где сидело большое родимое пятно, приметно вздулась, и хоть утром он брился, на подбородке проступила серебряная щетина. Пока она наливала второй стакан, он, надев очки, в который раз с удовольствием рассматривал сияющие баночки — желтые, зеленые, красные. Его косные мокрые губы выговаривали по складам названия с броских бирок: абрикос, виноград, морская слива, айва. Он как раз добрался до кислицы, когда опять зазвонил телефон.

Бостон, 1948

ПРЕВРАТНОСТИ ВРЕМЕН

1

В первые цветоносные дни выздоровления от тяжкой болезни, на которое никто, и менее всех сам обладатель девяностолетнего организма, уже не надеялся, мои милые друзья, Норман и Нюра Стоун, убедили меня продлить перерыв в научных штудиях и отвлечься каким-то невинным занятием вроде игры в "брэззл" или пасьянса.

Первое исключается полностью, так как выслеживать название азиатского города или заглавие испанского романа в беспорядочном лабиринте слогов с последней страницы вечерней книги новостей (удовольствие, которому самая младшая из моих праправнучек предается с чрезвычайной охотой) — дело, на мой взгляд, гораздо более трудное, чем забавы с животными тканями. С другой стороны, пасьянс заслуживает рассмотрения, особенно при неравнодушии к его духовному двойнику, ибо не является ли игрой того же разряда упорядочивание воспоминаний, когда, на досуге вникая в прошлое, как бы сдаешь сам себе происшествия и переживания?

Говорят, Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых слишком скудное воображение, чтобы писать романы, и слишком дурная память, чтобы писать правду. В этих сумерках самовыражения приходится плавать и мне. Подобно другим старикам до меня, я обнаружил, что ближнее во времени тонет в томном тумане, но в конце туннеля — свет и цвет. Я в состоянии различить очертания каждого месяца 1944 или 1945 года, но даже времена года напрочь смазываются, стоит мне вытащить из колоды 1997 или 2012. Я не могу припомнить имени выдающегося ученого, раскритиковавшего мою последнюю

статью, я не помню даже, какими именами называли его мои равно выдающиеся защитники. Я не способен с ходу сказать, в каком году Секция эмбриологии "Союза друзей природы в Рейкьявике" избрала меня в члены-корреспонденты или когда именно Американская Академия Наук удостоила меня первейшей из своих наград. (Помню, впрочем, острое наслаждение, доставленное мне обеими почестями.) Так человек, глядя в колоссальный телескоп, не видит перистых облачков бабьего лета над своим зачарованным садом, но видит, как дважды видел мой незабвенный коллега, покойный профессор Александр Иванченко, роение гесперозоа во влажных пропастях Венеры.

Вполне вероятно, что "несметные туманные картины", завещанные нам тусклой, плоской и странно меланхоличной фотографией прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, производимое этим веком на тех, кто его не помнит; но верно и то, что существа, населявшие мир во дни моего детства, кажутся нынешнему поколению более удаленными, чем им самим казался век девятнадцатый. Они еще вязли по пояс в ханжестве и предрассудках. Они цеплялись за традиции, как лоза за сохлое дерево. Они ели за большими столами, оцепенело сидя вокруг на жестких деревянных сиденьях. Наряды их состояли из многих частей, да сверх того каждая из оных хранила ссохшиеся и бесполезные останки той или этой моды постарше (одевающемуся поутру горожанину приходилось протискивать тридцать, примерно, пуговиц во столько же петель и еще завязывать три узла, и проверять содержимое пятнадцати карманов).

В письмах они обращались к совершенно чужим для них людям с фразой, равнозначной — насколько слова вообще обладают значением — выражению "любимый хозяин", предваряя свою теоретически бессмертную подпись пробормотыванием слов дурацкой преданности особе, самое существование которой являлось для пишущего вполне безразличным. Они обладали атавистической склонностью наделять общество качествами и правами, в которых отказывалось отдельной личности. Экономика владела их умами едва ли не в той же мере, в какой богословие — умами

их предков. Они были поверхностны, беспечны и близоруки. В большей степени, нежели прочие поколения, они пренебрегали выдающимися людьми, предоставив нам честь открытия их классиков (так, Ричард Синатра оставался при жизни безвестным “лесным объездчиком”, грезившим под теллуридской сосной или читавшим свои проникновенные вирши белкам в лесу Сан-Исабел, — зато все знали другого Синатру, пустякового писателя, родом также с Востока).

Простейшие аллобиотические явления приводили их так называемых спиритуалистов к глупейшим трансцендентальным домыслам, заставляя так называемый здравый смысл пожимать широкими плечами в равно глупом невежестве. Наши обозначения времени показались бы им “телефонными” номерами. Самыми разными способами забавляясь с электричеством, они и малого понятия не имели о том, чем оно, в сущности, является, — не диво, что случайное открытие истинной его природы так страшно их поразило (я в то время был уже взрослым человеком и хорошо запомнил, как горько плакал профессор Эндрю — в кампусе, посреди оглушенной толпы).

Но мир моих юных дней, при всех смехотворных обычаях и сложностях, в которых он погрязал, оставался мирком отважным и крепким, с невозмутимым юмором встречавшим напасти и бестрепетно выходившим на поля далеких сражений, чтобы покончить со свирепой пошлостью Гитлера и Аламилло. И если бы я дал себе волю, немало яркого, доброго, утешительного и прекрасного нашла бы в прошлом беспристрастная память, — и горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, что способен сделать ему пока еще крепкий старик, если он засучит рукава. Но довольно об этом. История — не моя сфера, и, возможно, лу́чше будет, если я обращусь к тому, что мне ближе, дабы не услышать, как услышал господин Саскачеванов от обаятельнейшего из персонажей одного теперешнего романа (подтверждено моей праправнучкой, которая читает больше моего), что, мол, “всяк сверчок знай свой свисток” (и не суйся в области, по праву принадлежащие другим кузнецам и цикадам).

2

Я родился в Париже. Мать умерла, когда я еще был младенцем, так что я в силах припомнить ее лишь как расплывчатое пятно упоительного слезного тепла, лежащее за самой границей иконографической памяти. Отец преподавал музыку и сам был композитором (я и теперь храню программку, в которой имя его стоит подле имени русского гения); он еще успел увидеть меня выпускником университета, а там умер от непонятной болезни крови во время Южно-Американской войны.

Мне шел седьмой год, когда он, я и лучшая из бабушек, какую Небеса когда-либо посылали ребенку, покинули Европу, где выродившаяся нация неописуемо мучила расу, к которой я принадлежу. В Португалии какая-то женщина дала мне самый большой из виданных мной апельсинов. Две кормовые пушечки нашего лайнера прикрывали его зловеще извилистый кильватерный след. Группа дельфинов исполняла самозабвенные сальто. Бабушка читала мне сказку про русалку, залучившую пару ножек. Любознательный бриз участвовал в чтении и теребил и трепал страницы, желая узнать, что было дальше. Вот почти все, что я помню о путешествии.

Странники в пространстве, прибывая в Нью-Йорк, обыкновенно дивились “небоскребам”, как подивятся им, старомодным, странники во времени; прозвание это ошибочно, поскольку их близость с небом, особенно на эфирном исходе душного дня, ничем не напоминает сколько-нибудь раздражающего касания, будучи неописуемо нежной и ясной: моим детским глазам, глядевшим через огромный простор парка, что украшал тогда центр города, они представлялись далекими, сиреневатыми и до странности водянистыми, мешающими первые застенчивые огни с красками заката и в сновидной искренности открывающими пульсирующее нутро своей кружевной структуры.

Негритянские дети чинно сидели на искусственных скалах. На стволах деревьев красовались их латинские имена, — точно так же водители приземистых, расфранченных, жуковатых автокебов (генетически родственных в моем

сознании столь же расфуфыренным автоматам, музыкальный запор которых чудодейственно прослабляла мелкая монета) прикрепляли на задние стекла свои потрепанные фотографии, ибо мы жили в эру Идентификации и Классификации, воспринимая людей и предметы через их имена и названия и не веруя в существование чего бы то ни было безымянного.

В недавней и еще популярной пьесе, посвященной причудливой Америке Летучих Сороковых, немалый романтический шарм сообщен роли торговца содовой, впрочем, его бакенбарды и накрахмаленная манишка нелепо анахроничны, не было в мое время и столь непрестанного, бурного вращения высоких грибообразных стульев, коим тешатся исполнители. Мы упивались нашими скромными смесями (через соломинки, бывшие в действительности много короче тех, что на сцене) в обстановке угрюмой алчности. Я помню пустое очарование и мелкую поэтичность процесса: обильную пену над притонувшим комком синтетических замороженных сливок или жидкую бурую слякоть "сливочной" помадки, облившей его полярную лысинку. Лоск бронзы и плоскость стекла, стерильные отражения электрических ламп, шелест и блеск засаженного в клетку пропеллера, плакат Мировой войны — усталые синие Рузвельтовы глаза дядюшки Сэма или облаченная в щеголеватую форму девушка с преувеличенной нижней губой (о, этот напученный ротик, угрюмый поцелуйный капкан, позабытый покрой женского обаяния, 1939—50), — и незабываемая тональность долетающих с улицы звуков движения, их узоры и мелодические фигуры, за сознательный анализ которых отвечает одно только время, как-то связавшее "аптеку" с миром, в котором люди терзали металл, и металл не оставался в долгу.

Я ходил в нью-йоркскую школу; потом мы переехали в Бостон; потом опять переехали. У меня осталось впечатление, что мы то и дело меняли жилища, — и одни дома оказывались скучнее других, но как бы ни был мал городок, в нем всегда находилось место, где латали велосипедные шины, и место, где торговали мороженым, и место, где показывали кино.

Казалось, эхо крадут из гортани гор и подвергают особенной обработке с помощью меда и ластика, пока сгущенный говор его не удастся синхронизировать с движением губ в череде фотографий на лунно-белом экране, в бархатно-темном зале. Мужской кулак отправлял ближнего сокрушать пирамиды корзин. Девушка с невиданно гладкой кожей приподымала нитевидную бровь. Дверь захлопывалась с неуместно тяжелым стуком, вроде тех, что долетают к нам с дальнего берега реки, где трудятся дровосеки.

3

Я также достаточно стар, чтобы помнить пассажирские поезда; малым ребенком я молился на них, подростком — обратился к исправленным изданиям скорости. Они, с их неуследимыми окнами и тусклыми фонарями, еще порой прогромыхивают сквозь мои сны. Их окраску можно было бы объяснить созреванием расстояния, смешением оттенков порабощенных ими миль, но нет, сливовый цвет их тускнел от угольной пыли, приобретая окрас, свойственный стенам мастерских и бараков, предпосылаемых городу с тою же неизбежностью, с какой грамматические правила и чернильные кляксы предшествуют усвоению положенных знаний. В конце вагона хранились бумажные колпачки для нерадивых гномов, вяло наполнявшиеся (передавая пальцам сквозистую стужу) пещерной влагой послушного фонтанчика, поднимавшего голову, стоило к нему прикоснуться.

Старики, похожие на дряхлых паромщиков из совсем уже древних сказок, нараспев повторяли свои “след-щастанцы” и проверяли билеты у путников, среди которых, если поездка была достаточно долгой, обязательно обреталось множество расхристанных, смертельно усталых солдат и один бойкий, пьяненький, страсть какой непоседливый, которого лишь его бледность соединяла со смертью. Он всегда был один, но он был всегда, — уродец, юнец, ненадолго сотворенный из праха в средине того, что некоторые пособия по наиновейшей истории благозвучно именуют

“периодом Гамильтона” — ибо так звали равнодушного ученого, разложившего этот период по полочкам для удобства безголовых.

По какой-то причине мой блестящий, но непрактичный отец никак не мог приладиться к ученой среде настолько, чтобы надолго осесть в одном каком-нибудь месте. Я способен зримо представить себе любое из них, но один университетский городок остается в памяти особенно ярким: называть его не нужно, довольно сказать, что через три лужайки от нас, на густолиственной улочке, стоял дом, обратившийся ныне в Мекку нации. Я помню спрыснутые солнцем садовые стулья под яблоней, сеттера цвета яркой меди и веснущатого толстого мальчика с книжкой на коленях, и подходящее с виду яблоко, подобранное мною в тени забора.

И я сомневаюсь, смогут ли туристы, навещающие теперь место рождения величайшего человека своего времени и глазеющие на обстановку той поры, стыдливо стеснившуюся за плюшевыми канатами свято чтимого бессмертия, смогут ли они хоть в малой мере ощутить гордую сопричастность прошлому, которой я обязан случайному происшествию. Ибо, что бы еще ни случилось и сколько бы каталожных карточек ни заполнили библиотекари заглавиями опубликованных мною статей, в вечность я войду как человек, запустивший некогда яблоком в Барретта.

Тем, кто родился после оглушительных открытий семидесятых годов и кто, стало быть, не видел никаких летающих предметов за вычетом разве воздушных змеев и шариков (до сих пор разрешенных, сколько я понимаю, в нескольких штатах, несмотря на недавние статьи доктора де Саттона, посвященные этой проблеме), трудно вообразить аэропланы, — в частности и потому, что старым снимкам этих величественных машин недостает жизни, удержать которую могло бы одно лишь искусство, — и странно, ни единый из великих художников прошлого не избрал их для приложения своего дара и не сохранил тем самым от распада их образ.

Наверное, я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни, оказавшимся вне моей частной научной

области, и возможно, личность глубокого старика вроде меня может показаться расщепленной, наподобие тех европейских городков, одна половина которых лежит во Франции, а другая — в России. Я сознаю это и продолжаю с опаской. Я далек от намерения пробудить тоскливое и нездоровое сожаление о летательных аппаратах, и в то же самое время мне не по силам избавиться от романтических нот, прирожденных симфоническому целому прошлого, каким я его ощущаю.

В те далекие дни, когда на Земле не осталось места, отстоящего более чем на шестьдесят часов полета от какого-либо из аэропортов, всякий мальчишка знал самолеты от кока пропеллера до дифферентных хвостовых рулей и умел различать их разновидности не только по заостренью крыла, но даже по очерку выхлопного пламени в темноте, — соперничая тем самым в способности распознавания признаков с безумными соглядатаями природы, с постлиннеевскими систематиками. Чертеж разреза крыла и фюзеляжа вызывал у мальчишки всплеск творческого восторга, а модели, которые он создавал из бальзы, сосны и конторских скрепок, порождали по ходу работы такое все возрастающее волнение, что завершение их казалось, в сравнении, почти лишенным вкуса, словно душа вещи отлетала в тот миг, когда окончательно застывала ее форма.

Обретение и наука, сбережение и искусство — две эти пары держатся особняком, но, когда они сходятся, ничто в мире уже не имеет значения. И потому я тихонечко отхожу, оставляя мое детство в самом типичном его мгновении, в самой пластичной из поз: завороженным глубоким гулом, что дрожит и набирает силу над головой, забывшим об оседланном смирном велосипеде — одна нога на педали, носок другой касается асфальта, глаза, подбородок, ребра воздеты к голому небу, где с неземной быстротой, которую лишь огромность его путей преображает в неторопливую замену вида с брюха видом с хвоста, проходит военный самолет, и крылья его и гудение растворяются расстоянием. Обожаемые чудовища, великие летающие машины, они ушли, исчезли, подобно стае лебедей, что с могучим свистом множества крыльев в одну весеннюю ночь пронеслась

над озером Рыцарей в Мэне из неизвестности в неизвестность: лебедей вида, так и не установленного наукой, никогда не виданных прежде, никогда не виданных с той поры, и ничего после них не осталось в небе, кроме одинокой звезды — подобия звездочки, отсылающей к сноске, которой нам не сыскать.

Бостон, 1945

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ДВОЙНОГО ЧУДИЩА

Несколько лет назад доктор Фрике задал мне и Ллойду вопрос, на который теперь я попытаюсь ответить. Погладив с мечтательной улыбкой ублаготворенного ученого соединяющую нас толстую хрящевую связку, — omphalopagus diaphragmo-xiphodidymus, как выразился в схожем случае Панкоуст, — он осведомился, можем ли мы припомнить самый первый случай, когда один из нас или мы оба осознали необычайность наших обстоятельств и нашей судьбы. Все, что вспомнилось Ллойду, — это как наш дедушка Ибрахим (или Аким, или Ахем — неприятная груда мертвых звуков, на наш нынешний слух!), бывало, гладил то, что погладил доктор, и говорил — "золотой мост". Я промолчал.

Наше детство прошло в доме дедушки невдалеке от Караца, на вершине тучного холма, над Черным морем. Младшую из его дочерей, розу Востока, жемчужину седого Ахема (коли так, старый прохвост мог бы приглядывать за нею получше), обесчестил в придорожном саду наш безымянный родитель, и едва породив нас, она умерла — полагаю, единственно от ужаса и печали. Одна серия сплетен указывала на венгерского коробейника, другая отдавала предпочтение немецкому коллекционеру птиц либо кому-то из членов его экспедиции — скорее всего, таксидермисту. Сумрачные тетки в тяжелых ожерельях, в балахонистых платьях, пропахших бараниной и розовым маслом, с отвратительным рвением ухаживали за нами в пору нашего чудовищного младенчества.

В окрестных деревнях скоро прознали о поразительной новости и принялись засылать к нам на двор разного рода

любознательных чужаков. В праздничные дни мы видели, как они карабкаются по склонам нашего холма, будто пилигримы на цветной картинке. Среди них был пастух в семь футов ростом, и лысый человечек в очках, и солдаты, и растущие тени кипарисов. Приходили и дети — во всякое время, — и наши ревнивые няньки пинками гнали их прочь; но почти ежедневно какой-нибудь черноглазый, коротко остриженный отрок в выцветших до голубизны штанах с темными заплатами исхитрялся пролезть сквозь кизил, жимолость и сплетенные стволы иудиных дерев в мощеный дворик со стареньким студеным фонтаном, где под выбеленной стеной тихо сидели, посасывая урюк, малютки Ллойд и Флойд (в то время мы носили иные имена, полные вороньих придыханий, — ну да не важно). Тогда, внезапно, "Ж" сталкивалась с "К", римская двойка с единицей, ножницам являлся нож.

Нельзя, конечно, и сравнивать этот познавательный толчок, каким бы ни был он будоражащим, с эмоциональным ударом, постигшим мою мать (и кстати, сколько чистого блаженства в таком намеренном применении притяжательного в единственном числе!). Мама должна была сознавать, что рожает двойню, но узнав, как она несомненно узнала, что двойня оказалась спряженной, — что испытала она тогда? При той несдержанной, невежественной, неистово говорливой родне, что нас окружала, вопль домочадцев должен был подняться прямо у ее измятого ложа, сразу дав ей понять, что случилась какая-то страшная беда; да можно с уверенностью сказать даже, что в горячке испуга и сострадания сестры показали ей двойное дитя. Я не говорю, что мать не может любить такое сдвоенное существо — и забыть в этой любви о темной росе его неблагого зачатия; я только думаю, что смесь отвращения, жалости и материнской любви оказалась ей не по силам. Обе части двойного комплекта, возникшего перед ее испуганным взором, были здоровыми, миловидными маленькими частями с шелковистым светлым пушком на лиловато-розовых крохотных головках, с хорошо сформированными каучуковыми ручками-ножками, двигавшимися, словно щупальца какого-то диковинного морского животного. Каждая была

явно нормальной, но вместе они образовали чудовище. И впрямь, странно думать, что простая полоска ткани, ломоть плоти размером не более печени ягненка способен превратить радость, гордость, нежность, обожание и благодарность перед Господом в отчаяние и ужас.

В собственном нашем случае все было много проще. Взрослые слишком отличались от нас во всех отношениях, чтобы понуждать к какому-либо сравнению, но первый же сверстник, нас посетивший, явил мне маленькое откровение. Покамест Ллойд безмятежно созерцал пораженного жутью ребенка лет семи или восьми, который глазел на нас из-под горбатого и столь же глазастого инжира, я, помнится, вполне уяснил существенное различие между собой и этим новым лицом. Он отбрасывал на землю короткую синюю тень, я тоже; но в добавление к этому схематичному, плоскому и нестойкому спутнику, которым и он, и я были обязаны солнцу и который покидал нас в пасмурную погоду, я обладал еще одной тенью, осязаемым отражением моего телесного "я", бывшим всегда при мне, всегда слева, тогда как мой гость как-то сумел потерять свою тень или отстегнуть и оставить дома. Соединенные Ллойд и Флойд были нормальны и полноценны, а этот — ни то ни се.

Но может быть, для того чтобы прояснить этот предмет в той полноте, которой он заслуживает, я должен что-то сказать о еще более ранних воспоминаниях. Пожалуй, — если только повзрослевшие чувства не заслонили более ранних, — я мог бы положительно засвидетельствовать воспоминания о легком отвращении. Вследствие нашей передней спаренности мы изначально лежали лицом друг к другу, соединенные общим пупом, и в те первые годы нашего существования мое лицо непрестанно терлось о твердый нос и мокрые губы моего двойника. Естественным следствием этих утомительных соприкасаний стала у нас привычка откидывать головы и отстранять по возможности дальше лица. Значительная гибкость соединявших нас уз позволила нам взаимно принять более или менее боковую позицию, и научившись ходить, мы так и ковыляли бок о бок, что могло представляться требующим гораздо больших усилий, чем оно было на деле, думаю, мы походили на

парочку пьяных гномов, подпиравших один другого. Во сне мы еще долго возвращались в утробную позу; но всякий раз что ее неудобство нас пробуждало, мы вновь с отвращением отвращали лица и разражались сдвоенным ревом.

Я утверждаю, что года в три, в четыре наши тела смутно невзлюбили их неловкое сопряжение, хотя сознания и не задавались вопросом о его нормальности. Затем, прежде чем наши умы уяснили его недостатки, телесная интуиция обнаружила средства умерить их, после чего мы вообще о них не задумывались. Каждое наше движение стало сводиться к благоразумному компромиссу общего с отдельным. Рисунок действий, вызванных той или этой взаимной нуждой, образовывал своего рода серый, гладкотканый, абстрактный фон, по которому отдельный порыв, его или мой, следовал канве более яркой и резкой, но (направляемый, так сказать, изгибами основного узора) никогда не шел поперек общего плетения или же прихоти двойника.

Я сейчас говорю исключительно о нашем детстве, о поре, когда природа еще не могла позволить нам подорвать нашу с трудом завоеванную живучесть каким-то взаимным конфликтом. В поздние годы мне случалось пожалеть, что мы не погибли или не были разделены хирургически еще до того, как миновали эту начальную стадию, на которой только вечноприсущий ритм, подобный дальним ударам тамтама в джунглях общей нервной системы, и отвечал за настройку наших движений. Когда, например, один из нас почти наклонялся, чтобы сорвать цветочек, а другой именно в этот миг тянулся за созревшим инжиром, персональный успех зависел от того, чье именно движение совпадало с сиюминутным биением нашего общего неуимчивого ритма, и тут же с кратким, как при виттовой пляске, содроганьем, прерванный жест одного близнеца утопал и истаивал в обогащенной им зыби завершенного жеста другого. Я говорю "обогащенной", потому что призрак несорванного цветка, казалось, тоже мрел, трепеща между пальцами, охватившими плод.

Могли проходить недели, а то и месяцы, в которые направляющее биение чаще принимало сторону Ллойда, а не мою, потом наступал черед мне оседлать гребень вол-

ны; но я не могу припомнить из нашего детства ни единого случая, когда невезение или успех по этой части возбудили бы в ком-либо из нас негодование или гордыню.

Впрочем, где-то во мне, верно, сидела чувствительная клетка, дивившаяся странной силе, вдруг относившей меня от предмета случайного вожделения и тащившей к иным, нежеланным вещам, которые вталкивались в круг моей воли, вместо того чтобы ждать, пока ее усики сознательно достигнут их и оплетут. Поэтому, следя за тем или этим ребенком, следившим за Ллойдом и мной, я, помнится, решал двойную проблему: во-первых, не больше ли преимуществ в одиночной телесности, нежели в той, которой мы обладаем; и во-вторых, все ли прочие дети — одиночки. Теперь мне приходит в голову, что очень часто проблемы, которые я пытался решать, были двойными: возможно, какие-то помышления Ллойда струйками проникали в мой разум и одна из соединенных проблем принадлежала ему.

Когда алчный дедушка Ахем решился за деньги показывать нас посетителям, в валом повалившей толпе всегда находился мерзавец, желавший послушать, как мы беседуем. Как часто бывает у простоумных людей, ему требовалось, чтобы уши подтвердили то, что видят глаза. Наша родня понукала нас удовлетворять желания этого рода и никак не могла уяснить, что в них такого мучительного. Мы могли бы сослаться на застенчивость, но правда состояла в том, что мы никогда по-настоящему не говорили друг с другом, даже наедине, ибо краткое отрывистое ворчание нечастой укоризны, каким мы обменивались порой (когда, к примеру, один порежет ногу, и только ее забинтуют, как другому приспичит плескаться в ручье), вряд ли могло сойти за беседу. Передачу основных простых ощущений мы осуществляли без слов: то были опавшие листья, плывшие по течению нашего общего кровотока. Мыслям пожиже тоже удавалось кое-как просочиться, и они блуждали между нами. Те, что побогаче, каждый держал при себе, впрочем, и тут случались явления странные. Вот почему я подозреваю, что Ллойд, хоть он и был от природы тише, чем я, боролся с теми же новыми сущностями, что смущали меня. Он многое забыл, когда вырос. Я не забыл ничего.

Публика не только ждала от нас разговоров, ей также было угодно, чтобы мы вместе играли. Остолопы! Их едва карачун не хватал, когда мы принимались сражаться в шашки или в "музлу". Я полагаю, что окажись мы разнополыми близнецами, они вынуждали бы нас при них предаваться кровосмесительству. Но поскольку игры друг с другом были для нас не привычнее разговоров, мы испытывали тайные муки, когда приходилось неуклюже перекидывать мяч на уровне груди или притворяться, будто мы вырываем палку один у другого. Мы срывали бурные аплодисменты, обегая кругом двор и держа руками друг друга за плечи. Мы умели подпрыгивать и кружиться.

Торговец готовыми лекарствами, плешивый малый в нечистой белой косоворотке, немного знавший по-турецки и по-английски, обучил нас нескольким фразам на этих языках; и затем пришлось демонстрировать наши таланты зачарованной публике. Те распаленные лица еще преследуют меня в ночных кошмарах, ибо они являются всякий раз, когда у постановщика моих снов возникает нужда в статистах. Я снова вижу гигантского бронзоликого пастуха в разноцветных лохмотьях, солдат из Караца, одноглазого и горбатого армянина-портного (тоже чудище в своем роде), хихикающих девчонок, вздыхающих старух, детей, молодых людей, одетых "по-западному", — горящие глаза, белые зубы, черные раззявленные рты; и разумеется, дедушку Ахема с носом желтой слоновой кости и в серой шерстяной бороде, он правит представлением или считает засаленные бумажки, облизывая большой-пребольшой палец. Языковед, тот самый, лысый, в вышитой косоворотке, обхаживает одну из моих теток, но сквозь очки в стальной оправе с завистью поглядывает на Ахема.

К девяти годам я совершенно ясно осознал, что мы с Ллойдом — редкостные уродцы. Это знание не возбудило во мне ни особенного восторга, ни особенного стыда, но однажды истеричная стряпуха — усатая женщина, сильно взлюбившая нас и сострадавшая нашей участи, — объявила со страшной божбой, что сию минуту и не сходя с этого места она нас вызволит, развалив надвое блестящим ножом, которым она вдруг замахала по воздуху (дедушка и

один из наших новоприобретенных дядьев быстро ее скрутили), и после этого случая я часто утешался праздной мечтой, воображая себя неведомо как отделенным от бедного Ллойда, неведомо как оставшегося чудищем.

Происшествие с ножом не произвело на меня сильного впечатления, да и, как бы там ни было, тонкости разделения оставались для меня весьма туманными; но я отчетливо представлял, как тают мои оковы и какое за этим следует ощущение легкости и наготы. Я воображал, как перелезаю ограду — с выбеленными черепами домашних скотов на кольях — и спускаюсь к берегу. Я видел, как прыгаю с камня на камень, и ныряю в мерцающее море, и выбираюсь обратно на берег, и лечу вдоль него с другими голыми детьми. Мне это снилось ночами, — как я сбегаю от дедушки, унося с собой игрушку, или котенка, или маленького крабика, прижав его к левому боку. Во сне я встречался с несчастным Ллойдом, он ковылял, безнадежно привязанный к ковыляющему двойнику, а я привольно плясал вокруг и лупил их по согнутым спинам.

Интересно, навещали ль и Ллойда такие видения? Доктора полагали, что мы иногда сливаем во сне наши сознания. Одним голубовато-серым утром он подобрал с земли прутик и нарисовал в пыли трехмачтовый корабль. Чуть раньше, ночью, я видел, как сам рисую такой же в пыли моего сна.

Просторная черная бурка покрывала нам плечи, и когда мы приседали на корточки, все, кроме наших голов и руки Ллойда, скрывалось в ее спадающих складках. Солнце только встало, и резкий мартовский воздух стыл слоями сквозистого льда, по которым пурпурными пятнами плыло кривое иудино дерево в буйном цвету. Длинный белый дом спал за нашими спинами, наполненный жирными женщинами и их дурно пахнущими мужьями. Мы ни о чем не сговаривались, мы даже не взглянули один на другого, просто Ллойд отбросил пруток, обнял меня правой рукой за плечо, как делал, когда хотел, чтобы мы шли побыстрее, и волоча среди мертвых трав край нашего общего одеяния, мы стали спускаться к берегу по дороге, обсаженной кипарисами, и камушки потекли из-под наших ног.

То была первая наша попытка приблизиться к морю, которое виделось нам с вершины холма мягко светящимся вдали и в ленивом безмолвии бьющим о лоснистые скалы. Мне нет нужды напрягать память, чтобы связать это спотыкливое бегство с решительным поворотом в нашей судьбе. За несколько недель до того, в наш двенадцатый день рождения, дедушку Ибрахима осенила мысль отправить нас в обществе новейшего из наших дядьев в полугодовое турне по селам и деревням. Целыми днями они препирались насчет условий, ссорились и разок подрались, и Ахем победил.

Дедушку мы боялись, а дядю Новуса ненавидели. Видимо, мы, на свой туповатый и жалкий манер (ничего не зная о жизни, но смутно сознавая, что дядя Новус намерен надуть дедушку), ощущали необходимость предпринять что-то, что помешает хозяину балагана таскать нас по округе в разъездной тюрьме, будто обезьян или орлов; а может быть, нас просто подталкивала мысль, что перед нами последний шанс насладиться нашей малой свободой и сделать нечто совершенно запретное — выйти за пределы некой ограды, отворить некую калитку.

Эту хлипенькую калитку мы отворили без затруднений; но не сумели снова захлопнуть ее. Грязно-белый ягненок с янтарными глазками и карминовой меткой на жестком и плоском лбу ненадолго увязался за нами, но отстал, заблудившись в дубовой поросли. Чуть ниже, но все еще высоко над долиной нам предстояло пересечь дорогу, охлестнувшую холм и связавшую нашу усадьбу с береговым трактом. Стук копыт и скрежет колес заслышались сверху, и мы повалились в кусты, бурка и все остальное. Когда грохот утих, мы перешли дорогу и стали спускаться по травянистому склону. Серебристое море потихоньку скрывалось за кипарисами и остатками старых каменных стен. Черная бурка становилась тяжелой и жаркой, но мы предпочли оставаться под ее защитой, боясь, что иначе какой-нибудь прохожий может заметить нашу немощь.

Мы вылезли на береговую дорогу в нескольких футах от звучного моря — и тут, под кипарисами, стояла в ожидании знакомая тележка, род двуколки на высоких колесах,

и дядюшка Новус как раз выбирался из кузова. Каверзный, темный, нахрапистый, бесчестный человечишка! Несколькими минутами раньше он углядел нас с одной из галерей дедушкина дома и не смог одолеть искушения выгадать на нашем побеге, чудесным образом позволявшем ему завладеть нами без каких бы то ни было криков и драк. Понося двух пугливых лошадок, он грубо подсадил нас в двуколку. Головы наши он затолкал пониже и пригрозил, что побьет нас, если мы попробуем пикнуть под буркой. Руки Ллойда еще лежали у меня на плечах, но колыханья повозки их скоро стряхнули. Колеса теперь похрустывали и вертелись. Прошло какое-то время, пока мы поняли, что наш возница везет нас вовсе не к дому.

Двадцать лет минуло с того серого весеннего утра, но оно сохранилось в моей памяти лучше многих последующих событий. Снова и снова я просматриваю его, словно фильмовую ленту, — подобно великим актерам, изучающим собственную игру. Подобно им, я озираю все вехи и обстоятельства и случайные мелочи нашего прерванного побега — первоначальную дрожь, калитку, ягненка, скользкий склон под нашими косными стопами. Для вспугнутых нами скворцов мы, наверное, являли редкое зрелище — черная бурка и торчащие из нее две стриженые головки. Головки опасливо вертелись туда-сюда, пока наконец не добрались до прибрежного тракта. Если бы в эту минуту на берег соступил с корабля, вставшего на якорь в заливе, какой-нибудь чужестранный искатель приключений, его, пожалуй, прохватил бы озноб древнего волшебства, столкнись он среди кипарисов и белого камня лицом к лицу с кротким мифологическим чудищем. Может быть, он поклонился бы нам и пролил бы сладкие слезы. Но увы — встретить нас оказалось некому, кроме того нервного вора, нашего озабоченного похитителя, человечка с кукольным личиком в дешевых очках, одно из стекол которых было наспех подлечено пластырем.

Итака, 1950

ЛАНС

1

Имя планеты (если она его уже получила) значения не имеет. При самом великом противостоянии ее может отделять от Земли столько же миль, сколько прошло лет от прошлой пятницы до воздвижения Гималаев, — в миллион раз больше среднего возраста читателя. В телескопическом поле чьей-то фантазии, сквозь призму чьих-либо слез какие угодно ее отличия поразили б не больше особенностей, присущих реальным планетам. Розовый шар, мрамористый от сумрачных пятен, одно из бесчисленных тел, прилежно кружащих в бесконечном и беспричинном величии жидкого космоса.

Положим, что maria (отнюдь не моря) на моей планете, как равно и lacus (отнюдь не озера), тоже обрели имена; и может быть, иные из них не так унылы, как у садовых роз, другие же бессмысленнее фамилий их нарицателей (ибо, обратимся к реальности, астроном по фамилии Землесветов — диво не меньшее, чем энтомолог Гусеницын); но большей частью их имена до того архаичны, что выспренним и темным очарованием могли бы поспорить с прозваниями земель из рыцарских романов.

Точно так, как наш Сосновый Дол, там, внизу, мало чем способен похвастать, кроме обувного заводика по одну сторону шоссе и ржавого ада автомобильного кладбища по другую, точно так и все эти Аркадии, Икарии и Зефирии с планетарных карт вполне могут оказаться мертвыми пустырями, лишенными и молочая, украшения наших свалок. Селенографы это вам подтвердят, ну да у них и линзы получше наших. В данном случае, чем сильнее увеличение, тем более крапчатой выглядит поверхность планеты, как

если б ныряльщик смотрел на нее сквозь полупрозрачную воду. А если кое-какие соединенные оспины вдруг отзовутся узором линий и лунок с доски для китайских шашек, будем считать их геометрической галлюцинацией.

Я не только отказываю слишком определенной планете в какой-либо роли в моем рассказе — роли, какую играет в нем любая из точек (я его вижу как род звездной карты), — я также отказываюсь иметь какое угодно дело с техническими пророчествами из тех, что изрекают ученые — по уверениям репортеров. Этот ракетный рэкет не для меня. Не для меня обещанные Земле маленькие искусственные спутники, взлетные полосы звездных колоссов ("пространщиков") — одна, две, три, четыре, а там и тысячи летающих крепостей с припасами и камбузами, воздвигнутых народами Земли в остервенении соревновательной гонки, поддельной гравитации и свирепо хлопающих флагов.

Вот еще в чем я решительно не вижу проку, так это в возне со специальной оснасткой — герметическими скафандрами, кислородными аппаратами — всем этим скарбом. Подобно старому мистеру Боке, с которым мы вот-вот познакомимся, я с недюжинной изощренностью увиливаю от этих практических материй (так или иначе обреченных иметь нелепо непрактический вид в глазах будущих космических путешественников, таких как единственный сын старика Боке), поскольку чувства, пробуждаемые во мне разного рода приспособлениями, простираются от унылого недоверия до нездоровой дрожи. Лишь героическим усилием воли я заставляю себя выкрутить умершую необъяснимой смертью лампочку и ввернуть другую, которая с мерзкой внезапностью драконьего яйца, выношенного в ладони, вспыхивает мне прямо в лицо.

И наконец, я вполне презираю и отвергаю так называемую "научную фантастику". Я заглянул в нее и нашел, что она так же скучна, как детективные журналы, — то же унылое письмо, беспросветные диалоги и обилие безликого юмора. Клише, разумеется, подгримированы, но в сущности, они одинаковы во всяком дешевом чтиве, где бы ни разворачивался сюжет — в космосе или в гостиной. Они

подобны тем “печеньям-ассорти”, отличающимся только формой и цветом, какими лукавые фабрикаторы завлекают глотающего слюну потребителя в безумный павловский мир, где вариации простых зрительных возбудителей без особых затрат изменяют и постепенно заменяют собою вкус, отправляя его следом за талантом и истиной.

И потому ухмыляются славные малые, глумливо щерятся негодяи и чешут на слэнге обладатели честных сердец. Галактические калифы, астрономические сатрапы — все они лишь подобия бойких рыжих трудяг с самой что ни на есть земной работенкой, чьи улыбчивые морщины иллюстрируют человеческое содержание рассказиков из валяющихся по парикмахерским захватанных журнальчиков. Завоеватели Спики или Денеба, знаменитые сыщики с Девы носят фамилии, начинающиеся на Мак, бесстрастные ученые — непременные Штейны, впрочем, иные из них разделяют с девицами из соседней супергалактики такие абстрактные ярлыки, как Биола или Вэла. Обитатели чуждых планет, “разумные” существа гуманоидной либо мифической выделки, обладают одной примечательной общей чертой: интимное их устройство не описывается никогда. Из высокой приверженности правилам хорошего двуногого тона кентавры не просто носят набедренные повязки, — они их носят на передних ногах.

Пожалуй, этим процесс исключения можно и завершить, — разве что кто-то захочет обсудить проблему времени? И в этом случае я, ради того чтобы сосредоточиться на фигуре молодого Эмери Л. Боке, моего более или менее отдаленного потомка, которому предстоит участие в первой межпланетной экспедиции (что, в сущности говоря, и является единственным скромным допущением моей истории), с радостью передаю право замены претенциозной двойкой или тройкой честной единицы нашего “тысяча девятьсот...” в умелые лапы “Старзана” или иного героя комиксов и атомиксов. Пусть будет 2145 г. от Р. Х. или 200-й от А. А. — мне дела нет. Я ни на чьи законные права посягать не намерен. Исполнение у нас чисто любительское — сборный реквизит, минимум декораций и останки издохшего дикобраза в углу старой риги. Мы все здесь

друзья — Брауны, Бэнсоны, Вайты и Вильсоны, — и вышедший покурить слышит сверчков и собаку с далекой фермы (полает-полает и ждет, и слушает то, чего мы услышать не можем). Летнее небо в беспорядочных звездах. Эмери Ланселот Боке, двадцати одного года, знает о них неизмеримо больше, чем я, пятидесятилетний, испуганный.

2

Ланс высок, худощав, у него мощные сухожилия, зеленоватые вены на загорелых предплечьях и шрам на лбу. Когда он ничем не занят, когда неловко сидит, как сидит сейчас, наклонясь, на краешке низкого кресла, ссутулясь и упираясь локтями в большие колени, он привычно сжимает и разжимает красивые руки, — жест, который я для него позаимствовал у одного его пращура. Выражение серьезности, неуютной сосредоточенности (мышление вообще неуютно, у молодых в особенности) — вот обычное его выражение; впрочем, в настоящую минуту это скорее маска, скрывающая яростную потребность стряхнуть затянувшееся напряжение. Как правило, улыбается он нечасто, да к тому же "улыбка" — слишком гладкое слово для живого и резкого искажения черт, от которого сейчас вдруг освещаются его рот и глаза, чуть приподымаются плечи, сжавшись, застывают подвижные руки и нога легко ударяет в пол. В комнате с ним родители и случайный гость, докучливый дурень, не сознающий, что происходит в печальном доме, — ибо трудную минуту переживает дом в канун баснословного отбытия.

Проходит час. Наконец, гость подбирает с ковра цилиндр и уходит. Ланс остается с родителями наедине, но от этого напряжение лишь возрастает. Мистера Боке я вижу довольно отчетливо. Но как глубоко ни погружаюсь я в мой трудный транс, мне не удается представить миссис Боке хотя бы с какой-то ясностью. Я понимаю, что она сохраняет веселость — пустяковые речи, быстрый трепет ресниц — не столько для сына, сколько для мужа, для его стареющего

сердца, и старый Боке слишком хорошо это знает, ему приходится к собственной страшной тревоге сносить еще и ее натужную беззаботность, и последняя раздражает его сильнее, чем раздражала бы полная и безоговорочная прострация. Все-таки неприятно, что я не могу различить ее черт. Мне только и удалось уловить тающий отблеск света в дымчатых волосах, да и тут я подозреваю вкрадчивое влияние заурядной художественности нынешней фотографии — насколько все-таки легче было писателю в прежние дни, когда воображение не обрамляли бесчисленные видовые пособия, и колонист, глядящий на первый в его жизни гигантский кактус или первую снеговую вершину, не обязательно приводил на ум рекламное объявление производителя автомобильных покрышек.

Что касается мистера Боке, то я, как выясняется, манипулирую чертами старого профессора истории, блестящего медиевиста, чьи белые баки, розовая плешь и черный костюм хорошо известны в одном солнечном кампусе далеко на юге, впрочем, единственное, что он привнес в эту историю (оставляя в стороне легкое сходство с моим давно покойным двоюродным дедом), — это свою допотопную внешность. Вообще говоря, если быть совсем уже честным с собой, нет ничего необычного в попытке придать повадкам и одеждам отдаленного дня (которому выпало попасть в будущее) оттенок старомодности, что-то такое плохо отглаженное, запущенное, запыленное, поскольку слова "допотопный", "не нашего времени" и подобные им в конечном счете одни только и способны выразить и отразить ту странность, которой никакие исследования предугадать не могут. Будущее — это всего лишь прошлое, видимое с другого конца.

В этой обветшалой комнате, в желтоватом свете лампы, Ланс произносит последние слова. Недавно он вывез из Анд, из глухого угла, где взбирался на какой-то еще безымянный пик, двух молодых шиншилл, пепельно-серых, ужасно пушистых грызунов величиною с кролика (Hystricomorpha — "дожделюбивые"), с длинными усиками, округлыми гузнами и с ушами, похожими на лепестки.

Он держит их в доме, в загончике из металлической сетки, и кормит каштанами, пареным рисом, изюмом и — в виде особого лакомства — фиалками или астрами. Он надеется, что осенью они принесут потомство. Теперь он повторяет для матери несколько важных наставлений — следить, чтобы корм у малышей был свеж, а загончик чист, и никогда не забывать о вечернем купанье в пыли — в смеси мелкого песка с толченым мелом, по которой они кувыркаются и скачут с особой охотой. Пока тянется эта беседа, мистер Боке раскуривает и снова раскуривает и в конце концов откладывает трубку. Время от времени старик, с поддельным выражением благодушной рассеянности, производит кое-какие перемещенья и звуки, которые никого не обманывают: он прочищает горло, плетется, сложив за спиною руки, к окну или, не раскрывая рта, принимается мурлыкать что-то немелодичное и, видимо, увлекаемый этим носовым моторчиком, удаляется из гостиной. Но едва он сходит со сцены, как рушится, жутко его сотрясая, продуманная постройка тонкого, замысловатого притворства. В спальне или в ванной он останавливается, словно бы для того, чтобы в жалком одиночестве глотнуть из какой-то припрятанной фляжки, и опять ковыляет назад, пьяный от горя.

Когда он тихо возвращается на сцену, застегивая сюртук и вновь принимаясь мурлыкать, там все остается по-прежнему. Счет теперь идет на минуты. Перед уходом Ланс навещает загончик и оставляет Шина и Шиллу сидящими на корточках, держа в лапках по цветку. Единственное, что я еще знаю об этих последних минутах, — это что фразы вроде "Ты точно взял шелковую рубашку, ее вчера вернули из прачечной?" или "А где лежат новые шлепанцы, ты помнишь?" — исключаются совершенно. Что бы ни брал с собою Ланс, все уже сложено в таинственном, неизъяснимом и совершенно жутком месте, из которого он отбудет при нулевом отсчете времени; ни в чем из нужного нам он не нуждается; налегке, не покрыв головы, он выходит из дому с небрежной легкостью человека, идущего к киоску с газетами — или к славе, ждущей на эшафоте.

3

Земной простор предпочитает прятать. Самое большее, чем делится он со взглядом, — это панорамический вид. Горизонт смыкается за уменьшающимся пешеходом, как опускная дверь в замедленной съемке. Для тех, кто остался, город, лежащий от них на расстоянии дневного пути, незрим, при том что они свободно видят, скажем, лунный амфитеатр и тень, отброшенную его круглой короной. Фокусник, показывающий небесную твердь, работает подвернув рукава, на глазах у маленьких зрителей. Планеты могут скрываться из виду (так затемняет предметы расплывчатое скругление скулы), но они возвращаются, стоит Земле обернуться. Ланс улетел, и уязвимость его молодого тела растет в прямом отношении к пространству, которое он покрывает. Старики Боке смотрят с балкона на бесконечно опасное ночное небо и жгуче завидуют доле рыбацких жен.

Если источники Боке достоверны, "Lanceloz del Lac", сиречь "Ланселот Озерный", впервые встречается в "Roman de la charrete"[1], двенадцатый век, стих 3676-й. Ланс, Ланселин, Ланселотик — прошелестевшие над люлькой ласкательные имена, соленые, влажные звезды. Юные рыцари учатся, подрастая, игре на лире, соколиной и прочей ловитве; Гибельный Лес, Башня Слез, Альдебаран, Бетельгейзе — гром боевых сарацинских кличей. Великолепные подвиги, великолепные воины, сверкающие в страшных созвездиях над балконом Боке: сэр Перикард, Черный рыцарь, и сэр Перимон, Красный рыцарь, и сэр Пертолип, Зеленый рыцарь, и сэр Персиант, Индиговый рыцарь, и грубоватый старик сэр Груммор Грумморсум, вполголоса изрыгающий северные богохульства. Полевой бинокль никуда не годится, карта смялась, размокла и "Да держи ты фонарь как следует" — это к миссис Боке.

Вздохни поглубже. Вглядись еще раз.

Ланселот улетел; надежда повидать его в этой жизни сравнима разве с надеждой свидеться в вечности. Лансело-

[1] "Роман о телеге" (*фр.*).

та изгнали из страны L'Eau Grise[1] (как мы могли бы назвать Великие Озера), ныне он скачет в пыли ночного неба почти с такою же быстротой, с какой наша вселенная (с балконом и черным как смоль садом в оптических пятнах) мчится к Лире короля Артура, туда, где пылает и манит Вега — одно из немногих небесных тел, которые можно определить с помощью этой чертовой карты. Головы Боке кружит звездный туман — серый дым благовоний, безумие, дурнота бесконечности. Но им не по силам оторваться от ночного кошмара космоса, не по силам вернуться в светлую спальню, угол которой виден сквозь стеклянную дверь. И наконец, как крохотный костер, занимается их Планета.

Там, направо, Мост Меча, ведущий к Миру Иному ("dont nus estranges ne retorne"[2]). Ланселот ползет по нему в великой муке, в несказанных страданиях. "Ты не должен входить в теснину, что зовется Тесниной Опасностей". Но другой чародей велит: "Ты должен. Да наберись чувства юмора, оно тебя вывезет из передряг". Отважным старым Боке кажется, будто они разглядели Ланса взбирающимся на кошках по стеклянной скале небес или беззвучно бьющим тропу в рыхлых снегах туманности. Волопас, где-то между лагерем X и лагерем XI, гигантский глетчер, каменистые осыпи и ледопады. Мы вглядываемся в змеевидный маршрут восхождения, кажется, мы различили худощавого Ланса между нескольких обвязанных веревками силуэтов. Упал! Кто это был, он или Денни (молодой биолог, лучший друг Ланса)? Ожидая в темной долине у подножья отвесного неба, мы вспоминаем (миссис Боке яснее, чем муж) те особые имена трещин и ледяных готических построек, которые Ланс в альпийской юности (сейчас он старше несколькими световыми годами) произносил с таким профессиональным пылом: сераки и шрунды, глухие удары лавин; французское эхо и германская ворожба, запанибрата бражничающие, как в средневековых романах.

---

[1] Серая вода (*фр.*).

[2] "Откуда ни один не возвращался" (*фр.*).

Да вот же он! Пересекает распадок между двух звезд, затем очень медленно пытается траверсом пройти стену с таким уклоном и столь неуловимыми зацепками, что при одном воспоминании о шарящих пальцах и скребущих ботинках изнутри поднимается тошнота акрофобии. И сквозь потоки слез старики Боке смотрят, как Ланс отдыхает на скальном карнизе, и снова ползет вверх, и наконец, в пугающей безопасности, стоит с ледорубом и рюкзаком на пике из пиков, и свет окаймляет его острый профиль.

Или он уже направляется вниз? Я думаю так, что вестей от экспедиции не приходит, и старики Боке продолжают свои трогательные бдения. Пока они ждут возвращения сына, каждая тропа, которой он спускается, кажется им сбегающей в бездну их отчаяния. Но может быть, он проскочил те нависшие над пучиной сырые, отвесные плиты, одолел свес и теперь блаженно скользит по крутым небесным снегам?

И однако, поскольку звонок у дверей Боке не звонит в миг логической кульминации воображаемой вереницы шагов (с каким терпением ни замедляем мы их, пока в нашем сознании они подходят все ближе), нам приходится отбрасывать сына назад и заставлять его начинать восхождение заново, а потом отводить его еще дальше, так что он опять попадает в базовый лагерь (там палатки, открытые ретирады, и попрошайки-дети с грязными босыми ногами) — много спустя после того, как в нашем воображении он наклонился, проходя под тюльпанным деревом, чтобы подняться лужайкой к двери и к дверному звонку. Словно утомленный множеством появлений в сознанье родителей, Ланс теперь устало бороздит грязные лужи, лезет по скату горы посреди ландшафта, измученного далекой войной, оскальзываясь и запинаясь о мертвые травы откоса. Осталось немного скучной скальной работы, а там и вершина. Гряда взята. У нас большие потери. Как о них извещают? Телеграммой? Заказным письмом? И кто приводит приговор в исполнение — особый посланник или обыкновенный, бредущий нога за ногу красноносый почтмейстер, всегда немного на взводе (у него свои неприятности)? Распишитесь вот здесь. Большой палец. Маленький крестик.

Карандаш слабоват. Тускло-лиловая древесина. Карандаш верните. Неразборчивый росчерк покачнувшегося несчастья.

Впрочем, никто не пришел. Минул месяц. Шин и Шилла чувствовали себя превосходно и, похоже, очень привязались друг к дружке — спали вместе в ящике, свернувшись в пушистый шар. После многих попыток Ланс обнаружил звук, определенно приятный шиншиллам, — нужно выпучить губы и быстро испустить подряд несколько мягких и влажных "сурпс'ов", — словно через соломинку тянешь со дна последние капли питья. Но родители не умели его издавать, — тон ли был неверен или что-то еще. И такая нестерпимая тишь стояла в комнате Ланса с потрепанными книгами на разнокалиберных белых полках, со старыми теннисными туфлями и относительно новой ракетой в бессмысленно оберегающем ее станке, с пенни на дне одежного шкапа, — все радужно расплывается, но ты подтягиваешь винт, вновь добиваясь резкости. И Боке возвращаются на балкон. Достиг ли он своей цели, и если достиг — видит ли нас?

4

Классический по-смертный упирает локти в украшенную цветами закраину, чтобы рассмотреть свою землю, свою игрушку, волчок, в медленном показе кружащий посреди модельной небесной тверди, каждый штрих на нем так весел и ясен — красочные океаны, молящаяся женщина Балтики, мгновенный снимок грациозных Америк, пойманных в миг цирковой игры на свободной трапеции, и Австралия — будто малютка-Африка, лежащая на боку. Среди моих ровесников есть, наверное, люди, наполовину верящие, что души их с содроганием глянут с Небес и узрят родную планету опоясанной широтами, перетянутой меридианами и, быть может, размеченной жирными, черными, дьявольски искривленными стрелами мировых войн; или, что гораздо приятнее, расстеленной перед их взором вроде картинных карт отпускных Эльдорадо, в одном углу кото-

рых бьет в барабан индеец из резервации, в другом устроилась девушка в шортах, там лезут на горные склоны хвойные конусы, и всюду полно удильщиков.

Я думаю, что в действительности мой юный потомок в первую его ночь снаружи, в воображаемом безмолвии невообразимого мира увидит поверхностные черты нашего шара сквозь глубины его атмосферы, а это значит — сквозь пыль, рассеянные отражения, дымку и разного рода оптические ловушки, так что континенты, если они вообще проглянут в изменчивых облаках, будут скользить мимо в причудливых обличьях, в неизъяснимом мерцании красок, в неузнаваемых очертаниях.

Но это все пустяки. Главная проблема вот в чем: сумеет ли разум исследователя пережить потрясение? Я пытаюсь представить природу этого потрясения с той ясностью, какую допускает душевное здравие. И если даже простое усилие воображения чревато такой ужасной опасностью, как же тогда удастся снести и одолеть этот ужас в реальности?

Прежде всего, Лансу придется столкнуться с атавистическим импульсом. Мифы так прочно укоренились в сияющем небе, что обычный разум норовит увильнуть от затруднительных поисков скрытого за ними далеко не здравого смысла. Должна же быть у бессмертия своя звезда для постоя, если оно желает цвести и ветвиться и расселить тысячи синеперых ангельских птиц, поющих так сладко, как юные евнухи. В глубине человеческого сознания понятие смерти синонимично понятию расставанья с Землей. Убежать ее притяжения — то же самое, что переступить край могилы, и человек, попавший на другую планету, в сущности, не имеет возможности доказать себе самому, что он не умер, — что старый наивный миф не оказался прав.

Меня не заботит тупица, обезьяна бесшерстная обыкновенная, способная переступить через что угодно, — единственное, что она помнит из детства, это мула, который ее укусил, единственное, что предвкушает в будущем, это образ стола и постели. Я думаю о человеке с воображеньем и знаниями, отвага которого безгранична, потому что его любопытство превосходит отвагу. Такого ничем не удер-

жишь. Это тот же curieux[1] стародавних времен, только сложеньем покрепче да сердцем погорячей. И когда дойдет до изученья планет, он первым удовлетворит жгучую потребность потрогать собственными руками, погладить и поглядеть, улыбнуться, принюхаться и еще раз погладить — с той же улыбкой безымянного, стонущего, тающего наслаждения — никем до него не тронутое вещество, из которого состоит небесное тело. Всякий настоящий ученый (не посредственный жулик, разумеется, чьим единственным достоянием является невежество, которое он прячет, словно сладкую кость) должен испытывать это чувственное упоение прямым, божественным знанием. Ему может быть двадцать, может быть восемьдесят пять, но без этой дрожи науки не существует. Ланс из такого теста.

Напрягая фантазию до последних пределов, я вижу, как он борется с ужасом, которого обезьяна и испытать-то не может. Несомненно, Ланс мог высадиться в оранжевом облаке пыли где-нибудь посередине пустыни Тарсис (если это пустыня) или вблизи какого-нибудь пурпурного пруда — Феникса или Оти (если это все же озера). Но с другой стороны... Понимаете, по тому, как происходят такие вещи, что-то наверняка должно разрешиться сразу, страшно и необратимо, иное же будет подступать постепенно и постепенно разгадываться. Когда я был мальчиком...

Когда я был мальчиком, мне — лет в семь или в восемь — часто снился невнятно возвратный сон, который разыгрывался в обстановке, мною так и не узнанной, не определенной сознательно, хоть мне и пришлось повидать немало чужих земель. Пожалуй, я заставлю его послужить мне теперь, чтобы заткнуть зияющую прореху, рваную рану в моем рассказе. Ничего живописного в той обстановке не было, ни страшного, ни даже странного; просто обрывок неуловимого постоянства, представленного обрывком ровной земли и затянутого сверху обрывком безликого облака; иными словами, скудный испод пейзажа вместо его лицевой стороны, — сон досаждал мне тем, что по какой-то причине я не мог обогнуть этот вид, чтобы встретиться

---

[1] Любопытный, любознательный (*фр.*).

с ним на равных. Там в тумане таилась некая масса — кремнистая или иная в этом же роде — угнетающей и совершенно бессмысленной формы, и пока тянулся мой сон, я все наполнял какую-то емкость (передадим ее словом "ведро") формами поменьше (передадим их словом "камушки"), а из носу у меня капала кровь, но я был слишком нетерпелив и взволнован, чтобы им заниматься. И всякий раз в этом сне кто-то вдруг принимался истошно вопить за моей спиной, и я просыпался с таким же воплем, продлевая им анонимный исходный вой с его начальной нотой нарастающего восторга, — но уже безо всякого смысла, содержавшегося в нем, — если в нем вообще содержался смысл. Так вот, относительно Ланса, я склонен предположить, что какое-то сходство с моим сновидением... Но самое забавное, что пока я перечитывал написанное, его основа, фактические воспоминания, расточались — и к настоящей минуте расточились совсем, — мне нечем теперь доказать себе самому, что за описанным стоит какой-либо личный опыт. Я собирался сказать, что, может быть, Ланс и его спутники, когда они достигли своей планеты, испытали нечто схожее с моим сновидением, — впрочем, теперь уж не моим.

5

И они возвратились! Верховой, скок-поскок, мощеной улочкой подлетает под проливным дождем к дому Боке и выкрикивает огромную новость, на минуту приостановясь у калитки под роняющим капли лирным деревом, и Боке вылетают из дома, как гистрикоморфные грызуны. Они возвратились! Пилоты, астрофизики и один из натуралистов (другой, Денни, погиб и оставлен на небе — старый миф отыграл очко).

На шестом этаже провинциальной больницы, тщательно скрываемой от газетчиков, мистеру и миссис Боке говорят, что их мальчик в маленькой комнате для свиданий, вторая направо, и готов их принять; в тоне сообщения слышна почтительная заминка, словно речь идет о короле из вол-

шебной сказки. Войти следует тихо, там все время будет сиделка, миссис Кувер. Нет-нет, с ним все в порядке, заверяют их, — собственно говоря, на той неделе его отпустят домой. Однако, не следует задерживаться дольше, чем на пару минут, и, пожалуйста, никаких расспросов, — просто поболтайте о том о сем. Ну, вы же понимаете. А после скажите, что опять заглянете завтра. Или послезавтра.

Ланс, в сером халате, коротко стриженный, загар сошел, изменился, не изменился, изменился, худой, с кусочками ваты в ноздрях, сидит на краю кушетки, сжав ладони, немного смущенный. Встает, покачнувшись, с лучистой гримасой и садится опять. Миссис Кувер, сиделка с голубыми глазами, без подбородка.

Выдержанное молчание. Затем Ланс:

— Там было чудесно. Просто чудесно. Я собираюсь вернуться туда в ноябре.

Пауза.

— Похоже, Шилла на сносях, — говорит мистер Боке.

Быстрая улыбка, легкий поклон удовлетворенной признательности. Затем повествовательным тоном:

— Je vais dire ça en français. Nous venions d'arriver...[1]

— Покажите им письмо Президента, — встревает миссис Кувер.

— Мы только что высадились, — продолжает Ланс, — Денни был еще жив, и первое, что мы с ним увидели...

Неожиданно всполошившись, сиделка Кувер прерывает его:

— Нет, Ланс, нет. Нет, мадам, прошу вас. Никаких контактов, приказ доктора, прошу вас.

Теплый висок, холодное ухо.

Мистера и миссис Боке выпроваживают. Они торопливо идут — хотя торопиться некуда, куда теперь торопиться? — по коридору, вдоль убогих охряно-оливковых стен с коричневой полосой между охряным верхом и оливковым низом, ведущей к дряхлому лифту. Поднимается вверх (мельком — старец в кресле-каталке). В ноябре возвращается (Лансе-

---

[1] Я расскажу по-французски. Мы только что прибыли... (*фр.*)

лин). Опускается вниз (старики Боке). Там, в лифте, две улыбающиеся женщины и объект их веселой симпатии, девчушка с младенцем, бок о бок с седым, согбенным, хмурым лифтером, который стоит, повернувшись ко всем спиной.

Итака, 1952

СЕСТРЫ ВЭЙН

1

Я, верно, так и не узнал бы о смерти Цинтии, не столкнись я той ночью с Д., след которого также утратил в последние четыре, примерно, года; а встреча с Д. не состоялась бы, не ввяжись я в череду довольно пустых изысканий.

Тот день, покаянное воскресенье после недельной метели, был частью жемчужен, частью навозен. Посреди обычной моей послеполуденной прогулки по холмистому городку, притулившемуся к женскому колледжу, в котором я преподавал французскую литературу, я остановился, чтобы полюбоваться семейством брильянтовых сосулек, кап-кап-капающих со стрех каркасного дома. Так ясно очерчены были их заостренные тени на белых досках за ними, что я решил, будто смогу увидать и тени слетающих капель. Но не увидел. Кровля ли слишком выдавалась вперед, или, может быть, угол зрения оказался неверен, или, наконец, мне не удавалось поймать глазами ту сосульку, с которой срывалась та капля. В капели был ритм, переменность, дразнящая, словно фокус с монеткой. В итоге я прошел несколько кварталов, изучая угловые дома, и оказался на Келли-роуд, прямо у дома, в котором жил Д. в бытность его преподавателем здешнего колледжа. И тут, взглянув на кровлю соседнего гаража и выбрав из полного комплекта сквозистых сталактитов, подостланных синими силуэтами, один, я был наконец вознагражден видом того, что можно описать как точку под восклицательным знаком, покидающую привычное место, чтобы очень быстро скользнуть вниз — на долю секунды быстрей талой капли, с которой она состязалась. Этот сдвоенный посверк утешил меня,

но полностью не насытил, — вернее, он лишь обострил аппетит к иным лакомым крохам света и тени, и я отправился дальше в состоянии редкой зоркости, казалось преобразующей все мое существо в большое глазное яблоко, вращающееся во впадине мира.

Сквозь павлиные ресницы я видел слепящие алмазные отражения низкого солнца на круглой спине запаркованного автомобиля. Оттепель словно губкой омывала предметы, возвращая им живой живописный смысл. Вода наплывающими друг на друга фестонами стекала по скату улицы, изящно сворачивая в другую. Узкие пролеты между домов с их еле внятной нотой мишурного обаяния раскрывались в сокровищницы кирпича и порфира. Я впервые заметил жалкие желобки — последнее эхо ложбин на колонных столбах, — украшающие мусорный бак, и увидел еще зыбь на его крышке — круги, расходящиеся от фантастически давнего центра. Вздыбленные, темноголовые груды мертвого снега (оставленного в прошлую пятницу ножами бульдозера) выстроились, вроде недоверщенных пингвинов, вдоль бордюров, над сверкливым трепетом оживленных канав.

Я шел, поднимаясь и опускаясь, шел прямиком в чинно умиравшее небо, и в конце концов цепочка явлений, наблюденных и наблюдающих, привела меня, к часу моего обычного ужина, на улицу, так удаленную от места, где я обычно ужинаю, что я решился испробовать ресторан, стоящий на кромке города. Когда я вышел оттуда, уже без звуков и церемоний упала ночь. Долговязый призрак, продолговатая тень счетчика автостоянки отливала странной рыжиной на влажном снегу; я приписал ее смугло-красному свету ресторанной вывески над тротуаром; и именно тогда, — я медленно прохаживался, устало гадая, повезет ли мне на обратном пути настолько, чтобы встретить тот же оттенок в неоновой синеве, — именно тогда около меня с хрустом остановился автомобиль и Д. выбрался из него с восклицаньем поддельной радости.

Он проезжал по пути из Олбани в Бостон — город, в котором когда-то жил, и не впервые в жизни я испытал укол чужеродных чувств, за которым следовал приступ личного раздражения против проезжих, ничего, похоже,

не ощущающих при посещении мест, в которых каждый шаг должен бередить им душу стенаниями и корчами воспоминаний. Он затолкал меня обратно в бар, только что мной оставленный, и за обменом обычными бодрыми плоскостями наступила неизбежная пустота, которую он заполнил первыми пришедшими в голову словами:

— Кстати, никогда не подумал бы, что у Цинтии Вэйн не в порядке сердце. Мой адвокат сказал, что она умерла на прошлой неделе.

2

Он был еще молод, стремителен, изворотлив, еще женат на нежной, замечательно хорошенькой женщине, никогда ничего не узнавшей и не заподозрившей о его разрушительном романе с неуравновешенной младшей сестрой Цинтии, как и девушка эта ничего не узнала о моем разговоре с Цинтией, неожиданно вызвавшей меня в Бостон и заставившей поклясться, что я поговорю с Д. и "вышвырну" его, если он немедленно не перестанет встречаться с Сибил — или не разведется с женой (которую она, между прочим, воспринимала сквозь призму сумасбродных речей Сибил как пугало и мегеру). Я немедля припер его к стенке. Он сказал, что беспокоиться не о чем, — так и так он решил покончить с колледжем и переехать с женой в Олбани, чтобы работать в отцовской фирме; и все это дело, угрожавшее превратиться в одну из тех безнадежно запутанных историй, что тянутся годы и годы, а за ними, немного поодаль, тянутся стайки благонамеренных друзей, бесконечно обсуждающих ее с соблюдением полной секретности — и даже возводящих на чужом злополучии, как на фундаменте, здание новой близости, — дело это пришло к внезапному концу.

Помню, как на следующий день, в самый канун самоубийства Сибил, я сидел за столом, стоявшим на возвышении в большой классной комнате, где происходили зимние испытания по французской литературе. Сибил пришла на высоких каблуках, с чемоданчиком, бросила его в угол, где

уже валялось несколько сумок, легко поведя худыми плечами, стряхнула с них шубку, сложив, примостила ее на чемодан и вместе с двумя-тремя девушками подошла к моему столу — узнать, когда я смогу прислать им работы с оценками. Мне потребуется неделя, считая от завтра, сказал я, чтобы все прочитать. Помню еще, я гадал, сообщил ли ей уже Д. о своем решении, и испытывал острую жалость к прилежной маленькой студентке, пока на протяжении ста пятидесяти минут мои глаза все обращались к ней, такой по-детски хрупкой в облегающем сером платье, и разглядывали старательно завитые темные волосы, мелкую шляпку с меленькими цветочками и стекловидной вуалькой, какие носили в тот сезон, и под ней — мелкое личико, на кубистский пошиб изломанное шрамами, оставленными кожной болезнью и трогательно замаскированными искусственным загаром, ужесточавшим ее черты, очарованью которых она еще повредила, раскрасив все, что можно раскрасить, так что бледные десны между вишенно-красными потрескавшимися губами и разжиженная чернильная синева глаз под утемненными веками только и остались просветами в ее красоту.

Назавтра, по алфавиту разложив уродливые тетради, я погрузился в хаос почерков и преждевременно добрался до Валевской и Вэйн, чьи тетрадки невесть почему поместил не туда, куда следовало. Рука первой приукрасилась по случаю некоторым подобием удобочитаемости, что до работы Сибил, в ней, как обычно, сочетались почерки нескольких демонов. Она начала с очень бледного, очень жесткого карандаша, заметно теснившего чистый испод листа, но мало что оставлявшего на его лицевой стороне. По счастью, кончик карандаша скоро сломался, она продолжала писать другим грифелем, потемнее, и он мало-помалу сообщал расплывчатую полноту линиям, напоминавшим набросок углем, к которому она, мусоля тупой конец, добавляла следы губной помады. Ее работа, хоть и оказавшаяся еще хуже, чем я ожидал, несла все приметы своего рода отчаявшейся старательности — подчеркиванья, перестановки, никчемные сноски, как если б она желала

покончить дело по возможности самым добропорядочным образом. В конце она приписала, заняв у Мери Валевской самопишущее перо: "Cette examain est finie ainsi que ma vie. Adieu, jeunes filles! Пожалуйста, Monsieur le Professeur, свяжитесь с ma soeur[1] и скажите ей, что Смерть не лучше двойки с минусом, но определенно лучше, чем Жизнь минус Д.".

Ни минуты не тратя, я позвонил Цинтии, и она сообщила, что все кончено — все было кончено еще в восемь утра, — и попросила привезти ей записку, и когда я привез, просияла сквозь слезы в гордом восхищении тем, какое причудливое применение ("Это так на нее похоже!") отыскала Сибил для экзамена по французской литературе. Она мигом соорудила два хайбола, не расставаясь с тетрадкой Сибил, — уже обрызганной содовой и слезами, — и продолжала изучать предсмертное послание, что побудило меня указать ей на имеющиеся в нем грамматические ошибки и объяснить, как приходится переводить в американских колледжах слово "девушка", дабы не заставлять студентов слепо толочься вокруг французского эквивалента "девки", а то и чего похуже. Это довольно безвкусное суесловие доставляло Цинтии огромное удовольствие, когда она, задыхаясь, выныривала из-под вздувающейся поверхности горя. А затем, держа мягкую тетрадку так, словно та была пропуском в нечаянный Элизиум (где карандаши не ломаются, а мечтательная молодая красавица с безукоризненной кожей навивает локон на мечтательный пальчик, размышляя над какой-то небесной экзаменационной работой), Цинтия повела меня наверх, в мозгловатую спальню, просто чтобы показать мне, как если б я был полицейским или участливым соседом-ирландцем, два пустых пузырька от таблеток и скомканную постель, откуда уже убрали нежное, ненужное тело, которое Д., должно быть, знал до последней бархатной малости.

---

[1] Экзамен кончается и с ним моя жизнь. Прощайте, девушки в цвету! Пожалуйста, мсье профессор, свяжитесь с моей сестрой... (*неправ. фр.*)

3

Через четыре, примерно, месяца после смерти ее сестры я стал довольно часто видеться с Цинтией. Ко времени, когда я приехал в Нью-Йорк ради кое-каких каникулярных исследований в Публичной библиотеке, она также перебралась в этот город и там по какой-то чудной причине (находившейся, полагаю, в неопределенной связи с ее артистическими устремлениями) сняла в самых низших разрядах шкалы городских поперечных улиц то, что люди, не ведающие гусиной кожи, называют "квартирой без горячей воды". Меня привлекали в Цинтии не повадки, которые я находил отталкивающе жизнерадостными, и не внешность, иным мужчинам казавшаяся сногсшибательной. У нее были широко посаженные глаза, очень похожие на сестрины, — открытой, отчаянной синевы, с радиально расставленными темными точками. Промежуток между густых черных бровей вечно лоснился, как лоснились и мясистые закрутки ноздрей. Грубая ткань кожи казалась почти мужской, и в ослепительном ламповом свете ее мастерской различались поры на тридцатидвухлетнем лице, которое таращилось на вас так, словно оно принадлежало какой-то аквариумной твари. Косметикой Цинтия пользовалась так же рьяно, как и меньшая сестра, но с добавочной неопрятностью, так что помада частью оседала на крупных передних зубах. Она была симпатично смугла, носила не слишком безвкусную смесь довольно казистых разнородных одежд и обладала так называемой хорошей фигурой; но все в ней было на удивленье неряшливо и отзывалось во мне смутными ассоциациями с левыми восторгами в политике и "передовыми" банальностями в искусстве, хотя на деле ее не увлекали ни те ни другие. Волосы, завитые, разделенные пробором и собранные в пучок, производили бы странно похоронное впечатление, если бы не поросшая мягким домашним пушком беззащитная шея. Ногти были кричаще накрашены, но обкусаны и нечисты. В любовниках у нее состояли молодой бессловесный фотограф с внезапным смешком и двое мужчин постарше, братья, владевшие маленькой печатней по другую сторону улицы.

Я дивился их вкусам всякий раз что с тайным содроганием замечал спутанную штриховку темных волос, которая с ученой четкостью придавленного стеклом препарата проступала на бледных голенях под нейлоном чулок, или ощущая при каждом ее движении вяловатый, хлевный, не особенно явственный, но вездесущий и угнетающий запашок, источаемый из-под выдохшихся духов и помад ее редко омываемой плотью.

Ее отец спустил большую часть весьма приличного семейного состояния, в жилах первого мужа матери текла славянская кровь, но в прочем Цинтия Вэйн принадлежала к хорошей, почтенной семье. Насколько известно, род ее восходил к королям и волхвам, ко мгле островов, лежащих на самом краю земли. Перенесенные в мир поновее, в ландшафт обреченных на гибель, прекрасных, роняющих листья деревьев, пращуры ее поначалу составляли лишь горстку фермеров, белую церковку, оттененную черной грозой, а после — внушительную толпу горожан, погруженных в меркантильные домогательства, давших, впрочем, и немало ученых людей, таких, как доктор Джонатан Вэйн (1780—1839), человек сухопарый и скучный, погибший при пожаре на пароходе "Лексингтон" и ставший впоследствии завсегдатаем вертлявого столика Цинтии. Меня всегда подмывало поставить генеалогию на голову, и тут я имею возможность проделать это, ибо лишь последний из отпрысков рода, Цинтия, и одна только Цинтия, сообщала династии Вэйнов хоть какую-то значимость. Я разумею, конечно, ее артистический дар, ее пленительные, радостные, но не очень известные полотна, от случая к случаю покупавшиеся друзьями ее друзей, — мне бы очень хотелось узнать, куда подевались теперь, когда она умерла, те правдивые, поэтичные картины, что озаряли ее гостиную, — волшебно подробные изображения металлических предметов и мой любимый "Вид сквозь ветровое стекло" — местами покрытое изморозью, со сверкающей струйкой (стекающей с воображаемой крыши машины) поперек еще прозрачной части, и за всем этим — сапфировое пламя небес и зеленая с белым ель.

4

Цинтии казалось, что покойная сестра на нее сердита, — ибо уже обнаружила, что мы с Цинтией составили заговор с целью разрушить ее роман; и потому, желая обезоружить ее тень, Цинтия прибегнула к жертвенным приношениям довольно примитивного свойства (куда, впрочем, примешалось нечто от юмора, свойственного Сибил) и принялась через нарочито неправильные промежутки времени посылать на служебный адрес Д. разные пустяки — сделанные при плохом освещении снимки могилы Сибил, отрезанные пряди своих волос, неотличимых от сестриных, разрезную карту Новой Англии с чернильным крестиком на полпути между двумя целомудренными городками, отмечающим место, где Д. и Сибил остановились двадцать третьего октября, средь бела дня, в снисходительном мотеле под сенью красно-бурого леса; и дважды — чучела скунсов.

Говорунья скорей многословная, чем обстоятельная, она никак не могла описать во всей полноте теорию вмешательства аур, неведомо как ею разработанную. Ничего особенно нового в основаниях ее личных верований не содержалось, поскольку они предполагали вполне заурядную потусторонность, безмолвный соляриум бессмертных духов (сшитый внакрой со смертным предместьем), главное развлеченье которых состояло в том, чтобы периодически виснуть над душой у здравствующих друзей. Интерес представлял удивительный практический выверт, сообщаемый Цинтией ее ручной метафизике. Она питала уверенность, что на ее существование влияет множество мертвых друзей, каждый из которых по очереди правит ее судьбой, совершенно так же, как если б она была беспризорным котенком, которого походя подбирает школьница и прижимает к щеке, и вновь осторожно спускает на землю у какой-нибудь пригородной ограды, — а там его гладит новый прохожий или уносит в страну дверей радушная женщина.

На несколько часов или на несколько дней — кряду или неправильной чередой возвратов, растянутой на месяцы, а то и годы, — все, что случалось с Цинтией после смерти

определенного человека, приобретало, как уверяла она, его настроение и повадку. Событие могло оказаться чрезвычайным, переменяющим целую жизнь, — или цепочкой пустых происшествий, едва проступавших на фоне обычного дня, а затем выцветавших в еще менее уловимые пустяки по мере обветшания ауры. Влияние могло оказаться добрым или дурным, важнее всего было то, что для него отыскивался источник. Она говорила, что это похоже на прогулку по душе человека. Я пробовал возражать, говоря, что не всегда же ей может даваться определенье источника, потому что не всякий обладает различимой душой; что существуют анонимные письма и рождественские подарки, которые может прислать кто угодно; что, в сущности, и "обычный день", как она его называет, сам может быть слабым раствором перемешанных аур или временем, когда на дежурство заступает неинтересный ангел-хранитель. И как насчет Бога? Люди, которые на земле с возмущением отвергнут любого всевластного диктатора, не ищут ли себе такого же в небесах? А войны? Что за жуткая мысль — о мертвых солдатах, продолжающих биться с живыми, или об армиях призраков, норовящих одолеть одна другую, вторгаясь в жизни парализованных стариков.

Но Цинтия оставалась недосягаемой для обобщений, так же как и для логики. "А, это Поль", — говорила она, когда перекипал и принимался плеваться суп, или: "Не иначе как Бетти Браун померла, добрая душа", — когда выигрывала в благотворительной лотерее очень хороший и действительно нужный ей пылесос. И с Джеймсовыми отступлениями, озлоблявшими мой французский рассудок, она углублялась в те времена, когда Бетти и Поль еще не ушли из жизни, и рассказывала об обильных и исполненных лучших намерений, но совершенно неприемлемых подарках, начиная со старого кошелька с чеком на три доллара внутри, который она подняла на улице и, конечно, вернула (упомянутой Бетти Браун, — это первое ее появление, — увечной цветной женщине, едва способной ходить), и кончая оскорбительным предложением ее старого ухажера (появляется Поль) нарисовать за разумное вознаграждение "взаправдашные" изображения его семейства и

дома, — все это последовало за кончиной некой миссис Пейдж, доброй, но ограниченной старушки, с самого детства Цинтии изводившей ее житейскими наставлениями.

Личность Сибил, говорила она, по краям была радужной, как будто немного не в фокусе. Она говорила, что, знай я Сибил получше, я сразу бы понял, насколько сибилоподобна аура мелких событий, которые после самоубийства сестры, словно накатывая одно за другим, заполнили ее, Цинтии, жизнь. Еще с той поры, как они остались без матери, им хотелось избавиться от дома в Бостоне и перебраться в Нью-Йорк, где, как они полагали, картины Цинтии найдут более широкое признание; но старый дом цеплялся за них всеми плюшевыми щупальцами. Умершая Сибил, однако ж, принялась отдирать дом от его окружения, что роковым образом сказалось на чувстве, которое он внушал. Прямо через узкую улицу народилось громогласное, уродливое, все в помостьях строение. Чета привычных тополей погибла той весной, обратясь в белесые скелеты. Явились рабочие и взломали прекрасную, старую, теплых тонов мостовую, приобретавшую влажными апрельскими днями особый фиалковый отсвет и так памятно отзывавшуюся на утренние шаги направлявшегося в музей мистера Левера, который, в шестьдесят удалившись от дел, целую четверть века посвятил исключительно изученью улиток.

Кстати о стариках, — тут стоит добавить, что порой такие посмертные знамения и вмешательства отзывались пародией. Цинтия дружила с чудаковатым библиотекарем по имени Порлок, который в последние годы своей пыльной жизни обшаривал старые книги в поисках чудотворных опечаток, таких, например, как замена второй “h” в слове “hither”[1] на “l”. Его, в противность Цинтии, туманные пророчества не волновали, — ему нужен был сам уродец, выдурь в обличии выбора, порок, глядящий пророком; и Цинтия, куда более извращенная любительница ошибочно или беззаконно соединенных слов, каламбуров, логогрифов и прочего, помогала старому маниаку в розысках, которые в свете приведенного ею примера поразили меня как ста-

[1] Сюда, ближайший во времени (*англ.*).

тистически несосветимые. Как бы там ни было, рассказывала она, на третий день после его смерти она читала журнал и как раз натолкнулась на цитату из бессмертной поэмы (которую она, вместе с иными доверчивыми читателями, почитала и в самом деле сочиненной во сне), когда ее осенило, что "Alph" — это пророческая череда начальных букв имени Анна Ливия Плюрабель (еще один священный поток, бегущий сквозь или, вернее, вокруг еще одного поддельного сна), причем добавочное "h" скромно обозначает — вроде приватного указателя — то самое слово, что так завораживало бедного мистера Порлока. Жаль, что мне никак не удается припомнить того романа или рассказа (по-моему, кого-то из современных писателей), в котором первые буквы слов в последнем абзаце без ведома автора образуют, как обнаружила Цинтия, весточку от его покойницы-матери.

5

С сожалением должен отметить, что не довольствуясь этими изящными выдумками, Цинтия выказывала смешную привязанность к спиритизму. Я избегал ходить с нею на посиделки с участием платных медиумов, слишком много зная о них из других источников. Я согласился, впрочем, присутствовать на маленьких фарсах, на скорую руку разыгрываемых Цинтией и двумя ее друзьями, непроницаемыми джентльменами из печатного заведения. То были приземистые, вежливые, пожилые мужички, производившие жутковатое впечатление, но я уверил себя, что обоим присущи незаурядные ум и культура. Мы усаживались за легкий столик и едва успевали уложить на него кончики пальцев, как он принимался трястись и потрескивать. Я имел удовольствие общаться с самыми разными духами, которые с величайшей готовностью отстукивали свои сообщения, впрочем отказываясь прояснить то, что мне не удавалось вполне разобрать. Являлся Оскар Уайльд и на беглом и сорном французском с обычными англицизмами темно обвинял покойных родителей Цинтии в чем-то

приобретшем в моей записи вид "плагиатизма". Напористый призрак снабдил нас непрошенными сведениями о том, что он, Джон Мур, и брат его Билл были шахтерами в Колорадо и погибли в завале на "Коронованной Красотке" в январе 1883 года. Фредерик Майерс, тертый калач, отбарабанил стишок (странно напомнивший собственные творения Цинтии, сочиняемые ею по разным случаям), в частности, в моих заметках содержится следующее:

Надувательство иль точно
Свет? — Изъяна не лишен,
Он исправит нрав порочный
И развеет скорбный сон.

Наконец с великим стуком и разнообразными потрясениями и переплясами стола наше скромное общество посетил Лев Толстой и, в ответ на просьбу удостоверить себя описаньем каких-либо подробностей его земного жилища, пустился в сложное описание чего-то, видимо, бывшего образцом русского деревянного зодчества ("фигуры на досках — мужик, лошадь, петух, мужик, лошадь, петух"), — все это было тяжело записать, трудновато понять и невозможно проверить.

Я участвовал еще в двух или в трех заседаниях, и они оказались даже глупее; должен, однако, признаться, что я предпочитал доставляемое ими ребяческое развлечение и сидр, который мы на них пили (Пончик и Пеньчик в рот не брали спиртного), ужасным домашним приемам Цинтии.

Она устраивала их по соседству, в симпатичной квартире Уилеров, — выдумка, милая ее центробежной натуре, да к тому же собственная ее гостиная всегда походила на замызганную старую палитру. Следуя варварскому, негигиеничному, прелюбодейскому обычаю, тихий, лысоватый Боб Уилер стаскивал еще тепленькие снутри гостевые пальто в опрятное святилище спальни и кучей валил их на супружескую кровать. Он же смешивал напитки, разносимые молодым фотографом, пока Цинтия с миссис Уилер готовили бутерброды.

Припозднившийся гость попадал в толпу громогласных людей, бессмысленно скученных в синевато-дымном пространстве меж двух зеркал, обожравшихся отражений. Поскольку Цинтия, как я понимаю, желала оставаться самой молодой из присутствующих, возраст женщин, приглашаемых ею, замужних и одиноких, исчислялся в лучшем случае сомнительными сорока; некоторые из них привозили из дому в темных такси нетронутые остатки красоты, которые, впрочем, утрачивались по мере развития вечеринки. Что меня всегда поражало, так это способность заядлых воскресных бражников находить почти сразу — методом чисто эмпирическим, но очень точным — общий знаменатель опьянения, которого всякий из них старательно придерживался, прежде чем опуститься, всем сразу, на следующий уровень. Сочное дружелюбье матрон окрашивалось в мальчишеские тона, а застылые, вовнутрь обращенные взгляды благодушно надрызгавшихся мужчин отдавали святотатственной пародией на беременность. Хотя кое-кто из гостей имел то или иное отношение к искусству, здесь не бывало ни вдохновенных бесед, ни подпертых ладонями и увитых венками голов, ни, разумеется, дев-флейтисток. Занимая удобный наблюдательный пост где-нибудь на бледном ковре, на котором она, в позе выбравшейся на отмель русалки, сидела с одним-двумя мужчинами помоложе, Цинтия, с лицом, глянцевитым от пленки лучистого пота, привставала на колени и, протянув руку с блюдцем, полным орехов, твердо стукала другой по мускулистой ноге Кочрана или Коркорана, торговца картинами, угнездившегося на жемчужно-серой тахте между двух заалевших, радостно растрепанных дам.

На поздней стадии вечеринки случались взрывы более разгульного веселья. Коркоран или Коранский цапал Цинтию или иную проходившую мимо даму за плечо, уволакивал ее в уголок и там, похохатывая, обрушивал на нее смесь самодельных шуточек и слухов. Погодя она вырывалась, тряся головой и смеясь. А еще позже наступала пора братания полов, шутливых примирений, голой мясистой руки, обвивавшей чужого мужа (что стоял навытяжку посредине плывущей комнаты), или внезапной вспышки кокетливого

гнева, или неуклюжих приставаний, — и тихой полуулыбки Боба Уилера, подбиравшего стаканы, которые, словно грибы, прорастали под сенью кресел.

После одной такой вечеринки я написал Цинтии совершенно безобидное и в целом благонамеренное письмо, содержавшее латинскую шутку по адресу кое-кого из ее гостей. Я также извинился за то, что не притронулся к ее виски, пояснив, что, будучи французом, предпочитаю виноград ячменю. Несколько дней спустя, на ступенях Публичной библиотеки, я повстречал ее, раскрывавшую зонт в раздробленном солнечном свете, под слабыми брызгами из случайного облака, и боровшуюся с четой зажатых под мышкой книг (от которых я ее ненадолго избавил), — "Шаги на границе Мира Иного" Роберта Дейла Оуэна и что-то насчет "Спиритизма и христианства"; и вдруг, безо всякого повода с моей стороны, она обрушилась на меня с грубой горячностью и в ядовитых выражениях объявила — сквозь грушевидные капли редкого дождичка, — что я сноб и педант, что я вижу в людях одни только жесты и маски, что Коркоран спас в двух океанах двух утопающих, — по неуместному совпадению оба звались Коркоранами, — что маленькая дочка горластой и хриплой Джоан Уинтер обречена совершенно ослепнуть через несколько месяцев и что женщина в зеленом и с веснущатой грудью, относительно которой я как-то там непочтительно высказался, написала в 1932 году национальный бестселлер. Непостижимая Цинтия! Мне говорили, что она бывает неожиданно и страшно груба с людьми, которых уважает и любит, но всему должна быть граница, и поскольку я к тому времени достаточно изучил ее интересные ауры и прочие виды и иды, я решил насовсем раззнакомиться с ней.

6

В тот вечер, когда Д. сказал мне о смерти Цинтии, я лишь около полуночи вернулся в двухэтажный дом, который делил, по горизонтали, с вдовой отставного профессора. Достигнув крыльца, я с опасливостью одиночки обозрел

две разновидности темноты в двух шеренгах окон: темноты отсутствия и темноты сна.

С первой я еще мог что-то поделать, но воспроизвести вторую оказалось мне не по силам. Кровать не давала ощущения безопасности, ее пружины лишь заставляли вздрагивать мои нервы. Я нырнул в шекспировские сонеты — и вскоре заметил, что идиотически перебираю первые буквы их строк, пытаясь понять, какие сакраментальные слова можно из них сложить. Я отыскал FATE[1] (LXXXV), ATOM (XCXXVIII) и дважды TAFT (LXXXVIII, CXXXILIII). Время от времени я озирался, дабы выяснить, что поделывают вещи в комнате. Странно подумать, если вдруг повалятся бомбы, я испытаю немногим больше, чем возбуждение игрока (с немалой примесью простецкого облегчения), но при этом сердце мое едва не выпрыгивает из груди, стоит какому-то подозрительно напряженному на вид пузырьку вон на той полке на долю дюйма сдвинуться вбок. Тишина тоже была подозрительно плотной, как бы намеренно образующей черный задник для нервных подскоков, вызываемых всяким мелким звуком неведомого происхождения. Движение стихло. Тщетно я молился, чтобы по Перкинс-стрит простонал грузовик. Женщина сверху, доводившая меня до безумия ухающим топом, казалось порождаемым каменноногим чудовищем (на деле, в дневном существовании, она была унылым и утлым созданием, похожим на мумию морской свинки), теперь заслужила бы мое благословение, если бы потащилась в уборную. Выключив свет, я несколько раз прокашлялся, дабы было кому ответить хотя бы за этот звук. Я мысленно уцепился за далекий автомобиль, но он стряхнул меня раньше, чем мне удалось задремать. Наконец в корзине для бумаг занялось и затихло легкое шебуршение (вызванное, как я надеялся, оторванным и смятым листком бумаги, раскрывающимся, словно убогий, упорный ночной цветок), — и столик при постели отозвался тихим щелчком. Вполне в духе Цинтии было б затеять прямо сейчас дешевое представление на манер полтергейста.

---

[1] Рок, судьба (*англ.*).

Я решил сразиться с Цинтией. Мысленно я обозрел современную эру перестуков и призраков, начиная с колотьбы 1848 года в деревушке Хайдесвилль, штат Нью-Йорк, и кончая гротесками в Кембридже, Массачусетс; я припомнил щиколки и иные анатомические кастаньеты сестер Фокс (описанные в сказаниях Университета Буффало); таинственную одинаковость нежных подростков в холодном Эпворте или Тедворте, излучающих такие же помехи, как в древнем Перу; торжественные викторианские оргии с ниспадающими розами, с аккордеонами, растянутыми силой священной музыки; профессиональных шарлатанов, отрыгивающих мокрую марлю; мистера Дункана, достойного мужа женщины-медиума, который, когда его попросили позволить себя обыскать, отказал на том основании, что у него испачканное исподнее; старого Альфреда Русселя Уоллеса, наивного натуралиста, не желающего поверить, что белая фигура, стоящая перед ним босиком и без дырок в мочках ушей посреди частного пандемониума в Бостоне, вполне может быть чопорной мисс Кук, которую он только что видел спящей за занавеской в ее углу — всю в черном, в зашнурованных башмаках и при сережках; еще двух исследователей, маленьких, щуплых, но достаточно толковых и предприимчивых, руками и ногами вцепившихся в Эусапию, женщину крупную, дебелую, немолодую, провонявшую чесноком и все же сумевшую их облапошить; и скептичного, смущенного фокусника, которого "контролер" очаровательной юной Марджери наставляет, чтобы он не плутал в складках халата, а продвигался левым чулком вверх, пока не достигнет голого бедра, — на теплой коже которого он обнаружил "телепластическую" массу, на ощупь чрезвычайно схожую с холодной сырой печенкой.

7

Я воззвал к плоти и к растленности плоти, дабы оспорить и оборотъ возможную инерцию жизни бесплотной. Увы, эти заклинания лишь обострили мой страх перед

призраком Цинтии. Заря принесла атавистическое упокоение, и когда я скользнул в сон, солнце сквозь коричневые оконные шторы проникло в мои сновидения, и их почему-то заполнила Цинтия.

Сны разочаровали меня. Безопасно укрытый в твердыне дневного света, я говорил себе, что ожидал большего. Она, живописец ярких, словно стекло, деталей, — и вдруг такая невнятица! Лежа в постели, я обдумывал мой сон и прислушивался к воробьям за окном: кто знает, если их записать, а потом прокрутить назад, не обернется ли звучание птиц человеческой речью, произнесением слов, точно так, как последние, если их обратить, превращаются в щебет? Я принялся перечитывать сон — вспять, по диагонали, вверх, вниз, — пытаясь открыть в нем хоть что-то схожее с Цинтией, что-то причудливое, намекающее на мысль, которая должна же в нем содержаться.

Сознание выпутывало единичные, темные и лукаво емкие детали. Казалось, исчезающий смысл туманных излияний Цинтии, изменчивой набожности, томной изысканности искусственных акростихов смазывался чем-то едучим, тусклым, чужим и корявым. Все аукалось, мельтешило, облекалось туманом, мрело еле намеченной явью, — смутное, изнуренное, бестолково истраченное, лишнее.

Итака, 1951

PALE FIRE

A NOVEL BY

Vladimir Nabokov

G. P. PUTNAM'S SONS

PALE FIRE

A NEW NOVEL BY

VLADIMIR NABOKOV

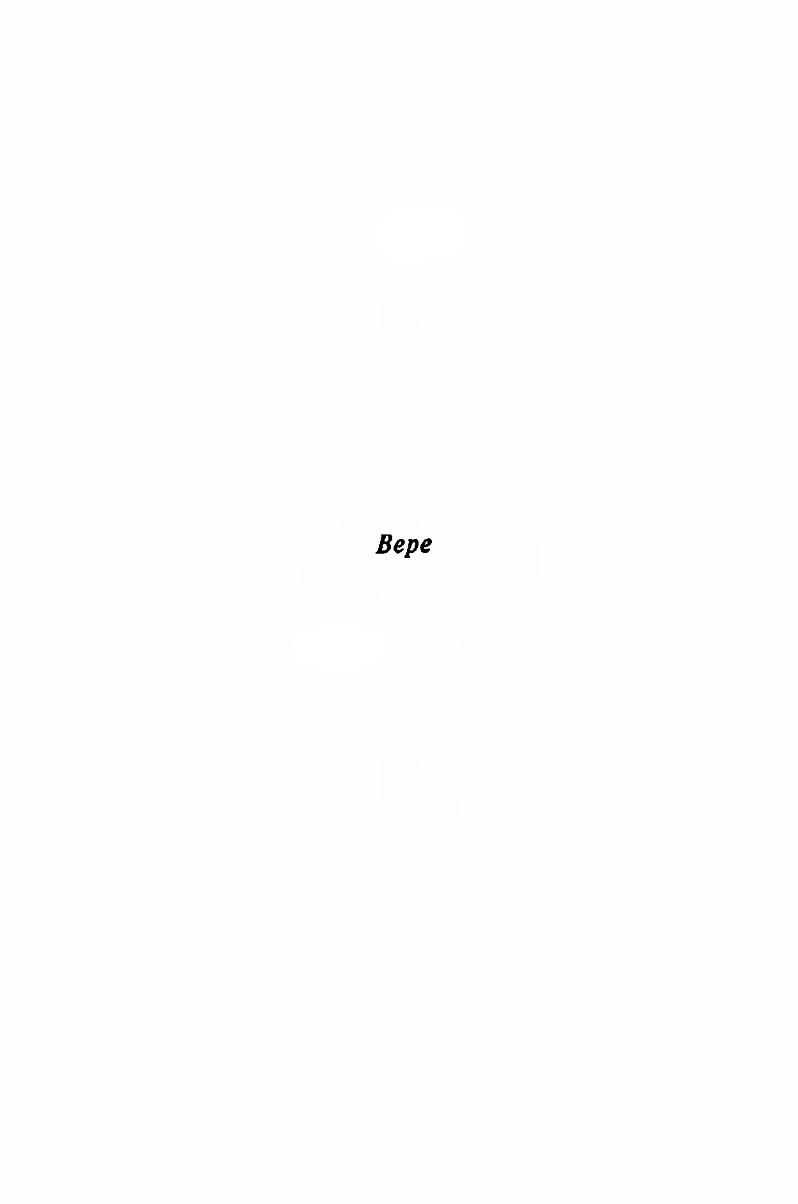
AUTHOR OF LOLITA

Бледное пламя

Перевод Сергея Ильина и Александры Глебовской

РОМАН

1962



Bepe

Это напоминает мне, как забавно он описывал мистеру Лангтону несчастное состояние одного молодого джентльмена из хорошей семьи: "Сэр, когда я в последний раз слышал о нем, он носился по городу, упражняясь в стрельбе по котам". А затем мысли его вполне натуральным образом отвлеклись, и вспомнив о своем любимом коте, он сказал: "Впрочем, Ходжа не пристрелят, нет-нет, Ходжа никогда не пристрелят".

Джеймс Босуэлл
"Жизнь Сэмюеля Джонсона"

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Бледное пламя", поэма в героических куплетах объемом в девятьсот девяносто девять строк, разделенная на четыре песни, написана Джоном Фрэнсисом Шейдом (р. 5 июля 1898 г., ск. 21 июля 1959 г.) в последние двадцать дней его жизни у себя дома в Нью-Вае, Аппалачие, США. Рукопись (это по преимуществу беловик), по которой набожно воспроизводится предлагаемый текст, состоит из восьмидесяти справочных карточек среднего размера, на которых верхнюю, розовую полоску Шейд отводил под заголовок (номер песни, дата), а в четырнадцать голубых вписывал тонким пером, почерком мелким, опрятным и удивительно внятным, текст поэмы, пропуская полоску для обозначения двойного пробела и начиная всякий раз новую песнь на свежей карточке.

Короткая (в 166 строк) Песнь первая со всеми ее симпатичными птичками и оптическими чудесами занимает тринадцать карточек. Песнь вторая, ваша любимица, и эта внушительная демонстрация силы, Песнь третья, — одинаковы по длине (334 строки) и занимают по двадцати семи карточек каждая. Песнь четвертая возвращается к Первой в рассуждении длины и занимает опять-таки тринадцать карточек, из коих последние четыре, исписанные в день его смерти, содержат вместо беловика выправленный черновик.

Человек привычки, Джон Шейд обыкновенно записывал дневную квоту законченных строк в полночь, но даже если он потом перерабатывал их, что, подозреваю, он временами делал, карточка или карточки помечались не датой окончательной отделки, но той, что стояла на выправленном черновике. То есть я хочу сказать, что он сохранял дату действительного создания, а не второго-третьего обдумывания. Тут перед моим нынешним домом расположен гремучий увеселительный парк.

Мы обладаем, стало быть, полным календарем его работы. Песнь первая была начата в ранние часы 2 июля и завершена 4 июля. К следующей Песни он приступил в день своего рождения и закончил ее 11 июля. Еще неделя ушла на Песнь третью. Песнь четвертая начата 19 июля, и как уже отмечалось, последняя треть ее текста (строки 949—999) представлена выправленным черновиком. На вид он довольно неряшлив, изобилует опустошительными подтирками, разрушительными вставками и не следует полоскам на карточках столь же пристрастно, как беловик. Но в сущности, он восхитительно точен, нужно только нырнуть в него и принудить себя открыть глаза в его прозрачных глубинах, под сумбурной поверхностью. В нем нет ни одной пропущенной строки, ни одного гадательного прочтения. Этим вполне доказывается, что обвинения, брошенные в газетном интервью (24 июля 1959 года) одним из наших записных шейдоведов, — позволившим себе утверждать, *не видев рукописи поэмы*, будто она "состоит из разрозненных набросков, ни один из которых не дает законченного текста", — представляют собой злобные измышления тех, кто не столько оплакивает состояние, в котором был прерван смертью труд великого поэта, сколько норовит бросить тень на состоятельность, а по возможности и на честность ее редактора и комментатора.

Другое заявление, публично сделанное профессором Харлеем, касается структуры поэмы. Я цитирую из того же интервью: "Никто не может сказать, насколько длинной задумал Джон Шейд свою поэму, не исключено, однако, что оставленное им есть лишь малая часть произведения,

которое он видел как бы в тусклом стекле". И опять же нелепица! Помимо истинного вопля внутренней очевидности, звенящего в Песни четвертой, существует еще подтверждение, данное Сибил Шейд (в документе, датированном 25 июля 1959 года), что ее муж "никогда не намеревался выходить за пределы четырех частей". Третья песнь была для него предпоследней, и я своими ушами слышал, как он говорил об этом, когда мы прогуливались на закате и он, как бы размышляя вслух, обозревал дневные труды и размахивал руками в извинительном самодовольстве, а между тем учтивый спутник его тщетно пытался приноровить ритм своей машистой поступи к тряской шаркотне взъерошенного старого поэта. Да что уж там, я утверждаю (пока тени наши еще гуляют без нас), что в поэме осталась недописанной всего *одна* строка (а именно 1000-я), которая совпала бы с первой, увенчав симметрию всей структуры с двумя ее тождественными срединными частями, крепкими и поместительными, образующими вкупе с флангами покороче два крыла в пятьсот стихов каждое, — как докучает мне эта музыка! Зная комбинаторный склад мышления Шейда и его тонкое чувство гармонического равновесия, я и вообразить не могу, чтобы он захотел исказить грани своего кристалла вмешательством в его предсказуемый рост. И коли этого всего недостаточно, — а этого достаточно, да! — так я имел драматический случай услышать, как голос моего несчастного друга вечером 21 июля объявил окончание или почти окончание его трудов. (Смотри мое примечание к строке 991.)

Эту стопу из восьмидесяти карточек удерживает круглая резинка, которую я ныне благоговейно возвращаю на место, в последний раз пересмотрев драгоценное содержимое. Другое, куда более тощее собрание из двенадцати карточек, скрепленных зажимом и помещенных в тот же желтый конверт, что и основная колода, содержит некоторые добавочные куплеты, следующие своей стезей, короткой, порою слякотной, в хаосе первоначальных наметок. Как правило, Шейд уничтожал наброски, едва перестав в них нуждаться: мне хорошо памятно, как бриллиантовым утром

я с крыльца увидел его сжигавшим целую кучу их в бледном пламени мусорной печи, перед которой он стоял, опустив голову, похожий на профессионального плакальщика среди гонимых ветром черных бабочек этого аутодафе на задворках. Но эти двенадцать карточек он сохранил — благодаря блеску непригодившихся удач между отбросами использованных редакций. Быть может, он смутно надеялся заменить некоторые места беловика какими-то чудесными изгнанниками этой картотеки или, что более вероятно, тайная привязанность к той или этой виньетке, отвергнутой из соображений архитектоники или же потому, что она не пришлась по душе миссис Ш., побудила его отставить решение до поры, когда мраморная окончательность безупречного типоскрипта укрепит оное либо придаст самому обаятельному варианту вид несуразный и скверный. А может быть, дозвольте уж мне прибавить со всей скромностью, он собирался просить моего совета после того, как прочтет мне поэму, что, как мне известно, он намеревался сделать.

В моих комментариях к поэме читатель найдет эти отверженные прочтения. На местоположения их указывают или хотя бы намекают наметки ближних к ним явно установленных строк. В определенном смысле многие из них представляют гораздо большую художественную и историческую ценность, чем некоторые из лучших мест окончательного текста. Теперь мне следует объяснить, как случилось, что именно я стал редактором “Бледного пламени”.

Сразу после кончины моего милого друга я убедил его оглушенную горем вдову предупредить и расстроить коммерческие страсти и университетские козни, коим предстояло вскружиться над рукописью ее мужа (помещенной мной в безопасное место еще до того, как тело его достигло могилы), и подписать соглашение, суть которого сводилась к тому, что он сам передал мне рукопись, что мне надлежит без промедления опубликовать ее с моим комментарием у выбранного мною издателя, что все доходы за вычетом издательских комиссионных достанутся ей и что в день выхода книги рукопись следует передать на вечное хране-

ние в Библиотеку Конгресса. Сомневаюсь, чтобы нашелся хулитель, который счел бы этот договор нечестным. И, однако, его называли (прежний поверенный Шейда) "фантастически злонамеренным", тогда как другой господин (бывший его литературный агент), язвительно ухмыляясь, осведомился, не выведена ли дрожащая подпись миссис Шейд "красными чернилами несколько непривычного сорта". Подобные сердца и умы вряд ли могут понять, что привязанность человека к шедевру способна проникнуть все его существо, особенно если именно испод холста зачаровывает созерцателя и единственного виновника появления шедевра на свет — того, чье личное прошлое сплелось в нем с судьбой невинного автора.

Как упомянуто в последнем, кажется, из моих примечаний к поэме, смерть Шейда, словно глубинная бомба, взбаламутила такие тайны и заставила всплыть такое количество дохлой рыбы, что мне пришлось покинуть Нью-Вай вскоре после моей последней встречи с арестованным убийцей. Написание комментария пришлось отложить до срока, когда я смогу отыскать новое обличье в иной, более спокойной обстановке, однако практические вопросы, касавшиеся поэмы, следовало уладить сразу. Я вылетел в Нью-Йорк, отдал сфотографировать рукопись, встретился с одним из издателей Шейда и было уже заключил договор, когда совершенно внезапно из середины огромного заката (мы сидели в клетке из стекла и ореха, пятьюдесятью этажами выше шествия скарабеев) мой собеседник заметил: "Вы будете счастливы узнать, доктор Кинбот, что профессор Такой-сякой (один из членов "общества Шейда") согласился консультировать нас при редактировании этой вещи". Нуте-с, "счастлив" — это нечто до крайности субъективное. Одна из наших самых глупых земблянских пословиц гласит: "Потерялась перчатка — и счастлива". Поспешно замкнул я засов на моем портфеле и бежал к другому издателю.

Вообразите мягкого, неловкого великана; вообразите историческое лицо, финансовые познания которого ограничены отвлеченными миллиардами национального долга;

вообразите принца-изгнанника, не ведающего о Голконде, таящейся у него в запонках! Я этим хочу сказать, — о, гиперболически, — что я самый непрактический человек на свете. Между таким человеком и старой лисой из издательского бизнеса складываются вначале отношения трогательно-беспечные и дружеские, полные приятельских шуток и разнообразных проявлений привязанности. Я не имею причин думать, что может когда-нибудь случиться нечто, способное помешать этим первоначальным отношениям с добрым старым Фрэнком, моим теперешним издателем, остаться такими навеки.

Известив о благополучном возвращении гранок, которые мне высылали прямо сюда, Фрэнк попросил помянуть в моем Предисловии, — и я с охотой делаю это, — что только я один несу ответственность за какие бы то ни было ошибки в моих примечаниях. Вставить, пока не попало к профессионалу. Профессионал-считчик тщательно сверил перепечатанный текст поэмы с фотокопией рукописи и обнаружил несколько пустяшных опечаток, мной не замеченных, — вот и вся помощь, полученная мною со стороны. Нужно ли говорить, как я надеялся, что Сибил Шейд доставит мне обильные биографические сведения, — к несчастью, она оставила Нью-Вай еще прежде меня и проживает теперь у родных в Квебеке. Мы могли бы, конечно, переписываться, и весьма плодотворно, однако ей не удалось сбить теневых шейдоведов со следа. Они устремились в Канаду стадами и набросились на бедняжку, едва я утратил влияние на нее и на ее переменчивые настроения. Вместо того чтобы ответить на месячной давности письмо, отправленное мною из моей берлоги в Кедрах и содержащее список наиболее неотложных вопросов — о настоящем имени "Джима Коутса", к примеру, и проч., она вдруг прислала мне телеграмму с просьбой принять проф. Х. (!) и проф. Ц. (!!) в качестве соредакторов мужниной поэмы. Как глубоко это поразило и ранило меня! Натурально, на этом сотрудничество с обманутой вдовой моего друга и прекратилось.

А он воистину был моим близким другом! Если верить календарю, я знал его лишь несколько месяцев, но бывают

ведь дружбы, которые создают собственную внутреннюю длительность, свои зоны прозрачного времени, минуя круженье жестокой музыки. Мне никогда не забыть, как ликовал я, узнав, — об этом упоминается в примечании, которое читатель еще найдет, — что дом в предместье (снятый для меня у судьи Гольдсворта, на год отбывшего в Англию для ученых занятий), дом, в который я въехал 5 февраля 1959 года, стоит по соседству с домом прославленного американского поэта, стихи которого я пытался перевести на земблянский еще за два десятка лет до этого! Как обнаружилось вскоре, помимо славного соседства, Гольдсвортову шато похвастаться было нечем. Отопление являло собою фарс, его исполнительность зависела от системы задушин в полах, сквозь которые долетали до комнат тепловатые вздохи дрожащей и стонущей в подземелье печи, невнятные, словно последний всхлип умирающего. Я пытался, закупорив отверстие на втором этаже, оживить хоть ту задушину, что в гостиной, но климат последней оказался непоправимо умучен тем обстоятельством, что между ней и арктическими областями, лежавшими за продувной входной дверью, не было ничего даже похожего на прихожую, — оттого ли, что дом был выстроен в самом разгаре лета простодушным поселенцем, и вообразить не умеющим, какую зиму припас для него Нью-Вай, или же оттого, что обходительность прежних времен требовала, чтобы случайный гость мог сквозь открытую дверь убедиться прямо с порога, что никаких бесчинств в гостиной не производится.

В Зембле февраль и март (последние два из четырех, как их у нас называют, "зазнобливых месяцев") также выпадают изрядно суровыми, но там даже крестьянская изба изображает нам плотное тело сплошного тепла, — а не сплетение убийственных сквозняков. Разумеется, как и любого приезжего, меня уверяли, что я попал в худшую из зим за многие годы, — и это на широте Палермо. В одно из первых моих тутошних утр, приготовляясь отъехать в колледж на мощной красной машине, которую я только что приобрел, я заметил, что миссис и мистер Шейд — ни с той ни

с другим я знаком пока еще не был (они полагали, как после выяснилось, что я предпочитаю, чтобы меня оставили в покое), — испытывают затруднения со своим стареньким "Паккардом", страдальчески изнывавшим на осклизлой подъездной дорожке, силясь высвободить измученное заднее колесо из адских сводчатых льдов. Джон Шейд неловко возился с ведерком, из которого он взмахами сеятеля разбрасывал бурые персти песку по лазурной глазури. Он был в ботах, воротник вигоневой куртки поднят, густые седые волосы казались под солнцем заиндевелыми. Я знал, что несколько прошлых месяцев он проболел, и, решив предложить соседям подвезти их до кампуса в моей мощной машине, вылез из нее и поспешил к ним. Тропинка огибала небольшой холм, на котором стоял отделенный ею от подъездного пути соседей арендованный мною замок, и почти уже одолев ее, я вдруг оступился и с размаху сел на удивительно твердый снег. На Шейдов седан мое падение подействовало как химический реагент, он тотчас стронулся и, едва не переехав меня, проскочил дорожку, Джон напряженно кривился за рулем, и горячо говорила что-то сидевшая пообок Сибил. Не уверен, что кто-то из них заметил меня.

Несколько дней спустя, однако ж, а именно в понедельник 16 февраля, за ленчем в преподавательском клубе, меня представили старому поэту. "Наконец-то вручил верительные грамоты" — так с некоторой иронией отмечает мой дневничок. Меня пригласили присоединиться к нему и к четырем-пяти иным профессорским именитостям за его привычным столом, стоявшим под увеличенной фотографией Вордсмитского колледжа, каким он был — облупленным и полуживым — в замечательно смурый день лета 1903 года. Его лаконическое предложение "отведать свинины" меня позабавило. Я — неукоснительный вегетарьянец и предпочитаю сам готовить себе еду. Проглотить что-либо, побывавшее в лапах человеческой твари, сообщил я румяным сотрапезникам, столь же для меня отвратительно, сколь съесть любую другую тварь, включая сюда и, — понизив голос, — мякотную, с хвостиком на голове студент-

ку, которая обслужила нас и обслюнила карандаш. К тому же я уже управился с принесенным в портфеле фруктом, сказал я, и потому удовольствуюсь бутылкой доброго университетского эля. Свобода и простота моего обращения всем внушили непринужденное чувство. Меня осыпали обычными вопросами касательно приемлемости или неприемлемости для человека моих убеждений гоголь-моголя и молочных смесей. Шейд сказал, что у него все наоборот: ему требуется сделать определенное усилие, чтобы отведать овощей. Подступиться к салату для него то же, что вступить в море прохладным днем, и ему всегда приходится собираться с силами, чтобы двинуться на штурм яблока. В то время я еще не привык к довольно утомительному подшучиванию и перекорам, распространенным среди американских интеллектуалов узкородственной университетской группы, и потому не стал говорить Джону Шейду перед этими ухмыляющимися пожилыми самцами о том, как восхищают меня его творения, — дабы серьезный разговор о литературе не выродился в обычный обмен остротами. Вместо того я спросил его об одном из новоприобретенных мною студентов, посещавшем также и его курс, — переменчивом, тонком, я бы сказал, изысканном юноше, — но, решительно встряхнув жесткими кудрями, старый поэт ответил, что давно уж перестал запоминать имена и лица студентов и что единственная особа в его поэтическом семинаре, которую он в силах зримо себе представить, — это передвигающаяся на костылях заочница. "Да будет вам, Джон, — произнес профессор Харлей, — не хотите же вы сказать, что и вправду не имеете ни ментального, ни висцерального портрета той сногсшибательной блондинки в черном леотарде, что повадилась в ваш 202-й литературный?" Шейд, залучась всеми морщинами, ласково похлопал по запястью Харлея, дабы его остановить. Другой мучитель осведомился, правду ли говорят, будто я установил у себя в подполье два стола для пинг-понга? Я спросил, это что, преступление? Нет, сказал он, но зачем же два? "Ах, *вот*, значит, в чем преступленье?" — парировал я, и все рассмеялись.

Несмотря на “хромое” сердце (смотри строку 736), незначительную колченогость и странно уклончивую манеру передвигаться, Шейд питал необычайную страсть к пешим прогулкам, впрочем, снег ему досаждал, и зимой он предпочитал, чтобы после занятий жена заезжала за ним на машине. Несколькими днями позже, выйдя из Плющевого, иначе Главного Холла (ныне, увы, Шейд-Холл), я увидал его поджидающим снаружи, когда приедет за ним миссис Шейд. С минуту я простоял рядом с ним на ступеньках подпираемого колоннами портика, подтягивая палец за пальцем перчатку, глядя вдаль, как бы в ожидании частей, имеющих прибыть для парада: “Проникновенное исполнение”, — заметил поэт. Он справился с ручными часами. Снежинка пала на них. “Кристалл к кристаллу”, — сказал Шейд. Я предложил отвезти его домой в моем мощном “Кремлере”. “Жены запамятливы, мистер Шейд”. Он задрал кудлатую голову, чтобы взглянуть на библиотечные часы. По холодной глади укрытой снегом травы, смеясь и оскальзываясь, прошли двое парнишек в цветных, в сверкающих зимних одеждах. Шейд опять посмотрел на часы и, пожав плечами, принял мое предложение.

Не будет ли он возражать, осведомился я, если мы выберем путь подлиннее, с остановкой в Общественном центре, где я намереваюсь купить печенье под шоколадной глазурью и немного икры? Он сказал, что его это устроит. Изнутри супермаркета, сквозь его зеркальные окна, я видел, как наш старичок дунул в винную лавку. Когда я вернулся с покупками, он уже сидел в машине, читая бульварную газетенку, до прикосновенья к которой не снизошел бы, полагаю, ни единый поэт. Симпатичная выпухлость сообщила мне, что где-то на нем тепло укрыта фляжка коньяку. Подъездным путем завернув к его дому, мы увидали тормозящую перед ним Сибил. Я с учтивой поспешностью вышел. Она сказала: “Поскольку мой муж не любитель знакомить людей, давайте знакомиться сами. Вы доктор Кинбот, не так ли? А я Сибил Шейд”. И она обернулась к мужу, говоря, что он мог бы еще минутку подождать ее у себя в кабинете: она и звала, и гудела, и долезла

до самого верха, и проч. Не желая быть свидетелем супружеской сцены, я поворотился, чтобы уйти, но она остановила меня: "Выпейте с нами, — сказала она, — вернее, со мной, потому что Джону запрещено даже прикасаться к спиртному". Я объяснил, что не смогу задержаться надолго, ибо вот-вот должен начаться своего рода маленький семинар, за которым мы немного поиграем в настольный теннис с двумя очаровательными близнецами и еще с одним, да, еще с одним молодым человеком.

С этого дня я начал все чаще видаться со своим знаменитым соседом. Одно из моих окон неизменно доставляло мне первостатейное развлечение, особенно когда я поджидал какого-нибудь запоздалого гостя. С третьего этажа моего жилища явственно различалось окошко гостиной Шейдов, пока оставались еще обнаженными ветви стоявших меж нами листопадных деревьев, и едва ли не каждый вечер я наблюдал за мерно качавшейся ногой поэта. Отсюда следовало, что он сидел с книгой в покойном кресле, но более ничего никогда высмотреть не удавалось, кроме этой ноги да тени ее, двигавшейся вверх-вниз в таинственном ритме духовного поглощения, в сгущенном свете лампы. Всегда в одно и то же время сафьянная коричневая туфля спадала с толстого шерстяного носка ноги, который продолжал колебаться, слегка, впрочем, замедляя размах. Значит, близилось время постели со всеми его ужасами. Значит, через несколько минут носок нашарит и подденет туфлю и пропадет из золотистого поля зрения, рассеченного черной чертой ветки. Иногда по этому полю проносилась, всплескивая руками, как бы в гневе вон выбегая из дому, Сибил Шейд и возвращалась, словно простив мужу дружбу с эксцентричным соседом; впрочем, загадка ее поведения полностью разрешилась одним вечером, когда я, набрав их номер и между тем наблюдая за их окном, колдовски заставил ее повторить торопливые и совершенно невинные перемещения, что так озадачивали меня.

Увы, мир моей души вскоре был поколеблен. Густая струя ядовитой зависти излилась на меня, как только ученое предместье сообразило, что Джон Шейд ценит мое

общество превыше любого другого. Ваше фырканье, дражайшая миссис Ц., не ускользнуло от нас, когда после отчаянно скучного вечера в Вашсм доме я помогал усталому старику-поэту отыскивать галоши. Как-то в поисках журнала с изображенным на обложке Королевским Дворцом в Онгаве, который я хотел показать моему другу, мне случилось зайти на кафедру английской литературы и услышать, как молодой преподаватель в зеленой вельветовой куртке, которого я из милосердия назову здесь "Геральд Эмеральд", небрежно ответил на какой-то вопрос секретарши: "По-моему, мистер Шейд уже уехал вместе с Великим Бобром". Верно, я очень высок, а моя каштановая борода довольно богата оттенками и текстурой, дурацкая кличка относилась, очевидно, ко мне, но не стоила внимания, и я, спокойно взяв свой журнал с усыпанного брошюрами стола, отправился восвояси и лишь мимоходом распустил ловким движением пальцев галстук-бабочку на шее Геральда Эмеральда. Было еще одно утро, когда доктор Натточдаг, глава отделения, к коему я был приписан, официальным тоном попросил меня присесть, затворил дверь и, воссоединясь со своим вращающимся креслом и угрюмо набычась, настоятельно посоветовал мне "быть осторожнее". Осторожнее? В каком смысле? Один молодой человек пожаловался своему наставнику. Господи помилуй, на что? На мою критику в адрес посещаемого им курса лекций по литературе ("нелепый обзор нелепого вздора в исполнении нелепой бездарности"). С неподдельным облегчением расхохотавшись, я обнял милого Неточку, обещая ему, что никогда больше не буду таким гадким. Я хочу воспользоваться этой возможностью и послать ему мой привет. Он всегда относился ко мне с таким исключительным уважением, что я порою задумывался — уж не заподозрил ли он того, что заподозрил Шейд, и о чем определенно знали лишь трое (ректор университета и двое попечителей).

О, этих случаев было немало. В скетче, разыгранном студентами театрального факультета, меня изобразили напыщенным женоненавистником, постоянно цитирующим Хаусмана с немецким акцентом и грызущим сырую мор-

ковь, а за неделю до смерти Шейда одна свирепая дама, в клубе которой я отказался выступить насчет "Халли-Валли" (как выразилась она, перепутав жилище Одина с названием финского эпоса), объявила мне посреди бакалейной лавки: "Вы на редкость противный тип. Не понимаю, как вас выносят Джон и Сибил" — и отчаявшись моей учтивой улыбкой, добавила: "К тому же вы сумасшедший".

Но разрешите мне прервать заполнение этой таблеты нелепиц. Что бы ни думали и ни говорили кругом, дружба Джона вполне наградила меня. Дружба тем более драгоценная, что нежность ее намеренно скрадывалась — в особенности когда мы были с ним не одни, — этакой грубоватостью, проистекавшей из того, что можно назвать величием сердца. Все обличье его было личиной. Физический облик Джона Шейда так мало имел общего с гармонией, скрытой под ним, что возникало желание отвергнуть его как грубую подделку или продукт переменчивой моды, ибо если поветрие века Романтиков норовило разжижить мужественность поэта, оголяя его привлекательную шею, подрезая профиль и отражая в овальном взоре горное озеро, барды нашего времени, — оттого, может статься, что у них больше шансов состариться, — выглядят сплошь стервятниками или гориллами. В лице моего изысканного соседа отыскалось бы нечто, способное радовать глаз, будь оно только что львиным или же ирокезским, к несчастью, сочетая и то и другое, оно приводило на ум одного из мясистых хогартовских пьянчуг неопределенной половой принадлежности. Его бесформенное тело, седая копна обильных волос, желтые ногти на толстых пальцах, мешки под тусклыми глазами постигались умом лишь как подонки, извергнутые из его внутренней сути теми же благотворными силами, что очищали и оттачивали его стихи. Он сам себя перемарывал.

Я очень люблю одну его фотографию. На этом цветном снимке, сделанном одним моим недолговременным другом, виден Шейд, опершийся на крепкую трость, принадлежавшую некогда его тетушке Мод (смотри строку 86). На мне белая ветровка, купленная в местном спортивном магазине, и широкие лиловатые брюки, пошитые в Канне.

Левая рука приподнята — не с намерением похлопать Шейда по плечу, как оно кажется, но чтобы снять солнечные очки, которых, однако, она так и не достигла в *этой* жизни, т. е. в жизни на фотографии, а под правой рукой зажата библиотечная книга — это монография о некоторых видах земблянской ритмической гимнастики, которыми я собирался увлечь моего молодого квартиранта, вот этого, который нас щелкнул. Неделю спустя он обманул мое доверие, мерзко использовав мой отъезд в Вашингтон: воротясь, я обнаружил, что он ублажался рыжеволосой шлюхой из Экстона, оставившей свои вычески и вонь во всех трех туалетах. Натурально, мы сразу же и расстались, и я через щель в оконном занавесе смотрел на бабника Боба, как он стоит, жалковатый, со своим бобриком, потертой вализой и лыжами, подаренными мной, выброшенный на обочину, ожидающий однокашника, который увезет его навсегда. Я все способен простить, кроме предательства.

Джон Шейд и я, мы никогда не обсуждали никаких моих личных невзгод. Наше тесное дружество обреталось на более высоком, исключительно интеллектуальном уровне, там, где отдыхаешь от чувственных смут, а не делишься ими. Преклонение перед ним было для меня своего рода альпийским целением. При каждом взгляде на него я испытывал грандиозное ощущение чуда, особенно в присутствии прочих людей, людей низшего ряда. Особое очарование придавало этому чуду понимание мною того, что они не чувствуют, как я, не видят, как я, что они принимают Шейда за должное вместо того, чтобы, так сказать, всеми жилками впитывать романтическое приключение — близость к нему. Вот он, говорил я себе, вот голова, содержащая мозг особенной разновидности — не синтетический студень, закупоренный в черепах окружающих. Он смотрит с террасы (в тот мартовский вечер — с террасы дома проф. Ц.) на дальнее озеро. Я смотрю на него. Я свидетельствую уникальный физиологический феномен: Джон Шейд объясняет и переделывает мир, вбирает его и разбирает его на части, пересопрягая его элементы в самом процессе их накопления, чтобы в некий непредсказуемый день сотво-

рить органичное чудо — стихотворную строчку — совокупление звука и образа. И я испытываю такой же трепет, как в раннем детстве, когда за чайным столом дядюшкина замка следил за фокусником, сию минуту дававшим фантастическое представление, теперь же мирно глотавшим ванильное мороженое. Я таращился на его пудреные щеки, на волшебный цветок в петлице, прошедший в ней через последовательность разнообразных превращений и успокоившийся, наконец, в образе белой гвоздики, и особенно на восхитительные, текучие с виду пальцы, способные по его желанию закрутить чайную ложку и превратить ее в солнечный луч или сделать из блюдца голубку, запустив его ввысь.

Поэма Шейда — это и впрямь внезапный всплеск волшебства: седоволосый мой друг, мой возлюбленный старый фокусник сунул в шляпу колоду справочных карточек — и вытряс оттуда поэму.

К этой поэме нам и следует теперь обратиться. Мое Предисловие было, уверен, не слишком скупым. Иные заметки, построенные как живой комментарий с места событий, определенно удовлетворят и самого ненасытного читателя. И хоть эти заметки следуют — в силу обычая — за поэмой, я посоветовал бы читателю сначала ознакомиться с ними, а уж потом с их помощью изучать поэму, перечитывая их по мере перемещенья по тексту, и может быть, покончив с поэмой, проконсультироваться с ними третично, дабы иметь законченную картину. В случаях вроде этого мне представляется разумным обойтись без хлопотного перелистывания взад-вперед, для чего следует либо разрезать книгу и скрепить вместе соответственные листы произведения, либо, что много проще, купить сразу два экземпляра настоящего труда, которые можно будет затем разложить бок о бок на удобном столе, не похожем на шаткое сооружение, на котором рискованно царит моя пишущая машинка в этом жалком приюте для престарелых моторов с каруселью внутри и снаружи моей головы, во множестве миль от Нью-Вая. Позвольте же мне сказать, что без моих примечаний текст Шейда попросту не имеет

никакой человеческой значимости, ибо человеческой значимости такой поэмы, как эта (слишком робкая и сдержанная для автобиографического труда, с выпуском массы бездумно отвергнутых содержательных строк), не на что опереться, кроме человеческой значимости самого автора, его среды, пристрастий и проч., — а все это могут ей дать только мои примечания. Под таким замечанием мой бесценный поэт, вероятно, не подписался бы, но — к добру или к худу — последнее слово осталось за комментатором.

Чарльз Кинбот

19 октября 1959 года, Кедры, Ютана

БЛЕДНОЕ ПЛАМЯ

Поэма в четырех Песнях

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Я тень, я свиристель, убитый влет
Подложной синью, взятой в переплет
Окна; комочек пепла, легкий прах,
Порхнувший в отраженных небесах.
Так и снутри удвоены во мне
Я сам, тарелка, яблоко на ней;
Раздвинув ночью шторы, за стеклом
Я открываю кресло со столом,
Висящие над темной гладью сада,
Но лучше, если после снегопада
Они, как на ковре, стоят вовне —
Там, на снегу, в хрустальнейшей стране!

Вернемся в снегопад: здесь каждый клок
Бесформен, медлен, вял и одинок.
Унылый мрак, белесый бледный день,
Нейтральный свет, абстрактных сосен сень.
В ограду сини вкрадчиво-скользящей
Ночь заключит картину со смотрящим;
А утром — чьи пришпоренные ноги
Вписали строчку в чистый лист дороги? —
Дивится перл мороза. Снова мы
Направо слева ясный шифр зимы
Читаем: точка, стрелка вспять, штришок,
Вновь точка, стрелка вспять... фазаний скок!
Се гордый граус, родственник тетерки
Китаем наши претворил задворки.
Из "Хольмса", что ли: вспять уводит след,
Когда башмак назад носком надет.

Был люб мне, взоры грея, всякий цвет.
Я мог сфотографировать предмет
В своем зрачке. Довольно было мне
Глазам дать волю или, в тишине,
Шепнуть приказ, — и все, что видит взор, —
Паркет, гикори лиственный убор,
Застрех, капели стылые стилеты
На дне глазницы оседало где-то
И сохранялось час, и два. Пока
Все это длилось, стоило слегка
Прикрыть глаза — и заново узришь
Листву, паркет или трофеи крыш.

Мне в толк не взять, как видеть нашу дверь
Мальчишкой мог я с озера: теперь,
Хотя листва не застит, я не вижу
От Лейк-роуд ни крыльцо, ни даже крышу.
Должно быть, здесь пространственный извив
Создал загиб иль борозду, сместив
Непрочный вид, — лужайку и потертый
Домишко меж Вордсмитом и Гольдсвортом.

Вот здесь пекан, былой любимец мой,
Стоял в те дни, нефритовой листвой,
Как встрепанной гирляндой, оплетенный,
И тощий ствол с корою исчервленной
В луче закатном бронзой пламенел.
Он возмужал, он в жизни преуспел.
Под ним мучнистый цвет на бледно-синий
Сменяют мотыльки — под ним доныне
Дрожит качелей дочкиных фантом.

Сам дом таков, как был. Успели в нем
Мы перестроить лишь одно крыло —
Солярий там: прозрачное стекло,
Витые кресла и, вцепившись крепко,
Телеантенны вогнутая скрепка
Торчит на месте флюгера тугого,
Где часто пересмешник слово в слово

Нам повторял все телепередачи:
"Чиво-чиво", повертится, поскачет,
Потом "ти-ви, ти-ви" прозрачной нотой,
Потом — с надрывом "что-то, что-то, что-то!"
Еще подпрыгнет — и вспорхнет мгновенно
На жердочку, — на новую антенну.

Я в детстве потерял отца и мать,
Двух орнитологов. Воображать
Я столько раз их пробовал, что ныне
Им тысячи начту. В небесном чине,
В достоинствах туманных растворясь,
Они ушли, но слов случайных связь
Прочитанных, услышанных, упряма:
"Инфаркт" — отец, а "рак желудка" — мама.

Угрюмый собиратель мертвых гнезд
Зовется "претеристом". Здесь я рос,
Где нынче спальня для гостей. Бывало,
Уложен спать, укутан в одеяло,
Молился я за всех: за внучку няни
Адель (видала Папу в Ватикане),
За близких, за героев книг, за Бога.

Меня взрастила тетя Мод. Немного
Чудачка — живописец и поэт,
Умевший точно воплотить предмет
И оживить гротеском холст и строчку.
Застала Мод малютку, нашу дочку.
Ту комнату мы так и не обжили:
Здесь сброд безделиц в необычном стиле:
Стеклянный пресс-папье, лагуна в нем,
Стихов на индексе раскрытый том
(Мавр, Мор, Мораль), гитара-ветеран,
Веселый череп и курьез из "Сан":
"'Бордовые' на Чапменском Гомере
Вломили 'Янки'" — лист прикноплен к двери.

Мой Бог скончался юным. Поклоненье
Бессмысленным почел я униженьем.
Свободный жив без Бога. Но в природе
Увязнувший, я так ли был свободен,
Всем детским нёбом зная наизусть
Златой смолы медвяный рыбий вкус?
В тетрадях школьных радостным лубком
Живописал я нашу клетку: ком
Кровавый солнца, радуга, муар
Колец вокруг луны и дивный дар
Природы — "радужка": над пиком дальним
Вдруг отразится в облаке овальном,
Его в молочный претворив опал,
Блеск радуги, растянутой меж скал
В дали долин разыгранным дождем.
В какой изящной клетке мы живем!

И крепость звуков: темная стена
Ордой сверчков в ночи возведена, —
Глухая! Замирал я на холме,
Расстрелянный их трелями. Во тьме —
Оконца, доктор Саттон. Вон Венера.
Песок когда-то времени был мерой
И пять минут влагались в сорок унций.
Узреть звезду. Двум безднам ужаснуться —
Былой, грядущей. Словно два крыла,
Смыкаются они — и жизнь прошла.

Невежественный, стоит здесь ввернуть,
Счастливее: он видит Млечный Путь,
Лишь когда мочится. В те дни, как ныне,
Скользя по веткам, увязая в тине,
Бродил я на авось. Дебел и вял,
Мяча не гнал и клюшкой не махал.

Я тень, я свиристель, убитый влет
Поддельной далью, влитой в переплет
Окна. Имея разум и пять чувств
(Одно — чудное), в прочем был я пуст

И странноват. С ребятами играл
Я лишь во сне, но зависти не знал, —
Вот разве что к прелестным лемнискатам,
Рисуемым велосипедным скатом
По мокрому песку.

Той боли нить,
Игрушку Смерти — дернуть, отпустить —
Я чувствовал сильней, пока был мал.
Однажды, лет в одиннадцать, лежал
Я на полу, следя, как огибала
Игрушка (заводной жестяный малый
С тележкой) стул, вихляя на бегу.
Вдруг солнце взорвалось в моем мозгу!
И сразу ночь в роскошном тьмы убранстве
Спустилась, разметав меня в пространстве
И времени, — нога средь вечных льдов,
Ладонь под галькой зыбких берегов,
В Афинах ухо, глаз — где плещет Нил,
В пещерах кровь и мозг среди светил.
Унылые толчки в триасе, тени
И пятна света в верхнем плейстоцене,
Внизу палеолит, он дышит льдом,
Грядущее — в отростке локтевом.
Так до весны нырял я по утрам
В мгновенное беспамятство. А там —
Все кончилось, и память стала таять.
Я старше стал. Я научился плавать.
Но словно отрок, чей язык однажды
Несытой девки удоволил жажду,
Я был растлен, напуган и заклят.
Хоть доктор Кольт твердил: года целят,
Как он сказал, от "хвори возрастной",
Заклятье длится, стыд всегда со мной.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Был час в безумной юности моей,
Когда я думал: каждый из людей
Загробной жизни таинству причастен,
Лишь я один — в неведенье злосчастном:
Великий заговор людей и книг
Скрыл истину, чтоб я в нее не вник.

Был день сомнений в разуме людском:
Как можно жить, не зная впрок о том,
Какая смерть, и мрак, и рок какой
Сознанье ждут за гробовой доской?

В конце ж была мучительная ночь,
Когда постановил я превозмочь
Той мерзкой бездны тьму, сему занятью
Пустую жизнь отдавши без изъятья.
Мне нынче шестьдесят один. По саду
Порхает свиристель, поет цикада.

В моей ладони ножнички, они —
Звезды и солнца яркие огни,
Блестящий синтез. Стоя у окна,
Я подрезаю ногти, и видна
Невнятная похожесть: перст большой —
Сын бакалейщика; за ним второй —
Староувер Блю, наш здешний астроном,
Вот тощий пастор (я с ним был знаком),
Четвертый, стройный, — дней былых зазноба,
При ней малец-мизинчик крутолобый;
И я снимаю стружку, скорчив рожу,
С того, что Мод звала "ненужной кожей".

Мод Шейд сравнялось восемьдесят в год,
Когда удар случился. Твердый рот
Искривился, черты побагровели.
В известный пансион, в Долину Елей

Ее свезли мы. Там она сидела
Под застекленным солнцем, то и дело
В ничто впиваясь непослушным глазом.
Туман густел. Она теряла разум,
Но говорить пыталась: нужный звук
Брала, застыв, натужившись, — как вдруг
Из ближних клеток мозга в диком танце
Выплескивались сонмы самозванцев,
И взор ее туманился в старанье
Смирить распутных демонов сознанья.

Под коим градусом распада ждет
Нас воскрешенье? Знать бы день? И год?
Кто ленту перематывает вспять?
Не всем везет, иль должно всех спасать?
Вот силлогизм: *другие смертны, да,*
Я — не "другой": я буду жить всегда.

Пространство — толчея в глазах, а время —
Гудение в ушах. И я со всеми
В сем улье заперт. Если б издали,
Заранее мы видеть жизнь могли,
Какой безделицей — нелепой, малой,
Чудесным бредом нам она б предстала!

Так впору ли, со смехом низкопробным,
Глумиться над незнаемым загробным:
Над стоном лир, беседой неспешливой
С Сократом или Прустом под оливой,
Над серафимом розовокрылатым,
Турецкой сластью и фламандским адом?
Не то беда, что слишком страшен сон,
А то, что он уж слишком приземлен:
Не претворить нам мира неземного
В картинку помудреней домового.

И как смешны потуги — общий рок
Перевести на свой язык и слог:

Звучит взамен божественных терцин
Бессонницы косноязычный гимн!

“Жизнь — донесенье. Писано впотьме”.
(Без подписи.)
Я видел на сосне,
Шагая к дому в день ее конца,
Подобье изумрудного ларца,
Порожний кокон. Рядом стыл в живице
Увязший муравей.
Британец в Ницце,
Лингвист счастливый, гордый: “je nourris
Les pauvres cigales”[1]. — Кормит же, смотри,
Бедняжек-чаек!
Лафонтен, тужи:
Жующий помер, а поющий жив.
Так ногти я стригу и различаю
Твои шаги, — все хорошо, родная.

Тобою любовался я, Сибил,
Все классы старшие, но полюбил
В последнем, на экскурсии к Порогу
Нью-Вайскому. Учитель всю дорогу
Твердил о водопадах. На траве
Был завтрак. В романтической канве
Предстал внезапно парк привычно-пресный.
В апрельской дымке видел я прелестный
Изгиб спины, струистый шелк волос
И кисть руки, распятую вразброс
Меж искрами трилистника и камня.
Чуть дрогнула фаланга. Ты дала мне,
Оборотясь, глаза мои встречая,
Наперсток с ярким и жестяным чаем.

Ты в профиль точно та же. Губ окромок
Так трепетен, изгиб бровей так ломок,

---

[1] ”Я кормлю бедных цикад” (*искаж. фр.*).

На скулах — тень ресниц. Персидский нос,
Тугая вороная прядь взачес
Являет взору шею и виски,
И персиковый ворс в обвод щеки. —
Все сохранила ты. И до сих пор
Мы ночью слышим струй поющих хор.

Дай мне ласкать тебя, о идол мой,
Ванесса, мгла с багровою каймой,
Мой Адмирабль бесценный! Объясни,
Как сталось, что в сиреневой тени
Неловкий Джонни Шейд, дрожа и млея,
Впивался в твой висок, лопатку, шею?

Уж сорок лет — четыре тыщи раз
Твоя подушка принимала нас.
Четыре сотни тысяч раз обоим
Часы твердили время хриплым боем.
А много ли еще календарей
Украсят створки кухонных дверей?

Люблю тебя, когда, застыв, глядишь
Ты в тень листвы. "Исчез. Такой малыш!
Вернется ли?" (В тревожном ожиданье
Так нежен шепот — нежен, как лобзанье.)
Люблю, когда взглянуть зовешь меня ты
На самолетный след в огне заката,
Когда, закончив сборы, за подпругу
Мешок дорожный с молнией по кругу
Ты тянешь. И привычный в горле ком,
Когда встречаешь тень ее кивком,
Игрушку на ладонь берешь устало
Или открытку, что она писала.

Могла быть мной, тобой, — иль нами вместе.
Природа избрала меня. Из мести?
Из безразличья?.. Мы сперва шутили:
"Девчушки все толстушки, верно?" или

“Мак-Вэй (наш окулист) в один прием
Поправит косоглазие”. Потом —
“А ведь растет премиленькой”. — И в бодрость
Боль обряжая: “Что ж, неловкий возраст”.
“Ей поучиться б верховой езде”
(В глаза не глядя). “В теннис... а в еде —
Крахмала меньше, фрукты! Что ж, она
Пусть некрасива, но зато умна”.

Все бестолку. Конечно, высший балл
(История, французский) утешал.
Пускай на детском бале в Рождество
Она в сторонке — ну и что с того?
Но скажем честно: в школьной пантомиме
Другие плыли эльфами лесными
По сцене, что украсила она,
А наша дочь была обряжена
В Старуху-Время, вид нелепый, вздорный.
Я, помню, как дурак, рыдал в уборной.

Прошла зима. Зубянкой и белянкой
Май населил тенистые полянки.
Скосили лето, осень отпылала,
Увы, но лебедь гадкая не стала
Древесной уткой. Ты твердила снова:
“Чиста, невинна — что же тут дурного?
Мне хлопоты о плоти непонятны.
Ей *нравится* казаться неопрятной.
А девственницы, вспомни-ка, писали
Блестящие романы. Красота ли
Важней всего?..” Но с каждого пригорка
Кивал нам Пан, и жалость ныла горько:
Не будет губ, чтобы с окурка тон
Ее помады снять, и телефон,
Что перед балом всякий миг поет
В Сороза-Холл, ее не позовет;
Не явится за ней поклонник в белом;
В ночную тьму ввинтившись скользким телом,

Не тормознет перед крыльцом машина,
И в облаке шифона и жасмина
Не увезет на бал ее никто...
Отправили во Францию, в шато.

Она вернулась — вновь с обидой, с плачем,
Вновь с пораженьем. В дни футбольных матчей
Все шли на стадион, она ж — к ступеням
Библиотеки, все с вязаньем, с чтеньем,
Одна — или с подругой, что потом
Монашкой стала, иногда вдвоем
С корейцем-аспирантом; так странна
Была в ней сила воли — раз она
Три ночи провела в пустом сарае,
Мерцанья в нем и стуки изучая.
Вертеть слова любила — "тень" и "нет",
И в "телекс" переделала "скелет".
Ей улыбаться выпадало редко —
И то в знак боли. Наши планы едко
Она громила. Сидя на кровати
Измятой за ночь, с пустотой во взгляде,
Расставив ноги-тумбы, в космах грязных
Скребя и шаря ногтем псориазным,
Со стоном, тоном, слышимым едва,
Она твердила гнусные слова.

Моя душа — так тягостна, хмура,
А все душа. Мы помним вечера
Затишия: маджонг или примерка
Твоих мехов, в которых, на поверку,
Ведь недурна! Сияли зеркала,
Свет — милосерден, тень — нежна была.
Мы сделали латынь; стеною строгой
С моей флюоресцентною берлогой
Разлучена, она читает в спальне;
Ты — в кабинете, в дали дважды дальней.
Мне слышен разговор: "Мам, что за штука
Вестальи?" — "Как?" — "Вес талии". Ни звука.

Потом ответ твой сдержанный, и снова:
"Предвечный, мам?" — ну, тут-то ты готова
И добавляешь: "Мандаринку съешь?" —
"Нет. Да. А преисподняя?" — И в брешь
Молчания врываюсь я, как зверь,
Ответ задорно рявкая сквозь дверь.

Неважно, что читала, — некий всхлип
Поэзии новейшей. Скользкий тип,
Их лектор, называл те вирши "плачем
Чаруйной дрожи", — что все это значит,
Не знал никто. По комнатам своим
Разъятые тогда, мы состоим,
Как в триптихе или в трехактной драме,
Где явленное раз живет веками.

Надеялась ли? — Да, в глуби глубин.

В те дни я кончил книгу. Дженни Дин,
Моя типистка, способом избитым
Ее свести решила с братом Питом.
Друг Джейн, их усадив в автомобиль,
Повез в гавайский бар за двадцать миль.
А Пит подсел в Нью-Вае, в половине
Девятого. Дорога слепла в стыни.
Уж бар нашли, внезапно Питер Дин
Себя ударив в лоб, вскричал: кретин!
Забыл о встрече с другом: друг в тюрьму
Посажен будет, если он ему...
Et cetera[1]. Участия полна,
Она кивала. Пит исчез. Она
Еще немного у фанерных кружев
Помедлила (неон рябил по лужам)
И молвила: "Мне третьей быть неловко.
Вернусь домой". Друзья на остановку
Ее свели. Но в довершенье бед
Она зачем-то вышла в Лоханхед.

[1] И так далее (*лат.*).

Ты справилась с запястьем: "Восемь тридцать.
Включу". (Тут время начало двоиться.)
Экран чуть дрогнул, раскрывая поры.
Едва ее увидев, страшным взором
Пронзил он насмерть горе-сваху Джейн.
Рука злодея из Флориды в Мэн
Пускала стрелы эолийских смут.
Сказала ты: "Вот-вот квартет зануд
(Три критика, пиит) начнет решать
Судьбу стиха в канале номер пять".
Там нимфа в пируэте свой весенний
Обряд свершает, преклонив колени
Пред алтарем в лесу, на коем в ряд
Предметы туалетные стоят.
Я к гранкам поднялся наверх и слышал,
Как ветер вертит камушки на крыше.
"Зри, в пляс — слепец, поет увечна голь".
Здесь пошлый тон эпохи злобной столь
Отчетлив... А потом твой зов веселый,
Мой пересмешник, долетел из холла.
Поспел я чаем удоволить жажду
И почестей вкусить непрочных: дважды
Я назван был, за Фростом, как всегда
(Один, но скользкий шаг).
"Вот в чем беда:
Коль к ночи денег не получит он...
Не против вы? Я б рейсом на Экстон..."

Там — фильм о дальних странах: тьмая ночная
Размыта мартом; фары, набегая,
Сияют, как глаза двойной звезды,
Чернильно-смуглый тон морской воды, —
Мы в тридцать третьем жили здесь вдвоем,
За девять лун до рождества ее.
Седые волны уж не вспомнят нас, —
Ту долгую прогулку в первый раз,
Те вспышки, парусов тех белых рой
(Меж них два красных, а один с волной

Тягался цветом), старца с добрым нравом,
Кормившего несносную ораву
Горластых чаек, с ними — сизаря,
Бродившего вразвалку... Ты в дверях
Застыла. “Телефон?” О нет, ни звука.
И снова ты к программке тянешь руку.
Еще огни в тумане. Смысла нет
Тереть стекло: лишь отражают свет
Заборы да столбы на всем пути.
“А может, ей не стоило идти?
Ведь все-таки заглазное свиданье...
Попробуем премьеру “Покаянья”?”
Все так же безмятежно, мы с тобой
Смотрели дивный фильм. И лик пустой,
Знакомый всем, качаясь, плыл на нас.
Приотворенность уст и влажность глаз,
На щечке — мушка, галлицизм невнятный,
Все, точно в призме, расплывалось в пятна
Желаний плотских.
                                        “Я сойду”. — “Постойте,
Ведь это ж Лоханхед!” — “Да-да, откройте”.
В стекле качнулись призраки древес,
Автобус встал. Захлопнулся. Исчез.
Гроза над джунглями. “Ой нет, не надо!”
В гостях Пат Пинк (треп против термояда).
Одиннадцать. “Ну, дальше ерунда”, —
Сказала ты. И началась тогда
Игра в телерулетку. Меркли лица.
Ты слову не давала воплотиться,
Шутам рекламным затыкала рты.
Какой-то хлюст прицелился, но ты
Была ловчей. Веселый негр трубу
Воздел. Щелчок. Телетеней судьбу
Рубин в твоем кольце вершил, искрясь:
“Ну, выключай!..” Порвалась жизни связь,
Крупица света съежилась во мраке
И умерла.
                                        Разбуженный собакой,
Папаша-Время встал из шалаша

Прибрежного, и кромкой камыша
Побрел, кряхтя. Он был уже не нужен.
Зевнула ты. Мы доедали ужин.
Дул ветер, дул. Дрожали стекла мелко.
"Не телефон?" — "Да нет". Я мыл тарелки,
Младые корни, старую скалу
Часы крошили, тикая в углу.

Двенадцать бьет. Что юным поздний час!
И вдруг, в стволах сосновых заблудясь,
Веселый свет плеснул на пятна снега,
И на ухабах наших встал с разбега
Патрульный "Форд"... Отснять бы дубль другой!..

Одни считали — срезать путь домой
Она пыталась, где, бывает, в стужу
От Экса к Ваю конькобежцы кружат,
Другие — что бедняжка заплуталась,
А третьи — что сама она сквиталась
С ненужной жизнью. Я все знал. И ты.

Шла оттепель, и падал с высоты
Свирепый ветр. Трещал в тумане лед.
Весна, озябнув, жалась у ворот
Под влажным светом звезд, в разбухшей глине.
К трескучей, жадно стонущей трясине
Из камышей, волнуемых темно,
Скользнула тень — и канула на дно.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Безлистый l'if! — большое "может статься"
Твое, Рабле. Большой батат.
Иль вкратце:
IPH — Institute of Preparation for
The Hereafter[1]. Я прозвал его

[1] Институт Подготовки к Потустороннему (*англ.*).

"Большое Если". Нужен был им лектор
Читать о смерти. Мак-Абер, их ректор,
Писал ко мне: "курс лекций про Червя".
Нью-Вай оставив, кроха, ты и я
Перебрались тогда в соседний штат, —
В Юшейд гористый. Я горам был рад.
Над нашим домом виснул снежный пик,
Столь пристально далек и дивно дик,
Что мы лишь заводили взгляд, не в силах
Его в себя вобрать. IPH слыл могилой
Младых умов; он был окрашен в тон
Фиалки и в бесплотность погружен.
Все ж не хватало в нем той дымки мглистой,
Что вожделенна столь для претериста.
Ведь мы же умираем каждый день:
Живую плоть, а не могилы тень
Забвенье точит; лучшие "вчера"
Сегодня — прах, пустая кожура.
Готов я стать былинкой, мотыльком,
Но никогда — забыть. Гори огнем
Любая вечность, если только в ней
Печаль и радость бренной жизни сей,
Страданье, страсть, та вспышка золотая,
Где самолет близ Геспера растаял,
Твой вздох из-за иссякших сигарет,
То, как ты смотришь на собаку, след
Улитки влажной по садовым плитам,
Флакон чернил добротных, рифма, ритм,
Резинка, что свивается, упав,
Поверженной восьмеркой, и стопа
Вот этих самых карточек, — не ждут
В надежной тверди неба.
Институт
Считал, напротив: стыдно мудрецам
Ждать многого от Рая. Что, как там
Никто не скажет "здрасте", ни встречать
Не выйдет вас, ни в тайны посвящать.
Что, как швырнут в бездонную юдоль,
И полетит душа, оставив боль

Несказанной, незавершенным дело,
Уже гниеньем тронутое тело —
Неприодетым, утренним, со сна,
Вдову — на ложе жалостном, она
Невнятным расплывается пятном
В сознании разъятом, нежилом!

IPH презирал богов (и "Г"), при этом
Мистический нес вздор, давал советы
(Очки с медовым тоном для ношенья
На склоне лет): как, ставши привиденьем,
Передвигаться, коль вы легче пуха,
Как просочиться сквозь собрата-духа,
А если попадется на пути
Сплошное тело — как его пройти;
Как отыскать в удушье и в тумане
Янтарный нежный шар, Страну Желаний.
Как в кутерьме пространств, галактик, сфер
Не одуреть. Еще был список мер
На случай неудачных инкарнаций:
Что делать, коль случится оказаться
Лягушкою на тракте оживленном,
Иль мевежонком под горящим кленом,
Или клопом, когда на Божий свет
Вдруг извлекут обжитый им Завет.

Суть времени — преемственность, а значит,
Безвременность корежит и иначит
Порядок чувств. Советы мы даем
Как быть вдовцу: он потерял двух жен;
Он их встречает — любящих, любимых,
Ревнующих друг к дружке. Обратима
По смерти жизнь. У прежнего пруда
Одна дитя качает, как тогда,
Со лба льняные пряди собирая,
Печальна и безмолвна; а другая,
Такая же блондинка, но с оттенком
Заметным рыжины, поджав коленки,

Сидит на балюстраде, влажный взор
Уставя в синий и пустой простор.
Как быть? Обнять? Кого? Какой забавой
Дитя развлечь? Недетски величавый,
Он помнит ли ту ночь на автостраде
И тот удар, убивший мать с дитятей?
А новая любовь — лодыжки тон
Балетным черным платьем оттенен, —
Зачем на ней другой жены кольцо?
Зачем гневливо юное лицо?

Нам ведомо из снов, как нелегки
С усопшими беседы, как глухи
Они к стыду, к испугу, к тошноте
И к чувству, что они — не те, не те.
Так школьный друг, что в дальнем пал сраженье,
В дверях кивком нас встретит и в смешенье
Приветливости и могильной стужи
Укажет на подвал, где стынут лужи.
И как узнать, что вспыхнет в глубине
Души, когда нас поведут к стене
По манию долдона и злодея,
Политика, гориллы в портупее?
Мысль прянет в выси, где всегда витала,
К атоллам рифм, к державам интеграла,
Мы будем слушать пенье петуха,
Разглядывать на плитах пленку мха,
Когда же наши царственные длани
Начнут вязать изменники, мы станем
Высмеивать невежество в их стаде
И плюнем им в глаза, хоть смеха ради.

А как изгою старому помочь,
В мотеле умирающему? Ночь
Кромсает вентилятор с гулким стоном,
По стенам пляшут отсветы неона,
Как будто бы минувшего рука
Швыряет самоцветы. Смерть близка.

Хрипит он и клянет на двух наречьях
Удушие, что легкие калечит.

Рывок, разрыв — мы к этому готовы.
Найдем le grand néant[1], иль может, новый
Виток вовне, пробивший клубня глаз.

Сказала ты, когда в последний раз
Мы шли по институту: "Если есть
На свете Ад, то он, должно быть, здесь".

Крематоры ворчали зло и глухо,
Когда вещал Могиллис, что для духа
Смертельна печь. Мы критики религий
Чурались. Наш Староувер Блю великий
Читал обзор о годности планет
Для жизни душ. Особый комитет
Решал судьбу зверей. Пищал китаец
О том, что для свершенья чайных таинств
Положено звать предков — и каких.
Фантомы По я раздирал в клочки
И разбирал то детское мерцанье —
Опала свет над недоступной гранью.
Был в слушателях пастор молодой
И коммунист седой. Любой устой
И партии, и церкви рушил IPH.

Поздней буддизм возрос там, отравив
Всю атмосферу. Медиум незваный
Явился, разлилась рекой нирвана,
Фра Карамазов неотступно блеял
Про "все дозволено". И страсть лелея
К возврату в матку, к родовым вертепам,
Фрейдистов школа разбрелась по склепам.

У тех безвкусных бредней я в долгу.
Я понял, чем я пренебречь могу,

---

[1] Великое ничто (*фр.*).

Взирая в бездну. И утратив дочь,
Я знал — уж ничего не будет: в ночь
Не отстучит дощечками сухими
Забредший дух ее родное имя
И не поманит нас с тобой фантом
Из-за гикори в садике ночном.

“Что там за странный треск? И что за стук?” —
“Всего лишь ставень наверху, мой друг”. —

“Раз ты не спишь, давай уж свет зажжем —
И в шахматы... Ах, ветер!” — “Что нам в том?” —

“Нет, все ж не ставень. Слышишь? Вот оно”. —
“То, верно, ветка стукнула в окно”. —

“Что ухнуло там, с крыши повалясь?” —
“То дряхлая зима упала в грязь”. —

“И что мне делать? Конь в ловушке мой!”

Кто скачет там в ночи под хладной мглой?
То горе автора. Свирепый, жуткий
Весенний ветер. То отец с малюткой.
Потом пошли часы и даже дни
Без памяти о ней. Так жизни нить
Скользит поспешно и узоры вяжет.
Среди сограждан, млеющих на пляже,
В Италии мы лето провели.
Вернулись восвояси и нашли,
Что горсть моих статей (“Неукрощенный
Морской конек”) “повергла всех ученых
В восторг” (купили триста экземпляров).
Опять пошла учеба, снова фары
По склонам гор поплыли в темноте
К благам образования, к мечте
Пустой. Переводила увлеченно
Ты на французский Марвелла и Донна.

Пронесся югом ураган "Лолита"
(То был год бурь), шпионил неприкрыто
Угрюмый росс. Тлел Марс. Шах обезумел.
Ланг сделал твой портрет. Потом я умер.

Клуб в Крашо заплатил мне за рассказ
О том, "В чем смысл поэзии для нас".
Вещал я скучно, но недолго. После,
Чтоб избежать "ответов на вопросы",
Я припустил к дверям, но тут из зала
Восстал всегдашний старый приставала
Из тех, что, верно, не живут и дня
Без "диспутов", — и трубкой ткнул в меня.

Тут и случилось — транс, упадок сил
Иль прежний приступ. К счастью, в зале был
Какой-то врач. К его ногам я сник.
Казалось, сердце встало. Долгий миг
Прошел, пока оно (без прежней прыти)
К конечной цели поплелось.
Внемлите!
Я, право, сам не знаю, что сознанью
Продиктовало: я уже за гранью,
И все, что я любил, навеки стерто.
Молчала неподвижная аорта,
Биясь, зашло упругое светило,
Кроваво-черное ничто взмесило
Систему тел, спряженных в глуби тел,
Спряженных в глуби тем, там, в темноте
Спряженных тоже. Явственно до жути
Передо мной ударила из мути
Фонтана белоснежного струя.

То был поток (мгновенно понял я)
Не наших атомов, и смысл всей сцены
Не нашим был. Ведь разум неизменно
Распознаёт подлог: в осоке — птицу,
В кривом сучке — личинку пяденицы,

А в капюшоне кобры — очерк крыл
Ночницы. Все же то, что заместил,
Перцептуально, белый мой фонтан,
Мог распознать лишь обитатель стран,
Куда забрел я на короткий миг.

Но вот истаял он, иссякнул, сник.
Еще в бесчувстве, я вернулся снова
В земную жизнь. Рассказ мой бестолковый
Развеселил врача: "Вы что, любезный!
Нам, медикам, доподлинно известно,
Что ни видений, ни галлюцинаций
В коллапсе не бывает. Может статься,
Потом, но уж во время — никогда". —
"Но доктор, я ведь умер!" —
"Ерунда".
Он улыбнулся: "То не смерти сень,
Тень, мистер Шейд, и даже — полутень!"

Но я не верил и в воображенье
Прокручивал все заново: ступени
Со сцены в зал, удушие, озноб
И странный жар, и снова этот сноб
Вставал, а я валился, но виной
Тому была не трубка, — миг такой
Настал, чтоб ровный оборвало ход
Хромое сердце, робот, обормот.

Виденье правдой веяло. Сквозила
В нем странной яви трепетная сила
И непреложность. Времени поток
Тех водных струй во мне стереть не мог.
Наружным блеском городов и споров
Наскучив, обращал я внутрь взоры,
Туда, где на закраине души
Сверкал фонтан. И в сладостной тиши
Я узнавал покой. Но вот возник
Однажды предо мной его двойник.

То был журнал: статья о миссис Z.,
Чье сердце возвратил на этот свет
Хирург проворный крепкою рукой.
В рассказе о "Стране за Пеленой"
Сияли витражи, хрипел орган
(Был список гимнов из Псалтыри дан),
Мать что-то пела, ангелы порхали,
В конце ж упоминалось: в дальней дали
Был сад, как в легкой дымке, а за ним
(Цитирую) "едва-то различим,
Вдруг поднялся, белея и клубя,
Фонтан. А дальше я пришла в себя".

Вот безымянный остров. Шкипер Шмидт
На нем находит неизвестный вид
Животного. Чуть позже шкипер Смит
Привозит шкуру. Всякий заключит,
Тот остров — не фантом. Фонтан, итак,
Был верной метой на пути во мрак —
Прочней кости, вещественнее зуба,
Почти вульгарный в истинности грубой.

Статью писал Джим Коутс. Адрес дамы
Узнав у Джима, я пустился прямо
На запад. Триста миль. Достиг. Узрел
Волос пушистых синеватый мел,
Веснушки на руках. Восторги. Всхлип
Наигранный. И понял я, что влип.

"Ах, право, ну кому бы не польстила
С таким поэтом встреча?" Ах, как мило,
Что я приехал. Я все норовил
Задать вопрос. Пустая трата сил.
"Ах, нет, потом". Дневник и все такое
Еще в журнале. Я махнул рукою.
Давясь от скуки, ел ее пирог
И день жалел, потраченный не впрок.
"Неужто это *вы!* Я так люблю
Тот ваш стишок из "Синего ревю" —

Что про Мон Блон. Племянница моя
На Маттерхорн взбиралась. Впрочем, я
Не все там поняла. Ну, звук, стопа —
Конечно, а вот смысл... Я так тупа!"

Воистину. Я мог бы настоять,
Я мог ее заставить описать
Фонтан, что оба мы "за пеленой"
Увидели. Но (думал я с тоской)
То и беда, что "оба". В слово это
Она вопьется, в нем найдя примету
Небесного родства, святую связь,
И души наши, трепетно слиясь,
Как брат с сестрой, замрут на грани звездной
Инцеста... "Жаль, уже, однако, поздно...
Пора".
В редакцию заехал я.
В стенном шкапу нашлась ее статья,
Дневник же Коутс отыскать не мог.
"Все точно, сохранил я даже слог.
Есть опечатка — но из несерьезных:
"Вулкан", а не "фонтан". М-да, грандиозно!"

Жизнь вечная, построенная впрок
На опечатке!.. Что ж, принять урок
И не пытаться в бездну заглянуть?
И вдруг я понял: истинная суть
Здесь, в контрапункте, — не в пустом виденье,
Но в том наоборотном совпаденье,
Не в тексте, но в текстуре, — в ней нависла
Среди бессмыслиц — паутина смысла.
Да! Будет и того, что жизнь дарит
Язя и вяза связь, как некий вид
Соотнесенных странностей игры,
Узор, который тешит до поры
И нас — и тех, кто в ту игру играет.

Не важно, кто. К нам свет не достигает
Их тайного жилья, но всякий час,

В игре миров, снуют они меж нас:
Кто продвигает пешку неизменно
В единороги, в фавны из эбена?
А кто убил балканского царя?
Кто гасит жизнь, другую жжет зазря?
Кто в небе глыбу льда с крыла сорвал,
Что фермера зашибла наповал?
Кто трубку и ключи мои ворует?
Кто миг любой невидимо связует
С минувшим и грядущим? Кто блюдет,
Чтоб здесь, внизу, вещей вершился ход
И колокол нездешний в выси бил?

Я в дом влетел: "Я убежден, Сибил..." —
"Прихлопни дверь. Как съездил?" — "Хорошо.
И сверх того, я, кажется, нашел...
Да нет, я убежден, что мне забрезжил
Путь к некой..." — "Да?" —
"Путь к призрачной надежде".

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Теперь за Красотой следить хочу,
Как не следил никто. Теперь вскричу,
Как не кричал никто. Возьмусь за то,
С чем сладить и не пробовал никто.
И к слову, я понять не в состоянье,
Как родились два способа писанья
В машинке этой чудной: способ *А*,
Когда трудится только голова, —
Слова плывут, поэт их судит строго
И в третий раз все ту же мылит ногу;
И способ *Б*: бумага, кабинет,
И чинно водит перышком поэт.

Тут пальцы строчку лепят, бой абстрактный
Конкретным претворяя: шар закатный

Вымарывая и в строки узду
Впрягая отлученную звезду;
И наконец выводят строчку эту
Тропой чернильной к робкому рассвету.
Но способ *А* — агония! горит
Висок под каской боли, а внутри
Отбойным молотком шурует муза,
И как ни напрягайся, сей обузы
Избыть нельзя, а бедный автомат
Все чистит зубы (пятый раз подряд)
Иль на угол спешит купить журнал,
Который уж три дня как прочитал.

Так в чем же дело? В том, что без пера
На три руки положена игра:
Чтоб выбрать рифму, чтоб хранить в уме
Строй прежних строк, и в этой кутерьме
Готовую держать перед глазами?
Иль вглубь идет процесс, коль нету с нами
Опоры лжи и фальши, пьедестала
Пиит — стола? Ведь сколько раз, бывало,
Устав черкать, я выходил из дома,
И скоро слово нужное, влекомо
Ко мне немой командою, стремглав
Слетало с ветки прямо на рукав.

Мне утро — час, мне лето — лучший срок.
Однажды сам себя я подстерег
В просонках — так, что половина тела
Еще спала, душа еще летела.
Я прянул ей вослед: топаз рассвета
Сверкал на листьях клевера; раздетый,
Стоял средь луга Шейд в одном ботинке.
Я понял: спит и эта половинка.
Тут обе прыснули, я сел в постели,
Скорлупку день проклюнул еле-еле,
И на траве, блистая ей под стать,
Стоял ботинок! Тайную печать

Оттиснул Шейд, таинственный дикарь,
Мираж, морока, эльфов летний царь.

Коль мой биограф будет слишком сух
Или несведущ, чтобы ляпнуть вслух:
"Шейд брился в ванне", — заявляю впрок:
"Над ванною тянулась поперек
Стальная полоса, чтоб пред собой
Он мог поставить зеркало, — нагой,
Сидел он, кран крутя ступнею правой,
Точь-в-точь король, — и как Марат, кровавый".

Чем я тучней, тем ненадежней кожа.
Такие есть места! — хоть рот, положим:
Пространство от гримасы до улыбки, —
Участок боли, взрезанный и хлипкий.
Посмотрим вниз: удавка для богатых,
Подбрюдок, — весь в лохмотьях и заплатах.
Адамов плод колюч. Скажу теперь
О горестях, о коих вам досель
Не сказывал никто. Семь, восемь. Чую,
И ста скребков не хватит, — и вслепую
Проткнув перстами сливки и клубнику,
Опять наткнусь на куст щетины дикой.

Меня смущает однорукий хват
В рекламе, что съезжает без преград
В единый мах от уха до ключицы
И гладит кожу любящей десницей.
А я из класса пуганых двуруких,
И как эфеб, что в танцевальном трюке
Рукой надежной крепко держит деву,
Я правую придерживаю левой.

Теперь скажу... Гораздо лучше мыла
То ощущенье ледяного пыла,
Которым жив поэт. Как слов стеченье,
Внезапный образ, холод вдохновенья

По коже трепетом тройным скользнет —
Так дыбом волоски. Ты помнишь тот
Мультфильм, где усу не давал упасть
Наш Крем, покуда косарь резал всласть?
Теперь скажу о зле, как посейчас
Не говорил никто. Мне мерзки: джаз,
Весь в белом псих, что черного казнит
Быка в багровых брызгах, пошлый вид
Искусств абстрактных, лживый примитив,
В универмагах музыка в разлив,
Фрейд, Маркс, их бред, идейный пень с кастетом,
Убогий ум и дутые поэты.
Пока, скрипя, страной моей щеки
Тащится лезвие, грузовики
Ревут на автостраде, и машины
Ползут по склонам скул, и лайнер чинно
Заходит в гавань; в солнечных очках
Турист бредет по Бейруту, — в полях
Старинной Земблы между ртом и носом
Идут стерней рабы и сено косят.

Жизнь человека — комментарий к темной
Поэме без конца. Пойдет. Запомни.

Брожу по дому. Рифму ль отыщу,
Штаны ли натяну. С собой тащу
Рожок для обуви. Иль ложку?.. Съем
Яйцо. Ты отвезешь меня затем
В библиотеку. А в часу седьмом
Обедаем. И вечно за плечом
Маячит муза, оборотень странный, —
В машине, в кресле, в нише ресторанной.

И всякий миг, любовь моя, ты снова
Со мной, — превыше слога, ниже слова,
Ты ритм творишь. Как в прежние века
Шум платья слышен был издалека,
Так мысль твою привык я различать
Заранее. Ты — юность. И опять

В твоих устах прозрачны и легки
Тебе мной посвященные стихи.

"Залив в тумане" — первый сборник мой
(Свободный стих), за ним — "Ночной прибой"
И "Кубок Гебы". Влажный карнавал
Здесь завершился — после издавал
Я лишь "Стихи". (Но *эта* штука манит
В себя луну. Ну, Вилли! "Бледный пламень"!)

Проходит день под мягкий говорок
Гармонии. Мозг высох. Летунок
Каурый и глагол, что я приметил,
Но в стих не взял, подсохли на цементе.
Да, тем и люб мне Эхо робкий сын,
Consonne d'appui[1], что чувствую за ним
Продуманную в тонкостях, обильно
Рифмованную жизнь.
И мне посильно
Постигнуть бытие (не все, но часть
Мельчайшую, мою) лишь через связь
С моим искусством, с таинством сближений,
С восторгом прихотливых сопряжений;
Подозреваю, мир светил, — как мой, —
Весь сочинен ямбической строкой.

Я верую разумно: смерти нам
Не следует бояться, — где-то там
Она нас ждет, как верую, что снова
Я встану завтра в шесть, двадцать второго
Июля, в пятьдесят девятый год,
И верю, день нетягостно пройдет.
Что ж, заведу будильник, и зевну,
И Шейдовы стихи в их ряд верну.

Но спать ложиться рано. Светит солнце
У Саттона в последних два оконца.

[1] Опорная согласная (*фр.*).

Ему теперь — за восемьдесят? Старше
Меня он вдвое был в год свадьбы нашей.
А где же ты? В саду? Я вижу тень
С пеканом рядом. Где-то, трень да брень,
Подковы бьют (как бы хмельной повеса
В фонарный столб). И темная ванесса
С каймой багровой в низком солнце тает,
Садится на песок, с чернильным краем
И белым крепом крылья приоткрыв.
Сквозь световой прилив, теней отлив,
Ее не удостаивая взглядом,
Бредет садовник (тут он где-то рядом
Работает) — и тачку волочет.



КОММЕНТАРИЙ

Строки 1—4: Я тень, я свиристель, убитый влет и т. д. Образ, содержащийся в этих начальных строках, относится, очевидно, к птице, на полном лету разбившейся о внешнюю плоскость оконного стекла, где отраженное небо с его чуть более темным тоном и чуть более медлительными облаками представляет иллюзию продления пространства. Мы можем вообразить Джона Шейда в раннем отрочестве — физически непривлекательного, но во всех прочих отношениях прекрасно развитого парнишку — переживающим свое первое эсхатологическое потрясение, когда он неверящей рукой поднимает с травы тугое овальное тельце и глядит на сургучно-красные прожилки, украшающие серо-бурые крылья, и на изящное рулевое перо с вершинкой желтой и яркой, словно свежая краска. Когда в последний год жизни Шейда мне выпало счастье соседствовать с ним в идиллических всхолмиях Нью-Вая (смотри Предисловие), я часто видел именно этих птиц, весьма компанейски пирующих среди меловато-сизых ягод можжевеловки, выросшей об угол с его домом (смотри также строки 181—182).

Мои сведения о садовых Aves[1] ограничивались представителями Северной Европы, однако молодой нью-вайский садовник, в котором я принимал участие (смотри примечание к строке 998), помог мне отождествить немалое число силуэтов и комических арий маленьких, с виду совсем тропических чужестранцев и, натурально, макушка каждого дерева пролагала пунктиром путь к труду по орнитологии на моем столе, к которому я кидался с лужайки в номенклатурной ажитации. Как тяжело я трудился, приделывая

---

[1] Птицы (*лат.*).

имя "зарянка" к самозванцу из предместий, к крупной птахе в помятом тускло-красном кафтане, с отвратным пылом поглощавшей длинных, печальных, послушных червей!

Кстати, любопытно отметить, что хохлистая птичка, называемая по-земблянски *sampel* ("шелковый хвостик") и очень похожая на свиристель и очерком, и окрасом, явилась моделью для одной из трех геральдических тварей (двумя другими были, соответственно, олень северный, цвета натурального, и водяной лазурный, волосистый тож) в гербе земблянского короля Карла Возлюбленного (р.1915), о славных горестях которого я так часто беседовал с моим другом.

Поэма началась в точке мертвого равновесия года, в первые послеполуночные минуты 1 июля, я в это время играл в шахматы с юным иранцем, завербованным в наши летние классы, и я не сомневаюсь, что наш поэт понял бы одолевающее аннотатора искушение — связать с этой датой некоторое роковое событие — отбытие из Земблы будущего цареубийцы, человека именем Градус. На самом деле Градус вылетел из Онгавы на Копенгаген 5 июля.

Строка 12: в хрустальнейшей стране

Возможно, аллюзия на Земблу, мою милую родину. За этим в разрозненном, наполовину стертом черновике следуют строки, в точности прочтения которых я не вполне уверен:

Ах, не забыть бы рассказать о том,
Что мне поведал друг о короле одном.

Увы, он рассказал бы гораздо больше, когда бы домашняя антикарлистка не цензурировала всякую сообщаемую ей строку! Множество раз я шутливо корил его: "Ну, пообещайте же мне, что используете весь этот великолепный материал, гадкий вы, сивый поэт!" И мы хихикали с ним, как мальчишки. Ну а затем, после вдохновительной вечерней прогулки, ему приходилось возвращаться, и угрюмая ночь разводила мосты между его неприступной твердыней и моим скромным жилищем.

Правление этого короля (1936—1958) сохранится в памяти хотя бы немногих проницательных историков как правление мирное и элегантное. Благодаря гибкой системе обдуманных альянсов, ни разу за этот срок Марс не запятнал своего послужного списка. Народный Дом (парламент) работал себе, пока в него не прокрались коррупция, измена и экстремизм, в совершенной гармонии с Королевским Советом. Гармония воистину была девизом правления. Изящные искусства и отвлеченные науки процветали. Техникология, прикладная физика, индустриальная химия и прочее в этом роде претерпевали расцвет. Упорно подрастал в Онгаве небольшой небоскреб из ультрамаринового стекла. Казалось, улучшается даже климат. Налогообложенис обратилось в произведение искусства. Бедные слегка богатели, а богатые потихоньку беднели (в согласии с тем, что, может быть, станет когда-то известным в качестве “закона Кинбота”). Уход за здоровьем распространился до крайних пределов государства: все реже и реже во время его турне по стране, — каждую осень, когда обвисали под грузом коралловых гроздьев рябины и рябило вдоль луж мусковитом, — доброжелательного и речистого короля прерывали коклюшные “выхлопы” в толпе школяров. Стал популярен парашютизм. Словом, удовлетворены были все, даже политические смутьяны — эти с удовлетворением смутьянничали на деньги, которые платил им удовлетворенный *Shaber* (гигантский земблянский сосед). Но не будем вдаваться в этот скучный предмет.

Вернемся к королю: возьмем хотя бы вопрос личной культуры. Часто ли короли углубляются в какие-либо специальные исследования? Конхиологов между ними можно счесть по пальцам одной увечной руки. Последний же король Земблы — частью под влиянием дяди его, Конмаля, великого переводчика Шекспира (смотри примечания к строкам 39—40 и 962), — обнаружил, и это при частых мигренях, страстную склонность к изучению литературы. В сорок лет, незадолго до падения его трона, он приобрел такую ученость, что решился внять сиплой предсмертной просьбе маститого дяди: “Учи, Карлик!” Конечно, монарху не подобало в ученой мантилье являться в университете и

с лекторского налоя преподносить цветущей юности "Finnigan's Wake" в качестве чудовищного продолжения "несвязных трансакций" Ангуса Мак-Диармида и "лингогранде" Саути ("Дорогое шлюхозадое" и т. п.) или обсуждать собранные в 1798 году Ходынским земблянские варианты *"Kongs-skugg-sio"* ("Зерцало короля") — анонимного шедевра двенадцатого столетия. Поэтому лекции он читал под присвоенным именем, в густом гриме, в парике и с накладной бородой. Все буробородые, яблоколикие, лазурно-глазастые земляне выглядывают на одно лицо, и я, не брившийся вот уже год, весьма схож с моим преображенным монархом (смотри также примечание к строке 894).

В эту пору учительства Карл-Ксаверий взял за обычай, по примеру прочих его ученых сограждан, ночевать в pied-à-terre[1], снятом им на Кориолановой Канаве: очаровательная студия с центральным отоплением и смежные с нею ванная и кухонька. С ностальгическим наслаждением вспоминаешь ее блекло-серый ковер и жемчужно-серые стены (одну из которых украшала одинокая копия "Chandelier, pot et casserole émailée"[2] Пикассо), полочку с замшевыми поэтами и девическую кушетку под пледом из поддельной гималайской панды. Сколь далеки представлялись от этой ясной простоты Дворец и омерзительная Палата Совета с ее неразрешимыми затруднениями и запуганными советниками!

Строка 17: *В ограду сини вкрадчиво-скользящей;*
строка 29: *грея*

По необычайному совпадению, врожденному, быть может, контрапунктическому художеству Шейда, поэт наш, кажется, называет здесь человека, с которым ему привелось на одно роковое мгновение свидеться три недели спустя, но о существовании которого он в это время (2 июля) знать не мог. Сам Иакоб Градус называл себя розно — Джеком Дегре или Жаком де Грие, а то еще Джеймсом де Грей, — он появляется также в полицейских досье как Равус, Равен-

[1] Пристанище, временное жилище (*фр.*).
[2] "Подсвечник, кувшин и эмалированная кастрюля" (*фр.*).

стоун и д'Аргус. Питая нездоровую страсть к ражей и рыжей России советской поры, он уверял, что истинные корни его фамилии должно искать в русском слове "виноград", из коего добавленьем латинского суффикса ферментировался "Виноградус". Отец его, Мартын Градус, был протестанским пастырем в Риге, но, не считая его да еще дяди по матери (Романа Целовальникова — полицейского пристава и по совместительству члена партии социал-революционеров), весь клан, похоже, занимался виноторговлей. Мартын Градус помер в 1920 году, а его вдова переехала в Страсбург, где также вскоре померла. Еще один Градус, купец из Эльзаса, который, как это ни странно, вовсе не приходился кровником нашему убивцу, но многие годы состоял в близком партнерстве с его родней, усыновил мальчишку и вырастил его со своими детьми. Одно время юный Градус словно бы изучал фармакологию в Цюрихе, другое — странствовал по мглистым виноградникам разъездным дегустатором вин. Затем мы находим его погруженным в различные подрывные делишки, — он печатает сварливые брошюрки, служит связным в невнятных синдикалистских группках, организует стачки на стекольных заводах и прочее в этом же роде. Где-то в сороковых он приезжает в Земблу торговать коньяком. Женится здесь на дочке хозяина забегаловки. Связи его с партией экстремистов восходят еще ко времени первых ее корявых корчей, и когда рявкнула революция, скромный организаторский дар Градуса снискал ему кое-какое признание в учреждениях разного рода. Его отъезд в Западную Европу с пакостной целью в душе и с заряженным пистолетом в кармане произошел в тот самый день, когда безобидный поэт в безобидной стране начал Песнь вторую "Бледного пламени". Мысленно мы будем неотлучно сопровождать Градуса в его пути из далекой туманной Земблы в зеленое Аппалачие на всем протяженье поэмы, — идущим тропой ее тропов, проскакивающим на рифме верхом, удирающим за угол в переносе, дышащим в цезуре, машисто, будто с ветки на ветку спадающим со строки на строку, затаившимся между словами (смотри примечание к строке 596) и снова выскакивающим на горизонте новой Песни, — упор-

но близясь ямбической поступью, пересекая улицы, взъезжая с чемоданом в руке по эскалатору пятистопника, соступая с него, заворачивая в новый ход мысли, входя в вестибюль отеля, гася лампу, покамест Шейд вычеркивает слово, и засыпая, едва поэт отложит на ночь перо.

Строка 27: *Из "Хольмса", что ли* и т. д.

Горбоносый, долговязый, довольно симпатичный частный сыщик, главный герой многочисленных рассказов Конэна Дойла. Я сейчас не имею возможности выяснить, на который из них ссылается Шейд, но подозреваю, что поэт попросту выдумал "Дело о попятных следах".

Строка 35: *капели стылые стилеты*

Как настойчиво возвращается поэт к образам зимы в зачине поэмы, начатой им благоуханной летней ночью! Понять механику ассоциации несложно (стекло ведет к кристаллу, кристалл — ко льду), но скрытый за нею суфлер остается неразличимым. Скромность не позволяет мне предположить, что зимний день, в который впервые встретились поэт и его будущий комментатор, как бы предъявляет здесь права на действительное время года. В прелестной строке, открывающей настоящее примечание, читателю следует приглядеться к первому слову. Мой словарь определяет его так: "Капель (капельница, капелла) — череда капель, спадающих со стрехи, — стрехопадение". Помнится, впервые я встретил его в стихотворении Томаса Гарди. Прозрачный мороз увековечил прозрачное пенье капеллы. Стоит отметить также промельк темы "плаща и кинжала" в "стылых стилетах" и тень Леты в рифме.

Строки 39—40: *Прикрыть глаза* и т. д.

В черновиках эти строки представлены вариантом:

39 .... и тащит, словно вор, сюда
40 Луна — листву и солнце — брызги льда.

Нельзя не вспомнить то место из "Тимона Афинского" (акт IV, сцена 3), где мизантроп беседует с троицей грабителей. Не имея библиотеки в этой заброшенной бревенча-

той хижине, где я живу, словно Тимон в пещере, я принужден цитирования ради перевести это место прозой по земблянской поэтической версии, которая, надеюсь, довольно близка к исходному тексту или хотя бы верно передает его дух:

Солнце — вор: оно приманивает море
И грабит его. Месяц — вор:
Свой серебристый свет она стянула у солнца.
Море — вор: оно переплавляет месяц.

Достойную оценку выполненных Конмалем переводов Шекспировых творений смотри в примечании к строке 962.

Строка 41—42: видеть... мог я

К концу мая я мог видеть очертания некоторых моих образов в той форме, которую способен был придать им его гений, к середине июня я ощутил наконец уверенность, что он воссоздаст в поэме ослепительную Земблу, сжигающую мой мозг. Я околдовал ею поэта, я опоил его моими видениями, с буйной щедростью пропойцы я обрушил на него все, что сам не в силах был перевести на язык и слог поэзии. Право, нелегко будет сыскать в истории литературы схожий случай, — когда двое людей, розных происхождением, воспитанием, ассоциативным складом, интонацией духа и тональностью ума, из коих один — космополит-ученый, а другой — поэт-домосед, вступают в тайный союз подобного рода. Наконец я уверился, что он переполнен моей Земблой, что рифмы распирают его и готовы прыснуть по первому мановенью ресницы. При всякой возможности я понукал его отбросить привычку лености и взяться за перо. Мой карманный дневничок пестрит такими, к примеру, заметками: "Присоветовал героический размер", "вновь рассказывал о побеге", "предложил воспользоваться покойной комнатой в моем доме", "говорили о том, чтобы записать для него мой голос" и вот, датированное 3 июля: "поэма начата!"

И хоть я слишком ясно, увы, сознаю, что результат в его конечном, прозрачном и призрачном фазисе нельзя рассматривать как прямое эхо моих рассказов (из которых,

между прочим, в комментарии — и преимущественно к Песни первой — приводится лишь несколько отрывков), вряд ли можно усомниться и в том, что закатная роскошь этих бесед, словно каталитический агент повлияла на самый процесс сдержанной творческой фрагментации, позволившей Шейду в три недели создать поэму в 1000 строк. Сверх того, и в красках поэмы присутствует симптоматическое семейственное сходство с моими повестями. Перечитывая, не без приятности, мои комментарии и его строки, я не раз поймал себя на том, что перенимаю у этого пламенного светила — у моего поэта — как бы опалесцирующее свечение, подражая слогу его критических опытов. Впрочем, пускай и вдова его, и коллеги забудут о заботах и насладятся плодами всех тех советов, что давали они моему благодушному другу. О да, окончательный текст поэмы целиком принадлежит ему.

Если мы отбросим, а я думаю, что нам следует сделать это, три мимолетных ссылки на царствующих особ (*605*, *821* и *894*) вместе с "Земблой" Попа, встречаемой в строке 937, мы будем вправе заключить, что из окончательного текста "Бледного пламени" безжалостно и преднамеренно вынуты любые следы привнесенного мной материала, но мы заметим и то, что, несмотря на надзор над поэтом, учиненный домашней цензурой и Бог его знает кем еще, он дал королю-изгнаннику прибежище под сводами сохраненных им вариантов, ибо наметки не менее чем тринадцати стихов, превосходнейших певучих стихов (приведенных мной в примечаниях к строкам 70, 80 и 130, — все в Песни первой, над которой он, по-видимому, работал, пользуясь большей, чем в дальнейшем, свободой творчества) несут особенный отпечаток моей темы, — малый, но неложный ореол, звездный блик моих рассказов о Зембле и несчастном ее государе.

Строки 47—48: *лужайку и потертый домишко меж Вордсмитом и Гольдсвортом*

Первое имя относится, конечно, к Вордсмитскому университету. Второе же обозначает дом на Далвич-роуд, снятый мною у Хью Уоренна Гольдсворта, авторитета в обла-

сти римского права и знаменитого судьи. Я не имел удовольствия встретиться с моим домохозяином, но почерк его мне пришлось освоить не хуже, чем почерк Шейда. Внушая нам мысль о срединном расположении между двумя этими местами, поэт наш заботится не о пространственной точности, но об остроумном обмене слогов, заставляющем вспомнить двух мастеров героического куплета, между которыми он поселил свою музу. В действительности "лужайка и потертый домишко" отстояли на пять миль к западу от Вордсмитского университета и лишь на полсотни ярдов или около того — от моих восточных окон.

В Предисловии к этому труду я имел уже случай сообщить нечто об удобствах моего жилища. Очаровательная и очаровательно неточная дама (смотри примечание к строке 692), которая раздобыла его для меня, заглазно, имела, вне всяких сомнений, лучшие из побуждений, не забудем к тому же, что вся округа почитала этот дом за его "старосветские изящество и просторность". На деле то был старый, убогий, черно-белый, деревянно-кирпичный домина, у нас такие зовутся *wodnaggen*, — с резными фронтонами, стрельчатыми продувными окошками и так называемым "полупочтенным" балконом, венчающим уродливую веранду. Судья Гольдсворт обладал женой и четырьмя дочерьми. Семейные фотографии встретили меня в передней и проводили по всему дому из комнаты в комнату, и хоть я уверен, что Альфина (9), Бетти (10), Виргини (11) и Гинвер (12) скоро уже превратятся из егозливых школьниц в элегантных девиц и заботливых матерей, должен признаться, эти их кукольные личики раздражили меня до такой крайности, что я в конце концов одну за одной поснимал их со стенок и захоронил в чулане, под шеренгой их же повешенных до зимы одежек в целлофановых саванах. В кабинете я нашел большой портрет родителей, на котором они обменялись полами: м-с Г. смахивала на Маленкова, а м-р Г. — на старую ведьму с шевелюрой Медузы, — я заменил и его: репродукцией моего любимца, раннего Пикассо, — земной мальчик, ведущий коня, как грозовую тучу. Я, впрочем, не стал утруждать себя возней с семейными книгами, также рассеянными по всему дому, — четыре

комплекта разновозрастных “Детских энциклопедий” и солидный переросток, лезущий с полки на полку вдоль лестничных маршей, чтобы прорваться аппендиксом на чердаке. Судя по книжкам из будуара миссис Гольдсворт, ее умственные запросы достигли полного, так сказать, созревания, проделав путь от Аборта до Ясперса. Глава этого азбучного семейства также держал библиотеку, однако она состояла по преимуществу из правоведческих трудов и множества пухлых гроссбухов с буквицами по корешкам. Все, что мог отыскать здесь профан для поучения и потехи, вместилось в сафьянный альбом, куда судья любовно вклеивал жизнеописания и портреты тех, кого он посадил за решетку или на электрический стул: незабываемые лица слабоумных громил, последние затяжки и последние ухмылки, вполне обыкновенные с виду руки душителя, самодельная вдовушка, тесно посаженные немилосердные зенки убийцы-маниака (чем-то похожего, допускаю, на покойника Жака д’Аргуса), бойкий отцеубийца годочков семи (“А ну-ка, сынок, расскажи-ка ты нам —”) и грустный, грузный старик-педераст, взорвавший зарвавшегося шантажиста на воздух. Отчасти подивило меня то, что домашним хозяйством правил именно мой ученый владетель, а не его “миссус”. Не только оставил он для меня подробнейшую опись домашней утвари, обступившей нового поселенца подобно толпе недружелюбных туземцев, он потратил еще великие труды, выписав на листочки рекомендации, пояснения, предписания и дополнительные реестры. Все, к чему я касался в первый свой день, предъявляло мне образцы гольдсвортианы. Я отворял лекарственный шкапчик во второй ванной комнате, и оттуда выпархивала депеша, указующая, что кармашек для использованных бритвенных лезвий слишком забит, чтобы пользоваться им и впредь. Я распахивал рефриджератор, и он сурово уведомлял меня, что в него не положено класть “каких бы то ни было национальных кушаний, обладающих трудно устранимым запахом”. Я вытягивал средний ящик стола в кабинете — и находил там catalogue raisonné[1]

[1] Аннотированный каталог (*фр.*).

его скудного содержимого, каковое включало комплект пепельниц, дамасский нож для бумаг (описанный как "старинный кинжал, привезенный с Востока отцом миссис Гольдсворт") и старый, но неистраченный карманный дневник, с надеждой дозревающий здесь времен, когда проделает полный круг и вернется к нему согласный на все календарь. Среди множества подробнейших извещений, прикрепленных к особой доске в кладовке, — поучений по слесарно-водопроводному делу, диссертаций об электричестве и трактатов о кактусах, — я нашел диету для черной кошки, доставшейся мне в виде приложения к дому:

Пон, Ср, Пятн: Печенка
Вт, Четв, Субб: Рыба
Воскр: Рубленое мясо

(Все, что она от меня получила, — это молоко и сардинки. Приятная была зверушка, но скоро ее маята стала действовать мне на нервы, и я сдал ее в аренду миссис Финлей, поломойке.) Но самое, быть может, уморительное уведомление касалось обхождения с оконными шторами, которые мне надлежало задергивать и раздирать различными способами в различное время суток, дабы не дать солнцу добраться до мебели. Для нескольких окон описывалось расположенье светила, подневное и посезонное, и если бы я и впрямь все это проделывал, быть бы мне заняту не меньше участника регаты. Имелась, правда, оговорка со щедрым предположением, что, может быть, я — чем орудовать шторами — предпочту таскать и перетаскивать из солнечных пределов наиболее драгоценные предметы (как то: два вышитых кресла и тяжеленную "королевскую консоль"), но совершать это следовало осторожно, дабы не поцарапать стенные багетки. Я не могу, к сожалению, воссоздать точной схемы перестановок, но припоминаю, что мне надлежало производить длинную рокировку перед сном и короткую сразу же после. Милый мой Шейд ревел от смеха, когда я пригласил его на ознакомительную прогулку и позволил самому отыскать несколько таких захоронок. Слава Богу, его здоровое веселье разрядило атмосферу

damnum infectum[1], в которой я вынужден был обретаться. Он, со своей стороны, попотчевал меня многими анекдотами касательно суховатого юмора судьи и повадок, присущих ему в заседательной зале, в большинстве то были, конечно, фольклорные преувеличения, кое-что — явные выдумки, впрочем, все вполне безобидные. Шейд не стал смаковать смехотворных историй, — добрый старый мой друг не был до них охоч, — о страшных тенях, которые отбрасывала на преступный мир мантия судьи Гольдсворта, о том, как иной злодей, сидя в темнице, буквально издыхает от *raghdirst* (жажды мести), всех этих глумливых пошлостей, разносимых бездушными, скабрезными людьми, для которых попросту не существует романтики, дальних стран, опушенных котиком алых небес, сумрачных дюн сказочного королевства. Но будет об этом. Я не желаю мять и корежить недвусмысленный apparatus criticus[2], придавая ему кошмарное сходство с романом.

Ныне для меня невозможным было бы описание жилища Шейда на языке зодчества — да, собственно, на любом другом, кроме языка щелок, просветов, удач, окаймленных оконной рамой. Как упоминалось уже (смотри Предисловие), явилось лето и привело за собой оптические затруднения: притязательница-листва не всегда разделяла со мною взгляды, она затмила зеленый монокль непроницаемой пеленой, превратясь из ограды в преграду. Тем временем (3 июля, согласно моему дневнику) я вызнал — от Сибил, не от Джона, — что друг мой начал большую поэму. Пару дней не видев его, я ухватился за случай и занес ему кое-какую третьеразрядную почту — из придорожного почтового ящика, стоявшего рядом с Гольдсвортовым (которым я напрочь пренебрег, оставив его забиваться брошюрками, местной рекламой, торговыми каталогами и прочим сором этого сорта), — и наткнулся на Сибил, до поры скрытую кустами от моего соколиного ока. В соломенной шляпке и в садовых перчатках, она сидела на корточках

[1] Возможный, хоть и не нанесенный ущерб — юридический термин (*лат.*).

[2] Критический аппарат (*лат.*).

перед грядкой цветов, что-то там подрезая или выдергивая, и ее тесные коричневые брюки напомнили мне "мандолиновые лосины" (как я шутливо прозвал их), какие нашивала когда-то моя жена. Она сказала, что не стоит забивать ему голову этой рекламной дребеденью, и добавила к сведению, что он "начал настоящую большую поэму". Кровь бросилась мне в лицо, я что-то промямлил о том, что он пока ничего мне из нее не показывал, она же распрямилась, отбросила со лба черные с проседью пряди, с удивлением на меня поглядела и сказала: "Что значит ничего не показывал? Он ничего незаконченного никогда никому не показывает. Никогда-никогда. Он с вами даже разговаривать о ней не станет, пока не кончит совсем". Вот в это я поверить не мог, но вскоре уяснил из бесед с моим ставшим вдруг странно сдержанным другом, что благоверная изрядно вымуштровала его. Когда я пробовал расшевелить его добродушными колкостями вроде того, что "людям, живущим в стеклянных домах, не стоит писать поэм", он только зевал, встряхивал головой и отвечал, что "иностранцам лучше держаться подальше от старых пословиц". Тем не менее стремление вызнать, что делает он со всем живым, чарующим, трепетным и мерцающим материалом, который я перед ним развернул, жгучая жажда видеть его за работой (пусть даже плоды этой работы запретны для меня) оказались слишком мучительны и неутолимы и толкнули меня к разнузданному шпионству, которого никакие стыдливые соображения сдержать уже не могли.

Хорошо известно, как на протяжении многих веков облегчали окна жизнь повествователям разных книг. Впрочем, теперешний соглядатай ни разу не смог сравниться в удачливости подслушивания ни с "Героем нашего времени", ни с вездесущим — "Утраченного". Все же порой выпадали и мне мгновения счастливой охоты. Когда мое стрельчатое окно перестало служить мне из-за буйного разрастания ильма, я отыскал на краю веранды обвитый плющом уголок, откуда отлично был виден фронтон поэтова дома. Пожелай я увидеть южную его сторону, мне довольно было пройти на зады моего гаража и по-над изгибом бегущей с холма дороги смотреть, притаясь за стволом

тюльпанного дерева, на несколько самоцветно-ярких окон, ибо он никогда штор не задергивал (*она* — это да). Когда же меня влекла противная сторона, все, что требовалось проделать, — это взойти по холму к верхнему саду, где мой телохранитель, черный верес, следил за звездами, и знаменьями, и за заплатами бледного света под одиноким фонарным столбом там, внизу, на дороге. Первый порыв весны как бы выкурил призраков, и я одолел весьма своеобразные и очень личные страхи, о которых сказано в ином месте (смотри примечание к строке 64), и не без удовольствия проходил в темноте травянистым и каменистым отрогом моих владений, заканчивающимся в рощице псевдоакаций, чуть выше северной стороны дома поэта.

Однажды, три десятилетия тому, в нежном, в ужасном моем отрочестве, мне довелось увидать человека в минуту его соприкосновения с Богом. В перерыве между репетициями гимнов я забрел в так называемый Розовый Дворик, что помещается позади Герцоговой Капеллы в моей родной Онгаве. Пока я томился там, поочередно прикладывая голые икры к гладкой прохладе колонны, я слышал далекие сладкие голоса, сплетавшиеся в приглушенную мелодию мальчишеского веселья, которое помешала мне разделить случайная неурядица, ревнивая ссора с одним пареньком. Звук торопливых шагов заставил меня оторвать унылый взор от штучной мозаики дворика — от реалистических розовых лепестков, вырезанных из родштейна, и крупных, почти осязаемых терний из зеленоватого мрамора. Сюда, в эти розы и тернии, вступила черная тень: высокий, бледный, длинноносый и темноволосый молодой послушник, раз или два уже виденный мною окрест, размашистым шагом вышел из ризницы и, не заметив меня, стал посреди двора. Виноватое омерзение кривило его тонкие губы. Он был в очках. Сжатые кулаки, казалось, стискивали тюремные прутья. Но благодать, которую в состоянии восприять человек, безмерна. Внезапно весь его облик исполнился восторга и благоговения. Я никогда до того не видывал подобного всплеска блаженства, но я различал нечто от этого блеска, от этой духовной силы и дивного видения теперь, в чужой стране, отраженным на грубом, невзрачном

лице Джона Шейда. Как же я радовался, когда бдения, коим я предавался во всю весну, уготовили мне возможность увидеть его колдовские труды посреди волшебного сна летней ночи! Я досконально узнал, где и когда смогу я сыскать лучшую точку для наблюдений за очерками его вдохновения. Издалека находил его мой бинокль, фокусируясь на разных его рабочих местах: ночью, в синеватом сиянии верхнего кабинета, где зеркало любезно отражало мне согбенные плечи и карандаш, которым он копал в ухе (порою обозревая кончик и даже пробуя его на язык), поутру — затаившимся в рябом полумраке кабинета на втором этаже, где яркий графинчик с вином тихо плыл от карточечного ящика к конторке и с конторки на книжную полку, чтобы укрыться там при нужде за Дантовым бюстом, жарким днем — среди роз схожей с беседкой веранды, сквозь гирлянды которой я различал клочок клеенки, локоть на ней и по-херувимски пухлый кулак, подпиравший и морщивший висок. Случайности перспективы и освещения, назойливость листвы или архитектурных деталей обычно не позволяли мне явственно видеть его лицо, и может статься, природа устроила так, чтобы укрыть таинство зачатия от возможного хищника, но временами, когда поэт вышагивал взад-вперед по своей лужайке или усаживался походя на скамейку окрай нее, или медлил под своим любимцем гикори, я различал выражение страстного интереса, с которым он следил за образами, облекавшимися в его сознании в слова, и я знал, — что бы ни говорил мой агностический друг в отрицание этого, — в *такие* минуты Господь Наш был с ним.

В иные ночи, когда задолго до обычного времени, в какое отходили ко сну обитатели дома, он оставался темным с трех сторон, обозримых из трех моих наблюдательных пунктов, и сама эта тьма говорила мне, что они дома. Их машина стояла у гаража, но я не верил, чтобы они ушли пешком, потому как тогда был бы оставлен свет над крыльцом. Последующие размышления и дедуктивные выкладки убедили меня, что ночь великой нужды, в которую я решился проверить, в чем дело, пришлась на 11 июля — на дату завершения Шейдом Песни второй. Ночь стояла душ-

ная, темная, бурная. Через кусты я крался к тылам их дома. Вначале мне показалось, что эта, четвертая, сторона также темна, — значит, можно поворотить назад, испытав на время странное облегчение, — но тут я приметил блеклый квадратик света под окном маленькой тыльной гостиной, в которой я никогда не бывал. Окно было распахнуто. Длинноногая лампа с как бы пергаментным абажуром освещала пол комнаты, и в ней я увидел Сибил и Джона, — ее сидящей бочком, спиной ко мне на краешке кушетки, а его — на подушке рядом с кушеткой, с которой он сгребал в колоду раскиданные после пасьянса карты. Сибил то зябко подрагивала, то сморкалась, у Джона было мокрое, в пятнах, лицо. Еще не зная тогда, какого рода писчей бумагой пользуется мой друг, я невольно подивился, с чего бы это исход карточной забавы вызвал такие слезы. Пытаясь получше все рассмотреть, я навалился коленями на гадкую оградку из податливых пластмассовых ящиков и своротил гулкую крышку с мусорного бачка. Это, конечно, можно было ошибкой принять за работу ветра, но Сибил ненавидела ветер. Она сразу вспрыгнула со своего насеста, захлопнула окно и опустила визгливую штору.

Назад, в мой безрадостный домицилий, я плелся с тяжелой душой и озадаченным разумом. Тяжесть где была, там и осталась, задачка же разрешилась несколько дней спустя, — было это, скорее всего, в день Св. Свитина, ибо я нахожу под этой датой в моем дневничке предвосхищающее: *"promnad vespert mid J.S."*, перечеркнутое с надсадой, надломившей грифель посередине строки. Ждав-прождав, когда же дружок мой выйдет ко мне на лужок, покамест багрец заката не покрылся сумрачным пеплом, я дошел до их передних дверей, поколебался, оценил мрак и безмолвие и пошел кругом дома. На сей раз и проблеска не исходило из тыльной гостиной, но в прозаическом, ярком кухонном свете я различил белеющий край стола и Сибил, сидящую за ним с выражением такого блаженства, что можно было подумать, будто она сию минуту сочинила новый рецепт. Дверь стояла приоткрытой, и я, толкнув ее, начал было какую-то веселую и грациозную фразу, да понял вдруг, что

Шейд, сидящий на другом конце стола, читает нечто, и понял, что это — часть его поэмы. Оба с испугом уставились на меня. Непечатное проклятье сорвалось с его губ, он шлепнул о стол колодой справочных карточек, бывшей в руке его. Позже он объяснил эту вспышку тем, что принял — по вине читальных очков — долгожданного друга за наглеца-торговца, но должен сказать, что я был шокирован, крайне шокирован, что и позволило мне уже тогда прочесть отвратительный смысл всего, что за этим последовало. “Что же, садитесь, — сказала Сибил, — и выпейте кофе” (великодушие победительницы). Я принял предложение, желая знать, продолжится ли чтение в моем присутствии. Не продолжилось. “Я полагал, — произнес я, обращаясь к другу, — что вы выйдете прогуляться со мной”. Он извинился тем, что ему как-то не по себе, и продолжал вычищать чашечку трубки с такою свирепостью, словно это сердце мое выковыривал он оттуда.

Я не только открыл *тогда*, что Шейд неуклонно зачитывал Сибил накопившиеся части поэмы, *теперь* меня вдруг озарило, что с тою же неуклонностью она заставляла его приглушать, а то и вовсе вымарывать в беловике все связанное с величественной темой Земблы, о которой я продолжал толковать ему, веруя в простоте, — поскольку мало что знал о его разрастающемся творении, — что она-то и станет основой, самой яркой из нитей этого ковра.

Выше на том же холме стоял, да, думаю, стоит и поныне, старый дощатый дом доктора Саттона, а на самой верхушке, — откуда и вечность ее не свернет, — ультрамодерная вилла профессора Ц., с террасы которой различалось на юге самое крупное и печальное из троицы соединенных озер, называемых Омега, Озеро и Зеро (индейские имена, искалеченные первыми поселенцами, склонными к показной этимологии и пошлым каламбурам). К северу от холма Далвич-роуд впадала в шоссе, ведущее к университету Вордсмита, которому я уделю здесь лишь несколько слов, — отчасти потому, что читатель и сам может получить какие угодно буклеты с его описаниями, стоит только снестись по почте с информационным бюро университета, главным

же образом потому, что, укоротив эту справку о Вордсмите сравнительно с замечаниями о домах Гольдсворта и Шейда, я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что колледж отстоит от них значительно дальше, чем сами они один от другого. Здесь — и вероятно впервые — тупая боль расстояния смягчается усилием стиля, а топографическая идея находит словесное выявление в следовании создающих перспективу предложений.

Почти четыре мили проюлив в общевосточном направлении сквозь прелестно увлажненные и промытые жилые кварталы с разновысокими лужками, опадающими по обе стороны от него, шоссе ветвится, и один побег уклоняется влево, к Нью-Ваю с его заждавшимся летным полем, другой же тянется к кампусу. Здесь — огромные обители безумия, безупречно спланированные общежития, бедламы джунглевой музыки, грандиозный дворец Ректората, — кирпичные стены, арки, четырехугольники бархатной зелени и хризопраза; вон Спенсер-Хауз и кувшинки в его пруду; а там Капелла, Новый Лекториум, Библиотека и тюремного вида строение, вместившее наши классы и кабинеты (и ныне зовущееся Шейд-Холлом); и знаменитая аллея деревьев, все упомянуты Шекспиром; звенит, звенит что-то вдали, клубится; вон и бирюзовый купол Обсерватории виднеет, и блеклые пряди и перья тучек, и обсталые тополями римские ярусы футбольного поля, пусто здесь летом, разве юноша с мечтательным взором гоняет на длинной струне по звенящему кругу моторную модель самолета.

Господи Иисусе, сделай же что-нибудь.

Строка 49: *пекан*

Гикори. Поэт наш разделял с английскими мастерами благородное уменье: пересадить дерево в стихи целиком, сохранив живящие соки и прохладительную сень. Многие годы назад Диза, королева нашего короля, более всех деревьев любившая джакаранду и адиантум, выписала себе в альбом из сборника “Кубок Гебы”, принадлежащего перу Джона Шейда, четверостишие, которое я не могу здесь не привести (из письма, полученного мною 6 апреля 1959 года с юга Франции):

СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО

Лист гинкго опадает, золотой,
На кисть муската
Старинной бабочкой, неправою рукой
Распятой.

Когда в Нью-Вае строили новую Епископальную церковь (смотри примечание к строке 549), бульдозеры пощадили череду этих священных дерев, высаженных в кампусе в конце так называемой Шекспировой аллеи гениальным ландшафтным архитектором (Репбургом). Не знаю, существенно это или нет, но во второй строке наличествует игра в кошки-мышки, а "дерево" по-земблянски — *grados*.

Строка 57: *Дрожит качелей дочкиных фантом*

В черновике Шейд легонько перечеркнул следующие за этим строки:

Длинна у лампы шея, свет лучист,
Ключи в дверях. Строитель-прогрессист
И психоаналитик договор
Составили: да ни один запор
Не осквернит священной двери спальни
Родительской, чтоб, ныне беспечальный,
Грядущих пустобрехов пациент,
Назад оборотясь, нашел в момент
"Исконной" именуемую сцену.

Строка 62: *Телеантенны вогнутая скрепка*

Автор во всех прочих отношениях пустого и несколько глуповатого некролога, упоминаемого мною в заметках к строке 71, цитирует найденное в рукописи стихотворение (полученное от Сибил Шейд), о котором говорится, что оно было "создано нашим поэтом, по всей видимости, в конце июня, а значит, менее чем за месяц до кончины нашего поэта, и значит, является последним из мелких произведений, написанных нашим поэтом".

Вот это стихотворение:

КАЧЕЛИ

Закатный блеск, края огромных скрепок
Телеантенн воспламенивший слепо
На крыше;

И ручки тень дверной, что, удлинясь,
Лежит бейсбольной битой, в тусклый час
На двери;

И кардинал, что вечером сидит,
Твердя свое "чу-дит, чу-дит, чу-дит",
На древе;

И брошенных качелей жалкий вид
Под деревом; вот что меня томит
Невыносимо.

Я оставляю за читателем *моего* поэта право судить, возможно ли, чтобы он написал эту миниатюру всего за несколько дней до того, как повторить ее темы в настоящей части поэмы. Я подозреваю, что мы имеем здесь раннюю попытку (год не выставлен, но можно датировать ее временем, близким к кончине дочери), которую Шейд откопал среди старых бумаг, отыскивая что-либо пригодное для "Бледного пламени" (поэмы, неведомой нашему некрологисту).

Строка 64: *часто*

Едва ли не каждый день, а вернее, каждую ночь весны 1959 года я мучился страхом за свою жизнь. Уединение — игралище Сатаны. Я не смогу описать глубин своего одиночества и отчаяния. Разумеется, жил за проулком мой знаменитый сосед, и какое-то время я сдавал комнату беспутному юноше (который обыкновенно являлся домой далеко за полночь). И все-таки хочу подчеркнуть, что в одиночестве, в холодной и черствой его сердцевине, ничего нет хорошего для перемещенной души. Всякому ведомо, сколь падки земляне на цареубийство: две королевы, три короля и четырнадцать претендентов умерли насильственной смертью — удушенные, заколотые, отравленные и утопленные, — и все за одно только столетие (1700—1800). Замок Гольдсворт в те роковые мгновения сумерек, что так похожи на потемки сознания, становился особенно уединен. Вкрадчивые шорохи, шурканье прошлогодней листвы, ленивые дуновения, пес, навестивший помойку, — все отзывалось во мне копошеньем кровожадных проныр. Я сновал от окошка к окошку в пропитанном потом шелковом

ночном колпаке, с распахнутой грудью, похожей на подтаявший пруд, и только по временам, вооружась судейским дробовиком, дерзал претерпеть терзанья террасы. Полагаю, тогда именно, в обманные вешние ночи, когда отзвуки новой жизни в кронах деревьев томительно имитировали скрежет старухи-смерти в моем мозгу, полагаю, тогда-то, в те ужасные ночи, и пристрастился я припадать к окнам соседского дома в надежде снискать хотя бы проблески утешения (смотри примечания к строкам 47—48). Чего бы ни дал я в ту пору, чтобы с поэтом снова случился сердечный припадок (смотри строку 692 и примечание к ней), и меня позвали бы к ним в дом, сияющий в полночи каждым окошком, и был бы мощный и теплый прилив сострадания, кофе, звон телефона, рецепты земблянского травника (творящие чудеса!), и воскрешенный Шейд рыдал бы у меня на руках ("Ну, полно же, Джон, полно..."). Но теми мартовскими ночами в доме у них было темно, как в гробу. И вот телесное утомление и могильный озноб наконец загоняли меня наверх, в одинокую двойную постель, и я лежал, бессонный и бездыханный, словно бы лишь теперь сознательно проживая опасные ночи на родине, когда в любую минуту шайка взвинченных революционеров могла ворваться и пинками погнать меня к облитой луною стене. Звуки торопливых авто и стенания грузовиков представлялись мне странной смесью дружеских утешений жизни с пугающей тенью смерти: не эта ли тень притормозит у моей двери? Не по мою ли явились душу призрачные душители? Сразу ли пристрелят они меня — или контрабандой вывезут одурманенного ученого обратно в Земблу (*Rodnaya Zembla!*), дабы предстал он, ослепленный блеском графина, перед шеренгою судей, радостно ерзающих в их инквизиторских креслах?

Порой мне казалось, что, только покончив с собой, могу я надеяться провести неумолимо близящихся губителей, бывших скорее во мне, в барабанных перепонках, в пульсе, в черепе, чем на том упорном шоссе, что петлило надо мной и вокруг моего сердца, пока я задремывал лишь затем, чтобы мой сон был разбит возвращением пьяного, несусветного, незабвенного Боба на прежнее ложе Виргини

или Гинвер. Как упомянуто вкратце в Предисловии, я его вышвырнул в конце-то концов, после чего несколько ночей ни вино, ни музыка, ни молитва не могли укротить моих страхов. С другой стороны, светлые вешние дни проходили вполне сносно, всем нравились мои лекции, и я положил за правило неуклонно присутствовать на всех доступных мне общественных отправлениях. Но за веселыми вечерами вновь — что-то кралось, кренилось, опасливо крякало, лезло ползком, медлило и опять принималось кряхтеть.

У Гольдсвортова шато много было входных дверей, и как бы дотошно ни проверял я их и наружные ставни внизу, наутро неизменно отыскивалось что-то незапертое, незащелкнутое, подослабшее, приотворенное, вид имеющее сомнительный и лукавый. Как-то ночью черная кошка, которую я за несколько минут до того видел перетекающей в подпол, где я оборудовал ей туалетные удобства в располагающей обстановке, вдруг появилась на пороге музыкальной гостиной в самом разгаре моей бессонницы и Вагнеровой граммофонии, выгибая хребет и щеголяя шелковым белым галстухом, который определенно не мог сам навязаться ей на шею. Я позвонил по 11111 и несколько минут погодя уже обсуждал кандидатуры возможных налетчиков с полицейским, весьма оценившим мой шерри, но кем бы тот взломщик ни был, он не оставил следов. Жестокому человеку так легко принудить жертву его прихотливых выходок уверовать, что у нее мания преследования, или что к ней и впрямь подбирается убивец, или что она страдает галлюцинациями. Галлюцинациями! Что ж, мне известно, что среди некоторых молодых преподавателей, которых авансы были мною отвергнуты, имелся по малости один озлобленный штукарь, я знал об этом с тех самых пор, как, воротившись домой после очень приятной и успешной встречи со студенчеством и профессурой (где я, воодушевясь, сбросил пиджак и показал нескольким увлеченным ученикам кое-какие затейливые захваты, бывшие в ходу у земблянских борцов), обнаружил в пиджачном кармане грубую анонимную записку: "You have hal.....s real

bad, chum", что, очевидно, означало "hallucinations"[1], хотя недоброжелательный критик мог бы вывести из нехватки точек, что маленький м-р Анон, обучая английскому первокурсников, сам с орфографией не в ладу.

Рад сообщить, что вскорости после Пасхи страхи мои улетучились, чтобы никогда не вернуться. В спальню Альфини или Бетти въехал иной постоялец, Валтасар, прозванный мной Царем суглинков, который с постоянством стихии засыпал в девять вечера, а в шесть утра уже окучивал гелиотропы (Heliotropium turgenevi[2]). Это цветок, чей аромат с неподвластной времени силой воскрешает в памяти скамейку в саду, вечер и бревенчатый крашеный дом далеко отсюда, на севере.

Строка 70: *на новую антенну*

В черновике (датированном 3 июля) за этим следует несколько ненумерованных строк, которые могли предназначаться для каких-то позднейших частей поэмы. Они не то чтобы вовсе стерты, но сопровождаются на полях вопросительным знаком и обведены волнистой линией, заезжающей на некоторые из букв:

Есть случаи, что нам воображенье
Теснят неясной странностью сближенья:
Подобья бесподобные, пароль
Без отзыва. Так северный король,
Чей из тюрьмы продерзостный побег
Удался тем, что сорок человек
Вернейших слуг, приняв его обличье,
У злой погони отняли добычу...

Он ни за что не достиг бы западного побережья, когда бы среди его тайных приверженцев, романтических, героических сорвиголов, не распространилось бы причудливое обыкновение изображать беглого короля. Чтобы походить на него, они обрядились в красные свитера и красные кепки и возникали то здесь, то там, совсем заморочив революционную полицию. Кое-кто из проказников был изрядно

[1] Галлюцинации (*англ.*).
[2] Гелиотроп тургеневский (*лат.*).

моложе короля, но это не имело значения, ибо портреты его, висевшие по хижинам горцев и подслеповатым сельским лавчонкам, торговавшим червями, имбирными пряниками и лезвиями "жилетка", со времени коронации не состарились. Чарующий шаржевый штрих внесло известное происшествие, когда с террасы отеля "Кронблик", подъемник которого доставлял туристов на глетчер Крон, видели веселого скомороха, воспаряющего подобно багровой бабочке, и едущего следом, двумя сиденьями ниже, в замедленной, будто во сне, погоне, околпаченного, но, впрочем, потерявшего шапку полицейского. Приятно добавить, что, не доехав до места высадки, поддельный король ухитрился удрать, соскользнув по одному из пилонов, что подпирают тягловый трос (смотри также примечания к строкам 149 и 171 (1)).

Строка 71: *отца и мать*

Профессор Харлей с похвальной быстротой опубликовал "Слово признательности" изданным произведениям Джона Шейда всего через месяц после кончины поэта. Оно явилось на свет в худосочном литературном журнальчике, название которого выветрилось у меня из памяти, мне показали его в Чикаго, где я на пару дней прервал автомобильную поездку из Нью-Вая в Кедры, в эти суровые осенние горы.

Комментарий, в коем должно царить мирной учености, не лучшее место для нападок на нелепые недочеты этого мелкого синодика. Я поминаю его лишь потому, что именно в нем наскреб я скудные сведения о родителях поэта. Его отец, Сэмюель Шейд, умерший пятидесяти лет в 1902 году, в молодые года изучал медицину и был вице-президентом экстонской фирмы хирургических инструментов. Главной его страстью, впрочем, было то, что наш велеречивый некрологист именует "изучением пернатого племени", добавляя, что "в его честь названа птица: Bombycilla Shadei"[1] (это, разумеется, shadei, т. е. "теневидная"). Мать поэта, рожденная Каролина Лукин, помогала мужу в его

[1] "Свиристель Шейда" (*лат.*).

трудах, именно она нарисовала прелестные изображения для его “Птиц Мексики”, эту книгу я, помнится, видел в доме моего друга. Чего некрологист не знал, так это того, что фамилия Лукин происходит от “Лука”, как равно и Лаксон, и Локок, и Лукашевич. Вот один из множества случаев, когда бесформенное на вид, но живое и характерное родовое прозванье нарастает, приобретая порой небывалые очертания, вокруг заурядного кристаллика крестного имени. Лукины — фамилия старая, из Эссекса. Бытуют также фамилии, связанные с занятиями: к примеру, Писарев, Свитский (тот, кто расписывает свитки), Лимонов (тот, кто иллюминует прописи), Боткин (тот, кто делает ботики — модную обутку) да тысячи других. Учитель мой, родом шотландец, всякую старую развалюху называл “харлей-хауз”. Но довольно об этом.

Кое-какие иные сведения касательно срединных лст на диво бедной событьями жизни Джона Шейда и его университетской деятельности любопытствующий читатель сможет сам отыскать в профессоровой статье. В целом скучное было бы сочинение, не оживляй его, коли дозволено так выразиться, некоторые особливые ухищрения. Так, в нем содержится только одно упоминание о шедевре моего друга (лежащем, пока я это пишу, опрятными стопками у меня на столе, под солнцем, подобно слиткам сказочного металла), и я привожу его с болезненным удовольствием: “Незадолго до безвременной кончины поэта он, по-видимому, работал над автобиографической поэмой”. Обстоятельства самой кончины полностью извращены профессором, имевшим несчастье довериться господам из поденной прессы, которые, — вероятно, из политических видов — исказили и побуждения, и намерения преступника, не дожидаясь суда над ним, который, увы, в этом мире так и не состоялся (смотри в свое время мои заключительные заметки). Но конечно, самая поразительная особенность этого поминальничка состоит в том, что в нем *нет ни слова* о славной дружбе, озарившей последние месяцы жизни Джона.

Друг мой не мог вызвать в памяти образ отца. Сходным образом и король, коему также не минуло и трех, когда почил его отец, король Альфин, не умел припомнить его

лица, хоть, как то ни странно, отлично помнил шоколадный монопланчик, который он пухлым дитятей держит на самой последней (Рождество 1918 года) фотографии грустного авиатора в жокейских бриджах, на коленах которого он раскинулся неохотно и неуютно.

Альфин Отсутствующий (1873—1918, годы царствования: 1900—1918, впрочем, 1900—1919 в большинстве биографических словарей — недоразумение, порожденное случайным стечением дат при переходе от старого стиля к новому) прозвищем своим был обязан Амфитеатрикусу, беззлобному сочинителю стихотворений на злобу дня (по его же милости мою столицу прозвали "Ураноградом"!), печатавшемуся в либеральных газетах. Рассеянность короля Альфина не имела границ. Лингвист он был никакой, знал лишь несколько фраз, французских и датских, но всякий раз, что случалось ему произносить речь перед подданными — перед кучкой, скажем, ошалелых земблянских мужиков в какой-нибудь дальней долине, куда он с треском приземлялся, — нечто неуправляемое щелкало у него в мозгу, и он прибегал к этим фразам, сдабривая их для пущей понятности толикой латыни. В большей части анекдоты насчет посещавших его приступов простомыслия слишком глупы и неприличны, чтобы пачкать ими эти страницы, однако ж один из них, и по-моему совсем не смешной, вызвал у Шейда такие раскаты хохота (и воротился ко мне через преподавательскую с такими непристойными добавлениями), что я склонен привести его здесь в качестве образчика (и коррективы). Однажды летом, перед Первой мировой, когда в нашу маленькую и сдержанную страну прибыл с весьма необычным и лестным визитом император одной великой иностранной державы (я сознаю, как небогат их выбор), отец мой отправился с ним и с молодым земблянским толмачом (вопрос пола которого я оставляю открытым) в увеселительную загородную поездку на только что полученном, сделанном на заказ автомобиле. Как и всегда, король Альфин путешествовал без всякой свиты, — это, а также шибкость его езды зримо беспокоили гостя. На обратном пути, милях в двадцати от Онгавы, король Альфин решил остановиться для мелкой починки. Пока он копался

в моторе, император с интерпретатором удалились под сень придорожной сосны, и только когда король Альфин уже воротился в Онгаву, он постепенно усвоил из беспрестанных и совершенно отчаянных расспросов, обращенных к нему, что кое-кого потерял дорогою ("Какой император?" — так и осталось единственным его памятным mot[1]). Вообще говоря, всякий раз, что я вносил свою лепту (или то, что представлялось мне лептой), я настаивал, чтобы поэт мой делал записи, а не тратился в пустых разговорах, но что поделаешь, поэты — тоже люди.

Рассеянность короля Альфина странным образом сочеталась с пристрастием к механическим игрушкам, наипаче же — к летальным аппаратам. В 1912 году он уловчился взлететь на зонтообразном "гидроплане" Фабра и едва не потонул в море между Нитрой и Индрой. Он разбил два "Фармана", три земблянские машины и любимую им "Demoiselle"[2] Сантос-Дюмона. В 1916 году его неизменный "воздушный адъютант" полковник Петр Гусев (впоследствии — пионер парашютизма, оставшийся и в свои семьдесят лет одним из первейших прыгунов всех времен) соорудил для него полностью оригинальный моноплан "Бленда-1", она-то и стала птицей его рока. Ясным, не очень холодным декабрьским утром, которое выбрали ангелы, чтоб уловить в свои сети его смиренную душу, король Альфин попытался в одиночном полете выполнить сложную вертикальную петлю, показанную ему в Гатчине князем Андреем Качуриным, прославленным русским акробатом и героем Первой мировой. Что-то у него не заладилось, и малютка "Бленда" вошла в неуправляемое пике. Летевшие сзади и выше него на биплане Кодрона полковник Гусев (к этому времени уже герцог Ральский) и королева сделали несколько снимков того, что поначалу казалось благородным и чистым маневром, но вскоре обратилось в нечто иное. В последний миг король Альфин сумел выровнить машину и снова возобладать над земной тягой, но сразу за тем влетел прямиком в леса огромной гостиницы,

---

[1] Словцо (*фр.*).

[2] Девушка (*фр.*).

которую строили посреди прибрежной вересковой пустоши как бы нарочно для того, чтобы она преградила путь королю. Королева Бленда приказала снести незавершенное и сильно попорченное строение, заменив его безвкусным гранитным монументом, увенчанным невероятного образа бронзовым аэропланом. Глянцевитые оттиски увеличенных снимков, запечатлевших всю катастрофу, были в один прекрасный день найдены восьмилетним Карлом-Ксаверием в ящике книжного шкапа. На некоторых из этих жутких картинок виднелись плечи и кожаный шлем странно безмятежного авиатора, а на предпоследнем фото, как раз перед белым расплывчатым облаком обломков, явственно различалась рука, воздетая в знак уверенности и торжества. Долго потом мальчику снились дурные сны, но мать его так и не узнала о том, что он видел эту адскую хронику.

Ее он помнил — более-менее: наездница, высокая, широкая, плотная, краснолицая. Королевская кузина уверила ее, что отданный на попечение милейшего мистера Кэмпбелла, обучавшего нескольких смирных принцесс распяливать бабочек и находить удовольствие в чтении "Погребального плача по лорду Рональду", сын ее будет благополучен и счастлив. М-р Кэмпбелл, полагая жизнь свою на переносные, так сказать, алтари разнообразных хоббий — от изучения книжных клещей до медвежьей охоты — и будучи в состоянии за одну прогулку целиком отбарабанить "Макбета", и притом наизусть, совсем не думал о нравственности своих подопечных, предпочитая красоток отрокам и не желая вникать в тонкости земблянской педократии. После десятилетней службы он оставил страну ради некоего экзотического двора — в 1932 году, когда наш принц, уже семнадцатилетний, начал делить досуг между Университетом и своим полком. То была лучшая пора его жизни. Он все не мог решить, что же сильнее влечет его душу: изучение поэзии, особливо английской, плац-парады или бал-маскарады, где он танцевал с юными девами и девоподобными юношами. Мать скончалась внезапно, 21 июля 1932 года, от загадочного заболевания крови, поразившего также и матушку и бабушку ее. За день до того ей стало много лучше, и Карл-Ксаверий отправился на все-

нощный бал в так называемые Герцоговы Палаты, что в Гриндельводах: для пустяковой, вполне поверхностной гетеросексуальной интрижки, несколько даже освежающей после кое-каких предшествующих затей. Часов около четырех утра, когда солнце опламенило вершины дерев и розовый конус Маунт-Фалька, король остановил свой мощный автомобиль у одного из проходов Дворца. Так нежен был воздух и поэтичен свет, что он и бывшие с ним трое друзей решили пройти по липовым рощам остаток пути до Павлиньего Павильона, где размещались его гости. Он и Отар, его платонический наперсник, были во фраках, но без цилиндров, унесенных ветром большой дороги. Странное чувство овладело четверкой друзей, стоявших под молодыми вязами посреди сухого ландшафта — эскарпы и контрэскарпы, усиленные тенями и контртенями. С Отаром, приятным и образованным аделингом с громадным носом и редкими волосами, была чета его любовниц — восемнадцатилетняя Фифальда (на которой он после женился) и семнадцатилетняя Флер (с которой мы еще встретимся в двух других примечаниях) — дочери графини де Файлер, любимой камеристки королевы. Невольно замираешь перед этой картиной, как бывает, когда, достигнув господствующих высот времени и оглянувшись назад, видишь, что через миг жизнь твоя полностью переменится. Итак, там был Отар, озадаченно взиравший на далекие окна королевских покоев, две девы пообок, тонконогие, в переливчатых палантинах, с розовыми кошачьими носиками, сонно-зеленоглазые, в серьгах, горевших заемным солнечным блеском и потухавших. Вокруг толклись какие-то люди, так бывало всегда, в любые часы у этих ворот, мимо которых бежала на встречу с Восточным трактом дорога. Крестьянка с выпеченными ею хлебами — несомненная мать часового, еще не пришедшего, чтобы сменить в безотрадной привратной клетушке небритое, юное и мрачное *nattdett* (дитя ночи), сидела на камне контрфорса и, по-женски забыв обо всем на свете, следила за тонкими восковыми свечами, порхавшими, как светляки, от окна к окну; двое работников, придержав велосипеды, стояли и тоже глазели на странные огоньки; и пьянчуга в моржовых усищах шатался

вокруг, хлопаясь о липовые стволы. В эти минуты, когда замедляется время, случается нахвататься разных пустяков. Король заметил, что красноватая глина забрызгала рамы велосипедов и что передние их колеса повернуты в одну сторону, параллельно. Вдруг на уступчивой тропке, юлящей в кустах сирени, — кратчайший путь от королевских покоев, — завиделась бегущая графиня, ноги ее путались в подрубе стеганой мантии, и в этот же миг с другого бока Дворца вышли все семеро членов Совета, одетых с парадной пышностью и несущих, словно кексы с изюмом, дубликаты различных регалий, и церемонно заспешили по каменным лестницам, — но графиня опередила их на целый алин и успела выпалить новость. Пьяница затянул было скабрезную песенку “Карлун-потаскун”, но сверзился в ров под равелином. Трудно с ясностью описать в коротких примечаниях к поэме разнообразные подступы к укрепленному замку, поэтому я, сознавая сложность задачи, подготовил для Джона Шейда — в июне, когда рассказывал ему о событиях, бегло описанных в некоторых из моих примечаний (смотри, например, комментарий к строке 130), — довольно изрядный план залов, террас и увеселительных плацев Дворца в Онгаве. Если его только не уничтожили и не украли, изящное это изображение, выполненное цветною тушью на большом (тридцать на двадцать дюймов) картоне, верно, еще пребывает там, где я в последний раз видел его в середине июля, — на верху большого черного сундука, что стоит наискось от старого обжимного катка в нише коридорчика, ведущего к так называемой фруктовой кладовке. Если его там нет, следует поискать в кабинете Джона на втором этаже. Я писал о нем к миссис Шейд, но она больше не отвечает на мои письма. В случае, если картон еще существует, я хочу попросить ее, — не повышая голоса, очень почтительно, так почтительно, как ничтожнейший из подданных короля мог бы молить о неотложнейшей реституции (план-то все-таки мой и ясно подписан черной короной шахматного короля после слова “Кинбот”), — выслать его, хорошо упакованным с пометкой “не сгибать” и с объявленной ценностью моему издателю для воспроизведения в последующих изда-

ниях настоящего труда. Какой бы ни обладал я энергией, она совершенно иссякла в последнее время, а мучительные мигрени делают ныне невозможными усилия памяти и утруждение глаз, потребные для начертания второго такого же плана. Черный сундук стоит на другом, побольше, буром или же буроватом, и по-моему, в темном углу рядом с ними было еще чучело то ли лисы, то ли шакала.

Строка 80: *"претерист"*

Против этого на полях черновика записаны две строки, из которых расшифровке поддается только первая. Она читается так:

День должно только вечером хвалить...

Я совершенно уверен, что мой друг пытался использовать здесь несколько строк, которые я, бывало, цитировал ему и миссис Шейд в беспечную минуту, — а именно, очаровательное четверостишие из староземблянского варианта "Старшей Эдды" в анонимном английском переводе (Кирби?):

Ведь мудрый хвалит день ко сну,
Лед — перейдя, зарыв — жену,
Невесту — вздрючив до венца,
И лишь заездив — жеребца.

Строка 82: *Уложен спать*

Наш принц любил Флер любовью брата, но без каких-либо тонкостей кровосмесительства или вторичных гомосексуальных замысловатостей. У нее было бледное личико с выступающими скулами, ясные глаза и кудрявые темные волосы. Ходили слухи, что потратив месяцы на пустые блуждания с фарфоровой чашкой и туфелькой Золушки, великосветский поэт и ваятель Арнор нашел в ней что искал и использовал груди ее и ступни для своей "Лилит, зовущей Адама вернуться", впрочем, я вовсе не знаток в этих деликатных делах. Отар, бывший ее любовником, говорил, что, когда вы шли за нею и она знала, что вы за нею идете, в покачивании и игре ее стройных бедер была напряженная артистичность, нечто такое, чему арабских де-

вушек обучали в особой школе особые парижские сводни, которых затем удушали. Хрупкие эти щиколки, говорил он, которые так близко сводила ее грациозная и волнообразная поступь,— это те самые "осторожные сокровища" из стихотворения Арнора, воспевающего *мирагаль* (деву миража), за которую "король мечтаний дал бы в песчаных пустынях времен триста верблюдов и три родника".

On ságaren werém tremkín tri stána
Verbálala wod gév ut trí phantána.

(Я пометил ударения.)

Весь этот душещипательный лепет (по всем вероятиям, руководимый ее мамашей) на принца впечатления не произвел, он, следует повторить, относился к ней как к единокровной сестре, благоуханной и светской, с подкрашенным ротиком и с maussade[1], расплывчатой, галльской манерой выражения того немногого, что ей желательно было выразить. Ее безмятежная грубость в отношениях с нервной и словообильной графиней казалась ему забавной. Он любил танцевать с ней — и только с ней. Ничто, ничто совершенно не вздрагивало в нем, когда она гладила его руку или беззвучно касалась чуть приоткрытыми губами его щеки, уже покрытой нагаром погубившего бал рассвета. Она, казалось, не огорчалась, когда он оставлял ее ради более мужественных утех, снова встречая его в потемках машины, в полусвете кабаре покорной и двусмысленной улыбкой привычно целуемой дальней кузины.

Сорок дней — от смерти королевы Бленды до его коронации — были, возможно, худшим сроком его жизни. Матери он не любил, и безнадежное, беспомощное раскаяние, которое он теперь испытывал, выродилось в болезненный физический страх перед ее призраком. Графиня, которая, кажется, была постоянно при нем, шелестя где-то поблизости, склонила его к посещению сеансов столоверчения, проводимых опытным американским медиумом, вызывавшим дух королевы, орудуя той же планшеткой, посредством которой она толковала при жизни с Тормоду-

---

[1] Угрюмый, мрачный (*фр.*).

сом Торфеусом и А. Р. Уоллесом; ныне дух резво писал по-английски: "Charles take take cherish love flower flower flower" ("Карл прими прими лелей любовь цветок цветок цветок"). Старик-психиатр, так основательно подпорченный графиниными подачками, что и снаружи начал уже походить на подгнившую грушу, твердил принцу, что его пороки подсознательно убивали мать и будут "убивать ее в нем" и дальше, когда он не отречется от содомии. Придворная интрига — это незримый мизгирь, что опутывает вас все мерзее с каждым вашим отчаянным рывком. Принц наш был молод, неопытен и полубезумен от бессонницы. Он уж почти и не боролся. Графиня спустила состояние на подкупы его *kamergruma* (постельничего), телохранителя и даже немалой части министра Двора. Она спала теперь в малой передней по соседству с его холостяцкой спальней — прекрасным, просторным, округлым апартаментом в верху высокой и мощной Юго-Западной Башни. Здесь был приют его отца, все еще соединенный занятным лотком в стене с круглым бассейном нижней залы, и принц начинал свой день, как бывало начинал и отец, — сдвигая стенную панель за своей походной кроватью и перекатываясь в шахту, а оттуда со свистом влетая прямиком в яркую воду. Для нужд иных, чем сон, Карл-Ксаверий установил посреди персидским ковром укрытого пола так называемую патифолию, то есть огромную, овальную, роскошно расшитую подушку лебяжьего пуха величиною в тройную кровать. В этом-то просторном гнезде, в срединной впадинке, и дремала ныне Флер под покрывалом из натурального меха гигантской панды, только что в спешке привезенным с Тибета горсткой доброжелательных азиатов по случаю его восшествия на престол. Передняя, в которой засела графиня, имела собственную внутреннюю лестницу и ванную комнату, но соединялась также раздвижной дверью с Западной Галереей. Не знаю, какие советы и наставления давала Флер ее мать, но совратительницей бедняжка оказалась никудышной. Словно тихий помешанный, она упорствовала в попытках настроить виолу д'амур или, приняв скорбную позу, сравнивала две древних флейты, звучавших обе уныло и слабо. Тем временем он, обрядившись в турка,

валялся в просторном отцовском кресле, свесив с подлокотника ноги, листая том "Historia Zemblica"[1], делая выписки и иногда выуживая из нижних карманов кресла то старинные водительские очки, то перстень с черным опалом, то катышек серебристой шоколадной обертки, а то и звезду иностранного ордена.

Грело вечернее солнце. На второй день их уморительного сожительства она оказалась одетой в одну только верхнюю часть какой-то пижамки — без пуговиц и рукавов. Вид четырех ее голых членов и трех "мышек" (земблянская анатомия) его раздражал, и он, расхаживающий по комнате и обдумывающий тронную речь, не глядя швырял в ее сторону шорты или купальный халат. Иногда, возвратясь в уютное старое кресло, он заставал там ее, горестно созерцающей изображение *bogtura* (древнего воина) в труде по истории. Он выметал ее вон из кресла, и она, потянувшись, перебиралась на приоконный диван, под пыльный солнечный луч, впрочем, спустя какое-то время она снова льнула к нему и приходилось одной рукой отпихивать ее торкливую головку, пока другая писала, или по одному отдирать розовые коготки от рукава либо подпояски.

Ее ночное присутствие не убивало бессонницы, но по крайности держало на расстоянии крутое привидение королевы Бленды. В изнеможении и сонливости он утешался пустыми фантазиями, — не встать ли, к примеру, и не вылить ли из графина немного холодной воды на голое плечико Флер, чтобы погасить на нем слабый отблеск лунных лучей? У себя в логове зычно храпела графиня. Дальше, за преддверием его бдения (и тут он начинал засыпать), в темной, промозглой галерее, усеяв крашеный мраморный пол, в три и в четыре ряда лежали, приникнув к запертой двери, кто посапывая, кто скуля, его новые пажи, целые груды даровых мальчишек из Трота, Тосканы, Альбаноланда.

Пробуждаясь, он находил ее с гребешком в горсти перед его, а вернее, деда его психше, — триптихом бездонного света, воистину волшебным зеркалом с алмазной подписью

[1] "История Земблы" (*лат.*).

мастера, Сударга из Бокаи. Она поворачивалась перед ним: загадочный механизм отражения собирал в глуби зеркал бесконечное множество голых тел, девичьи гирлянды, грациозные грустные гроздья, умалявшиеся в прозрачной дали или распадавшиеся на одиночных ундин, из которых иные, шептала она, непременно походят на ее прародительниц, в пору их молодости, — на маленьких деревенских *garlien*, расчесывавших, куда только достигали глаза, волосы на мелководье, а за ними мрела мечтательная русалочка из старинной сказки, а за ней — пустота.

На третью ночь с внутренних лестниц донесся гулкий топ и лязг оружия, затем вломились Первый советник, три ходока из народа и новый начальник стражи. Забавно, но именно посланцев народа сильнее всего озлобила мысль, что их королевой станет правнучка уличного скрипача. Тем и закончился непорочный роман Карла-Ксаверия с Флер — хорошенькой, но все-таки не отвратной (как некоторые из кошек оказываются менее прочих невыносимы для добродушного пса, которому велено было сносить мучительные миазмы чужеродного вида). Обе дамы с их белыми чемоданами и устарелыми музыкальными инструментами побрели во флигель на задворках Дворца. Сладкий укол облегчения, — и затем дверь передней с веселым треском съехала вбок и вся орава "putti"[1] ввалилась вовнутрь.

Ему еще предстояло тринадцать лет спустя пройти через гораздо горшие испытания с Дизой, герцогиней Больна, с которой он обвенчался в 1949 году, — это описано в примечаниях к строкам 275 и 433—435, которые тот, кто решил изучить Шейдову поэму, прочитает в должное время, спешить не стоит. Одно за другим миновали холодные лета. Бедная Флер оставалась вблизи, пусть и с трудом различимая. Диза обласкала ее после гибели старой графини в переполненном вестибюле "Выставки стеклянных зверей" 1950 года, часть которой почти уничтожил пожар, причем Градус помогал пожарной команде расчистить на площади место, чтобы вздернуть не состоящих в профессиональном союзе поджигателей или, правильнее, людей, ошибочно

[1] Множественное от *лат.* putto — "маленький мальчик".

таковыми сочтенных (двух озадаченных датских туристов). Молодая королева наша, верно, питала нежное сочувствие к бледной своей фрейлине, которую король по временам замечал расписывающей программку концерта в косых лучах оживального окна или слышал тихо наигрывающей в Будуаре Б. Прелестная спальня его холостяцкой поры вновь возникает в самом начале ненужной и нудной Земблянской революции.

Строка 84: *видала Папу*

Пия X, Джузеппе Мельхиорре Сарто, 1835—1914; Папа с 1903 по 1914 г.

Строки 86—90: *тетя Мод*

Мод Шейд, 1886—1950, сестра Сэмюеля Шейда. Ко времени ее кончины Гэзель (родившаяся в 1934 году) была не такой уж "малюткой", как заставляет думать строка 90. Живопись ее я нахожу неприятной, но интересной. Тетя Мод была отнюдь не старой девой, а экстравагантный и сардонический склад ее ума должен был порою шокировать жантильных нью-вайских дам.

Строки 91—94: *Ту комнату* и т. д.

В черновике вместо окончательного текста:

.... Мы комнату ее
Не тронули. Здесь нам безделиц лепет
Стиль Мод воссоздает: лиственный склепик
(Порожний кокон, трупик дездемоны)...

Речь идет о том, что определяется моим словарем как "крупная шпористая бабочка серо-коричневого окраса, гусеница которой кормится на гикори". Подозреваю, что Шейд изменил это место, чтобы избегнуть сшибки имени бабочки с "мавром" в следующей строке.

Строка 92: *сброд безделиц*

Среди прочих безделиц имелся альбом для набросков, куда тетя Мод вклеивала в период с 1937 по 1949 год вырезки из печатных изданий, по содержанию непреднаме-

ренно нелепые и гротесковые. Джон Шейд разрешил мне переписать для памяти первую и последнюю; случайно они перекликаются, и довольно занятно, по-моему. Обе извлечены из одного и того же журнала для семейного чтения — из "Life", снискавшего заслуженную славу своей застенчивостью во всем, что касается до таинств мужского пола, так что можно вообразить, как напугались или же сладко затрепетали эти самые семьи. Первая происходит из номера от 10 мая 1937 г., с. 67, и рекламирует брючную застежку под названием "Коготь" (название, кстати сказать, довольно цапастое и болезнетворное). На ней изображен источающий мужскую силу молодчик, окруженный восторженными подружками, подпись гласит: "Вы изумитесь, насколько легче Вам станет управляться с Вашей ширинкой". Вторая вырезка взята из номера от 28 марта 1949 г., с. 126, она рекламирует кальсоны "Фиговый лист" фирмы "Ханнес" и изображает современную Еву, которая блаженно таращится из-за растущего в кадке древа познания на вожделеющего молодого Адама в довольно обыкновенном, но чистом исподнем, причем передок хваленых кальсон оттенен старательно и густо; подписано: "Фиговый лист ничем не заменишь".

Мне кажется, должен существовать особый подрывной отряд лжекупидонов — безволосых пухленьких чертенят, которых Сатана посылает пакостить в самых священных и неприкосновенных местах.

Строка 93: *пресс-папье*

Как странно томил поэта образ этих старомодных кошмаров. Я вырезал недавно из газеты, их перепечатавшей, старые его стихи, в которых сувенирная лавочка также хранит пейзаж, любезный туристу:

ГОРНЫЙ ВИД

Между горой и глазом бес
Разлуки растянул для нас
Легчайший бирюзовый газ
Из тонкой сущности небес.
Бриз тронул сосны, в общий плеск
Оваций я вступлю сейчас.

Но знаем мы, как краток миг
Горы, и сил не станет ей
Чтоб ждать, — пусть вид ее проник
В меня, как в этот пресс-папье.

Строка 97: на Чапменском Гомере

Здесь упомянуто заглавие известного сонета Китса (его часто цитируют в Америке), которое вследствие рассеянности наборщика забавным образом переместилось из какой-то иной статьи в спортивный отчет. Касательно других выразительных опечаток смотри примечание к строке 801.

Строка 101: Свободный жив без Бога

Довольно задуматься о бесчисленном множестве мыслителей и поэтов, коих свобода разума скорее скреплялась Верой, чем сковывалась ею на протяжении всей творческой деятельности человечества, как поневоле усомнишься в мудрости этого поверхностного афоризма (смотри также примечание к строке 549).

Строка 109: "радужка"

Разноцветное облачко, по-земблянски *muderperlwelk*. Термин "радужка", как я понимаю, выдуман самим Шейдом. По-над ним в беловике (карточка 9, 4 июля) карандашом написано: "павлинья мушка". Павлинья мушка — это основная часть определенной разновидности искусственной наживки, называемой также "мурмышкой". Сообщено владельцем этого автопритона, заядлым рыболовом. (Смотри также "Опала свет над недоступной гранью" в строке 634).

Строка 119: доктор Саттон

Здесь перед нами рекомбинация слогов, взятых из разных имен, одно из которых начинается с "Сат", а другое кончается на "тон". Двое выдающихся врачей, давно отошедших от практики, обитали в наших холмах. Оба были старинными друзьями Шейдов, у одного имелась дочь, президентша клуба Сибил (это и есть тот доктор Саттон, которого я вывожу в своих заметках к строкам 181 и 1000). Он упоминается также в строке 986.

Строки 120—121: Песок когда-то времени был мерой и т. д.

На левом поле параллельно обрезу написано: "В средние века час равнялся 480 унциям тонкого песку, или 22560 атомам".

Я не в состоянии проверить ни этого утверждения, ни подсчетов, произведенных поэтом применительно к пяти минутам, т. е. к тремстам секундам, — я просто не понимаю, как можно разделить 480 на 300 или наоборот, но, возможно, это оттого, что я слишком устал. В день, когда Джон Шейд записал эти строки (4 июля), Громила Градус готовился выехать из Земблы и начать свое упорное и путаное путешествие по двум полушариям.

Строка 130: Мяча не гнал и клюшкой не махал

Честно говоря, мне тоже не доводилось блистать ни в футболе, ни в крикете, — я довольно сносный наездник, сильный, хотя и не традиционный лыжник, хороший конькобежец, изобретательный борец и заядлый скалолаз. В черновике за строкой 130 следуют четыре стиха, от которых Шейд отказался ради продолжения, попавшего в беловик (строка 131 и последующие). Вот этот неудавшийся приступ:

Как в резвой беготне по замку дети,
Бывает, дверь в стенном шкапу заметят,
И разметав игрушек ветхих сор,
[четыре слова густо зачеркнуты] тайный коридор —

Сравнение виснет в воздухе. Можно предположить, что Шейд намеревался поведать здесь о некоторой таинственной истине, открывшейся ему в обморочном отрочестве. Я не могу передать, как мне жаль, что он отверг эти строки. Я сожалею об этом не только по причине их внутренней красоты, а она значительна, но также и оттого, что содержащийся в них образ навеян кое-чем, слышанным Шейдом от меня. Я уже упоминал в этих заметках о приключениях Карла-Ксаверия, последнего короля Земблы, и об остром интересе моего друга, возбужденном многими моими рассказами об этом короле. Карточка, сохранившая вариант, датирована 4 июля, это ясное эхо наших закатных прогулок

по душистым лугам Нью-Вая и Далвича. “Расскажите еще что-нибудь”, — говорил он, выбивая трубку о буковый ствол, и пока медлило красочное облачко, и миссис Шейд смирно сидела, услаждаясь теледрамой, в освещенном доме далеко на холме, я с удовольствием исполнял просьбу моего друга.

Бесхитростными словами я описывал ему положение, в котором очутился король в первые месяцы возмущения. Он испытывал странное чувство, что ему выпало быть единственной черной фигурой в позиции, которую шахматный композитор мог бы назвать “король в западне”, в позиции типа solus rex[1]. Роялисты или по меньшей мере умерды (умеренные демократы) еще сумели бы уберечь страну от превращения в пошлую современную тиранию, когда бы им было по силам тягаться с грязным золотом и отрядами роботов, коими со своих командных высот питало земблянскую революцию мощное полицейское государство, расположенное лишь в нескольких милях (морских) от Земблы. При всей безнадежности его положения, отречься король отказался. Надменного и замкнутого узника заточили в его же собственном розового камня Дворце, из угловой башни которого различались в полевой бинокль гибкие юноши, нырявшие в бассейн сказочного спортивного клуба, и английский посол в старомодной фланели, игравший с тренировщиком-баском в теннис на земляном корте, далеком, как Рай. Сколь безмятежным казался рисунок гор на западном своде неба!

Где-то в дымчатом городе каждый день происходили омерзительные взрывы насилия, шли аресты и казни, но жизнь громадного города катилась все так же гладко: заполнялись кафе, в Королевском Театре давались прелестные пьесы, и, в сущности, сильнейшим сгущением мрака был как раз Королевский Дворец. Революционные *komizary* с каменными образинами и квадратными плечьми крепили суровую дисциплину в частях, несших охрану снутри и снаружи Дворца. Пуританская предусмотрительность опечатала винные погреба и удалила из южного крыла всю

---

[1] Одинокий король (*лат.*).

женскую прислугу. Фрейлины, натурально, оставили Дворец еще задолго раньше, когда король удалил королеву на виллу во Французской Ривьере. Благодарение небесам, избавившим ее от ужасных дней в оскверненном Дворце!

Каждая дверь охранялась. Обеденная зала вместила трех сторожей, еще четверо валандались в библиотеке, в темных альковах которой, казалось, ютились все тени измены. В спальне любого из немногих оставленных слуг имелся свой вооруженный паразит, пивший запретный ром со старым ливрейным лакеем или резвившийся с юным пажом. А в огромной Гербовой Зале наверняка можно было найти постыдных шутов, норовящих втиснуться в стальные доспехи ее полых рыцарей. И как же смердело козлом и кожей в просторных покоях, некогда благоухавших сиренью и гвоздикой!

Вся эта дурная орава состояла из двух основных групп: из безграмотных, зверообразных, но, в сущности, совершенно безвредных рекрутов, навербованных в Фуле, и молчаливых, очень корректных экстремистов со знаменитых Стекольных заводов, — на которых и возгорелась впервые революционная искра. Теперь можно (поскольку он пребывает в безопасности, в Париже) сказать и о том, что в этой компании находился по крайности один героический роялист, так виртуозно менявший внешность, что его ни о чем не подозревавшие однополчане казались с ним рядом посредственными подражателями. На самом деле Одон был одним из величайших земблянских актеров и в отпускные свои вечера срывал аплодисменты в Королевском Театре. Через него король поддерживал связь с многочисленными приверженцами — с молодыми людьми благородных фамилий, с университетскими атлетами, с игроками, с Паладинами Черной Розы, с членами фехтовальных клубов и с прочими светскими и рискованными людьми. Поговаривали, будто пленник вскоре предстанет перед чрезвычайным судом, но говорили также и то, что его пристрелят во время мнимого переезда к новому месту заточения. И хотя его побег обсуждался каждодневно, планы заговорщиков обладали ценностью более эстетической, нежели практической. Мощная моторная лодка стояла

наготове в береговой пещере близ Блавика (Васильковой Заводи) в Западной Земблe, за высокой горной грядой, отделявшей город от моря; воображаемые отражения зыбкой прозрачной воды на каменных сводах, на лодке, причиняли танталовы муки, но ни единому из посвященных в заговор не удавалось придумать, как королю бежать из замка и, не подвергаясь опасности, миновать его укрепления.

В один августовский день, в начале третьего месяца "роскошного заточения" в Юго-Западной Башне, его обвинили в том, что он, пользуясь карманным зеркальцем и участливыми солнечными лучами, подавал световые сигналы из своего выспреннего окна. Просторы, из него открывавшиеся, не только склоняли, как было объявлено, к подобному вероломству, но и порождали у их созерцателя воздушное ощущение превосходства над приниженной стражей. Вследствие того походную кровать короля стащили под вечер в мрачный чулан, расположенный в той же части Дворца, но на первом его этаже. Множество лет тому тут помещалась гардеробная его деда, Тургуса Третьего. После кончины Тургуса (в 1900-м) его разукрашенную опочивальню переделали в подобие часовни, а смежная комнатка, лишась высокого составного зеркала и зеленым шелком обтянутого дивана, вскоре выродилась в то, чем она оставалась вот уже половину столетия, — в старую нору с запертым шкапом в одном углу и дряхлой швейной машинкой в другом. Попасть сюда можно было из выстланной мрамором галереи, идущей вдоль северной стороны Дворца и круто сворачивающей по достижении западной, чтобы образовать вестибюль в юго-западном его углу. Единственное окно, южное, выходило во внутренний двор. Когда-то оно уводило в страну грез с жар-птицей и ослепленным охотником, но недавно футбольный мяч сокрушил легендарную лесную сцену, и теперь новое, простое стекло защищала снаружи решетка. На западной стене висела над беленой дверцей шкапа большая фотография в рамке из черного бархата. Легкие и летучие, но повторенные тысячи раз касания того же самого солнца, что обвинялось в передаче известий из башни, понемногу покрыли патиной изображение романтичного профиля и голых просторных

плеч позабытой актрисы Ирис Акт, несколько лет — до ее внезапной смерти в 1888 году — бывшей, как сказывали, любовницей Тургуса. Фривольного вида дверь в противной, восточной стене, схожая бирюзовой раскраской с единственной другой дверью комнаты (выходящей в галерею), но накрепко запертая, вела когда-то в спальню старого развратника, округлая хрустальная ручка ее ныне утратилась, по бокам висела на восточной стене чета ссыльных гравюр, принадлежащих к периоду упадка комнаты. Были они того сорта, что не подразумевает рассматривания, но существует просто как общая идея картины, отвечая скромным орнаментальным нуждам какого-нибудь коридора или ожидательной залы: одна — убогий и горестный Fête Flamande[1] под Тенирса, другая же попала сюда из детской, которой сонные обитатели всегда полагали, будто передний ее план изображает пенные валы, а не размытые очертания меланхоличной овечки, теперь вдруг на ней проглянувшие.

Король вздохнул и начал раздеваться. Его походная койка и ночной столик стояли в северо-восточном углу, лицом к окну. На востоке — бирюзовая дверь, на севере — дверь в галерею, на западе — дверь шкапа, на юге — окно. Черный блайзер и белые брюки унес бывший камердинер его камердинера. Облачившись в пижаму, король присел на край кровати. Человек вернулся с парой сафьяновых туфель, насунул их на вялые господские ступни и вышел, унося снятые бальные туфли. Блуждающий взор короля остановился на приоткрытом окне. За окном виднелась часть тускло освещенного дворика, на каменной скамье под огороженным тополем сидели двое солдат и играли в ландскнехт. Летняя ночь, беззвездная и бездвижная, с далекими содраганиями онемелых молний. Вкруг стоящего на скамье фонаря слепо хлопотала ошалелая бабочка размером с летучую мышь, — покуда понтер не сшиб ее наземь фуражкой. Король зевнул, и подсвеченные игроки, задрожав, распались в призме его слезы. Скучающий взгляд побрел со стены на стену. Дверь в галерею стояла притворенной, и слышен был часовой, прохаживающийся взад-

---

[1] Фламандский праздник (*фр.*).

вперед. Над шкапом Ирис Акт расправила плечи и отвела глаза. Скворчнул сверчок. Постельной лампы всего и хватало на яркий блик золоченого ключика, торчащего в запоре стенного шкапа. От этой-то ключевой искры вспыхнул и покатил в сознании узника чудесный пожар.

Тут нам придется вернуться из августа 1958 года лет на тридцать назад, во вторую половину одного майского дня. В ту пору он был смуглым и сильным мальчиком тринадцати лет с серебряным колечком на указательном пальце загорелой руки. Королева Бленда, его мать, недавно уехала в Вену и в Рим. У него было несколько близких друзей, но ни один не шел в сравнение с Олегом, герцогом Ральским. В те дни отроки высокородных фамилий облачались по праздникам (которых выпадает так много на долгие наши северные весны) в вязаные безрукавки, беленькие носочки при черных на пряжках туфлях и в очень тесные, очень короткие шорты, называемые *hotingueny*. Хотелось бы мне снабдить читателя вырезными фигурками, нарядами, деталями убранства наподобие тех, что даются в кукольных картонных наборах вооруженным ножницами детишкам. Они оживили бы эти темные вечера, сокрушающие мой рассудок. Оба мальчика были красивыми, длинноногими представителями варяжского отрочества. Олег в его двенадцать лет был первым центрфорвардом Герцогской Школы. Обнаженный, сиял он в банном тумане, и мощная мужественность его спорила с присущей ему девичьей грацией. То был настоящий фавненок. В описываемый день обильный хлывень лоснил весеннюю листву дворцового парка, и как валилась и вскидывалась персидская сирень в мятежном цвету за зеленой в аметистовых кляксах мутью оконных стекол! Оставалось играть под крышей. Олега все не было. Да и придет ли он вообще?

Юный принц задумал отыскать искусной работы игрушечный набор (дар иностранного владыки, недавно павшего жертвой покушения), который скрасил ему и Олегу прошлую Пасху, а после забылся, как часто случается с редкостными, изящными игрушками, дозволяющими скрытым в них пузырькам восторга единым духом выплеснуть весь их аромат, чтобы затем погрузиться в музейное

онемение. В особенности ему теперь захотелось сыскать затейливый игрушечный цирк, умещавшийся в ящике размером с крокетный. Он страстно желал его, — глаза, мозг, та часть мозга, что отвечает подушке большого пальца, живо помнили коричневых мальчиков-акробатов с усеянными блестками попками, элегантного грустного клоуна в брыжах и особенно трех полированного дерева слонов величиной со щенка каждый и с такими податливыми сочленениями, что удавалось поставить глянцевую махину на переднюю ногу или прочно усадить на донце барабанчика, белого с красной каемкой. Менее двух недель прошло с последнего посещения Олега, когда мальчикам впервые позволили разделить общее ложе, и зуд их тогдашних шалостей и предвкушение новой такой же ночи мешалось у нашего юного принца со смущением, заставлявшим искать убежища в давних невинных забавах.

Наставник-англичанин, слегший с вывихнутой лодыжкой после пикника в Мандевильском лесу, не знал, куда задевался цирк: он посоветовал порыться в старом чулане в конце Западной Галереи. Туда и направился принц. Не в этом ли пыльном черном бауле? Баул выглядывал угрюмо и замкнуто. Дождь казался здесь более звучным из-за близости говорливой водосточной трубы. Может, в стенном шкапу? Нехотя повернулся позолоченный ключик. Все три полки и пространство под ними забила разная рухлядь: палитра с отбросами бессчетных закатов, чашка, полная фишек, слоновой кости спиночесалка, томик "Тимона Афинского" в 1/32 листа, перевод на земблянский дяди Конмаля, королевина брата, *situla* (игрушечное ведерко) с морского курорта, голубой бриллиант в шестьдесят пять карат, ненароком утащенный из шкатулки покойного отца и позабытый в этом ведерке среди камушков и ракушек, палочка мела и квадратная доска для какой-то давно забытой игры с рисунком переплетенных фигур. Он уже было намеревался порыться в другом углу шкапа, когда, дернув кусок черного бархата, угол которого необъяснимым образом зажало краешком полки, почувствовал, как что-то подалось, полка шевельнулась, отъехала, и под дальним ее обрезом обнаружилась в задней стене шкапа замочная

скважина, и к ней подошел все тот же позолоченный ключик.

Нетерпеливо очистил он другие две полки от их содержимого (все больше старая одежда и обувь), снял их вместе со средней и отпер сдвижную дверь в задней стене шкапа. Слоны были забыты, он стоял на пороге потаенного хода. Глубокая тьма его была непроглядной, но что-то в ее пещерной акустике предрекало, прочищая гулкую глотку, удивительные дела, и принц поспешил в свои покои за парой фонариков и шагомером. Едва он вернулся туда, как появился Олег. В руке он держал тюльпан. Мягкие светлые локоны со времени последнего визита во Дворец остригли, и юный принц подумал: Да, я знал, что он станет другим. Но стоило Олегу свести золотистые брови и наклониться, чтобы выслушать весть об открытии, как по шелковистому теплу заалевшего уха, по оживленным кивкам, одобрявшим предложенное исследование, принц понял, что никаких перемен в милом его соложнике не случилось.

И едва лишь уселся мосье Бошан за шахматы у постели мистера Кэмпбелла и протянул на выбор два кулака, юный принц увел Олега к волшебному шкапу. Настороженные, тихие, покрытые зеленой дорожкой ступени escalier dérobé[1] вели в одетый камнем подземный ход. В сущности говоря, "подземным" он становился не сразу, но лишь когда, протиснувшись под юго-западным вестибюлем, соседствующим с чуланом, пошел под чередою террас, под строем берез королевского парка и после под троицей поперечных ему улиц — Бульваром Академии, Кориолановой Канавой и Тупиком Тимона, еще отделявших его от конечной цели. В прочем же угловатый его и загадочный курс приноравливался к различным строениям, вдоль которых он следовал, то используя бастион, к стене которого ход приникал, как карандаш к держалке карманного дневничка, то проскакивая погребами огромной усадьбы, в которых обилие темных проходов не позволяло приметить вороватого самозванца. Видимо, вмешательством лет установились между заброшенным ходом и миром снаружи — вследствие слу-

[1] Потайная лестница (*фр.*).

чайных потрясений в слоях окружающей кладки или слепых тычков самого Времени — некие тайные сношения, ибо там и сям лужица скверной канавной водицы обозначала присутствие рва, или же душный запах земли и дерна свидетельствовал о близости наклонного гласиса над головой, сообщая о чудодейственных проемах и провалах, столько глубоких и тесных, что даже мысль о них мутила рассудок, а в одном месте, где ход прокрадывался через цоколь огромной герцогской виллы с теплицами, знаменитыми коллекцией пустынной флоры, небольшая россыпь песку на миг изменила звучанье шагов. Олег шел впереди, его точеные ягодицы, обтянутые синей хлопковой тканью, двигались споро, казалось, это не факел, а блистание его возбужденного тела озаряет скачущим светом низкий потолок и тесные стены. За ним свет от электрического фонаря юного принца играл на полу, припудривая сзади голые Олеговы лягвии. Воздух был затхл и прохладен. Все дальше и дальше уводил фантастический подкоп. Вот он словно бы начал постепенно подниматься. Шагомер отщелкал 1888 ярдов, когда они наконец добрались до окончания хода. Волшебный ключик от шкапа в стене с уступчивой легкостью скользнул в замочную скважину вставшей у них на пути зеленой двери и завершил бы акт, обещанный столь приятным вниканием, когда бы внезапный взрыв звуков, донесшихся из-за двери, не принудил наших изыскателей остановиться. Два страшных голоса, мужской и женский, то страстно взвиваясь ввысь, то спадая к хриплым полутонам, бранились на гутнийском наречии, на котором изъясняются рыбари Западной Земблы. Омерзительные угрозы исторгали у женщины испуганный визг. Затем вдруг наступило молчание, в конце концов прерванное мужчиной, пробормотавшим короткую фразу небрежного одобрения ("Отлично, душка" или "Лучше некуда"), и она показалась еще более жуткой, чем все ее предварявшее.

Не сговариваясь, принц и его друг в нелепом ужасе развернулись и понеслись с отчаянно бьющимся шагомером назад по пути, которым пришли. "Уф!" — сказал Олег, едва легла на место последняя полка. "У тебя вся спина белая", — сказал принц, когда они поднимались наверх.

Бошана и Кэмпбелла они застали доигрывавшими ничейную партию. Время шло к обеду. Мальчиков отправили мыть руки. Трепет недавнего приключения уже сменяло возбуждение иного рода. Они заперли дверь. Бежала вода из забытого крана. Исполнившись мужества, они стенали, как голубки.

Эти подробные воспоминания, структура и крапчатость которых взяли немалое время при описании их в настоящих заметках, единым мигом мелькнули в памяти короля. Кой-какие создания прошлого — и это одно из них — могут тридцать лет пролежать в дремоте, как пролежало это, пока их естественное обиталище претерпевает бедственные перемены. Вскоре после открытия потаенного хода принц чуть не умер от воспаления легких. В бреду он то рвался за светлым кружком, шарившим по нескончаемому туннелю, то порывался притиснуть тающий задок своего светлого ангела. На два лета его услали на юг Европы, выздоравливать. Смерть пятнадцатилетнего Олега при крушении тобоггана помогла стушевать реальность их приключения. Для того чтобы потайной ход снова стал реальным, понадобилась революция.

Убедясь, что трескучие шаги стражника удалились достаточно, король открыл шкап. Теперь он был пуст, лишь маленький томик, *“Timon Afinsken”*, еще валялся в углу, да в нижнее отделение напиханы были какие-то старые спортивные тряпки и гимнастические туфли. Уже возвращались шаги. Он не посмел продолжить осмотр и снова замкнул дверцу шкапа.

Было очевидно, что потребуется несколько мгновений совершенной безопасности, чтобы с наименьшим шумом произвести череду мелких движений: войти в шкап, запереться изнутри, снять полки, открыть потайную дверцу, полки поставить на место, скользнуть в зияющую тьму, потайную дверцу закрыть и замкнуть. Скажем, секунд девяносто.

Он вышел в галерею, и стражник — довольно смазливый, но невероятно тупой экстремист — тотчас приблизился. “Я испытываю некоторую настоятельную потребность, Хэл, — сказал король. — Прежде чем лечь, я хочу поиграть

на рояле". Хэл (если его и вправду так звали) отвел его в музыкальную, где, как ведал король, Одон бдительно охранял зачехленную арфу. То был дородный рыжебровый ирландец с розовой лысиной, ныне прикрытой ухарским картузом русского мастерового. Король присел к "Бехштейну" и, как только они остались наедине, коротко изъяснил ситуацию, беря между тем одной рукой звенящие ноты. "Сроду не слышал ни о каком проходе", — проворчал Одон с досадой шахматиста, которому показали, как можно было спасти проигранную им партию. Его Величество совершенно уверены? Его Величество уверены. И они полагают, что ход ведет за пределы Дворца? Определенно за пределы Дворца.

Как бы там ни было, Одон с минуты на минуту должен уйти, он нынче играет в "Водяном", чудной старинной мелодраме, которой не ставили, по его словам, лет уже тридцать. "Мне вполне хватает собственной мелодрамы", — заметил король. "Увы", — откликнулся Одон. Наморщив лоб, он медленно натягивал кожанку. Сегодня вечером ничего уже не сделаешь. Если он попросит коменданта оставить его в наряде, это лишь возбудит подозрения, а малейшее подозрение может стать роковым. Завтра он изыщет возможность обследовать этот новый путь спасения, если это *путь*, а не тупик. Может ли Чарли (Его Величество) пообещать, что не предпримет до того никаких попыток? "Но они подбираются все ближе и ближе", — сказал король, имея в виду грохот и треск, долетавшие из Картинной Галереи. "Да где там, — сказал Одон, — дюйм в час, ну от силы два. Мне пора", — добавил он, поведя глазами в направлении важного и жирного стражника, шедшего ему на подмену.

В нерушимой, но совершенно ошибочной уверенности, что сокровища Короны скрыты где-то во Дворце, новое правительство подрядило чету заграничных спецов (смотри примечание к строкам 680—681), чтобы те их отыскали. Спецы трудились вот уж несколько месяцев. Уже почти ободрав Палату Совета и кой-какие еще парадные покои, эта русская пара перенесла свою деятельность в ту часть галереи, где огромные полотна Эйштейна чаровали многие

поколения земблянских принцев и принцесс. Не умея добиться сходства и потому мудро ограничившись распространенным жанром утешительного портрета, Эйштейн проявил себя выдающимся мастером trompe l'oeil[1] в изображении разного рода предметов, окружавших его почтенные мертвые модели, заставляя их выглядеть еще мертвее рядом с палым листом или полированной панелью, которые он воспроизводил с такой любовью и тщанием. Но помимо того, в иных из этих портретов Эйштейн прибегал к довольно странному трюку: меж украшений из дерева или шерсти, золота или бархата он, бывало, вставлял одно, и в самом деле выполненное из материала, который в прочих местах картины передавала живопись. В этом приеме, имевшем очевидной целью обогатить эффекты его зримых и осязаемых достижений, было все же нечто низкое, он обнаруживал не только явный изъян в даровании Эйштейна, но и тот простенький факт, что "реальность" не является ни субъектом, ни объектом истинного искусства, которое творит свою, особливую "реальность", ничего не имеющую общего с "реальностью", доступной общинному оку. Но вернемся к нашим умельцам, чье постукивание приближалось вдоль галереи к изгибу, у которого стояли, прощаясь, король и Одон. В этом месте висел громадный портрет, запечатлевший прежнего хранителя казны, дряхлого графа Ядрица, написанного опирающимся на чеканный с гербом ларец, одну из сторон которого, обращенную к зрителю, образовывала продолговатая накладка из настоящей бронзы, а на написанной в перспективе затененной крышке ларца художник изобразил блюдо с прекрасно выполненной двудольной, похожей на человеческий мозг половинкой ядра грецкого ореха.

"Хорошенький их ожидает сюрприз", — пробормотал Одон на родном языке, пока жирный страж проделывал в углу положенные, довольно утомительные процедуры, хлопая об пол ружейным прикладом.

Можно простить двум советским профессионалам предположение, что за настоящим металлом найдется и насто-

---

[1] Изображение, создающее иллюзию реальности (*фр.*).

ящий тайник. В эту минуту они решали: отодрать ли накладку или снять картину, мы же позволим себе слегка забежать вперед и уверить читателя, что тайник — продолговатая ниша в стене — там, и верно, имелся, но, впрочем, не содержал ничего, кроме ломаной ореховой скорлупы.

Где-то взвился железный занавес, открыв расписной, с нимфами и ненюфарами. "Завтра я принесу вам флейту", — со значением крикнул по-земблянски Одон и улыбнулся, уже затуманиваясь, уже теряясь в дали своего феспианского мира.

Жирный стражник отвел короля назад в его комнату и сдал смазливому Хэлу. Половина десятого. Король ложится в постель. Лакей, нервозный мерзавец, принес всегдашнее молоко и ночную стопочку коньяку и вынес шлепанцы и халат. Уже он вышел из комнаты, как король приказал ему выключить свет, отчего вернулась обратно рука и пясть в перчатке нашарила и повернула выключатель. Дальняя молния еще трепетала на оконном стекле. В темноте король прикончил питье и поставил пустую стопку на столик, и она, приглушенно звякнув, чокнулась со стальным электрическим фонарем, припасенным предусмотрительными властями на случай, если выключат электричество, что в последнее время проделывали частенько.

Ему не спалось. Повернув голову, он глядел на полоску света под дверью. В конце концов дверь тихонько приотворилась, и просунулся внутрь молодой красивый тюремщик. Шальная мыслишка сплясала в мозгу короля, однако молодой человек всего лишь хотел предупредить узника, что намерен присоединиться к однополчанам, играющим в соседнем дворе, и что дверь он до своего возвращенья запрет. А ежели королю чего потребуется, пускай покричит в окно. "И долго тебя не будет?" — спросил король. *"Yeg ved ik"* [Не знаю], — ответил стражник. "Доброй ночи, злой мальчик", — сказал король.

Он обождал, пока силуэт стражника возникнет в свете двора, где прочие фуляки радостно приняли его в игру. Тогда, в безопасной тьме, король покопался в одеждах на донышке шкапа и натянул поверх пижамы нечто, на ощупь сошедшее за лыжные брюки, и что-то еще, пахнувшее

старым свитером. Дальнейшие раскопки наградили его парой теннисных туфель и шерстяной шапкой с наушниками. И король приступил к тому, что уже отрепетировало воображение. Когда он снимал вторую полку, что-то, мелко стукнув, упало, он догадался — *что* — и подобрал, пусть будет талисманом.

Нажать кнопку фонарика, не погрузившись вполне, он не посмел, не мог он позволить себе и шумно споткнуться, а потому одолел восемнадцать незримых ступеней более или менее сидя, будто пугливый новичок, что на заду съезжает по мшистым камням Маунт-Крона. Тусклый свет, наконец испущенный фонарем, был теперь его драгоценнейшим спутником, — дух Олега, призрак свободы. Он ощущал смесь восторга и тревоги, род любовной радости, в последний раз испытанный им в день коронации, когда при подходе к трону несколько тактов сочной, сильной и полнозвучной музыки (ни автора ее, ни физического источника он так никогда и не установил) поразили его слух, и он вдохнул аромат помады хорошенького пажа, склонившегося, чтобы смахнуть с ножной скамейки розовый лепесток, и в свете фонаря король ныне увидел себя облаченным в уродливо яркий багрец.

Потайной ход, казалось, еще опустился. Вторжение окружения стало намного заметней, чем в день, когда двое подростков, исследуя ход, дрожали в безрукавках и шортах. Лужа переливчатой ровной воды удлинилась, вдоль ее берега брела, словно хромец со сломанным зонтом, больная летучая мышь. Памятная россыпь цветного песка хранила тридцатилетней давности рубчатый оттиск Олеговых башмаков, бессмертный, как след ручной газели египетского ребенка, тридцать столетий назад оставленный на синеватых нильских кирпичах, подсыхавших на солнце. А там, где ход прорезал фундамент музея, неведомо как очутилась сосланная и забытая безголовая статуя Меркурия, сопроводителя душ в Нижний Мир, и треснувший кратер с двумя черными фигурками, играющими под черной пальмой в кости.

В последнем колене прохода, упиравшемся в зеленую дверь, валялись грудой какие-то хлипкие доски, беглец,

спотыкаясь, прошел по ним. Он отпер дверь и, потянув ее, застрял в тяжелой черной завесе. Едва зарылся он в ее вертикальные складки, ища какого-либо прогала, как слабый фонарь закатил беспомощное око и угас. Он разжал ладонь, и фонарик ухнул в глухую пустоту. Король вонзил обе руки в глубокие складки пахнущей шоколадом ткани, и, несмотря на неверность и опасность этой минуты, его движение физически, если так можно выразиться, напомнило ему о смешных, сперва разумных, а после отчаянных колыханиях театрального занавеса, сквозь который тщетно пытается прорваться занервничавший актер. Это гротескное ощущение — и в такую дьявольскую минуту — разрешило тайну прохода еще до того, как он все же выбрался из завесы в тускло освещенную, полную тусклого хлама *lumbarkameru*, бывшую некогда гримерной Ирис Акт в Королевском театре. Она так и осталась тем, чем стала после смерти актрисы: пыльной дырой, сообщающейся с подобием зальчика, где иногда околачивались в дни репетиций актеры. Куски мифологических декораций, прислоненных к стене, наполовину скрыли большое фото короля Тургуса в бархатной раме, — таким он был в ту пору, когда проход в милю длиной служил экстравагантным пособником его свиданий с Ирис.

Беглец, облаченный в багрец, проморгался и выбрался в зальце. Двери многих гримерных выходили сюда. Где-то за ними взревела буря оваций и стихла. Иные, далекие звуки обозначили начало антракта. Несколько костюмированных исполнителей прошло мимо короля, в одном из них он признал Одона. На Одоне был бархатный камзол с медными пуговицами, бриджи и полосатые чулки — воскресный наряд гутнийского рыбаря, — кулак все еще сжимал картонный кинжал, которым он только что разделал свою милашку. "Господи помилуй", — сказал он, узрев короля.

Выхватив из кучи фантастических одеяний два плаща, Одон подтолкнул короля к ведущей наружу лестнице. Одновременно в кучке людей, куривших на лестничной площадке, произошло смятение. Старый интриган, сумевший, умаслив различных чинуш-экстремистов, добиться поста главного режиссера, ткнул в короля дрожащим перстом, но

будучи ужасным заикой, так и не смог выдавить слов гневного узнавания, от которых клацали его фальшивые челюсти. Король попытался натянуть козырек шапки на лицо, — и едва не упал на нижних ступенях узенькой лестницы. Снаружи лил дождь. Лужа отразила карминный его силуэт. Несколько машин стояло в поперечном проулке. Здесь Одон обыкновенно оставлял свой гоночный автомобиль. На один страшный миг ему показалось, что машину угнали, но тут же он с исключительным облегчением вспомнил, что нынче поставил ее на соседней улице. (Смотри интересные заметки к строке 149.)

Строки 131—133: *Я тень, я свиристель, убитый влет поддельной далью, влитой в переплет окна*

Здесь вновь подхвачена изысканная мелодия двух открывающих поэму строк. Повторение этой протяжной ноты спасено от монотонности тонкой вариацией в 132-й строке, где обратный ассонанс между первым ее словом и рифмой дарит нашему уху своеобразное томное наслаждение, подобно отзвуку полузабытой грустной песни, в напеве которой значения больше, чем в словах. Ныне, когда "поддельная даль" и в самом деле исполнила ужасное ее назначение, и поэма, оставленная нам, — это единственная уцелевшая "тень", мы невольно прочитываем в этих стихах нечто большее простой игры отображений и дрожи миража. Мы ощущаем, как судьба в обличии Градуса милю за милей пожирает "поддельную даль", лежащую между ним и несчастным Шейдом. Тоже и ему предстояло в слепом и упорном полете встретиться с отражением, что разнесет его на куски.

И хотя Градус пользовался всеми доступными средствами передвижения — наемными автомобилями, пригородными поездами, эскалаторами, аэропланами, — почему-то мысленно видишь его и мышцей рассудка ощущаешь как бы вечно несущимся по небу с черным чемоданом в одной руке и неряшливо свернутым зонтом в другой, в долгом скольжении над морем и сушей. Сила, что переносит его, — это волшебное действие самой поэмы Шейда, само устройство и ход стиха, мощный двигатель ямба. Никогда прежде

неумолимость поступи рока не обретала столь ощутимой формы (иные образы приближения этого трансцендентального шатуна можно найти в примечаниях к строке 17).

Строка 137: лемниската

“Уникурсальная бициркулярная кривая четвертого порядка”, — сообщает мой старый усталый словарь. Я не способен понять, что тут может быть общего с ездой на велосипеде, и подозреваю, что фраза Шейда не имеет сущностного смысла. Как многие поэты до него, он, видимо, поддался очарованию обманчивой эвфонии.

Вот вам разительный пример: что может быть благозвучней и ослепительней, что более способно породить представление о звуковой и пластической красоте, чем слово *coramen*? Между тем оно обозначает попросту сыромятный ремень, которым земблянский пастух торочит жалкую свою снедь и лоскутное одеяло к крупу самой смирной из своих коров, когда перегоняет их на *vebodar* (горный выпас).

Строка 144: Игрушка

Мне повезло, я видел ее! Как-то майским или июньским вечером я заглянул к моему другу, чтобы напомнить о подшивке памфлетов, написанных его дедушкой, чудаковатым деревенским священником, хранившейся, как он однажды проговорился, где-то в подвале. Я застал его в мрачном ожидании неких людей (кажется, сотрудников кафедры с женами), которые должны были явиться для официального обеда. Он охотно свел меня в подвал, но, порывшись в пыльных кипах книг и журналов, сказал, что придется поискать сборник как-нибудь в другой раз. Тут я и увидел ее на полке между подсвешником и непробудно уснувшим будильником. Он, подумав, что я мог подумать, что она принадлежала его покойной дочери, поспешно пояснил, что ей столько же лет, сколько ему. То был раскрашенный жестяной негритенок со скважинкой в боку, практически лишенный ширины, — просто два более-менее слипшихся профиля, тачка его вся покорежилась и поломалась. Сдувая пыль с рукава, Шейд сказал, что хранит эту игрушку как

своего рода memento mori[1], — однажды в детстве, во время игры с этой куклой, у него приключился странный припадок. Голос Сибил, донесшийся сверху, прервал нашу беседу. Ну что же, теперь заводной жестяный малый заработает снова, потому что ключ от него у меня.

Строка 149: нога средь вечных льдов

Хребет Бера, суровая двухсотмильная горная гряда, немного не достигающая северной оконечности Земблянского полуострова (у самого своего основания отрезанного несудоходным проливом от безумного материка), разделяет его на две части — цветущую восточную область с Онгавой и другими городами, такими как Эроз или Гриндельводы, и гораздо более узкую западную полосу с романтическими селениями рыбарей и чудесными береговыми курортами. Два побережья соединяются двумя асфальтированными трактами: тот, что постарее, уклонившись от трудностей, проходит вначале восточными склонами на север к Одивалле, Полюбу и Эмбле и лишь затем обращается к западу в крайней северной точке полуострова; а что поновее — замысловатая, петлистая, дивно нивелированная дорога, пересекает хребет с востока на запад, начинаясь чуть севернее Онгавы и проходя к Брегбергу, в туристских проспектах ее именуют "живописным маршрутом". Несколько троп в разных местах проникают в горы и идут к перевалам, из которых ни один не поднимается выше пяти тысяч футов, — отдельные же вершины возносятся еще двумя тысячами футов выше, сохраняя свои снега и в середине лета, с одной из них — с самой высокой и трудной, с Маунт-Глиттернтин, — в ясные дни различается далеко на востоке, за заливом Сюрприза, смутное марево, которое кое-кто называет Россией.

Бежав из театра, друзья намеревались проехать двадцать миль на север по старому тракту и повернуть налево, на пустынный проселок, который со временем привел бы их к главному оплоту карлистов — к баронскому замку в еловом бору на восточном склоне хребта Бера. Однако бдительный

[1] Напоминание о смерти (*лат.*).

заика разразился-таки припадочной речью, судорожно заработали телефоны, и едва беглецы одолели дюжину миль, как замешкавшийся костер во тьме перед ними, на пересечении старого тракта с новым, выдал заставу, — спасибо и на том, что она отменила оба маршрута зараз.

Одон развернулся и при первой возможности уклонился на запад, в сторону гор. Узкая и ухабистая дорога, поглотившая их, миновала дровяной сарай, выскочила к потоку, перелетела его, гулко хлопая досками, и разом выродилась в утыканную пеньками просеку. Они очутились на опушке Мандевильского леса. Гром рокотал в ужасном коричневом небе.

Несколько секунд оба стояли, глядя вверх. Ночь и деревья укрыли подъем. С этого места умелый альпинист мог к рассвету добраться до Брегбергского перевала, — если ему повезет, пробив черную стену леса, выбраться на проторенную тропу. Они решили расстаться: Чарли двинется вперед к далекому сокровищу приморской пещеры, Одон же останется позади, для приманки. Уж он им устроит веселую гонку с сенсационными переодеваниями, сказал он, а заодно свяжется со всей остальной командой. Матерью его была американка из Нью-Вая, что в Новой Англии. Уверяли, будто она — первая в мире женщина, стрелявшая волков и, полагаю, других животных тоже, с самолета.

Рукопожатие, блеск молнии. Король погрузился в сырые темные заросли орляка, и запах, и кружевная упругость, и сочетание уступчивой поросли с уступистой почвой напомнили ему о тех временах, когда он выезжал сюда на пикники — в иную часть леса, но на этот же склон горы, повыше, в валунные пустоши, на одной из которых мистер Кэмпбелл подвернул однажды лодыжку, и двум здоровенным прислужникам пришлось тащить его, дымящего трубкой, вниз. В целом довольно скучные воспоминания. Да не в этих ли местах располагался охотничий домик — сразу за водопадом Силфхар? Отличная была охота по тетеревам и вальдшнепам — занятие, обожаемое покойной матушкой его, королевой Блендой, твидовой королевой наездников. Теперь, как и тогда, дождь закипал в черных деревьях, и остановившись, можно было услышать, как ухает сердце и

ревет вдалеке поток. Который час, *kot or*? Он надавил кнопочку репетира, и тот, ничтоже сумняся, прошипел и отзвякал десять часов двадцать одну минуту.

Всякий, кто пытался в темную ночь взбираться крутым склоном сквозь пелену недружелюбных растений, знает, какой невероятной сложности задача стояла перед нашим монтаньяром. Более двух часов бился он с ней, запинаясь о пни, срываясь в овраги, цепляясь за незримые ветви, воюя с еловой дружиной. Он потерял плащ. Он помышлял уже, не лучше ли будет зарыться в мох и ждать наступления дня. Внезапно затеплилась впереди точечка света, и вскоре он уже ковылял по скользкому, недавно выкошенному лугу. Залаял пес. Камень покатился из-под ноги. Он понял, что близко горная *bore* (изба). Он понял также, что свалился в глубокую слякотную канаву.

Заскорузлый мужик и его пухлая женушка, которые, будто персонажи старой и скучной сказки, приютили измокшего беглеца, сочли его отставшим от своих чудаком-туристом. Ему позволили обсушиться в теплой кухне и накормили баснословным ужином: сыр, хлеб, кружка горного меду. Чувства его (благодарность, истома, приятная теплота, сонливость и прочие) слишком понятны, чтобы стоило их описывать. Корни лиственницы потрескивали в пламени очага, и все тени потерянного им королевства сошлись поиграть вкруг его качалки, пока он задремывал между огнем и мерцающим светом глиняной лампадки, остроклювой, вроде римского светильника, висевшей над полкой, где убогие бисерные безделушки и обломки перламутровой раковины обратились в крохотных солдат, вьющихся в отчаянной схватке. На заре, при первом звоне коровьего колокольца, он пробудился с ломотою в шее, отыскал снаружи хозяина — в сыром углу, отведенном для малых естественных надобностей, — и попросил доброго *gruntera* (горного селянина) показать ему кратчайший путь к перевалу. "Гарх, лежебока, — гаркнул хозяин, — вставай!"

Грубая лестница вела на сеновал. Мужик положил заскорузлую руку на заскорузлые поручни и снова гортанно воззвал в темноту: "Гарх! Гарх!" Имя это, хоть и даваемое

лицам обоего пола, является в строгом смысле мужским, и король ожидал увидеть на сеновале голоногого юного горца, похожего на смуглого ангела. Вместо него показалась растрепанная деваха, одетая, впрочем, в мужскую рубаху, доходившую ей до розовых икр, и в пару несоразмерных бахилок. Мгновенье спустя, словно в цирковом номере с переодеванием, она появилась снова, — по-прежнему прямо и вольно висли желтоватые пряди, но грязную рубаху заменил грязный же свитер, а ноги укрылись в вельветовых брюках. Ей велено было свести чужака в такое место, откуда он сможет легко достичь перевала. Сонное и недовольное выражение мутило всякую привлекательность, какой могло на взгляд тутошних пастухов обладать ее курносое и круглое личико, впрочем, она с достаточной охотой подчинилась отцовой воле. Его жена, напевая старинную песню, возилась с кухонной утварью.

Перед уходом король попросил хозяина, коего звали Грифф, принять старинный золотой, оказавшийся в кармане его, — то были все его деньги. Грифф наотрез отказался и, продолжая протестовать, углубился в сложное дело отмыкания и съема засовов с двух-трех тяжелых дверей. Король взглянул на старуху, поймал одобрительное подмигиванье и положил незвучный дукат на очаг, рядом с морской розоватой раковиной, примостясь к которой стояла цветная картинка, изображающая грациозного гвардейца и его декольтированную жену — Карла Возлюбленного, каким он был с лишком лет двадцать назад, и молодую королеву, гневную девственницу с черными как смоль волосами и льдисто-голубыми глазами.

Звезды еще только начали выцветать. Он шел за девушкой и за счастливой овчаркой вверх по заросшей тропинке, блестевшей рубиновыми слезами в театральном сиянии горного утра. Сам воздух казался подцвеченным и стеклянистым. Отвесный утес, вдоль которого поднималась тропа, отзывался могильной стужей, но на противоположном обрыве там и сям между верхушками росших понизу елей летучая паутина солнечных лучей уже заплеталась в узоры тепла. За следующим поворотом это тепло обволокло беглеца, и черная бабочка опустилась, танцуя, на каменистую

осыпь. Тропинка еще сузилась и постепенно исчезла среди толчеи валунов. Девушка указала на склон за ними. Он кивнул. "Ступай теперь домой, — сказал он. — Я отдохну здесь и дальше пойду один".

Он опустился на траву близ переплетенного эльфина леса и вдохнул яркий воздух. Тяжко дышащий пес улегся в его ногах. Гарх улыбнулась, впервые. Земблянские горянки — это, как правило, несложные механизмы для утоления неприхотливой похоти, и Гарх исключения не составляла. Едва присев подле него, она пригнулась и через лохматую голову стянула плотный серый свитер, открывши голую спину и blancmangé[1] грудей и обдав смущенного спутника едкими запахами неухоженной женственности. Она намеревалась раздеваться и дальше, но король жестом остановил ее и поднялся. Он поблагодарил ее за доброту. Он потрепал невинного пса и, не оборачиваясь, пружинистой поступью зашагал вверх по травянистому склону.

Еще посмеиваясь девичьей незадаче, подошел он к огромным камням, сгрудившимся вокруг озерца; множество лет назад он пару раз добирался досюда со скалистого склона Кронберга. Теперь он приметил проблеск воды за естественной аркой, шедевром эрозии. Арка оказалась низковата, пришлось пригнуться, чтобы спуститься к воде. В этом влажном тинтарроне он увидал свое отражение, но странно, однако, — из-за того, что на первый взгляд показалось оптическим обманом, это отражение расположилось не у ног его, но много дальше, и сверх того, ему сопутствовало покоробленное рябью отражение скального выступа, торчавшего гораздо выше теперешнего его местонахождения. В конце концов чары, сотворившие этот образ, не выдержали натяжки, и образ распался, двойник его, в красном свитере и красной шапочке, поворотился и пропал, в то время как он, наблюдатель, оставался недвижим. Приблизясь тогда к самой кромке воды, он встретил здесь настоящее отражение, крупнее и отчетливее того, что его обмануло. Он обогнул озеро. Высоко в темно-синем небе торчала пустая скала, на которой только что стоял обман-

[1] Бламанже (*фр.*).

ный король. Дрожь *elfobosa* (неодолимого страха, насылаемого эльфами) пробежала у него между лопаток. Он прошептал привычную молитву, перекрестился и решительно зашагал к перевалу. На высшей точке ближнего гребня стоял *steinmann* (груда камней, воздвигнутая в память о восхождении), напяливший в честь его шлем из красной шерсти. Он повлачился дальше. Но сердце его обратилось в конус боли, тыкавший снизу в горло, и чуть погодя пришлось остановиться, чтобы уяснить положение и решить, карабкаться ли ему по сорному рыхлому склону, что поднимался прямо перед ним, или же уклониться вправо вдоль полоски травы, украшенной горечавкой и вьющейся меж лишаистых скал. Он выбрал второй путь и в должное время достиг перевала.

Огромные сколки скал украшали обочину дороги. К югу *nippern* (куполовидные холмы, или "дымники") разламывались каменными и травяными скатами на плоскости света и тени. На север уплывали зеленые, серые, синие горы — Фалькберг под капором снега, Мутраберг с опахалом обвала, Паберг (Павлинья гора) и другие, — разделенные тесными дымчатыми долинами с прослойками хлопковых облачных клочьев, как бы уложенных между уходящими вдаль грядками гор, чтобы не дать их отрогам поцарапать друг дружку. За ними в окончательной синеве маячила Маунт-Глиттернтин, зубчатый обрывок сверкающей станиоли, а южнее нежная дымка облекала все более дальние кряжи, бесконечным строем, один за другим проходящие всеми ступенями исчезновения.

Он достиг перевала, он одолел гравитацию и гранит, но самый опасный отрезок пути лежал еще впереди. На западе вереница вересковых склонов вела к блистающему морю. До этой минуты между ним и заливом стояла гора, теперь же он был открыт дуговому сиянию бухты. Он начал спускаться.

Спустя три часа он уже шел по ровной земле. Две старухи, копавшиеся в огороде, разогнулись, как в замедленной съемке, и уставились ему вслед. Он миновал сосновые рощи Боскобеля и подходил к причалам Блавика, когда с поперечной дороги поворотила и притормозила с ним

рядом черная полицейская машина. "Шутка зашла чересчур далеко, — произнес водитель. — Сотня скоморохов уже сидит в Онгавской тюрьме, и бывший король наверняка с ними. А в нашу кутузку новые короли не поместятся. Следующего придется кокнуть на месте. Ну, как твое настоящее имя, Чарли?" — "Я англичанин. Я турист", — сказал король. "Ладно, во всяком случае, снимай эту красную *fufu*. И шапку. Давай их сюда". И швырнув одежду на заднее сиденье, он уехал.

Король отправился дальше. Верх его голубой пижамы, заправленный в лыжные брюки, вполне мог сойти за новомодную сорочку. В левом ботинке застрял камушек, но он слишком устал, чтобы им заниматься.

Он узнал приморский ресторан, где много лет назад завтракал инкогнито с двумя веселыми, весьма веселыми матросами. Несколько вооруженных до зубов экстремистов пили пиво на окаймленной геранью веранде между обычными курортниками, из которых иные усердно писали письма далеким друзьям. Рука в перчатке, проткнувши герань, подала королю красочную открытку с надписью: "Следуйте к П. Р. Bon voyage!"[1] Изображая праздного гуляку, он дошел до конца набережной.

Стоял прекрасный, немного ветреный полудень, и светлая пустота западного горизонта притягивала нетерпеливое сердце. Король, достигший ныне самой опасной точки своего путешествия, осмотрелся, тщательно вглядываясь в немногочисленную гуляющую публику, пытаясь понять, кто из них может оказаться переодетым агентом полиции, готовым наброситься на него, едва он перемахнет парапет и направится к Пещерам Рипплсона. Одинокий парус, окрашенный в королевский багрец, пятнал морские просторы так называемым "человеческим содержанием". Нитра и Индра (что означает "нутряной" и "наружный"), два темных островка, казалось, переговаривались на потаенном арго, с променада их фотографировал русский турист, грузный, с множеством подбородков и с мясистым генеральским загривком. Его увядшая жена в цветастой развеваю-

---

[1] Счастливого пути (*фр.*).

щейся écharpe[1] произнесла на певучем московнике: “Всякий раз что вижу такого калеку, вспоминаю мальчика Нины. Ужасная вещь война”. — “Война? — переспросил супруг. — Это, надо быть, взрыв на Стекольных заводах в пятьдесят первом, а не война”. Они медленно прошли мимо короля в том направлении, по которому он пришел. На скамейке у тротуара сидел лицом к морю мужчина, прислонивши пообок свои костыли и читая онгавскую “Post”[2] с изображенным на первой странице Одоном в мундире экстремистов и с Одоном же в роли Водяного. Невероятно, но дворцовая стража теперь только и обнаружила их единство. Ныне за его поимку сулили почтенную сумму. Волны размеренно шлепали в гальку. Лицо читателя газеты было жестоко изуродовано недавно упомянутым взрывом, и все чудеса пластической хирургии имели единственным результатом жуткую мозаичность тканей, казалось, части этого узора и кое-какие черты изменяются, сливаясь и разделяясь, подобно тому, как в кривом зеркале плавают по отдельности щеки и подбородки.

Короткий участок пляжа между рестораном в начале променада и гранитными скалами в конце его был почти пуст: далеко влево троица рыбарей грузила в весельный бот бурый от водорослей невод, да прямо под пешеходной дорожкой сидела на гальке старушка в платье горошком и в колпаке из газеты (“Экс-короля заметили —”) и вязала, повернувши к улице спину. Перебинтованные ноги ее лежали в песке, сбоку валялись войлочные шлепанцы, с другого — клубок алой шерсти; время от времени, незабываемым локтевым рывком земблянской вязальщицы, она поддергивала нить, отчего клубок вертелся, высвобождая пряжу. Да еще девчушка в раздувающемся платье неуклюже, но ретиво щелкала роликами по тротуару. Способен ли карлик-полицейский изобразить девчонку с косичками?

Ожидая, пока удалится русская чета, король остановился у скамьи. Человек с мозаичным лицом сложил газету и за секунду до того, как он произнес первые слова (в ней-

[1] Шарф (*фр.*).
[2] “Почта” (*англ.*).

тральном интервале между клубом дыма и детонацией), король понял, что это Одон. "Все, что удалось соорудить на скорую руку, — сказал Одон, оттянув щеку, чтобы показать радужную полупрозрачную пленку, липнувшую к лицу, изменяя его черты в соответствии с силой натяжения. — Воспитанный человек, — прибавил он, — как правило, не проявляет чрезмерного интереса к чужому уродству". — "Я высматривал шпиков", — сказал король. — "Они целый день патрулировали набережную, — сказал Одон. — Теперь обедают". — "Пить хочется, и есть", — сказал король. — "В лодке кой-что найдется. Пусть отойдут эти русские. Ребенок не в счет". — "А женщина на берегу?" — "А это молодой барон Мандевиль, — помните, та дуэль в прошлом году? Ну, пошли". — "А его мы с собой не возьмем?" — "Не пойдет, обзавелся женой и ребенком. Шагайте, Чарли, шагайте, Ваше Величество". — "В день коронации он был моим тронным пажом". Так, беседуя, добрались они до Пещер Риппльсяона. Я уверен, что это примечание доставит читателю наслаждение.

Строка 161: *чей язык однажды* и т. д.

На удивление окольный способ описания робкого поцелуя селянки, впрочем, весь этот пассаж грешит некоторой искусственностью. Мое отрочество было слишком здоровым и счастливым, чтобы вместить что-либо, хотя отдаленно напоминающее обморочные припадки, испытанные Шейдом. Должно быть, он страдал эпилепсией в умеренной форме, крушеньями нервных путей, происходившими всегда в одном и том же месте, на одном закруглении рельсов, ежедневно в течение нескольких недель, покамест природа не завершила ремонтных работ. Кто сможет забыть лоснящиеся от пота добродушные лица медногрудых железнодорожных рабочих, которые, опершись на лопаты, провожают глазами окна экспресса, осторожно скользящего мимо?

Строка 167: *Был час* и т. д.

Поэт начал Песнь вторую (на четырнадцатой карточке) 5 июля, в свой шестидесятый день рождения (смотри при-

мечание к строке 181: “нынче”). Виноват, — заменить на шестьдесят первый.

Строка 169: Загробной жизни

Смотри примечание к строке 549.

Строка 171 (1): Великий заговор

После побега короля экстремисты почти целый год оставались при убеждении, что ни он, ни Одон не покинули Земблы. Эту ошибку можно приписать лишь фатальной тупости, сквозящей красной нитью и в самых толковых тираниях. Воздухоплавательные снаряды и все, с ними связанное, поистине колдовским туманом обнесли разумение наших новых правителей, которым добродушная История поднесла вдруг целый короб этих стрекотливых и егозливых безделиц, дабы им было с чем цацкаться. Чтобы важный беглец, удирая, и не исполнил воздушного номера, — это им представлялось немыслимым. Через две минуты после того, как король и актер с грохотом сбежали по черной лестнице Королевского Театра, каждое крыло на земле и в воздухе оказалось уже сочтено, — такова была распорядительность правительства. В несколько следующих недель ни единый из частных или гражданских самолетов не получил разрешения на взлет, а досмотр транзитных стал до того долог и строг, что международные авиалинии решили отменить посадки в Онгаве. Имелись и жертвы. С энтузиазмом прострелили, к примеру, малиновый воздушный шар, отчего воздухоплаватель (известный метеоролог) утонул в заливе Сюрприза. Пилот с базы в Лапландии, совершая спасательный полет, заблудился в тумане, и земблянские истребители так его шуганули, что он поспешил приземлиться прямо на вершину горы. Всему этому можно отыскать некоторые извинения. Иллюзию пребывания короля в земблянской глуши поддерживали заговорщики-роялисты, завлекавшие целые полки на прочесывание гор и лесов сурового нашего полуострова. Правительство с уморительной старательностью исследовало личности сотен притворщиков, переполнивших тюрьмы страны. Большинству из них удалось отшутиться, некоторые, увы, погибли.

И вот весной следующего года ошеломительная весть явилась из-за границы. Земблянский актер Одон ставит фильму в Париже!

На сей раз вывод сделали верный: раз Одон сбежал, значит, сбежал и король. На экстренном заседании правительства экстремистов в мрачном молчании передавался из рук в руки номер французской газеты с заголовком "L'ex-roi de Zembla est-il à Paris?"[1]. Скорее мстительное отчаяние, чем соображения государственной стратегии, побудило тайную организацию, которой Градус был незначительным членом, составить план умерщвления царственного беглеца. Злобные головорезы! Как не сравнить их с бандитами, изнывающими от желания растерзать недосягаемого для них человека, чьи показания пожизненно упрятали их за решетку. Известны случаи, когда такие острожники впадали в исступление при мысли, что их неуязвимая жертва, самые тестикулы которой они мечтали бы вывернуть и разодрать своими когтями, сидит себе на солнечном острове, пируя под перголой, или в безмятежной безопасности ласкает, зажав между колен, какое-нибудь юное и прелестное существо, — и смеется над ними! Надо думать, что не может быть ада ужаснее немощного гнева, который они испытывают, когда осознание этого безжалостного и сладкого веселья настигает их и затопляет, медленно размывая звериные их мозги. Группа особенно истовых экстремистов, называющих себя Тенями, сошлась и поклялась загнать и убить короля. В известном смысле они представляли собой теневое подобие карлистов, и кой у кого из Теней, точно, имелись двоюродные, а то и родные братья в стане приверженцев короля. Происхождение обоих сообществ, несомненно, восходит к разного рода дерзостным ритуальным студенческим братствам и воинским клубам, а их развитие осмысливается в категориях причуд и антипричуд, но если в карлизме объективный историк отметит ореол романтики и благородства, то теневая его группировка поражает как нечто явно готически-гнусное. Гротескная фигура Градуса — помесь рака с нето-

[1] "Бывший король Земблы находится в Париже?" (*фр.*).

пырем — была не многим нелепее прочих Теней, таких, например, как Нодо, единокровный братец Одона, эпилептик и мелкий карточный плут, или дебильный Мандевиль, потерявший ногу в потугах изготовить антиматерию. Градус давно уже состоял в разных хилых левацких организациях. Он никого пока не убил, хоть не раз за свою serenькую жизнь бывал к этому близок. Как он впоследствии уверял, его назначили выследить и убить короля лишь потому, что такая ему выпала карта, — не забудем, однако, что тасовал и сдавал эти карты Нодо. Возможно, тайным мотивом такого выбора явилось иноземное происхождение нашего деятеля, ибо не должно сынам Земблы пятнать себя бесчестьем действительного цареубийства. Мы хорошо представляем себе эту сцену: жуткий неоновый свет лаборатории в пристройке Стекольных заводов, где в ту ночь сошлись Тени, пиковый туз на кафельном полу, водка, которую они хлещут из пробирок, множество рук, шлепающих Градуса по покатой спине, и темное волнение этого человека, принимающего вероломные поздравления. Мы относим этот судьбоносный момент к 00 часам 05 минутам 2 июля 1959 года, — что оказалось и датой, которой невинный поэт пометил первые строки своей последней поэмы.

Годился ли Градус для этой работы? И да, и нет. Когда-то в ранней юности, работая рассыльным в большой и унылой фирме, производившей картонную тару, он под рукой помог товарищам учинить покушение на местного паренька, которого им захотелось избить, потому что тот выиграл на ярмарке мотоцикл. Юный Градус добыл топор и руководил порубкой дерева: дерево, однако, завалилось неправильно, не вполне перекрыв собою проселок, по которому в густеющих сумерках разъезжала их беспечная жертва. Бедный парнишка, со свистом летевший туда, где скрючились хулиганы, был худощавым, хрупким на вид лотаринжцем, следовало и впрямь обладать немалой подлостью, чтобы позавидовать его безобидным утехам. Как это ни удивительно, будущий цареубийца уснул в канаве и потому пропустил короткую стычку, во время которой лихой лотаринжец вышиб кастетом дух из двух нападавших, а третьего переехал, покалечив его на всю жизнь.

Градус так никогда и не добился настоящего успеха в стекольном деле, к которому вновь и вновь обращался в промежутках между виноторговлей и печатаньем прокламаций. Он начал с изготовления "демонов Декарта" — бесенят из бутылочного стекла, пляшущих в трубочках с метилатом, которыми на Вредной неделе так бойко торгуют по бульварам. Работал он также плавильщиком и халявщиком на государственных предприятиях — и, сдается мне, несет кой-какую ответственность за замечательно безобразные красно-янтарные окна большого публичного писсуара в буйной, но красочной Каликсгавани, где гуляют матросы. По его уверениям, это он усилил блеск и трескливость feuilles-d'alarme[1], с помощью которых отпугивают птиц огородники и виноградники. Я расставил заметки, относящиеся до него, в таком порядке, чтобы самая первая (смотри примечание к строке 17, содержащее начальный эскиз его предприятий) была бы и самой туманной, а последующие отвечали различным градациям ясности, достигаемым по мере того, как все точнее отградуированный Градус приближается к нам в пространстве и времени.

Простенькие рычаги и пружины порождали внутренние движения нашего механического человека. Мы вправе назвать его пуританином. Одна основная антипатия, пугающая в ее простоте, владела его скушной душой: он ненавидел несправедливость и обман. Он ненавидел их союз, — они всегда появлялись вместе, — с деревянной страстностью, не имевшей слов для своего выражения, да и не нуждавшейся в них. Подобная нетерпимость заслуживала бы похвалы, не будь она побочным продуктом его несусветной тупости. Он называл несправедливостью и обманом все, превосходившее его разумение. Он поклонялся общим местам и делал это с педантичным апломбом. Общее шло от Бога, отдельное — от лукавого. Если один человек беден, а другой богат, совершенно не важно, *что* разорило одного и обогатило другого, само различие несправедливо, а бедняк, не порицающий его, столь же дурен, сколь и богач, его не замечающий. Люди, которые слишком умные, — ученые,

[1] Буквально "отпугивающие листочки" (*фр.*).

писатели, математики, кристаллографы, — ничем не лучше царей и попов: все они владеют несправедливой долей власти, обманом отнятой у других. Простой и честный человек должен все время ждать каких-то хитрых подвохов со стороны ближнего или природы.

Земблянская революция дала Градусу удовлетворение, но породила также и разочарования. Один совершенно возмутительный случай представляется, задним числом, весьма многозначительным, ибо принадлежит к тому порядку вещей, с которым Градусу следовало бы свыкнуться, чего, однако, он так и не сделал. Особенно блестящий имитатор короля, теннисный ас Джулиус Стейнманн (сын известного благотворителя) несколько месяцев ускользал от полиции и довел ее до крайнего остервенения, в совершенстве подражая голосу Карла Возлюбленного в речах, высмеивающих правительство и передаваемых подпольным радио. Наконец схваченный, он предстал перед чрезвычайной комиссией, членом которой состоял и Градус, и был приговорен к смерти. Расстрельщики напортачили, и немного спустя доблестного молодого человека обнаружили залечивающим раны в провинциальной больнице. Когда Градус проведал об этом, с ним приключился редкий у него припадок гневливости, — не оттого, что сам факт подразумевал роялистские плутни, но оттого, что чистый, честный, отчетливый ход смерти нарушился нечистым, нечестным, неотчетливым образом. Ни у кого не спросясь, он помчался к больнице, вломился, выискал Джулиуса в битком набитой палате и ухитрился выстрелить дважды, оба раза промазав, пока дюжий санитар отнимал у него пистолет. Тогда он понесся обратно в штаб и воротился с дюжиной солдат, однако его пациент исчез.

Такие раны не заживают, — но что мог поделать Градус? Стакнувшиеся норны вступили в великий заговор против Градуса. С простительной радостью отмечаешь, что ему подобные никогда не вкушают высших радостей собственноручной расправы с жертвой. О, разумеется, Градус деловит, умел, расторопен, часто незаменим. Это Градус промозглым и сереньким утром сметает ночной сыпучий снежок с лесенки эшафота, но не его длинное и кожистое

лицо увидит в этом мире последним человек, восходящий по лесенке. Это Градус покупает дешевый фибровый чемодан, который кто-то более удачливый подсунет с адской машинкой внутри под кровать былого соратника. Никто лучше Градуса не умеет расставить ловушку посредством лживого объявления, но ухаживать за богатой вдовой, клюнувшей на приманку, станет другой, другой ее и зарежет. Когда к столбу на площади привязывают свергнутого тирана, воющего и голого, и народ по частям умертвляет его, отрезая куски и пожирая их (как я читал еще молодым в рассказе об одном италийском деспоте, что и обратило меня в пожизненного вегетарьянца), Градус не участвует в дьявольском причащении: он указывает нужные инструменты и руководит разделкой.

Так тому и быть надлежит: мир нуждается в Градусе. Но не Градусу убивать королей. Никогда, никогда не следует Виноградусу испытывать терпение Господне. Даже во сне не стоит Ленинградусу прицеливаться в человека из своей гороховой пушечки, потому что, как только он сделает это, две колоссально толстых и неестественно волосатых руки обхватят его сзади и станут давить, давить, давить.

Строка 171 (2): людей и книг

В черной записной книжке, по счастью оказавшейся со мной, я нашел несколько наспех набросанных там и сям, вперемешку с разного рода прельстившими меня изъятиями (сноской из Босуэлловой "Жизни доктора Джонсона", надписями на деревьях знаменитой Вордсмитской аллеи, цитатой из блаженного Августина и тому подобным), образчиков высказываний Джона Шейда, записанных мною с тем, чтобы ссылаться на них при людях, которых могла заинтересовать или задеть моя дружба с поэтом. Его и мой читатель, надеюсь, простит мне, если я нарушу размеренный ход настоящего комментария и предоставлю слово моему блестящему другу.

При упоминании о литературных критиках он сказал: "Я никогда не благодарил за печатные похвалы, хотя порою испытывал желание прижать к груди то или иное блестящее воплощение способности к здравому суждению;

но я также ни разу не потрудился высунуться из окошка, чтобы опустошить мой скорамис над головой какого-нибудь горестного писаки. И к разносу, и к превознесению я отношусь с одинаковой отрешенностью". Кинбот: "Я полагаю, вы отвергаете первый как скудоумную болтовню, а второй — как дружеский жест доброй души?" Шейд: "Вот именно".

В разговоре о возглавляющем чрезмерно раздутую русскую кафедру профессоре Пнине, который замучил своих сотрудников придирками (по счастью, профессор Боткин числился по другой кафедре и не состоял в подчинении у этого гротескного "перфекциониста"): "Как странно, что у русских интеллигентов напрочь отсутствует чувство юмора, и это при таких изумительных юмористах, как Гоголь, Достоевский, Чехов, Зощенко или этот их двуединый гений — Ильф и Петров".

Говоря о пошлости одного нашего дородного знакомца: "Он отдает заношенным поварским фартуком". Кинбот (со смехом): "Чудесно".

По поводу преподавания Шекспира в колледжах: "Прежде всего, в сторону идеи и социальный фон, учите первокурсника дрожать в ознобе, учите его пьянеть от поэзии "Гамлета" или "Лира", читать позвоночником, а не черепом". Кинбот: "Вам нравятся его замысловатости?" Шейд: "Да, мой дорогой Чарльз, я катаюсь по ним, как благодарная дворняга по травке, загаженной датским догом".

Говорили о взаимных влияниях и проникновениях марксизма и фрейдизма, я сказал: "Из двух ложных доктрин всегда хуже та, которую труднее искоренить". Шейд: "Нет, Чарли, есть критерий попроще: марксизму нужен диктатор, а диктатору — тайная полиция, вот тут и наступает конец света; фрейдист же, даже самый глупый, все-таки может еще опустить на выборах бюллетень, хотя бы ему и нравилось называть это [улыбаясь] — *политическим опылением*".

О студенческих работах: "Вообще говоря, я весьма снисходителен [говорил Шейд]. Но есть мелочи, которых я не прощаю". Кинбот: "К примеру?" Шейд: "К примеру, когда студент не читает указанной ему книги. Или читает ее, как

идиот. Ищет в ней символов, ну, скажем: "Автор использует броский образ "зеленой листвы", потому что зеленый цвет символизирует счастье и тоску". Я имею также привычку катастрофически понижать оценку студента, если он употребляет слова "простой" и "искренний" в похвалу, например: "Слог Шелли всегда очень прост и достоен" или "Йейтс всегда искренен". Это очень распространено, и когда я слышу критика, говорящего об искренности автора, я понимаю, что либо критик, либо автор — дурак". Кинбот: "Но мне говорили, что такой подход преподается в школе". Шейд: "Там-то первым делом и нужно пройтись метлой. Чтобы преподать ребенку тридцать предметов, требуются тридцать специалистов, а не замученная зануда, которая показывает картинку с рисовым полем и уверяет, что это Китай, потому что ничего не знает ни о Китае, ни вообще о чем бы то ни было и не способна сказать разницу между широтой и долготой". Кинбот: "Да, я с вами согласен".

Строка 181: *нынче*

А именно 5 июля 1959 года, в 6-е воскресенье после Троицы. Шейд начал Песнь вторую "ранним утром" (так помечено в верху карточки № 14). На протяжении всего дня, отвлекаясь и вновь увлекаясь, он продолжал писание и добрался до строки 208-й. Почти весь вечер и часть ночи были отданы тому, что любимые им авторы восемнадцатого столетия именовали "Суетой и Тщеславием Света". После того, как отбыл (велосипедом) последний гость и опустошились пепельницы, все окна в доме погасли примерно на два часа, но затем, часов около 3-х утра, из ванной комнаты наверху я увидел, что поэт вернулся к столу, в синеватый свет верхнего кабинета, и этот ночной сеанс довел Песнь до 230-й строки (карточка № 18). Снова наведавшись в ванную часа через полтора, уже при восходе солнца, я обнаружил, что свет переместился в спальню и снисходительно усмехнулся, ибо, согласно моим умозаключениям, всего лишь две ночи прошло с три тысячи девятьсот девяносто девятого раза, — впрочем, неважно. Несколько минут погодя все опять погрузилось в плотную тьму, и я вернулся в постель.

В полдень 5 июля в другом полушарии по промытому дождичком термакадаму аэропорта в Онгаве шел, направляясь к следующему рейсом на Копенгаген русскому самолету, Градус с французским паспортом в руке, и именно в эту минуту, ранним утром (по атлантическому береговому времени), Шейд принялся сочинять или записывать сочиненные в постели начальные строки Песни второй. Когда почти через двадцать четыре часа он добрался до 230-й строки, Градус после ночного отдыха на вилле высокопоставленной Тени (нашего консула в Копенгагене) вошел в сопровождении Тени в магазин готового платья, чтобы привести свой вид в соответствие с описанием, данным в более поздних заметках (к строкам 286 и 408). Мигрень нынче снова усилилась.

Что до собственных моих дел, они, боюсь, были крайне неудовлетворительны со всех точек зрения — с эмоциональной, с творческой и с общественной. Полоса невезения началась днем раньше, когда я проявил чрезмерную доброту, предложив моему молодому другу — кандидату на третий мой пинг-понговый стол, лишенному водительских прав после впечатляющей серии нарушений дорожных правил, — отвезти его в моем мощном “Кремлере” в родительское именье — пустяковое дело, каких-нибудь двести миль. Там, среди ночного разгула, в толпе незнакомых людей — юношей, старцев, перенадушенных дев, — в стихии шутих, дыма жаровен, жеребячьего флирта, джазовой музыки и рассветных купаний я утратил всякую связь с глупым мальчишкой, был принужден танцевать, был принужден петь, участвовать в невообразимых по скуке и пустоте разговорах с различными родичами дитяти и наконец неведомо как очутился уже на другой гулянке в другом именье и там после неописуемых салонных игр, в которых мне едва не отхватили бороду, получил на завтрак какую-то кутью, после чего отправился с безымянным хозяином, старым и пьяным болваном в смокинге и жокейских бриджах, осматривать, запинаясь на каждом шагу, конюшни. Отыскавши машину (в сосновой рощице в стороне от дороги), я выкинул с водительского сиденья пару сочащихся купальных трусов и девичью серебристую туфельку. За ночь тормоза

пообмякли и вскоре, на пустынной дороге, у меня вышел бензин. Куранты Вордсмитского колледжа отбивали шесть, когда я достиг Аркадии, клянясь себе никогда больше не попадаться подобным образом и невинно предвкушая тихий утешительный вечер с моим поэтом. И только увидев на кресле в прихожей обвязанную лентами плоскую картонку, я сообразил, что чуть было не пропустил день его рождения.

Какое-то время назад я приметил эту дату на обложке одной из его книг, поразмыслил над одряхлением его утреннего одеяния, как бы играючи смерил длины наших рук и купил для него в Вашингтоне совершенно сногсшибательный шелковый халат, настоящую драконью шкуру, по-восточному яркую, хоть сейчас на самурая, — его-то и содержала коробка.

Торопливо сбросив одежды и рыча мой любимый гимн, я принял душ. Мой многоумелый садовник, делая мне массаж (в чем я немало нуждался), сообщил, что нынче вечером у Шейдов прием "а-ля фуршет" и что ожидается сенатор Проубел (пряморечивый государственный муж и двоюродный брат Джона, не сходящий с газетных листов).

Право, ничего так не любит одинокий мужчина, как неожиданных дней рождения, и полагая, — нет, зная наверняка, — что мой покинутый телефон вызванивал целый день, я беспечно набрал номер Шейдов и, разумеется, трубку взяла Сибил.

— Bon soir[1], Сибил.

— А, Чарльз, привет. Хорошо съездили?

— Да честно говоря...

— Послушайте, я знаю, что вам нужен Джон, но он сейчас отдыхает, а у меня куча дел. Он вам потом позвонит, ладно?

— Когда потом — вечером?

— Нет, я думаю, завтра. Кто-то звонит у двери. Пока.

Странно. С чего бы стала Сибил прислушиваться к двери, имея под рукой, кроме горничной и повара, еще двух наймитов в белых мундирах? Ложная гордость удержала

[1] Добрый вечер (*фр.*).

меня от того, что следовало бы сделать — сунуть мой королевский дар под мышку и невозмутимо отправиться в этот негостеприимный дом. Как знать, может быть в благодарность мне поднесли бы у задних дверей рюмку кухонного шерри? Я все надеялся, что случилась ошибка, все ждал, что Шейд позвонит. То было горькое ожидание, и единственное, чем наградила меня выпитая в одиноком бдении у окна бутылка шампанского, — это *crapula* (похмельная мигрень).

Из-за шторы, из-за ствола самшита, сквозь золотую вуаль вечера и черные кружева ночи я следил за их лужайкой, за подъездным путем, за веером света над дверью крыльца, за самоцветными окнами. Солнце еще не село, когда в четверть восьмого я заслышал машину первого гостя. О, я увидел их всех. Я увидел древнего доктора Саттона, белоголового, безупречно овального господинчика, приехавшего в разболтанном "Форде" со своей долговязой дочерью, миссис Старр, военной вдовой. Я увидел чету, впоследствии проясненную мной как мистер Кольт, здешний адвокат, и его жена, — их неловкий "Кадилляк" наполовину заехал ко мне на дорожку, прежде чем отретироваться, суматошно мигая всеми огнями. Я увидел всемирно известного старика-писателя, согбенного бременем славы и собственной плодовитой посредственности, явившегося из мглы былого, в которой он и Шейд издавали вместе литературный журнальчик. Я увидел, как укатил в фургончике Фрэнк, Шейдова прислуга за все. Я увидел отставного профессора орнитологии, пешком подошедшего от шоссе, на котором он беззаконно бросил свою машину. Я увидел затиснутую в махонький "Пьюлекс", управляемый красивой, как мальчик, кудлатой ее подружкой, покровительницу искусств, устроившую последнюю выставку тети Мод. Я увидел, как воротился Фрэнк и привез нью-вайского антиквара, подслеповатого мистера Каплуна, и его супругу, потрепанную орлицу. Я увидел, как подъехал на велосипеде аспирант-кореец в обеденном смокинге и как пришел пешком президент колледжа в мешковатом костюме. Я увидел, как, исполняя свой церемонный долг, крейсировали среди света и тени, от окошка к окошку, в которых плавали, как

марсиане, мартини с хайболами, двое юнцов из гостиничной школы, и вдруг уяснил, что хорошо — отлично — знаю того, который потоньше. И наконец в половине девятого (когда, представляю себе, хозяйка уже принялась трещать суставами пальцев, — имелось у ней такое нетерпеливое обыкновение) длинный, черный, торжественно сверкающий лимузин — на вид совершенные похоронные дроги — поплыл в ауре подъездного пути, и пока семенил, чтобы распахнуть дверцу, толстый чернокожий шофер, я увидел, с жалостью, как вышел из дому мой поэт с белым цветком в петлице и с улыбкой привета на подцвеченном алкоголем лице.

На следующее утро, едва завидев, что Сибил укатила за Руби, их горничной, ночующей на стороне, я перешел проулок, неся изящно и укоризненно обернутую коробку. На земле перед гаражом на глаза мне попался *buchmann*, стопка библиотечных книг, очевидно забытая здесь Сибил. Я склонился над ней, придавленный любопытством: в основном они принадлежали перу мистера Фолкнера; в ту же минуту Сибил возвратилась, покрышки захрустели гравием у меня за спиной. Я добавил к книгам подарок и водрузил всю охапку на колени Сибил. Очень мило с моей стороны, — но что за коробка? Просто подарок для Джона. Подарок? Что ж, разве вчера не был день его рождения? Да, но в конце концов, день рождения — это ведь не более как условность, верно? Условность или не условность, но то был также и мой день рождения — с малой разницей в шестнадцать лет. Вот так так! Поздравляю. А как прошел прием? Ну, вы же знаете, каковы они, эти приемы (тут я полез в карман еще за одной книгой, — за книгой, которой она не ждала). Да, и каковы же они? Ах, ну, просто приходят люди, которых знаешь всю жизнь и просто обязан пригласить, скажем, Бен Каплун или Дик Кольт, с которыми мы учились в школе, этот вашингтонский кузен и тот, чьи романы вы с Джоном считаете таким пустозвонством. Мы не позвали вас, зная, как скучны вам такие затеи. Этого я и ждал.

— К слову, о романах, — сказал я, — помните, мы однажды пришли к заключению, вы, ваш муж и я, что

шероховатый шедевр Пруста — это громадная и омерзительная волшебная сказка, навеянный спаржей сон, совершенно не связанный со сколько-нибудь возможными людьми какой бы то ни было исторической Франции, сексуальный бурлеск, колоссальный фарс со словарем и поэзией гения, но и не более того, с невозможно грубыми хозяевами, прошу вас, позвольте мне договорить, и с еще более грубыми гостями, с достоевскими сварами и толстовскими тонкостями снобизма, повторенными и растянутыми до невыносимой длины, с восхитительными морскими видами и тающими аллеями, о, нет, не перебивайте меня, с игрою света и тени, способной поспорить с тою, что творят величайшие из английских поэтов, с флорой метафор, которую — Кокто, если не ошибаюсь, — определил как "мираж висячего сада", и, я еще не закончил, с нелепым, на резинках и проволочках романом между блондинистым молодым подлецом (выдуманным Марселем) и неправодподобной jeune fille[1], обладательницей накладного бюста, толстой, как у Вронского (и у Левина), шеи и купидоновых ягодиц вместо щек, но — и разрешите мне на этом приятно закруглиться — мы ошибались, Сибил, мы ошибались, отрицая за нашим beau ténébreux[2] способность наполнить книгу "человеческим содержанием": вот оно, вот, оно, быть может, и отдает отчасти восемнадцатым, а то и семнадцатым веком, но — вот оно. Пожалуйста, пролистайте, прелестница, эту книгу [предлагая ее], и хоть для иных она, что для скелета телекс, но вы найдете в ней изящную закладку, купленную во Франции, и пусть Джон ее сохранит. Au revoir[3], Сибил, я должен идти. *По-моему, у меня звонит телефон.*

Я всего лишь лукавый земблянин. *Просто на всякий случай* я положил в карман третий, и последний том произведения Пруста в издании "Bibliothèque de la Pléiade"[4], Париж, 1954, отметив в нем кое-какие места на страницах

---

[1] Девушка (*фр.*).
[2] Сумрачный красавец (*фр.*).
[3] До свидания (*фр.*).
[4] "Библиотека Плеяды" (*фр.*).

269—271. Мадам де Мортимар, решив, что среди "избранных" на ее суаре *не* будет мадам де Валькур, намеревается послать ей следующим утром такую записку: "Дорогая Эдит, я скучаю по Вас, вчера я Вас почти не ждала (Эдит удивится: как она вообще могла меня ждать, не пригласив?), зная, что вы не испытываете особой любви к этого рода приемам, которые в лучшем случае вызывают у Вас скуку".

И это все о последнем дне рождения Джона Шейда.

Строка 182: *свиристель... цикада*

Снова с нами птица из строк 1—4 и 131. Она еще раз появится в последней строке поэмы, и другая цикада, сбросив свою оболочку, ликующе запоет в строках 236—244.

Строка 189: *Староувер Блю*

Смотри примечание к строке 626. Все это смахивает на игру в королевского гуська, только играют в нее не фишками, а самолетиками из раскрашенной жести: нужно признать, игра довольно бессмысленная (переходим в клетку 209).

Строка 209: *градус распада*

Пространство-время само по себе есть распад. Градус летит на запад, он достиг иссиня-серого Копенгагена (смотри примечание к строке 181). Послезавтра (7 июля) он убудет в Париж. Он пронесся сквозь этот стих и пропал, — чтобы со временем вновь испачкать наши страницы.

Строки 213—214: Вот силлогизм

Годится разве мальчику в утешение. С течением жизни мы понимаем, что *мы-то* и есть эти "другие".

Строка 230: *домовой*

Бывшая секретарша Шейда, Джейн Прово, которую я недавно разыскал в Чикаго, рассказала мне о Гэзель гораздо больше, чем ее отец; он взял за правило никогда не говорить о покойной дочери, а так как я не предвидел нынешних моих изыскательских и комментаторских заня-

тий, то и не понуждал его отвести душу, поведав мне обо всем. И то сказать, в этой Песни он отвел ее в значительной мере, портрет Гэзель получился ясным и полным, быть может, несколько слишком полным — в рассуждении архитектоники, — ибо читатель не может не чувствовать, что портрет этот ширится и разрабатывается в ущерб иным, более содержательным и редким материям, которые он вытесняет. Что ж, комментатор не вправе уклоняться от принятых им на себя обязательств, сколько бы скучными ни были сведения, кои ему надлежит собрать и представить. Отсюда и настоящее примечание.

По-видимому, в начале 1950 года, задолго до событий в сарае (смотри примечание к строке 345), шестнадцатилетняя Гэзель оказалась вовлеченной в некоторые пугающие "психокинетические" проявления, продлившиеся около месяца. Поначалу, как можно понять, "домовой" намеревался списать творимые им безобразия на тетушку Мод, только-только скончавшуюся, — первым объектом его упражнений стала корзинка, в которой она одно время держала своего полупарализованного скай-терьера (у нас эту породу называют "плакучая ива"). Сибил усыпила животное вскоре после помещения его хозяйки в больницу — к немалой ярости Гэзель, бывшей вне себя от горя. Как-то поутру корзинка выскочила из "так и не обжитого" святилища (смотри строки 91—98) и пустилась в путь по коридору мимо открытой двери кабинета, в котором работал Шейд; он видел, как она шуркнула, расплескивая скудное ее содержимое: ветхую попонку, каучуковую кость и выцветшую пятнами подстилку. Назавтра местом действия стала столовая, где одно из полотен тети Мод ("Кипарис и летучая мышь") оказалось повернутым к стенке. Последовали и другие происшествия, например, короткие полеты, выполняемые ее эскизной тетрадью (смотри примечание к строке 92), и натурально, разные стуки (особливо в святилище), пробуждавшие Гэзель от ее несомненно мирного сна в смежной спальне. Вскоре, однако, домовой исчерпал идеи, связанные с тетей Мод, и стал, так сказать, более эклектичным. Все незатейливые передвижения, коими ограничиваются предметы в такого рода случаях, были

проделаны и в этом. Рушились кухонные кастрюли, в рефриджераторе отыскался (возможно, раньше положенного ему срока) снежок, по дому то тут, то там сами собой вспыхивали лампы, стулья брели вперевалку, сбиваясь в непроходимой кладовке, на полу обнаруживались загадочные обрывки веревок, топотали ночами по лестницам невидимые гуляки, и как-то раз, зимним утром, Шейд, поднявшись и глянув в окно на погоду, увидел кабинетный столик, на котором он держал раскрытого на букве "М" библеобразного "Уэбстера", в ошеломлении стоящим снаружи, прямо в снегу (это впечатление могло подсознательно участвовать в создании строк 5—12).

Я представляю себе чувство странной неуверенности, которое испытывали Шейды или, по малой мере, Джон Шейд, — как если бы части повседневного, плавно катящего мира поотвинтились, и вы обнаружили вдруг, что одна из ваших покрышек едет с вами рядом или рулевое колесо осталось у вас в руках. Мой бедный друг поневоле вспоминал драматические припадки своего отрочества и гадал, — не новая ли это генетическая вариация той же темы, продолженной деторождением. Старания утаить от соседей ужасные и унизительные явления были не последней его заботой. Он испытывал страх и терзался жалостью. И хоть им так и не удалось схватить за руку их рыхлую, хилую, неуклюжую и серьезную девушку, скорее заинтересованную, нежели напуганную, ни он, ни Сибил ни разу не усомнились, что каким-то непонятным образом именно она является опосредующей силой бесчинств, которые родители ее считали (тут я цитирую Джейн П.) "внешней вытяжкой или выделением безумия". В этой связи они мало что могли предпринять, — отчасти потому, что не очень доверяли современной шаманской психотерапии, но более из страха перед Гэзель и из боязни ее обидеть. Впрочем, они тайком побеседовали со старомодным и ученым доктором Саттоном, и беседа укрепила их дух. Они подумывали о переезде в другой дом или, говоря точнее, громко обсуждали этот переезд друг с дружкой так, чтобы всякий, имеющий уши, мог услышать, что они подумывают о переезде, — и злой дух сгинул, как случается с *moskovettom*, этим

мучительным ветром, этой глыбой холодного воздуха, во весь март дующего в наши восточные берега, пока внезапно, в одно из утр, не заслышится пение птиц, и флаги повиснут, обмякнув, и очертания мира снова встанут по местам. Явления прекратились полностью, и если не забылись, то по крайности никогда не упоминались; но как все-таки любопытна наша неспособность увидеть таинственный знак равенства между Гераклом, рвущимся на простор из слабого тельца невротического ребенка, и неистовым духом тетушки Мод, как удивительно, что наше чувство рационального довольствуется первым же объяснением, подвернувшимся под руку, хотя, в сущности, научное и сверхъестественное, чудо мышцы и чудо мышления *равно* неисповедимы, как и все пути Господа нашего.

Строка 231: *смешны потуги* и т. д.

В этом месте черновика (датированном 6 июля) ответвляется прекрасный вариант, содержащий один странный пробел:

Тот, странный, Свет, где обитают вечно
Мертворожденные, где все увечья
Целят, где воскресают звери наши,
Где разум, здесь до времени угасший,
Живет и достигает высших сфер:
Бедняга Свифт, и ———, и Бодлер.

Что заменил этот прочерк? Имя должно быть хореическим. Среди имен знаменитых поэтов, художников, философов и проч., сошедших с ума или впавших в старческое слабоумие, подходящих найдется немало. Столкнулся ли Шейд с чрезмерным разнообразием и, не имея логического подспорья для выбора, оставил пробел, полагаясь на таинственную органическую силу, что выручает поэтов, заполняя такие пробелы по собственному усмотрению? Или тут было что-то иное, — некая темная интуиция, провидческая щепетильность, помешавшая вывести имя выдающегося человека, бывшего ему близким другом? Может статься, он сыграл втемную оттого, что некий домашний читатель воспротивился бы упоминанию этого именно имени? И коли

на то пошло, зачем вообще называть его в столь трагическом контексте? Тревожные, темные думы.

Строка 238: Подобье изумрудного ларца

Это, сколько я понимаю, сквозистая оболочка, оставленная на древесном стволе созревшей цикадой, вскарабкавшейся сюда, чтобы выбраться на свет. Шейд рассказывал, что однажды он опросил аудиторию из трехсот студентов, и только *трое* знали, как выглядит цикада. Невежественные первопоселенцы окрестили ее "саранчой", которая, разумеется, есть не что иное, как кузнечик, и ту же нелепую ошибку совершали многие поколения переводчиков Лафонтеновой "La Cigale et la Fourmi"[1] (смотри строки 243—244). Всегдашний спутник cigale, муравей, вот-вот забальзамируется в янтаре.

Во время наших закатных блужданий, которых так много, самое малое девять (согласно моим записям), было в июне и лишь жалкие два выпали на первые три недели июля (мы возобновим их в Ином Краю!), мой друг с некоторым кокетством указывал кончиком трости на разные занятные природные объекты. Он никогда не уставал иллюстрировать посредством этих примеров необычайную смесь Канадской и Австральной зон, которые "сошлись", как он выражался, в этой части Аппалачия, где на наших высотах в 1500 футов северные виды птиц, насекомых и растений смешиваются с представителями юга. Как и большинство литературных знаменитостей, Шейд, видимо, не сознавал, что скромному почитателю, который наконец-то загнал в угол и для себя одного залучил недостижимого гения, куда интересней поговорить с ним о литературе и жизни, чем услышать, что "диана" (предположительно цветок) встречается в Нью-Вае наряду с "атлантидой" (предположительно тоже цветок), и прочее в том же роде. Особенно памятна мне одна несносная прогулка (6 июля), которой поэт мой с великолепной щедростью одарил меня в возмещение за тяжкую обиду (смотри, и почаще смотри примечание к строке 181), в оплату за мой скромный дар

[1] "Цикада и муравей" (*фр.*).

(которым, я думаю, он так никогда и не воспользовался) и с разрешения жены, подчеркнуто проводившей нас по дороге в Далвичский лес. С помощью коварных экскурсов в естественную историю Шейд продолжал ускользать от меня — от меня, истерически, жгуче, неуправляемо стремившегося узнать, какую именно часть приключений земблянского короля закончил он в последние четыре-пять дней. Гордость, мой вечный изъян, не позволяла мне донимать его прямыми вопросами, но я все время возвращался к прежним моим темам — к побегу из Дворца, к приключениям в горах, — чтобы вытянуть из него какие-либо признания. Казалось бы, поэт, создающий длинное и сложное произведение, должен был прямо-таки вцепиться в возможность поговорить о бедах своих и победах. Так ничего же подобного! Все, что я получал в ответ на мои бесконечно мягкие и осторожные расспросы, это фразочки вроде: “Угу, движется помаленьку” или “Не-а, не скажу”, и наконец он осадил меня оскорбительным анекдотом о короле Альфреде, который якобы любил послушать рассказы бывшего при нем норвежского служителя, но отсылал оного, погружаясь в иные дела. “Снова-здорово, — говаривал грубый Альфред смиренному норвежцу, пришедшему, чтобы поведать чуть отличный вариант какого-нибудь древнего скандинавского мифа, уже сообщенного им прежде. — Опять ты тут *отир*аешься!” Вот так и вышло, дорогие мои, что легендарный беглец, боговдохновенный северный бард ныне известен любому школьнику под дурацкой кличкой Отир (Отер).

Однако! В другом, более позднем случае мой капризный друг-подкаблучник был все же добрее (смотри примечание к строке 783).

Строка 240: ***Британец в Ницце***

Морские чайки 1933 года, разумеется, умерли все. Но, дав объявление в “The London Times”, можно добыть имя их благотворителя, — если только его не выдумал Шейд. Когда я посетил Ниццу четверть века спустя, британца заменил местный житель, бородатый старый бездельник, которого терпели или же поощряли ради привлечения

туристов, — он стоял, похожий на статую Верлена, с невзыскательной чайкой, сидевшей в профиль на его свалявшейся шевелюре, или отсыпался под общедоступным солнышком, уютно свернувшись, спиной к колыбельным рокотам моря, на променадной скамье, под которой аккуратно раскладывал на газете разноцветные куски неопределимой снеди — на предмет просушки или ферментации. Вообще англичане здесь попадались очень редко, гораздо более значительное их скопление я обнаружил немного восточнее Ментоны, на набережной, где был воздвигнут в честь королевы Виктории пока еще запеленутый грузный монумент, с трудом обнимаемый бризом, — взамен унесенному немцами. Довольно трогательно топырился под покрывалом ретивый рожок ее ручного единорога.

Строка 246: ...родная

Поэт обращается к жене. Посвященный ей пассаж (строки 246—292) полезен в структурном отношении как переход к теме дочери. Я, однако же, смею утверждать, что когда раздавался вверху над нашими головами топот "родной" Сибил, отчетливый и озлобленный, не все и не всегда бывало так уж "хорошо"!

Строка 247: Сибил

Жена Джона Шейда, рожденная Ирондель (что происходит не от английского обозначения небольшой долины, богатой железной рудой [iron dell], а от французского слова "ласточка"). Она была несколькими месяцами старше него. Сколько я понимаю, корни у нее канадские, как и у бабки Шейда по материнской линии (двоюродной сестры дедушки Сибил, коли я не слишком ошибся).

С первых минут знакомства я старался вести себя в отношении жены моего друга с предельной предупредительностью, и с первых же минут она невзлюбила меня и исполнилась подозрений. Позже мне довелось узнать, что, упоминая меня прилюдно, она обзывала меня "слоновым клещом, ботелым бутом королевских размеров, лемурьей глистой, чудовищным паразитом гения". Я ей прощаю — ей и всем остальным.

Строка 270: Ванесса, мгла с багровою каймой

Как это похоже на ученого словесника, — подыскивая ласкательное имя, взгромоздить род бабочек на орфическое божество и поместить их поверх неизбежной аллюзии на *Ван*омри *Эс*тер! В этой связи из моей памяти выплывают две строки из одной поэмы Свифта (которой я не могу отыскать в этой лесной глуши):

Меж тем *Ванесса* все цветет
Прекрасная, как *Аталанта*...

Что до ванессы-бабочки, она вновь появится в строках 992—995 (к которым смотри примечание). Шейд говорил, бывало, что староанглийское ее наименование — это "The Red Admirable" (Красная Восхитительная), а уж потом оно выродилось в "The Red Admiral" (Красный Адмирал). Это одна из немногих случайно знакомых мне бабочек. Земблянe зовут ее *harvalda* (геральдическая), возможно оттого, что легко узнаваемые очертания ее несет герб герцогов Больна. В определенные года, по осени, она довольно часто появлялась в Дворцовых Садах в обществе однодневных ночниц. Мне случалось видеть, как "красная восхитительная" пирует сочащимися сливами, а однажды — и дохлым кроликом. Весьма шаловливое насекомое. Почти домашний ее экземпляр был последним природным объектом, показанным мне Джоном Шейдом, когда он шел навстречу своей участи (смотри, смотри теперь же мои примечания к строкам 992—995).

В иных из моих заметок я примечаю свифтовский присвист. Я тоже по природе своей склонен к унынию, — беспокойный, брюзгливый и подозрительный человек, хоть и у меня выпадают минуты ветрености и fou rire[1].

Строка 275: Уж сорок лет

Джон Шейд и Сибила Ласточкина (смотри примечание к строке 247) поженились в 1919 году, ровно за тридцать лет до того, как король Карл обвенчался с Дизой, герцогиней Больна. С самого начала его правления (1936—1958)

[1] Безумный (неудержимый) смех (*фр.*).

представители нации — ловцы лосося, внесоюзные стекольщики, группы военных, встревоженные родственники и в особенности епископ Полюбский, сангвинический и праведный старец, — выбивались из сил в стараниях склонить его к отказу от обильных, но бесплодных наслаждений и к вступлению в брак. Дело шло не о морали, но о престолонаследии. Как и при некоторых его предшественниках, неотесанных, пылавших страстью к мальчикам конунгах из ольховых чащоб, духовенство вежливо игнорировало языческие наклонности молодого холостяка, но желало от него совершения того, что совершил более ранний и еще более несговорчивый Карл: взял себе отпускную ночь и законным образом породил наследника.

Впервые он увидал девятнадцатилетнюю Дизу праздничной ночью 5 июля 1947 года на бал-маскараде в дядюшкином дворце. Она явилась в мужском наряде — мальчик-тиролец с чуть повернутыми вовнутрь коленками, но храбрый и прелестный; после он повез ее и двух двоюродных братьев (чету переодетых цветочницами гвардейцев) кататься по улицам в своем божественном новом авто с откидным верхом — смотреть роскошную иллюминацию по случаю его дня рождения, и факельтанцы в парке, и потешные огни, и запрокинутые, побледневшие лица. Почти два года он медлил, но, осаждаемый нечеловечески речистыми советниками, в конце концов уступил. В канун венчания он большую часть ночи провел в молитве, замкнувшись один в холодной громаде Онгавского собора. Чопорные ольховые корольки взирали на него через рубиново-аметистовые окна. Никогда еще не просил он Господа с такою страстью о наставлении и ниспослании силы (смотри далее примечания к строкам 433—435).

После строки 274 находим в черновике неудавшийся приступ:

> Люблю я имя "Шейд", в испанском — "Ombre", —
> Почти что "человек"...

Остается лишь пожалеть, что Шейд не последовал этой теме — и не избавил читателя от дальнейших смутительных интимностей.

Строка 286: самолетный след в огне заката

И я имел обыкновение привлекать внимание поэта к идиллической красе аэропланов в вечереющем небе. Кто же мог угадать, что в тот самый день (7 июля), когда Шейд записал эту светящуюся строку (последнюю на двадцать третьей карточке), Градус, он же Дегре, перетек из Копенгагена в Париж, завершив тем самым вторую стадию своего зловещего путешествия! “Есть и в Аркадии мне удел”, — речет Смерть на кладбищенском памятнике.

Деятельность Градуса в Париже была складно спланирована Тенями. Они вполне справедливо полагали, что не только Одон, но и прежний наш консул в Париже, покойный Освин Бретвит, должен знать, где искать короля. Было решено, что сначала Градусу следует прощупать Бретвита. Последний одиноко жил в своей квартире в Медоне, редко выходя куда-либо, кроме как в Национальную библиотеку (где читал труды теософов и решал в старых газетах шахматные задачи), и не принимая гостей. Тонкий план Теней породила удача. Сомневаясь, что Градусу достанет умственных способностей и актерских талантов, потребных для исполнения роли рьяного роялиста, Тени сочли, что лучше будет ему выдавать себя за совершенно аполитичного посредника, человека стороннего и маленького, заинтересованного лишь в том, чтобы получить куш за разного рода документы, которые упросили его вывести из Земблы и доставить законным владельцам некие частные лица. Помог случай в очередном его приступе антикарлистских настроений. У одной из пустяшных Теней, которую назовем “бароном А.”, имелся тесть, называемый впредь “бароном Б.”, — то был безобидный старый чудак, давно оставивший государственную службу и совершенно неспособный осознать кое-какие ренессансные нюансы нового режима. Когда-то он был или думал, что был (даль памяти увеличивает размеры), близким другом покойного министра иностранных дел, отца Освина Бретвита, и потому нетерпеливо предвкушал тот день, когда ему доведется вручить “молодому Освину” (при новом режиме ставшему, как он понимал, не вполне persona grata[1]) связку драгоценных

[1] Желательная персона (*лат.*).

семейных бумаг, на которую барон случаем напал в архивах правительственного ведомства. И вот его известили, что день настал: есть возможность незамедлительно доставить документы в Париж. Ему разрешили также предварить бумаги короткой запиской, гласившей:

"Вот некоторые драгоценные бумаги, принадлежавшие вашей семье. Я не могу найти им лучшего применения, как вручить их сыну великого человека, бывшего моим однокашником в Гейдельберге и наставником на дипломатическом поприще. Verba volant, scripta manent[1]".

Упомянутые scripta представляли собой двести тринадцать пространных писем, которыми лет семьдесят назад обменялись Зуле Бретвит, прадядюшка Освина, градоначальник Одиваллы, и его двоюродный брат Ферц Бретвит, градоначальник Эроза. Сама переписка — унылый обмен бюрократическими плоскостями и выспренними остротами — была лишена даже того узкоместного интереса, какой могли бы пробудить письма этого рода в провинциальном историке, — хотя, конечно, невозможно сказать, что именно в состоянии привлечь или оттолкнуть чувствительного почитателя собственной родословной, — а таким-то и знали Освина Бретвита былые его подчиненные. Здесь я желал бы оставить на время сухой комментарий и вкратце отдать должное Освину Бретвиту.

В плане физическом он был человек болезненно лысый, напоминающий с виду блеклую железу. Лицо, на удивление лишенное черт. Глаза цвета кофе с молоком. Помнится, он вечно носил траурную повязку. Но под этой пресною внешностью таились достоинства истинно мужские. Из-за океанских сияющих зыбей я салютую отважному Освину! Да появятся здесь на мгновение руки, его и моя, в крепком пожатии слившиеся над водами, над золотым кильватером эмблематического солнца. Да не посмеет никакая страховая компания, ниже авиалиния, поместить эту эмблему на глянцевитой странице журнала в виде рекламной бляхи под изображением отставного дельца, околдованного и восхи-

[1] Слова улетают, письмена незыблемы (*лат.*).

щенного техниколорною снедью, предлагаемой ему стюардессой вместе со всем остальным, что она в состоянии предложить; нет, пусть наш цинический век остервенелой гетеросексуальности узнает в этом высоком рукопожатии последнее, но вечное олицетворение мужества и самоотверженности. Как пылко мечтал я, что подобный же символ, но в словесном обличье, пронижет поэму другого моего мертвого друга, но этого не случилось... Тщетно отыскивать в “Бледном пламени” (вот уж действительно “бледное”) тепло моей ладони, сжимающей твою, несчастный Шейд!

Но возвратимся под крыши Парижа. Храбрость соединялась в Освине Бретвите с цельностью, добротой, достоинством и с тем, что можно эвфемически обозначить как подкупающую наивность. Когда Градус позвонил из аэропорта и, чтобы раззадорить его аппетит, зачитал послание барона Б. (без избитой латинской цитаты), единственной мыслью Бретвита была мысль о припасенном ему сокровище. Градус отказался сообщить по телефону, что, собственно, представляют собой “драгоценные бумаги”; так уже вышло, однако, что в последнее время экс-консул лелеял мечту вновь овладеть ценной коллекцией марок, которую много лет назад отец его завещал ныне усопшему кузену. Кузен проживал с бароном Б. в одном доме. Итак, поскольку умом экс-консула овладели все эти сложные и увлекательные соображения, он, поджидая гостя, тревожился не о том, не является ли человек из Земблы опасным пройдохой, а о том лишь, принесет ли он все альбомы сразу или предпочтет постепенность, дабы узнать, что сможет он выгадать на всех своих хлопотах. Бретвит надеялся, что дело удастся покончить этой же ночью, потому что заутра ему предстояло лечь в клинику, а то и на операционный стол (так и вышло, и он скончался под ножом).

Когда два секретных агента враждующих сторон сходятся, чтобы померяться силами ума, а ума у одного из них нет никакого, результат может получиться забавным, — он скучен, если олухи оба. Я отрицаю, что кто-то сумеет найти в анналах интриги и контринтриги что-либо бестолковее и скучнее сцены, занимающей всю остальную часть этого добросовестного комментария.

Градус неловко, с краешку, присел на диван (на который менее года назад прилег усталый король), порылся в портфеле, вручил хозяину пухлый пакет из оберточной бумаги и перенес свои лягвии на стул, поближе к креслу Бретвита, дабы с удобством следить, как тот одолевает бечёвку. В ошеломленном молчании Бретвит просмотрел то, что в конце концов развернул, и сказал:

— Что ж, вот и конец мечте. Эта переписка издана в девятьсот шестом или седьмом, — нет, все же в шестом, — вдовой Ферца Бретвита, где-то среди книг у меня должен быть экземпляр. Да к тому же это не собственноручные документы, а копия, сделанная писцом для издателя, — видите, оба городничих пишут одной рукой.

— Как интересно, — сказал Градус, увидев.

— Я, разумеется, признателен за хлопоты, — сказал Бретвит.

— Мы на это и рассчитывали, — сказал обрадованный Градус.

— Барон Б., надо быть, немного рехнулся, — продолжал Бретвит, — но, повторяю, его добрые побуждения трогают. Вы, наверное, хотели получить деньги за то, что привезли мне это сокровище?

— Наградой нам будет радость, которую оно вам доставило, — ответил Градус. — Но дозвольте мне говорить откровенно: мы немало потрудились, чтобы все сделать как полагается, я к тому же проделал долгий путь. Впрочем, я намереваюсь предложить вам небольшую сделку. Вы с нами по-хорошему — и мы с вами по-хорошему. Я знаю, ваши средства несколько... (Сводит ладони и подмигивает.)

— Что верно, то верно, — вздохнул Бретвит.

— Если вы нам поможете, это не станет вам и в сантим.

— Ну, *сколько-то* я могу заплатить (пучит губы, пожимает плечьми).

— Нам ваши деньги не нужны (поднимая ладонь — регулировщик движения). — Но вот наш план. Со мною послания от других баронов к другим беглецам. Фактически у меня имеются письма к самому загадочному из всех беглецов.

— Как! — в искреннем изумлении вскричал Бретвит. — Дома знают, что Его Величество оставили Земблу? (Отшлепать бы старого добряка!)

— Еще бы, — сказал Градус, потирая ладоши и слегка отдуваясь в животной радости — несомненно, инстинктивной, ибо ему, натурально, недостало ума сообразить, что faux pas[1] экс-консула есть не что иное, как первое подтверждение пребывания короля за границей. — Еще бы, — повторил он, многозначительно ощерясь, — и я вам буду весьма признателен, если вы отрекомендуете меня мистеру Икс.

При этих словах Освина Бретвита осенило ложное прозрение, он застонал про себя: Ну конечно! Как же я туп! Это один из наших! — и пальцы его левой руки непроизвольно заерзали, словно на них была надета раешная кукла, глаза же стали напряженно следить за телодвижениями, коими его собеседник выражал свою низкородную радость. Агент карлистов, обнаруживая себя перед старшим, обязан был сделать знак буквы "X" (от Xavier — Ксаверий) из одноручной азбуки глухонемых: ладонь удерживается горизонтально, указательный перст вяло присогнут, прочие сжаты (нас много критиковали за упадочнический вид этого знака, ныне его заменила более мужественная комбинация). При нескольких оказиях Бретвиту подавали этот знак, и у него показ предварялся (в самый миг тревожной неуверенности) — не заминкой в собственном смысле этого слова, но скорее разрывом временной ткани, — чем-то схожим с "аурой", как ее называют врачи: странное ощущение, и напряженное, и парящее, жгуче-ледяная испарина, невыразимая, продирающая перед припадком всю нервную систему. И в этот раз Бретвит вновь ощутил, как ударяет в голову волшебное вино.

— Ладно, я готов. Дайте знак, — алчно произнес он.

Градус, решившись рискнуть, глянул украдкой на руку Бретвита, лежавшую на колене: тайком от ее владельца она, казалось, подсказывала Градусу ручным шепотком. Он

---

[1] Ложный шаг, ошибка (*фр.*).

попытался скопировать то, что она изо всей мочи старалась ему передать, — но то были лишь начатки нужного знака.

— Нет-нет, — сказал Бретвит, снисходительно усмехаясь неловкости новичка. — Другой рукой, друг мой. Вы же знаете, Его Величество левша.

Градус сделал еще попытку, но пугливый суфлер исчез, подобно сброшенной кукле. Застенчиво пялясь на свои туповатые пальцы, Градус покопошился, словно бестолковый и полупарализованный актер театра теней, и наконец соорудил неверное "V" — Виктория! Улыбка Бретвита начала угасать.

Когда она угасла совсем, Бретвит (что означает "шахматный ум") поднялся из кресла. Будь комнатенка побольше, он бы по ней прошелся туда-сюда, — но не здесь, не в этом набитом битком кабинете. Растяпа Градус застегнул все три пуговицы тесноватого коричневого пиджака и помотал туда-сюда головой.

— Я думаю, — сварливо сказал он, — мне следует быть откровенным. Раз я вам привез эти ценные бумаги, вы за это обязаны устроить мне встречу или хотя бы дать его адрес.

— Я знаю, кто вы, — воскликнул, тыкая пальцем, Бретвит. — Вы репортер! Вы из этой гадской датской газетки, вон она торчит у вас из кармана (Градус машинально нащупал ее и нахмурился). А я-то надеялся, что они оставят меня в покое! Пошлые приставалы! Для вас ничего нет святого — ни рака, ни изгнания, ни достоинства государя!

(Увы, это верно не только в отношении Градуса, — у него и в Аркадии есть коллеги.)

Градус сидел, уставясь на свои новые туфли — цвета красного дерева с сетчатыми нахлобучками. Тремя этажами ниже, на темной улице нетерпеливым воем расчищала себе дорогу "скорая помощь". Бретвит обрушил свой гнев на письма предков, лежавшие на столе. Схватив аккуратную пачку вместе с отпавшей оберткой, он метнул ее в мусорную корзину. Бечевка выпала к ногам Градуса, он подобрал ее и добавил к scripta.

— Прошу вас, уходите, — сказал бедный Бретвит. — Я с ума схожу от боли в паху. Я три ночи не спал. Вы, журналисты, упрямая братия, но и я тоже упрям. Вы никогда ничего от меня не узнаете о моем короле. Прощайте.

Он подождал на лестнице, пока шаги посетителя спустятся и достигнут входных дверей. Двери открылись, закрылись, и вот уже автоматическое освещение лестницы выключилось, издавши такой звук, будто его кто-то пнул ногой.

Строки 287—288: *за подпругу мешок дорожный*

Карточка (двадцать четвертая), на которой записаны эти строки (287—299), помечена 7 июля, под этой датой я нахожу в моей памятной книжечке пометку: "Д-р Сметлав, 3.30 пополудни". Испытывая, как и большинство людей, некоторое волнение перед визитом к врачу, я решил купить по пути что-нибудь успокоительное, дабы убыстрение пульса не обмануло доверчивую науку. Я отыскал требуемые капли, принял ароматное снадобье прямо в аптеке и, выйдя наружу, увидел Шейдов, как раз покидавших соседний магазин. Она несла новенький дорожный сак. Страшная мысль, что они, похоже, готовятся отъехать на летние вакации, нейтрализовала только что проглоченное лекарство. Порою так привыкаешь к течению чьей-то жизни пообок твоей, что неожиданный отворот параллельного сателлита вызывает чувство столбняка, опустошения и несправедливости. И главное, он еще не докончил "моей" поэмы!

— Путешествовать собираетесь? — спросил я, улыбаясь и указывая на саквояж.

Сибил подняла его, точно кролика, за уши и оглядела моими глазами.

— Да, в конце месяца, — сказала она. — Как только Джон закончит работу.

(Поэму!)

— И куда же, осмелюсь спросить (поворотясь к Джону)?

Мистер Шейд глянул на миссис Шейд, и она ответила за него, как обычно, отрывисто и небрежно, что они пока не решили, — может быть, в Вайоминг, или в Юту, или

в Монтану, а не то снимут лачугу повыше, на шести или семи тысячах футов.

— Средь волчьих бобов и осиновых кольев, — мрачно сказал поэт (воображая пейзажик).

Я было начал вслух пересчитывать в метрах высоту, показавшуюся мне черезмерной для сердца Джона, но Сибил потянула его за рукав, напоминая, что им предстоит еще сделать покупки, и меня бросили застрявшим на двух примерно тысячах метров и с валериановой отрыжкой.

Однако от случая к случаю чернокрылая судьба умеет выказать исключительную предупредительность. Десять минут спустя доктор С., — лечивший также и Шейда, — с вялой дотошностью рассказывал мне, что Шейды сняли маленькое ранчо у каких-то своих друзей, которые уезжают куда-то еще, — в Кедрах, Ютана, на границе с Айдомингом. От доктора я перепорхнул в бюро путешествий, получил там буклеты и карты, исследовал их, выяснил, что в горах над Кедрами наличествуют две или три пригоршни лачуг, отправил срочный запрос в Кедры на почту и через несколько дней уже снял на август нечто схожее на присланных снимках с помесью мужицкой избы и приюта Z, но имеющее внутри кафельную ванну и стоящее дороже моего оплота в Аппалачие. Ни Шейды, ни я и словом не обмолвились о наших летних адресах, однако я знал, а они не знали, что адреса у нас одинаковы. Чем больше я распалялся очевидным намерением Сибил держать этот адрес втайне от меня, тем слаще мечталось, как я, в тирольском костюме, вдруг объявлюсь из-за валуна и как робко, но радостно улыбнется Джон. За те две недели, что я дозволял моим демонам наполнять до перелива мое чародейное зеркало розовато-лиловыми скалами, и черным вересом, и петлистыми тропами, и полынью, сменяемой травами в пышных синих цветах, и бледными, ровно смерть, осинами, и бесконечной вереницей Кинботов в зеленых шортах, встречающихся с целой антологией поэтов и с целым Брокеном их жен, я, должно быть, ужасно ошибся в каком-то из заклинаний, ибо горный склон здесь сух и печален, а полуразвалюха — ранчо Харлеев — лишена признаков жизни.

Строка 292: *она*

Гэзель Шейд, дочь поэта, родилась в 1934 г., скончалась в 1957 г. (смотри примечания к строкам 230 и 345).

Строки 315—316: *Зубянкой и белянкой май населил тенистые полянки*

Честно говоря, я не знаю, что это такое. Мой словарь определяет "зубянку" как "разновидность салата", а о "белянке" говорит: "представитель(ница) чисто-белого помета любого сельскохозяйственного животного или определенная разновидность лепидоптеры". Мало толку и от варианта, записанного на полях:

Виргинии-белянки явились в мае на лесной полянке

Что-то фольклорное? Феи? или капустницы?

Строка 319: *Древесной уткой*

Весьма изощренный образ. Древесная утка — птица очень богатой окраски, изумрудная, аметистовая, сердоликовая, в черных и белых отметинах, она гораздо красивее хваленого лебедя — змеевидного гусака с грязной шеей из пожелтевшего плюша и в черных хлюпающих галошах легкого водолаза.

Кстати сказать, народная номенклатура американских животных, отражающая простоту утилитарного разумения невежественных пионеров, не обрела покамест патины, покрывающей названия европейской фауны.

Строка 331: *Не явится*

"Да явится ли он вообще?" — так обыкновенно загадывал я, все ожидая и ожидая в янтарно-красном сумраке пинг-понгового дружка или старого Джона Шейда.

Строка 345: *в пустом сарае*

Этот сарай, а правильнее сказать — овин, в котором в октябре 1956 года (за несколько месяцев до смерти Гэзель Шейд) происходили "некие явления", принадлежал Паулю Гентцнеру, чудаковатому фермеру немецкой породы со старомодными увлечениями вроде таксидермии и сбора

трав. Странная выходка атавизма воскресила в нем (согласно Шейду, любившему про него рассказывать, — замечу кстати, что только в эти разы и становился мой милый старый друг несколько нудноват!) "любознательного немца" из тех, что три столетия назад становились отцами первых великих натуралистов. Человек он был по ученым меркам неграмотный, совершенно ничего не смысливший в вещах, удаленных от него в пространстве и времени, но что-то имелось в нем красочное и исконное, утешавшее Джона Шейда гораздо полнее провинциальных утонченностей английского отделения. Он, выказывавший столько разборчивой осмотрительности при выборе попутчиков для своих прогулок, любил через вечер на другой бродить с важным и жилистым немцем по лесным тропинкам Далвича и вкруг полей этого своего знакомца. Будучи охотником до точного слова, он ценил Гентцнера за то, что тот знал "как что называется", — хоть некоторые из предлагаемых тем названий, несомненно, были местными уродцами или германизмами, а то и чистой воды выдумками старого прохвоста.

Теперь у него был иной спутник. Ясно помню чудный вечер, когда с языка моего блестящего друга так и сыпались макаронизмы, остроты и анекдоты, которые я браво парировал рассказами о Зембле, повестью о бегстве на волосок от гибели! На опушке Далвичского леса он перебил меня, чтобы показать естественную пещеру в поросшем диким мохом утесе, сбоку тропинки, под цветущим кизилом. В этом месте достойный фермер неизменно останавливался, а однажды, когда они гуляли вместе с его сынишкой, последний, семеня с ними рядом, указал в это место пальчиком и уведомил: "Тут папа писает". Другая история, не такая бессмысленная, поджидала меня на вершине холма, где расстилался прямоугольный участок, заросший молочаем, иван-чаем и вернонией, кишащий бабочками, резко выступавший из обставшего вкруг золотарника. После того, как жена Гентцнера ушла от него (примерно в 1950-м), забрав с собою ребенка, он продал дом (теперь на месте его "драйвин", кино на вольном воздухе) и переехал

на жительство в город, однако летними ночами приходил, бывало, со спальным мешком в сарай, что стоял на дальнем краю еще принадлежавшей ему земли, там он однажды и усоп.

Сарай стоял как раз на том сорняковом участке, в который тыкал Шейд любимой тростью тетушки Мод. Однажды воскресным вечером студент, подрабатывающий в гостинице кампуса, и с ним какая-то местная оторва забрели в сарай с той или этой целью; они там болтали или дремали, как вдруг что-то застучало, засверкало, до умопомрачения перепугало обоих и заставило их бежать в значительном беспорядке. Кто их, собственно, вытурил — разгневанный призрак или отвергнутый ухажер, — никого особенно не заботило. Тем не менее “Wordsmith Gazette” (“Старейшая студенческая газета США”) вцепилась в происшествие и принялась трепать из него начинку, словно шаловливый щенок. Несколько доморощенных психологов повадились прогуливаться в этих местах, и вообще вся история принимала столь явственные очертания студенческого баловства с участием самых отъявленных шалопаев колледжа, что Шейд пожаловался властям, после чего бесполезный сарай снесли как пожароопасный.

От Джейн П. я получил, однако, совсем иные и куда более трогательные сведения, — которые позволили мне уяснить, почему мой друг счел нужным потчевать меня байками о заурядной студенческой шалости, но также заставили пожалеть, что добраться до сути, к которой он подъезжал конфузливо и неловко (ибо, как я указал в одном из предыдущих комментариев, он старался не упоминать своего мертвого дитяти), я ему не дал, заполнив гостеприимную паузу необычайным случаем из истории Онгавского университета. Случай этот произошел в лето Господне 1876-е. Впрочем, вернемся к Гэзель Шейд. Она решилась исследовать явления самостоятельно и написать о них работу (“на свободную тему”), затребованную пройдошливым профессором, читавшим у них курс психологии и собиравшим данные “Об аутоневрологической паттернизации в среде американских студентов”. Родители разрешили ей посетить ночью сарай лишь при условии, что

Джейн П. — ведомый столп благонадежности — составит ей компанию. Едва девушки расположились в сарае, как гроза, которой предстояло продлиться всю ночь, обложила их приют с такими театральными завываниями и всполохами, что уследить какие-то внутренние звуки и блики оказалось делом решительно немыслимым. Гэзель не отступилась и погодя вновь попросила Джейн пойти с нею, но Джейн на этот раз не смогла. Она рассказывала мне, что предложила взамен чету Уайтов (милые мальчики, студенты, для Шейдов вполне приемлемые), но это новое соглашение Гэзель наотрез отвергла и после ссоры с родителями отбыла в одиночестве, прихватив записную книжку и фонарик. Легко вообразить, как опасались Шейды повторения неприятностей с домовым, впрочем, всеведущий доктор Саттон положительно заявил, — уж на какие сославшись авторитеты, сказать не могу, — что случаи, когда у пациента по прошествии шести лет вновь развивались бы те же припадки, практически неизвестны.

Джейн позволила мне переписать кой-какие заметки Гэзель с машинописной копии записей, сделанных прямо на месте:

10.14 вечера. Начало наблюдений

10.23. Бессвязные скребущие звуки.

10.25. Диск бледного света размером с небольшую круглую салфетку; порхает по темным стенам, по заколоченным досками окнам и полу; меняет место, замирает там и сям, потанцовывает вверх-вниз, как бы игриво дразнясь и ожидая возможности увернуться от наскока.

10.37. Вернулось.

Записи тянутся на нескольких страницах, но по очевидным причинам я вынужден отказаться от дословного их воспроизведения в настоящем комментарии. За долгими паузами опять раздавались скрипы и скрябы и вновь возвращалось световое пятно. Она говорила с ним, и, если вопрос восхищал его своею глупостью («Вы — блуждающий огонек?»), оно металось туда-сюда в восторге отрицания, желая же дать серьезный ответ на серьезный вопрос («Вы — покойник?»), медленно всплывало на воздух, наби-

рая высоту для весомого утвердительного падения. На короткое время оно затеяло откликаться на азбуку, которую Гэзель зачитывала вслух, — светляк оставался неподвижным, пока не произносилась нужная буква, а тогда одобрительно подскакивал. Но подскоки становились все более вялыми, и, медленно выговорив два слова, кружок сникал, словно усталый ребенок, и заползал в щель, из которой вылетал вдруг с неимоверной живостью и начинал метаться по стенам, страстно желая возобновить игру. Мешанина сломанных слов и бессмысленных слогов, которую она в конце концов собрала, выглядит в ее добросовестном сообщении как короткая строка простых буквенных групп. Переписываю:

пада нета прол нест хада стар гол оварт фора блед плар рант рек

В своих "Заметках" протоколистка сообщает, что азбуку пришлось зачитывать — или по крайней мере начинать зачитывать (буква "а" наличествует в милосердном избытке) — восемьдесят раз, но из этого числа семнадцать чтений оказались бесплодными. Разделения, основанные на таких изменчивых интервалах, не могут не содержать произвола, кое-что из этой галиматьи можно перекомбинировать, получив иные лексические единицы, но смысл от этого не улучшится (к примеру: "да", "нет", "арго", "голова" "антре" и т.п.). Похоже, что дух сарая самовыражался со слипчивой затрудненностью апоплексии или полупросонья от полусна, рассеченного павшим на потолок мечом света, военной бедой с космическими последствиями, каковые не в силах ясно выразить толстый неохочий язык. Тоже и мы в этом случае охотно оборвали бы вопросы читателя или наложника, вновь погружаясь в блаженное забытье, — когда бы дьявольская сила не нудила нас выискивать в абракадабре скрытого смысла:

812 Язя и вяза связь как некий вид
813 Соотнесенных странностей игры.

Я ненавижу такие игры: от них в висках у меня бьется отвратительная боль, — но я отважно сносил ее и бесконеч-

но, с безграничным терпением и отвращением комментатора вникал в увечные слоги, чтоб отыскать в отчете Гэзель хотя бы малый намек на участь несчастной девушки. Я не нашел ничего. Ни призрак старого Гентцнера, ни фонарик затаившегося бездельника, ни собственная ее мечтательная истерия не выразили здесь ничего, что можно истолковать, хотя бы отдаленно, как содержащее предупреждение или как-то соотнесенное с обстоятельствами ее поспешающей смерти.

Сообщение Гэзель было бы и длиннее, если бы, как она рассказала Джейн, возобновление "скрябов" не подействовало вдруг на ее утомленные нервы. Светлый кружок, державшийся до поры в отдалении, вдруг задиристо прянул к самым ее ногам так, что она едва не слетела с деревянной колоды, служившей ей сиденьем. Внезапно ее поразила мысль, что она находится в обществе неведомого и, может статься, весьма злокозненного существа, и с дрожью, только что не вывихнувшей ей лопатки, поспешила вернуться под возвышенную защиту звездного неба. Знакомая тропа успокоительными жестами и прочими утешительными знаменьями (одинокий сверчок, одинокий светоч уличной лампы) провожала ее до дома. Вдруг она стала и завопила от ужаса: нечто из темных и бледных пятен, сгустившихся в фантастическую фигуру, поднялось с садовой скамьи, чуть тронутой светом с крыльца. Я понятия не имею, какова может быть в Нью-Вае ночная среднеоктябрьская температура, но удивительно, что отцовская тревога могла в настоящем случае принять такие размеры, какие оправдали бы бдение на свежем воздухе в пижаме и в невыразимом "купальном халате", который предстояло сменить моему подарку (смотри примечание к строке 181).

Во всякой сказке непременно встретишь "три ночи", была третья ночь и в этой печальной сказке. На сей раз ей захотелось, чтобы родители освидетельствовали "говорящий свет". Поминутного отчета об этом третьем заседании в сарае не сохранилось, однако я предлагаю вниманию читателя нижеследующий скетч, который, как мне представляется, не слишком далек от истины.

САРАЙ С ПРИВИДЕНИЯМИ

Кромешная тьма. Слышно, как тихо дышат в разных углах Отец, Мать и Дочь. Проходит три минуты.

Отец *(Матери)*. Тебе там удобно?

Мать. Угу-м. Эти мешки из-под картошки отлично —

Дочь *(с паровозной мощью)*. Ш-ш-ш!

В молчании проходит пятнадцать минут. Там и сям в темноте глаза различают звезду и сизые прорези ночи.

Мать. Это, по-моему, не привидение, — это у папы журчит в животе.

Дочь *(подчеркнуто)*. Очень смешно.

Проползает еще пятнадцать минут. Отец, погрузившись в раздумья о своих трудах, испускает нейтральный вздох.

Дочь. Обязательно все время вздыхать?

Проползает пятнадцать минут.

Мать. Если я захраплю, пусть привидение меня ущипнет.

Дочь *(с густо подчеркнутым самообладанием)*. Мама! Пожалуйста! Пожалуйста, мама!

Отец прочищает горло, но решает ничего не говорить. Проползает еще двенадцать минут.

Мать. Кому-нибудь приходило в голову, что в рефриджераторе все еще полно трубочек с кремом?

Это последняя капля.

Дочь *(взрываясь)*. Ну почему все нужно испортить? Почему вам всегда все нужно испортить? Почему вы не можете оставить человека в покое? Не трогай меня!

Отец. Но послушай, Гэзель, мама больше не скажет ни слова, и мы готовы продолжать, но ведь мы уже час как сидим здесь, становится поздно.

Две минуты проходят. Эта жизнь безнадежна, загробная безжалостна. Слышно, как Гэзель тихо плачет во тьме. Шейд зажигает фонарь, Сибил сигарету. Встреча откладывается.

Тот свет так и не возвратился, но он замерцал в стихотворении "Природа электричества" — году в 1958-м Джон Шейд отослал его в нью-йоркский журнал "The Beau and the Butterfly"[1], но напечатано оно было уже после кончины Джона.

Не есть ли душ последний дом —
Вольфрамовая нить, — кто знает?
Быть может, в ночнике моем
Невеста чья-то дотлевает.

И может быть, Шекспир объял
Весь город яркими огнями,
И Шелли яростный накал
Ночниц сзывает вечерами.

Есть номера у фонарей
И тот, с девяткой троекратной,
Лучист и зелен средь ветвей, —
Возможно, друг мой невозвратный.

И в час, как ярый ураган
Ветвится молнией, быть может,
Томится в туче Тамерлан,
И рев тиранов Ад тревожит.

Кстати, наука утверждает, что Земля не просто развалится на части, но исчезнет, как призрак, если из мира вдруг пропадет Электричество.

Строки 347—348: *Вертеть слова любила*

Поражает пример, приведенный ее отцом. Я был совершенно уверен, что это именно я отметил однажды (мы обсуждали с ним "зеркальные слова", и я помню, как изумился поэт), что "телекс" наоборот — это "скелет", а "T. S. Eliot" — "toilest", т. е. "тяжко труждающийся". Верно, однако ж, и то, что в некоторых отношениях Гэзель Шейд походила на меня.

Строки 375—376: *некий всхлип поэзии*

Сдается мне, я угадал (в моем бескнижном горном логове), что это за стихи, однако мне не хотелось бы называть

[1] "Красавец и бабочка" (*англ.*).

автора, не наведя прежде точных справок. Как бы там ни было, я сожалею о злобных выпадах моего друга в адрес почтеннейших поэтов нашего времени.

Строка 377: *Их лектор, называл те вирши*

В черновике вместо этого — куда более знаменательный (и более благозвучный) вариант:

Декан наш называл те вирши...

Хоть и можно думать, что здесь упомянут человек (кто бы он ни был), занимавший этот пост в пору студенчества Гэзель Шейд, не стоит винить читателя, если он отнесет данное замечание к Паулю Х. младшему, никчемному ученому, но не лишенному дарований администратору, с 1957 года возглавлявшему английское отделение Вордсмитского колледжа. Мы с ним встречались время от времени (смотри Предисловие и примечание к строке 894), но не часто. Отделение, к которому принадлежал я, возглавлял профессор Натточдаг — Неточка, как прозвали мы этого милого человека. Разумеется, мигрени, которые в последнее время умучили меня до того, что я был однажды вынужден уйти посреди концерта, на котором мне пришлось сидеть рядом с Паулем Х. младшим, совершенно никого, кроме меня, не касаются. Но, как видно, коснулись — и как еще коснулись! Он не упускал меня из виду и сразу же после кончины Джона Шейда пустил по рукам мимеографированное письмо, начинавшееся такими словами:

Некоторые сотрудники английского отделения крайне встревожены судьбой рукописи или фрагментов рукописи поэмы, оставленной покойным Джоном Шейдом. Рукопись попала в руки особе, не только не обладающей достаточной для ее редактирования квалификацией, поскольку эта особа принадлежит к иному отделению, но к тому же страдающей умственным расстройством. Возникает вопрос, не может ли судебный иск etc.

“Судебный иск” может, понятное дело, вчинить и кое-кто еще. Но так и быть, — удовлетворение, с которым я предвкушаю, как поубавится у этого engagé[1] господина

[1] Ангажированный (*фр.*).

интереса к судьбе поэмы, едва он прочтет прокомментированную здесь строку, умеряет мой правый гнев. Саути любил поужинать зажаренной крысой, — что кажется особенно смешным, когда вспоминаешь о крысах, сожравших его епископа.

Строка 384: я кончил книгу

Название этой посвященной Попу книги, которую можно найти в любой университетской библиотеке, — "Supremely Blest" ("Благословенный свыше") — оборот заимствован из строки Попа, которую я помню, но не могу в точности процитировать. Книга посвящена преимущественно технике Попа, но содержит также емкие замечания о "стилизованных нравах его эпохи".

Строки 384—386: Джейн Дин, Пит Дин

Прозрачные псевдонимы двух ни в чем не повинных людей. Я посетил Джейн Прово (provost — "проректор", dean — "декан"), когда проезжал в августе через Чикаго. Она по-прежнему не замужем. Она показала мне кой-какие интересные фотоснимки ее двоюродного брата Питера, его друзей. Она рассказала мне, — и я не имею причин не верить ее словам, — что Питер Прово (с которым мне очень, очень хотелось бы познакомиться, но он, к несчастью, торгует автомобилями в Детройте), возможно, самую капельку и преувеличил, но определенно не солгал, уверяя, что должен сдержать слово, данное одному из ближайших его друзей по студенческому сообществу, славному молодому атлету, чьи "венки", хочется верить, будут "долговечнее девичьих". Подобные обязательства не терпят легкого или пренебрежительного к себе отношения. Джейн сказала, что пыталась после трагедии объясниться с Шейдами, а позже написала Сибил длинное письмо, но ответа не получила. Я сказал, слегка щеголяя слэнгом, который начал в последнее время осваивать: "Да уж известное дело!"

Строки 403—404: "Восемь тридцать. Включу". (Тут время начало двоиться.)

Отсюда и до строки 474 перемежаются в синхронном развитии две темы: телевизор в гостиной Шейдов и, так

сказать, повторный просмотр действий Гэзель (уже подернутых затемнением) с момента появления Питера на заглазном свиданье (406—407) и его извинений по поводу поспешного отбытия (426—428) до поездки Гэзель в автобусе (445—447 и 457—460), в завершенье которой сторож находит ее тело (474—477). Тему Гэзель я выделил курсивом.

В целом весь этот кусок представляется мне слишком разработанным и растянутым, в особенности оттого, что прием синхронизации уже заезжен Флобером и Джойсом до смерти. В остальном эта часть поэмы отличается изысканностью рисунка.

Строка 408: Рука злодея

10 июля, в день, когда Джон Шейд записал эти слова, а возможно, и в самую ту минуту, когда он принялся за тридцать третью карточку (строки 406—416), Градус катил в прокатном автомобиле из Женевы в Лэ, где, по его сведениям, Одон, закончивший съемки фильмы, отдыхал на вилле своего старого друга, американца Джозефа С. Лавендера (фамилия происходит от “laundry” — “прачешная”, а не от “laund” — “прогалина”). Нашему блистательному интригану сообщили, что Джо Лавендер коллекционирует художественные фотографии той разновидности, что зовется у французов “ombrioles”. Ему, правда, *не* сказали, что это в точности такое, и он мысленно отмахнулся от них, сочтя за “абажуры с пейзажами”. Идиотский замысел его сводился к тому, чтобы выдать себя за агента страсбургского торговца произведениями искусства и затем, выпивая с гостями Лавендера, постараться подобрать ключи к местопребыванию короля. Ему и в голову не пришло, что Дональд Одон, с его абсолютным чутьем на подобные вещи, по тому, как Градус предъявляет перед рукопожатием пустую ладонь или кивает при каждом глотке, и по множеству иных мелких повадок (которых сам Градус никогда в людях не замечал, но перенимал охотно) сразу поймет, что Градус, где бы он ни родился, наверняка подолгу жил среди низших земблянских сословий, а стало быть, он — шпион, если только не хуже. Не сознавал Градус и того, что

"ombrioles", собираемые Лавендером (я верю, что Джо не осудит меня за такую нескромность), сочетали изысканную красоту формы с крайней непристойностью содержания — голые тела в кущах смоковниц, несоразмерные пылкости, тонные тени по ягодицам, а также женские краплёные прелести.

Из своего отеля в Женеве Градус пытался связаться с Лавендером по телефону, но услышал, что того до полудня беспокоить не велено. К полудню Градус уже катил и телефонировал снова, на сей раз из Монтре. Лавендеру о нем уже доложили, не соблаговолит ли господин Дегре приехать к чаю? Он позавтракал в приозерном кафе, прогулялся, приценился в сувенирной лавчонке к хрустальному жирафику, купил газету, прочитал ее на скамейке и наконец поехал дальше. Близ Лэ он запутался в крутых, извилистых и узких дорогах. Остановясь над виноградником у грубо намеченного входа в недостроенный дом, он увидал в направлении трех указательных пальцев троицы вольных каменщиков красную кровлю виллы Лавендера, высоко в восходящей зелени по другую сторону дороги. Он решил оставить машину и взобраться по каменным ступеням того, что представлялось кратчайшим путем. Пока он карабкался вверх стиснутой стенами дорожкой, не упуская из виду кроличьей лапы тополя, то скрывавшей красную крышу на вершине подъема, то вновь открывавшей, солнце отыскало в дождевых тучах слабое место, и сразу драная прорва в них обросла сияющим ободком. Он ощутил тягость и запах нового коричневого костюма, купленного в Копенгагене и уже измятого. Пыхтя, поглядывая на часы и обмахиваясь мягкой, тоже новешенькой фетровой шляпой, он наконец долез до поперечного продолжения петлистой дороги, оставленной им внизу. Пересекши ее, он миновал калитку, поднялся по гравистой тропке и оказался перед виллой Лавендера. Ее название, "Libitina", изображалось прописными буквами над одним из зарешеченных северных окон, буквы были из черного провода, а точки над каждой из трех "i" хитроумно подделывались смолеными шляпками запорошенных мелом гвоздей, вколоченных в белый фасад. Этот прием и эти решетки на обращенных к северу окнах

Градус и прежде встречал на швейцарских виллах, а невосприимчивость к классическим мотивам не позволяла ему получить удовольствие от дани, уплаченной жутковатой жовиальностью Лавендера римской богине могил и трупов. Иное увлекло его внимание: из-за створки углового окна доносились звуки рояля, мощная, мятежная музыка, которая по какой-то странной причине, — как он сам мне после рассказывал, — внушила ему мысль о возможности, им не учтенной, заставив руку его рвануться к заднему карману, ибо он изготовился встретить не Лавендера и не Одона, но самого одаренного псалмопевца — Карла Возлюбленного. Музыка прервалась, покамест Градус, смущенный причудливой формой дома, мялся перед остекленным крыльцом. Из боковой зеленой двери возник пожилой прислужник в зеленом и повел его к другому входу. Изображая непринужденность (не ставшую более натуральной после утомительных репетиций), Градус спросил сперва на дурном французском, затем на еще худшем английском и наконец на сносном немецком, много ли в доме гостей, но лакей лишь улыбнулся и с поклоном указал ему на музыкальный салон. Музыканта тут не было. Арфоподобный рокот еще исходил из рояля, на котором стояла, будто на бережку озерца с кувшинками, чета пляжных сандалий. С приоконной скамьи поднялась, сверкая стеклярусом, костлявая дама и представилась гувернанткой племянника мистера Лавендера. Градус поведал, как ему не терпится увидать сенсационную коллекцию мистера Лавендера, — это было самое подходящее определение для картинок, изображающих любодейства в плодовых садах, — но гувернантка (которую король называл — прямо в довольное лицо — "мадемуазель Белла" вместо "мадемуазель Блуд") поспешила признаться в полном своем неведенье касательно увлечений и накоплений хозяина и предложила гостю осмотреть пока сад: "Гордон покажет вам свои любимые цветы, — сказала она и крикнула в соседнюю комнату: — Гордон!" С некоторой неохотой вышел оттуда худощавый, но крепкий на вид подросток лет четырнадцати-пятнадцати, окрашенный солнцем в нектариновые тона. На нем была одна только паховая повязка в леопардовых пятнах.

Коротко подрезанные волосы были немного светлее кожи. На прелестном животном лице его выражались и замкнутость, и лукавство. Наш озабоченный заговорщик этих подробностей не заметил, а остался при общем ощущении некоторого неприличия. “Гордон у нас музыкальный кудесник”, — сказала мисс Блуд, и мальчика перекосило. “Гордон, вы покажете этому господину сад?” Мальчик нехотя согласился, прибавив, что он бы тогда уж и окунулся, если никто не против. Обув сандалии, он вывел гостя наружу. Светом и тенью шла эта странная пара: грациозный отрок, увитый по чреслам черным плющом, и убогий убийца в коричневом дешевом костюме, со сложенной газетой, торчавшей из левого кармана пиджака.

— Вот Грот, — сказал Гордон. — Я как-то скоротал здесь ночку с другом.

Градус проник равнодушным взором в мшистую нишу, где различался надувной матрац с темным пятном на оранжевом нейлоне. Алчными губами мальчик припал к трубочке родниковой воды и вытер мокрые руки о свои черные плавки. Градус посмотрел на часы. Пошли дальше. “Вы еще ничего не видели”, — сказал Гордон.

Хотя в доме имелось по меньшей мере с полдюжины ватерклозетов, мистер Лавендер, на добрую память о дедушкиной ферме в Делавере, установил под самым высоким тополем своего роскошного сада деревенский нужник, а для особо избранных гостей, коих чувство юмора умело это снести, снимал с крюка, удобно соседствующего с камином в бильярдной, красиво вышитый валик, изогнутый в форме сердца, чтобы гостю было что подложить под себя, усаживаясь на трон.

Дверь нужника стояла наотмашь, на внутренней ее стороне мальчишеская рука нацарапала углем: “Здесь был Король”.

— Неплохая визитная карточка, — выдавив смешок, отметил Градус. — А кстати, где он теперь, этот король?

— А кто его знает, — сказал мальчик, хлопнув себя по бокам в белых теннисных шортах, — это было в прошлом году. Он вроде собирался на Лазурный берег, да только я не уверен.

Милый Гордон соврал и правильно сделал. Он отлично знал, что его огромного друга нет уж больше в Европе, — вот только не стоило милому Гордону упоминать о Ривьере, потому что это была правда и потому что упоминание заставило Градуса, знавшего о тамошнем палаццо королевы Дизы, мысленно хлопнуть себя в лоб.

Дошли до плавательного бассейна. Градус, в глубоком раздумье, опал в холщовое кресло. Надо будет немедленно телеграмму в Управление. Затягивать визит ни к чему. С другой стороны, внезапный отъезд может навлечь подозрения. Кресло под ним крякнуло, он огляделся в поисках другого сиденья. Юный сатир уже смежил глаза и простерся навзничь на мраморном окаеме бассейна, тарзанские трусики валялись, отброшенные, в траве. Градус с отвращением плюнул и поплелся обратно в дом. Тут же побежал со ступеней террасы старый слуга, сообщая на трех языках, что Градуса требуют к телефону. Мистер Лавендер так ко времени и не управился, но хотел бы поговорить с господином Дегре. За обменом приветствиями наступила недолгая пауза, и Лавендер спросил: "А вы, точно, не из поганых проныр этой трепаной французской газетки?" — "Что?" — спросил Градус, он так и выговорил — "что". "Пронырливый трепаный сучий потрох, а?" Градус повесил трубку.

Он вернулся к машине и въехал по склону горы повыше. Вот с этого изгиба дороги дымчатым и светозарным сентябрьским днем, с рассекавшей видный меж двух балясин простор прокосиной первой серебряной нити, смотрел король на искристые зыби Женевского озера и обнаружил для них антифонный отзыв — отблески станиолевых пугал в виноградниках на склоне горы. Стоя тут и уныло глядя на красные черепицы уютно укрытой деревьями виллы Лавендера, Градус способен был разглядеть, не без помощи тех, кто его превосходит, кусочек лужайки, частичку бассейна, он различил даже пару сандалий на мраморном его ободке — все, что осталось от Нарцисса. Видимо, он размышлял, не послоняться ли немного окрест, дабы увериться, что его не надули. Издалека снизу доносились лязги и дрязги каменщиков за работой, и внезапно поезд пронесся садами,

и геральдическая бабочка, volant en arrière[1], червленый пояс по черному щиту, перемахнула каменный парапет, и Джон Шейд взялся за новую карточку.

Строка 413: *там нимфа в пируэте*
В черновике было легче и музыкальней:

413 Нимфетка пируэтит.

Строки 417—421: *Я к гранкам поднялся наверх* и т. д.
Черновик дает интересный вариант:

Я влез наверх при первом кваке джаза
И стал читать: "Как веет эта фраза:
"Зри, в пляс — слепец, поет увечна голь,
Здесь забулдыга — бог, помешанный — король" —
Тем злобным веком". Но твой зов веселый...

Это, разумеется, из Попова "Опыта о человеке". Уж и не знаешь, чему больше дивиться: Попу ли, не сумевшему найти двусложного слова и сохранить раз выбранный размер (к примеру, "пьяный" вместо "забулдыга"), или Шейду, заменившему прелестные строки куда более дряблым окончательным текстом. Или он боялся обидеть истинного короля? Размышляя о недавнем прошлом, я так и не смог задним числом уяснить, вправду ли он "разгадал мой секрет", как он обронил однажды (смотри примечания к строке 991).

Строки 425—426: *за Фростом, как всегда (один, но скользкий шаг)*
Речь идет, конечно, о Роберте Фросте (р. 1874). Эти строки являют нам одно из тех сочетаний каламбура с метафорой ("frost" — "мороз"), в которых так был силен наш поэт. На температурных листках поэзии высокое — низко, а низкое — высоко, так что совершенная кристаллизация возникает градусом выше, чем тепловатая гладкость. Об этом, собственно, и говорит наш поэт, касаясь атмосферы собственной славы.

---

[1] В попятном полете (*фр.*).

Фрост является автором одного из величайших в английской литературе стихотворений, которое каждый американский мальчик знает наизусть, — о зимнем лесе, об унылых сумерках, о бубенцах мягкой укоризны в тускло темнеющем воздухе, стихотворения, завершающегося так мучительно и волшебно: две последние строки совпадают в каждом слоге, но одна — личностна и материальна, другая же — идеальна и всемирна. Я не смею цитировать по памяти, дабы не сместить ни единого драгоценного словца.

При всех превосходных дарованиях Джона Шейда он так и не смог добиться, чтобы *его* снежинки опадали подобным же образом.

Строки 430—431: *Размыта мартом; фары, набегая, сияют, как глаза двойной звезды*

Заметьте, как тонко сливается в этом месте телевизионная тема с темой девушки (смотри строку 445: "*еще* огни в тумане...").

Строки 433—435: *Мы в тридцать третьем жили здесь вдвоем... седые волны*

В 1933 году принцу Карлу исполнилось восемнадцать, а Дизе, герцогине Больна, пять лет. Поэт вспоминает здесь Ниццу (смотри еще строку 240), там провели Шейды первую часть этого года, но и на этот раз, как и в отношении других драгоценных граней прошлого моего друга, я не располагаю подробностями (а кто виноват, дорогая С. Ш.?) и не могу сказать, добрались ли они в их вполне вероятных прогулках до Турецкого мыса, разглядели ль, гуляючи по обыкновенно открытой туристам олеандровой аллее, итальянскую виллу, построенную дедом королевы Дизы в 1908 году и называвшуюся в ту пору Villa Paradiso (т. е. райская), а по-земблянски — *Villa Paradisa*, — позже, дабы почтить любимую внучку, у виллы отняли первую половину названия. Здесь провела она первых пятнадцать летних сезонов своей жизни, сюда возвратилась в 1953 году "по состоянию здоровья" (как внушали народу), на деле же, будучи сосланной королевой, — здесь проживает она и поныне.

Когда разразилась (1 мая 1958 года) земблянская революция, Диза отправила королю сумбурное письмо, написанное на гувернанточьем английском, настаивая, чтобы он приехал и остался с ней, пока положение не прояснится. Письмо, перехваченное полицейскими силами Онгавы, перевел на топорный земблянский индус, состоявший в партии экстремистов, и затем зачитал царственному узнику вслух несосветимый комендант Дворца. Письмо содержало одну, — слава Богу, всего лишь одну — сантиментальную фразу: "Я хочу, чтобы ты знал: сколько ты ни мучил меня, ты не смог замучить моей любви", и эта фраза приобрела (если перевести ее обратно с земблянского) следующий вид: "Я хочу тебя и люблю, когда ты порешь меня кнутом". Король оборвал коменданта, назвав его гаером и мерзавцем, и вообще так ужасно оскорбил всех присутствовавших, что экстремистам пришлось спешно решать, — пристрелить ли его на месте или отдать ему подлинное письмо.

Со временем он сумел сообщить ей, что заточен во Дворце. Доблестная Диза, в спешке оставив Ривьеру, предприняла романтическую, но, по счастию, не удавшуюся попытку вернуться в Земблу. Когда бы она сумела высадиться в стране, ее бы немедленно заточили, а это весьма помешало бы спасению короля, удвоив тяготы побега. Послание карлистов, содержавшее эти несложные соображения, остановило ее в Стокгольме, и она вернулась в свое гнездо разочарованная и разгневанная (полагаю, главным образом тем, что послание вручил ей добродушный кузен по прозвищу Творожная Кожа, которого она не выносила). Немного прошло недель, как она взволновалась пуще прежнего, — слухами о возможности смертного приговора для мужа. Вновь покинула она Турецкий мыс, и помчалась в Брюссель, и наняла самолет, чтобы лететь на север, когда приспело другое послание, на этот раз от Одона, известившее, что он и король выбрались из Земблы и что ей надлежит спокойно вернуться на виллу "Диза" и там ожидать новостей. Осенью этого же года Лавендер сообщил ей, что вскоре прибудет от мужа человек, чтобы обговорить коекакие деловые вопросы по части собственности, которыми она и муж совместно владеют за границей. Сидя на террасе

под джакарандой, она писала Лавендеру отчаянное письмо, когда высокий, остриженный и бородатый гость, понаблюдавший за нею издали, прошел под гирляндами тени и приблизился с букетом Красы Богов в руке. Она подняла глаза — и, конечно, ни грим, ни темные очки не смогли и на миг одурачить ее.

Со времени ее окончательного отъезда из Земблы он дважды побывал у нее, в последний раз — два года назад, и за утраченное время ее белолицая, темноволосая краса приобрела новый — зрелый и грустный отсвет. В Земблe, где женщины большей частью белесы и весноваты, в ходу поговорка: *belwif ivurkumpf wid snew ebanumf* — "красивая женщина должна быть как роза ветров из слоновой кости с четырьмя эбеновыми частями". Вот по этой нарядной схеме и создавала Дизу природа. Присутствовало в ней и что-то еще, понятое мной лишь по прочтении "Бледного пламени" или, вернее, по перечтении его после того, как спала с глаз первая горькая и горячая пелена разочарования. Я имею в виду строки 261—267, в которых Шейд описывает жену. В ту пору, когда он писал этот поэтический портрет, его натурщица вдвое превосходила королеву Дизу годами. Я не хочу показаться вульгарным в столь деликатных материях. Однако факт остается фактом, — шестидесятилетний Шейд придает хорошо сохранившейся сверстнице вид неизменный и неземной, который он лелеял или сму полагалось лелеять в своем благородном и добром сердце. Но вот что удивительно: тридцатилетняя Диза, когда я в последний раз увидел ее в сентябре 1958 года, обладала поразительным сходством, — разумеется, не с миссис Шейд, какой та стала ко времени, когда я впервые ее повстречал, но с идеализированным и стилизованным изображением, созданным поэтом в упомянутых выше строках "Бледного пламени". Собственно, идеализированным и стилизованным оно является лишь по отношению к старшей из женщин: в отношении королевы Дизы — в тот полдень, на той синеватой террасе — оно предстало чистой, неприукрашенной правдой. Я верю, что читатель прочувствует странность этого, ибо, если он ее не прочувству-

ет, что толку тогда писать стихи или комментарии к ним или вообще писать что бы то ни было.

Она казалась также спокойней против прежнего: самообладание ее улучшилось. В прошлые встречи, да и во всю их земблянскую брачную жизнь, у ней случались ужасные вспышки дурного нрава. В первые года супружества, когда он еще полагал возможным смирить эти взрывы и всполохи, для того стараясь внушить ей разумный взгляд на постигшие ее напасти, вспышки эти очень сердили его, но постепенно он научился выгадывать на них и даже бывал им рад, — они позволяли на все более долгие сроки избавляться от ее общества, не призывая ее к себе после того, как отхлопает, удлиняясь, вереница дверей, или лично покидая Дворец для какого-нибудь укромного сельского приюта.

В начале их пагубного союза он усердствовал в стараниях овладеть ею, но не преуспел. Он ей сказал, что никогда еще не предавался любви (и то была совершенная правда, ибо подразумеваемое деяние могло обозначать для нее только одно), и вынужден был за это сносить смешные потуги ее старательного целомудрия, поневоле отзывающие куртизанкой, принимающей то ли слишком уж старого, то ли чересчур молодого гостя; что-то он ей такое сказал по этому поводу (в основном чтобы облегчить пытку), и она закатила безобразную сцену. Он начинял себя любовными зельями, но передовые признаки ее злосчастного пола с роковым постоянством отвращали его. Однажды, когда он напился тигрового чаю и надежды достаточно возвысились, он совершил оплошность, попросив ее исполнить прием, который она, совершая другую оплошность, объявила ненатуральным и гнусным. В конце концов он ей признался, что давнее падение с лошади сделало его неспособным, но путешествия с друзьями и обильные морские купания несомненно должны воскресить его силу.

Она недавно потеряла обоих родителей, а надежного друга, чтобы испросить у него объяснения и совета, когда добрались до нее неизбежные слухи, она не имела, — слишком гордая, чтобы рядить о них с камеристками, она обратилась к книгам, все из них вызнала о наших мужест-

венных земблянских обычаях и затаила наивное горе под великолепной личиной саркастической умудренности. Он похвалил ее за такое расположение, торжественно пообещав отринуть, по крайности в скором будущем, юношеские привычки, но на всех путях его вставали навытяжку могучие искушения. Он уступал им — время от времени, потом через день, а там и по нескольку раз на дню, — особенно в пору крепкого правления Харфара, барона Шалксбор, феноменально оснащенного молодого животного (родовое имя которого, *Shalksbore* — "угодья мошенника", — происходит, по всем вероятиям, от фамильи "Shakespeare"). За Творожной Кожей, как прозвали Харфара его обожатели, тащился эскорт акробатов и нагольных наездников, вся эта шатия отчасти разнуздалась, так что Диза, негаданно возвратившаяся из поездки по Швеции, нашла Дворец обратившимся в цирк. Он снова дал обещание, снова пал и, несмотря на крайнюю осторожность, снова попался. В конце концов она уехала на Ривьеру, оставив его забавляться со стайкой импортированных из Англии сладкоголосых миньончиков в итонских воротничках.

Какие же чувства, в лучшем случае, питал он к Дизе? Дружеское безразличие и хладное уважение. Даже в первом цвету их брака не испытал он ни какой-либо нежности, ни возбуждения. О жалости, о душевном сочувствии и спрашивать нечего. Он был, и был всегда, небрежен и бессердечен. Но в глубине его спящей души и до, и после разрыва совершались удивительные искупления.

Сны о ней возникали гораздо чаще и были несравненно острее, чем то обещалось поверхностью его чувства к ней, они приходили, когда он меньше всего о ней думал, заботы, никак с ней не связанные, принимали ее облик в подсознательном мире, — совсем как в детской сказке становится жар-птицей сражение или политическая реформа. Эти тяжкие сны превращали сухую прозу его чувств к ней в сильную и странную поэзию, стихающее волнение которой осеняло его и томило весь день, вновь воскрешая образы обилия и боли, потом одной только боли, а после только ее скользящих бликов, — но никак не меняя его отношения к Дизе телесной.

Образ ее, снова и снова являвшийся к нему в сны, опасливо вставая с далекой софы или блуждая в поисках вестника, только что, говорят, прошедшего сквозь портьеру, чутко следил за переменами моды, но Диза в том платье, что было на ней в лето взрыва на Стекольных заводах, или в прошлое воскресенье, или в любой другой из прихожих времени, навсегда осталась точно такой, какой была она в тот день, когда он впервые сказал ей, что не любит ее. Это случилось во время безнадежной поездки в Италию, в саду приозерной гостиницы, — розы, черные араукарии, ржавость и зелень гортензий, — в один безоблачный вечер, когда горы на дальнем другом берегу плавали в мареве заходящего солнца, и озеро, все как персиковый сироп, то и дело переливалось бледной голубизной, и в газете, расстеленной по нечистому дну у каменистого берега, ясно читалось под тонкой сквозистой тиной любое слово, и поскольку, выслушав его, она в невыносимой позе осела в траву, хмурясь, теребя стебельки, он тут же и взял все слова обратно, но зеркало уже залучилось от удара, и с той поры в его снах память об этом признании пристала к ее образу, словно болезнь или тайный послед операции, слишком интимной, чтобы ее назвать.

Скорее сутью, чем истинной фабулой снов было неустанное отрицание того, что он не любит ее. Чувственная тональность, духовная страстность и глубина приснившейся любви превосходили все, что испытывал он в своей поверхностной жизни. Эта любовь напоминала нескончаемое заламывание рук, как будто душа брела вслепую по бесконечному лабиринту беспросветности и раскаяния. В каком-то смысле то были любовные сны, ибо их пронизывала нежность, желание приникнуть лбом к ее лону и выплакать все свое безобразное прошлое. Ужасное сознание ее юности и беспомощности переполняло их. Они были чище, чем его жизнь. Тот плотский ореол, что присутствовал в них, исходил не от нее, но от тех, с кем он ее предавал, — от колючей челюсти Фрины, от Тимандры с этаким гиком под фартуком, — но даже эта сексуальная накипь мрела где-то поверх затонувшего сокровища и совсем ничего не значила. Он видел, как приходит к ней некий туманный

родственник, такой уж далекий, что и лица нипочем не разглядеть. Она поспешно прятала что-то и дугою тянула руку для поцелуя. Он понимал, что она только сию минуту нашла предательский предмет, — наездницкий сапог у него в постели — с несомненностью обличавший его неверность. Бусинки пота выступали на бледном открытом лбу, — но ей приходилось выслушивать болтовню случайного гостя или направлять передвиженья рабочего, который то опуская, то задирая лицо, в обнимку с лестницей подвигался к высаженному окну. Можно было снести, — немилосердный и сильный сонливец мог снести, — сознание ее горя и гордости, но никто не вынес бы вида машинальной улыбки, с которой она переходила от жуткой улики к подобающим вежливым банальностям. Она могла отменять иллюминацию, или говорить о больничных койках со старшей сестрой, или просто заказывать завтрак на двоих в приморской пещере, — но сквозь будничную безыскусность беседы, сквозь игру обаятельных жестов, которой она всякий раз сопровождала определенные избитые фразы, он, стонущий во сне, различал замешательство ее души и сознавал, что на нее навалилась гнусная, незаслуженная, унизительная беда и что только непременности этикета и стойкая доброта к безвинному собеседнику дают ей силы улыбаться. И, наблюдая свет на ее лице, он уже видел, как тот мгновенно погаснет, едва уйдет посетитель, и сменится нестерпимою хмуростью, которой спящий никогда не сможет забыть. Он опять помогал ей подняться все с той же травы с кусочками озера, влипшими в просветы высоких балясин, и уже он и она прогуливались бок о бок по безвестной аллее, и он ощущал, как она следит за ним уголком неясной усмешки, но когда он набирался храбрости, чтобы встретиться с этим вопросительным мерцанием, она уже исчезала. Все изменялось, все были счастливы. И ему совершенно необходимо было найти ее и сказать, сию же минуту, как он ее обожает, но огромная толпа отделяла его от дверей, а в записках, доходивших через множество рук, говорилось, что она далеко, что она руководит торжественным открытием пожара, что она теперь замужем за

американским дельцом, что она стала героиней романа, что она умерла.

Никакие угрызения этого рода не терзали его, пока он сидел на террасе ее виллы и рассказывал о своем счастливом побеге из Дворца. Она восхитилась описанием подземного похода в театр, постаралась вообразить веселую прогулку в горах, но та часть рассказа, где появлялась Гарх, ей не понравилась, она как будто бы парадоксальным образом предпочитала, чтобы он предался с этой девкой здоровому блуду. Резким тоном она попросила впредь опускать подобные интерлюдии, и он отвесил шутливый поклон. Однако, едва он начал рассуждать о политической ситуации (двух советских генералов только что приставили к правительству экстремистов в виде иностранных советчиков), как знакомое безучастное выражение появилось в ее глазах. Теперь, когда он без ущерба покинул страну, вся голубая махина Земблы, от мыса Эмблы до залива Эмблемы, могла провалиться в море, она бы и не сморгнула. Ее сильнее заботил потерянный им вес, чем потерянное им королевство. Между делом она спросила о сокровищах Короны, он открыл ей местонахождение оригинальной кладовой, и она скисла в девичьем смехе, чего не бывало уже многие годы. "Нам нужно кое-что обсудить, — сказал он. — И кроме того, нужно, чтобы ты подписала несколько документов". Наверху за шпалерой звон телефона запутался в розах. Одна из прежних ее камеристок, томная и элегантная Флер де Файлер (уже сорокалетняя и поблекшая) с прежним жемчугом в вороных волосах и в традиционной белой мантилье, принесла из будуара Дизы нужные бумаги. Услышав за лаврами сочный голос короля, Флер узнала его еще прежде, чем смогла обмануться безупречной маскировкой. Два лакея, приятные молодые иностранцы явно латинского типа, вынесли чай и застали Флер в полуреверансе. Внезапный ветер ощупью закопошился в глициниях. Филер, дефилер, дефлоратор флоры, растлитель цветов. Он спросил у Флер, поворотившейся, чтобы унести букет орхидей Disa, все ли еще играет она на виоле. Она покивала, не желая обращаться к нему без титула и не решаясь титуловать, пока их могли услышать слуги.

Снова они остались одни. Диза быстро нашла нужные бумаги. Покончив с этим, они поговорили немного о приятных пустяках, вроде основанной на земблянском сказании фильмы, которую Одон намеревался снимать в Риме или в Париже. Как, гадали они, сможет он изобразить *narstran*, адский чертог, где под мерной моросью драконьего яда, источаемого мглистыми сводами, терзают души убийц? В общем и целом беседа протекала вполне удовлетворительно, — хоть пальцы ее и дрожали, касаясь локотника его кресла. Теперь осторожнее.

— Какие у тебя планы? — осведомилась она. — Почему бы тебе не пожить здесь сколько захочешь? Пожалуйста, останься. Я скоро уеду в Рим, весь дом будет твой. Вообрази, здесь можно уложить едва ли не сорок гостей, сорок арабских разбойников. (Влияние громадных терракотовых вазонов в саду.)

Он ответил, что на следующий месяц едет в Америку, а завтра у него дело в Париже.

Почему в Америку? Что он там станет делать?

Преподавать. Изучать литературные шедевры с блестящими и очаровательными молодыми людьми. Хобби, которому он теперь волен отдаться.

— Я, конечно, не знаю, — забормотала она, не глядя, — не знаю, но может быть, если ты ничего не имеешь против, я могла бы приехать в Нью-Йорк, — я хочу сказать, всего на неделю-другую, не в этом году, в следующем.

Он похвалил ее блузку, усыпанную серебристыми блестками. Она настаивала: "Так как же?" — "И прическа тебе к лицу". — "Ах, ну какое все это имеет значение, — простонала она. — Господи, какое значение имеет хоть что-нибудь!" — "Мне пора", — улыбаясь, шепнул он и встал. "Поцелуй меня", — сказала она и на миг обмякла в его руках дрожащей тряпичной куклой.

Он шел к калитке. На повороте тропинки он обернулся и разглядел вдалеке ее белеющую фигуру, с равнодушным изяществом несказанного горя поникшую над садовым столиком, и хрупкий мостик внезапно повис между бодрствующим безразличием и спящей любовью. Но тут она шевельнулась, и он увидал, что это уже не она, а бедная

Флер де Файлер, собирающая бумаги, оставленные среди чайной посуды. (Смотри примечание к строке 82.)

Когда во время нашей вечерней прогулки в мае или в июне 1959 года я развернул перед Шейдом весь этот чарующий материал, он, добродушно улыбаясь, оглядел меня и сказал: "Все это чудесно, Чарльз. Но возникают два вопроса. Откуда вы можете знать, что все эти интимные подробности относительно вашего жутковатого короля — истинная правда? И если это правда, как можно печатать подобные личности о людях, которые, надо полагать, пока еще живы?"

— Джон, дорогой мой, — отвечал я учтиво и настоятельно, — не нужно думать о пустяках. Преображенные вашей поэзией, эти подробности *станут* правдой и личности станут живыми. Поэт совершает над правдой обряд очищения, и она уже не способна причинять обиды и боль. Истинное искусство выше ложной почтительности.

— Конечно, конечно, — сказал Шейд. — Конечно, можно запрячь слова, словно ученых блох, и на них поедут другие блохи. А как же!

— И сверх того, — продолжал я, пока мы шли по дороге прямиком в огромный закат, — как только будет готова ваша поэма, как только величие Земблы сольется с величием ваших стихов, я намереваюсь объявить вам конечную истину, чрезвычайный секрет, который вполне усмирит вашу совесть.

Строка 468: прицелился

Едучи обратно в Женеву, Градус гадал, когда же ему доведется проделать это — прицелиться. Стояла несносная послеполуденная жара. Озеро обросло серебристой окалиной, тускло отражавшей грозовую тучу. Как многие опытные стеклодувы, Градус умел довольно точно определять температуру воды по особенностям ее блеска и подвижности, и теперь он заключил, что она составляет не менее 23°. Едва вернувшись в отель, он заказал международный разговор. Разговор получился тяжелым. Полагая, что это привлечет меньше внимания, чем язык страны БЖЗ, злоумышленники переговаривались на английском, — на ломаном

английском, чтоб уж быть точным: одно время, ни одного артикля и два произношения, оба неверные. К тому же они следовали хитроумной системе (изобретенной в одной из главных стран БЖЗ), используя два различных набора кодовых слов, — Управление, к примеру, вместо "король" говорило "бюро", а Градус говорил "письмо", от этого трудности общения значительно возрастали. И наконец, каждая из сторон успела забыть смысл кое-каких кодовых фраз из словаря противной стороны, — в итоге их путаная и дорогостоящая беседа походила на помесь игры в шарады с барьерным бегом в темноте. Управление пришло к заключению, что письма короля, выдающие место его пребывания, можно добыть, проникнув на виллу "Диза" и порывшись в бюро королевы, Градус же, ничего подобного не говоривший, но попросту пытавшийся отчитаться о визите в Лэ, с досадой узнал, что ему надлежит не искать короля в Ницце, а дожидаться в Женеве партии консервированной лососятины. Одно он, во всяком случае, уяснил: впредь ему следует не звонить, а слать письма или телеграммы.

Строка 469: *негр*

Однажды мы беседовали о предрассудках. Ранее в этот день, за завтраком в преподавательском клубе, гость профессора Х., дряхлый отставной ученый из Бостона, которого его хозяин с глубоким почтением аттестовал как "истинного патриция, настоящего брамина голубых кровей" (дед брамина торговал подтяжками в Белфасте), самым естественным и добродушным образом отнесся о происхождении одного не очень привлекательного нового сотрудника библиотеки колледжа: "представитель "избранного народа", насколько я понимаю" (и при этом уютно фыркнул от удовольствия), на что доцент Миша Гордон, рыжий музыкант, резко заметил, что "Бог, разумеется, волен выбирать себе какой угодно народ, но человек обязан выбирать приличные выражения".

Пока мы неторопливо возвращались, мой друг и я, в наши сопредельные замки, осененные легким апрельским дождичком, о котором он в одном из своих лирических стихотворений сказал:

Эскиз Весны, небрежный, карандашный, —

Шейд говорил о том, что больше всего на свете он ненавидит пошлость и жестокость и что эта парочка идеально сочетается в расовых предрассудках. Он сказал, что как литератор он не может не предпочесть "еврея" — "иудею" и "негра" — "цветному", но тут же прибавил, что сама подобная манера на одном дыхании упоминать о двух розных предубеждениях — это хороший пример беспечной или демагогической огульности (столь любезной левым), поскольку в ней стираются различия между двумя историческими моделями ада: зверством гонений и варварскими привычками рабства. С другой стороны [допустил он] слезы всех униженных человеческих существ в безнадежности всех времен математически равны друг дружке, и возможно [полагал он], не слишком ошибешься, усмотрев семейное сходство (обезьянью вздутость ноздрей, тошнотную блеклость глаз) между линчевателем в жасминовом поясе и мистическим антисемитом, когда оба они предаются излюбленной страсти. Я сказал, что молодой негр-садовник (смотри примечание к строке 998), недавно нанятый мной, — вскоре после изгнания незабвенного квартиранта (смотри Предисловие), — неизменно употребляет слово "цветной". Как человек, торгующий словами, новыми и подержанными [заметил Шейд], он не переносит этого эпитета не только потому, что в художественном отношении он уводит в сторону, но и потому, что значение его слишком зависит от того, кто его прилагает и к чему. Многие сведущие негры [признал он] считают его единственно достойным употребления словом, эмоционально нейтральным и этически безобидным, их авторитет обязывает всякого порядочного человека, не принадлежащего к неграм, следовать этому указанию, но поэты указаний не любят, впрочем, люди благовоспитанные обожают чему-нибудь следовать и ныне используют "цветной" вместо "негр" так же, как "нагой" вместо "голый" и "испарина" вместо "пот", — хотя, конечно [допустил он], и поэту случается приветить в "наготе" ямочку на мраморной ягодице или бисерную уместность в "испарине". Приходилось также слышать [продолжал он], как это слово используется в виде шутливого эвфемизма в каком-нибудь черномазом анекдоте, где нечто смешное

говорится или совершается "цветным джентльменом" (неожиданно побратавшимся с "еврейским джентльменом" викторианских повестушек).

Я не вполне понял его "художественные" возражения против слова "цветной". Он объяснил это так: в самых первых научных трудах по птицам, бабочкам, цветам и так далее изображения раскрашивались от руки прилежными акварелистами. В дефектных или же недоношенных экземплярах некоторые из фигурок оставались пустыми. Выражения "белый" и "цветной человек", оказавшиеся в непосредственном соседстве, всегда напоминали моему поэту — и так властно, что он забывал принятые значения этих слов, те окаемы, что так хотелось ему заполнить законными цветами — зеленью и пурпуром экзотического растения, сплошной синевой оперения, гераниевой перевязью фестончатого крыла. "И к тому же [сказал он], мы, белые, вовсе не белые, — при рождении мы сиреневые, потом приобретаем цвета чайной розы, а позже — множество иных отталкивающих оттенков."

Строка 475: *Папаша-Время*

Читателю следует обратить внимание на изящную перекличку со строкой 313.

Строка 490: *Экс*

"Экс" означает, по-видимому, Экстон — фабричный городок на южном берегу озера Омега. В нем находится довольно известный музей естественной истории, во многих витринах которого выставлены чучела птиц, пойманных и набитых Сэмюелем Шейдом.

Строки 492—493: *сама она сквиталась с ненужной жизнью*

Нижеследующие замечания не являются апологией самоубийства — это всего лишь простое и трезвое описание духовной ситуации.

Чем чище и ошеломительней вера человека в Провидение, тем сильнее для него соблазн покончить разом со всей повесткой бытия, но тем сильнее и страх перед ужасным

грехом самоуничтожения. Рассмотрим прежде соблазн. Как с большей полнотой обсуждается в другом месте настоящего комментария (смотри примечания к строке 549), серьезная концепция любой из форм загробной жизни неизбежно и необходимо предполагает некую степень веры в Провидение; и обратно, глубокая христианская вера предполагает уверенность в некоторой разновидности духовного выживания. Представления о таком выживании не обязательно должны быть рационалистическими, т. е. они не должны давать нам точных характеристик личных фантазий или общей атмосферы субтропического восточного сада. В сущности, доброго земблянского христианина тому и учат, что истинная вера существует вовсе не для того, чтобы снабжать его картами и картинками, но что она должна мирно довольствоваться томным туманом приятного предвкушения. Возьмем пример из жизни: семья малыша Кристофера должна вот-вот переселиться в удаленную колонию, где его папа получил пожизненную должность. Маленький Кристофер, хрупкий мальчик лет девяти-десяти, вполне полагается (фактически полагается в такой полноте, что последняя затемняет само осознание полагательства) на то, что старшие позаботятся обо всех мелочах отбытия, бытия и прибытия к месту. Он не может вообразить, как ни старается, конкретных особенностей ожидающих его новых мест, но он смутно и уютно уверен, что места эти будут даже лучше теперешней их усадьбы, где есть и высокий дуб, и гора, и его пони, и парк, и конюшни, и Гримм, старый грум, который на свой манер ласкает его, когда никого нет поблизости.

Чем-то от простоты такой веры должны обладать и мы. При наличии этой божественной дымки полной зависимости, проникающей все существо человека, не диво, что он впадает в соблазн, не диво, что он, мечтательно улыбаясь, взвешивает на ладони компактную пушечку в замшевой кобуре размером не более ключа от замковой калитки или мальчишечьей морщинистой мошны, не диво, что он поглядывает за парапет, в манящую бездну.

Я выбирал эти образы наугад. Существуют пуристы, уверяющие, что джентльмен обязан использовать два ре-

вольвера — по одному на каждый висок, либо один-единственный боткин (обратите внимание на правильное написание этого слова), дамам же надлежит либо заглатывать смертельную дозу отравы, либо топиться заодно с неуклюжей Офелией. Люди попроще предпочитают различные виды удушения, а второстепенные поэты прибегают даже к таким прихотливым приемам освобождения, как вскрытие вен в четвероногой ванне продуваемой сквозняками душевой в меблирашках. Все это пути ненадежные и пачкотливые. Из не весьма обильных известных способов стряхнуть свое тело совершеннейший состоит в том, чтобы падать, падать и падать, следует, впрочем, с большой осторожностью выбирать подоконник или карниз, дабы не ушибить ни себя, ни других. Прыгать с высокого моста не рекомендуется, даже если вы не умеете плавать, потому что вода и ветер полны причудливых случайностей, и нехорошо, когда кульминацией трагедии становится рекордный нырок или повышение полисмена по службе. Если вы снимаете ячейку в сияющих сотах (номер 1915 или 1959), в разметающем звездную пыль высотном отеле посреди делового квартала, и отворяете окно, и тихонько — не выпадаете, не выскакиваете, — но выскальзываете, дабы испытать уютность воздуха, — всегда существует опасность, что вы ворветесь в свой личный ад, просквозив мирного сомнамбулу, прогуливающего собаку; в этом отношении задняя комната может оказаться более безопасной, особенно при наличии далеко внизу крыши старого, упрямого дома с кошкой, на которую можно положиться, что она успеет убраться с дороги. Другая популярная отправная точка — это вершина горы с отвесным обрывом метров, положим, в 500, однако ее еще поди поищи, ибо просто поразительно, насколько легко ошибиться, рассчитывая поправку на склон, а в итоге какой-нибудь скрытый выступ, какая-нибудь дурацкая скала выскакивает, и поддевает вас, и рушит в кусты — исхлестанного, исковерканного и ненужно живого. Идеальный бросок — это бросок с самолета: мышцы расслаблены, пилот озадачен, аккуратно уложенный парашют стянут, скинут, сброшен со счетов и с плеч, — прощай, *shootka* (парашютка, маленький парашют)! Вы мчите вниз, но при

этом испытываете некую взвешенность и плавучесть, плавно кувыркаетесь, словно сонный турман, навзничь вытягиваясь на воздушном пуховике или переворачиваясь, чтобы обнять подушку, наслаждаясь каждым последним мгновением нежной и непостижной жизни, подстеганной смертью, и зеленая зыбка земли то ниже вас, то выше, и сладострастно распятое, растянутое нарастающей спешкой, налетающим шелестом, возлюбленное ваше тело исчезает в лоне Господнем. Если бы я был поэт, я непременно написал бы оду сладостной тяге — смежить глаза и целиком отдаться совершенной безопасности взыскующей смерти. Экстатически предвкушаешь огромность Божьих объятий, облекающих освобожденную душу, теплый душ физического распада, космическое неведомое, поглощающее ту неведомую минускулу, что была единственной реальной частью твоей временной личности.

Когда душа обожает Его, Который ведет ее через смертную жизнь, когда она различает знаки Его на всяком повороте тропы — начертанными на скале, надсеченными на еловом стволе, когда любая страница в книге личной судьбы несет на себе Его водяные знаки, можно ли усомниться, что Он охранит нас также и в неизбывной вечности?

Так что же в состоянии остановить человека, пожелавшего совершить переход? Что в состоянии помочь нам противиться нестерпимому искушению? Что в состоянии помешать нам отдаться жгучему желанию слиться с Богом?

Нам, всякий день барахтающимся в грязи, верно, будет прощен один-единственный грех, который разом покончит со всеми грехами.

Строка 501: l'if

Французское название тиса. Его английское название — "yew", откуда и Юшейд ("тень тиса" — смотри в строке 510). Интересно, что по-земблянски плакучая ива также называется "иф" (*if*, а тис называется — "таз", *tas*).

Строка 502: Большой батат

Омерзительный каламбур, намеренно помещенный чуть ли не вместо эпиграфа, дабы подчеркнуть отсутствие ува-

жения к Смерти. Я еще со школьной скамьи помню soi-distant[1] "последние слова" Рабле, находившиеся среди прочих блестящих обрывков в каком-то учебнике французского языка: "Je m'en vais chercher le grand peut-être"[2].

Строка 503: IPH

Хороший вкус и закон о диффамации не позволяют мне открыть настоящее название почтенного института высшей философии, в адрес которого наш поэт отпускает в этой Песни немало прихотливых острот. Его конечные инициалы, HP (High Philosophy[3]), снабдили студентов аббревиатурой "Hi-Phi", и Шейд тонко спародировал ее в своих комбинациях — IPH, или If[4]. Он расположен, и весьма живописно, в юго-западном штате, который должен здесь остаться неназванным.

Полагаю необходимым заявить также, что совершенно не одобряю легкомыслия, с которым поэт наш третирует в этой Песни определенные аспекты духовных чаяний, осуществить которые способна только религия (смотри примечание к строке 549).

Строка 549: IPH презирал богов (и "Г")

Вот где истинный Гвоздь вопроса! И понимания этого, сдается мне, не хватало не только Институту (смотри строку 517), но и самому поэту. Для христианина никакая потусторонняя жизнь не является ни приемлемой, ни вообразимой без участия Господа в нашей вечной судьбе, что, в свой черед, подразумевает заслуженное воздаяние за всякое прегрешение, большое и малое. В моем дневничке присутствует несколько извлечений из разговора между мной и поэтом, бывшего 23 июня "на моей веранде после партии в шахматы, ничья". Я переношу их сюда лишь для того, что они прекрасно высвечивают его отношение к этому предмету.

---

[1] Так называемые (*фр.*).
[2] "Я ухожу искать великое быть может" (*фр.*).
[3] Высшая философия (*англ.*).
[4] Если (*англ.*).

Мне случилось упомянуть, — забыл, в какой связи, — о некоторых отличиях его Церкви от моей. Нужно сказать, что наша земблянская разновидность протестантства довольно близка к “верхним” англиканским церквям, но обладает и кой-какими свойственными только ей одной возвышенными странностями. Нашу Реформацию возглавил гениальный композитор, наша литургия пронизана роскошной музыкой, и нет в целом свете голосов слаще, чем у наших мальчиков-хористов. Сибил Шейд родилась в семье католиков, но уже в раннем девичестве, как она сама мне рассказывала, выработала “собственную религию”, что, как правило, означает в самом лучшем случае полуприверженность к какой-либо полуязыческой секте, в худшем же — еле теплый атеизм. Мужа она отлучила не только от отеческой Епископальной Церкви, но и от всех иных форм обрядового вероисповедания.

По какой-то причине мы разговорились о помутившемся ныне понятии “греха”, о том, как оно смешалось с идеей “преступления”, значительно более плотски окрашенной, и я кратко остановился на своих детских впечатлениях от некоторых обрядов нашей Церкви. Мы исповедуемся на ухо священнику в богато изукрашенном алькове, исповедчик держит в руке горящую свечу и стоит сбоку от высокого пасторского кресла, очень похожего по форме на коронационный трон шотландского короля. Бывши воспитанным мальчиком, я вечно боялся закапать лилово-черный рукав священника жгучими восковыми слезами, что текли по моим костяшкам, образуя тугую корочку; как завороженный, смотрел я на освещенную выемку его уха, напоминавшую морскую раковину или лоснистую орхидею, — извилистое вместилище, казавшееся мне слишком просторным для моих пустячных грехов.

Ш е й д. Все семь смертных грехов пустячны, однако без трех из них — без гордыни, похоти и праздности — поэзия никогда не смогла бы родиться.

К и н б о т. Честно ли основывать возражения на устаревшей терминологии?

Ш е й д. На ней основана любая религия.

Кинбот. То, что мы называем Первородным Грехом, никогда устареть не может.

Шейд. Об этом я ничего не знаю. В детстве я вообще считал, что речь идет об убийстве Авеля Каином. Лично я — на стороне старинных табакерочников: L'homme est né bon[1].

Кинбот. И все же основное определение греха — это непослушание Господней воле.

Шейд. Как я могу слушаться того, чего не ведаю и чего самую существенность я вправе отрицать?

Кинбот. Те-те-те! А существенность грехов вы тоже отрицаете?

Шейд. Я могу назвать только два: убийство и намеренное причинение боли.

Кинбот. Значит, человек, ведущий совершенно уединенную жизнь, не может быть грешником?

Шейд. Он может мучить животных. Может отравить источники своего острова. Он может в посмертном заявлении оговорить невинного.

Кинбот. И стало быть, девиз?..

Шейд. Жалость.

Кинбот. Но кто же внушил ее нам, Джон? Кто Судия жизни и Творец смерти?

Шейд. Жизнь — большой сюрприз. Не вижу, отчего бы смерти не быть еще большим.

Кинбот. Вот тут-то я и поймал вас, Джон: стоит нам отвергнуть Высший Разум, что полагает нашу личную потустороннюю жизнь и направляет ее, как нам придется принять невыносимо страшное представление о Случайности, распространенной на вечность. Смотрите, что получается. На всем протяжении вечности наши несчастные призраки пребывают во власти неописуемых превратностей. Им не к кому воззвать, не у кого испросить ни совета, ни поддержки, ни защиты — ничего. Бедный призрак Кинбота, бедная тень Шейда, они могли заблудиться, могли поворотить не туда — из одной лишь рассеянности или просто по неведению пустякового правила нелепой игры

---

[1] Человек рождается благим (*фр.*).

природы, — если в мире вообще существуют какие-то правила.

Шейд. Есть же правила в шахматных задачах: недопустимость двойных решений, к примеру.

Кинбот. Я подразумевал сатанинские правила, которые противник скорее всего нарушит, едва мы начнем их понимать. Вот почему не всегда работает черная магия. Демоны, в телескопическом их коварстве, нарушают условия, заключенные с нами, и мы опять погружаемся в хаос случайностей. Даже если мы укротим случайность необходимостью и допустим безбожный детерминизм, машинальность причин и следствий, с тем чтобы посмертно дать нашим душам сомнительное утешение метастатистики, нам все равно придется расплачиваться личными неудачами, тысяча вторым автомобильным крушением сверх числа намеченных на празднование Дня Независимости в Гадесе. Нет-нет, если уж мы решаем всерьез относиться к загробной жизни, не стоит с самого начала опускаться до уровня научно-фантастической нелепости или истории спиритизма в эпизодах. Мысль о душе, ныряющей в беспредельную и беспорядочную загробную жизнь без руководящего ею Провидения...

Шейд. За углом всегда отыщется психопомпос, не так ли?

Кинбот. Но только не за *этим*, Джон. Без Провидения душе останется уповать на осколки ее скорлупы, на опыт, накопленный в пору внутрителесного заточения, по-детски цепляться за провинциальные принципы и захолустные уложения, за индивидуальность, образованную по преимуществу тенями, которые отбрасывает решетка ее же собственной тюрьмы. Религиозное сознание и на миг не утешится подобной идеей. Насколько разумнее — даже с точки зрения гордого безбожника! — принять присутствие Божие: вначале как фосфорическое мерцание, бледный свет в потемках телесной жизни, а после — как ослепительное сияние! Я тоже, я тоже, дорогой вы мой Джон, был в свое время подвержен религиозным сомнениям. Церковь помогла мне перебороть их. Она помогла мне также не просить слишком многого, не требовать слишком ясного

образа того, что невообразимо. Блаженный Августин сказал —

Шейд. Отчего это каждый *непременно* норовит процитировать мне Блаженного Августина?

Кинбот. Как сказал Блаженный Августин: “Человек может понять, *что* не есть Бог, но не способен понять, *что* Он есть”. Думается, я знаю, *что* Он не есть: Он не есть отчаяние, Он не есть страх, Он не есть земля в хрипящем горле, ни черный гул в наших ушах, сходящий на нет в пустоте. Я знаю также, что так или этак а Разум участвовал в сотворении мира и был главной движущей силой. И пытаясь найти верное имя для этого Вселенского Разума, для Первопричины, или Абсолюта, или Природы, я признаю, что первенство принадлежит имени Божию.

Строка 550: *Мистический нес вздор*

Я должен сказать кое-что касательно более раннего примечания (к строке 12). Ученость и совестливость долго им занимались, и ныне я думаю, что две строки, помещенные в том примечании, искажены и измараны поспешной мечтательностью суждения. Только там, *один-единственный раз* во все то время, что я пишу этот многотрудный комментарий, разочарование и обида довели меня до порога подлога. Я вынужден просить читателя пренебречь приведенными там строками (в которых, боюсь, и размер-то мной восстановлен неверно). Я мог бы вычеркнуть их перед отдачей в печать, но тогда придется перерабатывать все примечание или, по крайности, значительную его часть, а у меня времени нет на подобные глупости.

Строки 557—558: *Как отыскать в удушье и в тумане*
янтарный нежный шар, Страну
Желаний

Лучший куплет во всей этой Песни.

Строка 576: *другая*

Я далек от того, чтобы намекать на существованье какой-то другой женщины в жизни моего друга. Он смирно играл роль образцового мужа, навязанную ему захолустны-

ми поклонниками, а кроме того, — смертельно боялся жены. Не раз приходилось мне одергивать сплетников, которые связывали имя поэта с именем одной его студентки (смотри Предисловие). В последнее время американские романисты, состоящие в большинстве членами Соединенного факультета английской литературы, который, с какой стороны ни взгляни, пропитан литературной одаренностью, фрейдистскими выдумками и постыдной гетеросексуальной похотью гораздо пуще, чем весь прочий свет, заездили эту тему до изнурения, — и потому я навряд ли решусь на тягостную церемонию представления вам сей юной особы. Да я и знал-то ее едва-едва. Пригласил однажды к себе, — скоротать вечерок с Шейдами, — единственно ради опровержения всех этих слухов; что очень кстати напомнило мне о необходимости сказать нечто по поводу удивительного ритуала обмена приглашениями, бытующего в унылом Нью-Вае.

Справившись в моем дневничке, я выяснил, что за пять месяцев близости с Шейдами меня приглашали к их столу только три раза. Посвящение состоялось в субботу, 14 марта, — в тот раз я у них обедал, при чем присутствовали: Натточдаг (с которым я всякий день видался в его кабинете), профессор по кафедре музыки Гордон (этот полностью завладел разговором), заведующий кафедрой русского языка и литературы (водевильный педант, о котором чем меньше скажешь, тем будет и лучше) и три-четыре взаимозаменяемых дамы, одна из которых (миссис Гордон, коли не ошибаюсь) пребывала в интересном положении, а другая, вовсе мне неведомая, вследствие несчастного послеобеденного распределения кресел, не переставая, с восьми до одиннадцати, говорила со мной, а вернее сказать — в меня. На следующем приеме, — то был менее представительный, но никак не более уютный souper, — в субботу, 23 мая, присутствовали Мильтон Стоун (новый библиотекарь, с которым Шейд до полуночи рассуждал о классификации некоторых документов, касающихся Вордсмита), старый, добрый Натточдаг (с которым я продолжал видеться каждодневно) и небезуханная француженка (снабдившая меня исчерпывающими сведениями о преподавании иностран-

ных языков в Калифорнийском университете). Дата третьей моей и последней трапезы в книжечку не попала, но, помнится, дело было июньским утром, — я принес вычерченный мной замечательный план Королевского Дворца в Онгаве с разного рода геральдическими ухищрениями и с наложенными там и сям легкими мазками золотистой краски, добыть которую стоило мне немалых трудов, — и в знак благодарности меня накормили наспех сготовленным завтраком. Нужно еще прибавить, что как я ни роптал, вегетарианские ограничения моего стола во все три раза были оставлены без внимания, — мне неизменно подсовывали продукт животного происхождения, окруженный или окружающий какую-нибудь оскверненную зелень, которую одну я, быть может, еще и соблаговолил бы отведать. Я отквитался, и не без изящества. Из дюжины, примерно, моих приглашений Шейды приняли точно три. Всякий раз я стряпал кушания из какого-нибудь одного овоща, подвергая его такому же числу волшебных превращений, какое выпало на долю любимого клубня Пармантье. И всякий раз я приглашал лишь одного добавочного гостя для развлечения Сибил (у которой, не угодно ли, — тут мой голос возвышается до дамского визга, — была аллергия на артишоки, на авокадо, на африканские желуди — словом, на все, что начинается с "а"). Я не знаю ничего более губительного для аппетита, чем присутствие старичков и старушек, которые, рассевшись вкруг стола, марают салфетки продуктами распада их косметических средств и, прикрываясь отсутствующими улыбками, тайком пытаются вытеснить мучительно жгучее зернышко малины, забившееся меж десен — искусственной и омертвелой. Поэтому я приглашал людей молодых, студентов: в первый раз сына падишаха, во второй — моего садовника, а в третий — как раз ту девицу в черном балетном платье, с продолговатым белым лицом и с веками, выкрашенными, ровно у вурдалака, в зеленый цвет; впрочем, она пришла очень поздно, а Шейды ушли очень рано, — сомневаюсь, что очная ставка тянулась долее десяти минут, так что мне пришлось чуть ли не заполночь развлекать девицу граммофонными

записями; в конце концов она кому-то позвонила, и тот отправился с нею "обедать" в Далвич.

Строка 584: *мать с дитятей*

Es ist die Mutter mit ihrem Kind[1] (смотри примечание к строке 662).

Строка 596: *Укажет на подвал, где стынут лужи*

Всем нам ведомы эти сны, они сочатся чем-то стигийским, и Лета протекает в них так тоскливо, как неисправный водопровод. За этими строками следует сохраненная в черновике неудавшаяся попытка, — и я надеюсь, что читатель испытает нечто схожее с дрожью, пробежавшей вдоль моего длинного и податливого хребта, когда я наткнулся на этот вариант:

Смутится ли убийца и злодей
Пред жертвой? Есть ли души у вещей?
Иль оседает равно на погост
Танагры прах и град усталых звезд?

Слово "град" и первых две буквы слова "усталый" образуют имя убийцы, чей *shargar* (тщедушный призрак) вскоре предстанет перед светлой душой поэта. "Случайное совпадение!" — воскликнет простоватый читатель. Но пусть-ка он попытается выяснить, как пытался я, много ли сыщется таких сочетаний, и возможных, и уместных. "Ленин*град* *ус*пел побыть Петроградом?" "Бо*г раду* (рада, *устар.* правда) слышит?"

Этот вариант настолько изумителен, что лишь ученая щепетильность и совестное уважение к истине мешают мне вставить его в поэму, изъяв откуда-либо четыре строки (скажем, слабые строки 627—630), дабы сохранить их число.

Шейд записал эти стихи во вторник, 14 июля. А что в этот день поделывал Градус? А ничего. Затейница-судьба в этот день почивала на лаврах. В последний раз мы виделись с ним поздним вечером 10 июля, когда он вернулся из Лэ в свой женевский отель, там мы с ним и расстались.

---

[1] Это мать и ее дитя (*нем.*).

Следующие четыре дня Градус промаялся в Женеве. Удивительное дело: жизнь постоянно обрекает так называемых "людей действия" на долгие сроки безделья, которых они ничем не в состоянье заполнить, поскольку ум их лишен какой бы то ни было изобретательности. Подобно многим не очень культурным людям, Градус запоем читал газеты, брошюры, случайные листки и всю ту многоязыкую литературу, что сопутствует каплям от насморка и пилюлям от несварения, — впрочем, этим его уступки любознательности и ограничивались, оттого же, что зрение он имел плохонькое, а местные новости обилием не отличались, ему приходилось все больше впадать то в спячку, то в оцепенение тротуарных кафе.

Насколько счастливее зоркие празднолюбы, монархи среди людей, обладатели изощренного, исполинского мозга, который умеет познать неслыханные наслаждения, упоительное томленье, созерцая балясины сумеречной террасы, огни и озеро внизу, и очерки дальних гор, тающие в смуглом абрикосовом свете вечерней зари, и темные ели, обведенные блеклыми чернилами зенита, и гранатовые с зеленью воланы волн вдоль безмолвного, грустного, запретного берега. О мой сладостный Боскобель! О нежные и грозные воспоминания, и стыд, и блаженство, и сводящие с ума предвкушения, и звезда, до которой не добраться никакому партийцу.

В среду утром, так и не дождавшись известий, Градус телеграфировал в Управление, что почитает дальнейшее ожидание неразумным и что искать его следует в Ницце, отель "Лазурь".

Строки 597—608: *что вспыхнет в глубине* и т. д.

В сознании читателя это место должно перекликаться с замечательным вариантом, приведенным в предыдущих заметках, ибо всего неделю спустя "*град ус*талых звезд" и "царственные длани" должны были встретиться — в подлинной жизни и в подлинной смерти.

Если б побег не удался, нашего Карла II могли казнить, это случилось бы наверное, будь он схвачен между Дворцом и Пещерами Рипплься, но во время бегства он ощу-

тил на себе толстые пальцы судьбы всего лишь несколько раз, ощутил, как они нащупывают его (подобно перстам угрюмого старого пастуха, испытующего девственность дочери), когда оскользнулся той ночью на влажном, заросшем папоротником склоне горы Мандевиля (смотри примечание к строке 149), и на другой день, на сверхъестественной высоте, в пьянящей сини, где альпинист замечает рядом с собой призрачного попутчика. Не раз в ту ночь наш король бросался наземь в порожденной отчаянием решимости дождаться рассвета, который позволит ему с меньшими муками уклоняться от еще только чаемых опасностей. (Я вспоминаю другого Карла, другого статного темноволосого мужа ростом чуть выше двух ярдов.) Но то были порывы скорее физические или нервические, и я совершенно уверен, что мой король, когда бы его схватили, приговорили и повлекли на расстрел, повел бы себя точно так же, как он ведет себя в строках 607—608: то есть огляделся бы по сторонам и с высокомерным спокойствием стал

Высмеивать невежество в их стаде
И плюнул им в глаза, хоть смеха ради.

Позвольте же мне завершить эти чрезвычайно важные замечания афоризмом несколько антидарвинского толка: Убивающий *всегда* неполноценнее жертвы.

Строка 603: *слушать пенье петуха*

Вспоминается прелестный образ в недавнем стихотворении Эдзеля Форда:

Крик петушиный высекает пламя
Из утра мглистого и из лугов в тумане.

Луг (по-английски mow, а по-земблянски *miwan*) — это участок покоса вблизи амбара.

Строки 609—614: *как изгою старому помочь* и т. д.

В черновике это место выглядит иначе:

Кто беглеца спасет? Он смертию захвачен
Под крышею случайной, под горячим

Ночной Америки дыханьем. Огоньки
Его слепят, — как будто две руки
Волшебные из прошлого швыряют
Каменья, — жизнь уходит поспешая.

Здесь довольно верно изображена "случайная крыша" — бревенчатая изба с кафельной ванной комнатой, где я пытаюсь свести воедино эти заметки. Поначалу мне досаждал рев бесовской радиомузыки, долетавший, как я полагал, из некоторого подобия увеселительного парка на той стороне дороги, — после оказалось, что там разбили лагерь туристы, — я уже думал убраться в другое какое-то место, но они опередили меня. Теперь стало тише, только докучливый ветер бренчит листвой иссохших осин, и Кедры снова похожи на город-призрак, и нет здесь ни летних глупцов, ни шпионов, чтобы подглядывать за мной, и маленький удильщик в узких синих штанах больше уже не стоит на камне посередине ручья и, верно, оно и к лучшему.

Строка 615: *на двух наречьях*

На английском и земблянском, на английском и русском, на английском и латышском, на английском и эстонском, на английском и литовском, на английском и русском, на английском и украинском, на английском и польском, на английском и чешском, на английском и русском, на английском и венгерском, на английском и румынском, на английском и албанском, на английском и болгарском, на английском и сербо-хорватском, на английском и русском, на американском и европейском.

Строка 619: *клубня глаз*

Каламбур пускает ростки (смотри строку 502).

Строка 626: *Староувер Блю великий*

Надо полагать, профессор Блю дал разрешение использовать его имя, и все же погружение реально существующего лица, сколь угодно покладистого и добродушного, в выдуманную среду, где ему приходится поступать в соответствии с выдумкой, поражает редкой беспардонностью

приема, тем паче, что прочие персонажи, за исключением членов семьи, разумеется, выведены в поэме под псевдонимами.

Что и говорить, имя у него соблазнительное. "The star over the blue" — "звезда над синью", чего уж лучше для астронома, а впрочем, ни имя его, ни фамилия ничем с небесной твердью не связаны: имя дано в память деда, русского "старовера" (с ударением, кстати сказать, на последнем слоге), носившего фамилию Синявин. Этот Синявин перебрался из Саратова в Сиэтл и породил там сына, который со временем сменил фамилию на Блю (от blue, — *англ.* синий) и женился на Стелле Лазурчик, обамериканившейся кашубе. Вот так оно и идет. Честный Староувер Блю подивился бы, вероятно, эпитету, которым пожаловал его расшалившийся Шейд. Добрые чувства автора склонили его уплатить дань приятному старому чудаку, любимцу кампуса, которого студенты прозвали "полковник Старботтл" ("бутыль со звездами"), видимо, за редкостную его общительность. Вообще же говоря, в окружении Шейда имелись и другие выдающиеся люди... Ну, хоть видный земблянский ученый Оскар Натточдаг.

Строка 629: Решал судьбу зверей

Над этими словами поэт надписал и перечеркнул:

судьбу безумца

Конечная участь, ожидающая души безумцев, исследовалась многими земблянскими теологами. По большей части они придерживались воззрений, согласно которым даже болезненные бездны самого что ни на есть свихнувшегося разума все же содержат крупицу здравомыслия, которая, пережив смерть, внезапно разрастается, разражается, так сказать, раскатами бодрого, победного смеха, когда мир боязливых тупиц и болванов съеживается далеко позади. Я не был лично знаком ни с одним сумасшедшим, но слышал в Нью-Вае немало занятных историй ("Мне и в Аркадии есть удел", — речет Деменция, прикованная к ее угрюмой колонне). Был там, к примеру, один студент, впадавший в неистовство. Был еще пожилой, чрезвычайно

положительный университетский уборщик, который в один прекрасный день, посреди учебного кинозала, вдруг предъявил чересчур разборчивой студентке нечто такое, чего она, без сомнения, видывала и лучшие образцы. Но более всего мне нравится случай с экстонским станционным смотрителем, о мании которого мне рассказывала ни больше ни меньше как сама миссис Х. В тот день Харлеи давали большой прием для слушателей летней школы, и я пришел туда с одним из моих наперсников по второму столу для пинг-понга, приятелем Харлеевых сыновей, так как проведал, что мой поэт намерен что-то читать, и места себе не находил от опасливых предвкушений, уверенный, что это будут стихи о моей Зембле (а услышал невразумительные вирши какого-то его невразумительного знакомого, — мой Шейд был очень добр к неудачникам). Читатель поймет, если я скажу, что при моей высоте я никогда не чувствую себя "затерянным" в толпе, но верно и то, что среди гостей Х. у меня не много было знакомых. С улыбкой на лице и коктейлем в ладони вращаясь в обществе, я наконец углядел над спинками двух сдвинутых кресел макушку поэта и ярко-каштановый шиньон миссис Х. и, подойдя к ним сзади, услышал, как он возражает на какое-то ее только что сделанное замечание:

— Это слово здесь не годится, — сказал он. — Его нельзя прилагать к человеку, который по собственной воле стряхнул бесцветную шелуху невеселого прошлого и заменил ее блистательной выдумкой. Просто он вступил в новую жизнь с левой ноги.

Я похлопал моего друга по макушке и отвесил легкий поклон Эбертелле Х. Поэт окинул меня тусклым взором. Она сказала:

— Помогите нам, мистер Кинбот: я утверждаю, что тот человек... как же его все-таки звали?.. старый... старый — да вы знаете, тот старик со станции в Экстоне, что вообразил себя Господом Богом и начал менять назначения поездов, — что он, научно выражаясь, псих, а Джон называет его своим собратом, поэтом.

— Все мы в каком-то смысле поэты, мадам, — ответил я и поднес зажженную спичку моему другу, который, стис-

нув зубами трубку, хлопал себя обеими руками по разным частям тела.

Не уверен, что этот банальный вариант вообще заслуживал комментария. В сущности, весь кусок о занятиях в IPH'е отдавал бы совершеннейшим "Гудибрасом", будь его невыразительный стих стопою короче.

Строка 662: *Кто скачет там в ночи под хладной мглой?*

Строчка, а на самом деле и все это место (строки 653—664) отзывает известным стихотворением Гете об эльфийском царе, дряхлом чародее из кишащего эльфами ольхового леса, влюбившемся в хрупкого мальчика, сына запоздалого путника. Не устаешь восхищаться искусством, с каким Шейд переносит в свои ямбы отзвук ломкого ритма баллады (написанной трехдольником):

662 Кто скачет там в ночи под хладной мглой?
663 ....
664 .... То отец с малюткой.

Две начальные строки стихотворения Гете замечательно точно и ладно, да еще с добавлением неожиданной рифмы (также по-французски: vent — enfant[1]), передаются на моем родном языке:

Ret wóren ok spóz on nátt ut vétt?
Éto est vótchez ut míd ik détt.

Другой сказочный государь, последний король Земблы, все повторял про себя эти неотвязные строки — и по-земблянски и по-немецки, — аккомпанируя ими гудящим в ушах барабанам усталости и тревоги, пока он взбирался по зарослям орляка в угрюмые горы, которые должен был перейти, чтобы достигнуть свободы.

Строки 671—672: "Неукрощенный морской конек"

Смотри у Браунинга — "Моя последняя герцогиня".

---

[1] Ветер — дитя (*фр.*).

Смотри и кляни модный прием — озаглавливать сборник статей, или томик стихов, или большую поэму — фразой, подобранной в более или менее знаменитом поэтическом творении прошлого. Такие заглавия обладают особенным шиком, приличным, быть может, названиям марочных вин или прозвищам сдобных куртизанок, но они лишь унижают талант, который подменяет творческую фантазию нехитрыми иносказаниями книгочея и перекладывает ответственность за избыток витиеватости на крепкие плечи бюстов. Этак каждый пролистает “Сон в летнюю ночь”, или “Ромео и Джулию”, или еще “Сонеты” и подберет себе заглавье по вкусу.

Строки 677—678: Переводила... на французский

Из тех переводов два появились в августовском номере “Nouvelle Revue Canadienne”, который достиг книжных лавок университетского городка в последнюю неделю июля, то есть в пору печали и душевного смятения. Тактичность не позволила мне в то время показать Сибил коекакие критические замечания, занесенные мною в карманный дневничок.

В ее переводе известного десятого “Благочестивого сонета”, созданного Донном в период вдовства:

Death be not proud, though some have callèd thee
Mighty and dreadful, for, thou art not so

(Смерть, не кичись, когда тебя зовут
Тиранкой лютой, силой роковою)[1] —

с неудовольствием находишь во второй строке лишнее восклицание, вставленное сюда лишь для закругления цезуры:

Ne soit pas fière, Mort! Quoique certains te disent
Et puissante et terrible, ah, Mort, tu ne l’es pas, —

и хоть внутренняя рифма “so — overthrow” (строки 2—3) находит удачное воплощение в “pas — bas”, рифма обрамляющая (строки 1—4) — “disent — prise” — вызывает возра-

---

[1] Перевод Г. Кружкова.

жения как невозможная во французском сонете 1617-го, примерно, года из-за несоблюдения правила зрительного подобия.

Я не располагаю здесь местом для перечисления массы иных промахов и огрехов этой канадской версии вышедшего из-под пера декана собора Св. Павла обличения Смерти, каковая есть рабыня не только "судьбы" и "случайности", — но также и *нас* ("царей и отчаявшихся людей").

Другое стихотворение, "Нимфа, оплакивающая смерть своего олененка" Эндрю Марвелла, представляется мне с технической точки зрения еще более неподатливым для втискивания во французские стихи. Если в случае Донна мисс Ирондель имела право подобрать под пару английскому пентаметру французский александрийский размер, то здесь я сомневаюсь, чтобы ей действительно следовало предпочесть l'impair[1] и разворачивать в девять слогов то, что Марвелл смог уместить в восьми. Касательно строк

And, quite regardless of my smart,
Left me his fawn but took his heart
(Ко мне утратив интерес,
Оленя подарив, исчез.)[2], —

приобретших вид

Et se moquant bien de ma douleur
Me laissa son faon, mais pris son coeur, —

приходится пожалеть, что переводчица не сумела уложить длинные ноги ее французского олененка даже в более вместительное просодическое лоно и передать "quite regardless of" посредством "sans le moindre égard pour" или чего-нибудь подобного. Далее, куплет

Thy love was far more better than
The love of false and cruel man
(...твоя
Любовь была честней мирской
Предательской любви людской), —

---

[1] Нечетное число; неловкость, промах, просчет (*фр.*).
[2] Здесь и далее перевод И. Бродского.

хоть и переведен буквально:

> Que ton amour était fort meilleur
> Qu'amour d'homme cruel et trompeur, —

идиоматически не так уже чист, как кажется с первого взгляда. И наконец, чудесная концовка:

> Had it lived long it would have been
> Lilies without, roses within
> (Живи он дольше, видит Бог,
> Он сделаться снаружи мог
> Лилеей, розой — изнутри...) —

содержит во французской версии нашей дамы не только синтаксический ляпсус, но и недопустимую беглость — нередкий грех переводчиков, проскакивающих под знак обязательной остановки:

> Il aurait été, s'il eut longtemps
> Vécu, lys dehors, roses dedans.

Как великолепно отображаются и рифмуются две этих строки на нашем волшебном земблянском (на "языке зеркал", как назвал его великий Конмаль)!

> Id wodo bin, war id lev lan
> Indran iz lil ut roz nitran.

Строка 679: *"Лолита"*

Большие ураганы получают в Америке женские имена. Привязанность к женскому роду внушается не только половой принадлежностью фурий и ведьм, но и общей склонностью к нему всякого рода профессионалов. По этой причине каждый автомобиль — "она" для любящего обладателя, пламя (даже "бледное"!) — "она" для пожарника, а кран — "она" для водопроводчика. Почему наш поэт избрал для своего урагана 1958 года редко используемое испанское имя (иногда даваемое попугаям) вместо Лоис или Линды, — неясно.

Строки 680—681: ***шпионил неприкрыто угрюмый росс***

В сущности говоря, в этой угрюмости ничего нет метафизического или расового. Она всего лишь внешний при-

знак застойного национализма и свойственного провинциалам чувства неполноценности — этой ужасной смеси, ставшей столь характерной для землян под ферулой экстремистов и для русских при советском режиме. В современной России идеи — суть нарезанные механическим способом одноцветные чушки, — оттенки запрещены законом, просветы замурованы, а вместо изгиба — ступенчатый излом.

Впрочем, не все русские угрюмы, — два молодых московских спеца, которых новое наше правительство подрядило искать сокровища земблянской Короны, оказались редкостными весельчаками. Экстремисты справедливо считали, что барон Бланд, хранитель казны, прежде чем выпрыгнуть или выпасть из Северной Башни, успел припрятать сокровища, они только не знали, что у него имелся помощник, и очень заблуждались, полагая, что сокровища нужно искать во Дворце, покинутом кротким седым Бландом один-единственный раз и то лишь затем, чтобы умереть. Могу с простительным удовлетворением добавить, что сокровища, точно, были спрятаны, но совершенно в ином — и весьма неожиданном — уголке Земблы, они и ныне там.

В одном из прежних примечаний (к строке 130) читатель видел уже эту чету кладоискателей за работой. После бегства короля и запоздалого обнаружения подземного хода они продолжали старательные раскопки, пока не издырявили, а частью и вовсе развалили Дворец: как-то ночью рухнула в одной из комнат стена и обнаружила нишу, о существовании которой никто не подозревал, а в ней — бронзовый погребец для соли и пиршественный рог короля Вигберта; но нашей короны, ожерелья и скипетра вам все равно никогда не найти.

Таковы уже правила небесной игры, неизменная фабула судьбы, и не надо ее истолковывать как плод предприимчивости советских спецов, — которые, уместно сказать, впоследствии прекрасно справились с иной задачей (смотри примечание к строке 741). Фамилии их (вероятно, вымышленные) были такие: Андронников и Ниагарин. Редко случается видеть, по крайней мере среди восковых фигур,

чету более приятных и представительных молодых людей. Гладко отбритые челюсти, простецкие лица, волосы вьются, зубы блестят — залюбуешься. Статный красавец Андронников улыбался нечасто, но лучики морщинок, разбегавшиеся от глаз, выдавали в нем неистощимое чувство юмора, а две одинаковые складки, спадавшие от изящно вылепленных ноздрей, вызывали дорогие сердцу ассоциации с воздушными асами и героями партизанских будней. Ниагарин, со своей стороны, ростом был сравнительно невысок, облик имел более округлый, хотя, без сомнения, и мужественный, лицо же его озаряла порой широкая мальчишеская улыбка, отчего вспоминался какой-нибудь бойскаутский вожатый, у которого есть кое-что на совести, или те господа, что мухлюют в телевизионных состязаниях. Радостно было смотреть, как носится по двору парочка "советчиков", пиная запачканный мелом, трубно звенящий футбол (казавшийся в таком окружении слишком большим и лысым). Андронников умел раз десять подкинуть его носком, прежде чем влепить прямиком в грустные, озадаченные, белесые и безвинные небеса, Ниагарин же в совершенстве подражал ужимкам потрясающего вратаря из команды "Динамо". Часто они угощали кухонных мальчиков русскими карамельками со сливой или вишней, изображенной на сочно-цветастой шестиугольной обертке, под которой еще был конвертик из бумаги потоньше с липкой лиловой плюшкой внутри; и всем было ведомо, что похотливые сельские девки приползают по *drungenam* (тропкам в зарослях ежевики) к самому подножию бастиона, когда на вечерней заре эти двое взлезают на вал и, обратясь в силуэты на фоне пылкого неба, распевают красивые и чувствительные фронтовые дуэты. Ниагарин обладал задушевным тенором, а Андронников — сердечным баритоном, оба — в щегольских кавалерийских сапогах мягкой черной кожи, и небеса отворачивались, являя бесплотный свой хребет.

Поживший в Канаде Ниагарин говорил по-английски и по-французски, Андронников с пятого на десятое понимал по-немецки. Немногие известные им земблянские фразы они выговаривали с тем потешным русским акцентом, что сообщает гласным назидательное полнозвучие. Охранники-

экстремисты считали их образцовыми удальцами, и милый мой Одонелло получил однажды от коменданта жестокий нагоняй за то, что поддался соблазну и передразнил их походку: передвигались оба вразвалочку, на заметно кривых ногах.

В детские мои годы Россия была в большом почете при земблянском Дворе, но то была иная Россия — Россия, ненавидевшая тиранов и обывателей, несправедливость и жестокость, Россия благородных людей с либеральными устремлениями. Следует добавить, что Карл Возлюбленный мог похвастать толикой русской крови. В средние века двое его пращуров женились на новгородских княжнах. Королева Яруга (годы правления 1799—1800), его прапрабабка, была наполовину русская, и большинство историков считает, что единственный отпрыск Яруги, Игорь, — это вовсе не сын Урана Последнего (годы правления 1798—1799), но плод ее любовной связи с русским авантюристом Ходынским, ее *goliartom* (придворным шутом) и даровитым поэтом, — говорят, это он сочинил на досуге известную русскую chanson de geste[1], обыкновенно приписываемую безымянному барду двенадцатого столетия.

Строка 682: *Ланг*

Современный фра Пандольф, надо думать. Не припоминаю, чтобы я видел в доме подобное полотно. Или Шейд имеет в виду портрет фотографический? Там был один над пианино и другой в кабинете у Шейда. Насколько легче было бы читателю и Шейда, и его друга, когда бы мадам соблаговолила ответить на некоторые из моих настоятельных вопросов.

Строка 692: *приступ*

Сердечный приступ, случившийся с Джоном Шейдом 17 октября 1958 года, едва ли не совпал по времени с прибытием в Америку преображенного короля. Он прибыл в Америку парашютом, спустившись с пилотируемого полковником Монтакют наемного самолета на поле чихотных,

[1] Героическая поэма (*фр.*).

буйно цветущих плевелов неподалеку от Балтиморы, чьи иволги — совсем никакие не иволги. Время было расчислено точно, он еще выпутывался из непривычной французской упряжи, а уже с дороги, неодобрительно колыхаясь на толстых колесах, накренив блестящее черное тулово, поворотил и приблизился по *mowntrope* "Роллс-ройс" из усадьбы Сильвии О'Доннелл. Я мог бы изъяснить читателю, отчего именно парашют, однако ж (тут скорее — дань сентиментальной традиции, чем удобство передвижения) в настоящих заметках к "Бледному пламени" в том нет решительной необходимости. Покамест Кингсли, шофер-англичанин, слуга старый и преданный, усердно затискивал в багажник пухлый, неумело сложенный парашют, я отдыхал на предложенной им раскладной трости, потягивая вкуснейший скотч с водой из машинного бара и просматривая (под аплодисменты сверчков, в вихре желтых и бордовых бабочек, что так приглянулись Шатобриану, когда *Шатобриан* прибыл в Америку) статью из "The New York Times", в которой Сильвия размашисто и неопрятно отчеркнула красным карандашом сообщение из Нью-Вая о помещении в больницу "выдающегося поэта". Я давно уже предвкушал знакомство с любимейшим моим американским стихотворцем, которому, — в тот миг я был совершенно в этом уверен, — суждено было скончаться задолго до начала весеннего семестра, но разочарование отдалось во мне всего лишь внутренней ужимкой покладистого сожаления и, отбросив газету, я осмотрелся с восторгом и умилением, притом что нос у меня уже заложило. Большими ступенями взбиралась зеленая мурава к многоцветным рощам, над ними выглядывало белое чело усадьбы, и облака таяли в синеве. Внезапно я чихнул и чихнул снова. Кингсли предложил еще выпить, но я отказался и, не чинясь, подсел к нему на переднее сиденье. Хозяйка отлеживалась после особого рода прививки, сделанной в предвосхищении путешествия в особого рода африканскую глушь. В ответ на мое: "Ну-с, как самочувствие?" — она пролепетала, что в Андах было просто чудесно, но тут же несколько менее томным тоном осведомилась о печально прославленной актрисе, с которой, по слухам, сын ее предавался греху

в Париже. Я сообщил, что Одон дал мне слово не жениться на ней. Она поинтересовалась, как мне показался полет, и звякнула бронзовым колокольчиком. Добрая, старая Сильвия! Она разделяла с Флер де Файлер нерешительность манер, томность повадки, частью врожденную, частью напускную — в качестве удобного алиби на случай опьянения, — и каким-то чудесным образом ухитрялась сочетать эту томность с говорливостью, напоминая мямлю-чревовещателя, которого вечно перебивает его болтливая кукла. Неизменная Сильвия! Вот уже тридцать лет — из года в год, из дворца во дворец, — я вижу все те же стриженые тускло-каштановые волосы, младенческие бледно-голубые глаза, рассеянную улыбку, стильно длинные ноги, движения колеблемой ветром ивы.

Появился поднос с фруктами и напитками, его принес jeune beauté[1], как сказал бы душка Марсель, тут же припомнился и другой автор, Жид Просветленный, с такой теплотой описавший в своих африканских заметках атласную кожицу черненьких чертенят.

— Вы едва не лишились возможности увидеть ярчайшую нашу звезду, — сказала Сильвия, бывшая главной благотворительницей Вордсмитского колледжа (она-то, к слову сказать, и устроила для меня эту забаву, чтение лекций). — Я только что звонила в колледж, — да, берите скамеечку, — ему гораздо лучше. Попробуйте маскану, я ее специально для вас раздобыла, а вот мальчик не про вас, только для женщин, и вообще Вашему Величеству придется теперь быть очень осторожным. Я уверена, что вам там понравится, правда, ума не приложу, кому может приспичить изучать земблянский язык. Думаю, и Диза могла бы приехать. Я сняла для вас лучший дом, какой у них есть, — если верить тому, что мне говорили, — и совсем близко от Шейдов.

Их она почти не знала, но слышала множество подкупающих рассказов о поэте от Билли Ридинга, "одного из очень немногих американских ректоров, знакомых с латынью". И позвольте мне здесь прибавить, что я считаю за

[1] Юный красавец (*фр.*).

великую честь для себя случившееся две недели спустя в Вашингтоне знакомство с этим вялым на вид, рассеянным, плохо одетым, восхитительным американским джентльменом, чей ум являет собою библиотеку, а не зал для дискуссий. В следующий понедельник Сильвия улетела, а я задержался в поместье, отдыхая от моих приключений, — думал, читал, делал выписки, много катался верхом по прелестным окрестностям в обществе двух обворожительных дам и застенчивого маленького грума. Часто, покидая места, мне приятные, я испытывал радость, какую, верно, переживает плотно притертая пробка, когда ее вытягивают, чтобы, слив сладкое густое вино, отослать ее к новым виноградникам и наградам. Я провел пару приятных месяцев, навещая библиотеки Нью-Йорка и Вашингтона, слетал на Рождество во Флориду и, изготовясь, наконец, к отъезду в мою новую Аркадию, почел за удовольствие и обязанность послать поэту учтивое письмо, в котором поздравил его с выздоровлением и шутливо “предостерег”, что, начиная с февраля, он получит в соседи пылкого почитателя. Ответа я так и не получил, и после о моей предупредительности никто ни разу не вспомнил, а потому я думаю, что мое послание затерялось среди получаемых литературной знаменитостью писем от “поклонников”, хоть и можно было ожидать, что Сильвия или кто-то еще известит Шейдов о моем появлении. Выздоровление поэта и впрямь шло очень споро, я мог бы назвать его чудесным, когда бы сердце Шейда страдало от какой-либо органической неисправности. Но чего не было, того не было: поэтические нервы способны выкидывать самые странные фокусы, но и умеют быстро усваивать ритмы здоровья, и вскоре Джон Шейд уже восседал в привычном кресле за овальным столом и снова рассказывал про своего любимого Попа восьми набожно внимающим юношам, одной увечной заочнице и трем студенткам, одна из которых как бы явилась к нему из мечтательных снов репетитора. Ему разрешили не урезывать привычных занятий — прогулок, к примеру, но, признаюсь, у меня самого начинались сердцебиения и поты, когда я видел, как этот бесценный старик орудует грубой садовой утварью или, вихляясь, вползает по лестницам колледжа, будто

японская рыбка по водопаду. Кстати: не следует читателю ни слишком всерьез, ни слишком буквально воспринимать то место, где говорится о сметливом докторе (сметливый доктор, я это знаю доподлинно, спутал однажды невралгию с церебральным неврозом). Мне от самого Шейда известно, что никто никаких спасательных рассечений не производил, сердца рукой не массировал, и если оно вообще останавливалось, заминка была очень краткой и, так сказать, поверхностной. Но, натурально, это не лишает описания в целом (строки 691—696) значительной эпической красоты.

Строка 696: К конечной цели

Градус приземлился в аэропорту Лазурного берега сразу после полудня 15 июля 1959 года. При всей его озабоченности он невольно подивился потоку величавых грузовиков, юрких мотоциклеток и всесветных частных автомобилей на Променаде. Память его без особого удовольствия хранила жгучий зной и морскую слепящую синь. Отель "Лазурь", в котором перед Второй мировой войной он провел неделю с чахоточным боснийским бомбистом, был в те поры убогим, набитым молодыми немцами заведением с умывальниками прямо в номерах; ныне он стал убогим заведением с умывальниками прямо в номерах, набитым пожилыми французами. Отель стоял на улице, поперечной двум магистралям, идущим вдоль набережной, и непрестанный рев перекрестного движения, мешавшийся с лязгом и уханьем стройки, развернутой под присмотром подъемного крана насупротив отеля (который двадцать лет назад окружала застойная тишь), — оказался для Градуса нечаянной радостью: он любил, чтобы вблизи немного шумело, тогда не лезли в голову всякие мысли. ("Ça distrait"[1], — сказал он извиняющейся хозяйке и ее сестре.)

Тщательно вымыв руки, он снова вышел наружу, озноб возбуждения бежал, как в лихорадке, по его искривленной спине. Человек в бутылочном пиджаке, сидевший в обществе очевидной шлюхи за столиком в открытом загончике

[1] "Это развлекает" (*фр.*).

кафе на углу улицы Градуса и Променада, прижал обе ладони к лицу, приглушенно чихнул, но ладоней не отнял, как бы ожидая второго позыва. Градус побрел северной стороной набережной. Постояв с минуту у витрины сувенирной лавки, он зашел вовнутрь, приценился к фиолетовому стеклянному гиппопотамчику и приобрел карту Ниццы с окрестностями. Уже подходя к стоянке такси на улице Гамбетта, приметил он двух молодых туристов в крикливых рубашках с пятнами пота, лица и шеи их багровели от жары и опрометчивых солнечных ванн; они несли, перекинув через руки, аккуратно сложенные двубортные пиджаки на шелковой подкладке — парные к широким штанинам, — и прошли, не взглянув на нашего сыщика, в котором при исключительной его ненаблюдательности все-таки шелохнулось, когда они миновали его, робкое узнавание. Они ничего не знали о его пребывании за границей, ни о его интересном задании, собственно говоря, и начальник-то — их и его — лишь несколько минут тому узнал, что Градус не в Женеве, а в Ницце. Не был и Градус осведомлен, что ему помогают в розысках двое советских спортсменов, Андронников и Ниагарин, которых он раза два мельком видал в онгавском Дворце, когда стеклил выбитое окно и ревизовал по поручению новой власти драгоценные рипплъсоновские витражи в одной из бывших королевских теплиц. Через минуту он упустил нить узнавания, усаживаясь с егозливой, как у всех коротконожек, обстоятельностью на заднее сиденье такси и прося, чтобы его свезли в ресторан, расположенный между Пеллосом и Турецким мысом. Трудно сказать, на что надеялся наш герой, и какие имел виды. Собирался ли он только подглядывать из-за олеандров и миртов за воображаемым плавательным бассейном? Ожидал ли услышать продолжение бравурной пьесы Гордона, — но в ином изложении, сыгранном руками покрепче и покрупней? Или он намеревался ползти с пистолетом в руке туда, где лежит облитый солнцем гигант, расправясь, как парящий орел, с косматым парящим орлом на груди? Мы того не знаем, а может статься, Градус не знал и сам: во всяком случае, его избавили от ненужной езды. Нынешние таксисты говорливы не менее прежних

цирюльников, и еще не выкатился из города старенький "Кадилляк", а неудачливый душегуб знал уже, что брат водителя работал на вилле "Диза" садовником и что теперь там никто не живет, — королева уехала в Италию до конца июля.

В отеле улыбчивая владелица принесла ему телеграмму. Телеграмма выбранила его по-датски за отъезд из Женевы и велела впредь до новых распоряжений ничего не затевать. Еще содержала она совет забыть о работе и поразвлечься. Но что же (кроме кровавых мечтаний) могло бы его развлечь? Ни пейзажи, ни пляжи его не влекли. Пить он давным-давно бросил. В концерты не ходил. Не играл. Половые позывы когда-то немало его донимали, но и это прошло. После того как жена, пронизчица на Радуговитре, сбежала от него (с цыганом-любовником), он сожительствовал с тещей, пока ту не свезли, ослепшую и отекшую, в приют для разложившихся вдов. С тех пор он несколько раз пытался себя оскопить, валялся с жестоким заражением в Стекольной гошпитали, и ныне, в сорок четыре года, вполне излечился от похоти, каковую Природа, великая плутовка, влагает в нас, дабы втравить в продолжение рода. Не удивительно, что совет поразвлечься сильно его прогневил. Думаю, на этом мне следует оборвать настоящее примечание.

Строки 703—705: *Систему тел* и т. д.

Очень искусно прилажено здесь троекратное "спряженных", а перекличка "системы", "темы" и "темноты" сообщает читателю логическое удовлетворение.

Строки 726—728: *"Ерунда... Тень, мистер Шейд,*
и даже — полутень!"

Еще один пример особого рода комбинационного волшебства, присущего нашему поэту. Тонкая игра слов происходит вокруг двух дополнительных (помимо очевидного синонима "нюанс") значений слова shade[1]. Доктор как бы намекает, что обморочный Шейд не только сохранил поло-

[1] Тень; призрак (*англ.*).

ловину своей подлинной личности, но что он еще и обратился наполовину в призрака, в тень. Хорошо зная врача, который в то время лечил моего друга, беру на себя смелость прибавить, что он был слишком большой тугодум, чтобы блеснуть подобной остротой.

Строки 735—736: оборвало... робот, обормот

Третий взрыв контрапуктической пиротехники. Замысел поэта состоит в том, чтобы в самой текстуре текста явить нам тонкости той "игры", в которой он ищет ключ и к жизни, и к смерти (смотри строки 808—829).

Строка 741: Наружным блеском

Утром 16 июля (покамест Шейд трудился над строками 697—746) безрадостный Градус, устрашась еще одного дня вынужденного безделья в глумливо сверкающей, живительно шумной Ницце, уселся в кожаное кресло, украшавшее род вестибюля его пропитанной бурыми запахами замызганной гостинички, и решил не вылезать из него, покуда не выгонит голод. Неторопливо копался он в кипе старых журналов на ближнем столе. Так он сидел, маленький монумент немоты, — вздыхал, надувал щеки, слюнил большой палец перед тем, как перевернуть страницу, разглядывал картинки и двигал губами, сползая по печатным столбцам. Сложив журналы опрятной стопкой, он отвалился в кресле, сплетая и расплетая пальцы в разнообразных узорах скуки, — тогда из соседнего кресла поднялся и скрылся в наружном блеске господин, оставив за собою газету. Градус перетянул ее себе на колени, расправил — и замер над странной заметкой в местных новостях: в виллу "Диза" залезли взломщики и обобрали бюро, похитив из ларца с драгоценностями массу ценных старинных медалей.

Тут было над чем задуматься. Есть ли какая-то связь между этой невнятно неприятной историей и его розысками? И не обязан ли он что-либо предпринять? Дать в Управление каблограмму? Но сжатое изложение простого события почти неизбежно смахивает на шифровку. Отправить воздушной почтой вырезку из газеты? Вооружась

безопасным лезвием, он корпел у себя в номере над газетным листом, когда кто-то бодро забарабанил в дверь. Градус впустил нежданного гостя — начальственную Тень, которую он почитал пребывающей *onhava-onhava* [далеко-далеко], в дикой, мглистой, почти баснословной Зембле! Поразительные все-таки штуки учиняет наш магический механический век со старичками пространством и временем!

То был веселый, и может быть слишком, молодчик в зеленой бархатной куртке. Его никто не любил, но и в остром уме никто ему не отказывал. Фамилия его, Изумрудов, отзывалась чем-то русским, но означала на деле "из умрудов", т. е. из племени самоедов, чьи умиаки (шкуряные челны) бороздят порой смарагдовые воды у наших северных берегов. Ухмыляясь, он сообщил, что дружище Градус должен собрать разъездные бумаги, включая медицинскую справку, и вылететь первым же реактивным самолетом в Нью-Йорк. Отвесив поклон, он поздравил его с феноменальной прозорливостью, указавшей верный способ и верное место. Да, при основательном досмотре добычи, взятой Андроном и Ниагарушкой в розовом письменном столе королевы (все больше счета, памятные снимки да эти дурацкие медали), обнаружилось и письмишко от короля, а в нем адресочек, и где бы вы думали —? Тут нашему умнику, который прервал глашатая побед заявленьем, что у него *и в мыслях...* — велено было поменьше скромничать. Явился клочок бумаги, и на нем Изумрудов, колыхаясь от хохота (смерть смешлива), выписал Градусу псевдоним их подопечного, название университета, в котором тот преподает, и города, в котором сей университет расположен. Нет, хранить бумажку не следует. Хранить ее можно, лишь пока он будет заучивать, что в ней написано. Бумага этого сорта (ее применяют в макаронной промышленности) не только легко усваивается, но и очень вкусна. Веселый зеленый призрак исчез — не иначе как снова отправился к шлюхам. Как ненавистны мне эти люди!

Строка 747: журнал: статья о миссис Z.

Всякий, кто вхож в хорошую библиотеку, без сомнения, смог бы легко отыскать и печатный источник, содержащий

эту статью, и настоящее имя дамы; впрочем, подлинная ученость выше пошлой возни подобного рода.

Строка 767: Адрес

Моему читателю, быть может, доставит удовольствие упоминание о Джоне Шейде в моем письме, которого второй экземпляр (под копирку), по счастью, у меня сохранился. Письмо было отправлено особе, проживающей на юге Франции, 2 апреля 1959 года:

Дорогая, Ваши подозрения нелепы. Я не даю Вам моего домашнего адреса — и не дам ни Вам, ни кому бы то ни было, — не для того, что боюсь Вашего приезда сюда, как Вы изволили заключить: а просто вся моя почта — *вся* — поступает на кафедру. Здесь в домах предместья открытые почтовые ящики, и стоят они прямо на улице, и кто угодно может насовать туда рекламных листков или, напротив, вытянуть присланное мне письмо (не из обычного любопытства, заметьте, но из иных, более скверных побуждений). Я отсылаю это письмо по воздуху и вновь настоятельно повторяю тот адрес, который дала Вам Сильвия: Д-р Ч. Кинбот, Кинбот (но *отнюдь не* "Карл Кс. Кингбот, эсквайр", как написали Вы или Сильвия, *очень прошу Вас*, будьте поосторожнее — и поумнее), университет Вордсмит, Нью-Вай, Аппалачие, США.

Я не сержусь на Вас, но у меня масса неприятностей и совсем, совсем расшатаны нервы. Я поверил — поверил глубоко и искренне — в привязанность человека, жившего здесь, под моею крышей, но узнал оскорбление и коварство, немыслимые во дни моих предков, — те могли подвергнуть обидчика пытке, но я, разумеется, не охотник пытать кого бы то ни было.

Здесь стояли ужасные холода, теперь, слава Богу, настоящая северная зима сменилась южной весной.

Не стоит пытаться объяснить мне, что говорит Ваш поверенный, — пусть объяснит все моему поверенному, а уж *тот* объяснит мне.

У меня славная работа в университете и совершенно очаровательный сосед, — не вздыхайте, дорогая, и не заводите бровей, — он господин очень старый — тот самый старый господин, благодаря которому в Вашем зеленом альбоме оказался пустячок о гинкго (смотри снова, — я разумею, читателю следует снова смотреть, — примечание к строке 49). Будет куда безопаснее, если Вы не станете писать ко мне *слишком* часто, дорогая.

***Строка 782:* ваш стишок**

Образ Монблана, “крепости синих теней и солнцем помазаных храмов”, легко помаячил в тучах этого стихотворения. Я хотел бы его привести, но не имею сейчас под рукой. Здесь тематически возникает как бы смазанный гротескным произношением старухи “белый вулкан” ее сна, породненный опечаткой с “белым фонтаном” Шейда.

***Строка 783:* “Мон Блон”**

Строки 783—810 записаны на шестьдесят четвертой и шестьдесят пятой карточках между закатом 18 и рассветом 19 июля. В то утро я помолился в двух разных церквах (обстоявших, так сказать, мое земблянское вероисповедание, не представленное в Нью-Вае) и возвращался домой не спеша, в возвышенном расположении духа. Ни облачка не белело в заждавшихся небесах, и казалось, сама земля тихонько вздыхает по Господу нашему Иисусу Христу. В такие утра, солнечные и печальные, я каждой жилочкой ощущаю, что и для меня еще не закрыто Царствие Небесное, что и я могу обрести спасение, несмотря на мерзлую грязь и ужас в моем сердце. Поникнув главой, я поднимался по гравистой тропе, как вдруг совсем ясно услышал голос Шейда, словно стоящего за моей спиной, разговаривая громко, как бы с тугим на ухо собеседником, и этот голос сказал: “Придите вечером, Чарли”. Я огляделся с трепетом и изумлением: я был совершенно один. Я позвонил немедля. Шейдов нет, сообщила нахальная служаночка, несносная вертихвостка, стряпавшая у них по воскресениям и несомненно мечтавшая, что в какой-нибудь вдовый денек старый поэт притиснет ее к груди. Я перезвонил через два часа, попал, как всегда, на Сибил, настоял на разговоре с другом (моих “весточек” ему никогда не передавали), залучил его к аппарату и как можно спокойней спросил, что он делал около полудня, когда я услышал его у себя в саду поющим, точно огромная птица. Он толком не помнил, попросил обождать минуту, да, он с Полем (кто таков, не знаю) играл в гольф или по крайности смотрел, как Поль играет с еще одним коллегой. Я закричал, что вечером должен видеть его, и сразу же беспричинно разры-

дался, затопив аппарат и задохнувшись, — такого припадка со мной не случалось с 30 марта, когда мой Боб покинул меня. После суматошных переговоров между Шейдами Джон сказал: “Чарльз, послушайте. Давайте мы с вами вечером прогуляемся от души. Встретимся в восемь”. Это во второй раз мы с ним прогуливались от души, считая с 6 июля (тот, неинтересный, разговор о природе), третья прогулка пришлась на 21 июля и оказалась на редкость короткой.

О чем бишь я? Да, мы с Джоном снова ныне, как в те дни, бродили по рощам Аркадии, под лососевыми небесами.

— Ну, Джон, — весело говорил я, — о чем это вы писали в прошлую ночь? Окно у вас в кабинете просто пламенело.

— О горах, — отвечал он.

Хребет Бера, нагроможденье прожилистых скал и косматых елей, вырос передо мной во всей его мощи и красе. От чудной вести сильнее забилось сердце, и я почувствовал, что могу теперь в свой черед позволить себе роскошь великодушия. Я попросил моего друга ничего мне более не открывать, если только он сам того не захочет. Он отвечал: да, ему не хотелось бы рассказывать ни о чем, и тут же стал сетовать на сложность задачи, которую сам перед собою поставил. Он высчитал, что за последние двадцать четыре часа его мозг работал, на круг, тысячу минут и произвел пятьдесят строк (скажем, 787—838), — это один слог за каждые две минуты. Он закончил третью, предпоследнюю, Песнь и начал Песнь четвертую и последнюю (смотри Предисловие, сразу же, сразу смотри Предисловие), и если я не очень против, может быть, мы повернем домой, хотя еще только около девяти, — чтобы ему снова зарыться в хаос и вытащить оттуда свой космос со всеми его мокрыми звездами?

Мог ли я ответить “нет”? Горный воздух ударил мне в голову: он заново творил мою Земблу!

Строка 801: *опечатка*

Переводчикам Шейда придется-таки повозиться с преображением — да еще в одно касание — слова mountain

(гора) в слово fountain (фонтан, ключ, источник): такое не передашь ни по-французски, ни по-немецки, ни по-русски, ни по-землянски, — переводчику останется прибегнуть к одной из тех сносок, что пополняют криминальный архив находящихся в розыске слов[1]. И все же! Сколько я знаю, существует все же один совершенно необычайный, замечательно изящный случай, в котором участвуют не два, а целых три слова. Сама история достаточно тривиальна (и всего скорее, апокрифична). В газетном отчете о коронации русского царя вместо "корона" (crown) напечатали "ворона" (crow), а когда на другой день опечатку с извинениями "исправляли", вместо нее появилась иная — "корова" (cow). Изысканность соответствия английского ряда "crown—crow—cow" русскому "корона—ворона—корова" могла бы, я в этом уверен, привести моего поэта в восторг. Больше ничего подобного мне на игрищах лексики не встречалось, а уж вероятность такого двойного совпадения и подсчитать невозможно.

Строка 810: паутина смысла

Одну из пяти хижин, образующих этот автодортуар, занимает его владелец, — слезоточивый семидесятилетний старик, хромающий с вывертом, напоминающим мне о Шейде. Он владеет еще маленькой заправочной станцией неподалеку, продает червей рыболовам и, как правило, не слишком мне досаждает, но вот на днях предложил "стянуть любую старую книгу" с полки в его спальне. Не желая его обидеть, я постоял у полки, задравши голову и склоняя ее то к одному плечу, то к другому, но там были все замызганные старые детективы в бумажных обложках, стоившие разве что вздоха или улыбки. Он сказал: "Погодите-ка, — и вытащил из ниши у кровати потрепанное сокровище в тканевом переплете. — Великая книга великого человека — "Письма" Фрэнклина Лейна. Я знавал его в Рейнир-парке,

---

[1] Что делать! Я не нашел ничего лучшего, как заменить "гору" на "вулкан", сохранив хотя бы аллитерацию и обретя вместо сходства слов внешнее сходство прообразов, но утратив возможность похвалиться "одним касанием". (*Прим. переводчика.*)

в молодости, когда был там объездчиком. Возьмите на пару дней, не пожалеете".

Я и не пожалел. В книге есть одно место, которое странно отзывается интонацией, усвоенной Шейдом в конце Песни третьей. Это из записи, сделанной Лейном 17 мая 1921 года, накануне смерти после сложной операции: "И если я перейду в этот самый мир иной, кого я примусь там разыскивать?.. Аристотеля! Ах, вот человек, с которым стоит поговорить! Какое наслаждение видеть, как он, пропустив между пальцев, словно поводья, длинную ленту человеческой жизни, идет замысловатым лабиринтом этого дивного приключения... Кривое делается прямым. Чертеж Дедала при взгляде сверху оказывается простым, — как будто большой, испятнанный палец некоторого мастера проехался по нему, смазав, и разом придав всей путаной, пугающей канители прекрасную прямоту".

Строка 818: В игре миров

Мой блестящий друг выказывал совершенно детское пристрастие ко всякой игре в слова, и особенно к той, что зовется словесным гольфом. Он мог оборвать увлекательнейшую беседу, чтобы предаться этой забаве, и конечно, с моей стороны было бы грубостью отказаться с ним поиграть. Вот некоторые из лучших моих результатов: "брак—вред" в три хода, "пол—муж" — в четыре и "родить—зарыть" (с "добить" посередке) — в шесть ходов.

Строка 821: А кто убил балканского царя?

Страх как хочется сообщить, что в черновике читается:

А кто убил земблянского царя? —

но, увы, это не так: карточки с черновым вариантом Шейд не сохранил.

Строка 830: Сибил

Эта изысканная рифма возникает как апофеоз, как венец всей Песни, синтезирующий контрапунктические аспекты ее "нездешнего колокола".

Строки 835—838: *Теперь за Красотой следить хочу* и т. д.

Песнь, начатая 19 июля на шестьдесят восьмой карточке, открывается образцовым шейдизмом: лукавым ауканьем нескольких фраз в дебрях переносов. На деле, обещания, данные в этих четырех строках, так и остались невыполненными, — лишь эхо ритмических заклинаний уцелело в строках 915 и 923—924 (разрешившихся свирепым выпадом в строках 925—930). Поэт, будто вспыльчивый кочет, хлопочет крылами, изготовляясь к всплеску накатывающего вдохновения, но солнце так и не всходит. Взамен обещанной буйной поэзии мы получаем парочку шуток, толику сатиры и, в конце Песни, чудное сияние нежности и покоя.

Строки 840—872: *два способа писанья* и т. д.

В сущности — три, если вспомнить о наиважнейшем способе: положиться на отблески и отголоски подсознательного мира, на его "немые команды" (строка 871).

Строка 873: *лучший срок*

В то время, как мой дорогой друг начинал этой строкой стопку карточек, которую ему предстояло исписать 20 июля (с семьдесят первой по семьдесят восьмую, последняя строка — 948), Градус всходил в аэропорту "Орли" на борт реактивного самолета, пристегивал ремень, читал газету, возносился, парил, пачкал небеса.

Строки 887—888: *Коль мой биограф будет слишком сух или несведущ*

Слишком сух? Или несведущ? Знал бы мой бедный друг загодя, кто станет его биографом, он обошелся бы без этих оговорок. На самом деле я даже имел удовольствие свидетельствовать (одним мартовским утром) обряд, описанный им в следующих строках. Я собрался в Вашингтон и перед самым отъездом вспомнил, что он просил меня что-то такое выяснить в Библиотеке Конгресса. В моем сознании и посейчас отчетливо звучит неприветливый голос Сибил:

"Но Джон не может принять вас, он сидит в ванне" — и хриплый рев Джона из ванной комнаты: "Да пусть войдет, Сибил, не изнасилует же он меня!" Однако ни я, ни он — не сумели припомнить, что именно мне надлежало узнать.

Строка 894: *король*

В первые месяцы Земблянской революции портреты короля частенько появлялись в Америке. Время от времени какой-нибудь университетский приставала, обладатель настырной памяти, или клубная дама из тех, что вечно привязывались к Шейду и к его чудаковатому другу, спрашивали меня с глуповатой многозначительностью, обыкновенной в подобных случаях, говорил ли мне кто-либо, до чего я похож на несчастного монарха. Я отвечал в том духе, что "все китайцы на одно лицо", и старался переменить разговор. Но вот однажды, в гостиной преподавательского клуба, где я посиживал в кругу коллег, мне довелось испытать особенно стеснительный натиск. Заезжий немецкий лектор из Оксфорда без устали твердил — то в голос, то шепотом, — об "абсолютно неслыханном" сходстве, а когда я небрежно заметил, что все земляне, отпуская бороду, становятся похожи один на другого, — и что, в сущности, название "Зембла" происходит не от испорченного русского слова "земля", а от *Semblerland* — страна отражений или подобий, — мой мучитель сказал: "О да, но король Карл не носил бороды, и все же вы с ним совсем на одно лицо! Я имел честь [добавил он] сидеть в нескольких ярдах от королевской ложи на Спортивном фестивале в Онгаве в пятьдесят шестом году, мы там были с женой, она родом из Швеции. У нас есть дома его фотография, а ее сестра коротко знала мать одного из его пажей, очень интересная была женщина. Да неужели же вы не видите [чуть ли не дергая Шейда за лацкан] поразительного сходства их черт, — верхняя часть лица и глаза, о да, глаза и переносица?"

— Отнюдь, сэр, — сказал Шейд, переложив ногу на ногу и по обыкновению слегка откачнувшись в кресле перед тем, как что-то изречь, — ни малейшего сходства. Сходства —

это лишь тени различий. Различные люди усматривают различные сходства и сходные различия.

Добрейший Неточка, во всю эту беседу хранивший на удивление несчастный вид, тихо заметил, как тягостна мысль, что такой “приятный правитель” скорее всего погиб в заключении.

Тут в разговор ввязался профессор физики. Он был из так называемых “розовых” и веровал во все, во что веруют так называемые “розовые” (в прогрессивное образование, в неподкупность всякого, кто шпионит для русских, в радиоактивные осадки, порождаемые исключительно взрывами, производимыми США, в существование в недавнем прошлом “эры Мак-Карти”, в советские достижения, включая “Доктора Живаго”, и в прочее в том же роде): “Ваши сожаления безосновательны, — сказал он. — Как известно, этот жалкий правитель сбежал, переодевшись монахиней, но какова бы ни была или ни есть его участь, народу Земблы она безразлична. История отвергла его — вот и вся его эпитафия”.

Шейд: “Истинная правда, сэр. В должное время история отвергает всякого. Но мертв король или жив не менее вас и Кинбота, давайте все-таки с уважением относиться к фактам. Я знаю от него [указывая на меня], что широко распространенные бредни насчет монахини — это всего лишь пошлая проэкстремистская байка. Экстремисты и их друзья, чтобы скрыть свой конфуз, выдумывают разный вздор, а истина состоит в том, что король ушел из Дворца, пересек горы и покинул страну не в черном облачении поблекшей старой девы, но, словно атлет, затянутым в алую шерсть”.

— Странно, странно, — пробормотал немецкий гость, благодаря наследственности (предки его обитали в ольховых лесах) один только и уловивший жутковатую нотку, звякнувшую и затихшую.

Шейд (улыбнувшись и потрепав меня по колену): “Короли не умирают, они просто исчезают, — а, Чарли?”

— Кто это сказал? — резко, будто спросонья, спросил невежественный и оттого всегда подозрительный глава английского отделения.

— Да вот хоть меня возьмите, — продолжал мой бесценный друг, игнорируя мистера X., — про меня говорили, что я похож по крайности на четверых: на Сэмюеля Джонсона, на прекрасно восстановленного прародителя человека из Экстонского музея и еще на двух местных жителей, в том числе — на ту немытую и нечесаную каргу, что разливает по плошкам картофельное пюре в кафетерии Левин-холла.

— Третья ведьма, — изящно уточнил я и все рассмеялись.

— Я бы сказал, — заметил мистер Пардон (американская история), — что в ней больше сходства с судьей Гольдсвортом ("Один из нас", — вставил Шейд, кивая), особенно когда он злобится на весь свет после плотного обеда.

— Я слышал, — поспешно начал Неточка, — что Гольдсворты прекрасно проводят время...

— Какая жалость, я ничего не могу доказать, — бормотал настырный немецкий гость. — Вот если бы был портрет. Нет ли тут где-нибудь...

— Наверняка, — сказал молодой Эмеральд, вылезая из кресла.

Тут ко мне обратился профессор Пардон:

— А мне казалось, что вы родились в России и что ваша фамилия — это анаграмма, полученная из Боткин или Бодкин?

Кинбот: "Вы меня путаете с каким-то беглецом из Новой Земблы" (саркастически выделив "Новую").

— Не вы ли говорили, Чарльз, что *kinbote* означает на вашем языке "цареубийца"? — спросил мой дражайший Шейд.

— Да, губитель королей, — ответил я (страстно желая пояснить, что король, утопивший свою подлинную личность в зеркале изгнания, в сущности, и есть цареубийца).

Шейд (обращаясь к немецкому гостю): "Профессор Кинбот — автор замечательной книги о фамилиях. Кажется [ко мне], существует и английский перевод?"

— Оксфорд, пятьдесят шестой, — ответил я.

— Но русский язык вы все-таки знаете? — спросил Пардон. — Я, помнится, слышал на днях, как вы разго-

варивали с этим... как же его... о Господи (старательно складывает губы).

Шейд: "Сэр, мы все испытываем страх, подступаясь к этому имени" (смеется).

Профессор Харлей: "Держите в уме французское название шины — pипоо".

Шейд: "Ну, сэр, боюсь, вы всего лишь *пнули* препятствие" (оглушительно смеется).

— Покрышкин, — скаламбурил я. — Да, — продолжал я, обращаясь к Пардону, — разумеется, я говорю по-русски. Видите ли, этот язык был в ходу par excellence[1], и гораздо более французского, во всяком случае, среди земблянской знати и при Дворе. Теперь, конечно, все изменилось. Теперь именно в низших сословиях силком насаждают русскую речь.

— Но ведь и мы пытаемся преподавать в школах русский язык, — сказал "розовый".

Пока мы беседовали, в дальнем конце комнаты обыскивал книжные полки молодой Эмеральд. Ныне он воротился с томом "T—Z" иллюстрированной энциклопедии.

— Ну-с, — сказал он, — вот вам ваш король. Правда, он тут молодой и красивый. ("Нет, это не годится", — заныл немецкий гость.) Молодой, красивый и в сногсшибательном мундирчике, — продолжал Эмеральд. — Голубая мечта, да и только!

— А вы, — спокойно сказал я, — испорченный щенок в дешевой зеленой куртке.

— Да что я такого сказал? — воззвал к обществу молодой преподаватель, разводя руками совсем как ученик в "Тайной вечери" Леонардо.

— Ну будет, будет, — сказал Шейд. — Я уверен, Чарльз, что наш юный друг вовсе не желал оскорбить вашего государя и тезку.

— Да он и не смог бы, когда бы и пожелал, — безмятежно сказал я, все обращая в шутку.

---

[1] По преимуществу (*фр.*).

Геральд Эмеральд протянул мне руку, — и сейчас, когда я пишу эти строки, она все еще остается протянутой.

Строки 895—900: *Чем я тучней... подбрюдок*

Вместо этих гладких и несколько неприятных стихов в черновике значится:

Что ж, я люблю пародию — ведь тут
Последний остроумия приют:
"Когда Натуру Дух одолевает,
Натура вянет, — Дух околевает".
Да, мой читатель, Поп.

Строка 920: *Так дыбом волоски*

Альфред Хаусман (1859—1936), чей сборник "The Shropshire Lad" спорит с "In Memoriam" Альфреда Теннисона (1809—1892) за право зваться высшим, возможно (о нет, долой малодушное "возможно"), достижением английской поэзии за сотню лет, где-то (в Предисловии?) говорит совершенно противное: в восторге вставшие волоски *ему* бриться только мешают. Впрочем, поскольку оба Альфреда наверняка пользовались опасным лезвием, а Джон Шейд — ветхим "жиллетом", противоречие вызвано, скорее всего, различием в инструментах.

Строка 922: *Наш Крем*

Небольшая неточность. В известном рекламном мультфильме, о котором идет здесь речь, усы подпирает пузырящаяся пена, ничем на крем не похожая.

За этой строкой мы находим в черновике вместо строк 923—930 следующий, слегка затертый вариант:

Любой художник мнит ничтожным век,
В котором он рожден, мой — хуже всех:
Век, мнящий, будто бомбу иль ракету
Лишь немец может сотворить, при этом
Любой осел тачает эту жуть,
Век, в коем селенографа надуть
Способен всякий хват, потешный век,
Где доктор Швейцер — умный человек.

Перечеркнув написанное, поэт опробовал иную тему, но отставил также и нижеследующие строки:

Британия, где ввысь поэт взлетал,
Желает ныне, чтоб Пегас пахал,
Поэт — ишачил. Нынешний пролаза,
Идейный сыч, прозаик пучеглазый,
"Романов социальных" подпевала
Пятнит страницы копотью и салом.

Строка 929: *Фрейд*

Мысленным взором я снова вижу поэта, буквально упавшего на газон, бьющего по траве кулаком, дергаясь и подвывая от хохота, — и себя, доктора Кинбота, — по бороде моей катятся слезы, но я все же пытаюсь внятно зачитывать разные лакомые кусочки из книги, которую я стянул в аудитории: это ученый труд по психоанализу, используемый в американских университетах, повторяю, *используемый в американских университетах.* Увы, в моей записной книжке сохранились лишь две цитаты:

"Заметив, что учащийся ковыряет в носу вопреки любым приказам противуположного толка или просовывает палец в пуговичную петлю... осведомленный в анализе педагог понимает, что аппетиты, которые проявляет в своих фантазиях этот сластолюбивый молодой человек, не знают границ".

(Цитируется проф. Ц. по книге д-ра Оскара Пфистера "Психоаналитический метод", Нью-Йорк, 1917, с. 79)

"Шапка из красного бархата в немецком варианте "сказки о Красной Шапочке" символизирует менструацию."

(Цитируется проф. Ц. по книге Эриха Фромма "Забытый язык", Нью-Йорк, 1951, с. 240)

Неужели эти шуты и впрямь *верят* во все, чему они учат?

Строка 932: *грузовики*

Я, должен признаться, не помню, чтобы мне часто случалось слышать "грузовики", проезжающие мимо наших домов. Шумные легковые машины — да, но не грузовики.

Строка 937: *старинной Земблы*

Сегодня я — комментатор очень усталый и грустный.

На левом краю этой карточки (семьдесят шестой) поэт перед самой смертью записал строку из Второй эпистолы Попова "Опыта о человеке", которую он, вероятно, намеревался процитировать в сноске:

В Гренландии иль в Земблe — Бог весть где...

Так это все, что смог сказать о Земблe — о *моей* Земблe! — вероломный старик Шейд? Сбривая щетину? Странно, странно...

Строки 939—940: *Жизнь человека* и т. д.

Коли я верно понял смысл этого брошенного вскользь замечания, наш поэт полагает, что жизнь человека есть лишь череда сносок к громоздкому, темному, неоконченному шедевру.

Строка 949: *И всякий миг*

Итак, в некоторый миг утра 21 июля — последнего дня его жизни — Джон Шейд начал последнюю свою стопку карточек (семьдесят седьмая — восьмидесятая). Две мертвых зоны времени уже слились, образовав поясное время одной человечьей судьбы, и не исключено, что поэт в Нью-Вае и бандит в Нью-Йорке пробудились тем утром от одного и того же глухого щелчка, с которым начал последний отсчет секундомер их общего Хронометриста.

Строка 949: *и всякий миг*

И всякий миг он близился.

Грозная гроза встретила Градуса в Нью-Йорке в ночь его прибытия из Парижа (понедельник, 20 июля). Тропический ливень затопил тротуары и рельсы подземки. В реках улиц играли калейдоскопические отражения. Сроду не видывал Виноградус такого обилия молний, тоже и Жак д'Аргус — да и Джек Грей, уж коли на то пошло (не забывайте про Джека Грея!). Обосновался он в третьеразрядной гостинице на Бродвее, спал крепко, лежал кверху брюхом прямо *на* одеяле в полосатой пижамной паре, — у земблян

такая зовется *rusker sirsusker* (русский костюм в полоску), — и не стянув по обыкновению носков: с 11 июля, со дня помывки в финской бане в Швейцарии, не доводилось ему повидать своих босых ступней.

Настало июля 21-е. В восемь утра Нью-Йорк поднял Градуса стуком и ревом. Как обычно, мутная его дневная жизнь началась продуванием носа. Потом он извлек из ночной картонной коробочки и установил в пасть, в маску Комуса, набор крупных зверского вида зубов: единственный, в сущности говоря, изъян его во всех остальных отношениях безобидной наружности. Проделав это, он выкопал из портфеля пару бисквитиков, припрятанных про запас, и еще более давний, но по-прежнему довольно съедобный бутерброд из поддельной ветчины — обмяклый, смутно напоминающий о ночном субботнем поезде Ницца—Париж, — тут было не в бережливости дело (Тени снабдили его порядочной суммой), но в животной приверженности привычкам бедственной молодости. Позавтракав в постели всеми этими деликатесами, он начал готовиться к главному дню своей жизни. Он уже брился вчера, с этим, стало быть, кончено. Испытанную пижаму он уложил не в чемодан, а в портфель, оделся, отцепил снутри пиджака камейно-розовый гребешок с разной дрянью, навязшей в зубах, продрал им щетинистые волоса, старательно приладил мягкую шляпу, вымыл обе руки приятным, современным, жидким мылом в приятной, современной, ничем почти не пахнущей уборной на другой стороне коридора, помочился, ополоснул руку и, чувствуя, какой он чистый и опрятный, отправился прогуляться.

Прежде он никогда в Нью-Йорке не бывал, но, как и многие недоумки, полагал себя выше любой новизны. Вчера ночью он уже сосчитал восходящие строки освещенных окон в нескольких небоскребах и теперь, прикинув высоту еще кой-каких сооружений, почувствовал, что узнал все, достойное узнавания. Он выпил чашку кофе, полную до краев, и полное до половины блюдце у толкливой и мокрой стойки и скоротал остаток дымчатого и синего утра, переползая со скамьи на скамью и от газеты к газете в западных аллеях Центрального парка.

Начал он со свежего выпуска "The New York Times". Губы его извивались, словно драчливые черви, пока он вычитывал разные разности. Хрущев внезапно отсрочил визит в Скандинавию и взамен собирался прибыть в Земблу (тут подпеваю я: "Вы себя называете землерами, а я вас — земляками!" Смех и аплодисменты.) Соединенные Штаты вот-вот спустят на воду первое атомное торговое судно (этим только бы рускеров позлить. Дж. Г.). Прошлой ночью в Ньюарке молния ударила в многоквартирный дом, № 555 по Южной улице, расколотила телевизор и покалечила двух человек, смотревших, как тает актриса в яростной студийной грозе (сколь ужасны мучения этих духов! К. К. К. по свидетельству Дж. Ш.). Компания "Драгоценности Рахиль" приглашала агатовым шрифтом шлифовщика драгоценных камней, который "должен иметь опыт работы с декоративной бижутерией" (о, Дегре этот опыт имел!). Братья Хелман сообщали о своем участии в переговорах относительно предоставления значительного кредита (11 млн. долларов) производственной компании "Деккерово стекло" с погашением задолженности 1 июля 1979 года, и Градус, снова помолодев, перечитал это дважды не без задней мысли, возможно, что через 4 дня после этого ему исполнится 64 года (без комментариев). На другой скамье он нашел понедельничный выпуск той же самой газеты. При посещении музея в городе Белоконске (Градус лягнул подошедшего слишком близко голубя) королева Великобритании зашла в угол Зала животных-альбиносов, сняла с правой руки печатку и, повернувшись спиной к нескольким откровенным зевакам, потерла этой рукой лоб и один глаз. В Ираке вспыхнуло прокоммунистическое восстание. Отвечая на вопрос о советской выставке в нью-йоркском "Колизеуме", поэт Карл Сэндберг сказал: "Они апеллируют на высшем интеллектуальном уровне". Присяжный обозреватель новых туристских изданий, обозревая собственное турне по Норвегии, сообщил, что фьорды слишком известны, чтобы стоило (ему) их описывать, и что все скандинавы очень любят цветы. А на пикнике для детишек всех стран одна земблянская малютка вскричала, обращаясь к своей японской подружке: *"Ufgut, ufgut, velkam ut*

Semblerland!" (Прощай, прощай, до встречи в Зембле!) Признаюсь, восхитительная была игра — следить в БВК за суетою различных эфемерид, склоняясь над тенью подбитого ватой плеча.

Жак д'Аргус в двадцатый раз посмотрел на часы. Он выступал, похожий на голубя, сложив за спиною руки. Он навощил свои красноватые туфли и оценил щелчок, с которым натягивал тряпку чумазый, но миловидный мальчишка. В бродвейском ресторане он потребил большую порцию розоватой свинины с кислой капустой, двойной гарнир из жесткого, жаренного "по-французски" картофеля и половинку переспелой дыни. Из моего прокатного облачка я с тихим удивлением созерцаю его: вот она, эта тварь, готовая совершить чудовищный акт — и грубо смакующая грубую пищу! Я полагаю, нам следует предположить, что все воображение, каким он располагал, забегая вперед, как раз на акте-то и вставало, — как раз на грани всех его возможных последствий, последствий призрачных, сравнимых разве с фантомной ступней ампутанта или с веером добавочных клеток, которые шахматный конь (сей пожиратель пространства), стоя на боковой вертикали, "ощущает" в виде призрачного простора за краем доски, ни на действительные его ходы, ни на действительный ход игры отнюдь не влияющего.

Он вернулся и уплатил сумму, равноценную трем тысячам земблянских крон, за короткую, но приятную остановку в отеле "Беверленд". Плененный иллюзией практической предусмотрительности, он оттащил свой фибровый чемодан и — после минутного колебания — дождевой плащ тоже под анонимную охрану железной вокзальной ниши, там, полагаю, лежат они и сейчас так же укромно, как мой самоцветный скипетр, рубиновое ожерелье и усыпанная бриллиантами корона в... впрочем, неважно где. С собой, в зловещее путешествие, он прихватил лишь знакомый нам потасканный черный портфель, содержавший чистую нейлоновую рубашку, грязную пижаму, безопасную бритву, третий бисквитик, пустую картонку, пухлую иллюстрированную газету, с которой он не успел управиться в парке, стеклянный глаз, когда-то сделанный им для своей преста-

релой любовницы, и дюжину синдикалистских брошюр, по нескольку копий каждой, — многие годы тому он отпечатал их своею собственной рукой.

Явиться на регистрацию в аэропорт следовало в 2 часа пополудни. Заказывая накануне ночью билет, он не сумел попасть на более ранний рейс до Нью-Вая из-за какого-то происходившего там съезда. Он порылся в расписании поездов, но расписания, как видно, составлял изрядный затейник: единственный прямой поезд (наши замотанные и задерганные студенты прозвали его "квадратным колесом") отходил в 5.13 утра, томился на остановках по требованию и изводил одиннадцать часов на то, чтобы проехать четыреста миль до Экстона, — можно было попытаться обставить его, отправясь через Вашингтон, да только там пришлось бы самое малое три часа дожидаться заспанного местного состава. Об автобусах Градусу нечего было и думать, его в них всегда укачивало, если он только не оглушал себя таблетками фармамина, но они могли ему сбить прицел, а он, если вдуматься, и так-то не очень твердо стоял на ногах.

Сейчас Градус ближе к нам в пространстве и времени, чем был в предыдущих Песнях. У него короткий ежик черных волос. Мы в состоянии заполнить унылую продолговатость его лица большинством образующих оное элементов, как то: густые брови и бородавка на подбородке. Лицо его облекает румяная, но нездоровая кожа. Мы довольно отчетливо видим устройство его отчасти гипнотических органов зрения. Мы видим понурый нос с кривоватым хребтиком и раздвоенным кончиком. Мы видим минеральную синеву челюсти и пуантиллистический песочек ущербных усов.

Нам знакомы уже его кой-какие ужимки, нам знакомо широкое тело, чуть наклоненное, словно у шимпанзе, и коротковатые задние ноги. Мы довольно наслышаны о его мятом костюме. Наконец, мы можем описать его галстук, пасхальный подарок онгавского шурина, стиляги-мясника: искусственный шелк, цвет шоколадно-бурый при красной полоске, кончик засунут в рубашку между второй и третьей пуговицами (по земблянской моде тридцатых годов) —

символическая замена, как уверяет наука, и отца, и слюнявчика сразу. Отвратительно черные волосы облекают тылы его честных и грубых ладоней, тщательно вычищенных ладоней члена множества профессиональных союзов с заметными искривлениями больших пальцев, столь частыми у мастеров-халявщиков. Мы различаем, как-то вдруг, его потную плоть. Мы различаем также (когда головой вперед, но вполне безопасно пронизываем, словно призраки, его самого и мерцающий винт его самолета, и делегатов, что приветливо машут и улыбаются нам) его фуксиновое и багровое нутро и странное, недоброкачественное волнение, воздымающееся у него в кишках.

Теперь мы можем пойти дальше и описать — доктору или кому иному, кто согласится нас выслушать, — состояние души этого примата. Он умел читать, писать и считать, был наделен крохами самосознания (и не знал, что ему с ними делать), способностью частичного восприятия длительности и хорошей памятью на лица, имена, даты и тому подобное. В духовном отношении он попросту не существовал. В моральном — это был манекен, охотящийся за другим манекеном. То обстоятельство, что оружие было у него настоящее, а дичь его принадлежала к высокоразвитым человеческим существам, — это обстоятельство относится к *нашему* миру, в его мире оно никакого значения не имело. Я готов допустить, что мысль об убийстве "короля" *в определенном смысле* доставляла ему удовольствие, и потому мы должны добавить к перечню его принадлежностей способность образовывать представления — преимущественно общего характера, о чем я уже говорил в ином примечании, которое мне теперь искать недосуг. Возможно (я многое готов допустить), имелось тут и легкое, очень легкое чувственное томление, не большее, я бы сказал, чем испытывает поверхностный гедонист, когда, затаив дыхание, встает он перед увеличительным зеркалом и с убийственной точностью ногтями больших пальцев сдавливает с двух сторон жирную точку, выплескивая без остатка полупрозрачную пробочку черного угря, — и выдыхая облегченное "ах". Градус не стал бы никого убивать, когда бы не находил удовольствия не только в воображаемом деянии

(постольку поскольку он вообще обладал способностью вообразить правдоподобное будущее), но также и в том, что группа людей, разделяющих его представления о справедливости, дает ему важное, ответственное задание (требующее среди прочего, чтобы он стал убийцей), однако он и не взялся бы за эту работу, когда бы не находил в убийстве чего-то схожего с довольно противным упоеньицем угредава.

В прежних моих заметках (я припоминаю теперь, что это были комментарии к строке 171 (1) я рассматривал личные антипатии, а стало быть, и мотивы нашего "механического человека", — так выразился я в то время, когда он не был еще столь телесен и не оскорблял наши чувства в той мере, в какой оскорбляет сейчас, — словом, когда он пребывал в гораздой дали от нашей солнечной, зеленой, пахнущей травами Аркадии. Впрочем, Господь наш толико чудесно учинил человека, что сколько ни рыскай за мотивами, как ни сыпь разумными доводами, а все не объяснишь *как следует*, почему и откуда берется субъект, способный прикончить ближнего (такая аргументация подразумевает, конечно, и я это сознаю, временное наделение Градуса статусом человека), — разве что он защищает жизнь сына своего или собственную или плоды трудов всей своей жизни, — и потому в окончательном решении по делу "Градус против Короны" я предложил бы суду признать, что ежели человеческой неполноценности не довольно для объяснения его идиотского путешествия через Атлантику с единственной целью — разрядить пистолет, следует заключить, доктор, что наш получеловек был к тому же и полупомешан.

В маленьком и неудобном самолете, летевшем прямо на солнце, он оказался затиснутым меж делегатами Нью-Вайского лингвистического конгресса: каждый с именной табличкой на лацкане и все — знатоки одного и того же иноземного языка, на котором, впрочем, говорить ни один из них не умел, почему беседа велась (над головой сгорбленного убийцы и по сторонам его неподвижной физиономии) на простеньком англо-американском диалекте. Во все время этого тяжкого испытания Градус гадал о причине

другого неудобства, на протяженье полета то пронимавшего его, то отпускавшего, — оно было похуже гомона моноглотов. Градус никак не мог решить, к чему его отнести — к свинине, к капусте, к жареному картофелю или к дыне, — ибо, заново перепробовав их одно за одним в спазматических воспоминаниях, он обнаружил, что особенно выбирать между их разными, но равно тошнотворными букетами особенно не приходится. По моему мнению, и я бы хотел, чтобы доктор его подтвердил, всему виной оказался французский бутерброд, затеявший внутриутробную междоусобицу с поджаренным "по-французски" картофелем.

Высадившись в шестом часу в аэропорту Нью-Вая, он выпил два бумажных стаканчика приятно прохладного молока, надоенного из автомата, и купил в справочной карту. Постукивая толстым тупым пальцем по очертаниям кампуса, напоминающим вывороченный желудок, он поинтересовался у клерка, какая гостиница ближе всего к университету. Клерк ответил, что на машине можно доехать до отеля "Кампус", оттуда до Главного Холла (ныне Шейд-Холл) ходу несколько минут. Во время поездки он вдруг ощутил столь настоятельные позывы, что пришлось мчаться в уборную, едва достигнув изрядно заполненного отеля. Там его муки разрешились в жгучих струях поноса. Только успел он застегнуть штаны и ощупать припухлость на ягодице, как тычки и взвизги возобновились, требуя вновь оголить чресла, он это и сделал, и с такой неловкой поспешностью, что маленький браунинг едва не упорхнул в глубины унитаза.

Градус еще стонал и скрежетал зубными протезами, когда он и его портфель вновь осквернили собою солнце. Солнце сияло, рассыпаясь крапом в кронах деревьев, университетский городок пестрел толпою летних студентов и заезжих языковедов, и Градус легко мог сойти среди них за разъездного торговца букварями "бейсик-инглиша" для американских школьников или теми дивными машинками-переводчицами, что справляются с этим делом гораздо проворнее человека или животного.

В Главном Холле его ждало большое разочарование: Холл был нынче закрыт. Троица валявшихся на травке сту-

дентов присоветовала сунуться в библиотеку, и все трое указали на нее через лужайку. Туда и поплелся наш душегуб.

— Я не знаю, где он живет, — сказала девушка-регистраторша, — зато знаю, где он сейчас. Вы наверняка его встретите в северо-западном зале, в третьем номере, у нас там исландская коллекция. Значит, ступайте на юг (взмахивая карандашом), потом свернете на запад и еще на запад, там будет что-то вроде... (карандаш описал вихлявую окружность, — круглый стол? или круглый книжный стеллаж?) — Нет, постойте, лучше держите все время на запад, пока не уткнетесь в зал Флоренс Хаутон, а там перейдите в северное крыло. Тут уж не промахнетесь (и карандаш возвратился за ухо).

Не будучи ни моряком, ни беглым монархом, он немедленно заблудился и после тщетных скитаний по лабиринту стеллажей спросил об исландской коллекции у суровой на вид библиотекарши, перебиравшей карточки в стальном шкапу на лестничной площадке. Ее неспешные и дотошные указания быстро привели его обратно в регистратуру.

— Пожалуйста, я никак не найду, — сказал он, тяжело мотая головой.

— А вы разве... — начала девушка и вдруг ткнула вверх. — Да вот же он!

По открытой галерее над залом, вдоль короткой ее стороны, быстрым солдатским шагом двигался справа налево высокий бородатый мужчина. Он скрылся за книжным шкапом, но Градус уже узнал огромное сильное тело, прямую осанку, высокую переносицу и энергическую отмашку Карла-Ксаверия Возлюбленного.

Наш преследователь рванул по ближайшей лестнице — и тут же попал в заколдованную тишь хранилища редких книг. Прекрасная комната — и без дверей, — несколько минут прошло, пока он нашел задрапированный вход, которым только что воспользовался. Замороченный этой ужасной помехой и новой нестерпимой коликой в животе, Градус метнулся назад, пробежал три ступеньки вниз, девять вверх и влетел в круглую залу, где сидел за круглым столом и с иронической миной читал русскую книгу

загорелый лысый профессор в гавайской рубашке. Он не обратил на Градуса никакого внимания, а тот проскочил комнату, перескочил, не разбудив, жирную белую собачонку и оказался в хранилище "Р". Тут залитый светом и белизной коридор с множеством труб по стенам привел его в неожиданный рай ватерклозета для водопроводчиков и заблудших ученых, и Градус, скверно ругаясь, переместил второпях пистолет из ненадежного привесного кармана штанов в карман пиджака и опростал нутро от новой порции жидкого ада. Опять он вскарабкался вверх и в храмовом свете стеллажей увидел здешнего служку, хрупкого юношу-индуса с бланком запроса в руке. Я никогда с этим юношей не заговаривал, но не раз ощущал на себе его иссиня-карий взор, и разумеется, мой академический псевдоним ему был известен, но какая-то чувствительная клеточка в нем, некая хорда интуиции отозвалась на резкость заданного убийцей вопроса и, словно бы защищая меня от неясной опасности, он улыбнулся и сказал:

— Я такого не знаю, сударь.

Градус вернулся в регистратуру.

— Ну надо же, — сказала девушка, — я только что видела, как он уходил.

— Боже мой, Боже мой, — выдавил Градус, в горестные минуты испускавший иногда русские восклицания.

— Да вы посмотрите в справочнике, — сказала она, подпихнув к нему книгу и сразу забыв о существовании горемыки ради нужд мистера Геральда Эмеральда, бравшего пухлый бестселлер в целлофановой суперобложке.

Стеная и перебирая ногами, Градус листал университетский справочник, однако, когда он выискал адрес, возникла новая загвоздка — как по нему попасть?

— Далвич-роуд, — крикнул он девушке. — Близко? Далеко? Наверное, очень далеко?

— Вы, случаем, не новый ассистент профессора Пнина? — спросил Эмеральд.

— Нет, — сказала девушка. — Он, по-моему, ищет доктора Кинбота. Вы ведь доктора Кинбота ищете, верно?

— Да, и больше не могу, — сказал Градус.

— Я так и думала, — сказала девушка. — Он не около мистера Шейда живет, а, Герри?

— Именно, именно, — ответил Герри и повернулся к убийце. — Я вас могу подвезти, если хотите. Мне по пути.

Говорили ль они дорогой, эти два персонажа, человек в зеленом и человек в коричневом? Кто может сказать? Они не сказали. В конце концов, поездка заняла лишь несколько минут (я за рулем моего мощного "Кремлера", укладывался в четыре с половиной).

— Вот тут я вас, пожалуй, и высажу, — сказал мистер Эмеральд. — Вон тот дом наверху.

Трудно решить, чего в эту минуту Градусу, он же Грей, хотелось сильнее: расстрелять всю обойму или избавиться от неисчерпаемой лавы в кишках. Когда он закопошился в запоре, небрезгливый Эмеральд потянулся, близко к нему, поперек, почти прижимаясь, чтобы помочь отворить дверцу, — а затем, захлопнув ее, со свистом умчался на какое-то свидание в долине. Читатель, надеюсь, оценит мельчайшие частности, мною представленные, ради них мне пришлось вести с убийцей долгие разговоры. Он оценит их даже сильнее, если я сообщу ему, что согласно легенде, впоследствии распространенной полицией, Джека Грея привез сюда чуть ли не из Руанока или еще откуда некий истомленный одиночеством водитель грузовика! Остается только надеяться, что непредвзятые розыски позволят найти фетровую шляпу, забытую им в библиотеке — или в машине мистера Эмеральда!

Строка 958: "Ночной прибой"

Я вспоминаю одно небольшое стихотворение из "Ночного прибоя" ("Night Rote" означает, собственно, "звуки ночного моря"), которое познакомило меня с американским поэтом по имени Джон Шейд. Молодой преподаватель американской литературы, блестящий и очаровательный юноша из Бостона, показал мне этот прелестный тоненький томик в Онгаве, в пору моего студенчества. Это стихотворение, "Искусство", открывают приведенные ниже строки, оно порадовало меня западающим в память ритмом, но

огорчило несоответствием религиозным чувствам, внушенным мне нашей весьма "высокой" земблянской Церковью:

От мамонтов и Одиссеев,
От ворожбы и тьмы
К веселым итальянским феям
С фламандскими детьми.

Строка 962: Ну, Вилли! "Бледный пламень"

В расшифрованном виде это, надо полагать, означает: А поищу-ка я у Шекспира что-либо годное для заглавия. И отыскивается "бледное пламя". Но в каком же творении Барда подобрал наш поэт эти слова? В этом читателю придется разбираться самому. Все, чем я ныне располагаю, — это крохотное карманное (карман жилетный) издание "Тимона Афинского", да к тому же в земблянском переводе! Оно положительно не содержит ничего похожего на "бледное пламя" (иначе моя удача была бы статистическим монстром).

До эпохи мистера Кэмпбелла английский язык в Зембле не преподавался. Конмаль овладел им совершенно самостоятельно (в основном — заучивая словарь наизусть) совсем еще молодым человеком, в 1880 году, когда перед ним, казалось, открывалась не преисподняя словесности, но мирная военная карьера. Первый свой труд (перевод Шекспировых "Сонетов") он предпринял на пари с однополчанином. Затем он сменил аксельбанты на ученую мантию и принялся за "Бурю". Работал он медленно, полстолетия ушло на перевод всех сочинений того, кого он называл "дзе Барт". Вслед за тем, в 1930 году, он перешел к Мильтону и прочим поэтам, церемонно маршируя сквозь века, и только успел завершить перевод Киплинговых "Стихов о трех котиколовах" ("Таков уж закон Московитов, что сталью стоит и свинцом"), как сделался болен и вскоре угас под великолепной росписью спальных плафонов, воспроизводящей животных Альтамиры, — последние слова его последнего бреда были такими: "Comment dit-on 'mourir' en anglais?"[1] — прекрасный и трогательный конец.

[1] Как сказать "умри" по-английски? (*фр.*)

Легко глумиться над огрехами Конмаля. Это наивные промахи великого первооткрывателя. Слишком много времени проводил он в библиотеке и слишком мало средь отроков и юношей. Писателям следует видеть мир, срывать его фиги и персики, а не сидеть, размышляя, в башне из желтой слоновой кости, — что, к слову, было также и ошибкой Джона Шейда.

Не следует забывать, что Конмаль приступил к выполнению своей ошеломительной задачи в ту пору, когда земблянам не был доступен ни единый английский автор, за вычетом Джейн де Фоун, десятитомной романистки, чьи творения, как ни странно, в Англии неизвестны, да Байрона в нескольких отрывках, переведенных с французского.

Мужчина крупный, неповоротливый и напрочь лишенный страстей, помимо страсти к поэзии, он редко покидал свой хорошо протопленный замок с пятьюдесятью тысячами коронованных книг, — известно, что однажды он два года провалялся в постели: читал, писал, а после, хорошо отдохнувший, навестил Лондон в первый и единственный раз, но погода там стояла туманная, языка он понять не сумел и потому еще на год вернулся в постель.

Английский язык так и оставался исключительной привилегией Конмаля, а его "Шакспер" пребывал неуязвимым в большую часть его долгой жизни. Маститый Дюк славился благородством своих творений, и мало кто набирался духу осведомиться об их точности. Я сам так и не осмелился их проверить. Один бессердечный член Академии, решившийся на это, в итоге лишился места, да еще получил от Конмаля жестокий нагоняй в виде удивительного сонета, написанного прямо на красочном, пусть и не совсем верном английском; этот сонет начинался так:

Нет, критик, я не раб! Пусть сам ты раб.
А мне нельзя. Шекспир не разрешает.
Пусть копиист аканты малевает, —
Мы с Мастером распишем архитрав.

Строка 991: Подковы

Ни Шейд, ни я так и не сумели установить, откуда именно долетали к нам эти звенящие звуки, — какое из

пяти семейств, обитавших за дорогой на нижних уступах нашего лесистого холма, через вечер на другой развлекалось метанием подков, — но томительный лязг и бряцание вносили приятно меланхолическую ноту в вечернее звучание Далвичского холма — в переголосицу ребятишек, в зазывные клики родителей, в упоенный лай приветствующего хозяина боксера, которого соседи в большинстве недолюбливали (он переворачивал мусорные бачки).

Именно это месиво металлических мелодий и окружило меня в тот роковой, чересчур лучезарный вечер 21 июля, когда, с ревом примчавшись в моей мощной машине из библиотеки, я сразу пошел взглянуть, что поделывает мой милый сосед. Я только что встретил Сибил, катившую в город, и оттого питал кое-какие надежды на вечер. Право же, я очень напоминал запостившегося, опасливого любовника, пользующегося тем, что молодой муж остался дома один!

Сквозь деревья я различил белую рубаху и седую гриву Джона: он сидел у себя в "гнезде" (как сам его называл), на обвитом зеленью крыльце, или веранде, описанной мной в примечаниях к строкам 47—48. Я не удержался и подобрался поближе — о, легонько, почти на цыпочках, но тут разглядел, что он не пишет, а отдыхает, пожалуй, и уже не таясь, взошел на крыльцо. Локоть Джона упирался в стол, кулак подпирал висок, морщины разъехались вкривь и вкось, глаза туманные, влажные, — на вид совершенная ведьма в подпитии. В знак приветствия он приподнял свободную руку, не переменяя позы, которая хоть и не была для меня непривычна, на этот раз поразила скорее сиротливостью, чем задумчивостью.

— Ну-с, — сказал я, — благосклонна ль к вам нынче муза?

— Весьма благосклонна, — ответил он, слабо кивая поникшей на руку головой. — Замечательно благосклонна и ласкова. В сущности, вот здесь у меня (указывая на большой брюхатый конверт, лежавший рядышком на клеенке) почти готовый продукт. Осталось уладить кое-какие мелочи и (внезапно ахнув кулаком по столу), видит Бог, я это сделал.

Конверт, незапертый с одного конца, топорщился от натисканных карточек.

— А где же миссус? — спросил я (высохшими губами).

— Помогите мне, Чарли, вылезти отсюда, — попросил он, — нога совсем онемела. Сибил обедает в клубе.

— Имею предложение, — сказал я, затрепетав. — У меня есть дома полгаллона токайского. Готов разделить любимое вино с любимым поэтом. Давайте похрустим на обед грецкими орехами, съедим гроздь бананов и парочку крупных томатов. А если вы согласитесь показать мне ваш "готовый продукт", я вас попотчую чем-то еще: я вам открою, *для чего* я вам подсказал или, вернее, *кто* подсказал вам тему вашей поэмы.

— Какую тему? — рассеянно спросил Шейд, припадая к моей руке и постепенно обретая подвижность онемелого члена.

— Я говорю о нашей синей, вечно облачной Зембле, о красной шапочке Стейнманна, о моторной лодке в приморской пещере и...

— А, — сказал Шейд. — По-моему, я довольно давно уже разгадал ваш секрет. Что не помешает мне с наслаждением пить ваше вино. Ну хорошо, теперь я управлюсь и сам.

Я отлично знал, что ему нипочем не устоять перед золотистой каплей того-этого, особливо с тех пор, как в доме Шейдов установились суровые ограничения. Внутренне подскакивая от восторга, я перенял конверт, мешавший ему спускаться со ступенек крыльца, — боком, как боязливый ребенок. Мы перешли лужок, мы перешли проулок. Трень-брень, играли подковы в Тайном Жилье. Я нес крупный конверт и ощупывал жесткие уголки стянутых круглой резинкой карточных стопочек. Сколь несуразно привычно для нас волшебство, в силу которого несколько писаных знаков вмещают бессмертные вымыслы, замысловатые похожденья ума, новые миры, населенные живыми людьми, беседующими, плачущими, смеющимися. Мы с таким простодушием принимаем это диво за должное, что в каком-то смысле самый акт животно привычного восприятия отменяет вековые труды, историю постепенного совершенство-

вания поэтического описания и построения, идущую от древесного человека к Браунингу, от пещерного — к Китсу. Что как в один прекрасный день мы, мы все, проснемся и обнаружим, что вовсе не умеем читать? Мне бы хотелось, чтобы у вас захватывало дух не только от того, *что* вы читаете, но и от самого чуда чтения (так обыкновенно говорил я студентам). Сам я, немало поплававший в синей магии, хоть и способен изобразить какую угодно прозу (но не поэзию, как ни странно, — рифмач из меня убогий), не отношу себя к истинным художникам, впрочем, с одной оговоркой: я обладаю способностью, присущей одним только истинным художникам: случайно наткнувшись на забытую бабочку откровения, вдруг воспарить над обыденным и увидеть ткань этого мира, ее уток и основу. Набожно взвесил я на ладони то, что нес теперь слева под мышкой, минутами ощущая немалое изумление, как если б услышал, что светляки передают сигналы от имени потерпевших крушение призраков, и эти сигналы можно расшифровать, или что летучая мышь пишет разборчивым почерком в обожженном и ободранном небе повесть об ужасных мучениях.

Я держал, прижимая к сердцу, всю мою Земблу.

Строки 992—995: *темная ванесса* и т. д.

За минуту до смерти поэта, когда мы переходили из его владений в мои, продираясь сквозь бересклет и декоративные заросли, словно цветное пламя, взвился и головокружительно понесся вкруг нас “красный адмирал” (смотри примечание к строке 270). Мы уже видели прежде раз или два этот же экземпляр в то же время, на том же месте, — там низкое солнце открыло в листве проход и заливало последним светом бурый песок, когда вечерние тени уже покрывали всю остальную дорожку. Глаз не поспевал за стремительной бабочкой, она вспыхивала, исчезала и вспыхивала опять в солнечных лучах, почти пугая нас видимостью разумной игры, наконец разрешившейся тем, что она опустилась на рукав моего довольного друга. Затем она снялась, и через миг мы увидели, как она резвится в зарослях лавра, в упоенье легкомысленной спешки, там и сям

опадая на лоснящийся лист и съезжая его ложбинкой, будто мальчишка по перилам в день своего рождения. Вскоре прилив теней добрался до лавров, и чудесное, бархатисто-пламенное создание растаяло в нем.

Строки 998—999: *садовник (тут он где-то рядом работает)*

Где-то рядом! Множество раз поэт встречал моего садовника, и эту уклончивость я могу отнести лишь к желанию (вообще заметному повсеместно в его обхождении с именами и проч.) придать некую поэтическую патину, налет удаленности, знакомым предметам и лицам, — хоть и может статься, что в неровном свете он принял садовника за чужака, работающего на чужака. Этого дельного садовода я отыскал случайно в один пустой весенний день, когда тащился домой после сумбурного и неуютного приключения в крытом университетском бассейне. Он стоял наверху зеленой лестницы, прислоненной к больной ветви благодарного дерева в одной из славнейших аллей Аппалачия. Красная фланелевая рубаха лежала в траве. Мы разговорились, немного смущаясь, он наверху, я внизу. Меня приятно удивило, что он способен сказать, откуда взялся каждый из его пациентов. Стояла весна, мы были одни в прелестной колоннаде деревьев, из конца в конец профотографированной английскими посетителями. Я могу перечислить здесь лишь некоторые из деревьев: гордый дуб Юпитера и еще два — британский, как грозовая туча, и узловатый средиземноморский; заслон ненастья (липа, line, а ныне — lime); трон феникса (а ныне — финиковая пальма); сосна и кедр (Cedrus), оба островные; венецианский белый клен (Acer); две ивы — зеленая, тоже из Венеции, и седолистая из Дании; вяз летний, чьи корявые персты плющ кольцами обвил; и летняя смоква, чья тень зовет помедлить; и грустный кипарис шута из Иллирии.

Два года он проработал санитаром в больнице для негров в Мэриленде. Нуждался. Хотел бы изучать садоводство, ботанику и французский язык ("чтобы в подлинниках читать Бодлера и Дюма"). Я пообещал ему денежную поддержку. На следующий день он начал работать у меня. Он

оказался ужасно милым и трогательным и все такое, но немножко слишком болтливым и совершеннейшим импотентом, а это меня всегда расхолаживало. Вообще же малый он был крепкий и рослый, и я испытывал большое эстетическое наслаждение, наблюдая, как он весело управляется с почвой и с дерном или нежно обхаживает луковицы тюльпанов, или выкладывает плиткой дорожки, которые, быть может, — а быть может и нет, — приятно удивят моего домохозяина, когда тот вернется из Англии (где за ним, надеюсь, не гоняются кровожадные маниаки!). Как я томился желанием уговорить его, — садовника, а не домохозяина, — носить громадный тюрбан, и шальвары, и браслет на лодыжке. Уж верно, я бы заставил его нарядиться в согласии с давними романтическими представлениями о мавританском принце, будь я северным королем — или, правильнее, будь я по-прежнему северным королем (изгнание переходит в дурную привычку). Ты укоришь меня, мой скромник, за то, что я так много пишу о тебе в этой заметке, но я почитаю себя обязанным уплатить тебе эту дань. В конце концов, ты спас мне жизнь. Ты да я, мы были последними, кто видел Джона Шейда живым, и ты признался потом в странном предчувствии, заставившем тебя прервать работу, когда из кустов ты увидел, как мы идем к крыльцу, на котором стоял — (Из суеверия я не могу записать странное, нечистое слово, к которому ты прибегнул.)

Строка 1000 [= *Строке 1: Я тень, я свиристель, убитый влет*]

Сквозь тонкую ткань бумажной рубашки Джона различались сзади розоватые пятна там, где она прилегала к коже над и вокруг ошейка смешной одежки, которую он надевал под рубашку, как всякий порядочный американец. С какой мучительной ясностью я вижу, как перекатывается одно тучное плечо, как приподымается другое, вижу седую копну волос, складчатый затылок, красный в горошек платок, вяло свисающий из одного кармана, припухлость бумажника в другом, широкий бесформенный зад, травяное пятно на седалище старых защитного цвета штанов, истертые задники мокасин, слышу приятный рокоток, когда он

оглядывается и, не останавливаясь, произносит что-нибудь вроде: “Вы смотрите там, ничего не рассыпьте, — не фантики все-таки” или [наморщась]: “Придется опять писать Бобу Уэльсу [наш мэр] про эти чертовы ночные грузовики по вторникам”.

Мы уже добрались до Гольдсвортовой части проулка и до мощеной плиточной дорожки, что ползла вдоль бокового газона к гравийному подъездному пути, поднимавшемуся от Далвичского тракта к парадной двери Гольдсвортов, как вдруг Шейд заметил: “А у вас гость”.

На крыльце боком к нам стоял приземистый, плотный, темно-волосатый мужчина в коричневом костюме, придерживая за глупую хватку мятый и тертый портфель и еще указуя скрюченным пальцем на только что отпущенную кнопку звонка.

— Убью, — пробормотал я. Недавно какая-то девица в чепце всучила мне кипу религиозных брошюр, пообещав, что ее брат, которого я невесть почему вообразил себе хрупким и нервным юношей, заглянет, чтобы обсудить со мной Промысел Божий и разъяснить все, чего я не пойму из брошюр. Ничего себе юноша!

— Ну я же его убью, — шепотом повторил я, так несносна была мне мысль, что упоенье поэмой может отсрочиться. В бешенстве, поспешая избыть докучного гостя, я обогнул Шейда, шагавшего до того впереди меня, и возглавил шествие к двойному наслаждению столом и стилем.

Видел ли я когда-либо Градуса? Дайте подумать. Видел? Память мотает головой. И все же убийца уверял меня после, что однажды я, озирая из башни дворцовый сад, помахал ему, когда он с одним из бывших моих пажей, юношей, чьи волосы походили на мягкую стружку, тащил из теплицы к телеге стекленую раму; да и теперь, едва визитер поворотился к нам и оцепенил нас близко сидящими глазами печальной змеи, я ощутил такой трепет узнавания, что, спи я в ту минуту, — непременно бы пробудился со стоном.

Первая пуля отхватила пуговицу с рукава моего черного блайзера, вторая пропела над ухом. Уверения, что целил он не в меня (только что виденного в библиотеке, — будем

последовательны, господа, как-никак мы живем в рациональном мире), не в меня, а в седого взлохмаченного господина у меня за спиной, — это попросту злобный вздор. Ну конечно же он целил в меня, да только все время промахивался, неисправимый мазила, я же непроизвольно отшатнулся, взревел и растопырил большие сильные руки (левая еще сжимала поэму, "еще прильнув к ненарушимой тени", если процитировать Мэтью Арнольда, 1822—1888), силясь остановить безумца и заслонить Джона, в которого, как я опасался, он может совершенно случайно попасть, а Джон, милый, неловкий, старый Джон, цеплялся за меня и тянул назад, под защиту своих лавров, с озабоченной суетливостью горемычного мальчика-хромоножки, что пытается вытащить припадочного братика из-под града камней, коими осыпают их школьники, — зрелище, некогда обыкновенное во всякой стране. Я ощутил — и сейчас еще ощущаю, — как рука Джона закопошилась в моей, нашаривая кончики пальцев, и отыскала их лишь для того, чтобы сразу же выпустить, как будто в возвышенной эстафете вручила мне палочку жизни.

Одна из пуль, миновавших меня, ударила Джона в бок и прошла через сердце. Внезапно лишась его присутствия сзади, я потерял равновесие, одновременно, для завершения фарса фортуны, из-за живой изгороди ужасным ударом рухнула на макушку Джека-стрелка лопата садовника, и Джек повалился, а оружие его отлетело в сторону. Наш спаситель подобрал пистолет и помог мне подняться. Жутко болел копчик и правая рука, но поэма была спасена. Вот только Джон лежал ничком на земле с красным пятном на белой рубашке. Я еще надеялся, что он не убит. Умалишенный сидел на крыльце, обморочно облапив кровоточащую голову окровавленными руками. Оставив садовника приглядеть за ним, я помчался в дом и спрятал бесценный конверт под грудой девичьих калошек, ботиков на меху и резиновых белых сапог, сваленных на пол стенного шкапа, — я вышел из шкапа, как если бы в нем кончался подземный ход, по которому я проделал весь путь из моего заколдованного замка, из Земблы в Аркадию. Потом я набрал 11111 и со стаканом воды вернулся на место кровавой бойни.

Бедный поэт лежал уже на спине, уставя мертвые очи в вечернюю солнечную лазурь. Вооруженный садовник и увечный убивец рядком покуривали на крылечке. Последний, то ли оттого, что страдал от боли, то ли решившись играть новую роль, не обращал на меня никакого внимания, словно бы я был не я, а гранитный король на гранитном коне с Тессерской площади в Онгаве; но поэма была цела.

Садовник поднял стакан, поставленный мною сбоку от крыльца, рядом с цветочным горшком, и поделился водой с душегубом, и проводил его до уборной в подвале, и появилась полиция и карета, и бандюга сказал, что зовут его Джеком Греем, без определенного места жительства, не считая Клиники для убийц и сумасшедших извергов, "куси", хорошая собачка, в которой его давно уже следовало прописать постоянно и из которой, по мнению полиции, он только что удрал.

— Ну пошли, Джек, надо тебе залепить чем-нибудь голову, — сказал спокойный, но решительный полицейский, перешагивая через тело, и тут наступила жуткая минута, потому что подъехала дочь доктора Саттона, а с нею Сибил Шейд.

В ту суматошную ночь я, улучив минуту, перетащил поэму из-под ботиков четверки Гольдсвортовых нимфеток под простую охрану моего черного чемодана, но лишь когда забрезжил день, я счел осмотр моего сокровища достаточно безопасным.

Мы знаем, как глубоко, как глупо я веровал, что Шейд сочиняет не просто поэму, но своего рода романсеро о Земблянском Короле. Мы приготовлены к ожидающему меня разочарованию. О нет, я не думал, что он посвятит себя *полностью* этой теме. Разумеется, он мог сочетать ее с какими-то сведениями из собственной жизни, с разрозненной американой, — но я был уверен, что в поэму войдут удивительные события, которые я ему описал, оживленные мной персонажи и вся неповторимая *атмосфера* моего королевства. Я и название ему предложил хорошее — название скрытой во мне книги, которой страницы ему оставалось разрезать: "Solus Rex", — а вместо него увидел

"Бледное пламя", ни о чем мне не говорящее. Я начал читать. Я читал все быстрей и быстрей. Я с рычанием пронесся через поэму, как пробегает разъяренный наследник завещание старого плута. Куда подевались зубчатые стены моего закатного замка? Где Прекрасная Зембла? Где хребты ее гор? Где долгая дрожь в тумане? А мои миловидные мальчики в цвету, а радуга витражей, а Паладины Черной Розы и вся моя дивная повесть? Ничего этого не было! Вся многосложная лепта, которую я приносил ему с упорством гипнотизера и неутомимостью любовника, просто исчезла. О, как выразить мне мою муку! Взамен чудесной, буйной романтики — что получил я? Автобиографическое, отчетливо аппалаческое, довольно старомодное повествование в новопоповском просодическом стиле, — написанное, конечно, прекрасно, Шейд и не мог написать иначе, — но лишенное всей моей магии, той особенной складки волшебного безумия, которое, как верилось мне, пронижет поэму, позволив ей пережить свое время.

Постепенно всегдашнее самообладание возвращалось ко мне. Я с пущим тщанием перечел "Бледное пламя". Я ожидал теперь меньшего, и поэма мне понравилась больше. И что это? Откуда взялась эта далекая, смутная музыка, это роение красок в воздухе? Там и сям находил я в поэме и особенно, особенно в бесценных вариантах, блестки и отголоски моего духа, длинную струйную зыбь — след моей славы. Теперь я испытывал к поэме новую, щемящую нежность, словно к юному и ветреному созданию, что было похищено черным гигантом ради животного наслаждения, но ныне вернулось под защиту нашего крова и парка, и пересвистывается с конюшенными юношами, и плавает с прирученным тюленем. Еще болит уязвленное место, ему и должно болеть, но со странной признательностью мы целуем эти тяжкие влажные вежды и нежим оскверненную плоть.

Мой комментарий к поэме, пребывающий ныне в руках читателя, представляет собой попытку отделить эти отзвуки, эти отблески пламени, эти фосфоресцирующие улики — все обилие подсознательных заимствований Шейда. Некоторые мои заметки, возможно, отзываются горечью, — но

я приложил все старания, чтобы не выставить напоказ никаких обид. И в этой последней схолии я не намерен пенять на пошлые и жестокие домыслы, кои позволили себе обнародовать профессиональные репортеры и Шейдовы "друзья", извратившие в состряпанных ими некрологах обстоятельства его гибели. Их отзывы обо мне я расцениваю как смесь журналистской заскорузлости и гадючьего яда. Не сомневаюсь, что многие утверждения, сделанные в этом труде, виновная сторона отвергнет при самом его выходе в свет. Миссис Шейд не упомнит, чтобы муж, который "все ей показывал", знакомил ее с тем или иным драгоценным вариантом. Трое студентов, так и валяющихся в траве, впадут в совершенную амнезию. Библиотечная девушка не вспомнит (да ей и прикажут не вспомнить), чтобы в день убийства кто-либо спрашивал доктора Кинбота. И я более чем уверен, что мистер Эмеральд ненадолго прервет изучение упругих прелестей некоторой грудастой студентки, дабы с пылом вожделеющей плоти отрицать, что он вообще кого-либо подвозил в тот вечер к моему дому. Иными словами, будет сделано все, чтобы напрочь устранить меня из жизни моего доброго друга.

И тем не менее я хотя бы отчасти сквитался с ними: замешательство публики косвенным образом помогло мне получить права на издание "Бледного пламени". Мой достойный садовник, с увлечением рассказывая кому ни попадя о том, чему был свидетелем, определенно кое в чем ошибался, — не столько, быть может, в преувеличенном описании проявленного мной "героизма", сколько в предположении, что так называемый "Джек Грей" умышленно целился в Джона Шейда; однако мысль обо мне, "бросившемся" между стрелком и мишенью, так растрогала вдову Шейда, что в минуту, которой я никогда не забуду, она, лаская мне руки, вскричала: "Существуют поступки, которым не может быть достаточного воздаяния ни в этом мире, ни в следующем". "Следующий мир" вечно тут как тут, когда несчастье выпадает на долю безбожника, но я, натурально, пропустил его мимо ушей, я вообще решил ничего не оспаривать, а вместо того сказал: "Ах, Сибил, дорогая, но именно в этом случае воздаянье возможно.

Быть может, просьба моя представится вам черезмерно скромной, но — дозвольте мне, Сибил, отредактировать и издать последнюю поэму Джона". Дозволение я получил сразу, с новыми вскриками и объятьями, и уже назавтра ее подпись стояла под соглашением, составленным для меня мелким, но шустрым законоведом. Вы, моя милая, скоро забыли ту минуту горькой признательности. Но уверяю вас, я не имел в виду ничего дурного, и может быть, Джона Шейда не так уж и покоробили бы эти мои заметки, вопреки всяким козням и грязи.

Вследствие этих козней я столкнулся с кошмарными трудностями в моих попытках заставить публику беспристрастно увидеть — без того, чтобы она сразу же завопила и ошикала меня, — истинную трагедию: трагедию, которой я был не случайным "свидетелем", но протагонистом и главной, пусть и несбывшейся жертвой. В конце концов поднявшийся гвалт принудил меня изменить ход моей новой жизни и перебраться в эту скромную горную хижину, но я еще успел добиться, сразу после ареста, одного, а там и двух свиданий с острожником. Теперь он был куда более внятен, чем в тот раз, что сидел, скрючась и орошая кровью ступеньки моего крыльца, и рассказал мне все, что я хотел узнать. Убедив его, что смогу помочь во время суда, я добился от него признания в омерзительном преступлении — в том, что он обманывал нацию и полицию, выдавая себя за Джека Грея, сбежавшего из сумасшедшего дома и принявшего Шейда за человека, который его в этот дом упрятал. Несколько дней спустя, он, увы, воспрепятствовал отправлению правосудия, рассадив себе горло безопасным бритвенным лезвием, которое выкрал из плохо охраняемого мусорного ведра. Он умер по большей части не оттого, что, сыграв свою роль в нашей истории, не видел проку в дальнейшем существовании, но оттого, что не смог пережить своего последнего, коронного промаха — убийства вовсе не нужного ему человека, в то время как нужный стоял прямо перед ним. Иными словами, его жизнь завершилась не хлипким лопотанием заводной машинки, но человекоподобным жестом отчаянья. И довольно о нем. Джек Грей уходит.

Я не могу без содрагания вспоминать о скорбной неделе, проведенной мною в Нью-Вае перед тем, как оставить его, — надеюсь, навсегда. Я жил в постоянном страхе грабителей, которые придут отнять у меня мою хрупкую драгоценность. Иной читатель посмеется, узнав, что я, суетясь, перенес ее из черного чемодана в пустой стальной сейф в кабинете хозяина, а немного часов спустя опять достал манускрипт и несколько дней, так сказать, надевал его на себя, распределив девяносто две справочные карточки по своей особе, — двадцать в правый карман пиджака, столько же в левый, стопку из сорока пристроив у правого соска, а двенадцать бесценных, с вариантами, опустив в сокровеннейший левый грудной карман. Вот когда благословил я мою царственную звезду, обучившую меня дамскому рукоделию, ибо теперь я зашил все четыре кармана. Так и кружил я опасливой поступью между обманутых врагов, в поэтической облицовке, в доспехах рифм, потучневший от песен, пропетых другим, весь тугой от картона, наконец-то неуязвимый для пуль.

Многие годы тому, — сколь многие, я открывать не намерен, — моя земблянская нянюшка, помню, сказала мне, шестилетнему человечку, изнуренному взрослой бессонницей: "*Minnamin, Gut mag alkan, Pern dirstan*" ("Душка моя, Бог сотворил голодных, а Дьявол жаждущих"). Ну так вот, парни, я думаю, тут, в этом нарядном зале, хватает таких же голодных, как я, да и во рту у нас уже у всех пересохло, так что я, парни, на этом, пожалуй, и закруглюсь.

Да, лучше закруглиться на этом. Мои заметки, как и сам я, иссякли. Господа, я очень много страдал, гораздо больше, чем любой из вас в состоянье представить. Я молюсь о ниспослании благословения Божия несчастным моим соотечественникам. Мой труд завершен. Поэт мой умер.

— А вы, как же *вы* распорядитесь собою, несчастный король, несчастный Кинбот? — быть может, спросит юный участливый голос.

Господь, я верю, поможет мне избавиться от соблазна последовать примеру двух других персонажей этого труда. Я еще поживу. Я, может статься, приму иные образы и

обличья, но я еще поживу. Я могу еще объявиться в каком-нибудь кампусе в виде пожилого, счастливого, крепкого, гетеросексуального русского писателя в изгнании — без славы, без будущего, без читателей, без ничего вообще, кроме его искусства. Я могу соединиться с Одоном и отснять новую фильму: "Бегство из Земблы" (бал во Дворце, бомба на дворцовой площади). Я могу подслужиться к незатейливым вкусам театральных критиков и состряпать пиесу, старомодную мелодраму с тремя принципалами: умалишенным, вознамерившимся убить воображаемого короля, вторым умалишенным, вообразившим себя этим королем, и прославленным старым поэтом, случайно забредшим на линию огня и погибшим при сшибке двух мороков. О, я способен на многое! С соизволенья истории, я могу приплыть назад в мое возрожденное королевство и могучим рыданьем приветствовать серенький берег и мерцание крыш под дождем. Я могу свернуться в клубок и скулить в приюте для душевнобольных. Но что бы ни сталось со мной, где бы ни разъехался занавес, кто-то где-то тихо снарядится в дорогу, — кто-то уже снарядился, — кто-то, еще далекий, уже покупает билет и лезет в автобус, на корабль, в самолет, уже он сходит на землю и идет навстречу миллиону фотографов, и вот он сейчас прозвонит у моих дверей: куда более крупный, представительный и гораздый Градус.

УКАЗАТЕЛЬ

Набранные курсивом цифры отвечают строкам поэмы и примечаниям к ним. Прописные буквы Г, К, Ш (смотри их) обозначают трех главных действующих лиц настоящего труда.

[1] Точное выражение, заменяющее старое и укоренившееся ошибочное (*лат.*).

сделанные на берегу озера, *384—386*; критика на строки 403—474, *403*; его тайна, угаданная или не угаданная *Ш*, он рассказывает *Ш* о Дизе, и реакция *Ш*, *433—435*; его дискуссия с *Ш* о предрассудках, *469*; его дискуссия с самим собой о самоубийстве, *492*; он удивляется, осознав, что французское наименование одного печального дерева совпадает с земблянским наименованием другого, *501*; неодобрение им некоторых легкомысленных мест Песни третьей, *502*; его взгляды на грех и веру, *549*; его добросовестность как редактора и духовные терзания, *550*; его замечания об одной студентке, а также о числе и характере застолий, разделенных им с Шейдами, *576*; его восторг и изумление при зловеще-пророческой встрече слогов в двух соседствующих словах, *596*; его афоризм о палаче и жертве, *597*; его бревенчатая изба в Кедрах и маленький удильщик, парнишка с медовым загаром, обнаженный, если не считать драных саржевых брюк с одной подвернутой штаниной, часто угощавшийся нугой и орехами, пока не начались уроки или не испортилась погода, *609*; его появление у Х-в, *629*; его резкая критика на заглавия из "Бури" и проч., таких как "бледное пламя" и проч., *671*; его чувство юмора, *679*; его воспоминания о прибытии в сельское именье Сильвии О'Доннелл, *692*; он одобряет изящное замечание и сомневается касательно авторства оного, *726*; его ненависть к людям, которые делают авансы, а после обманывают благородное и наивное сердце, разнося грязные сплетни о своей жертве и донимая ее жестокими розыгрышами, *741*; невозможность для него — вследствие некоторого психологического барьера или боязни второго *Г* — доехать до города, который отстоит от него всего только на шестьдесят-семьдесят миль и в котором наверняка имеется хорошая библиотека, *747*; его письмо от 2 апреля 1959 года к даме, которая оставила оное незапертым среди прочих ее драгоценностей на вилле близ Ниццы, а сама на все лето уехала в Рим, *767*; чудная служба поутру, а ввечеру — прогулка с поэтом,

[1] "В поисках утраченного времени" (*фр.*).

Lane, Franklin Knight, американский юрист и государственный деятель, 1864—1921, автор замечательного отрывка, *810.*

Potaynik, тайник (*см.*).

Zembla, страна далеко на севере.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЫ "TELEVISION 13", 1965 г.

В сентябре 1965 года Роберт Хьюз навестил меня здесь, чтобы снять интервью для нью-йоркской образовательной программы "Television 13". При нашей первой встрече я читал ответы с заранее подготовленных карточек, эта часть интервью и приводится ниже. Все остальное — пятьдесят примерно страниц, отпечатанных с магнитофонной ленты, — слишком походит на обычный беспорядочный разговор о том о сем, чтобы уложиться в схему этой книги.

Как и в случае Гоголя и даже Джеймса Эйджи, при произнесении вашей фамилии то и дело возникают затруднения. Как ее следует произносить?

Фамилия действительно непростая. Ее часто выговаривают неверно, потому что глаз все норовит принять "а" в первом слоге за опечатку, а затем пытается восстановить симметрическую последовательность, утраивая "о", — так сказать, заполняя строку кружками, словно при игре в крестики-нолики. No-bow-cough. Уродливо и неверно. Имя каждого автора, достаточно часто упоминаемого периодической прессой, наделяет человека, ее почитывающего, сноровкой орнитолога или сборщика гусениц. Я, например, всегда застреваю на слове "nobody"[1], если оно стоит в начале строки. Что до произношения, то француз, конечно, скажет Nabo*koff*, поместив ударение в последний слог. Англичанин скажет *Na*bokov, ударение на первом слоге, итальянец — Nab*o*kov, ударение посередке, то же и русский. Na-*bo*-kov. Густое, открытое "о", как в "никербокер". Мой новоанглийский слух не оскорбляется элегантным, протяжным "о" в середине Набокова, как его произносят

---

[1] Никто (*англ.*).

в американских университетах. Ужасное "На-ба-ков" представляет собой прискорбный вульгаризм. Ну вот, теперь вам есть из чего выбирать. Кстати, само имя произносится "Владиимир", рифмуясь с "redeemer"[1], а не "Владаймир", которое рифмуется с "Faddimere" (сколько я знаю, в Англии есть такое место).

А как быть с фамилией вашего удивительного создания, профессора "P-N-I-N"?

"Р", стоящее в начале, должно звучать, только и всего. Но поскольку в английских словах, начинающихся с "pn", буква "p" остается немой, при произнесении этой фамилии возникает соблазн подпереть ее звуком "uh" — получается "Пу-нин", а это неправильно. Чтобы справиться с "pn", попробуйте сочетание "Up North"[2] или, еще того лучше, "Up, Nina!"[3], отбросив начальное "u". Пнос, Пнина, Пнин. Сможете?.. Ну вот и отлично.

Вам принадлежат блестящие обзоры жизни и творчества Пушкина и Гоголя. А какой итог вы могли бы подвести, говоря о собственной жизни?

Нелегко подводить итог того, что еще не закончилось. Однако, как я уже где-то говорил, первая часть моей жизни отмечена довольно приятной хронологической ладностью. Первые мои двадцать лет я провел в России, следующие двадцать — в Западной Европе, а двадцать последующих, с 1940-го по 1960-й, — в Америке. Вот уже пять лет, как я снова живу в Европе, однако не могу обещать, что останусь здесь еще на пятнадцать в целях сохранения ритма. Не могу я предсказать и того, какие книги еще напишу. Мой лучший русский роман — это тот, который по-английски называется "The Gift"[4]. Из американских лучшие — "Lolita" и "Pale Fire"[5].

---

[1] Избавитель, искупитель, спаситель (*англ.*).
[2] К северу (*англ.*).
[3] Вставай, Нина! (*англ.*)
[4] "Дар".
[5] "Бледное пламя".

Сейчас я занимаюсь тем, что перевожу "Лолиту" на русский, словно бы замыкая круг моей творческой жизни. Или, вернее, начиная новую спираль. Приходится очень много возиться с техническими терминами, в особенности с относящимися к автомобилю, еще по-настоящему не ставшему частью русской жизни, какой он, или, вернее, "она", стал в Америке. Есть сложности и с поисками правильных русских названий для одежды, разного рода обуви, предметов обстановки и тому подобного. С другой стороны, описания нежных чувств, грации моей нимфетки и мягкого, тающего американского ландшафта очень изящно перетекают в поэтический русский. Книга выйдет в Америке или, может быть, в Париже; а там, надеюсь, разъездные поэты и дипломаты тайком протащат ее в Россию. Прочитать вам три строчки из русского перевода? Конечно, верится в это с трудом, но, возможно, не все помнят, как начинается английская "Lolita". Так что я, пожалуй, прочитаю сначала английские строки. Заметьте, что для достижения необходимого эффекта мечтательной нежности обе "l" и "t", да, собственно, все это слово следует испанизировать, ни в коем случае не произнося его на американский манер, со смятыми "l", грубым "t" и долгим "о": "Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta". А теперь по-русски. Здесь гласная в первом слоге звучит скорее как "а", чем как "о" но все остальное сохраняет испанистость (*читает по-русски*): "Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя". И так далее.

Помимо того что прямо сказано либо подразумевается в ваших предисловиях, у вас есть что еще сказать о ваших читателях и (или) критиках?

Ну, когда я думаю о критиках вообще, я разделяю это семейство на три подсемейства. Во-первых, это профессиональные обозреватели, по преимуществу поденщики или провинциалы, регулярно заполняющие отведенные им участки на кладбищах воскресных газет. Во-вторых, критики

более амбициозные, раз в два года собирающие свои журнальные статьи в том с подразумевающим некоторую ученость заглавием — "Неоткрытая страна", что-нибудь в этом роде. И наконец, коллеги-писатели, выступающие с рецензией на книгу, которая им полюбилась или прогневала их. Последнее породило немало ярких обложек и темных свар. Когда автор, чьи сочинения мне по душе, хвалит мою работу, меня поневоле пронизывает — помимо зыбления почти человеческой теплоты — чувство гармонии и удовлетворенной логики. Но одновременно меня тревожит идиотское чувство, что этот автор очень скоро охладеет и, если я немедленно чего-то не предприму, равнодушно от меня отвернется, а что предпринять, я не знаю и оттого никогда ничего не предпринимаю, и на следующее утро холодные облака затягивают яркие горы. Во всех иных случаях я, должен признаться, зеваю и забываю. Разумеется, вокруг всякого стоящего автора вьется стайка клоунов и критикунчиков — прелестное слово: критикунчик, или еще критикун, — которые лупят своими хлопушками не столько его, сколько друг друга. К тому же мне нравится время от времени высказывать недовольство по самым разным поводам, а это, похоже, многих раздражает. Я, например, нахожу второсортными однодневками произведения многих писателей с раздутой репутацией — таких, как Камю, Лорка, Казандзакис, Д. Г. Лоуренс, Томас Манн, Томас Вулф и буквально сотни других "великих" заурядностей. За это ко мне проникаются автоматической неприязнью их подпевалы, потребители их стряпни, рабы моды и автоматы иных разновидностей. Вообще говоря, я в высшей степени безразличен к враждебной критике моих сочинений. С другой стороны, когда какой-нибудь напыщенный остолоп принимается отыскивать промахи в моих переводах и обнаруживает собственное фарсовое невежество по части русского языка и литературы, я с наслаждением воздаю ему по заслугам.

Не могли бы вы описать свои первые впечатления от Америки? И как вы начали писать по-английски?

За несколько лет до того, как перебраться в Америку, куда я явился окутанным сиреневой дымкой майского утра — 28 мая 1940-го, — я от случая к случаю сочинял кое-что по-английски. В конце тридцатых, живя в Германии и Франции, я перевел на английский две свои русские книги и написал свой первый чисто английский роман, тот, что о Себастьяне Найте. После, в Америке, я совсем перестал писать на родном языке, если не считать случайных стихотворений, в которых, к слову, моя русская муза выглядит, как это ни странно, возмужавшей, обретшей напряженность и напор. Полный переход от русской прозы к английской был для меня на редкость болезненным — так, наверное, чувствует себя человек, потерявший при взрыве семь или восемь пальцев и заново учащийся пользоваться руками. О том, как писалась "Лолита", я рассказал в послесловии к американскому изданию 1958 года. Книга впервые вышла в Париже, никто не хотел ее печатать в ту пору — тому теперь уже десять лет, — десять лет, как ползет время!

Что касается "Бледного пламени", то хоть я и обдумывал разные касающиеся Зембды разности еще в конце пятидесятых, в Итаке, штат Нью-Йорк, однако первый настоящий натиск этого романа, при котором я увидел в миниатюре его почти завершенную структуру, я ощутил — и тогда же перенес видение на бумагу, запись сохранилась в одной из моих записных книжек, — плывя из Нью-Йорка во Францию в 1959 году. Американская поэма, о которой рассуждает в книге Его Величество Карл Земблянский, потребовала от меня больше усилий, чем любое из прочих моих сочинений. Основную ее часть я написал в зимней Ницце, прохаживаясь по Английской набережной или блуждая по окрестным холмам. Комментарии Кинбота писались главным образом здесь, в парке при "Монтре-Палас", одном из самых чарующих и воодушевляющих парков, какие я знаю[1]. Мне особенно по душе его вирджинский можжевельник, древесное повторение очень лохматого пса со свисающей на глаза шерстью.

---

[1] Ныне изуродаванном теннисным кортом и автомобильной стоянкой. (*Прим. автора.*)

Каков ваш подход к преподаванию литературы?

Могу привести несколько примеров. При изучении знаменитого рассказа Кафки моим студентам надлежало точно знать, в какое именно насекомое превратился Грегор (в круглобокого жука, а не в плоского таракана неряшливых переводчиков), и уметь столь же точно описать расположение комнат, дверей и мебели в квартире семейства Замза. Для “Улисса” требовалось знание карты Дублина. Я считаю необходимым опираться на конкретные детали — общие идеи способны сами о себе позаботиться. “Улисс” — это, конечно, божественное творение искусства, и он будет жить вопреки всем ученым ничтожествам, которые обращают его в сборник символов или греческих мифов. Я однажды поставил тройку с минусом — или двойку с плюсом, не помню, — студенту, который приделал к главам “Улисса” заглавия, заимствованные из Гомера, совершенно не заметив прогуливающегося по ним туда-сюда человека в коричневом макинтоше. Он даже не знал, кто таков этот человек. О да, пусть меня сравнивают с Джойсом, ради бога, и все же мой английский — это вялый перешлеп начинающего теннисиста в сравнении с игрой чемпиона — Джойса.

Почему вы решили осесть в Швейцарии?

Чем старше я становлюсь и чем больше вешу, тем тяжелее мне вылезать из того или иного кресла либо шезлонга, в который я с блаженным выдохом погрузился. Теперь мне так же трудно добраться из Монтре до Лозанны, как до Лондона, Парижа или Нью-Йорка. С другой стороны, я по-прежнему готов проходить десять—пятнадцать километров в день, спускаясь и поднимаясь по горным тропам в поисках бабочек, чем я и занимаюсь каждое лето. Одна из причин, по которой я живу в Монтре, состоит в том, что вид, открывающийся из моего покойного кресла, представляется мне чудесно успокоительным — или возбуждающим, это зависит от моего настроения и от настроения озера. Спешу добавить, что я не только не прячусь здесь от налогов, но

и плачу грузненький швейцарский налог сверх увесистого американского, столь высокого, что он почти заслоняет от меня этот прекрасный вид. Я очень скучаю по Америке и, как только накоплю необходимую для этого энергию, вернусь в нее навсегда.

А где оно, это покойное кресло?

Стоит по соседству, в моем кабинете. В конце концов, это всего лишь метафора: отель, парк и все остальное — это и есть мое покойное кресло.

Где вы поселитесь, вернувшись в Америку?

Думаю, либо в Калифорнии, либо в Нью-Йорке, либо в Кембридже, штат Массачусетс. Либо во всех трех сразу.

За мастерское владение нашим языком вас часто сравнивают с Джозефом Конрадом.

Что ж, я бы описал положение следующим образом. В детстве я был алчным читателем, как, по-видимому, и все писатели в детстве. С восьми лет и до четырнадцати мне ужасно нравились романтические произведения — романтические в широком смысле — таких писателей, как Конан Дойль, Киплинг, Джозеф Конрад, Честертон, Оскар Уайльд и еще некоторых, писавших, в сущности говоря, для людей очень юных. Однако, как я уже говорил когда-то, от Джозефа я отличаюсь Конрадикально. Во-первых, до того как стать английским писателем, он ничего не написал на родном языке, и во-вторых, ныне я уже не способен сносить его полированные клише и примитивные конфликты. Он как-то написал, что предпочитает “Анну Каренину” в переводе миссис Гарнетт оригиналу. Этакого и во сне не приснится — “ça fait rêver”, как говаривал Флобер, сталкиваясь с чьей-либо бездонной глупостью. С тех самых пор, как неимоверные посредственности вроде Галсворти, Драйзера, персонажа по имени Тагор, еще одного по имени Максим Горький и третьего по имени Ромен Роллан были зачислены в гении, меня ставят в тупик и потешают

неведомо кем состряпанные представления о так называемых "великих книгах". То, что, скажем, ослиная "Смерть в Венеции" Манна, или мелодраматичный и дурно написанный "Живаго" Пастернака, или кукурузные хроники Фолкнера могут считаться "шедеврами" — да хотя бы и тем, что журналисты именуют "великими книгами", оставляет во мне ощущение нелепого бреда, — точно загипнотизированный человек предается любви со стулом у меня на глазах. *Мои* величайшие прозаические шедевры двадцатого века таковы (и именно в этом порядке): "Улисс" Джойса, "Превращение" Кафки, "Петербург" Белого и первая половина сказки Пруста "В поисках утраченного времени".

Что вы думаете об американской литературе? Как я замечаю, американские шедевры в вашем списке отсутствуют. Каково ваше мнение о состоянии американской литературы после 1945 года?

Ну, в одном поколении редко встречаются два или три действительно первоклассных писателя. На мой взгляд, лучшие из появившихся за последнее время художников — Сэлинджер и Апдайк. Приправленный эротикой, шарлатанского типа бестселлер, полный вульгарного насилия роман, принявший обличье романа трактат по общественным или политическим проблемам, романы, состоящие преимущественно из диалогов и бытописательства, — всему этому решительно запрещено приближаться к моей кровати. А популярная смесь порнографии с лживо-идеалистической позой действует на меня просто как рвотное средство.

А что вы думаете о состоянии русской литературы после 1945 года?

Советская литература... Что ж, в первые годы после большевистской революции, в двадцатые, в начале тридцатых, среди гнусных общих мест советской пропаганды еще различался угасающий голос прежней культуры. Примитивный и банальный умственный склад политики при-

нуждения — собственно, любой политики — способен породить лишь примитивное и банальное искусство. Это особенно верно в отношении так называемого "социалистического реализма" и "пролетарской" литературы, опекаемой советским полицейским государством. Его воинствующие болваны постепенно истребили по-настоящему талантливых авторов, особую, наделенную хрупким даром разновидность человека. Возможно, одним из самых печальных случаев был случай Осипа Мандельштама — восхитительного поэта, лучшего поэта из пытавшихся выжить в России при Советах, — эта скотская и тупая власть подвергла его гонениям и в конце концов загубила в одном из далеких концентрационных лагерей. Стихи, которые он героически продолжал писать, пока безумие не затмило его ясный дар, — это изумительные образчики того, на что способен человеческий разум в его глубочайших и высших проявлениях. Чтение их усиливает здоровое презрение к советской дикости. Тиранам и палачам никогда не удастся скрыть за космической акробатикой свою комическую спотыкливость. Презрительный смех — дело хорошее, но его не хватает, чтобы снять с души камень. И когда я читаю стихи Мандельштама, написанные при мерзостном правлении этих скотов, я испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я волен жить, думать, писать и говорить в свободной части мира... Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой.

ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО МОНТРЕ С ИНТЕРВЬЮЕРОМ

Этот гинкго — священное дерево Китая, он редко теперь встречается в диком виде. У него удивительные прожилки на листьях, как у бабочки, — что напомнило мне об одном маленьком стихотворении:

Лист гинкго опадает, золотой,
На кисть муската
Старинной бабочкой, неправою рукой
Распятой.

Это из моего романа “Бледное пламя”, стихотворение Джона Шейда — величайшего пока из *выдуманных* поэтов.

ПРОХОДЯ МИМО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

Я готов делить с загорающими солнце, но погружаться в плавательный бассейн — увольте. В конце концов, это всего лишь большая ванна, в которой к тебе присоединяются посторонние люди, — заставляя меня вспоминать об отвратительных общих ваннах японцев, в которых плещутся целые семьи — или косяки бизнесменов.

СОБАКА У ТЕЛЕФОННОЙ БУДКИ

Надо запомнить этот спасательный леер, поводок кроткого пса, уходящий в телефонную будку, к болтливой даме. “Долгое ожидание” — хорошее название для старого полотна натуралистической школы.

МАЛЬЧИК, ПИНАЮЩИЙ МЯЧ В ПАРКЕ

Я уже много лет не прижимал к груди футбольного мяча. В мои кембриджские годы, сорок пять лет назад, я был не очень надежным, но довольно эффектным голкипером. И после, когда мне было около тридцати, я играл в немецкой команде и в последнем моем матче, в 1936-м, спас игру, после чего меня, беспамятного, оттащили в палатку, поверженного ударом ноги, но все еще стискивающего мяч, который все норовил отнять у меня нетерпеливый товарищ по команде.

НА ПРОГУЛКЕ БЛИЗ ВИЛЬНЕВА

Конец сентября в Центральной Европе — не лучшее время для ловли бабочек. Увы, это не Аризона.

Вон в том муравчатом закутке рядом со старым виноградником над Женевским озером еще порхает несколько относительно свежих самочек очень распространенной бархатницы — ленивые старые вдовы. Вот одна из них.

И эти маленькие, небесно-синие бабочки тоже встречаются где угодно. В Англии их некогда называли голубянками Клифдена.

Припекает. Я предпочитаю охотиться на бабочек голышом, но сомневаюсь, что сегодня удастся найти что-нибудь интересное. Летом эта приятная лужайка на берегу Женевского озера кишит бабочками. Неподалеку отсюда попадаются голубянка Чапмена и белянка Манна, бабочки по преимуществу местные. А эти белые бабочки, которых мы видим здесь, на поляне, в этот приятный, но заурядный осенний день, это все обычные белянки — малые белянки и капустницы.

А, гусеница. Обращаться осторожно. Ее золотисто-бурая шерстка способна наградить вас пренеприятным зудом. Через год этот симпатичный червячок обратится в толстую, неказистую, грязновато-желтую ночницу.

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС, КАКИЕ СЦЕНЫ ЕМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ ЗАСНЯТЫМИ НА ПЛЕНКУ

Шекспира в роли Тени отца Гамлета.

Обезглавливание Людовика Шестнадцатого с барабанами, заглушающими речь, которую он произносит с эшафота.

Германа Мелвилла, скармливающего за завтраком сардинку своему коту.

Венчание По. Пикники Льюиса Кэрролла.

Русских, которые покидают Аляску, радуясь удачной сделке. В кадре — аплодирующие тюлени.

ИНТЕРВЬЮ В ЖУРНАЛЕ "PLAYBOY", 1964 г.

С американской публикацией "Лолиты" в 1958 году ваши слава и состояние выросли почти за ночь — от высокой репутации среди литературных cognoscenti[1]*, которой вы пользовались более 30 лет, до одновременно и прославлений и проклятий в адрес новой мировой знаменитости — автора сенсационного бестселлера. По окончании этого cause célèbre*[2] *сожалели ли вы когда-нибудь, что написали "Лолиту"?*

Напротив, я до сих пор содрогаюсь, вспоминая, что был один миг, в 1950-м, а потом еще один в 1951-м, когда я совсем уж собрался сжечь грязный дневничок Гумберта Гумберта. Нет, я никогда не буду сожалеть о "Лолите". Ее написание походило на составление красивой задачи — составление и одновременно решение, потому что одно — зеркальное отражение другого, все зависит от того, с какой стороны смотреть. Конечно, она полностью заслонила другие мои произведения — по крайней мере написанные на английском: "Подлинную жизнь Себастьяна Найта", "Под знаком незаконнорожденных", рассказы, книгу воспоминаний, — но я не могу на нее сердиться. Этой вымышленной нимфетке присуще какое-то странное, нежное очарование.

Возможно, многие читатели и критики не согласятся с тем, что ее очарование — нежное, но мало кто станет отрицать, что оно странное, — настолько, что, когда режиссер Стэнли Кубрик объявил о своем намерении делать фильм по "Лолите",

---

[1] Знатоки (*итал.*).

[2] Знаменитое дело (*фр.*).

вы, говорят, сказали: "Конечно, им придется изменить сюжет. Возможно, они превратят Лолиту в карлицу. Или ей будет 16, а Гумберту 26". Хотя в итоге вы сами написали сценарий, некоторые рецензенты порицали фильм за размывание центрального конфликта. Довольны ли вы окончательным вариантом фильма?

Я думаю, что фильм превосходен. Четыре главных актера заслуживают высших похвал. Сью Лайон, приносящая поднос с завтраком или по-детски натягивающая свитер в машине, — это мгновения незабываемого актерского и режиссерского мастерства. Убийство Куильти — шедевр, как и смерть миссис Гейз. Впрочем, должен отметить, что к собственно съемкам я никакого отношения не имел. Будь оно иначе, я, вероятно, настоял бы на подчеркивании определенных вещей, которые остались невыделенными, — например, мотелей, в которых они останавливались. Я всего лишь написал сценарий, большая часть которого была использована Кубриком. В "размывании", если оно и присутствует, повинно не мое кропило.

Как повлиял двойной успех "Лолиты" на вашу жизнь — стала ли она лучше или хуже?

Я оставил преподавание — вот в общем и все перемены. Заметьте, мне нравится преподавать, нравился Корнельский университет, нравилось придумывать и читать лекции о русских писателях и шедеврах европейской литературы. Но когда вам под шестьдесят, и особенно зимой, сам физический процесс преподавания становится в тягость — необходимость через день на другой просыпаться в установленный утренний час, бороться со снегом по дороге, идти длинными коридорами в аудиторию, рисовать на доске карты джойсовского Дублина или устройство полумягкого вагона скорого поезда Петербург — Москва начала 1870-х, — без представления о которых ни "Улисс", ни "Анна Каренина" соответственно не имеют смысла. Почему-то самые живые мои воспоминания связаны с экзаменами. Большой амфитеатр в "Голдвин Смит". Экзамен с 8

до 10.30 утра. Сотни полторы студентов — немытых, небритых молодых людей мужского пола и сносно ухоженных — женского. Общее ощущение несчастья и скуки. Половина девятого. Слитные звуки нервного покашливания, шуршанье страниц. Кое-кто из мучеников впал в задумчивость, сцепив на затылке руки. Я встречаюсь с чьим-то мутным взглядом, с надеждой и ненавистью выискивающим во мне источник запретного знания. Девушка в очках подходит к моему столу с вопросом: "Профессор Кафка, вы хотите, чтобы мы сказали, что...? Или нам нужно ответить только на первую половину вопроса?" Великое братство троечников, становой столб нации, старательно марает бумагу. Мгновенный всплеск шелеста, большинство студентов переворачивает страницы тетрадей — пример хорошей артельной работы. Потрясанье затекшим запястьем, чернила на исходе, дезодорант выдохся. Стоит мне поймать чей-то устремленный на меня взгляд, как он в благочестивом размышлении возводится к потолку. Оконные стекла запотевают. Юноши стягивают свитера. Девушки в быстрой каденции жуют резинку. Десять минут, пять, три, время вышло.

Цитируя столь же язвительный пассаж из "Лолиты", как только что вами описанный, многие критики называли книгу мастерским сатирическим социальным описанием Америки. Они правы?

Ну, я могу лишь повторить, что лишен и устремлений, и темперамента сатирика, нравственного или социального. Считают критики, что я высмеиваю в "Лолите" человеческую глупость, или не считают, мне это в высшей степени безразлично. Но я выхожу из себя, когда они принимаются распространять радостную новость, будто я осмеиваю Америку.

Но разве не сами вы написали, что "нет ничего на свете вдохновительнее американской мещанской вульгарности"?

Нет, я этого не говорил. Эта фраза была вытянута из контекста и, подобно шарообразной глубоководной мор-

ской рыбе, разорвалась, пока ее тянули. Если вы прочтете добавленное мной к роману небольшое послесловие "О книге, озаглавленной 'Лолита', вы увидите — на самом деле я сказал, что в смысле мещанской вульгарности — которую я действительно считаю чрезвычайно вдохновительной — нет никакой разницы между бытом американским и европейским. Дальше говорится, что пролетарий из Чикаго может быть таким же мещанином, как английский лорд.

Многие читатели пришли к заключению, что наиболее вдохновительным вам представляются сексуальные нравы американцев.

Секс как институт, секс как общее понятие, секс как проблема, секс как общее место — все это кажется мне слишком скучным, чтобы расходовать на него слова. Давайте пропустим секс.

Подвергались ли вы психоанализу?

Подвергался ли я *чему*?

Психоаналитическому исследованию.

Господи, зачем?

Чтобы посмотреть, как это делается. Некоторым критикам показалось, что ваши колкие замечания о моде на фрейдизм в практике американских психиатров подразумевают презрение, основанное на знании.

Только на книжном. Само испытание слишком глупо и отвратительно, чтобы помышлять о нем даже в шутку. Фрейдизм и все, что он испакостил своими нелепыми толкованиями и методами, кажется мне одним из самых низких обманов, которыми люди морочат себя и других. Я полностью его отвергаю, вместе с несколькими другими средневековыми изобретениями, которые все еще привлекают невежественных, заурядных или совсем больных людей.

Кстати, о совсем больных людях. Вы предполагаете в "Лолите", что страсть Гумберта Гумберта к нимфеткам была результатом его невостребованной детской любви; в "Приглашении на казнь" вы писали о двенадцатилетней девочке, Эммочке, питающей эротический интерес к мужчине вдвое ее старше; и в "Под знаком незаконнорожденных" главному герою снится, как он "украдкой ублажается Мариэттой (его служанкой), покамест та сидит, слегка содрогаясь, у него на коленях во время репетиции пьесы, в которой она играет роль его дочери". Кое-кто из критиков, вникая в ваши книги в поисках ключей к вашей личности, указывал на эту повторяющуюся тему как на свидетельство вашей нездоровой увлеченности темой сексуального влечения между достигшими половой зрелости девочками и мужчинами средних лет. Вам не кажется, что в этом обвинении есть доля правды?

Я думаю, будет правильнее сказать, что, не напиши я "Лолиту", читатели не принялись бы выискивать нимфеток в других моих произведениях и у себя дома. Меня очень забавляет, когда какой-нибудь дружелюбный, вежливый человек говорит мне — возможно, лишь затем, чтобы высказать вежливость и дружелюбие: "Мистер Наборков", или "Мистер Набаков", или "Мистер Набков", или "Мистер Набохов, — в зависимости от его лингвистических возможностей, — у меня есть маленькая дочь — вылитая Лолита". Люди недооценивают силу моего воображения и мою способность выращивать многочисленных "я" в моих сочинениях. И потом, конечно, существует особый тип вынюхивающего критика, энтузиаста "человеческого содержания", радостного пошляка. Некто, например, обнаружил выдающее меня с головой сходство между детским романом Гумберта на Ривьере и моими собственными воспоминаниями о маленькой Колетт, с которой я строил замки из мокрого песка в Биаррице, когда мне было десять. Сумрачному Гумберту было, между прочим, тринадцать, его томило лихорадочное сексуальное возбуждение, в то время как мой роман с Колетт не содержал и крупицы эротического желания и был, вообще говоря, совершенно заурядным и нормальным. И, конечно, в девять-десять лет, в той обстанов-

ке, в те времена мы вообще ничего не знали о тех псевдоосновах половой жизни, в которые посвящают теперь детей передовые родители.

Почему псевдо?

Потому что воображение ребенка — особенно городского — мгновенно искажает, стилизует или иным образом изменяет удивительные сведения, сообщаемые ему о трудолюбивой пчелке, которую к тому же ни он, ни его родители не способны отличить от шмеля.

То, что один критик назвал вашим "почти навязчивым вниманием к слогу, ритму, каденции и оттенкам слов", ясно видно даже в выборе имен для ваших знаменитых пчелки и шмеля — Лолиты и Гумберта Гумберта. Как вы их придумали?

Для моей нимфетки мне нужно было уменьшительное имя с лирической мелодией в нем. Одна из самых прозрачных и лучезарных букв — "Л". В суффиксе "-ита" много латинской нежности, которая мне также требовалась. Отсюда: Лолита. Впрочем, произносить ее имя следует не так, как произносите вы и большинство американцев: Low-lee-ta, с тяжелым, липким "L" и длинным "o". Нет, первый слог должен звучать как в слове "lollipop"[1], "Л" влажное и нежное, "ли" не очень резкое. Испанцы и итальянцы произносят его как раз с совершенно верным оттенком лукавства и ласки. Другую причину составило приятное мурлыканье источника, ее полного имени: эти розы и слезы в "Долорес". Наряду с очарованием и прозрачностью моей девочки следовало отметить ее душераздирающую участь. Кроме того, имя "Долорес" наделяло ее другим, более простым и привычным детским уменьшительным — Долли, хорошо сочетавшимся с фамилией "Гейз", в которой ирландские туманы смешались с немецким кроликом — я разумею зайчика.

---

[1] Леденец на палочке (*англ.*).

То есть это игровая отсылка к немецкому обозначению кролика — “Hase”. Но что побудило вас наделить стареющего любовника Лолиты столь откровенно избыточным именем?

Это тоже просто. На мой взгляд, такой удвоенный рокот изрядно гадок и внушает определенное к себе отношение. Мерзкое имя для мерзкого человека. Кроме того, в этом имени присутствует нечто монаршье, а мне требовался царственный отзвук для Гумберта Свирепого и Гумберта Робкого. К тому же оно годится для каламбуров. А гнусное уменьшительное “Гум” в социальном и эмоциональном планах стоит наравне с “Ло”, как звала ее мать.

Еще один критик написал о вас, что “отсеивание и отбор из многоязычной памяти слов в единственно верной последовательности, расстановка их многократно отраженных оттенков в правильном соседстве должно быть физически изнуряющей работой”. Какую из ваших книг вы бы назвали самой трудной в этом отношении?

Ну разумеется, “Лолиту”. Мне не хватало необходимых сведений — вот в чем состояла изначальная трудность. Я не знал ни одной американской девочки двенадцати лет и не знал Америки; пришлось самому создавать и Америку, и Лолиту. Создание России и Западной Европы отняло у меня лет сорок, теперь передо мной стояла сходная задача, но времени в моем распоряжении имелось гораздо меньше. Добывание местных приправ, которые позволили бы сдобрить усредненной “реальностью” варево личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет делом куда более трудным, чем то было в Европе моей молодости.

Вы родились в России, но уже много лет прожили и проработали в Америке и в Европе. Есть ли у вас отчетливое ощущение национальной принадлежности?

Я американский писатель, родившийся в России и получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу, прежде чем провести пятнадцать лет в Германии. Я приехал в Америку в 1940-м и решил стать амери-

канским гражданином, сделать Америку своим домом. Вышло так, что я с самого начала повстречался с лучшим, что есть в Америке, — с ее богатой интеллектуальной жизнью и непринужденной, доброжелательной атмосферой. Я окунулся в ее великие библиотеки и в ее Большой каньон. Я работал в лабораториях ее зоологических музеев. Я приобрел больше друзей, чем у меня когда-либо было в Европе. Мои книги — старые и новые — нашли нескольких превосходных читателей. Я стал дородным, как Кортес, — в основном потому, что бросил курить и начал взамен жевать конфеты, отчего мой вес вырос с обычных ста сорока фунтов до монументальных и восклицательных двухсот. Стало быть, на треть я американец — добротная американская плоть греет и оберегает меня.

Вы провели в Америке 20 лет, но никогда не имели здесь собственного дома и нигде по-настоящему не обосновались. Ваши друзья говорят, что вы всегда останавливались в мотелях, коттеджах, меблированных комнатах, арендовали дома у отсутствующих профессоров. Вы чувствовали себя таким беспокойным и чужим, что мысль осесть где-нибудь вас раздражала?

Главная причина, коренная причина, я думаю, в том, что никакому окружению, не повторяющему в точности моего детства, было бы не по силам меня удовлетворить. Найти точное соответствие своим воспоминаниям мне все равно не удастся — так зачем же бередить себе душу безнадежными приближениями? Есть еще несколько причин особого рода: стремительное движение, например, привычка к нему. Я с такой силой вылетел из России, с такой гневной силой возмущения, что так с тех пор и качусь. Правда, я докатился и дожил до того, что стал аппетитным "полным профессором", но в душе навсегда остался тощим "заезжим лектором". Несколько раз я говорил себе: "Вот хорошее место для постоянного дома" — и немедля слышал грохот обвала, уносящего сотни отдаленных мест, которые я уничтожил бы самим актом поселения в одном определенном уголке земли. И наконец, меня не особенно

интересует мебель — столы, стулья, лампы, ковры и все прочее, — наверное, потому, что мое роскошное детство научило меня с насмешливым неодобрением воспринимать любую слишком рьяную привязанность к вещественному богатству, отчего я и не испытал ни сожаления, ни горечи, когда революция это богатство уничтожила.

Вы прожили двадцать лет в России, двадцать в Западной Европе и двадцать в Америке. Но в 1960-м, после успеха "Лолиты", вы перебрались во Францию, а после — в Швейцарию и с тех пор в США не возвращались. Означает ли это, что, несмотря на ваше самоопределение как американского автора, вы считаете свой американский период законченным?

Я живу в Швейцарии по чисто личным причинам — семейным и некоторым профессиональным, таким, как определенные изыскания, необходимые мне для определенной книги. Я надеюсь очень скоро вернуться в Америку — назад к ее библиотечным полкам и горным перевалам. Идеальной для меня обстановкой была бы полностью звуконепроницаемая квартира в Нью-Йорке, на последнем этаже, — никакого топота сверху и никакой легкой музыки с какой бы то ни было стороны — плюс бунгало на юго-западе. Иногда я думаю, что было бы занятно снова украсить своей персоной какой-нибудь университет, жить и писать там, но не преподавать, по крайне мере не преподавать регулярно.

Тем временем вы ведете жизнь уединенную — и, как все говорят, не слишком подвижную, — в своем гостиничном номере. Как вы проводите время?

Зимой просыпаюсь около семи: будильником мне служит альпийская клушица — большая блестящая черная птица с большим желтым клювом, — она навещает балкон и очень мелодично кудахчет. Некоторое время я лежу в постели, припоминая и планируя дела. Часов в восемь — бритье, завтрак, тронная медитация и ванна — в таком порядке. Потом я до второго завтрака работаю в кабинете, прерываясь ради недолгой прогулки с женой вдоль озера.

Практически все знаменитые русские писатели девятнадцатого века прогуливались здесь — Жуковский, Гоголь, Достоевский, Толстой, который в ущерб здоровью ухаживал за горничными, — и многие русские поэты. Впрочем, то же самое можно сказать о Ницце или Риме. Примерно в час — второй завтрак, а к половине второго я вновь за письменным столом и работаю без перерыва до половины седьмого. Затем поход к газетному киоску за английскими газетами, а в семь обед. После обеда никакой работы. И около девяти в постель. До половины двенадцатого я читаю, потом до часу ночи сражаюсь с бессонницей. Примерно дважды в неделю меня посещает добротный длинный кошмар с неприятными, импортированными из прежних снов персонажами, являющимися мне в более или менее повторяющейся обстановке — калейдоскопическое сочетание разрозненных впечатлений, обрывки дневных мыслей и безотчетные механические образы, напрочь лишенные каких-либо фрейдистских тайных или явных смыслов, но зато исключительно похожие на фигуры, проплывающие по изнанке век, когда от усталости закрываешь глаза.

Интересно, что знахари и их пациенты никогда не додумывались до столь простого и совершенно удовлетворительного объяснения снов. Правда ли, что вы пишете стоя, причем от руки, а не на машинке?

Да. Я так и не научился печатать. Как правило, я начинаю день за чудесной старомодной конторкой в своем кабинете. Позже, когда сила тяготения принимается покусывать меня за икры, я устраиваюсь в удобном кресле у обычного письменного стола; и наконец, когда она добирается до спины и начинает вспозлать вверх, я укладываюсь на диван, стоящий в углу моего маленького кабинета. Приятное однообразие, вроде движения солнца по небу. Вот когда я был молод, в двадцать, в тридцать лет, я нередко по целым дням валялся в постели, куря и сочиняя. Теперь все переменилось. Горизонтальная проза, вертикальные вирши и сидячие схолии то и дело меняют местами определения и портят аллитерации.

Не могли бы вы еще что-нибудь рассказать о творческом процессе, в результате которого рождается книга, — может быть, вы прочтете наугад какой-нибудь набросок или отрывок из той, над которой сейчас работаете?

Определенно нет. Подвергать зародыш исследовательской операции недопустимо. Я могу сделать другое. Вот в этой коробке у меня карточки с записями, которые я делал в разное время, относительно недавние, но в "Бледном пламени" я их так и не использовал. Этакая стайка отверженных. Берите какие хотите. "Селена, луна. Селенгинск, старинный город в Сибири: город лунных ракет"

..."Berry: черная шишка на клюве лебедя-шипуна"

..."Dropworm: гусеничка, висящая на нити"

..."В "The New Bon Ton Magazine", том пятый, 1820, стр. 312, проститутки определяются как "городские девушки"... "Сны юности: забытые штаны; сны старости: забытые зубные протезы" ... "Студент поясняет, что, читая роман, он любит пропускать некоторые абзацы, "чтобы составить собственное представление о книге и не попасть под влияние автора" ... "Напрапатия — уродливейшее слово во всем языке".

"И после дождя, на унизанных каплями проводах, одна птица, две птицы, три птицы, — и ни одной. Грязные шины, солнце" ... "Время без сознания — мир низших животных; время плюс сознание — человек; сознание без времени — некое еще более высокое состояние" ... "Мы думаем не словами, но тенями слов. Ошибка, совершаемая Джеймсом Джойсом в его прекрасных в иных отношениях мысленных монологах, состоит в том, что он слишком обременяет мысль словами" ... "Пародия на учтивость: неподражаемое "Пожалуйста" — "Пожалуйста, пришлите мне ваше чудесное..." — так фирмы по-идиотски обращаются к самим себе на печатных бланках, предназначенных для того, чтобы люди заказывали их изделия"...

"Наивный, непрестанный писклявый щебет цыплят в унылых корзинах поздней, поздней ночью на пустынной железнодорожной платформе в морозном тумане" ... "Заголовок бульварной газеты "TORSO KILLER MAY BEAT

CHAIR" можно перевести как "Celui qui tue un buste peut bien battre une chaise"[1]... "Продавец газет, вручая мне журнал с моим рассказом: "Вижу, вы пробились на обложку". "Падает снег, молодой отец прогуливает младенца, носик как розовая вишня. Почему это отец или мать мгновенно заговаривают со своим ребенком, если ему улыбнется незнакомец? "А как же", — отвечает отец на вопросительное гуканье младенца, которое продолжается уже некоторое время и продолжалось бы дальше под тихо валящим снегом, если бы я не улыбнулся, проходя" ... "Intercolumniation, межколоние — темно-синее небо меж двух белых колонн" ... "Название места на Оркнейских островах: Papilio"[2] ... "Не "И я жил в Аркадии", но "Мне, — говорит Смерть, — и в Аркадии есть удел" — надпись на могиле пастуха ("Notes and Queries", 13 июня 1868, стр. 561)" ... "Марат собирал бабочек" ... "С эстетической точки зрения солитер, несомненно, является нежелательным нахлебником. Наполненные оплодотворенными яйцами сегменты нередко выползают из анального отверстия человека, порою в виде цепочек, и, как сообщают, становятся причиной неловкости в обществе". (Ann. N. Y. Acad. Sci. 48: 558).

Что побуждает вас записывать и собирать такие разрозненные впечатления и цитаты?

Я знаю только, что на очень ранней стадии развития романа в меня вселяется эта тяга запасать пух и травинки и глотать камушки. Никто никогда не установит, насколько ясно птица представляет себе, и представляет ли вообще, свое будущее гнездо и яйца в нем. Когда я впоследствии припоминаю ту силу, которая понукала меня записывать правильные названия вещей или их мерки и оттенки еще до того, как мне на самом деле понадобятся эти сведения,

---

[1] Torso Killer May Beat Chair — Убийца Торсо может убить Чера (*англ.*). Celui qui tue un buste peut bien battre une chaise — Тот, кто убивает бюст, может побить и стул (*фр.*).

[2] Мотылек, бабочка (*лат.*).

я склоняюсь к мысли, что вдохновение, как его приходится называть за недостатком лучшего слова, уже работало, молча указывая мне на то на се, заставляя собирать известные материалы для неизвестной постройки. После первого потрясенного узнавания — внезапного чувства "так *вот*, о чем я стану писать", — роман начинает вскармливать сам себя; процесс идет только в сознании, не на бумаге; и, чтобы в любой наобум выбранный миг выяснить, какой фазы развития он достиг, мне нет нужды точно осознавать каждую отдельную фразу. Я ощущаю внутри себя некий тихий рост, что-то там разворачивается, и сознаю, что все детали уже там, что на самом деле я ясно увижу их, если пригляжусь, если застопорю машину и открою ее внутреннее отделение; однако я предпочитаю ждать, пока то, что приблизительно именуется вдохновением, не закончит за меня эту работу. Затем наступает минута, когда мне сообщают изнутри, что постройка полностью завершена. Теперь остается только взять карандаш или ручку и описать ее. Поскольку это законченное строение, смутно освещенное в сознании, можно сравнить его с живописным полотном, и поскольку для должного его восприятия вовсе нет необходимости постепенно перемещаться вдоль него слева направо, я могу, принимаясь за описание картины, осветить фонариком любую ее часть или частицу. Я не начинаю роман непременно с начала. Я не добираюсь до третьей главы прежде, чем добраться до четвертой. Я не двигаюсь покорно от одной страницы к другой по порядку; нет, я выбираю кусочек тут, кусочек там, пока не заполню, на бумаге, все пустоты. Вот почему я люблю писать рассказы и романы на справочных карточках, нумеруя их позже, когда все уже кончено. Каждая карточка переписывается по многу раз. Три примерно карточки образуют одну машинописную страницу, и когда я наконец чувствую, что представившаяся мне картина скопирована настолько верно, насколько это возможно физически,— увы, всегда остается несколько незастроенных участков, — тогда я диктую роман жене, и она печатает его в трех экземплярах.

В каком смысле вы копируете "представившуюся вам картину" романа?

Творческому писателю следует внимательно изучать труды своих конкурентов, в том числе и Всемогущего. Он должен обладать врожденной способностью не только перестраивать, но и воссоздавать мир. Чтобы с успехом проделать это, избежав повторения чьих-то усилий, художник должен *знать* данный ему мир. Воображение без знания ведет лишь на задворки примитивного искусства, к каракулям ребенка на заборе или речам безумца на рыночной площади. Искусство не бывает простым. Возвращаясь ко дням моего преподавания: я автоматически снижал оценки студентам, которые прибегали к ужасной фразе "искренний и простой" — "Стиль Флобера всегда искренний и простой", — полагая, будто для прозы или поэзии это самый большой комплимент. Когда я однажды вычеркнул эту фразу, карандашом, разгневавшимся до того, что он продрал бумагу, студент пожаловался, что его всегда так учили: "Искусство — простота, искусство — искренность". Когда-нибудь я все же доберусь до источника этой пошлой чуши. Училка из Огайо? Прогрессивный осел из Нью-Йорка? Потому что, конечно же, искусство в высших своих проявлениях фантастически сложно и обманчиво.

Поговорим о современном искусстве. Критики расходятся во мнениях о современной абстрактной живописи — искренна она или обманчива, проста или сложна. Каково ваше мнение?

Я не вижу какой-либо существенной разницы между абстрактным и примитивным искусством. И то и другое искренне и просто. Естественно, в этих вопросах не следует обобщать — в счет идет только отдельный художник. Если, однако, мы на мгновенье примем общую идею "современного искусства", нам придется признать, что беда его в том, что оно слишком банально, подражательно и академично. Пятна и кляксы просто-напросто заменили общедоступные красивости столетней давности — изображения итальянских девушек, благообразных нищих, романтических руин и так далее. Но подобно тому как среди этих

банальных полотен могло попасться творение подлинного художника, с более богатой игрой света и тени, с какой-то невиданной чертой неистовства или нежности, так и в ряду банальностей примитивного или абстрактного искусства можно наткнуться на проблеск большого таланта. В картинах и книгах мне интересен только талант. Не общие идеи, а личный вклад.

Вклад в жизнь общества?

Произведение искусства ровным счетом никакого значения для общества не имеет. Оно значимо только для отдельного человека, и только отдельный читатель значим для меня. Мне наплевать на группы, сообщества, массы и тому подобное. Впрочем, мне нет дела и до лозунга "искусство ради искусства" — потому что, к сожалению, такие его проповедники, как, скажем, Оскар Уайльд и разного рода изящные поэты, были на деле отъявленными моралистами и дидактиками — нет никакого сомнения в том, что литературное произведение защищаемо от плесени и ржавчины не его значением для общества, а силой искусства в нем, и только искусства.

Что вы хотели бы совершить или превзойти — или это не должно занимать писателя?

Ну, в смысле свершений у меня, разумеется, нет тридцатипятилетнего плана или программы, но есть обоснованные подозрения, касающиеся моей посмертной жизни в литературе. Я улавливаю кое-какие намеки, ощущаю веяние неких обещаний. Несомненно, будут подъемы и спады и долгие периоды забвения. При попустительстве дьявола я открываю газету 2063 года и в какой-нибудь статье на книжной полосе нахожу следующее: "Никто теперь не читает Набокова или Фулмерфолда". Ужасный вопрос: "Кто он, этот бедный Фулмерфолд?"

Раз уж мы заговорили о самооценке — что вам кажется основным вашим недостатком как писателя — кроме того, что вас забудут?

Отсутствие непосредственности; навязчивость параллельных мыслей, мыслей второго, третьего плана; неспособность нормально выражаться ни на одном языке, не составив предварительно каждое клятое предложение в ванне, в уме, за письменным столом.

Сейчас, позвольте заметить, предложения у вас получаются совсем неплохие.

Это иллюзия.

Ваш ответ можно принять в качестве подтверждения замечаний критиков о том, что вы "неисправимый обманщик", "мистификатор" и "литературный провокатор". Кем вы себя видите?

Пожалуй, любимый мой факт, касающийся меня самого, состоит в том, что меня никогда не расстраивали желчь или жалость критиков и я ни разу в жизни не попросил о критическом отзыве и не поблагодарил за него. Второй мой излюбленный факт — или хватит одного?

Нет, пожалуйста, продолжайте.

Второй сводится к тому, что с юности — я покинул Россию в девятнадцать лет — мое политическое кредо остается таким же бесцветным и неизменным, как старая серая скала. Оно традиционно до банальности. Свобода слова, свобода мысли, свобода искусства. Общественный или экономический строй идеального государства мало меня заботит. Мои желания скромны. Портреты главы государства не должны превосходить размером почтовую марку. Никаких пыток и казней. Никакой музыки, кроме той, что звучит в наушниках или в театрах.

Почему никакой музыки?

У меня нет музыкального слуха, это недостаток, о котором я горько сожалею. Когда я бываю на концерте, — а это случается примерно раз в пять лет, — я в порядке игры стараюсь следить за связью и взаимоотношениями звуков,

но больше чем на несколько минут меня не хватает. Зрительные впечатления, отражения рук на лакированной поверхности дерева, прилежная лысина, склонившаяся над скрипкой, — все это берет верх, и вскоре движения музыкантов нагоняют на меня безмерную скуку. Я очень поверхностно знаю музыку; у меня есть особая причина считать эту мою безграмотность и неспособность прискорбной и несправедливой: в моей семье имеется превосходный певец — мой собственный сын. Его большие дарования, редкая красота его баса и ожидающая его прекрасная карьера — все это глубоко меня волнует, и я чувствую себя дураком, присутствуя при профессиональных разговорах музыкантов. Я отлично понимаю, что существует множество параллелей между художественными формами музыки и литературы, особенно по части структуры, но что я могу сделать, если слух и мозг не желают сотрудничать? Я нашел довольно необычную замену музыке в шахматах — говоря точнее, в сочинении шахматных задач.

Другая замена, конечно же, — это ваша музыкальная проза и поэзия. В качестве одного из немногих авторов, которым удавалось с такой выразительностью писать более чем на одном языке, как бы вы охарактеризовали структурные различия между русским и английским языками, на каждом из которых вы, как утверждают, пишете с одинаковой легкостью?

По простому количеству слов английский гораздо богаче русского. Это особенно заметно в существительных и прилагательных. Довольно докучливая черта, свойственная русскому, — это недостаток, неточность и неуклюжесть технических терминов. Например, простая фраза "to park a car"[1] приобретает вид — если перевести ее обратно с русского, — "to leave an automobile standing for a long time"[2]. Русский, по крайней мере благопристойный русский, куда формальней благопристойного английского. Так, русское

[1] Запарковать машину (*англ.*).

[2] Оставить автомобиль стоящим на долгое время (*букв. англ.*).

слово для "sexual" — половой — отчасти неприлично и не годится для употребления направо-налево. То же относится к русским терминам, описывающим различные анатомические и биологические понятия, которые часто и легко используются в английском разговоре. С другой стороны, русский обладает превосходством в словах, передающих оттенки движения, жестикуляции, чувства. Так, изменив начало слова, для чего существует на выбор десяток приставок, можно выразить на русском очень тонкие оттенки длительности и напряженности. Синтаксически английский исключительно гибкий инструмент, но русский допускает еще более тонкие изгибы и повороты. Переводить с русского на английский немного легче, чем с английского на русский, и в десять раз легче, чем с английского на французский.

Вы сказали, что не напишете больше ни одного романа на русском. Почему?

Во время великой и все еще невоспетой эры русского интеллектуального изгнанничества — примерно между 1920 и 1940 годом — книги, писавшиеся по-русски эмигрантами из России и публиковавшиеся эмигрантскими издательствами за границей, охотно покупались либо брались в библиотеках читателями-эмигрантами, оставаясь полностью запретными в Советской России — то же и сейчас (исключение сделано для нескольких умерших авторов, таких, как Куприн и Бунин, чьи книги, подвергнутые строгой цензуре, были недавно там переизданы), независимо от темы рассказа или стихотворения. Эмигрантский роман, напечатанный, например, в Париже и продававшийся во всей свободной Европе, мог тогда разойтись в количестве 1000 или 2000 экземпляров — это был бы бестселлер, — однако каждый экземпляр переходил бы еще из рук в руки и читался по меньшей мере двадцатью людьми или по меньшей мере пятьюдесятью за год, если попадал в русские библиотеки, которых в одной Западной Европе были сотни. Можно сказать, что эра изгнанничества закончилась во

время Второй мировой войны. Старые писатели умерли, русские издатели исчезли, и, что хуже всего, общая атмосфера эмигрантской культуры, с ее блеском, энергией, чистотой и силой отклика, истощилась до ручейка русскоязычных периодических журналов, худосочных по одаренности авторов и провинциальных по тону. Теперь о моем случае: дело было, в сущности говоря, не в финансовой стороне; не думаю, чтобы мои русские книги когда-либо приносили мне больше нескольких сот долларов в год, к тому же я стою за башню из слоновой кости и за сочинительство ради того, чтобы доставить удовольствие одному читателю — себе самому. Но нужно еще какое-то эхо, если не ответ, и умеренное умножение собственного "я" в пределах одной страны или нескольких; а если вокруг вашего письменного стола лишь пустота, желательно, чтобы это была по крайней мере звучащая пустота, а не камера с обитыми войлоком стенами. С течением времени я все меньше и меньше интересовался Россией и становился все более равнодушен к некогда мучительной мысли, что мои книги останутся там запрещенными до тех пор, пока мое неприятие полицейского государства и политического гнета будет препятствовать мне даже отдаленно задумываться о возможности возвращения. Нет, я не напишу больше ни одного романа на русском, хоть время от времени и позволяю себе два-три коротких стихотворения. Свой последний русский роман я написал четверть века назад. Но сегодня, в качестве компенсации и чтобы отдать должное моей маленькой американской музе, я занялся кое-чем иным. Хотя, возможно, говорить об этом раньше времени не следует.

Пожалуйста, расскажите.

Хорошо. Мне однажды пришло в голову, — в ту минуту я разглядывал разноцветные корешки переводов "Лолиты" на языки, которых не знаю, — на японский, финский или арабский, — что список неизбежных промахов в этих пятнадцати или двадцати версиях составит, если собрать их вместе, томик потолще любого из них. Я проверял фран-

цузский перевод, он был в общем очень хорош, но изобиловал бы неизбежными ошибками, если бы я их не исправил. Но что мог я сделать с португальским, или ивритом, или датским? Затем я представил себе еще кое-что. Я представил, как в некотором отдаленном будущем некто возьмет да и издаст русскую версию "Лолиты". Я настроил свой внутренний телескоп на эту точку отдаленного будущего и увидел, что каждый абзац, и без того полный ловушек, может подвергнуться уродливому в своей неверности переводу. В руках вредоносного ремесленника русская версия "Лолиты" могла бы полностью выродиться, оказаться испятнанной вульгарными пересказами и промахами. И я решил перевести ее сам. Сейчас у меня готово около шестидесяти страниц.

Работаете ли вы сейчас над каким-нибудь новым произведением?

Хороший вопрос, как принято выражаться на малом экране. Я только что закончил правку последней корректуры моей книги о "Евгении Онегине" Пушкина — четыре толстеньких томика, которые должны выйти в этом году в Болингеновской серии; сам перевод стихотворного текста занимает малую часть первого тома. Остаток его вместе с томами вторым, третьим и четвертым содержат пространный комментарий. Своим появлением на свет этот труд обязан замечанию, которое в 1950 году мимоходом сделала моя жена, — в ответ на высказанное мной отвращение к рифмованному переложению "Евгения Онегина", каждую строчку которого мне приходилось исправлять для моих студентов: "Почему бы тебе самому его не перевести?" И вот результат. Он потребовал примерно десяти лет труда. Только карточек скопилось в трех длинных обувных коробках около 5000; вон они стоят на полке. Мой перевод, естественно, дословный, буквальный подстрочник. Ради точности я пожертвовал всем: изяществом, музыкальностью, ясностью, хорошим вкусом, современным языком и даже грамматикой.

С учетом признаваемых вами недостатков, каких отзывов на книгу вы ожидаете?

Я, собственно, не читаю критических отзывов о себе с каким-то особым рвением или вниманием, если только они не оказываются шедеврами остроумия и проницательности, что иногда случается. И я никогда их не перечитываю, хотя моя жена все это собирает, и, может быть, я еще использую осколки наиболее уморительных откликов на "Лолиту", чтобы написать когда-нибудь краткую историю злоключений нимфетки. При этом я очень ясно помню некоторые нападки русских эмигрантских критиков, тридцать лет назад писавших о моих первых романах. Не то чтобы я был тогда более раним, но моя память определенно была более емкой и восприимчивой, да я и сам был рецензентом. В 20-х годах в меня вцепился некто Мочульский, которому никак не удавалось переварить мое совершенное равнодушие к организованному мистицизму, религии, церкви — любой церкви. Были другие критики, которые не могли простить мне, что я держусь в стороне от литературных "движений", что я не выставлял напоказ "angoisse"[1], каковую, по их мнению, надлежало испытывать поэту, что я не принадлежал ни к одной из поэтических групп, предававшихся коллективному вдохновению в задних комнатах парижских кафе. Был еще занятный случай с Георгием Ивановым, хорошим поэтом, но бранчливым критиком. Я не был знаком ни с ним, ни с его женой, литераторшей Ириной Одоевцевой, тем не менее однажды, в конце двадцатых или в начале тридцатых, я тогда писал для одной эмигрантской газеты в Берлине регулярные книжные обзоры, она прислала мне из Парижа экземпляр своего романа с лукавой надписью "Спасибо за 'Короля, даму, валета', — я, конечно, волен был понимать это как "Спасибо, что написали эту книгу", однако фраза могла также предоставить ей алиби: "Спасибо, что послали мне вашу книгу", — даром, что я никогда ничего ей не посылал. *Ее* книга оказалась прискорбно банальной, о чем я и сказал в краткой и злой

[1] Тоска, тревога (*фр.*).

рецензии. Иванов отплатил крайне личной статьей обо мне и моих сочинениях. Возможность посредством литературной критики изливать или по капле выдавливать из себя дружеские либо враждебные чувства — вот что делает это искусство таким кособоким.

Говорят, будто вы сказали: мои наслаждения — самые острые из ведомых человеку: писательство и ловля бабочек. Можно ли их в каком-то отношении сравнивать?

Нет, они принадлежат к совершенно разным типам наслаждения. И то и другое нелегко описать человеку, который их не испытал, и каждое настолько очевидно для испытавшего, что любое описание покажется поверхностным и ненужным. Что касается ловли бабочек я, пожалуй, могу выделить четыре основных элемента. Во-первых, надежда на поимку — или сама поимка — первого экземпляра какого-то неизвестного науке вида: эта мечта всегда живет в сознании любого лепидоптеролога, карабкается ли он на гору в Новой Гвинее или переходит болото в штате Мэн. Во-вторых, поимка очень редкой либо очень местной бабочки — из тех, на которых ты любовался в книгах, в мало кому известных научных журналах, на великолепных иллюстрациях знаменитых трудов, и вот ты видишь ее в полете, в ее естественной среде, среди растений и камней, приобретающих таинственную магию благодаря их интимной близости с редкостями, которых они порождают и кормят, так что и пейзаж начинает жить двойной жизнью: сам по себе, как часть прекрасной дикой природы и как среда обитания некоторой бабочки, дневной или ночной. В-третьих, существует еще интерес натуралиста к распутыванию истории жизни малоизвестных насекомых, к тому, чтобы узнать их привычки и строение, к определению их места в классификационной схеме, — схеме, которую порой удается не без удовольствия взорвать ослепительным полемическим фейерверком, когда новое открытие нарушает старую систематику и ошеломляет ее недалеких поборников. И в-четвертых, не следует игнорировать элемент спорта, удачи, быстрого движения и мужественного достижения,

страстного, напряженного поиска, завершающегося шелковистым треугольником сложенной бабочки, лежащим у вас на ладони.

А наслаждения писательства?

Они в точности соответствуют наслаждениям чтения, блаженству, упоению фразой, разделяемым писателем и читателем: обрадованным писателем и благодарным читателем, или — что одно и то же — художником, благодарным неведомой силе в его сознании, внушившей ему сочетание образов, и творческим читателем, которого это сочетание радует. Каждый хороший читатель насладился за свою жизнь несколькими хорошими книгами, так что к чему анализировать радости, известные обеим сторонам? Я пишу главным образом для художников — соучастников и соучеников. Впрочем, я так и не смог как следует втолковать некоторым из студентов моих литературных классов основы хорошего чтения — то, что вы читаете книгу истинного художника не сердцем (сердце — на редкость тупой читатель) и не столько умом, сколько умом и позвоночником. "Дамы и господа, трепет в позвоночнике — именно он по-настоящему говорит вам, что автор чувствовал и хотел, чтобы почувствовали вы". Иногда я спрашиваю себя, придется ли мне еще когда-нибудь измерить счастливыми руками ширину кафедры, нырнуть в мои заметки перед внемлющей бездной университетской аудитории.

Как вы прокомментировали бы смешанные чувства одного из критиков, выразившиеся в заявлении, что вам, несмотря на силу и оригинальность ума, "недостает обобщающего интеллекта", что вы "типичный художник, не доверяющий идеям"?

Примерно в таком же торжественном духе один закоснелый лепидоптеролог критиковал мои работы по классификации бабочек, обвиняя меня в том, что я больше интересуюсь подвидами и подродами, чем родами и семействами. Подобное отношение, я думаю, — вопрос духовного темперамента. Средне- или высоколобый мещанин никак не избавится от тайного чувства, что книга, дабы быть

великой, должна трактовать о великих идеях. О, я знаю этот тип, нудный тип! Ему подавай хорошую историйку приправленную социальной критикой; он любит, чтобы мысли и муки автора походили на его собственные; он желает, чтобы по крайней мере один из персонажей состоял у автора в подпевалах. Если он американец, в нем присутствует примесь марксистской крови; если англичанин — он сильно и смехотворно озабочен классовыми различиями; ему кажется, будто писать об идеях гораздо легче, чем о словах; ему невдомек, что он, возможно, лишь потому не находит у частного автора общих идей, что частные идеи этого автора еще не стали общими.

Достоевский, писавший о вопросах, которые большинство читателей признают универсальными и по масштабу, и по значению, считается одним из величайших писателей в мире. Тем не менее вы охарактеризовали его как "дешевого сенсуалиста, неловкого и вульгарного". Почему?

Нерусские читатели не понимают двух вещей: что не все русские любят Достоевского так, как американцы, и что большинство тех русских, которые его любят, почитают в нем мистика, а не художника. Он был пророком, трескучим журналистом и балаганного склада комиком. Я допускаю, что некоторые его сцены, некоторые из его колоссальных, фарсовых скандалов невероятно смешны. Но его чувствительных убийц и душевных проституток невозможно вынести и одной минуты — во всяком случае я как читатель не могу.

Верно ли, что вы назвали Хемингуэя и Конрада "авторами книг для юношества"?

В точности ими они и являются. Хемингуэй, конечно, лучший из двух, у него по крайности имеется собственный голос, и ему принадлежит этот чудесный, по-настоящему художественный рассказ — "Убийцы". И описание радужной рыбы и ритмического мочеиспускания в его знаменитом "рыбном" рассказе великолепны. Но я не выношу

сувенирного стиля Конрада, кораблей в бутылках и ракушечных ожерелий его романтических клише. Ни у одного из этих двух авторов я не могу найти ничего, что хотел бы написать сам. В умственном и эмоциональном отношении они безнадежно незрелы, что можно сказать и о некоторых других всеми любимых авторах, утешении и поддержке университетских студентов, к примеру... впрочем, кое-кто еще жив, а я не люблю задевать живых стариков, пока не похоронены мертвые.

А что читали вы в юном возрасте?

От десяти до пятнадцати лет, в Петербурге, я, должно быть, перечитал больше беллетристики и поэзии — английской, русской и французской, — чем за любые другие пять лет моей жизни. Мне особенно нравились Уэльс, По, Браунинг, Китс, Флобер, Верлен, Рембо, Чехов, Толстой и Александр Блок. На другом уровне моими героями были "Очный цвет", Филеас Фогг и Шерлок Хольмс. Иными словами, я был совершенно нормальным трехъязычным ребенком в семье, обладавшей большой библиотекой. Позднее, в Западной Европе, между двадцатью и сорока годами, я особенно высоко ставил Хаусмана, Руперта Брука, Нормана Дугласа, Бергсона, Джойса, Пруста и Пушкина. Некоторые из этих, самых любимых, авторов — По, Жюль Верн, Эммушка Орчи, Конан Дойль и Руперт Брук — больше не вызывают у меня прежнего восторга и трепета. Другие остаются и теперь, наверное, они уже вне изменений, во всяком случае для меня. В отличие от многих моих ровесников, я в двадцатые и в тридцатые годы не увлекался поэзией не вполне первосортного Элиота и безусловно второсортного Паунда. Я прочел их позже, году в 45-м, в гостевой комнате моих американских друзей, и не только остался совершенно равнодушен, но не смог даже понять, почему кому-то припадает охота с ними возиться. Полагаю, они сохраняют некую сентиментальную ценность для тех читателей, которые открыли их в более раннем возрасте, чем я.

Каковы ваши читательские склонности сегодня?

Обычно я читаю несколько книг сразу — старые книги, новые книги, беллетристику, не-беллетристику, стихи — что угодно, — и когда дюжина книг, грудой наваленных у моей кровати, сокращается до двух-трех, что обычно происходит к концу недели, я набираю новую кучу. Есть определенные разновидности произведений, к которым я не прикасаюсь, — детективные романы, например, я их терпеть не могу, исторические романы. Я с отвращением отношусь и к так называемым "сильным" романам, тем, что битком набиты заурядными непристойностями и стремительными диалогами, — сказать по правде, получив новый роман от исполненного упований издателя — "в надежде, что вам эта книга понравится так же, как и мне", — я первым делом проверяю, много ли в нем диалогов, и если мне кажется, что их слишком много или что они слишком длинные, я с треском захлопываю книгу и гоню ее прочь от своей кровати.

Существуют ли современные авторы, которых вы читаете с удовольствием?

У меня есть несколько любимцев — например Роб-Грийе и Борхес. Как свободно и благодатно дышится в их волшебных лабиринтах! Я люблю ясность их мысли, чистоту и поэзию, миражи в зеркалах.

Многие критики считают, что это описание не в меньшей мере подходит и к вашей прозе. В какой степени проза и поэзия пересекаются как формы искусства?

Разница в том, что я начал раньше — это ответ на первую часть вашего вопроса. Второе: да, конечно, поэзия включает все творческое сочинительство; я никогда не мог уловить никаких родовых различий между поэзией и художественной прозой. На самом деле я бы определил хорошее стихотворение любой длины как концентрат хорошей прозы с добавлением или без добавления повторяющегося ритма и рифмы. Волшебство просодии может улучшить то,

что мы называем прозой, подчеркнув все богатство смысла, но и в обычной прозе есть некоторые ритмические повторы, музыка точной фразы, биение мысли, переданной повторяющимися особенностями фразировки и интонации. Как и в современных научных классификациях, многое пересекается в наших сегодняшних понятиях прозы и поэзии. Бамбуковый мостик между ними — метафора.

Вы также писали, что поэзия передает "тайны иррационального, воспринимаемые через рациональные слова". Но многим кажется, что для иррационального мало места в век, когда точное знание науки начало проникать в самые глубинные тайны бытия. Вы согласны?

Это впечатление очень обманчиво. Журналистская иллюзия. На самом деле чем величественней наука, тем сильнее ощущение тайны. Больше того, я не верю, что какая-нибудь сегодняшняя наука раскрыла какую бы то ни было тайну. Мы, читатели газет, склонны называть "наукой" хитроумие электрика или мутную болтовню психиатра. Это в лучшем случае прикладная наука, а одно из свойств прикладной науки — это то, что вчерашний нейтрон или сегодняшняя истина назавтра умирают. Но даже для "науки" в лучшем смысле слова — как изучения видимой и осязаемой природы или как поэзии чистой математики и чистой философии — ситуация остается такой же безысходной, какой она была всегда. Мы никогда не узнаем происхождения жизни, или смысла жизни, или природы пространства и времени, или природы, или природы мышления.

Человеческое понимание этих тайн воплощено в идее Высшего существа. Последний вопрос: вы верите в Бога?

Буду совершенно искренним — я собираюсь сказать сейчас нечто, чего никогда прежде не говорил, и, надеюсь, это вызовет легкий приветственный трепет, — я знаю больше, чем могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего.

ИНТЕРВЬЮ АЛЬФРЕДУ АППЕЛЮ, СЕНТЯБРЬ 1966 г.

Многие годы библиографы и пишущие о литературе журналисты испытывали затруднения относительно того, к какой группе писателей вас следует относить — "русские" или "американские". Теперь, когда вы живете в Швейцарии, согласие, похоже, достигнуто — вы американец. Считаете ли вы сами разделения такого рода существенными для классификации вас как писателя?

Я всегда считал, даже в мою гимназическую пору, в России, что национальность стоящего писателя имеет значение второстепенное. Чем ярче выражены признаки насекомого, тем менее склонен таксономист разглядывать приколотые под расправленным образчиком этикетки с указанием места его поимки, дабы решить, к какой из расплывчато описанных рас следует насекомое отнести. Настоящий паспорт писателя — это его искусство. Писатель опознается сразу — по особому рисунку, по неповторимой раскраске. Место обитания может подтвердить верность определения, но не оно ее порождает. Известно, что недобросовестные торговцы насекомыми, случается, подделывают ярлыки с указанием этого места. Если же оставить подобные рассуждения в стороне, я считаю себя — сейчас — американским писателем, который был некогда писателем русским.

Почти все русские писатели, которых вы переводили и о которых писали, предшествовали так называемой "эпохе реализма", ценимой английскими и американскими читателями куда больше, нежели предыдущий период. Не могли бы вы сказать что-либо о вашей близости, художественной или

органической, великим писателям 1830-40-х годов, этой эры шедевров? Считаете ли вы, что ваши произведения подпадают под такую общую рубрику, как традиция русского юмора?

Вопрос о том, усматриваю ли я в себе какую-либо близость с русскими писателями девятнадцатого века или не усматриваю, имеет характер классификационный, а не исповедальный. Вряд ли отыщется хотя бы один крупный русский писатель прошлого, которого не упоминали бы в связи со мной систематизаторы. Кровь Пушкина струится в жилах современной русской литературы, и с этим ничего не поделаешь — так же как с кровью Шекспира в жилах литературы английской.

Многие из крупных русских писателей, такие, как Пушкин, Лермонтов, Белый, прославились и как поэты, и как прозаики — достижение, не частое в английской и американской литературе. Связан ли этот показательный факт с особой природой русской литературной культуры или существуют технические и лингвистические ресурсы, которые в русском языке делают подобную разносторонность возможной в большей мере? И какое различие вы, пишущий и стихи, и прозу, делаете между ними?

С другой стороны, ни Гоголь, ни Толстой, ни Чехов не были особо заметными версификаторами. Более того, в некоторых из величайших английских и американских романов довольно трудно провести разграничительную черту между поэзией и прозой. Думаю, вам следовало использовать в вашем вопросе термин "рифмованная поэзия", и тогда я мог бы ответить, что русские рифмы несравнимо привлекательнее и обильнее английских. Не диво, что русский прозаик похаживает к этим прелестницам, особенно в юности.

Кто из великих американских писателей вам нравится больше всего?

В юности я любил По, а Мелвилла, которого в отрочестве не читал, люблю и поныне. К Джеймсу я испытываю

сложные чувства. В сущности говоря, он мне очень не нравится, но время от времени рисунок какой-нибудь фразы, поворот эпитета, винт, на котором крепится нелепое наречие, вызывают во мне своего рода электрическое покалывание, как будто некие его токи текут также в моей крови. Готорн — превосходный писатель. Поэзия Эмерсона упоительна.

Вы часто говорили о том, что не принадлежите "к какому-либо объединению или клубу", и я задаюсь вопросом, не исторические ли примеры того, как русские писатели позволяли идеологии играть определяющую, если не разрушительную, роль в их искусстве — кульминация этого процесса породила в наше время "социалистический реализм", — в конечном итоге и сформировали ваш скептицизм и неприязнь по отношению к любого рода дидактике. Какие из этих "исторических примеров" осознаются вами наиболее отчетливо?

Моя неприязнь к объединениям это скорее проявление темперамента, чем плод осведомленности и осмысления. Таким уж я уродился и потому всю жизнь инстинктивно ненавидел идеологическое принуждение. Кстати сказать, эти "исторические примеры" не столь уж отчетливы и очевидны, как вы, похоже, считаете. Мистическое нравоучительство Гоголя, утилитарное морализаторство Толстого или реакционный журнализм Достоевского — все это предметы их собственной неумелой выделки, и в конечном итоге никто их всерьез не воспринимает.

Не могли бы вы рассказать немного о спорах вокруг биографии Чернышевского в "Даре"? Вам уже случалось вкратце высказываться на эту тему, и все же, поскольку исключение этой главы из романа в тридцатые годы содержит в себе столько возвышенной иронии, что, кажется, оправдывает потребность в пародии именно такого рода, я думаю, вашим читателям будет весьма интересно узнать об этом побольше, тем более что об эмигрантском сообществе, о его журналах и о роли интеллигентов в нем известно очень немногое. Если вы

хотели бы рассказать что-либо об отношениях между писателем и этим миром, пожалуйста, расскажите.

Все, что можно сказать полезного о написанной графом Годуновым-Чердынцевым биографии Чернышевского, уже сказано в “Даре” Кончеевым. Могу лишь добавить, что задаче сбора материала для главы о Чернышевском я посвятил не меньше честного труда, чем сочинению поэмы Шейда в “Бледном пламени”. Что касается исключения этой главы редакторами “Современных записок”, это действительно было беспрецедентным случаем, совершенно не вязавшимся с замечательной широтой их взглядов, поскольку обычно, принимая или отвергая литературные произведения, они руководствовались исключительно художественными соображениями. Что до последней части вашего вопроса, то переработанная четырнадцатая глава в “Память, говори” содержит всякого рода дополнительные сведения.

Что вы думаете о русской антиутопической традиции (если ее можно так назвать), начиная с “Последнего самоубийства” и “Города без имени” в “Русских ночах” Одоевского и кончая брюсовской “Республикой Южного Креста” и замятинским “Мы” (это лишь несколько примеров)?

Я к этим сочинениям безразличен.

Верно ли, что “Приглашение на казнь” и “Под знаком незаконнорожденных” представляют собой насмешливо-антиутопические романы, из которых изъята их идеологическая сердцевина — тоталитарное государство становится в них доведенной до крайних пределов фантастической метафорой несвободы разума, так что темой этих романов оказывается не столько политика, сколько сознание?

Да, пожалуй.

По поводу идеологии — вы часто выражали враждебность к Фрейду, она особенно заметна в написанных вами предисловиях к переводам ваших романов. Кое-кто из читателей

гадает, какие из работ и теоретических положений Фрейда задевают вас сильнее и почему. Пародии на Фрейда в "Лолите" и в "Бледном пламени" предполагают более подробное знакомство с добрым доктором, нежели то, в котором вы признаетесь публично. Что бы вы могли на это ответить?

Ох, мне не хотелось бы снова обсуждать это посмешище. Он не заслуживает внимания большего, чем то, которое я уделил ему в моих романах и в "Память, говори". Пусть легковерные и недалекие люди продолжают верить, будто им удастся излечить все свои душевные скорби ежедневным прикладыванием греческих мифов к детородным органам. Меня это мало заботит.

Ваше презрение к "стандартизированным символам" Фрейда распространяется на положения немалого числа других теорий. Находите ли вы какую-нибудь пользу в литературной критике вообще, и если находите, какого рода критику вы бы выделили? Какую разновидность критики вы считаете безосновательной (в лучшем случае), можно понять, читая "Бледное пламя".

Я дал бы начинающему литературному критику следующие советы. Учитесь распознавать банальное. Помните, что посредственность кормится "идеями". Опасайтесь модной проповеди. Спрашивайте себя, не является ли обнаруженный вами символ отпечатком собственной вашей ноги? Сторонитесь аллегорий. В любом случае ставьте "как" выше "что", но не смешивайте его с "ну и что". Доверяйте внезапному восстанию ваших спинных волосков. И не приплетайте сюда Фрейда. Все остальное зависит от личной одаренности.

Случалось ли вам как писателю находить критику поучительной — не столько рецензии на ваши книги, сколько критику вообще? Считаете ли вы, исходя из собственного опыта, что академическая и литературная карьеры подпитывают одна другую? Поскольку в наши дни многим писателям не остается иного выбора, кроме жизни в университет-

ском кампусе, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение на этот счет. Согласны ли вы, что на ваши американские произведения решающее влияние оказало то обстоятельство, что вы были частью ученого сообщества?

Я нахожу наиболее поучительной такую критику, посредством которой специалист доказывает мне, что факты и грамматика, на которые я опираюсь, неверны. Академическая карьера особенно помогает писателю двояко: 1) легкостью доступа к великолепным библиотекам и 2) продолжительными каникулами. Конечно, приходится еще и преподавать, однако у старых профессоров имеются молодые ассистенты, которые проверяют за них экзаменационные работы, а молодых ассистентов, тоже как-никак писателей, провожают, когда они проходят коридорами Идол-холла, обожающие взгляды. С другой стороны, наилучшая наша награда, а именно эхо нашего разума в других разумах, перенимающих, годы спустя, наши вибрации, — заставляет преподавателей-писателей вырабатывать, сочиняя свои лекции, ясность и честность слога.

Каковы, по-вашему, возможности жанра литературной биографии?

Очень интересно писать и, как правило, куда менее интересно читать. Иногда это занятие превращается в подобие как бы удвоенной игры в салки: сначала биограф гоняется за своей добычей, продираясь сквозь письма, дневники и трясины домыслов, а затем соперник-специалист принимается гонять изгваздавшегося биографа.

Некоторые критики склонны считать романные совпадения надуманными и чрезмерными. Помню, вы сами говорили в Корнеле о грубости использования совпадений Достоевским.

Тем не менее в “реальной” жизни они встречаются. Прошлым вечером вы рассказали нам за обедом очень смешную историю о том, как в Германии пользуются званием “доктор”, и едва утих мой раскатистый хохот, я услышал, как женщина за соседним столом говорит своему

спутнику, чистым французским голоском, пробивающимся сквозь ресторанные звон и шарканье: "Конечно, у немцев никогда не поймешь, кто такой их "доктор" — дантист или юрист". В "реальной" жизни очень часто сталкиваешься с людьми или событиями, которым самое место в романе. В литературном произведении нас раздражают не столько совпадения, сколько совпадения совпадений в произведениях разных авторов, как, скажем, то и дело используемый в русской литературе девятнадцатого века прием подслушивания.

Не скажете ли вы несколько слов о ваших писательских привычках, о том, как вы сочиняете свои романы. Составляете ли вы план или схему? Ощущаете ли направление, в котором будет развиваться произведение уже на ранних этапах его сочинения?

В мои двадцать лет и в начале тридцатилетней поры я писал, окуная перо в чернила и меняя его через день, в толстых школьных тетрадях, вычеркивая, вставляя, снова вычеркивая, выдирая и сминая страницу, переиначивая каждую раза по три-четыре, затем переписывая роман — чернилами другого цвета и почерком поопрятнее, затем переправляя все еще раз и наконец диктуя жене, которая перестучала все, мною написанное. Вообще говоря, я писатель не скорый, — улитка, которая тащит свой домик со скоростью в две сотни окончательно отделанных страниц в год (единственное разительное исключение составил русский оригинал "Приглашения на казнь", первый черновик которого я написал за две недели восхитительного возбуждения и сдерживаемого вдохновения). В те дни и ночи я, когда писал роман, обыкновенно следовал порядку глав, но и при этом с самого начала в очень значительной степени полагался на сочинительство, которое происходило в уме, — иногда я выстраивал целые абзацы, расхаживая по улицам, сидя в ванне или лежа в постели, впоследствии, впрочем, нередко вымарывая их или переписывая. Человеком почти уже сорокалетним, начиная с "Дара", и, возможно, причина тому — обилие заметок, которых этот роман потребовал,

я перешел на другой, в физическом отношении более практичный метод — а именно стал писать снабженным ластиком карандашом на справочных карточках. Поскольку передо мной или надо мной с самого начала присутствует удивительно ясный предварительный образ романа, карточки кажутся мне особенно удобными, когда я не следую логической последовательности глав, сочиняя взамен тот или иной пассаж, который может занимать в романе какое угодно место, и заполняя оставшиеся прогалы также без соблюдения какого-либо порядка. Не хочется припутывать сюда Платона, к которому я равнодушен, однако похоже, что в моем случае утверждение о существовании целостной, еще не написанной книги в каком-то ином, порою прозрачном, порою призрачном измерении является справедливым, и моя работа состоит в том, чтобы свести из нее на землю все, что я способен в ней различить, и сделать это настолько точно, насколько оно человеку по силам. Величайшее счастье я испытываю, сочинительствуя, когда ощущаю свою неспособность понять — или, вернее, ловлю себя на такой неспособности (без допущения об уже существующем творении), — как или почему меня посещает некий образ, или сюжетный ход, или точно построенная фраза. Иногда бывает забавно видеть, как читатели пытаются дать простое истолкование этим буйным порождениям моего не весьма рационального сознания.

Часто приходится слышать рассказы писателей о том, как персонажи берут над ними верх и в каком-то смысле диктуют им ход событий. Вы такое когда-либо испытывали?

Никогда не испытывал. Что за нелепость! Писатель, с которым случается нечто подобное, либо совсем никуда не годится, либо страдает умственным расстройством. Нет, замысел романа закреплен в моем воображении накрепко, и каждый персонаж следует тем путем, который я для него навоображал. Я в этом частном мире — абсолютный диктатор, постольку поскольку только я один и отвечаю за его прочность и подлинность. Другой вопрос — воспроизвожу ли я его так полно и правильно, как мне бы того хотелось.

В некоторых из моих давних сочинений обнаруживаются прискорбные расплывчатости и пустоты.

Кое-кто из читателей находит, что "Бледное пламя" — это своего рода интерпретация платоновского мифа о пещере, а постоянная игра Шейдов и Теней в вашем романе наводит даже на мысль о сознательном платонизме. Вы не согласитесь высказаться на этот счет?

Как я уже сказал, я не большой любитель Платона, тем более что при его немецком режиме, замешанном на милитаризме и музыке, я вряд ли смог бы долго протянуть. Не думаю, что эта его пещера имеет какое бы то ни было отношение к моему Шейду и моим Теням.

Поскольку мы упомянули философию, как таковую, может быть, нам стоит поговорить о философии языка, которая, как представляется, раскрывается в ваших произведениях, и о том, осознаете ли вы сходство между, скажем, земблянским языком и тем, что Людвиг Витгенштейн говорил о "приватном языке"? Ощущение ограниченности языка вашим поэтом поразительно напоминает замечание Витгенштейна о референтной основе языка. Живя в Кембридже, вы часто соприкасались с философским факультетом?

Вообще не соприкасался. О трудах Витгенштейна мне ровным счетом ничего не известно, да и само его имя я услышал в пятидесятые, должно быть, годы. В Кембридже я играл в футбол и писал русские стихи.

Когда в Песни второй Джон Шейд говорит о себе: "Стоя у окна, я подрезаю ногти", возникает перекличка со словами Стивена Дедала из "Портрета художника в юности" о художнике, который "остается внутри, позади и поверх или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти". Почти во всех ваших романах — особенно в "Приглашении на казнь", "Под знаком незаконнорожденных", "Бледном пламени" и "Пнине" — да даже в "Лолите", в лице седьмого охотника из пьесы

Куильти и в нескольких других фосфоресцирующих проблесках, различаемых внимательным читателем, — творец действительно находится за или над своим творением, однако он не невидим и, уж конечно, не бесстрастен. До какой степени вы сознательно "отвечаете" Джойсу в "Бледном пламени" и как вы относитесь к его эстетической позиции — или предполагаемой позиции, поскольку вы, вероятно, можете считать, что замечание Стивена к "Улиссу" неприложимо?

Ни Кинбот, ни Шейд, ни их создатель не отвечают Джойсу в "Бледном пламени". На самом деле "Портрет художника в юности" никогда мне не нравился. По-моему, это невыразительная и слишком многословная книга. Приведенная вами фраза — просто неприятное совпадение.

Вы признавались, что на вас большое влияние оказал Пьер Делаланд, я со своей стороны готов допустить, что разговоры о влияниях, когда они сводятся к попыткам поставить под сомнение оригинальность писателя, принижают и оскорбляют его. И все же, если говорить о вас и Джойсе, мне кажется, что вы сознательно используете созданный Джойсом прецедент, не прибегая при этом к имитации, — что вы создаете присущую "Улиссу" игру и перекличку смыслов, не прибегая к явственно джойсовским приемам (поток сознания, эффект коллажа, создаваемый нагромождением реалий повседневной жизни). Не могли бы вы сказать о том, что значил для вас Джойс как писатель и, в частности, его огромная роль в высвобождении и развитии романной формы?

Моя первая настоящая встреча с "Улиссом", после того как я мельком проглядел его в начале двадцатых, произошла в тридцатые годы — к тому времени я уже определенно сложился как писатель и к литературным влияниям был невосприимчив. Серьезным изучением "Улисса" я занялся еще позже, в пятидесятые годы, когда готовил корнельский курс лекций. Оно составило лучшую часть образования, полученного мной в Корнеле. "Улисс" возвышается над остальными произведениями Джойса, и в сравнении с его благородной оригинальностью и неповторимой ясностью мысли и слога несчастные "Поминки по Финнегану" это

не что иное, как бесформенная и тоскливая масса фальшивого фольклора, холодный пудинг, устойчивый храп в соседней комнате, страшно досаждающий человеку вроде меня, и без того изнывающему от бессонницы. К тому же я всегда питал отвращение к региональной литературе с ее чудаковатыми старожилами, подделывающимися под местный выговор. За фасадом "Поминок по Финнегану" кроется весьма заурядный, тусклый доходный дом, и лишь нечастые промельки изумительной интонации спасают его от совершенной скуки. Я сознаю, что навлеку на себя анафему этим высказыванием.

Не помню, говорили ли вы, читая лекции по Джойсу, о спиральной структуре "Улисса", однако помню, как вы настаивали на том, что галлюцинации в Ночном городе порождены сознанием автора, а не Стивена или Блума, а отсюда уже один шаг до обсуждения спиральности. "Индустрия Джойса" почти полностью игнорирует эту сторону "Улисса", по-видимому представляющую для вас большой интерес. Если прерывающаяся местами спираль Джойса заслоняется колоссальным размером его творения, то относительно ваших романов можно сказать, что их структура определяется стратегией спирального движения. Не могли бы вы прокомментировать это утверждение или сравнить ваши ощущения от присутствия Джойса внутри и над его произведениями с задачами, которые вы ставили перед собой, — я имею в виду скрытые появления самого Джойса в "Улиссе"; всю тему Шекспира-отца, в конечном итоге разворачивающуюся в идею "родословной" самого "Улисса"; прямое обращение Шекспира к Джойсу в Ночном городе ("Как там у меня Отелло отельчески придушил свою Вездеходу!"); обращенную к Джойсу мольбу Молли: "О Джеймси, выпусти меня отсюда" — все это спорит с голосом автора или с тем, что вы назвали "антропоморфным божеством, изображаемым мною", вновь и вновь появляющимся в ваших романах и особенно явственным в финалах.

Одна из причин, по которой Блум не мог играть активную роль в главе о Ночном городе (а если так, стало быть,

именно автор создает для него и вокруг него эту грезу с вкраплением там и сям нескольких "реальных" эпизодов), состоит в том, что Блум, как-никак мужчина в летах, истощил свою мужскую силу еще в начале этого вечера и оттого вряд ли способен предаваться буйным эротическим фантазиям Ночного города.

Говоря об идеальном случае, как должен реагировать читатель на слово "Конец" в одном из ваших романов, что он должен испытывать в тот миг, когда убираются все указатели и читателю ясно дается понять, что перед ним — вымысел, и форма, использованная для отливки, снимается прямо у него на глазах? Какого рода общее ощущение от литературы вы стремитесь создать?

Вопрос сформулирован столь очаровательно, что я с удовольствием ответил бы на него с неменьшим изяществом и красноречием, однако сказать мне, в сущности, нечего. Пожалуй, я был бы рад, если бы под конец моей книги у читателя возникало ощущение, что мир ее уменьшается, удаляясь, и замирает где-то там, вдали, повисая, словно картина в картине: "Мастерская художника" кисти Ван Бока[1].

Возможно, мое восприятие несовершенно, но последние предложения "Лолиты" всегда вызывали у меня некоторое недоумение, быть может, потому, что смена интонации к концу других ваших книг ощущается столь явственно. Так вот, предполагается ли, что мы "слышим" другой голос, когда замаскированный рассказчик произносит: "И не жалей К. К. Пришлось выбрать между ним и Г. Г., и хотелось дать Г. Г. продержаться..." — и так далее? Переход к "я" в следующем предложении заставляет меня думать, что маска так и

---

[1] Предпринятые изыскания не смогли подтвердить существование этого предполагаемого "голландского мастера", имя которого отстоит лишь на один азбучный шаг от значащей анаграммы, представляясь бедным родственником анаграмматической любовницы Куильти — "Вивиан Дамор-Блок". (*Прим. А. Аппеля.*)

осталась неснятой, однако читатели, прошедшие школу "Приглашения на казнь", не говоря уж об иных книгах, привыкают искать отпечаток "большого пальца мастера", который, если процитировать Фрэнклина Лейна из "Бледного пламени", "проезжается" по книге "разом придав всей путаной, пугающей канители прекрасную прямоту".

Нет, я не намеревался вводить новый голос. Я хотел, однако, передать стеснение больного сердца рассказчика, предупреждающий спазм, который заставляет его, спешащего закончить повествование, пока еще не слишком поздно, ограничиваться инициалами вместо имен. Я рад, что мне удалось достигнуть в конце этой отстраненности тона.

А "Письма" Фрэнклина Лейна действительно существуют? Не хочется выглядеть мистером Гудменом из "Подлинной жизни Себастьяна Найта", но, насколько я понимаю, сам Фрэнклин Лейн существовал.

Фрэнклин Лейн, его опубликованные письма и место, цитируемое Кинботом, существуют безусловно. Кинбота отчасти поразил приятный, меланхолический облик Лейна. Ну и, разумеется, "lane" — последнее слово в поэме Шейда. Это, впрочем, никакого значения не имеет.

Как вам кажется, в каком из ваших ранних произведений перед вами впервые возникли возможности, так полно развитые в "Приглашении на казнь" и достигшие апофеоза в "тайном жилье" "Бледного пламени"?

Возможно, в "Соглядатае", хотя "Приглашение на казнь" является в целом спонтанным всплеском самозарождения.

Существуют ли еще писатели, чьи "спиральные" эффекты вызывают ваше восхищение? Стерн? Пьесы Пиранделло?

Пиранделло всегда оставлял меня равнодушным. Стерна я люблю, но в русский свой период я его не читал.

В Корнеле, после лекции, вы однажды сказали мне, что не смогли прочитать больше ста страниц "Поминок по Финнегану". Между тем на 104-й странице начинается кусок, по духу очень близкий "Бледному пламени", и я часто гадаю: прочли ли вы его и заметили ли сходство? Это история всех изданий и интерпретаций "Письма" Анны Ливии Плюрабель (или "мамафесты"), включающая и его текст. На трех страницах перечисляются заголовки, под которыми публиковалось письмо АЛП, в их число Джойс включает "Try our Taal on a Taub"[1] *(чем мы с вами сейчас и занимаемся). Мне интересно услышать ваше мнение относительно вклада Свифта в литературу, посвященную порче языка и литературы. Случайно ли "Предисловие" Кинбота к "Бледному пламени" датировано 19 октября, днем смерти Свифта?*

"Поминки по Финнегану" я в конце концов дочитал. Внутренней связи между ними и "Бледным пламенем" не существует. То обстоятельство, что день, в который Кинбот покончил с собой (что он, несомненно, сделал, завершив подготовку поэмы к изданию), оказался годовщиной и пушкинского Лицея, и кончины "несчастного Свифта" — последнее для меня новость (см., впрочем, вариант в примечании к строке 231), — меня, пожалуй, радует. Как и Пушкина, меня зачаровывают пророческие даты. Более того, датируя какое-либо важное событие в своих романах, я часто выбираю в качестве point de repère[2] дату более или менее знакомую (что помогает отыскивать в гранках возможные опечатки) — примером служит "1 апреля" из дневника Германа в "Отчаянии".

Упоминание о Свифте подсказывает мне вопрос о жанре "Бледного пламени"; если говорить о "кошмарном сходстве

---

[1] Что-то вроде "Поговорите с глухим на нашем бурском языке". Голландским taal (язык, речь) в английском языке обозначается язык буров; немецкое taub — "глухой". Подразумевается также "Сказка бочки" ("Tale of a Tub") Дж. Свифта.

[2] Точка опоры (*фр.*).

с романом", — усматриваете ли вы его в верности определенной традиции или форме?

Форма "Бледного пламени" нова в видовом, если не в родовом отношении. Я хотел бы воспользоваться этой приятной возможностью, чтобы исправить следующие опечатки во втором путнамовском издании 1962 года. <...>[1] Благодарю вас.

Проводите ли вы отчетливое разграничение между сатирой и пародией? Я задаю этот вопрос потому, что вы не раз говорили о своем нежелании быть принимаемым за "сатирика нравов", и тем не менее часто кажется, что пародия — основа вашего видения мира.

Сатира — поучение, пародия — игра.

Десятая глава "Подлинной жизни Себастьяна Найта" содержит замечательное описание того, как работает в ваших романах пародия. Представляется, однако, что ваше понимание "пародии" значительно расширяет пределы ее привычного определения, примером может служить Цинциннат, который в "Приглашении на казнь" говорит своей матери: "Я же отлично вижу, что вы такая же пародия, как все, как все... Нет, вы все-таки только пародия... Как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов..." Стало быть, любое искусство или по крайней мере любые потуги на "реалистическое" искусство, по-видимому, порождают искажение, "пародию". Не могли бы вы объяснить, что вы понимаете под пародией и почему, как говорит Федор в "Даре", "пародия всегда сопутствует истинной поэзии"?

Когда поэт Цинциннат Ц. в самом грезоподобном и поэтичном из моих романов обвиняет собственную мать (не вполне заслуженно) в том, что она — пародия, он

---

[1] Далее следует список опечаток, к которому Аппель добавляет собственный, касающийся издания, выпущенного в мягкой обложке издательством "Lancer Books". По понятным причинам мы эти списки не приводим. (*Прим. пер.*)

использует это слово в привычном смысле: "гротескная имитация". Когда же Федор в "Даре" упоминает о "духе пародии", радугой играющем над струей подлинной "серьезной" поэзии, он говорит о пародии как о легкомысленной, тонкой, пересмешливой игре, такой, как пушкинская пародия на Державина в "Exegi monumentum".

Как вы относитесь к пародиям Джойса? Видите ли вы какие-либо различия в художественном воздействии таких эпизодов, как сцена в родильном приюте и пляжная интерлюдия с Герти Макдауэл? Знакомы ли вы с произведениями молодых американских авторов, на которых повлияли и вы, и Джойс, таких, как Том Пинчон (корнелианец выпуска 1959 года, посещавший ваш "Литературный-312"), составили ли какое-либо мнение о современных наследниках так называемого романа-пародии (Джоне Барте, к примеру)?

Литературные пародии в главе о родильном приюте в целом неинтересны. По-видимому, Джойсу помешал общий выхолощенный тон, который избран им для этой главы и который овеял скукой и монотонностью ее вставные сатиры. С другой стороны, пародия на жеманные рассказики в сцене мастурбации очень удачна, а внезапное соединение ее штампов с фейерверками и нежным небом истинной поэзии — это пиршество гения. С произведениями двух других названных вами авторов я не знаком[1].

Почему вы в "Бледном пламени" называете пародию "последним приютом остроумия"?

Это Кинбот ее так называет. Некоторых людей пародия выводит из себя.

Соотносится ли каким-либо образом связь между построением "Лолиты" и "Память, говори", двух очень непохожих книг,

---

[1] Миссис Набокова, выставлявшая вместо мужа оценки за экзаменационные работы, запомнила Пинчона, но только благодаря его "необычному" почерку: половина букв печатные, половина — письменные. (*Прим. А.Аппеля.*)

посвященных колдовскому воздействию прошлого, с тем, как связаны между собой переводы "Слова о полку Игореве" и "Евгения Онегина" с "Бледным пламенем"? Работу над примечаниями к "Онегину" вы закончили до того, как приступили к "Бледному пламени"?

Да, я закончил примечания к "Евгению Онегину" до того, как начал "Бледное пламя". Флобер говорит в одном из своих писем, имея в виду определенный эпизод "Мадам Бовари", о трудностях, связанных с живописанием "coleur sur coleur"[1]. Примерно это я и пытался сделать, переиначивая собственный опыт, когда выдумывал Кинбота. "Память, говори" строго автобиографична. В "Лолите" ничего автобиографического нет.

Хотя самопародирование представляется существенной составляющей вашего творчества, вы остаетесь писателем, страстно верующим в главенство воображения. Тем не менее в ваших романах полно деталей, которые кажутся намеренно извлеченными из вашей же жизни, что становится особенно ясным при чтении "Память, говори" — даже если не обращать внимания на такие важные структурные элементы, как мотив бабочки, сквозящий в столь многих ваших книгах. Создается впечатление, что эти детали нужны вам не просто для создания ощущения многослойности повествования, что они выражают присущее вам отчетливое представление о взаимоотношениях между самопознанием и художественным творчеством, самопародией и цельностью личности. Что бы вы могли сказать об этом и о значении автобиографических намеков в произведениях, которые не являются автобиографическими в прямом смысле этого слова?

Я сказал бы, что воображение — это форма памяти. Лежать, Платон, лежать, хорошая собачка. Воображение зависит от ассоциативной силы, а ассоциации питаются и подсказываются памятью. Когда мы говорим о живом личном воспоминании, мы отпускаем комплимент не нашей способности запомнить что-либо, но загадочной пре-

[1] Красками по краскам (*фр.*).

дусмотрительности Мнемозины, запасшей для нас впрок тот или иной элемент, который может понадобиться творческому воображению, чтобы скомбинировать его с позднейшими воспоминаниями и выдумками. В этом смысле и память, и воображение являются формами отрицания времени.

Ч. П. Сноу жаловался на разрыв между "двумя культурами", присущими литературному и научному сообществам. Считаете ли вы, как человек, перебросивший мостик через этот разрыв, что наука и литература по необходимости противостоят одна другой? Повлиял ли каким-либо образом ваш опыт ученого на вашу художественную деятельность? Имеет ли смысл, с вашей точки зрения, попытка описать структуры некоторых ваших романов на языке физики?

Я мог бы сравнить себя с Колоссом Родосским, расставившим ноги над пропастью, которая разделяет термодинамику Сноу и лоренсоманию Ливиса, если бы эта пропасть не была всего-навсего ямкой в канаве, над которой способен стоять враскоряку и лягушонок. Популярные ныне словечки вроде "ученый" и "яйцеголовый" пробуждают в моем воображении безотрадный образ прикладной науки, сноровку электрика, починяющего на скорую руку бомбы и прочие полезные приспособления. Одна из этих "двух культур" представляет собой не что иное, как утилитарную технику, другая — второсортные романы, идеологическую беллетристику, популярное искусство. Кому какое дело — существует ли разрыв между такой "физикой" и такой "литературой"? Все эти "яйцеголовые" — жуткие мещане. По-настоящему хорошая голова имеет не овальную, а круглую форму.

Как же и через какое окно проникает сюда лепидоптера?

Моя страсть к лепидоптерологическим исследованиям — в поле, в лаборатории, в библиотеке — доставляет мне даже большее удовольствие, чем изучение литературы и занятие ею, а этим немало сказано. Лепидоптерологи — ученые

неприметные. Уэбстер не упоминает ни одного. Но пусть его. Я переработал классификацию различных групп бабочек, описал и изобразил несколько видов и подвидов. Данные мною названия микроскопических органов, которые я первым увидел и зарисовал, надежно обосновались в биологических словарях (сравните это с жалкой статьей, озаглавленной "нимфетка", в последнем издании Уэбстера). Осязательные наслаждения точной прорисовки, безмолвный рай камеры-люциды, поэтическая точность таксономического описания — вот в чем проявляется артистическая сторона пронзительного удовольствия, которым накопление нового знания, для неспециалиста совершенно бесполезного, награждает виновника его появления на свет. Для меня "наука" — это прежде всего естествознание. Не умение починить радиоприемник — с этим справляются и самые тупые пальцы. И оставляя в стороне эти основополагающие соображения, я, разумеется, приветствую взаимный обмен терминологией между любой ветвью науки и любой гроздью искусства. Без фантазии нет науки, и нет искусства без фактов. Пристрастие к афоризмам обличает атеросклероз.

В "Бледном пламени" Кинбот жалуется, что "явилось лето и привело за собой оптические затруднения". Название "The Eye"[1] нравится мне тем, что эти затруднения действительно пронизывают ваше творчество; восприятие "реальности" выглядит в нем чудом вйдения, а сознание — оптическим по сути своей инструментом. Вы когда-нибудь изучали оптику? И что вы можете сказать о вашем собственном зрительном чувстве, о том, насколько оно помогает вам в вашей литературной деятельности?

Боюсь, вы вырвали цитату из контекста. Кинбот просто раздражен тем, что разросшаяся по летней поре листва мешает ему подглядывать. С другой стороны, вы правы в том, что зрение у меня хорошее. Фоме неверующему

---

[1] *Букв.* "Глаз". Так в английском переводе называется "Соглядатай". (*Прим. пер.*)

следовало бы носить очки. Впрочем, верно и то, что даже при наилучшем зрении полную уверенность в "реальности" вещей удается получить, лишь прикасаясь к ним.

Вы говорили, что Ален Роб-Грийе и Хорхе Луис Борхес принадлежат к числу любимых вами современных писателей. Находите ли вы какое-либо сходство между ними? Считаете ли, что романы Роб-Грийе свободны, как сам он уверяет, от "психологии"?

Уверения Роб-Грийе нелепы. Такого рода манифесты, эти додо, умирают вместе с дада. Его произведениям присущи великолепные поэтичность и оригинальность, смещение уровней, интерпретация последовательных впечатлений и тому подобное; все это, разумеется, принадлежит психологии — психологии в лучших ее проявлениях. Борхес также является человеком бесконечно талантливым, однако его миниатюрные лабиринты устроены совсем иначе, чем просторные лабиринты Роб-Грийе, и освещение в них другое.

Я помню по Корнелю ваши юмористические замечания о "телепатических" связях двух писателей (по-моему, вы сравнивали Диккенса с Флобером). Вы с Борхесом оба родились в 1899-м (как, впрочем, и Хемингуэй!). Ваш роман "Под знаком незаконнорожденных" и рассказ Борхеса "В кругу развалин" концептуально схожи, однако по-испански вы не читаете, а на английский этот рассказ был переведен в 1949 году, через два года после появления "Под знаком...", точно так же в "Тайном чуде" Борхеса Хладик сочиняет драму в стихах, поразительно похожую на вашу недавно переведенную на английский пьесу "Изобретение Вальса", — она хоть и написана раньше рассказа Борхеса, но прочесть ее по-русски он никак не мог. Когда вы впервые познакомились с произведениями Борхеса и существовали ли между вами какие-либо связи или контакты — помимо телепатических?

Рассказ Борхеса я впервые прочел года три-четыре назад. До той поры я не ведал о его существовании, как,

думаю, и он ничего обо мне не знал, да скорее всего и не знает. Так что с телепатией тут особенно не развернешься. Сходство существует также между "Приглашением на казнь" и "Замком", однако я еще не прочел Кафку, когда писал свой роман. Что до Хемингуэя, я первый раз читал его в начале сороковых — что-то такое о колоколах, быках и танцах, страшно мне не понравившееся. Позже я прочел его восхитительных "Убийц" и чудесный рассказ о ловле рыбы, меня попросили перевести его на русский язык, но я по какой-то причине не смог этого сделать.

Вашей первой книгой был перевод на русский язык Льюиса Кэрролла. Усматриваете ли вы какую-либо связь между кэрролловской идеей "нонсенса" и вашими фиктивными, или "поместными", языками из "Под знаком незаконнорожденных" и "Бледного пламени"?

Как и множество других английских детей (а я был английским ребенком), я обожал Кэрролла. Нет, не думаю, чтобы его выдуманный язык имел какие-нибудь общие корни с моим. Он обладает трогательным сходством с Г. Г., однако некая странная щепетильность удержала меня от того, чтобы намекнуть в "Лолите" на его извращенность и на те двусмысленные фотографии, которые он делал в сумрачных комнатах. Ему это сошло с рук, как многим другим викторианцам сходила с рук педерастия и нимфолепсия. Его влекли грустные, сухопарые нимфетки, чумазые и полураздетые или, скорее, полуразвернутые, словно бы участвующие в некой скучной и скверной шараде.

У вас большой переводческий опыт, да и в вашем творчестве перевод играет немалую роль. Какие основные проблемы бытия кажутся вам связанными с искусством и самим актом перевода?

Существует одна маленькая малайская птичка из семейства дроздовых, которая, как рассказывают, поет только когда ее несказуемым образом мучает на ежегодном Празднике цветов специально обученный ребенок. Или вот еще Казанова, который предается любви с девкой, поглядывая

в окно, за которым неописуемо терзают Дамьена. Таковы видения, томящие меня, когда я читаю "поэтические" переводы русских поэтов-мучеников, сделанные кое-кем из моих прославленных современников. Скончавшийся под пыткой автор и обманутый читатель — вот неизбежный итог претендующих на художественность переложений. Единственная цель и оправдание перевода — дать наиболее точные из возможных сведения, а для этого годен лишь буквальный перевод, причем с комментарием.

Разговор о переводе напомнил мне одну из кинботовских проблем, с которыми сталкиваются критики, рассуждающие о переводах ваших русских романов, не зная при этом русского языка. Немало сказано о том, что переводы таких книг, как "Защита Лужина" и "Отчаяние", должны содержать множество стилистических изменений (каламбуров — определенно) и что вообще язык их богаче, чем в "Смехе в темноте", написанном примерно в то же время, но в отличие от других ваших книг переведенном еще в тридцатые годы. Вы могли бы это прокомментировать? Стиль "Смеха в темноте" позволяет предположить, что он предшествовал "Отчаянию", вероятно, он был на самом деле написан много раньше: в интервью Би-би-си, данном четыре года назад, вы сказали, что написали "Смех в темноте" в двадцать шесть лет, то есть в 1925 году, таким образом, это ваш первый роман. Вы действительно написали его так рано или, когда вы назвали свой возраст, вас подвела память — несомненно из-за отвлекающего присутствия машинерии Би-би-си?

Я изменил в этих романах кое-какие детали и переделал одну сцену в "Отчаянии", о чем говорится в предисловии к нему. "Двадцать шесть лет" — явная ошибка. Тут либо сказался телескопический эффект, либо я подразумевал "Машеньку", мой первый роман, написанный в 1925 году. Исходная русская версия "Смеха в темноте" ("Камера обскура") была написана в 1931 году, за три года до "Отчаяния", а английский перевод Уинфреда Роя, недостаточно мною проработанный, вышел в Лондоне в 1936-м. Год спустя, на Ривьере, я попытался — без особого успеха — сделать новый английский вариант для издательства

"Bobbs-Merrill", которое и напечатало его в Нью-Йорке в 1938 году.

В "Отчаянии" есть взятое в скобки замечание о "пошлом, посредственном Герцоге". Следует ли считать, что это добавленная задним числом шутка по поводу недавнего бестселлера?

Слово "Herzog" обозначает в немецком языке герцогский титул, так что речь идет о заурядной статуе немецкого герцога на городской площади.

Поскольку вы не написали к переизданию "Смеха в темноте" предисловия, столь же содержательного, как другие ваши предисловия, не могли бы вы рассказать о возникновении этой книги и обстоятельствах, в которых вы ее писали? Критики быстро усмотрели сходство между Марго и Лолитой, однако меня в большей степени интересует родство Алекса Рекса и Куильти. Как бы вы могли описать их и, возможно, других наделенных извращенным воображением персонажей ваших книг, которые, как представляется, разделяют дурные качества Рекса?

Да, между Рексом и Куильти, как и между Марго и Ло, присутствует определенное сходство. Хотя на самом деле Марго, разумеется, не более чем заурядная молоденькая шлюшка, в отличие от несчастной маленькой Лолиты. Вообще же в этих возникающих раз за разом нездоровых сексуальных странностях нет, по-моему, ничего особенно интересного или важного. Мою Лолиту сравнивали с Эммочкой из "Приглашения", с Мариэттой из "Под знаком незаконнорожденных" и даже с Колетт из "Память, говори" — что особенно смехотворно. Впрочем, я думаю, последнее возникло из присущей англичанам склонности к шуткам и розыгрышам[1].

---

[1] Подразумевается рецензия Кингсли Эмиса на "Лолиту": "She was a Child and I was a Child", Spectator, CCIII (6 ноября 1959), с. 636. (*Прим. А. Аппеля.*)

В ваших произведениях явственно проступает мотив двойничества (Doppelgänger), хотя читателя “Бледного пламени” подмывает назвать это “тройничеством” (по меньшей мере). Согласны ли вы с тем, что “Смех в темноте” является самым ранним из ваших произведений, в которых присутствуют двойники?

Я не вижу в “Смехе в темноте” никаких двойников. Любовника можно, конечно, рассматривать в качестве “двойника” обманутого партнера, однако это бессмысленно.

Не согласитесь ли вы прокомментировать употребления мотива двойничества и злоупотребления им в произведениях разных авторов, начиная с По, Гофмана, Андерсена, Достоевского, Гоголя, Стивенсона и Мелвилла и кончая Конрадом и Манном? Какое из подобных произведений представляется вам достойным похвалы?

Вся эта тема двойничества нагоняет на меня ужасную скуку.

А как вы относитесь к знаменитому “Двойнику” Достоевского? Ведь, в конце концов, Герман в “Отчаянии” подумывает, не дать ли своей рукописи такое же название.

“Двойник” Достоевского — лучшее из его сочинений, хоть оно и представляет собой бессовестное подражание Гоголевскому “Носу”. Феликс из “Отчаяния” — это на самом деле двойник мнимый.

Разговор о двойниках заставляет меня обратиться к “Пнину”, ставшему, насколько я знаю, одним из самых популярных ваших романов и вместе с тем наиболее трудным для понимания читателем, неспособным разобраться во взаимоотношениях рассказчика и персонажей (или и вовсе не замечающим присутствия рассказчика, пока не становится слишком поздно в них разбираться). Четыре из семи глав романа печатались в журнале “The New Yorker” в течение довольно долгого времени (1953-57), однако важнейшая глава — последняя,

в которой рассказчик выходит на первый план, — появилась лишь в отдельном издании книги. Мне было бы очень интересно узнать, сложилась ли структура "Пнина" целиком уже к тому времени, когда вы публиковали отдельные его главы или полное осознание заложенных в нем возможностей пришло к вам позже?

Да, я отчетливо представлял себе всю структуру "Пнина", уже сочиняя первую его главу, которая, сколько я помню, была в данном случае первой из семи, перенесенных мной на бумагу. Увы, книга должна была содержать еще одну главу — между четвертой (где, кстати сказать, мальчику в школе Св. Марка и Пнину одновременно снится одно и то же место из моих черновиков к "Бледному пламени" — революция в Зембле, бегство короля — вот вам, пожалуйста, и телепатия!) и пятой (в которой Пнин едет на автомобиле). В этой так и не написанной главе, которую я с прекрасной ясностью, до последнего ее изгиба, видел умственным взором, Пнин оправлялся в больнице от растяженья спины и, лежа в палате, учился водить машину, изучая датированное 1935 годом руководство для автомобилистов и орудуя рычагами своей больничной койки. Только один из коллег пришел его навестить — профессор Блорендж. Глава кончалась сдачей Пниным экзамена по вождению, причем он педантично препирается с инструктором, которому приходится признать его правоту. Возникшее в 1956 году стечение случайных обстоятельств не позволило мне физически написать эту главу, потом вмешались другие события, и теперь она — всего только мумия.

В прошлогоднем телевизионном интервью вы выделили "Петербург" Белого, назвав его, наряду с произведениями Джойса, Кафки и Пруста, одним из величайших достижений прозы двадцатого века (отзыв, который, кстати сказать, побудил "Grove Press" переиздать "Петербург", воспроизведя ваши слова на обложке). Я очень люблю этот роман, в Америке, к сожалению, довольно мало известный. Что вам нравится в нем больше всего? Белого порой сравнивают с Джойсом — оправданно ли такое сравнение?

“Петербург” представляет собой великолепную фантазию, однако ответить на ваш вопрос я собираюсь в другом месте. Между ладом “Петербурга” и некоторых мест “Улисса” имеется определенное сходство.

Мне не приходилось сталкиваться с обсуждением этой темы, однако, на мой взгляд, отношения отца и сына Аблеуховых выливаются в своего рода двойничество, обращая “Петербург” в одно из интереснейших и фантастичнейших воплощений этой темы. Поскольку двойничество подобного рода (если вы согласны с тем, что это именно оно) определенно должно представляться вам более близким, чем, скажем, то, во что Манн обращает этот мотив в “Смерти в Венеции”, не могли бы вы прокомментировать его значение?

Как писателю мне эти туманные материи решительно неинтересны. Выражаясь философски, я — безраздельный монист. Кстати, ваш почерк удивительно схож с моим.

В 1922—1923 годах Белый жил в Берлине. Вы с ним были знакомы? Вы также жили в Париже в одно время с Джойсом — случалось ли вам встречаться?

Однажды, году в 1921-м или 22-м, обедая с двумя девушками в берлинском ресторане, я оказался сидящим спиной к спине с Андреем Белым, который обедал за соседним столиком с еще одним писателем, Алексеем Толстым. Оба они питали в то время откровенно просоветские настроения (и должны были вот-вот возвратиться в Россию), и, разумеется, Белый русский, каковым я, в этом узком смысле, остаюсь и по сей день, не стал бы разговаривать с “большевизаном”. С Алексеем Толстым я был знаком, но, естественно, делал вид, что не замечаю его. Что касается Джойса, то с ним я несколько раз встречался в конце тридцатых. Поль и Люси Леон, принадлежавшие к числу его близких друзей, были и моими давними друзьями. Как-то вечером они привели его на французский доклад о Пушкине, который меня пригласили прочитать по предложению Габриеля Марселя (доклад впоследствии напечатало “Nouvelle revue française”). Вышло так, что мне

пришлось в последний миг заменить венгерскую писательницу, в ту зиму весьма знаменитую, авторшу романа-бестселлера, название его я помню — "La Rue de Chat qui pêche"[1], а вот имя дамы забыл. Некоторое число моих личных друзей, опасавшихся, что внезапное недомогание дамы в сочетании с внезапным чтением о Пушкине приведет к тому, что зал внезапно опустеет, приложили массу усилий к тому, чтобы собрать публику, которую, как они знали, я рад буду видеть. Публика, однако, явилась пестрая, поскольку поклонники дамы отчасти запутались. Венгерский консул принял меня за ее мужа и, когда я появился, бросился ко мне с пеной утешительных речей на устах. Едва я открыл рот, кое-кто из присутствующих поспешил удалиться. Источником незабываемого утешения послужил для меня вид Джойса, сидевшего, скрестив руки и поблескивая очками, в самой гуще венгерской футбольной команды. В другой раз я и жена обедали с ним у Леонов, за обедом последовал длинный вечер, наполненный дружескими разговорами. Я не запомнил из них ни слова, однако жена припоминает, что Джойс расспрашивал нас о точном составе русского меда, и каждый давал ему отличные от других объяснения. В этой связи стоит сказать, что классический английский перевод "Братьев Карамазовых" содержит восхитительную ошибку: описывая ужин в келье старца Зосимы, переводчик уморительным образом принял "Médoc" (транскрибированный в русском тексте), то есть французское вино, очень любимое в России, за "медок" — уменьшительное от "мед". Занятно было бы вспомнить теперь, как я рассказывал об этом Джойсу, но, к сожалению, эта реинкарнация "Карамазовых" попалась мне в руки лишь десять лет спустя.

Вы только что упомянули Алексея Толстого. Не могли бы вы сказать о нем еще несколько слов?

Он был небесталанным писателем, написавшим два-три запоминающихся научно-фантастических рассказа или ро-

[1] "Улица кота-рыболова" (*фр.*).

мана. Я, впрочем, не охотник разделять писателей по категориям, поскольку существует лишь одна категория — оригинальность, или же талант. В конце концов, если мы начнем лепить групповые ярлыки, придется и “Бурю” зачислить по линии научной фантастики, и, разумеется, тысячи других замечательных произведений.

Толстой поначалу был противником большевиков, а его ранние произведения написаны еще до революции. Нравятся ли вам какие-либо писатели, целиком принадлежащие советскому периоду?

Было несколько писателей, обнаруживших, что если они станут придерживаться определенных сюжетов и персонажей, то сумеют вывернуться — в политическом смысле. Иными словами, им не будут указывать, что следует писать и чем должен заканчиваться роман. Ильф и Петров, два необычайно одаренных писателя, решили, что если взять в герои проходимца авантюрной складки, то, что бы они ни написали о его похождениях, критиковать их с политической точки зрения все равно будет невозможно, поскольку законченного прохвоста, или сумасшедшего, или правонарушителя, вообще любого человека, стоящего вне советского общества, — иначе говоря, героя плутовского романа — нельзя обвинять в том, что он плохой коммунист или коммунист недостаточно хороший. В итоге Ильф с Петровым, Зощенко и Олеша ухитрились опубликовать несколько безупречных по качеству литературных произведений, пользуясь этим принципом, дававшим им полную независимость, поскольку их персонажи, сюжеты и темы не подлежали политической трактовке. До начала тридцатых им это сходило с рук. У поэтов была схожая система. Они полагали, на первых порах правильно, что, не выходя за пределы своего сада — чистой поэзии, лирических подражаний, скажем, цыганским песням, чем занимался Илья Сельвинский, — они останутся в безопасности. Заболоцкий отыскал третий способ письма, его лирический герой — законченный кретин, что-то лепечущий во сне, ломающий слова, играющий с ними, как полубезумец. Все это были удивительно одаренные люди, однако режим в конце кон-

цов добрался и до них, и они исчезли, один за другим, в безымянных лагерях.

По моим приблизительным оценкам, у вас остались непереведенными с русского три романа, около полусотни рассказов и шесть пьес. Существуют ли какие-либо планы относительно их перевода? Как обстоит дело с "Подвигом", написанным в наиболее, по-видимому, плодотворные годы того периода, когда вы еще были "русским писателем", — не расскажете ли вы, хотя бы вкратце, об этой книге?

Не все из оставшегося непереведенным так хорошо, как мне казалось тридцать лет назад, однако со временем кое-что, вероятно, будет напечатано на английском. Мой сын сейчас занимается переводом "Подвига". Это история русского изгнанника, романтичного молодого человека моего круга и моего времени, любящего приключения ради них самих, относящегося к опасностям с гордым пренебрежением, взбирающегося на никому не нужные горы и решающего — ради одного только волнующего переживания — тайком перейти границу Советской России, чтобы затем, перейдя ее еще раз, вернуться в изгнание. Главная тема книги — одоление страха, торжество и упоение, которые приносит победа над ним.

Насколько мне известно, "Подлинная жизнь Себастьяна Найта" была написана по-английски в 1938 году. Наверное, это очень драматичный момент — прощание с одним языком ради того, чтобы окунуться в новую жизнь уже с другим. Почему вы решили в ту пору писать по-английски, еще не зная наверняка, что через два года вам придется эмигрировать? Многое ли было написано вами по-русски между "Подлинной жизнью" и эмиграцией в Америку в 1940-м и, после того как вы очутились здесь, сочинили ли вы что-нибудь по-русски?

Ну, я знал, что рано или поздно приземлюсь в Америке. Я перешел на английский после того, как убедился, благодаря сделанному мной переводу "Отчаяния", что смогу использовать английский язык в качестве исполненного

тоскливых мечтаний дублера русского. Мучительную боль, вызванную этой подменой, я ощущаю и поныне, ее не умерили ни русские стихи (лучшие из мной сочиненных), написанные в Нью-Йорке, ни русский, 1954 года, вариант книги "Память, говори", ни даже недавняя, потребовавшая двух лет работа над русским переводом "Лолиты", который будет издан в 1967-м. "Себастьяна Найта" я писал в Париже, в 1938-м. У нас тогда была очаровательная квартирка на rue Saïgon, между Etoile и Bois. Она состояла из огромной, красивой комнаты (служившей гостиной, спальней и детской) с маленькой кухонькой по одну сторону и большой, залитой солнцем ванной комнатой по другую. Холостяка она привела бы в восторг, но для размещения семьи из трех человек приспособлена не была. Чтобы не потревожить сон моего будущего переводчика, принимать вечерних гостей приходилось в кухоньке. А ванная комната исполняла двоякую роль — в ней размещался мой кабинет. Вот вам, пожалуйста, и тема двойничества.

Вы помните кого-нибудь из этих "вечерних гостей"?

Я помню Владислава Ходасевича, величайшего поэта своего времени, извлекающего, чтобы поесть с удобством, вставные челюсти изо рта, — совсем как вельможа прошлого.

Многие удивляются, узнав, что вы написали семь пьес, и это странно, поскольку в ваших романах полно "театральных" эффектов совершенно не романного склада. Будет ли справедливым утверждение, что частые у вас отсылки к Шекспиру это не просто дань восхищения, игривого или почтительного? Что вы думаете о драматической форме? И какие особенности шекспировских пьес наиболее близки вашей эстетике?

Словесная поэтическая ткань Шекспира — величайшая из всех известных миру, она неизмеримо превосходит структуру его пьес как таковых. Главное в Шекспире — метафора, не драматургия. Моим же наиболее дерзким предприятием в области драматургии было сочинение

огромного, основанного на "Лолите" сценария. Я написал его для Кубрика, использовавшего из него лишь обрывки и тени в своем, в иных отношениях великолепном, фильме.

Когда я был вашим студентом, вы, рассказывая про "Улисса" Джойса, ни разу не упомянули о гомеровских параллелях. При всем том, начиная знакомство со многими шедеврами, вы приводили "специальные сведения" — карту Дублина в случае "Улисса", расположение улиц и домов в случае "Доктора Джекилла и мистера Хайда", чертеж внутреннего устройства железнодорожного вагона поезда Москва — Петербург в случае "Анны Карениной", план квартиры Замзы в случае "Превращения" и энтомологическое изображение Грегора. Вы могли бы предложить нечто подобное для читателей ваших произведений?

Джойс и сам очень быстро и не без досады осознал, что, напирая на эти, в сущности говоря, простенькие и пошлые "гомеровские параллели", он лишь отвлекает внимание читателя от истинной красоты своей книги. Вскоре он снял претенциозные заголовки глав, которые "объясняли" книгу тем, кто ее не читал. Я в своих лекциях старался предоставлять студентам только фактические данные. На форзаце переработанного варианта книги "Память, говори" будет приведена карта трех сельских поместий с излучистой рекой и изображением бабочки Parnassius mnemosyne вместо картографического херувимчика.

Кстати, один мой коллега недавно влетел ко мне в кабинет с захватывающей дух новостью — оказывается, Грегор вовсе не таракан (коллега прочитал об этом статью). Я сказал, что знаю об этом вот уже 12 лет, и вытащил свои записи, чтобы показать ему зарисовку, сделанную мной когда-то на "энтомологической" лекции. Между прочим, в какого именно жука превратился Грегор?

В бочкообразного — в скарабея с надкрыльями, причем ни Грегор, ни его создатель так и не сообразили, что, когда

служанка прибиралась в комнате и открывала окно, он мог улететь и спастись, присоединившись к другим счастливым навозникам, катящим навозные шарики по сельским тропкам.

Как подвигается ваш роман "Ткань времени"? Поскольку données[1] *о некоторых ваших романах, похоже, появляются, пусть и мельком, в романах более ранних, правильно ли будет предположить, что четырнадцатая глава "Под знаком незаконнорожденных" содержит зародыш вашего последнего замысла?*

В определенном смысле правильно; впрочем, моя "Ткань времени", уже почти наполовину готовая, это лишь розовая паутина, растянутая в центре куда более обширного и пышного романа, озаглавленного "Ада" и посвященного страстной, безнадежной, упоительной закатной любви, с ласточками, проносящимися за цветного стекла окном и этой светящейся зыбью...

Относительно données, — в конце "Бледного пламени" Кинбот говорит о Шейде и его поэме: "Я и название ему предложил хорошее — название скрытой во мне книги, которой страницы ему оставалось разрезать: "Solus Rex", — а вместо него увидел "Бледное пламя", ни о чем мне не говорящее". В 1940 году "Современные записки" напечатали большой отрывок из вашего "незаконченного" романа "Solus Rex" — так же был озаглавлен и отрывок. Не является ли "Бледное пламя" "разрезанными" страницами этого романа? Как соотносятся с этим отрывком другой непереведенный фрагмент "Solus Rex" ("Ultima Thule", напечатанная в "Новом Журнале", Нью-Йорк, 1942) и "Бледное пламя"?

Мой "Solus Rex", возможно, разочаровал бы Кинбота в меньшей мере, нежели поэма Шейда. Две страны — страна Одинокого Короля и Зембла — относятся к одной и той же биологической зоне. Те же по преимуществу бабочки и

[1] Сведения *(фр.)*.

ягоды встречаются на их приполярных болотах. Призрак далекого, печального королевства, кажется, уже с двадцатых годов бродит по моей поэзии и прозе. С моим личным прошлым он не связан. И Зембла, и Ultima Thule — страны, в отличие от северной России, гористые, и язык их принадлежит к ложноскандинавскому типу. Если бы какой-то жестокий проказник похитил Кинбота и отпустил его, ослепленного наглазной повязкой, в глуши Ultima Thule, Кинбот не смог бы понять (во всяком случае) — по запахам трав и птичьей перекличке, — что не вернулся в Земблу, но был бы в сносной степени уверен, что стоит не на берегах Невы.

Рискуя уподобиться человеку, который просит отца публично объявить, кого из своих детей тот любит сильнее, я все же спрошу: к какому из ваших романов вы питаете наибольшую привязанность, какой ставите выше других?

Наибольшую привязанность — к “Лолите”, выше всех ставлю — “Приглашение на казнь”.

И последний вопрос, сэр, если позволите вернуться к “Бледному пламени”: скажите, пожалуйста, где сокрыты сокровища Короны[1].

В развалинах, сэр, в старинных казармах близ Кобальтаны (см.); вы только русским не проговоритесь.

---

[1] Неловко объяснять шутку, однако читателей, не знакомых с “Бледным пламенем”, следует проинформировать, что место, в котором спрятаны сокровища Земблянской короны, ни разу не упоминается в тексте, да и в Указателе статья “Сокровища Короны”, к которой и следует теперь обратиться читателю, тоже ничем ему не поможет. “Кобальтана” также присутствует в Указателе. (*Прим. А. Аппеля.*)

КОММЕНТАРИИ

ПНИН
(PNIN)

Роман написан в 1953—1955 гг. Главы 1, 3, 4, 6 печатались в те же годы в журнале "New Yorker".

Первое издание: N. Y.: Doubleday, 1957.

Перевод на русский язык, выполненный Г. Барабтарло при участии В. Е. Набоковой, опубликован американским издательством "Ardis" в 1983 г. и перепечатан в России в журнале "Иностранная литература", 1989, № 2. Перевод Б. Носика напечатан в книге: *В. Набоков.* Романы. М.: Худ. лит., 1991. Настоящий перевод С. Ильина впервые опубликован в кн.: *В. Набоков.* Bend Sinister. СПб.: "Северо-Запад", 1993.

В романе отразился преподавательский опыт Набокова, длительное время читавшего лекции по русской и мировой литературе в различных американских университетах. Многие исследователи полагают, что Вайнделл — пародийное изображение Корнельского университета, где писатель преподавал в 1948—1959 гг. Набоков обыграл здесь стереотипы так называемой "университетской прозы" (academic novel, campus fiction), своеобразного и многопланового литературного феномена, получившего распространение в английской и американской литературе XX в. Не исключено, что, используя оболочку сатирического университетского романа, писатель отталкивался от опыта жены Э. Уилсона Мэри Маккарти, написавшей нашумевший роман-памфлет из университетской жизни "Сады Академии" (The Groves of Academe, 1952). Знакомство с ним подтверждается в опубликованной переписке. На открытке, посланной Набокову 25 февраля 1952 г., Уилсон отрекомендовал роман так: "Новая книга Мэри очень хороша; в некоторых отношениях это лучшее, что она до сих пор написала. Тебе необходимо ее прочесть". А 26 февраля 1952 г. писатель отозвался и сообщил, что роман уже прочел, и, похвалив его, назвал "весьма занимательным и в отдельных своих частях блестящим" (The Nabokov—Wilson Letters/*Ed. by S. Karlinsky.* N. Y.: Harper and Row, 1979. PP. 273—274). Правда, со

свойственной ему дотошностью Набоков далее указывает на различного рода неточности в русскоязычных вкраплениях в тексте, связанных с образом преподавательницы Домны Режневой.

Многих читателей подкупила жизнерадостная установка набоковского произведения, а также необычайная привлекательность заглавного персонажа профессора Тимофея Пнина, комичного (и даже гротескного) чудака, но чистого, человечного и нравственного, что особенно заметно при сопоставлении его с "обыкновенными" людьми. Кроме того, роман кажется гораздо более простым и доступным на фоне таких предельно усложненных в структурном отношении текстов, как "Бледное пламя" и "Ада". Впрочем, абсолютизировать эту "простоту" едва ли стоит, и это хорошо показано в развернутом и обстоятельном путеводителе по "Пнину", опубликованном в 1989 г. Г. Барабтарло, где раскрыта достаточно сложная система внутритекстовых связей в этом произведении (*Barabtarlo G.* Phantom of Fact: A Guide to Nabokov's Pnin. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1989).

С самого начала в романе постоянно ощущается присутствие повествователя, демонстрирующего свою власть над текстом. Постепенно этот повествователь приобретает все более ощутимое сходство с самим Набоковым, а в главе 7 становится персонажем того же текста, в котором действует его герой. Возникают многочисленные воспоминания о встречах с Пниным с мальчишеских времен. Пути Владимира Владимировича и Пнина многократно пересекаются. Даже будущая жена Пнина вступает с рассказчиком в любовную связь. Но существеннее всего то, что заглавный герой постоянно отрицает правдивость рассказываемого о нем повествователем и даже называет того "ужасным выдумщиком" (с. 165). В конечном счете персонаж не только отказывается беседовать по телефону со своим творцом, но и сбегает от него из университета в неизвестном направлении. Таким образом, ситуация оказывается прямо противоположной той, которую читатель наблюдал в романе "Под знаком незаконнорожденных". Там творец полностью управлял главным героем, выступая в роли "антропоморфного божества", здесь же герой оказывает неповиновение повествователю. Но именно повествователю, а не автору. Всякому, кто прочел роман, очевидно, что на самом деле Владимир Владимирович лишь похож на реального Набокова, но не эквивалентен ему. Набоков как бы раздваивается у нас на глазах: с одной стороны, он отчасти контролирует изнутри текст, по отношению к которому выступает одновременно и в роли повествователя, и в роли персонажа; с другой — стопроцентно контроли-

рует его извне. Это игровое раздвоение и становится главным повествовательным трюком писателя в романе.

Следует отметить, что фамилию главного героя романа носил Иван Петрович Пнин (1773—1805), незаконнорожденный сын генерал-фельдмаршала Репнина, поэт, публицист, член (а в 1805 г. председатель) "Вольного общества любителей словесности, наук и художеств", сторонник просвещения и противник крепостного права.

Упомянем и о феноменальной способности Пнина изъясняться на неимоверно плохом английском, пересыпая его искаженными немецкими и гораздо более нормативными французскими словами, вследствие чего достигается уникальный комический эффект и в текст проникает несметное число как бы случайных, "непредусмотренных" каламбуров.

Глава первая

С. 12 ... в Кремоне... — В названии городка содержится намек на высоко почитаемого Набоковым Дж. Свифта, который в своем сочинении об искусстве словесной игры предлагает пример строящегося на этом слове каламбура.

С. 13 Гаген — Фамилия этого персонажа, вероятно, заимствована из "Песни о Нибелунгах", на что косвенно указывают и даваемые ему характеристики — "стойкий", "верный".

... Джозефину Малкин... Чарльза Макбета... — Сочетание этих имен не случайно: Gray Malkin — это принадлежащий ведьмам кот в шекспировском "Макбете".

С. 14 Эллис-Айленд — На этом острове близ Нью-Йорка более полувека находились пропускной пункт и карантинный лагерь для прибывающих в США иммигрантов.

С. 15 ...образчика основанной на словоискажениях пустой лесковской веселости. — Имеется в виду повесть Н. С. Лескова "Левша", наиболее яркий образец присущей ему "сказовой" манеры.

С. 17 "the rest is silence" — последние слова Гамлета (5.2).[1]

---

[1] Здесь и далее при упоминании стихотворных произведений цифры в скобках обозначают: первая — действие, вторая — явление, третья — строка.

"nevermore" — рефрен из стихотворения "Ворон" Э. По.

Ко времени избрания Трумэна на второй срок... — К началу 1949 г. Гарри Трумэн, бывший при Ф.-Д. Рузвельте вице-президентом США, стал президентом после его смерти в 1945 г. Его "второй" срок формально является первым.

С. 18 мисс Айзенбор — значимое имя: Eisenbohr по-немецки означает "железное сверло"; по-видимому, секретарша Гагена изрядная зануда.

"Достоевский и гештальт-психология" — Гештальт-психология, возникшая в 1920-х гг., рассматривает личность как целое, не сводимое к сумме составляющих это целое элементов. Сопоставление с Достоевским, персонажи которого вряд ли обладают личностной целостностью, выглядит, таким образом, довольно юмористически.

С. 19 ...с моей помощью... — Здесь впервые появляется пока еще не персонифицированный повествователь. В дальнейшем он будет давать о себе знать все чаще и чаще. Однако его сущность и специфика взаимоотношений с героем раскрывается в полной мере только в главе 7.

С. 22 "Webster's New Collegiate Dictionary" — Имя создателя первого американского толкового словаря Ноаха Уэбстера (1758—1843) традиционно украшает издаваемые в США словари.

С. 25 ...согбенного старика на скамейке и белку... — Тема белки начиная с этого места пронизывает весь роман, выполняя в нем значительные как формальные, так и смысловые функции. С одной стороны, это элемент набоковского "узора", составляющего текст рисунка, с другой — многочисленные относящиеся к этой теме предметно-изобразительные детали увязаны с предстоящим появлением воспоминаний о первой любви Пнина — Мире Белочкиной. Эту тему отметили почти все ведущие набоковеды: Ч. Николь, Б. Бойд, Г. Барабтарло и др. Отмечается также, что в волшебно-сказочном пласте романа белка выступает в роли помощницы и спасительницы. Это заметно уже на с. 26, где мелькнувший зверек символизирует отступление приступа сердечной болезни. Белочка соотносится с воспоминаниями героя о прошлом, с его раздумьями о смысле существования.

С. 28 Ходотов, Николай Николаевич (1878—1932) — актер Александринского театра, создатель жанра мелодекламации.

Глава вторая

С. 30 Лоренс Дж. Клементс — Имя профессора Лоренса Клементса введено в текст романа в обрамлении двух абзацев, где фигурирует перезвон вайнделлских колоколов. Писатель обыгрывает здесь известную детскую песенку: “Oranges and lemons / Say the bells of St. Clement's” (“Апельсины и лимоны”, — говорят колокола собора Св. Клемента). Обратим внимание, что на с. 31 упомянут “скудный завтрак из лимонов и апельсинов”, которым вынужден довольствоваться профессор. К тому же мотив звона и звонков (включая телефонные) пронизывает всю главу.

С. 32 “Я с ним знаком; то в самом деле перл...” — цитата из “Гамлета” (4.7; перевод М. Лозинского). Эту фразу произносит Лаэрт при упоминании Клавдием нормандского дворянина по имени Ламонд, отличного фехтовальщика и наездника.

С. 34 “Девочка с котенком” — картина немецкого художника Пауля Хекера (1854—1910). В критике высказывалось мнение, что упоминание этой картины вводит в романе аллюзивную тему “Алисы в Стране Чудес” Л. Кэрролла, а девочка и котенок соотносятся с Алисой и Чеширским Котом.

“Козленок, отбившийся от стада” — картина американского художника Уильяма Морриса Ханта (1824—1879), написанная в 1857 г. Английское название картины (The Belated Kid) двусмысленно, и возможно иное его истолкование — “Поздний ребенок”; следовательно, упоминание о картине предвосхищает появление Лизиного сына Виктора.

С. 35 БВК — Библиотека Вайнделлского колледжа.

С. 37 Шатобриан, Франсуа Рене де (1768—1848) — французский писатель-романтик, прозаик и поэт; действие некоторых его повестей происходит в лесах Америки. Набоков многократно пародировал его произведения, в особенности в “Аде”.

...он силился, в философском усердии, представить, какими увидит их после ожидающего его испытания... — Сходный мотив встречается в стихах Федора Константиновича Годунова-Чердынцева (глава 1 романа “Дар”):

“Вот описание поездки к этому дантисту, предупредившему накануне, что that one will have to come out:

Как буду в этой же карете
чрез полчаса опять сидеть?

Как буду на снежинки эти
и ветви черные глядеть?
Как тумбу эту в шапке ватной
глазами провожу опять?
Как буду на пути обратном
мой путь туда припоминать?
(Нащупывая поминутно
с брезгливой нежностью платок,
в котором бережно закутан
как будто костяной брелок.)".

С. 42 "...жена исполина... Толстого гораздо сильней, чем его, любила красноносого дурака-музыканта!" — С. А. Толстая платонически увлеклась композитором С. И. Танеевым, который в 1895—1896 гг. гостил в Ясной Поляне.

С. 43 ...в русской книжной лавке Савла Багрова... — Имя владельца лавки создает перекличку с упомянутым выше вымышленным Аксаковским институтом, так как фамилию "Багров" носят герои автобиографических книг С. Т. Аксакова "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука".

...в Медонской санатории... — Поселок Медон расположен близ Парижа; упоминание о нем вводит, по-видимому, аллюзию на Рабле, которого называли "медонским аббатом". Раблезианский юмор близок Набокову.

...Розеттой Стоун... — Буквальный перевод с английского: "камень Розетты". В августе 1799 г. французские солдаты, насыпая под командой офицера инженерных войск Пьера Бушара вал в форте Сен-Жюльен близ города Розетта в дельте Нила, раскопали фундамент древней крепости Ар-Розетта и нашли базальтовую плиту с тремя надписями — иероглифической, демотической и греческой. Этот "Розеттский камень", после эвакуации армии Наполеона из Египта доставшийся в виде трофея англичанам, ныне хранится в Британском музее. Надпись, расшифрованная англичанином Томасом Юнгом (1819) и независимо от него французом Шампильоном (1822), послужила ключом к чтению египетских иероглифов.

С. 44 ...точно пасхальный кролик... — В США существует обычай прятать пасхальные подарки детям (в частности, шоколадные яйца) по всему дому или складывать их в особое "гнездо". В обоих случаях говорят, что подарки принесены (или "снесены") "пасхальным кроликом".

...влиятельного литературного критика Жоржика Уранского... — Видимо, подразумевается один из главных литературных недругов молодого Набокова, глава "парижской школы" русской литературной эмиграции, критик и поэт Георгий Викторович Адамович (1894—1972). Как литературный критик Адамович отличался некоторой, мягко говоря, беспринципностью и, по словам Набокова, "автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал", вследствие чего и стал жертвой литературной мистификации, всячески расхвалив стихотворение "Поэты", опубликованное Набоковым под псевдонимом "Василий Шишков", — промашка тем более обидная, что Путя Шишков является главным действующим лицом в двух уже опубликованных тогда рассказах Набокова "Обида" и "Лебеда", видимо даже не прочитанных Адамовичем. Адамович в разных обличьях появляется в романах "Дар", "Ада" и "Смотри на арлекинов!". Любопытно отметить, что одного из парижских любовников Лизы, доктора Баракана, зовут Георгий Арамович и что "золотое имя" Георгий звучит несколько позже в стихотворении Лизы. Фамилия "Уранский" помимо намека на "уранизм" (т. е. гомосексуализм; это слово фигурирует в "Подвиге", а производное от него "уранист" — в "Лолите") содержит, возможно, и отсылку к Адаму. Адам был создан из "праха земного", Уран же был рожден Геей, т. е. Землей.

С. 46 ...нансеновского паспорта... — Нансен, Фритьоф (1861—1930), бывший комиссаром Лиги наций по русским делам, учредил особый вид на жительство, выдаваемый русским эмигрантам. Этот "нансеновский паспорт" часто с неприязнью поминается в произведениях Набокова.

С. 48 ...diese koschmarische Sprache... — Стоящая в скобках немецкая реплика не является на самом деле точным соответствием русской (в оригинале английской): в немецком языке нет слова koschmarisch, которое возможно только в речи Пнина.

С. 49 ...доктора Альбины Дункельберг... — аналог доктора Бианки Шварцман из "Лолиты", еще одна базирующаяся на контрасте белого и черного персонификация психоанализа, неспособного, согласно Набокову, воспринимать нюансы индивидуальной психологической мотивации индивида.

С. 50 ...прогрессивный, идеалистически настроенный Винд мечтал о счастливом мире, составленном из сиамских стоглавов... — ироническое обыгрывание темы рассказа Набокова "Сцены из жизни двойного чудища".

С. 51 "Грейхаунд" — автобус дальнего следования, принадлежащий одноименной компании.

С. 52 кампус — университетский городок.

С. 54 Я надела темное платье... — В стихотворении Лизы спародированы интонации, словоупотребление и мелодика ранней лирики Анны Ахматовой, в особенности сборников "Вечера" (1912) и "Четки" (1914). По свидетельству Л. Чуковской, эта пародия задела Ахматову, которая сочла книгу Набокова "пасквилянтской". Однако мнение самой мемуаристки более осторожное: "Но пасквиль ли это? или пародия на ее подражательниц? Сказать трудно. Анна Андреевна усматривает безусловный пасквиль". (*Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. СПб: "Нева", 1952—1962. Т. 2; Харьков: "Фолио", 1996. С. 347.)

С. 58 Лермонтов... сказал о русалках все, что о них можно сказать. — Пнин имеет в виду два стихотворения Лермонтова: "Русалка" (1832) и "Морская царевна" (1841).

Глава третья

С. 61 Хендрик Виллем ван Лун (1882—1944) — американский автор детских научно-популярных книг по истории и географии.

Кронин, Арчибальд Джозеф (1896—1981) — английский романист, по профессии врач. Многие из его остросоциальных и весьма небрежно написанных романов стали бестселлерами.

Гарнет, Констанс (1862—1946) — английская переводчица русской классики XIX в., в том числе Гоголя и Толстого. Набоков очень резко отзывался о ее переводах.

Тулуз-Лотрек, Анри де (1864—1901) — французский художник-постимпрессионист, создавший множество ярких и колоритных афиш для мюзик-холлов. Присутствие репродукции лотрековской афиши на стене в американском доме — такой же, с точки зрения Набокова, знак пошлой массовой моды, как и аналогичная вангоговская репродукция в "Лолите".

...не заметил, и видимо, не заметит уже никогда... — Типичное, на первый взгляд, для набоковского текста проявление "диктатуры автора".

С. 62 "Советский Золотой Фонд Литературы" — вымышленное издание, название которого пародирует название серии

"Литературное наследство". "Толстовские" тома этого издания (№№ 35—38) начали выходить в 1939 г.

С. 64 "Брожу ли я вдоль улиц шумных" — известное стихотворение А. С. Пушкина. Далее Пнин перефразирует следующие его строфы:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

Стихотворение Пушкина в рукописи имеет помету: "26 декабря 1829 года. С.-Петербург, 3 часа 5 минут".

С. 65 Цирк Буша в Берлине! — Первый стационарный цирк в Германии; основан в 1896 г. Паулем Бушем (1850—1927).

С. 66 ..."тикондерога-тикондерога"... — Под городом Тикондерога в штате Нью-Йорк произошло в 1775 г. одно из важнейших сражений Войны за независимость. Город также известен своей карандашной фабрикой.

С. 67 Ланг — В "Других берегах" Набоков, перечисляя читанные им в детстве книги по энтомологии, упоминает "Mémoires вел. кн. Николая Михайловича, посвященные азиатским бабочкам (с несравненно прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга)". Упоминается Ланг и в романе "Бледное пламя".

С. 72 ...Пнин вытягивает каталожный ящик... несет его, словно большой орех... — Тема белки (см. комм. к с. 25) получает здесь несколько неожиданное развитие, так как пушистому зверьку уподоблен сам Пнин.

...ревущих шестидесятых... — Набоков обыгрывает здесь хорошо известное американское клише: в США 1920-е годы, характеризующиеся разгулом организованной преступности, именуют "ревущими двадцатыми".

С. 73 Костромской — выдуманный Набоковым автор, фамилия которого заставляет вспомнить о русском историке и этнографе Н. И. Костомарове (1817—1885). Ему принадлежит, в частности, труд "Славянская мифология" (Киев, 1847).

С. 74 Кронеберг, Андрей Иванович (1814—1855) — талантливый переводчик, более всего известный переводами Шекспира (хотя почти все переводы, печатавшиеся в "Современнике" в 1847—1852 гг., принадлежат также ему). Перевод "Гамлета" вышел в 1844 г. в Харькове. Нужно отметить, что Кронеберг несколько вольно обходился с переводимыми произведениями. В частности, строка, вспомнившаяся Пнину, в рассказе Гертруды о смерти Офелии отсутствует.

Венгеров, Семен Афанасьевич (1855—1920) — известный русский ученый и литературовед. Издательство "Брокгауз и Эфрон" выпускало выходившую под его редакцией "Библиотеку великих писателей", в состав которой вошло и полное собрание сочинений У. Шекспира в 5 томах (1902—1904).

С. 75 Плясал ли несравненный комедиант... — Имеется в виду Чарли Чаплин (в оригнале в словах "увенчанными цветами нимфами" — chapleted nymphs — в форме анаграммы присутствует его фамилия).

Мак Свейн (Mac Swain) — хитроумный каламбур. С одной стороны, здесь описан чаплинский персонаж (*амер. сленг* mack — грубоватое обращение к незнакомому мужчине, а *устар.* swain — "деревенщина"), с другой — это имя графически и фонетически похоже на литературный псевдоним американского писателя-классика Марка Твена (Mark Twain).

Глупышкин — Под этим именем в России был известен франко-итальянский киноактер-комик Андре Дид (1884—1931).

...с Максом Линдером... — Речь идет о Максе Линдере (1883—1925), известном французком киноактере-комике и режиссере.

Глава четвертая

С. 79 solus rex — См. комм. к с. 382 романа "Бледное пламя".

...берег Богемского моря на мысе Бурь... — Первое из этих названий из "Зимней сказки" Шекспира, второе — отголосок его же "Бури".

Персиваль Блейк — Помимо очевидной переклички с рыцарем Персивалем из "Смерти Артура" сэра Томаса Мэлори и английским поэтом-визионером Уильямом Блейком (1757—1827) здесь, видимо, содержится отсылка к Перси Блейкни, герою приключенческого романа баронессы Э. Орзи (1865—1947) "Очный свет" (1903—1905). Действие романа происходит во Франции во время Великой французской революции, а герой спасает ни в чем не виновных аристократов от гильотины. Ниже это произведение фигурирует в числе источников фантазии Виктора. Нелишним будет отметить, что именно на мощной моторной лодке спасается из своей страны герой романа "Бледное пламя" Карл Возлюбленный.

С. 81 Лай и Йокаста — родители мифического царя Эдипа, по воле рока убившего отца и женившегося на матери, о чем, согласно Фрейду, мечтает каждый мальчик (отсюда "Эдипов комплекс").

С. 83 ...в носу не ковырял, большого пальца не сосал и даже ногтей не обкусывал. — Все названные привычки, согласно Фрейду, свидетельствуют о различного рода отклонениях в психике.

С. 84 кляксы Роршаха — психологический тест, разработанный швейцарским психиатром Германом Роршахом (1884—1922).

...невротические стволы, эротические галоши, зонты или гантели. — Психоаналитики считают продолговатые, вогнутые и шарообразные предметы символами гениталий.

С. 85 мандала — круг *(санскрит)*. В восточных религиях это понятие служит для схематического изображения космоса в форме концентрической структуры. Швейцарский философ-психоаналитик К.-Г. Юнг (1875—1961) именовал мандалой универсальный символ, в котором выражено стремление личности к интеграции всех составляющих собственного "я".

С. 86 ...в "Венском требнике"... — антифрейдовский выпад. Любое острое оружие фрейдовская теория рассматривает как символическое воплощение мужского полового члена.

"файвс" — игра в мяч для трех-четырех игроков, распространенная в некоторых частных привилегированных школах Англии, в частности в Итоне.

С. 87 ...погибшего при землетрясении в Мессине. — Сицилийский город Мессина был разрушен мощным землетрясением в 1908 г.

С. 88 Кэзебир, Гертруда (1852—1934) — американский фотограф, член организации, выступавшей за развитие художественной фотографии как особого вида искусства.

"Паломники на пути в Эммаус" — находящаяся в Лувре картина Рембрандта (1648).

неопластицизм — один из вариантов абстракционизма в живописи, связанный с деятельностью голландской группы "Де Стиль" (1917—1928), для которого характерны чистые цвета и членение полотна на геометрически правильные сегменты. Наиболее известный представитель — Пит Мондриан (1872—1944).

С. 89 Мусорная школа — существовавшая в конце XIX и начале XX вв. группа американских художников-реалистов, изображавших мерзости городской (и особенно нью-йоркской) жизни.

Рокуэлл, Норман (1904—1989) — американский книжный иллюстратор, также много работавший в области рекламы.

calèche — Подразумевается картина Э. Дега "Скачки в провинции. Экипаж на скачках".

С. 90 ...в особом, волшебно выпуклом зеркале... — Непременный элемент ряда картин фламандских художников Яна ван Эйка (1381—1440), Петруса Кристуса (1400—1472) и Ганса Мемлинга (1425—1494). Комната предстает отраженной в выпуклом зеркале, и этот прием привлекает Набокова, так как актуализирует свойственное ему представление о "магическом кристалле искусства". Кстати, упоминаемая на с. 65 "миссис Мак-Кристалл" явно соотнесена с названным представлением. Одно из воплощений авторского присутствия в "Лолите" — Вивиан Мак-Кристал.

"Муанэ" ("Moinet") — Псевдоним образован от *фр.* moine — монах.

...цитата... неожиданно обернувшаяся политическим афоризмом. — Подразумевается выражение "better dead than red", общий смысл которого — "нет ничего хуже красных".

С. 92 ...Иден... вы имеете в виду не книгу о британском государственном деятеле? — Известный британский политический деятель Энтони Иден (1897—1977), в 1955—1957 гг., был премьер-министром Великобритании. В отличие от главного героя романа Джека Лондона "Мартин Иден", Пнину он явно незнаком.

С. 93 Ланс Боке — Впоследствии этот мальчик становится в рассказе Набокова "Ланс" участником космической экспедиции

на дальнюю планету (см. комм. к рассказу). В имени персонажа мы обнаруживаем частичную анаграмму фамилии писателя. Ланс Боке явно родствен художнику Ван Боку, упомянутому в интервью А. Аппелю (см. в этом томе).

С. 96 Вадим Вадимыч — Это имя принадлежит первому лицу романа Набокова "Смотри на арлекинов!", русско-американскому писателю (автору, в частности, романа "Доктор Ольга Репнина" о русской преподавательнице в американском университете). Фамилия его так и остается не вполне ясной до конца романа (Блонский?), в конце же он и сам ее забывает. Его литературная биография представляет собой пародию на литературную биографию самого Набокова — собственно говоря, Вадим Вадимыча всю жизнь путают с каким-то иным писателем, да и сам он, по его словам, томится мыслью, "что вся моя жизнь — это непохожий близнец, пародия, скверная версия жизни иного человека, где-то на этой или иной земле", и говорит, что ощущает, "как бес понукает меня подделываться под этого иного человека, под этого иного писателя, который был и будет всегда несравненно значительнее, здоровее и злее, чем ваш покорный слуга".

С. 97 Первое в русской литературе описание бокса мы находим в стихотворении Михаила Лермонтова... — в "Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" (1840).

С. 99 Совсем как в великолепном рассказе Толстого... почку рака. — Хотя Пнин и оговорился, все же ясно, что он ставит герою "Смерти Ивана Ильича" тот же диагноз, что и Набоков в "Лекциях по русской литературе": "Вешая гардину и упав с лестницы, он смертельно повредил левую почку (это мой диагноз, в результате у него, вероятно, начался рак почки), но Толстой, не жаловавший врачей и вообще медицину, намеренно темнит, выдвигая другие предположения..." ("Лекции по русской литературе". М., 1996. С. 312).

"La Berceuse" — картина Винсента Ван Гога (1869).

С. 101 На песчаном берегу... — В интервью, взятом А. Аппелем (см. в настоящем томе), Набоков говорит о том, что Пнину и Виктору "одновременно снится одно и то же место из моих черновиков к "Бледному пламени" — революция в Зембле, бегство короля" (см. комм. к с. 79).

Глава пятая

С. 103 "Глидденское турне" — автопробег, ежегодно проводившийся в Америке в 1905—1913 гг. Назван по имени организатора Ч. Дж. Глиддена.

С. 107 Алданов; Марк — псевдоним Марка Александровича Ландау (1889—1957), одного из наиболее значительных писателей русской эмиграции "первой волны", автора большого числа исторических романов. Набоков поддерживал с ним дружеские отношения.

Сирин — Здесь Набоков впервые в романе вводит себя в круг персонажей, обосновывая тем самым "я" последней главы. Через несколько страниц Шато и Пнин снова помянут его — уже как Владимира Владимировича; в следующей главе захмелевшая Джоан будет разговаривать о его творчестве с Роем Тейером, и о нем же упомянет Гаген, а в главе 7 он объявится во плоти.

С. 108 Чистович, Яков Алексеевич (1820—1885) — военный врач, автор "Истории первых медицинских школ в России" (СПб., 1883).

С. 112 Слоун, Сэмюель (1815—1884) — американский архитектор, разрабатывавший типовые проекты загородных жилищ и ферм.

С. 116 Жаль, нет здесь Владимира Владимировича... — Обманный ход: автор постоянно контролирует развитие событий, вмешивается в происходящее, эта же реплика предвещает появление повествователя, встречи с которым успешно избегает главный персонаж в главе 7.

С. 122 ...Гете, Гердер, Шиллер, Виланд, неподражаемый Коцебу и иные. — Набоков перечисляет великих немецких писателей и поэтов, живших в Веймаре.

Глава шестая

С. 124 Малларме, Стефан (1842—1898) — великий французский поэт, одна из ведущих фигур символизма. Набоков очень высоко оценивал его творчество и неоднократно цитировал. Цитата из "Послеполуденного отдыха фавна" играет существенную роль в структуре его романа "Под знаком незаконнорожденных".

Бовуар, Симона де (1908—1990) — французская писательница экзистенциалистской ориентации, подруга Жана-Поля Сартра,

к которому Набоков питал острую неприязнь. В 1950-х гг. ее творчество было в моде среди интеллектуалов Запада.

...Стендаль, Голсворти, Драйзер и Манн... — Почти полный список (недостает лишь Бальзака, Достоевского и Горького) "второсортных литераторов", по определению Набокова, числившего их по разряду "Литературы Больших Идей", "которая, впрочем, — писал он в послесловии к "Лолите", — часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век". Разумеется, резкость суждений Набокова в связи с теми или иными персоналиями подчас выглядит не вполне оправданной.

С. 125 Тристрам В. Томас — Имя профессора антропологии вызывает литературные ассоциации: Тристрам — вариант имени Тристан (сюжет о Тристане и Изольде), а Тома (Thomas) — англо-норманнский трувер XII в., создавший роман на этот многократно разрабатывавшийся в литературе сюжет.

С. 126 ...обнадеживающе торговался с выдающимся англо-русским писателем... — Таковым является упомянутый выше Владимир Владимирович.

С. 127 "Гастингсов Исторический и Философский Журнал" — выдумка Набокова.

С. 128 генерал Буланже, Жорж (1837—1891) — весьма неоднозначно оцениваемый французский политический деятель конца XIX в., поначалу "демократ", а затем роялист; после неудачной попытки совершить государственный переворот покончил с собой. Набоков сочувственно поминает его в романе "Под знаком незаконнорожденных".

Беранже, Пьер-Жан де (1780—1857) — знаменитый французский поэт-песенник.

С. 134 ...мне известен случай существования тройников в относительно скромном университете... — Рассуждения о двойниках и тройниках в этом абзаце разъясняют феномен повторяемости имен трех супружеских пар в тексте романа. См. комм. к с. 163.

Томас Уинн, Туинн, Твин, Уин и *Вин* — в оригинале обыгрывается *англ.* twin — "близнец", последовательно превращаемое Пниным в Wynn, Twynn, а потом еще в Vin и Twin.

С. 138 Музыкальный звон пронизал маленький дом, явились Клементсы... — См. комм. к с. 30.

С. 139 каноник ван дер Пале — Имеется в виду картина Яна ван Эйка “Мадонна каноника ван дер Пале” (1436), на которой каноник вместе со Святым Георгием стоят, преклонив колени, у трона Святой Девы.

С. 140 Если... сенатор Мак-Карти не отменит заграничных поездок. — Маккарти, Джозеф (1908—1957), американский политический деятель, возглавлявший Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, организатор массированной антикоммунистической кампании, вылившейся в массовую истерию и гонения на леволиберальную интеллигенцию.

“Who's Who” — публикуемый ежегодно американский справочник, содержащий сведения о наиболее выдающихся из ныне здравствующих личностей.

С. 143 columbine — водосбор (Aquilegia gen.), растение *(англ.)*.

Дорианна Карен — вымышленное имя, образованное из комбинации имен Анны Карениной и Дориана Грея (“Портрет Дориана Грея” О. Уайльда). В “Смехе в темноте” (“Камере обскуре”) фигурирует “фильмовая артистка Дорианна Каренина”. Отметим в качестве курьеза и то обстоятельство, что в экранизации “Смеха в темноте”, поставленной Тони Ричардсоном в 1969 г., роль Марго сыграла итальянская актриса Анна Карина.

С. 146 Фогельман — значимая фамилия: Vogel по-немецки — птица.

С. 147 Алджер, Горацио (Олджер, Хорейшо; 1832—1899) — американский писатель, написавший множество книг о детях, которые за счет упорного труда достигли успеха в жизни.

Сэтон Томпсон, Эрнест (1860—1946) — канадский путешественник и писатель.

С. 152 Гауптман, Герхарт (1862—1946) — известный немецкий драматург, чьи пьесы, написанные на рубеже XIX—XX вв., отчасти выдержаны в стилистике натурализма, отчасти близки символизму.

Глава седьмая

С. 157 ...к нашему розоватого камня дому на Морской... — Весьма существенная автобиографическая подробность, связывающая повествователя с автором: в доме № 47 по Большой Морской

улице жила семья Набоковых. В "Других берегах" описан этот особняк — "трехэтажный, розового гранита... с цветистой полоской мозаики над верхними окнами".

С. 160 "Liebelei" ("Забава", 1896) — пьеса австрийского драматурга и прозаика Артура Шницлера (1862—1931). В 1918 г. в Ялте Набоков сыграл в этой пьесе главную роль — роль Фрица Любгеймера.

С. 162 "Самоцветов кроме очей..." — еще один пародийный парафраз ранней лирики Анны Ахматовой. См. комм. к с. 54.

С. 163 Бедная Лиза! — явная ироническая аллюзия на одноименную сентиментальную повесть Н. М. Карамзина.

...Крис и Лу... — Как ни странно, эти имена носят в романе три супружеские пары: Старры ("Я — Кристофер, а это — Луиза", глава 3), Стерны ("Я — Луис, а это — Кристина", глава 4) и, наконец, вот эта чета "щебечущих молодых англичан" неопределенной половой принадлежности.

С. 166 ...по случаю сотой годовщины смерти одного великого писателя. — Речь идет о Н. В. Гоголе, который умер 21 февраля 1852 г.

С. 169 ...he has gone... — Это не вполне верно оформленное по-английски высказывание двусмысленно, так как может также быть воспринято как "он умер".

Гонерилья — старшая дочь короля Лира в трагедии У. Шекспира.

С. 171 ...какое чудо еще может случиться. — Чудо таки случилось, и вполне преуспевающий профессор Пнин объявляется в качестве главы русского отделения университета в Нью-Вае, Аппалачие, США, в романе "Бледное пламя".

РАССКАЗЫ

Всего В. В. Набоков написал по-английски девять рассказов, которые публиковались как в периодической печати, так и в авторских сборниках. Ниже приводятся даты выхода этих сборников в свет:

"Nine Stories" ("Девять рассказов") — 8 декабря 1947 г.

“Nabokov’s Dozen” (“Дюжина Набокова”) — 18 сентября 1958 г.

“Nabokov’s Quartet” (“Квартет Набокова”) — 15 августа 1966 г.

Время первых, журнальных публикаций указывается в комментариях к каждому рассказу.

ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ
(A FORGOTTEN POET)

Написан в мае 1944 г.

Впервые опубликован в “Atlantic Monthly” в октябре 1944 г. Перепечатан в сборнике “Nabokov’s Dozen”.

С. 175 1899 — год рождения В. В. Набокова.

Рембо, Артюр (1854—1891) — французский поэт, один из основоположников символизма.

“Грузинские ночи” — Название поэмы Перова совпадает с названием трагедии Грибоедова, известной нам по небольшому сохранившемуся отрывку и пересказу Ф. Булгарина.

С. 176 Добролюбов — Отношение Набокова к Добролюбову раскрывается в главе 4 “Дара”, где говорится, что “он был топорно груб и топорно наивен”, что “от толчка, данного Добролюбовым, литература покатилась по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, когда, докатившись до нуля, она берется в кавычки: студент привез ‘литературу’”, что его критика “тупая и тяжеловесная” и что “эта плеяда радикальных литераторов писала, в сущности, ногами”.

С. 177 Лонгфелло, Генри Уодсворт (1807—1882) — один из крупнейших американских поэтов XIX в.

Гейне, Генрих (1797—1856) — выдающийся немецкий поэт, прозаик и публицист эпохи романтизма.

Сюлли-Прюдом — псевдоним французского поэта из группы “Парнас” Рене Франсуа Армана Прюдома (1839—1907).

С. 178 Оредеж — Вот что пишет Набоков в главе 3 мемуарного романа “Память, говори”: “Схематически три имения нашей семьи на Оредежи, в пятидесяти милях к югу от Петербурга, можно представить тремя сцепленными звеньями десятимильной цепочки, протянувшейся с запада на восток вдоль Лужского шоссе;

принадлежавшая моей матери Выра находится посередке, Рождествено, имение ее брата, — справа, а бабушкино Батово — слева, соединяют же их мосты через Оредеж, которая виясь, ветвясь и петляя, омывает Выру со всех сторон".

С. 179 ...известная балаганная сцена в "Бесах"... — аллюзия на эпизод в романе Ф. М. Достоевского "Бесы" (часть III, глава 1), где изображен скандал на литературном утреннике.

С. 180 Рип-ван-Винкль — см. комм. к с. 404. романа "Бледное пламя".

Тютчев сказал, что наша страна будет вечно помнить Пушкина... — Заключительные строки стихотворения Тютчева "29-ое января 1837" на смерть Пушкина звучат так: "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!.."

С. 183 ...листок, издаваемый братьями Херстовыми... — Фамилия братьев созвучна фамилии американского газетного магната Уильяма Рэндолфа Херста (1863—1951).

С. 186 ...вроде халата, в котором знаменитый радикальный критик... — Имеется в виду, конечно же, Н. Г. Чернышевский. В главе 4 "Дара" мы обнаруживаем упоминание о его халате, "закапанном стеарином даже сзади".

ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА (THE ASSISTANT PRODUCER)

Рассказ написан в январе 1943 г.

Впервые опубликован в майском номере журнала "Atlantic Monthly" за 1943 г. Перепечатан в сборниках "Nine Stories" и "Nabokov's Dozen". Б. Бойд обращает внимание на то, что во второе книжное издание вкралась техническая ошибка — пропуск двух последних абзацев.

Рассказ основывается на подлинном факте. Живя в Берлине, Набоков был знаком с русской певицей Надеждой Плевицкой (1884—1941), которая в рассказе выведена под псевдонимом "La Slavska". Отмечая свойственную ей пошлость, писатель тем не менее отдавал должное ее дарованию. Позднее, в 1938 г., она была приговорена к двадцати годам тюремного заключения за соучастие в похищении и убийстве руководителя базировавшейся в Париже эмигрантской организации Российский общевоинский союз в изгнании (РОВС) генерала Е. К. Миллера (1863—1937?),

возглавившего РОВС в 1930 г. после похищения чекистами генерала Кутепова. Скорее всего, эта акция была организована вскоре за тем исчезнувшим мужем Плевицкой, генералом Н. В. Скоблиным (1893—1937?), который руководил разведкой и контрразведкой РОВС. Плевицкая отрицала свою причастность к делам мужа и лишь в 1941 г., умирая в тюремной больнице, призналась своему адвокату, что не только участвовала в похищении, но и, будучи агентом ГПУ, сама когда-то завербовала Скоблина и руководила его деятельностью.

Набоковское повествование приобретает пародийную окраску за счет стилизации под киносценарий голливудской мелодрамы 1930-х гг. Как отмечает Б. Бойд, "Набоков меняет местами жизнь и искусство: происходящие события кажутся заимствованными из Фильмландии, но на самом деле подсказаны самой жизнью, которая, в свою очередь, как кажется, подражает низкопробному искусству".

В библиографических заметках к сборнику "Nabokov's Dozen" автор пишет: "На подлинных фактах основан только "Помощник режиссера". Что до остального, я не более виновен в имитации "реальной жизни", чем "реальная жизнь" виновата по отношению ко мне в плагиате".

Первый из написанных по-английски рассказов Набокова.

С. 188 "Сельская честь" (1890) — одноактная опера итальянского композитора Пьетро Масканьи (1863—1945).

Выйдя из мест, бывших... самым сердцем России... — Н. В. Плевицкая (Винникова) родилась в деревне Винниково Курской губернии.

С. 189 ...выбрала партию попрактичней. — В 1918 г. муж Плевицкой, "бывший офицер", был мобилизован в Красную Армию. Плевицкая последовала за ним и выступала в красноармейских частях, причем на афишах ее именовали "красной матерью".

С. 190 ...сама жизнь разыграла этот убогий сценарий... офицерское общество... — В 1919 г. кавалерийская разведка деникинцев взяла в плен в деревеньке под Курском мужа Плевицкой, красного командира, и ее саму. Она назвала командовавшему разведкой капитану свое имя и уже вечером пела в штабе офицерам, а капитан аккомпанировал ей на гармони.

...Belle Dame с порядочной примесью Merci... — отсылка к стихотворению Дж. Китса (1795—1821) "La Belle Dame Sans Merci"

("Прекрасная дама, не знающая жалости"). См. также комм. к с. 47 первого тома.

..."Господа, вот моя невеста"... — Плевицкая познакомилась с врангелевским генералом Скоблиным в 1920 г. в Крыму. Они обвенчались в 1921 г. в Галлиполи после того, как муж Плевицкой дал ей развод.

Став... деятельным членом Б. Б. ... — Генерал Скоблин начал активно работать в РОВС лишь около 1928 г., когда популярность Плевицкой, при которой он был антрепренером, пошла на убыль.

С. 192 Голубков был не только многократным шпионом (тройным, говоря точнее)... — Французские следственные власти, занимавшиеся исчезновением Скоблина, разрабатывали три версии его похищения: агентами ГПУ, агентами гестапо и агентами генерала Франко.

С. 194 ...доктора Бахраха... — Реальный прототип этого персонажа — покровительствовавший Плевицкой врач-психиатр, ученик Фрейда доктор Макс Эйтинген. Во время суда над Плевицкой высказывалось подозрение, что он и был резидентом ГПУ, однако оно ничем не подтвердилось.

С. 198 Это сшитое на живую нитку алиби... — На следствии Плевицкая утверждала, что во время похищения генерала Миллера она завтракала с мужем в ресторане, затем он отвез ее в модный магазин "Каролина", а затем они поехали на вокзал провожать друзей. В магазине она действительно провела более двух часов, уверяя хозяина, что муж ждет ее в машине на улице, и упорно отказывалась пригласить его внутрь. Скоблин зашел в магазин через несколько минут после ее ухода. На вокзал он тоже немного опоздал.

С. 199 Пьер Лябим — Такого философа в действительности никогда не существовало. Французское слово l'abîme означает "бездна".

С. 200 ...отыскали записку. — В действительно оставленной генералом Миллером записке было сказано: "У меня сегодня в 12 час. 30 мин. свидание с ген. Скоблиным на углу улиц Жасмэн и Раффэ. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером, военным атташе в балканских странах Штроманом, и с Вернером, чиновником здешнего германского посольства. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку. 22 сентября 1937 года. Ген.-лейт. Мил-

лер". На самом деле ни Штромана, ни Вернера в природе не существовало. Фамилия Штроман переводится с немецкого как "подставное лицо".

С. 202 Генерал Голубков... вышел первым. — Генерал Кусонский, начальник канцелярии РОВС, которому генерал Миллер оставил записку, вскрыл ее вечером и тотчас вместе с полковником Мацылевым и адмиралом Кедровым отправился к Скоблину домой. Все четверо вернулись в управление РОВС, Скоблину была предъявлена записка, он "смутился" и, когда его собеседники удалились в другую комнату, "улучив момент", сбежал.

Французская полиция... проявляла странную вялость... — Не столько полиция, сколько иные правительственные организации. Полиция установила, что в день исчезновения Миллера на борт стоявшего в Гавре советского парохода "Мария Ульянова" был погружен (причем матросами, а не грузчиками, как обычно) большой тяжелый ящик, после чего пароход поспешно отплыл. На рапорт полицейского комиссара о необходимости попытаться задержать "Марию Ульянову" из Парижа последовал отказ, обоснованный тем, что это испортит сердечные отношения с советским полпредством.

"КАК-ТО РАЗ В АЛЕППО..."
("THAT IN ALEPPO ONCE...")

Написан в мае 1943 г.

Опубликован в "Atlantic Monthly", в ноябре 1943 г. Перепечатан в сборнике "Nabokov's Dozen".

В название рассказа вынесен фрагмент финального монолога Отелло из трагедии У. Шекспира (5.2):

Прибавьте к сказанному: как-то раз
В Алеппо турок бил венецианца
И поносил сенат. Я подошел,
За горло взял обрезанца-собаку
И заколол... Вот так. *(Закалывается.)*
(Перевод Б. Пастернака)

Писатель обыгрывает здесь свой любимый тезис о том, что жизнь воспроизводит ситуации, разработанные литературой, и трагедия Мавра повторяется в основных чертах, помещенная в иные исторические декорации и изложенная в иной стилевой

манере. Вместе с тем обращает на себя внимание исключительно игровой характер текста: он представляет собой письмо, адресованное писателю В. персонажем еще не написанного им рассказа, и завершается мольбой максимально прояснить его судьбу, помочь разобраться в ней и, если возможно, пощадить его.

С. 206 ...как, верно, кричало оно когда-то Ченстону и Калмбруду... — Двух этих имен нет в оригинале. Переводчику показалось невозможным сохранить требующуюся здесь русско-английскую игру слов, не упомянув ни одного английского поэта. Оправданием для подстановки этих имен служит написанное в 1931 г. стихотворение Набокова “Из Калмбрудовой поэмы ‘Ночное путешествие’” (“Vivian Calmbrood’s *Night Journey*”). Vivian Calmbrood — это анаграмма написанных по-английски имени и фамилии Набокова, Ченстон (встреча Калмбруда с которым описана в этом стихотворении) — также несуществующий английский поэт, которому Пушкин приписал авторство “Скупого рыцаря”.

С. 207 ...над нашим угасшим Парижем с... альпийским плеском безлюдных его писсуаров... — Эти же образы присутствуют в “Парижской поэме”, написанной Набоковым в том же 1943 г.:

Чуден ночью Париж сухопарый.
Чу! Под сводами черных аркад,
где стена, как скала, писсуары,
за щитами своими журчат.
Есть судьба и альпийское нечто
в этом плеске пустынном...

С. 208 аффидавит — письменное показание, данное под присягой; здесь имеется в виду частное приглашение посетить страну.

С. 212 “Назначьте день и совершите казнь. За веером, перчатками и маской”. — Первая фраза — слова Лодовико из финала “Отелло” Шекспира. Вторая — из допроса, учиненного Отелло Эмилии (4.2).

С. 212 “Но ведь жалко!” — обращенные к Яго слова Отелло: “Но ведь жалко, Яго! О, какая жалость, какая жалость!” (4.1)

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ, 1945
(CONVERSATION PIECE, 1945)

Написан в марте-апреле 1945 г.

Впервые опубликован в журнале "New Yorker" под названием "Double Talk" 23 июня 1945 г. Перепечатан в сборнике "Nabokov's Dozen".

Этот рассказ — редкий для Набокова пример использования злободневной тематики. Здесь отражается предельное неприятие писателем позиции самой реакционной части белой эмиграции, для которой были характерны слепое германофильство, мешавшее ей разглядеть кошмар лагерей смерти, подозрительность по отношению к иностранцам, вера в мифический "жидомасонский заговор" и готовность принять Сталина как спасителя нации и выразителя русской национальной идеи. Набокову претил и союзнический восторг по поводу всего советского в годы Второй мировой войны.

По мнению Б. Бойда, поводом для написания рассказа могло послужить газетное сообщение о том, что Маклаков, официальный представитель русской эмиграции во Франции, посетил прием в советском посольстве в Париже, где провозгласил тост "за Родину, за Красную Армию, за Сталина". Как отмечает биограф, узнав об этом, Набоков пришел в неистовство и написал своему другу и единомышленнику эсеру Владимиру Зензинову письмо, в котором, осудив Маклакова, предложил свою классификацию русской эмиграции:

"1. Филистерское большинство, ненавидящее большевиков за то, что те реквизировали их земли, деньги или двенадцать ильфо-петровских стульев.

2. Страдальцы по погромам <...>, братающиеся ныне с Советами, в которых чуют Советский Союз Русского Народа.

3. Глупцы.

4. Те, кого занесло за границу по воле случая, выскочки и карьеристы, всегда готовые ради собственных интересов пойти за любым лидером.

5. Милая, преданная делу свободы старая гвардия русской интеллигенции, которая непоколебима в своей оппозиции насилию над языком, мыслью и истиной".

Очевидно, что в рассказе "Групповой портрет, 1945" сатирически представлены первые четыре из этих категорий.

Не исключено, полагает Б. Бойд, что на концепцию рассказа могла также повлиять встреча с литератором Марком Слонимом, дальним родственником Веры Евсеевны Набоковой, которого

писатель заподозрил в прислуживании сталинскому режиму и с которым обошелся весьма жестко.

С. 218 "Протоколы сионских мудрецов" — печально знаменитая фальшивка, призванная подтвердить существование "всемирного жидомасонского заговора"; была изготовлена агентами царской охранки и позднее приобрела широкое распространение в фашистской и националистической среде. У Набокова ссылки на это сочинение всегда являются средством резко отрицательной характеристики персонажа (например, в "Даре" знатоком "Протоколов" является пошляк Щеголев).

С. 219 нансеновский поспорт — см. комм. к с. 46 романа "Пнин".

С. 220 ...к "гласу его хозяина"... — Обыгрывается товарный знак одной из крупнейших фирм-производителей грампластинок EMI, представляющий собой изображение собаки, внимательно слушающей граммофон. Одновременно каламбурно подразумевается И. В. Сталин.

С. 224 Моего Дрездена больше нет... — Речь идет о массированных бомбардировках англо-американской авиацией Дрездена и Лейпцига в 1944 г., приведших к почти полному уничтожению этих городов и колоссальным жертвам среди населения.

С. 228 Лей, Роберт (1890—1945) — один из членов руководства нацистской Германии. Повесился в тюремной камере.

Розенберг, Альфред (1893—1946) — главный идеолог германского нацизма, автор книги "Миф XX века", обосновывающей расистские идеи и ставшей философской базой политики Гитлера. По приговору Нюрнбергского трибунала казнен как военный преступник.

С. 229 "Усеянное звездами знамя" — государственный гимн США, утвержденный в этом качестве Конгрессом в 1931 г. Слова написаны в 1814 г. и позднее положены на музыку старой английской песни.

"Werner Bros." — онемеченное название кинокомпании "Уорнер бразерс" ("Warner Bros."), основанной в 1923 г. четырьмя братьями Уорнер.

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
(SIGNS AND SYMBOLS)

Написан в мае 1947 г.

Опубликован в журнале "New Yorker", 15 мая 1948 г. Перепечатан в сборнике "Nabokov's Dozen".

Названием рассказа служит стандартный заголовок, используемый в конце словарей и атласов для раздела, в котором расшифровываются условные обозначения.

В рассказе ярко раскрывается характерная для стилевой манеры Набокова амбивалентность, двусмысленность. "Мания упоминания" (referential mania), странное психическое заболевание, при котором больной воображает, что всё, происходящее вокруг, "содержит скрытые намеки на его существо и существование", на самом деле, как стремится подчеркнуть писатель, распространяется на всех нас, и поэтому мы, читатели, вынужденно реагируем на расставленные в тексте "знаки" и "символы", подготавливающие как бы неизбежное самоубийство персонажа. Так, "поезд *лишился жизненных токов*", в нескольких футах от автобусной остановки "*полумертвый* бесперый птенец беспомощно дергался в луже", какая-то девушка в вагоне метро "*плачет* на плече женщины постарше"; наконец, два ошибочных ночных телефонных звонка выглядят сигналами назревающей дурной вести. И когда раздается третий звонок, логично преположить, что несчастье и действительно произошло.

Однако возможно и другое прочтение. Будучи жертвами "мании упоминания" (или, иначе говоря, маниакального желания выискивать во всем причинно-следственные связи), мы тщимся усматривать скрытые смыслы и закамуфлированные значения там, где их нет и быть не может. Тогда все так называемые "знаки" становятся обычными предметно-изобразительными деталями, и третий звонок — такая же ошибка, как два предыдущих. Повествовательный "трюк" в произведении в том и состоит, что обе версии сосуществуют как альтернативные и автор не отдает предпочтения ни одной из них.

ПРЕВРАТНОСТИ ВРЕМЕН
(TIME AND EBB)

Написан в сентябре 1944 г.

Первая публикация — журнал "Atlantic Monthly", январь 1945 г. Перепечатан в сборнике "Nabokov's Dozen".

С. 242 ...забавляясь с электричеством... открытие истинной его природы... — Схожий мотив присутствует в "Бледном пламени" (см. стихотворение "Природа электричества" на с. 444).

С. 247 ...с постлиннеевскими систематиками... — Шведский ученый-естествоиспытатель Карл фон Линней (1717—1778) впервые в науке разработал детализированные классификации животного и растительного мира.

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ДВОЙНОГО ЧУДИЩА (SCENES FROM THE LIFE OF A DOUBLE MONSTER)

Написан в октябре 1950 г.

Редактор журнала "New Yorker" К. Уайт сочла рассказ неудачным и вернула его автору. Опубликован в сборнике "Nabokov's Dozen".

Рассказ представляет собой первую часть задуманного Набоковым романа или повести о сиамских близнецах, которые собрались жениться на двух обычных женщинах. Повествование ведется от лица одного из них, выжившего после операции. Замысел автора так и остался неосуществленным.

ЛАНС (LANCE)

Написан в сентябре 1951 г.

Опубликован в журнале "New Yorker" 2 февраля 1952 г. Перепечатан в сборнике "Nabokov's Dozen".

Это последний из написанных Набоковым рассказов. Стоит упомянуть, что имя Ланс Боке носит в романе "Пнин" один из соучеников Виктора Винда по школе Св. Варфоломея.

В редакционной статье журнала "Нью-Йоркер" говорилось:

"В "Лансе" Набоков, конечно же, создает сатиру на научную фантастику, но это служит, скорее, основой для спрятанной глубже серьезной темы, которая, согласно нашим представлениям, формулируется как неизменность человеческих чувств в постоянно меняющемся мире. Сколь бы необычайной ни казалась нам сегодня космическая экспедиция на другую планету, испытываемые ее участниками чувства не отличаются от тех, которые вла-

дели средневековым рыцарем Ланселотом перед тем, как он вступал в единоборство с противником, или теми, которые сегодня испытывают родители, провожая сына на войну. Та же нервозность, та же неловкость при расставании, тот же страх перед неизвестностью, напряженное родительское ожидание возвращения, отвага, проявляемая в экстремальных условиях, трагедия утраты друга, радость возвращения и все та же неспособность передать словами увиденное и пережитое. Неважно, в какой мере мир стал иным, потому что человеческие взаимоотношения, наши чувства и реакции по сути своей остались прежними. А то, что сегодня нам даже трудно вообразить, завтра, когда это уже случится, покажется весьма обыденным".

(Цит. по: *Boyd B.* Vladimir Nabokov: American Years, 1991. PP. 209—210.)

С. 258 ...Аркадии, Икарии и Земфирии... — вымышленные страны или местности, где всегда царят покой и идиллия. Идеальное устройство Аркадии воспето еще поэтами античности. Икария — остров в Эгейском море, где разворачивается действие в одноименной утопии Э. Кабе (1788—1856) "Путешествие в Икарию" (1842).

С. 260 ...200-й от А. А. — вероятно, 200-й год после рождества Артурова ("Anno Arthurii"); имеется в виду король Артур.

С. 264 "Roman de la charrete" — Обыгрывается название куртуазного произведения французского поэта Кретьена де Труа (1135?—1183?) "Сказание о телеге" ("Conte de la Charrette"), известного также как "Ланселот или Рыцарь телеги" ("Lancelot ou le Chevalier de la charette"). В письме в редакцию журнала "Нью-Йоркер" Набоков отмечает, что слово charete пишется с одним "t" из-за своего старофранцузского происхождения.

...сэр Перикард, Черный рыцарь... сэр Груммор Грумморсум... — Персонажи "Смерти Артура" сэра Томаса Мэлори (1417—1471).

С. 265 L'Eau Grise — В этом названии (согласно утверждению Набокова в том же письме) содержится "ученый каламбур". Возможно, он строится на том, что французское слово eau (вода) входит в названия многих алкогольных напитков, а вместе с тем словари фиксируют выражение vin gris (*букв.* "серое вино") — разновидность белого вина.

"dont nus estranges ne retorne" — Цитата из монолога Гамлета (3.1), переведенная на старофранцузский.

СЕСТРЫ ВЭЙН
(THE VAIN SISTERS)

Рассказ написан в феврале 1951 г.

Впервые напечатан в "Hudson Review", в феврале 1959 г. Вошел в сборник "Nabokov's Quartet". Публикация задержалась из-за того, что редактор журнала "New Yorker" К. Уайт, неверно поняв основную мысль автора, возвратила рассказ писателю. Последний по времени опубликования рассказ Набокова.

С. 276 Валевская — Эта фамилия напоминает о графине Валевской, любовнице Наполеона Бонапарта. Сюжет об их романе неоднократно разрабатывался в литературе и кино.

С. 281 ...с Джеймсовыми отступлениями... — намек то ли на знаменитого американского психолога Уильяма Джеймса (1842—1910), создателя термина "поток сознания", то ли на его брата, не менее знаменитого писателя Генри Джеймса (1843—1916).

С. 282 ...Порлок... на цитату из бессмертной поэмы... "Alph"... — В предисловии С. Е. Кольриджа к его поэме "Кубла Хан, или Видение во сне" сказано: "Летом 1797 года автор, в то время больной, уединился в своем крестьянском доме между Порлоком и Линтоном..." Далее Кольридж рассказывает, как, уснув в кресле, сочинил во сне поэму в двести или триста строк а проснувшись, начал ее записывать. "В то мгновенье, к несчастью, его позвал некий человек, прибывший по делу из Порлока, и задержал его больше часа..." Вернувшись к столу, Кольридж обнаружил, что ничего больше не помнит. Стихотворение начинается такими строками:

В стране Ксанад благословенной
Дворец поставил Кубла Хан,
Где Альф бежит, поток священный,
Сквозь мглу пещер гигантских, пенный,
Впадая в сонный океан.
(Перевод К. Бальмонта)

Напомним, что, работая над романом "Под знаком незаконнорожденных", Набоков среди прочих вариантов его названия рассматривал и "Человек из Порлока".

...и Цинтия, куда более изощренная любительница ошибочно и беззаконно соединенных слов, каламбуров, логогрифов и прочего... — намек на структурную тайну рассказа, раскрывающуюся в последнем абзаце. См. комм. к с. 289.

логогриф — анаграмма; при перестановке букв раскрывается истинный смысл слова.

С. 283 Анна Ливия Плюрабель — Под таким названием Джойс опубликовал в 1932 г. отрывок из еще не законченного романа “Поминки по Финнегану”. Это имя в джойсовском романе носит женщина-река, воплощение Вечной Женственности.

Являлся Оскар Уайльд и... обвинял... в чем-то, приобретшем... вид “плагиатизма”... — Сибил Вэйн зовут в романе Оскара Уайльда “Портрет Дориана Грея” (1891) влюбленную в Дориана (откуда, видимо, и “Д.” у Набокова) и брошенную им девушку, которая в отчаянии кончает с собой.

С. 284 Майерс, Фредерик (1843—1901) — один из основателей британского “Общества изучения психических явлений”, автор трудов по спиритизму; писал также стихи.

С. 285 ...Коркорана, торговца картинами... — отсылка к художественной галерее Коркорана в Вашингтоне, открытой в 1872 г. и содержащей одно из наиболее полных собраний американской живописи в мире.

С. 286 Оуэн, Роберт Дейл (1801—1877) — американский реформатор и законодатель, последние двадцать лет своей жизни увлекался спиритуализмом.

С. 287 TAFT — видимо, Уильям Говард Тафт (1857—1830), двадцать седьмой президент США (1900—1913), консерватор, пребывание которого в Белом доме было отмечено бурной политической борьбой, приведшей к расколу республиканской партии.

С. 288 ...Хайдесвилль... сестер Фокс... — В начале 1840-х гг. две американские девочки из деревушки Хайдесвилль — Маргарет Фокс и ее младшая сестра Кэти — объявили, что общаются посредством системы “перестукиваний” с духами. Сестры стали знаменитыми медиумами и лишь в 1888 г., после смерти Кэти, Маргарет, обратившаяся в католицизм, объявила, что все это было обманом. Впрочем, вскоре она вновь начала давать сеансы, чтобы заработать на жизнь.

Уоллес — см. комм. к с. 375 романа “Бледное пламя”.

С. 289 Сознание выпутывало... лишнее. — Финальный абзац новеллы содержит ключ к пониманию ее смысла. Дело в том, что в оригинале первые буквы составляющих его слов образуют акростих:

"I could isolate, consciously, little. Everything seemed blurred, yellow-clouded, yielding nothing tangible. Her inept acrostics, maudlin evasions, theopaties — every recollection formed ripples of mysterious meaning. Everything seemed yellowly blurred, illusive, lost".

Набоков сам дает подсказку, вводя в абзац слово "акростих" (acrostics). Проведя соответствующую операцию (т. е. вычленив соответствующие буквы), мы получим следующий текст: "ICICLES BY CYNTHIA, METER FROM SYBIL" ("Сосульки от Цинтии, счетчик от Сибил"). Вернувшись к началу рассказа, читатель обратит внимание на подробно выписанные блестящие сосульки (своего рода знак, посланный Цинтией и влияющий на поведение рассказчика, а также "долговязый призрак", продолговатую тень счетчика автостоянки (знак, идущий от Сибил), рядом с которым рассказчик встречает Д.

Набоков разъяснил эту тайну в письме к К. Уайт, где, в частности, говорится: "Вы можете возразить, что в обязанности редактора не входит читать произведение сверху вниз, снизу вверх или по диагонали, но все же хочу отметить, что посредством ряда намеков я организовал текст так, чтобы читатель почти автоматически обнаружил фокус, в особенности благодаря резкой перемене *стиля*.

Большинство рассказов, которые я сейчас продумываю, будут построены по тому же принципу, согласно которому вторая (основная) история вплетена в другую, внешнюю, полупрозрачную, или маскируется ею. (Несколько таких рассказов я уже написал, и, кстати, один из них — содержащий подобную "начинку" — о пожилой еврейской чете и их больном мальчике ["Знаки и символы"], вы опубликовали.) Я весьма разочарован тем, что такой тонкий и милый читатель, как вы, не заметил скрытой пружины в моем рассказе".

БЛЕДНОЕ ПЛАМЯ
(PALE FIRE)

Набоков приступил к работе над произведением в марте 1957 г. и закончил его 4 декабря 1961 г.

Роман опубликован 25 апреля 1962 г. издательством "G. P. Putman's Sons", Нью-Йорк. На русском языке впервые издан под названием "Бледный огонь" (перевод В. Е. Набоковой): Ann

Arbor: Ardis, 1983. Первый вариант настоящего перевода напечатан в книге: *Набоков В.* Бледное пламя: Роман и рассказы. Свердловск: "91", 1991. В данном издании публикуется в основательно переработанном виде, что в особенности касается поэмы. Перевод выполнен по изанию: *Nabokov V.* Pale Fire. N. Y.: A Lancer Book, 1963.

"Бледное пламя" — своего рода синтез литературных замыслов и устремлений, к которым Набоков обращался и возвращался в самые разные годы своей жизни. Сюда, как и в "Под знаком незаконнорожденных", перекочевали из русского периода осколки незавершенного романа "Solus Rex". Форма же произведения (предисловие, поэма, пространный комментарий и указатель) напоминает о рождавшемся в те годы масштабном труде Набокова — комментированном издании "Евгения Онегина", включавшем в свой состав предисловие, текст перевода, комментарии, указатель и факсимильную версию первой прижизненной публикации пушкинского романа.

Название романа позаимствовано у Шекспира. В трагедии "Тимон Афинский" Тимон, беседуя с ворами, говорит следующее (4.3):

"...the moon's an arrant thief,
And her *pale fire* she snatches from the sun" —

или в переводе П. Мелковой (Полн. собр. соч., т. 7, с. 499):

"Луна — нахалка и воровка тоже:
Свой *бледный свет* крадет она у солнца".

Это можно счесть источником названия романа, если бы речь в нем шла только об отражениях (в том числе интерпретациях литературного произведения) либо просто о краже рукописи Шейда Кинботом. При этом, однако, невозможно понять, какое отношение имеет такое название собственно к поэме, в которой речь идет о смерти дочери Джона Шейда и о потустороннем мире. Но существует, как обычно у Набокова, еще и второй слой. В трагедии "Гамлет" *Призрак, или Тень,* прощаясь с Гамлетом, говорит (1.5):

Fare thee well at once!
The glow-worm shows matin to be near,
And 'gins to *pale* his uneffectual *fire.*

Существующие переводы, к сожалению, не передают его слова с достаточной точностью, однако, на них стоит взглянуть:

Прощай! прощай! Светящийся червяк
Мне говорит, что близко утро:
Бессильный свет его уже бледнее...
(А. Кронеберг)

Прощай, теперь пора.
Светляк уж близость утра возвещает,
И меркнуть стал его *бессильный блеск...*
(К. Р.)

Но теперь прощай!
Уже светляк предвозвещает утро
И гасит свой *ненужный огонек...*
(М. Лозинский)

Прощай, прощай, пора, —
Светляк уж возвещает — скоро утро —
И гасит свой *бессильный огонек.*
(А. Радлова)

Теперь прощай. Пора. Смотри, светляк,
Встречая утро, убавляет *пламя.*
Прощай, прощай и помни обо мне!
(Б. Пастернак)

Обратим внимание и на то, что нужные нам слова произнесены Призраком, и на соседство “светляка”, которому предстоит сыграть в романе немалую роль. И еще одно: в английском языке существует созвучное Pale Fire слово balefire, означающее, среди прочего, “погребальный костер”.

Вернемся к “Тимону Афинскому”. История Тимона, начиная с диалога “Тимон” Лукиана, излагалась в мировой литературе множество раз. И древние авторы, и писатели-гуманисты видели в судьбе этого отшельника, решившего жить, не общаясь с себе подобными, проявление крайней асоциальности. Соответственно Тимон традиционно осуждался или даже высмеивался. Его считали человеконенавистником, отказавшимся от высших достижений духа и опустившимся до скотского состояния.

Самое для нас интересное сказал о нем Диоген Лаэртский: “Был также <...> Тимон, человеконенавистник. Был он быстр умом и остер на язык, любил словесность и с готовностью сочинял для стихотворцев планы драм и вместе их разрабатывал”.

Шекспир, чей подход близок Набокову, пошел против традиции осуждения Тимона. Его Тимон — трагический персонаж, вызывающий сочувствие. Одиночка, у которого нет ни родных,

ни близких по духу людей, он представлен выдающейся личностью, чья судьба множеством нитей связана с общественным бытием. Набокова увлекает выраженное в трагедии ощущение вселенской несправедливости. Мир, где все строится на неправедности и воровстве ("Солнце — первейший вор. Луна — нахалка и воровка тоже... Всё в мире вор!"), враждебен "одиноким королям" и поэтам.

В "Бледном пламени" предельно затемнена проблема авторства всех составляющих произведение текстов, а также реальности (или нереальности) основных его персонажей — Шейда, Кинбота и Градуса. Понимание романа в значительной степени зависит от того, какую версию мы примем. Так, Э. Филд и Б. Бойд полагают, что Шейд — автор не только поэмы, но и комментария, и соответственно Кинбот является персонажем написанного им произведения. Существует и прямо противоположная версия (первым ее сформулировал П. Стегнер), в соответствии с которой писатель-безумец Кинбот сочинил не только фантастическое повествование о короле Карле Возлюбленном, но и историю поэта Шейда, и соответственно его поэму, а также повествование об убийце Градусе. (Учтем, что фамилия персонажа значима: shade по-английски "тень". Так чьей же тенью он является?) Такие истолкования вполне убедительны и сами по себе, но особую значимость им придает опыт "Лолиты", где столь же противоречиво представлена оппозиция Гумберт Гумберт — Клэр Куильти. Впрочем, не все исследователи считают, что все тексты романа "сочинил" один и тот же персонаж, хотя эта точка зрения и преобладает. Например, Д. Бартон Джонсон трактует Шейда и Кинбота как различных персонажей.

"Бледное пламя" обладает и определенной языковой спецификой. Подобно тому как в романе "Под знаком незаконнорожденных" писатель использовал сконструированный им куранианский язык (гибрид русского и немецкого), в настоящей книге он достаточно широко прибегает к также придуманному им земблянскому, где комбинируются элементы различных германских (в том числе скандинавских) языков. Писатель ведет изощренную словесную игру, строя многоязычные каламбуры, в которых взаимодействуют английский, французский, немецкий, скандинавские языки и тот же земблянский. В наших комментариях мы раскрываем наиболее сложные лингвистические подтексты и ассоциации, а также поясняем те земблянские слова, смысл которых недостаточно (как правило, сознательно) прояснен самим автором в тексте произведения.

При подготовке комментария помимо собственных изысканий и соображений комментаторов был использован ряд набоковедческих работ: *Meyer, Priscilla.* Find What the Sailor Has Hidden. Wesleyan University Press, 1988; *Barton Johnson, Donald.* Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, Ardis, 1985; комментарий Брайена Бойда к роману, напечатанный во втором томе (*Nabokov V.* Novels 1955—1962) трехтомного собрания англоязычных сочинений В. Набокова, вышедшего в 1996 г. в серии The Library of America. Привлекались и некоторые другие источники.

Выражаем особую благодарность автору одного из этих трудов Присцилле Мейер за ее неоценимую помощь и доброе к нам расположение.

Принцип построения комментария таков: комментируется преимущественно прозаический текст, даже если комментируемое слово (имя, название) уже появлялись в поэме. Комментарий к поэме содержит объяснения лишь тех слов (имен, названий), которые Кинботом не упоминаются.

Для того, чтобы избежать возможной путаницы, все статьи, вошедшие в наш комментарий, именуются "примечаниями" (прим.) в отличие от статей, содержащихся в комментарии Кинбота, которые обозначаются словом "комментарий" (комм.).

ЭПИГРАФ

Написанная в 1791 г. шотландским писателем Джеймсом Босуэллом (1740—1795) биография великого английского лексикографа, эссеиста, поэта и критика Сэмюеля Джонсона (1709—1784), которая цитируется в эпиграфе, считается одной из лучших в английской литературе. Главный вопрос, связанный с эпиграфом: кем он поставлен — Кинботом или Шейдом? Первый имел основания взять эпиграф из биографии великого человека, написанной его другом, и подчеркнуть тем самым свою близость с Джоном Шейдом. Тут стоит отметить, что Босуэлл провел в повседневном общении с Джонсоном всего только часть 1773 г. — они вместе совершили поездку на Гебриды. Кинбот познакомился с Шейдом 16 февраля 1959 г., а 21 июля (в день рождения Владимира Дмитриевича Набокова, отца автора) того же года Шейд погиб. Остается, однако, непонятным, почему из огромной "Жизни Сэмюеля Джонсона" Кинбот выбрал именно этот отрывок. Если же эпиграф, явно не имеющий никакого отношения

собственно к поэме, поставлен самим Шейдом, то приходится заключить, что именно Шейд является автором не только поэмы, но и Комментария к ней, нафантазировавшим собственную смерть (или задумавшим самоубийство) и то, что за нею последовало, и эпиграф оказался нужен ему, чтобы подчеркнуть это обстоятельство — "Ходжа никогда не пристрелят".

ПРЕДИСЛОВИЕ

С. 293 Аппалачие — вымышленный штат, название которого образовано от Аппалачских гор.

...состоит из восьмидесяти справочных карточек... — Свои собственные произведения Набоков также писал на аналогичных карточках.

С. 295 "...видел как бы в тусклом стекле". — В Библии, в Первом послании к Коринфянам (13, 12): "Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу".

...захотел исказить грани своего кристалла вмешательством... — Образ магического кристалла искусства, заимствованный у Пушкина, фигурировал и в "Лолите" (Мак-Кристал из списка одноклассников героини), и в "Пнине".

С. 297 ...единственного виновника появления шедевра на свет... — Кинбот извлек эту формулу из посвящения, которым открывалось первое издание "Сонетов" В. Шекспира (1809): "Единственному виновнику появления на свет нижеследующих сонетов, господину W. H., всякого счастья и вечной жизни, обещанных ему нашим бессмертным поэтом, желает доброжелатель, рискнувший издать их. Т. Т."

С. 298 Голконда — город в южной Индии в окрестностях Хайдарабада, развалины которого сохранились до наших дней; был столицей мусульманского государства; знаменит найденными там бриллиантами.

Джим Коутс — англичанин, опубликовавший в начале XX в. несколько книг по месмеризму и чтению мыслей, носивших показательные названия "Фотографирование незримого", "Видение незримого".

С. 299 Гольдсворт — см. прим. к с. 350, строки 47—48.

шато — замок (*фр.* château).

С. 301 леотард — балетное или акробатическое трико.

С. 304 Онгава — Название земблянской столицы происходит от эскимосского слова, означающего "далекое место".

Эмеральд — от *англ.* emerald (изумруд).

Хаусман — см. комм. к с. 45 первого тома. Здесь же стоит сказать лишь, что по сексуальной ориентации Хаусман относился к числу тех, кого Кинбот именует "земблянскими патриотами".

С. 305 ...перепутав жилище Одина с названием финского эпоса... — Валгаллу (см. прим. к строке 149, *Одивалла*) с "Калевалой" (и стоит добавить — с популярным в конце пятидесятых годов финским танцем "Хали-гали").

...хогартовских пьянчуг... — Английский художник XVIII в. Уильям Хогарт (1697—1764) знаменит сериями гравюр, на которых гротескно представлена жизнь городских низов Лондона.

С. 306 Экстон — Название этого города, как и Нью-Вая, симптоматично: в первом присутствует X (экс — икс), во втором — Y (вай — игрек). Иначе говоря, города эти — весьма условные величины в квазиреальности романа.

ализа — чемодан (от *англ.* valise). Слово присутствует и в русском языке.

БЛЕДНОЕ ПЛАМЯ

Поэма в четырех Песнях
(в скобках указаны номера строк)

С. 312 трофей (40) — писанный красками, лепной или литой архитектурный орнамент, изображающий воинские доспехи.

С. 318 "je nourris les pauvres cigales". — *Фр.* cigale (цикада) перепутано с *англ.* sea-gull (чайка), сходным по произношению.

Лафонтен, тужи... (243) — В связи с упомянутыми чуть выше по тексту поэмы цикадой (перепутанной с чайкой) и муравьем отметим, что этой басне Жана де Лафонтена (1621—1695), называвшейся "La Cigale et la Fourmi" ("Цикада и муравей", *фр.*), особенно не повезло с переводчиками, называвшими ее кто "Кузнечик и муравей"(по-английски), кто "Стрекоза и муравей" (по-русски).

С. 320 Пан (326) — в греческой мифологии божество стад, лесов и полей, отличавшееся редкостным уродством.

Сороза-Холл (330) — название первого женского клуба, созданного в США в 1869 г., и затем распространившееся на женские клубы вообще.

С. 322 Лоханхед (402) — Отметим сходство с "Лохернхеад" Ангуса Мак-Диармида (см. прим. к строке 12). Оба слова связаны с шотландским loch (озеро).

С. 323 "Зри, в пляс — слепец, поет увечна голь. (419) — Строка из Второй эпистолы. "Опыта о человеке" Александра Попа (1688—1744). За этим следует: "Здесь сумасшедший царь, помешанный — король". "Поповская" тема в романе чрезвычано велика, она получает развитие и в самом тексте, и в комментариях (см. в особенности прим. к строке 937). Формальный автор поэмы — Шейд — специалист по творчеству Попа, и в ней он строго выдерживает свойственный классику размер. Следующие за приведенными строки цитируются в прим. к строке 384. Сошлемся, добросовестности ради, еще на два перевода этих строк:

Плясать калеке не мешает боль,
А сумасшедший мнит, что он король...
(В. Микушевич)

Слепой танцует, а хромой — поет,
Монаршей властью бредит идиот...
(И. Кутик)

Все это может быть случайным совпадением, однако тот, кто полагает, что вся книга написана Шейдом, пожалуй, нашел бы здесь намек на это обстоятельство.

С. 324 ...лик пустой... желаний плотских... (452—457) — Описывается, по-видимому, американская киноактриса Мерилин Монро (1926—1962).

...галлицизм невнятный... (455) — "Мушка" по-французски — "grain de beauté".

С. 326 Мак-Абер (506) — от *англ.* macabre (зловещий, макабрический).

С. 327 Советы мы даем... ревнующих друг к дружке. (569—572) — Перевод В. Набокова, приписанный им Аде Вин в пятой части романа "Ада".

С. 330 "Что там за странный треск?.. Конь в ловушке мой!" (653—661) — В этом эпизоде пародируется сцена с нервной женщиной из поэмы знаменитого англо-американского поэта Т. С. Элиота (1888—1965) "Бесплодная земля" (II. "Игра в шахматы"):

"Что там за шум в дверях?"
Наверное сквозняк.
"Что там за шум? Чего он там шумит?"
Да ничего.
"Ты
Ничего не знаешь? И не видишь? И не помнишь?
Ничего?"

(Перевод С. Степанова)

Как обычно, Набоков на протяжении всего текста косвенно, языком аллюзий говорит о своих художественных пристрастиях. В этом аспекте романа, как отметил американский исследователь Дж. Б. Фостер, доминируют две фигуры: Т. С. Элиот и М. Пруст (*Foster J. B., Jr.* Nabokov's Art of Memory and the European Modernism. Princeton: Princeton Univ. Press, 1993), причем отношение писателя к ним полярное. М. Пруст во многом служит для него эталоном, и это касается не только разработанного французским романистом сложного механизма воспроизведения человеческой памяти, но и интереса к мельчайшим предметно-изобразительным деталям в окружающем его персонажа мире. Напротив, Т. С. Элиот, для которого характерна установка на символическое письмо, служит для Набокова образцом дурного вкуса в пределах литературы так называемого "высокого", или "серьезного", модернизма. Понять позицию Набокова помогает его реакция на статью Эдмунда Уилсона "Т. С. Элиот и англиканская церковь", с которой он познакомился в 1958 г. и в которой поэт критикуется за свои неоклассические воззрения, монархизм и подчеркнутую установку на религиозную (англо-католическую) тенденциозность. В письме к Уилсону Набоков называет статью "абсолютно восхитительной" (The Nabokov—Wilson Letters. P. 326). В "Бледном пламени" сам он концентрирует свою критику на двух аспектах творчества Т. С. Элиота — его религиозных и литературных взглядах. Как заметит читатель, роман пестрит различными пародийными элементами и выпадами, причем в дальнейшем Набоков обращается к другому, более уязвимому произведению поэта, его циклу "Четыре квартета" (1943). Личность и творческий путь Т. С. Элиота спародированы в "Аде".

С. 339 "Залив в тумане"... (957) — Из поэмы Алекснадра Попа "Тому, кто в Раю".

КОММЕНТАРИЙ

Строки 1—4

С. 343 свиристель — На швейцарском диалекте немецкого языка эта птица называется Sterbevogel, или “птица смерти”. Считается, что она появляется каждые семь лет, предвещая смерть, чуму и голод.

С. 344 Карл Возлюбленный — Имя Карл носили многие европейские государи, однако в связи с Карлом Возлюбленным, или Карлом II, последним королем Земблы, стоит отметить прежде всего Карла II Стюарта, короля Англии (1630—1685), о котором еще не раз пойдет речь ниже; Карла Евгения (1728—1793), великого герцога Вюртембергского, гомосексуалиста (вследствие чего он развелся с первой своей русской женой, красавицей Ольгой), чей двор был одним из самых роскошных в Европе; и Карла VI (1368—1422), короля Франции, имевшего два прозвания — Le Bien-Aimé (Любимый, Возлюбленный) и Le Fol (Безумный). Возможно, что прозвище Карла, короля Земблы, связано со шведским kärlek, датским kaerlighed и исландским kaerleikur (любовь).

Строка 12

С. 344 Зембла — Едва ли не до середины нашего века, пока не было установлено правило, согласно которому географические названия должны отвечать национальным, Новая Земля традиционно обозначалась на европейских и американских картах как Nova Zembla. Этот остров играет определенную роль в истории семьи Набоковых. В “Память, говори” Набоков пишет: “...мой прадед Николай Александрович Набоков молодым флотским офицером участвовал в 1817 году, вместе с будущими адмиралами бароном фон Врангелем и графом Литке, в руководимой капитаном (впоследствии вице-адмиралом) Василием Михайловичем Головниным картографической экспедиции на Новую Землю (ни много ни мало), где именем этого моего предка была названа “река Набокова”. Впрочем, если верить Б. Бойду, информация Набокова оказалась ошибочной — прадед его в экспедиции не участвовал, однако “река Набокова” действительно была названа так графом Литке в честь своего друга. В роман же название Зембла проникло из поэмы А. Попа. (О Попе см. прим. к строке 937). Кроме того, существует также разновидность рододендронов, называемая “Nova Zembla”. В одном из руководств по их разведению рекомендуется: “give them some shade” (“давайте им достаточно тени”).

С. 345 мусковит — калиевая слюда, существенная часть гранитов, гнейсов, слюдяных сланцев.

конхиолог — специалист по конхиологии, науке о раковинах и моллюсках.

...под влиянием дяди его, Конмаля... — см. прим. к строке 962.

С. 346 "Finnigan's Wake" — Кинбот ошибается: роман Джеймса Джойса (1882—1941), который он имеет в виду, называется "Finnegans Wake" ("Поминки по Финнегану", а не "Устроенные Финнеганом поминки", как получается у Кинбота).

Ангус Мак-Диармид — Б. Бойд приводит запись из черновиков Набокова: "'Ребячий язык', которым пользуется Джонатан Свифт в своих письмах к Стелле, и "несвязные трансакции" Ангуса М'Диармида, автора "Описания красот Эдинампля и Лохернхеда", 1841, отзываются в худших пассажах Джеймса Джойса". Другое истолкование предлагает П. Мейер: Ангус имя кельтское и, возможно, является отсылкой к стихотворению Йейтса "The Song of Wandering Aengus", в котором, как и в "Бледном пламени", присутствуют темы магии и метаморфоз. Вторая половина имени — Мак-Диармид — вероятно, позаимствована из псевдонима Хью Мак-Диармид шотландского поэта К. М. Грива (1898—1978). Его "несвязные трансакции" сводились к попыткам оживить шотландскую литературу, для чего он писал стихи на нижнешотландском диалекте, организовал Шотландскую националистическую партию, затем вступил в коммунистическую партию, написал два "Гимна Ленину", был из партии изгнан и вновь вступил в нее уже в 1956 г., написав предварительно "Третий гимн Ленину".

..."линго-гранде" Саути... — Роберт Саути, (1774—1843), поэт, один из трех создателей "Озерной школы" (двумя другими были Кольридж и Вордсворт). В последние годы жизни страдал умственным расстройством. "Дорогое шлюхозадое" взято из письма Саути его другу Г. К. Бедфорду от 14 сентября 1821 г. В другом письме к нему (от 24 декабря 1822 г.) Саути говорит о "странном языке,<...> который я называю "линго-гранде" — языке, в шутку изобретенном женой Кольриджа (и невесткой Саути) Сарой.

Ходынский — см. прим. к строкам 680—681.

"Kongs-skugg-sio" ("Зерцало короля") — На самом деле "Konnung-skuggsia", исландский трактат, посвященный флоре, фауне, климату, географии Ирландии, Исландии и Гренландии, о том, как следует плавать в эти страны, а также о религии, поли-

тике и придворных. Трактат был написан в XIII в. (Кинбот "сдвигает" его в XII в., относя ко времени написания "Слова о полку Игореве" — вероятно, по причине соседства с "Ходынским"). Словом skugg обозначается по-исландски и "тень", и "призрак"; skugg-sjo (-sja) — "театр теней", т. е. "зеркало". Таким образом, это название содержит едва ли не все основные мотивы романа (король — тени — призраки — отображения).

Строка 27

С. 348 "Дело о попятных следах" — Такого рассказа у Артура Конан Дойля действительно нет, однако в рассказе "Пустой дом", перечисляя способы инсценировать собственную гибель, Шерлок Холмс упоминает и такой прием.

Строка 35

С. 348 Гарди, Томас (1840—1928) — английский прозаик и поэт, воспевавший чудом сохранившиеся островки "доброй старой Англии", которые он противопоставлял морально и эстетически непривлекательной урбанистической цивилизации.

Строки 39—40

С. 349 Солнце — вор... — Сделанный членом Земблянской академии дядей короля Конмалем перевод этого ключевого места ("Тимон Афинский", 4.3), давшего набоковскому роману название (см. вводную часть к нашим комм.), принципиально отличается от оригинала по крайней мере в двух отношениях. Сравним:

У Шекспира:

The sun's a thief, and worth *his* great attraction
Robs the vast sea: the moon's an arrant thief
And her ***pale fire she*** snatches from the sun!
The sea's a thief, whose liquid surge resolves
The moon into salt tears; the earth's a thief
That feeds and breeds by a composture stolen
From general excrement: and each thing's a thief.

"Перевод" Конмаля:

The sun is a thief: *she* lures the sea
And robs it. The moon is a thief:
He seals his silvery light from the sun.
The sea is a thief: it desolves the moon.

Во-первых, из перевода выпало *бледное пламя*, во-вторых, произошла "смена полов": солнце было у Шекспира he (он), а в переводе обрело женский род и стало she (она), и наоборот, луна, в оригинале she (она), а в переводе he (он). Эта "рокировка" подчеркивает ту атмосферу двойственности и зыбкости, которая характеризует текст произведения.

Строки 41—42

С. 350 ...звездный блик... — призрачное изображение звезды или планеты, возникающее рядом с основным изображением вследствие отражения света от линз окуляра, когда на нее смотришь в телескоп.

Строки 47—48

С. 350 Вордсмит и *Гольдсворт* — "перетасованные" имена Вильяма Вордсворта (1770—1850) и Оливера Гольдсмита (1728—1774). Одну из своих поэм — "Аббатство Тинтерн", посвященную бессмертию, Вордсворт сочинил во время прогулок по берегам реки Вай. Следует также учесть и то, что, работая в Корнельском университете, Набоков проводил занятия в учебном корпусе, называвшемся Голдвин Смит Холл (Goldwin Smith Hall).

С. 351 ...об остроумном обмене слогов, заставляющем вспомнить двух мастеров героического куплета... — героическими куплетами писал лишь Гольдсмит, Вордсворт их избегал.

wodnaggen — Этимология этого слова такова: *англ.* wood — "дерево", а форма naggen, напоминающая шведскую, имеет значение "обшитый" (ср. *нем.* nähen — "шить").

Маленков, Георгий Максимилианович (1902—1988) — председатель Совета министров СССР с 1953 по 1955 гг.

...земной мальчик... — картина П. Пикассо "Мальчик, ведущий коня" (1905—1906).

С. 358 домицилий — от *лат.* domicilium (резиденция, жилище, местопребывание важной особы).

день Св. Свитина — 15 июля. О. Спроулз обращает внимание на то, что когда король Генрих VIII в 1538 г. распорядился извлечь золото и драгоценности из могилы этого святого, то оказалось, что они фальшивые. Это обстоятельство обыгрывается позднее (см. прим. к строкам 433—435).

"promnad vespert mid J.S." — "Вечерняя прогулка с Дж. Ш." *(зембл.).*

Строка 49

С. 360 пекан — дерево рода кария (или, что то же самое, гикори), семейства ореховых, дающее съедобные плоды.

"Кубок Гебы" — Название этого сборника отзывается последней строфой хрестоматийного стихотворения Ф. Тютчева "Весенняя гроза".

С. 361 гинкго — происходящее из Китая реликтовое дерево (Ginkgo biloba), которое широко разводят в качестве декоративного.

...Старинной бабочкой, неправою рукой / Распятой... — Набоков писал своим французским переводчикам: "Двести лет назад собиратели расправляли бабочек так:" — далее следовал рисунок бабочки с передними крыльями, оттянутыми под задние, отчего ее очерк напоминает лист гикори. Это же дерево появляется в конце главы 41 первой части "Ады".

Репбург — Как сообщает Б. Бойд (за что авторы комментария, пользуясь случаем, приносят ему глубокую благодарность), это имя получено преобразованием имени "гениального ландшафтного архитектора" Хэмфри Рептона (1752—1818), упоминаемого также в "Мэнсфильд парке" (1814) Дж. Остин, в свой черед несколько раз упоминаемом в "Аде" (английское окончание -ton, т. е. town (город) — как в "Ньютон" — заменено немецким -burg — как в "Люксембург").

Строка 64

С. 364 "You have hal.....s real bad, chum" — Кинбот считает, что в записке говорится: "Да у тебя, приятель, галлюцинации", но, судя по количеству точек в hal.....s, это halitosis (дурной запах изо рта), и тогда получается: "Ну, и несет же у тебя изо рта, дружок".

С. 365 Валтасар — имя одного из трех новозаветных царей-волхвов, который был чернокожим. Правда, имя тихого, рано ложащегося спать постояльца вызывает и другие ассоциации, так как читателю по контрасту сразу приходит на ум последний Вавилонский царь Валтасар (фигурирующий в Библии), который в ночь взятия Вавилона персами устроил пир ("Валтасаров пир"), имевший мистические и трагические последствия. История Валтасара — вавилонского правителя неоднократно разрабатывалась в литературе, в том числе И. В. Гете, Дж. Г. Байроном, Г. Гейне, и в живописи — Я. Тинторетто, Х. де Рибера, Рембрандтом и др.

Heliotropium turgenevi — Запах гелиотропа витает в воздухе вечерних тургеневских садов, например в романе “Дым”.

Строка 71

С. 367 Лукины... из Эссекса. — Обыгрывается номенклатурное название Esox lucius L. — щука обыкновенная.

Альфин — Изначально словом alfin обозначалась в Англии шахматная фигура, позднее ставшая называться bishop — “слон” (французы называли ее “дурак” по причине ограниченности ее движений). Нельзя, однако, сбрасывать со счетов и созвучия русскому “эльф”, собственно, не только русскому — в староанглийском то же существо называлось aelf. Королевский чин делает его “эльфом-королем”, или “королем эльфов” из баллады Гете, о которой см. прим. к строке 662.

С. 368 Амфитеатрикус — Возможным прообразом этого “сочинителя стихотворений на злобу дня” является Александр Васильевич Амфитеатров (1862—1938), автор антимонархической сатиры “Господа Обмановы” (читай — Романовы). В 1920-х гг. в Берлине Набоков был близко знаком с его сыном.

Ураноград — Название города связано с используемым Набоковым понятием “уранизм”; см. комм. к с. 44, к роману “Пнин”.

С. 369 ...на зонтообразном “гидроплане” Фабра... — Не исключена связь с французским энтомологом Жаном-Анри Фабром (1823—1915), известном у нас своей “Жизнью насекомых”. Набоков относился к его трудам довольно прохладно: “Случалось, какая-нибудь тетка дарила мне книгу Фабра, к популярным трудам которого, полным болтовни, неточных наблюдений и прямых ошибок, отец относился с пренебрежением” (“Дар”, глава 2).

Нитра и *Индра* — два острова, “внешний” и “внутренний” по-земблянски. Индра — верховное божество в древнеиндийской мифологии, бог силы, молнии и воздушной стихи. Происхождение слова “Нитра” не ясно. Нита — богиня земли в Восточной Индонезии; исландское niori означает “внизу”. Город Нитра в Словакии вряд ли заслуживает упоминания. См. indran и nidran в комментарии Кинбота, строки 677—678, в переводе стихотворения Марвелла на земблянский.

“Фарман” — один из первых аэропланов, биплан, названный по имени французского авиатора Анри Фармана (1878—1958), основателя одноименной авиационной фирмы (1912).

Сантос-Дюмон, Альберто (1873—1932) — один из пионеров воздухоплавания, бразилец, живший в Париже. В 1901 г. облетел на построенном им дирижабле вокруг Эйфелевой башни. В 1909 г. построил моноплан типа "кузнечик". Наблюдая за развитием военной авиации, впал в депрессию и покончил с собой. Его именем названы порт и аэропорт в Бразилии.

Петр Гусев — Фамилия этого "пионера парашютизма" заставляет вспомнить об одном из первых русских авиаторов Сергее Уточкине (1896—1916).

Качурин — Эту фамилию носят в различных произведениях Набокова по меньшей мере еще три персонажа. В "Даре" упоминается "новый дородный роман генерала Качурина "Красная княжна". Существует стихотворение Набокова "К князю С. М. Качурину", которое автор снабдил таким комментарием: "Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник Белой Армии, умерший несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь вышла за композитора Торнитсена" (в стихотворении описывается приезд Набокова — с чужим паспортом — в Ленинград). И наконец, третья по счету княжна Качурина мельком появляется в "Аде".

Кодрон — Фамилия этого самолетостроителя (Caudron) представляет собой архаическую форму английского слова cauldron — "котел", что дает повод вспомнить изобретателя Г. Е. Котельникова (1872—1944), создавшего первый ранцевый парашют (1911), примененный уже в Первую мировую войну.

герцог Ральский — Происхождение родового имени неясно: rel — "крик, шум, рев"; ralle — "бродяжничать" (*норв.*); rall — "кутеж, беспутство" (*исл.*).

С. 370 Бленда — Прообразом этой королевы-наездницы могла послужить жившая в XII в. шведская национальная героиня, напоившая и собственноручно перебившая целый отряд датских конников. Этот подвиг произвел в стране такое впечатление, что женщинам были даны равные с мужчинами права. Возможные источники имени Бленда таковы: blinda — "слепота" *(исл.);* blaende — "слепить, затемнять" *(дат.);* blende — 1) "замурованная дверь" и 2) "цинковая руда-обманка" *(норв.);* второе из двух последних значений имеется и в русском.

Кэмпбелл — Первая неявная отсылка к Карлу II Стюарту, с которым соотносит себя Кинбот: леди Энн Кэмпбелл была предложена этому королю его отцом, Карлом I, в качестве невесты. См. также следующее прим.

"Погребальный плач по лорду Рональду" — Вальтер Скотт, издав в 1802—1803 гг. сборник отредактированных им народных баллад "Песни менестрелей шотландского порубежья", добавил к нему собственное сочинение: "Гленфинлас, или Погребальный плач по лорду Рональду". Но это лишь первый слой. Во втором располагается родившийся в Глазго шотландский поэт Томас Кэмпбелл (1777—1844), автор нескольких поэм, из которых, помимо забавной в контексте этой книги поэмы "Мощь России" (1831), стоит отметить еще одну — "Пилигрим в Гленко" (1842), героем которой является шотландец Рональд, сохранивший верность королю Карлу II.

С. 371 Гриндельводы — Название, возможно, связано с гриндой, черным дельфином, обитающим в северных водах. Помимо этого, англосаксонское grindel означает "прут в железной решетке, засов"; относительно wood см. примечание к строкам 47—48, *wodnaggen*. Упомянем также Гриндельвальд — климатический курорт в Швейцарии.

Маунт-Фальк — буквально — Соколова гора. Позже, комментируя строку 149, Кинбот называет эту же гору Фалькбергом. Отметим наличие в Швеции реальной "соколиной" горы (Falkenberg).

Отар — Имя этого персонажа отзывается именем норвежца Отера (это английская версия того же имени), о котором см. в прим. к строке 238. Еще один норвежец Оттар по прозвищу Черный, будучи скальдом при шведском дворе, имел несчастье написать любовное послание будущей жене норвежского короля Олафа Толстого, впоследствии Олафа Святого (? — 1030), и был им посажен в тюрьму, но откупился песней о военных подвигах Олафа.

аделинг — от шведского ädling (дворянин) и архаического английского atheling (принц). Это, однако, не все. Еще один английский король, с которым соотносится Кинбот, Альфред Великий (849—899), упоминаемый в прим. к строке 238, был в 878 г. неожиданно атакован датчанами и, потеряв большую часть своих людей, бежал лесами в болота Ателингей, где ему, прежде чем он все-таки победил датчан, пришлось четыре месяца прятаться в

хижине пастуха подобно Карлу Возлюбленному после его побега из Онгавы и Карлу II Стюарту после неудачной попытки одолеть войска Кромвеля и вернуть себе английский трон. С жизнью Альфреда Великого в болотах связана легенда, известная в Англии “любому школьнику” — о том, как жена пастуха попросила его присмотреть за пекущимися хлебами, а Альфред за множеством государственных дум об этом забыл, и хлеба пригорели. Возможно, отсюда и явилась в этот эпизод романа “крестьянка с выпеченными ею хлебами”.

Фифальда де Файлер — Имя может быть связано с *дат.* fif (трюк) и fald (падение), а также *исл.* fifla (соблазнять).

Флер де Файлер — Вероятно, имя и фамилия образованы от *англ.* flowers defiler (дефлоратор флоры, растлитель цветов), возникающего в комментарии Кинбота к строкам 433—435, благо имя Fleur — это французское “цветок”.

С. 372 алин — исландская линейная мера (62,8 см).

Строка 80

С. 373 претерист — человек, все интересы и радости которого связаны с прошлым. “Оксфордский словарь английского языка” в качестве примера употребления слова preterist цитирует как раз это место из “Бледного пламени”. Второе значение — человек, верящий, что пророчества Апокалипсиса уже сбылись (антоним футуриста).

“Старшая Эдда” — памятник древнескандинавской (исландской) литературы, сборник стихотворных сказаний, собранных в Исландии в X—XI вв.

Кирби — Возможно, Набоков отдает здесь дань уважения Вильяму Кирби (1759—1850), английскому энтомологу, “Старшую Эдду”, впрочем, не переводившему.

Строка 82

С. 373 Арнор — Имя образовано от *исл.* ernir, arnar (орел). Исландский скальд Арнор состоял при дворе норвежского короля Магнуса I Доброго (1024—1047), сына Олафа Святого. Имя Арнор нередко встречается в исландских сагах, например, Арнор Волосатый Нос (“Сага о Греттире”).

С. 374 Тормодус Торфеус (1640—1719) — исландский ученый муж, состоявший в должности историка при датском дворе, автор

истории Фарер, истории Оркнеев, истории древней Гренландии и Норвегии. Особый интерес для нас представляет его "Historia Vinlandica" ("История Винландии", 1705), повествующая об открытии скандинавами Америки, которую они называли Винландией и Эстотиландией — оба эти названия играют важную роль в "Аде", действие которой частью в Эстотиландии (Эстотии) и разворачивается.

С. 375 Уоллес, Альфред Рассел (1823—1913) — вошел в историю как создатель (независимо от Ч. Дарвина) теории естественного отбора. Он известен также как приверженец и проповедник спиритизма, оставивший записи о множестве сеансов, на которых вызывались духи. В автобиографии "Моя жизнь" (1905) он рассказывает, в частности, о британском генерале Липпитте, оказавшем определенные услуги семье Бонапартов и получившем с того света длинное французское послание от Наполеона III, содержащее изложение его предсмертных размышлений. Уоллес, увидевший его напечатанным, обнаружил, что это на самом деле стихи, да еще и рифмованные. Самое удивительное, что в них Наполеон III упоминает "бледное пламя" (pâle flambeau) безжалостной смерти.

С. 377 Диза — целый букет аллюзий:

1. В германо-скандинавской мифологии дисы (*др.-исл.* disir) — женские существа, считавшиеся помощницами при родах и имевшие отношение к культам плодородия; в "Старшей Эдде" служат обозначением как норн, так и валькирий (см. прим. к строке 171 (1)). Эта аллюзивная связь крайне иронична, так как земблянской королеве так и не удается зачать от своего равнодушного к женщинам августейшего супруга.

2. Слово dis в датском, шведском, норвежском языках означает "туман", "дымка". Следовательно, фигура королевы столь же *туманна,* как и фигуры всех основных персонажей.

3. Диса (Disa) — заглавная героиня первой написанной на шведском языке одноименной исторической драмы (1611) Й. Мессениуса, которая в конечном счете, после ряда испытаний, становится женой короля.

4. Дис в римской мифологии, как и Плутон в греческой, — одно из имен владыки царства мертвых, а Данте в "Божественной комедии" употребляет это слово в значении "ад".

5. Disa uniflora, или "краса богов", — африканская орхидея (их букет Кинбот приносит Дизе — см. его комм. к строкам 433—435), самая крупная из существующих (мотив, приобретающий особую важность в "Аде").

"Выставка стеклянных зверей" — перекличка с "отделом стеклянных рыб и цветов Бостонского музея" из "Ады". И то и другое имеет своим источником коллекцию стеклянных цветов Музея сравнительной зоологии в Гарвардском университете (Кембридж, штат Массачусетс), в котором с 1941 по 1948 г. Набоков занимался исследовательской работой. Коллекция эта создана Леопольдом и Рудольфом Блашка из Дрездена (отцом и сыном), потомками немецких натуралистов, упоминаемых Кинботом в комм. к строке 345 при описании друга Шейда Пауля Гентцнера.

Строки 91—94

С. 378 дездемона — американская бабочка-павлиноглазка Dysdaemonia mayi.

Строка 92

С. 378 ...вырезки из печатных изданий... — Оба объявления настоящие.

Строка 97

С. 380 на Чапменском Гомере — Кинбот неверно прочитывает "On Chapman's Homer" из заголовка, действительно появлявшегося в спортивных колонках американских газет в 1937—1938 гг., и в переводе поэмы пришлось эту ошибку сохранить, чтобы не лишить комментарий Кинбота смысла. Homer в данном случае не Гомер, а homer run (круговая пробежка) — определенный игровой ход в бейсболе, приносящий очки команде, игроку которой удается этот ход осуществить (с прописной буквы слово написано потому, что в английских заголовках так пишутся все слова). В свой черед, и Чапмен — это не переводчик Гомера Джордж Чапмен (1559?—1634), которому Джон Китс (1795—1821) посвятил свой знаменитый сонет "On First Looking Into Chapman's Homer" ("При первом прочтении Чапменского Гомера"), а бейсболист Бен Чапмен, игравший за команду "Boston Red Socks" ("Бостонские красные чулки"). Таким образом, "On Chapman's Homer" следует читать как "благодаря круговой пробежке Чапмена", и "ошибка наборщика" тут ни при чем.

Строка 109

С. 380 muderperlwelk — В этом земблянском слове угадываются "перламутр" и *нем.* Wolke (облако).

Строка 130

С. 382 solus rex — Этим шахматным термином Набоков назвал свой последний, так и не законченный русский роман. Отрывок из него, так и озаглавленный "Solus Rex", был в 1940 г. напечатан в № 70 (последнем) парижского журнала "Современные записки". Еще один отрывок, "Ultima Thule" (см. следующее прим.), Набоков опубликовал в 1942 г. в США, в № 1 "Нового журнала". Связь обоих отрывков с "Бледным пламенем" и "Под знаком незаконнорожденных" несомненна.

С. 383 Фула — Римские географы называли Ultima Thule (Дальняя Фула, или Крайний предел), полубаснословную страну на крайнем севере Европы. Так же назывался отрывок из незаконченного романа "Solus Rex", который Набоков опубликовал в 1942 г. в США в первом номере "Нового журнала". Ср. также песню Маргариты из восьмой сцены первой части "Фауста" И. В. Гете.

Мощная моторная лодка... — См. комм. к с. 79 романа "Пнин".

С. 384 Блавик — В названии этой заводи можно усмотреть и русскую "блаватку", т. е. василек, и исландское blá vatn — чистая вода.

Тургус Третий — Имя этого монарха можно произвести от Tür (*нем.*), turi (*ст.-герм.*) — "дверь", а также от thurgh (*арх. англ.*) — "сквозь, через". Все это связывает его не только с дверью, ведущей в подземный ход, но и с одним из строителей этого хода, носившим имя Ян (см. прим. к Указателю). Отметим еще, что имя Тургеис носил викинг, захвативший в 836 г. кельтскую деревушку Дублин и построивший на ее месте крепость, с чего и началась настоящая история ирландской столицы.

С. 385 Тенирс, Давид младший (1610—1690) — голландский художник.

С. 386 hotingueny — Помимо бессмысленного, судя по всему, созвучия с Геттингеном и явной отсылки к русскому "хотеть" (*др.-рус.* хоть — "желание", "возлюбленный", "любимец"), здесь, вероятно, присутствует *ст.-англ.* hat — "распалиться, хотеть" и *фр.* guenon — "обезьяна".

С. 387 Мандевильский лес — Безусловный интерес представляют два Мандевиля:

1. Сэр Джон де Мандевиль (на самом деле льежский врач Жан де Бургон, 1300?—1372), скомпилировавший по-французски пе-

реведенную затем на множество языков книгу о путешествиях, которых он никогда не совершал.

2. Бернар де Мандевиль (1670—1733), английский писатель, также медик, француз по происхождению. Написав коротенькую, в 200 стихов, сатиру "Басня о пчелах" (1705—1706), он затем дополнил ее комментариями, трактатами и диалогами, в которых доказывал, что пороки частных лиц благодетельны для общества.

С. 388 мосье Бошан... мистер Кэмпбелл. — Не удивительно, что их шахматная партия завершается ничьей: эти персонажи — двойники, о чем свидетельствуют их этимологически сходные фамилии: Beauchamp (*фр.* beau — "хороший" + champ — "поле", "пашня", "турнир") и Campbell (*англ.* camp — "лагерь" восходит к *фр.* Champ + *фр.* bel — "хороший"). Позже Кинбот похваляется тем, что сумел добиться ничьей в партии с Шейдом (см. комм. Кинбота к строке 549). Ничейный результат в шахматной задаче с "одноким королем" (Solus Rex) — лучший мыслимый для черных, и именно к нему стремится Кинбот, отождествляющий себя с черным королем.

С. 390 Хэл — Имя этого стража может происходить от *исл.* hald — "арест, задержание".

С. 391 Эйштейн — Три короля, носящих это имя, описаны в "Heimskringla" ("Круг земной") исландского скальда Снорри Стурлусона (1179—1241), истории норвежских королей от древности до XII в. Еще один Эйштейн, архиепископ, короновал в 1163 г. норвежского короля Магнуса Законодателя, выбранного им по собственному усмотрению, что привело к междуусобице и бегству самого Эйштейна в Англию.

С. 393 ненюфар — водяная лилия, кувшинка (от *англ.* nenuphar).

феспианский мир — мир кулис; по имени основателя афинской трагедии Феспида (или Фесписа — Диоген Лаэртский называет его по-разному).

С. 394 Маунт-Крон — Здесь та же игра, что с Маунт-Фальк и Фалькберг (см. прим. к строке 71 и несколько ниже, к строке 149, *Кронберг*).

Меркурий — см. прим. к строке 549, *психопомпос.*

кратер — большой глиняный сосуд с двумя ручками и широким жерлом, в котором греки разбавляли вино водой и смешивали жидкости.

С. 395 lumbarkamer — Образовано от *англ.* lumber (а не lumbar, означающего "поясница") — "хлам", "старая мебель" и *нем.* Kammer — "комната".

Строка 137

С. 397 coramen — Русское слово "кора" этимологически связано с *лат.* corium — "толстая кожа, шкура" и *др.-инд.* cárman — "кожа, шкура".

Строка 144

С. 397 ...жестяной негритенок... тачка... — П. Мейер усматривает в этом memento mori Шейда отсылку к ремарке из "Пира во время чумы" Пушкина: "Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею" — и к дальнейшим словам Луизы:

"Ужасный демон
Приснился мне: весь черный, белоглазый...
Он звал меня в свою тележку. В ней
Лежали мертвые — и лепетали
Ужасную, неведомую речь..."

Строка 149

С. 398 Хребет Бера — возможные источники названия:

1. Bera (*исл.*) — "медведица" (ср. *нем.* Bär — "медведь").
2. Русское имя Вера.
3. Карл Максимович (Карл Эрнест) Бэр (1792—1876), член Российской академии наук, эмбриолог и географ, исследовавший, в частности, Новую Землю. Имя его носят "бэровские бугры", продолговатые холмы в прикаспийской степи, имеющие чрезвычайно правильную и однообразную форму и расположенные параллельными рядами, и "закон Бэра", объясняющий закономерность подмыва речных берегов.

Эроз — от *исл.* aros — "устье реки"; не исключен также Эрос.

Одивалла — соединение имени Одина, старшего из богов у древних скандинавов, с названием его жилища Валгаллы, в которой он пирует с душами героев.

Эмбла — Согласно преданию, Один, прогуливаясь по берегу в обществе двух менее значительных богов, Хенира и Лодура, нашел на песке два древесных ствола (ясень и ильм), из которых и вырезал самых первых мужчину и женщину, получивших по созвучию со скандинавскими названиями деревьев имена Аск (Аскр) и Эмбла.

Брегберг — от *дат.* bregne “папоротник” и *герм.* berg — “гора”.

Маунт-Глиттернтин — Сверкающая, или Оловянная, гора; от норвежских слов glitter — “блеск, мерцание” и tind — “олово”; также исландские glit — “блеск” и tin — “олово”. Помимо всего прочего, в Норвегии имеется реальная гора Glitterntind.

залив Сюрприза — После неудачной попытки вернуть себе английскую корону (см. ниже прим. *Боскобель*) Карл II бежал из Англии, отплыв из Брайтона на бриге “Сюрприз”.

С. 399 Силфхар — Может быть истолковано как “волосы сильфиды”. Возможно также происхождение от старинного названия серебра — *др.-норв.* silfr, *ст.-англ.* sillfer и т. д.

С. 400 grunter — по-видимому, грубоватая шутка: в упомянутом “сыром” углу, отведенном для “малых естественных надобностей”, селянин надумал справить большую нужду (обыгрывается *амер.* сленговое выражение take a grunt — “испражняться”), причем занятие это происходит, можно сказать, на *грунте.*

Гарх — Этимология имени не очевидна; возможно, оно происходит от *исл.* gārg — “крик”.

С. 401 Грифф — возможно, от *англ.* griff — “глубокое ущелье, овраг”.

С. 402 эльфин лес — карликовый лес, характерный для альпийской зоны: “плоский ковер ползучих ветвей, скрывающий землю” (Набоков в письме к к Мари Шебеко, 30 сентября 1965 г.). См. также прим. к Указателю, *Круммгольц.*

Кронберг — Видимо, “Коронная гора” (ср. Кронборг, крепость на Зунде, построенная датчанами в 1571—1583 гг.). Не исключено также присутствие А. И. Кронеберга 1814—1855), упоминаемого в “Пнине” и, по-видимому, в романе “Под знаком незаконнорожденных” (где он назван “Кронбергом” — см. комм. к с. 291 первого тома).

С. 403 elfobos — соединение “эльфа” с *гр.* phobos — “страх, ужас”, откуда “фобия”.

steinmann — буквально “каменный человек” (от *нем.* Stein — “камень” и Mann — “человек”). В геологии существует понятие “триада Штейнмана” (по имени ее создателя Густава Штейнмана) — три типа каменных пород, образующих горы, в частности Гарц, в котором находится гора Брокен (см. прим. к строкам 287—288), и Аппалачи в США.

nippern — возможно, от *исл.* nipa (gnipa) — "пик, вершина".

Мутраберг — В Указателе Кинбота эта гора названа "Мультраберг". В первом случае возможно происхождение от *англ.* mutter (muttre) — "ворчать, глухо грохотать" либо от *нем.* Mutter — "мать".

Паберг — скорее всего, от *рус.* "пава".

Боскобель — Уже упомянутая попытка Карла II вернуть себе английскую корону завершилась битвой при Вустере, в которой его шотландское войско было разбито Кромвелем. Карл с несколькими приближенными бежал и, спасаясь от преследователей, провел ночь, прячась в дупле дуба близ имения Боскобель. Дуб этот, прозванный "королевским", еще стоял во времена написания "Бледного пламени". О нем же идет речь в первой из "Пасторалей" А. Попа ("Весна"): "В каком краю ветвей раскинут свод / Что укрывал монарха от невзгод?" *(Перевод В. Потаповой).*

С. 404 fufa — родственно русскому слову "фуфайка", происхождение которого неизвестно.

пещеры Риппльсона — перекличка с Рипп-ван-Винклем из рассказа В. Ирвинга (1783—1859), двадцать лет проспавшим в пещере. Название пещеры переводится с английского как "сын журчания".

Строка 171 (1)

С. 410 Каликсгавань — Название этого "места, где гуляют матросы", происходит, вероятно, от *лат.* calix — "кубок, чаша" и т. п., чему родственно и *исл.* kaleikur — "чаша". Возможно также воздействие *рус.* "калика" (странник, паломник). Но вероятнее всего соотнесение с названием шведского населенного пункта Calix.

С. 411 норны — богини судьбы у древних скандинавов (от *исл.* norn — "богиня").

Строка 171 (2)

С. 413 скорамис — ночной горшок; от греческого слова, встречающегося только у Аристофана. В письме Веры Набоковой Р. Абелю (31 января 1968 г.) говорится: "по словам ВН, английские "доны" [преподаватели в Оксфорде и Кембридже] называли так в прошлом ночной горшок".

Боткин — Эта фамилия возникает в романе уже второй (но не первый и не последний) раз, и вроде бы, без особых на то основа-

ний. В истории русской культуры (и эмиграции) она встречается часто. Семья чайных торговцев Боткиных дала России литератора и переводчика Василия Петровича Боткина (1811—1869), написавшего, в частности, статью "Литература и театр в Англии до Шекспира", которая стала предисловием к третьему тому Полного собрания сочинений Вильяма Шекспира под ред. Н. В. Гербеля в трех томах (содержавшему переведенного А. И. Кронебергом "Гамлета" и вышедшему в 1888 г., том самом, когда погибла Ирис Акт (*нем.* Acht — "восемь"), гримерную которой отделяло от гардеробной ее любовника Тургуса Третьего 1888 шагов); упоминаемого в "Даре", в биографии Н. Г. Чернышевского, академика живописи Михаила Петровича Боткина (1869—1914), одного из устроителей русского раздела на международной выставке в Копенгагене в 1888 г.; и знаменитого клинициста Сергея Петровича Боткина (1832—1889). Еще один Боткин (доктор) был расстрелян в Екатеринбурге вместе с семьей Николая II; еще один возглавил после убийства В. Д. Набокова берлинскую организацию русских эмигрантов. Все это, впрочем, не объяснит нам настойчивого появления этой фамилии в романе, пока мы не сообразим, что Кинбот является плодом больного воображения этого самого В. Боткина (анаграмматически образованным из его фамилии).

Строка 181

С. 414 ...всего лишь две ночи прошло с три тысячи девятьсот девяносто девятого раза... — Прочитав строки 275—276, читатель обнаружит утверждение Шейда (относящееся к совместной жизни с Сибил) о том, что "четыре тысячи раз твоя подушка принимала нас". Кинбот комментирует поэму, зная все ее содержание, но он характеризует свои мысли, относящиеся именно к описываемой ночи, когда он *не мог* знать, что Шейд напишет в дальнейшем. Это место — важнейший аргумент в пользу версии, что Кинбот и Шейд — одно и то же лицо.

С. 417 crapula — Кинбот использует латинскую форму греческого слова, действительно обозначавшего похмельную мигрень; у римлян оно означало лишь "пьянство, разгул".

"Пьюлекс" — "блоха" (*лат.* pulex).

С. 418 buchmann — буквально "книжный человек" (*нем.*), но по-земблянски "стопка книг".

Фолкнер, Уильям (1867—1962) — американский писатель, нобелевский лауреат (1949), творчество которого Набоков оценивал крайне низко, считая его "региональным писателем" ("Память, говори").

С. 419 Кокто, Жан (1889—1963) — французский писатель, поэт, художник, драматург, кинорежиссер. В лекции, посвященной роману Марселя Пруста "По направлению к Свану", Набоков пишет: "Жан Кокто назвал эту книгу "колоссальной миниатюрой, полной миражей, налегающих один на другой садов, игр, в которых соревнуются пространство и время". Жан Кокто, подобно Прусту и Хаусману, принадлежал к "земблянским патриотам".

Bibliothèque de la Pléiade — французская книжная серия классической литературы, издания которой известны своим высоким качеством.

Строка 189

С. 420 королевский гусек — игра, в которой фишки передвигаются по разбитой на клетке доске, причем одна из клеток содержит изображение гуся. Упоминается, в частности, О. Гольдсмитом в поэме "Покинутая деревня" (1770): "Картинки всем известны назубок: / Двенадцать правил и игра в гусек" *(Перевод А. Парина).*

Строка 230

С. 421 ...скай-терьера (у нас эту породу называют "плакучая ива"). — Это уподобление уже встречалось в главе 9 "Подлинной жизни Себастьяна Найта" (с. 91 первого тома).

Строка 231

С. 423 ...Бедняга Свифт... Бодлер. — И Джонатана Свифта (1667—1745), и Шарля Бодлера (1821—1867) поразило к концу жизни умственное расстройство.

Строка 238

С. 424 "диана" — на самом деле это бабочка Speyeria diana Крамера.

"атлантида" — в действительности — бабочка Speyeria atlantis Эдвардса.

С. 425 Отир (Отер)— Уже упомянутый в прим. к строке 71 Альфред Великий считается "отцом английской прозы": изгнав из страны датчан, он занялся образованием своего народа, для чего собрал монахов и усадил их за перевод наиболее важных, на его взгляд, книг по истории, богословию и философии, причем делал в эти переводы обширные собственные вставки. Так, к написан-

ной в V в. "Всемирной истории" Орозиуса Альфред добавил собственное описание Европы IX в. и детальный отчет норвежца Отера (землевладельца и путешественника, поступившего на службу к Альфреду в 890 г.) об открытиях, сделанных им во время плаваний по Балтийскому и Белому морям. В последнем он забрался далеко на восток, став первым в документальной истории исследователем, почти достигшим Новой Земли.

Строка 240

С. 426 Верлен, Поль (1844—1896) — французский поэт-символист.

Строка 247

С. 426 "ласточка" — Ласточка по-французски Hirondelle.

ботелый бут — Ботелый — согласно словарю В. Даля, "тучный, дородный, полнотелый" — происходит, возможно, от *нем.* butt — "бесформенный, утолщенный, сплющенный". Бут (буд) — "овод, слепень", определенно связанное с *англ.* bot — то же самое.

лемурья глиста — личинка овода (Dermatobia hobinis), распространенного в Южной Африке, паразитирующая на людях и обезьянах.

Строка 270

С. 427 Ванесса — бабочка-нимфалида Vanessa atalanta, темно-коричневая с красными полосками на концах крыльев.

Эстер Ваномри (1690—1723) — подруга Свифта, с которой он познакомился в 1708 г. и которую называл Ванессой. Воспета в поэме "Каденус и Ванесса" (1713): "Меж тем *Ванесса* все цветет / Прекрасная, как *Аталанта*" (строки 305—306). Набоков неоднократно каламбурил на тему Ванессы, например в "Лолите".

Аталанта — персонаж греческой мифологии, дева-охотница.

harvalda (геральдическая) — Одна из версий происхождения слова herald (откуда и heraldry — "геральдика") производит его от *ст.-герм.* hariwald, heriwald — "командующий армией". В родстве с ним состоит *ст.-норв.* имя Haraldr (см. прим. к строкам 433—435, *Харфар*).

Строка 275

С. 428 ...еще более несговорчивый Карл... — Считается, что Карл I Стюарт был влюблен в своего фаворита, герцога Букингемского

(1592—1628), известного у нас преимущественно по “Трем мушкетерам”. Карл I женился в 1625 г., но наследник появился только после гибели герцога.

...*“Ombre”, — Почти что “человек”...* — “Человек” по-испански hombre; ombre по-французски “тень”. Здесь та же словесная игра, что и с именем Гумберт (Humbert) в “Лолите”.

Строка 286

С. 429 “Есть и в Аркадии мне удел” — “Et in Arcadia ego”, надпись на надгробии художника Джованни-Франческо Барбиери, прозванного Гверчино (1591—1666). После него использовалась по тому же назначению еще многими художниками.

Бретвит — Если принять объяснение Кинбота, что эта фамилия означает “шахматный ум”, то получается, что она происходит от *нем.* Brett — “шахматная доска” (ср. *норв.* brett с тем же значением) и *англ.* wit (*исл.* vit) — “ум, разум”. Однако мы знаем, что, когда набоковский повествователь подсовывает нам (обычно в скобках) какое-то внешне правдоподобное объяснение, это чаще всего обманный, ложный ход (кстати, чуть ниже фигурирует само упоминание о “ложном ходе”, но по-французски — faux pas). Поэтому этимологию фамилии следует, скорее, искать в выражении brevity of wit, что означает “скудоумие”. Связь баронов Бретвит с прусскими генералами и русскими (немецкого происхождения) баронами Притвиц маловероятна. Имя Освин, возможно, происходит от *исл.* osvin — “бестактность, неразумие”. Схожее имя (Oswin) носил брат короля англосаксов Освальда (IX в.) — оба они были осаждены датчанами в крепости (Градус приезжает к Освину Бретвиту из Копенгагена) и вынуждены были отдать им свои сокровища, но после одержали над ними победу. Имя Зуле происходит от *англ.* zule, означающего в геральдике шахматную ладью в гербе. Ферц — от *устар. англ.* fers, ferz — “ферзь”.

Строки 287—288

С. 436 ...с целым Брокеном их жен... — Брокен — гора в Гарце, на которую, согласно поверьям, в Вальпургиеву ночь слетаются ведьмы (см., например “Фауст” Гете).

Строка 345

С. 438 На опушке Далвичского леса... “Тут папа писает”. — Считается, что идея прославленной драматической поэмы “Пип-

па проходит мимо" ("Pippa passes", 1842) зародилась у Роберта Браунинга (1812—1889) во время прогулки по Далвичскому лесу, что в пригородах Лондона. Об аллюзиях на тот же источник см. комм. к "Лолите" (том второй).

С. 441 ...пада... рек — Набоков писал Эндрю Фильду 26 ноября 1966 г., что это "составленное из искаженных слов предостережение для ее отца и намек на поэму, которой еще предстоит быть написанной много лет спустя:

Падре не стоит ходить за *проулок*, чтобы его не приняли за *старого Голдсварта* (-ворта), после завершения им *бледного Feuer* (fire — огонь) *пламени* [рядом с которым у Шекспира стоит "arrant"], что вместе с "*лент*" (лант) дает бабочку Аталанту в последней сцене с Шейдом. Все это "*рек*" призрак в сарае."

(Перевод приблизительный, поскольку и фраза, и ее реконструкция Набоковым, естественно, английские.)

С. 444 "The Beau and the Butterfly" — Этот журнал упоминается также в "Аде" и в "Смотри на арлекинов!" (где он характеризуется как "добрейший в мире журнал"). Речь идет о журнале "The New Yorker", где немало печатался Набоков: в 1925 г. на его обложке был помещен рисунок Ри Ирвин, изображавший денди Юстаса Тилли, который сквозь монокль вглядывается в бабочку; в дальнейшем этот рисунок еще много раз появлялся на обложках журнала.

Строки 347—348

С. 444 T. S. Eliot — "toilest"... — Безобидная анаграмма имени Т. С. Элиота маскирует другую, гораздо более обидную, которая фигурирует в письме к Эдмунду Уилсону — "toilets" (The Nabokov—Wilson Letters. P. 214).

Строки 375—376

С. 444 некий всхлип поэзии — язвительная пародия на Т. С. Элиота. В оригинале (строки 367—370) Гэзель ставят в тупик слова grimpen, chtonic и sempiternal, свидетельствующие о том, что она читает его "Четыре квартета". Grimpen не словарное слово, в "Вэбстере" его не найдешь; оно взято Элиотом из "Собаки Баскервилей" Артура Конан Дойля, где является частью названия страшного болота, вокруг которого разворачиваются драматические события, и появляется во второй части цикла ("Ист Коукер").

In the middle, not only in the middle of the way
But all the way, in a dark wood, in a bramble
On the edge of a *grimpen*, where is no secure foothold.

Речь в этом фрагменте идет о ночном странствии Данте в чаще лесной, и слово grimpen, по замыслу Элиота, должно придать духовным странствиям более национальный, английский дух.

Слово chtonic фигурирует в третьей части ("Драй Сэлвейджез"), правда, Гэзель произносит его неверно; правильный вариант — chthonic (хтонический) — фигурирует в связи с "демоническими силами преисподней" и обретает богословский смысл.

Слово sempiternal обнаруживается в четвертой части цикла ("Литтл Гиддинг"). Словари фиксируют для него значение "вечный, бесконечный", но в произведении Элиота оно наполняется специфическим богословским содержанием и служит для соотнесения разрыва естественного круговорота природы с разрушением привычного движения времени в момент духовного прозрения.

В интерпретации Набокова поэзия Элиота обретает разрушительные свойства, и в этих трех обративших на себя внимание Гэзель словах содержится предсказание места, времени и причин ее самоубийства. Grimpen предвещает то болото, в котором ей предстоит утопиться, sempiternal — ту не соответствующую времени года оттепель, из-за которой она провалилась под лед, а chthonic — состояние депрессии, подтолкнувшее ее к самоубийству.

Строка 377

С. 445 Натточдаг — Имя профессора восходит к шведскому natt och dag — "ночь и день" и формально маркирует одну из основных тем романа — противопоставление света и тьмы, жизни и смерти, игру теней. Кроме того, одна из древнейших семей Швеции носит эту фамилию (Natt och Dag — именно с такой графикой), причем фамильный герб разделен чертой на светлую и темную части. Так же называется распространенный полевой цветок марьянник дубравный, или иван-да-марья (Melampyrum nemorosum), который, согласно распространенным в Швеции поверьям, считается символом плодородия. Милый, симпатичный, полный жизненных сил профессор Натточдаг противопоставлен мрачному гомосексуалисту Кинботу.

С. 446 Саути... его епископа. — Имеется в виду переведенная В. Жуковским баллада "Суд Божий над епископом".

Строка 384

С. 446 "Благословенный свыше" — Взято из Второй эпистолы "Опыта о человеке" А. Попа (строки 269—270): "The starving chemist in his golden views / Supremely blest, the poet in his muse" ("Голодный химик благословен свыше видениями золота, поэт — его музой" или в переводе В. Кутика: "Алхимик грезит о счастливом сдвиге / В своих исканьях, а поэт — о книге"; В. Микушевича: "Мечтой своей алхимик обогрет / И счастлив с ней, как с музою поэт."). Отметим то обстоятельство, что в этой части поэмы Поп рассуждает о двойственности человеческой природы и противопоставленности света и тьмы.

Строки 384—386

С. 446 ..."венки"... "долговечнее девичьих"... — из стихотворения А. Хаусмана "На смерть молодого атлета".

Строка 408

С. 447 ...американца Джозефа С. Лавендера... — Слово lavender означает, собственно говоря, "лаванда", однако *англ.* laundry действительно этимологически связано с *ит.* lavanda — "умывание, омовение; мытье".

С. 448 "Libitina" — Либитина, римская богиня похорон, которая, впрочем, в позднейшее время отождествлялась с Венерой, для чего основанием служило ее имя, родственное libido — *лат.* "страсть, желание" (откуда и фрейдистское "либидо").

Строки 425—426

С. 452 Фрост, Роберт (1874—1963) — знаменитый американский поэт, для стихотворений которого характерны предельная простота, прозрачность слога. Стихотворение, которое так хвалит в своем примечании Кинбот, называется "Stopping by Woods" ("Зимним вечером у леса"). Процитируем его в переводе О. Чухонцева:

Чей этот лес и эти дали?
Хозяин этих мест едва ли
Поймет, к чему мы здесь, у кромки
Заснеженного поля стали.
И непонятно лошаденке,
Зачем мы здесь в ночной поземке
Стоим, где пасмурные ели
Глядятся в белые потемки.

Звеня уздечкой еле-еле,
Мол, что такое, в самом деле,
Она все ждет, пока ездок
Прислушивается к метели.
Прекрасен лес, дремуч, глубок,
Но должен я вернуться в срок,
И путь до дома еще далек,
И путь до дома еще далек.

Строки 433—435

С. 453 ...Villa Paradisa, — позже, дабы почтить любимую внучку, у виллы отняли первую половину названия. — Тонкая игра слов: рай (*англ.* paradise) становится адом (о смысловых подтекстах имени королевы см. прим. к строке 82).

С. 457 Харфар — Схожее имя носит герой одной из поэм “Старшей Эдды” Харальд Харфар (последнее означает “Прекрасноволосый”).

С. 458 ...Фрины, от Тимандры... — сравнение с любовницами Алкивиада в трагедии В. Шекспира “Тимон Афинский”.

С. 461 narstran — от *исл.* nar — “мертвец, труп” и *рус.* “страна”. Отметим, что название Валгалла (см. прим. *Одивалла* к строке 149) происходит от *исл.* valhöll — “страна павших в бою”.

Строка 468

С. 462 БЖЗ — Блок железного занавеса.

Строка 469

С. 464 ...в жасминовом поясе... — Желтый жасмин является символом штата Южная Каролина, в котором сильны расистские традиции.

Строки 492—493

С. 467 боткин — Кинбот в “Указателе” определяет это слово как “датский стилет”, что определенно связывает его и с Гамлетом, принцем датским, и с самоубийством, поскольку исходное, означающее “короткий кинжал”, слово bodkin (boidekin, botken), имеет не то кельтское, не то валлийское происхождение и употребляется Гамлетом в прославленном монологе (3.1): “When he himself might his quietus make / With the bare bodkin” (“Когда б он мог кинжалом тонким сам / Покой добыть” — *перевод В. Набоко-*

ва). См. также *Боткин* (прим. к строке 171 (2)) и *ботелый бут* (прим. к строке 247).

Строка 549

С. 469 ..."на моей веранде после партии в шахматы, ничья". — См. прим. к строке 130.

С. 472 Гадес — Аид, царство мертвых в греческой мифологии

психопомпос — прозвание Гермеса, служившего проводником душ, направляющихся в царство мертвых.

С. 473 Блаженный Августин — Августин Аврелий (354—430) один из отцов христианской церкви.

Строка 576

С. 475 Пармантье, Антуан-Августин (1737—1813), французский агроном и фармаколог, посвятивший свою жизнь тому, чтобы приучить соотечественников к картофелю (французы в массе своей считали, что картофель вызывает проказу), и написавший несколько трактатов о картофельном клубне.

Строка 596

С. 476 Танагра — древний беотийский город, прославленный терракотовыми статуэтками, во множестве найденными на его месте археологами.

shargar — тощий, чахлый, недомерок — человек или животное *(шотл.)*.

Строки 597—608

С. 478 Не раз в ту ночь наш король... опасностей. — Здесь почти дословно воспроизводится фрагмент рассказа о бегстве Карла II после поражения при Вустере в 1651 г. из книги "История мятежа", написанной в 1702—1704 гг. Эдвардом Гайдом, графом Кларендоном: "Не раз в ту ночь он бросался наземь в порожденной отчаянием и упрямством решимости дождаться рассвета, который позволит ему с меньшими муками уклоняться от еще только чаемых опасностей".

Я вспоминаю другого Карла... ростом чуть выше двух ярдов. — Карл II Стюарт был темноволос и росту имел шесть футов (т. е два ярда) два дюйма (примерно 1,9 м).

Строка 603

С. 478 Эдзель Форд — Не вполне понятно, о каком "недавнем" стихотворении говорит Кинбот. Единственный Эдзель Форд (1893—1943), которого удалось установить, это сын Генри Форда, номинальный глава компании, так и не сумевший стать реальным ее главой, что и ускорило его кончину.

Строка 626

С. 480 Синявин — Когда Набоков утверждает, что ни имя, ни фамилия его сына "ничем с небесной твердью не связаны", он, как обычно, лукавит. Ведь имя матери Староувера Блю Стелла (звезда), а фамилия Лазурчик отливает небесным цветом. Кроме того, как верно отмечено Дж. Т. Локранц, в Староувере Блю Набоков шутливо скомбинировал доктора Старова из "Себастьяна Найта" и доктора Блю из "Лолиты".

Саратов — город на Волге, место рождения Синявина и переводчика.

Сиэтл — город в США, штат Вашингтон.

кашуба — представительница славянского племени кашубов, живущего по берегам Балтийского моря к западу от низовьев Вислы.

Строка 629

С. 480 Деменция — слабоумие, приобретаемое во время жизни (в отличие от врожденного) вследствие заболевания; от *лат.* dementia — "безумие, сумасшествие".

С. 481 Эбертелла — странноватое имя для женщины: так называется род бактерий, связанных с воспалительными процессами; определенные его представители вызывают тифозную горячку.

С. 482 "Гудибрас" — написанная в 1663 г. четырехстопным ямбом поэма Сэмюеля Батлера (1612—1680), до того понравившаяся Карлу II, что он назначил автору пожизненную пенсию в сто фунтов.

Строка 662

С. 482 ...стихотворением Гете об эльфийском царе... — Имеется в виду баллада "Der Erlkönig" ("Ольховый король"), известная у нас в переводе В. Жуковского как "Лесной царь". Основой для

Гете послужила переведенная Гердером на немецкий язык датская народная баллада, причем Гердер ошибся, приняв датское eller (эльф) за немецкое Erle — "ольха". Любопытно, что Вера Набокова писала Р. Абелю 31 января 1968 г.: "'Erlkönig' Гете был неверно переведен на французский как "Roi des Aulnes" — "Ольховый король" (Erl, конечно, означает "эльф")". Любопытно и то, что эта путаница на самом деле не так уж и неосновательна. Эльфы, как известно, похищают из колыбелей еще некрещеных детей, подкидывая вместо них своих, неудачных, и, согласно народному поверью, особенно часто они беспокоят детей, лежащих в ольховых колыбелях. Мотив опасности, нависшей над ребенком, неоднократно фигурирует у Набокова в связи с этой балладой, например в романе "Под знаком незаконнорожденых".

Строки 671—672

С. 482 "Неукрощенный морской конек" — взято из последних строк стихотворения "Моя последняя герцогиня" Роберта Браунинга.

Строки 677—678

С. 483 Донн, Джон (1572—1631) — английский поэт и священник. В апреле 1625 г. он проповедовал перед Карлом I.

С. 484 Марвелл, Эндрю (1621—1678) — английский поэт, воспевший в "Горацианской оде на возвращение Кромвеля из Ирландии" (1650) отвагу Карла I. Мотивы, заимствованные из поэзии Марвелла, Набоков развивает в "Аде".

Строки 680—681

С. 487 drungen — Это земблянское слово образовано от причастия прошедшего времени немецкого глагола dringen (проникать) — gedrungen.

С. 488 Королева Яруга — От *рус.* "яруга" — глубокая водороина (также "яруг" — ключ, источник), например в "Слове о полку Игореве": "Притопша Святослав все холмы и яруги". Отметим, что весь этот абзац вращается вокруг "Слова", переведенного В. Набоковым на английский язык ("The Song of Igor's Campaign", N. Y.: Vintage, 1960). Кинбот называет "Слово" "русской героической поэмой, обыкновенно приписываемой безымянному барду двенадцатого столетия", даром что имя этого барда мелькает тут же. К единому мнению и об авторстве, и о подлинности "Слова" ученому миру не удалось прийти и поныне, одним из

авторов (подделки, если это подделка) считают графа А. И. Мусина-Пушкина, приобретшего рукопись "Слова" (если это подлинник) в Ярославском монастыре и сделавшего с нее список, в котором он ввел разделение слов — произвольное, разумеется, поскольку подлинник был написан скорописью и без разделения. Это список был впервые издан в 1800 г. — в том же, в котором утонула в проруби королева Яруга. Фраза из этого первого издания "Рек Боян и ходы на" реконструируется как "Рек Боян и Ходына", откуда делается вывод, что автора "Слова" звали Ходына. Таким образом, любовник Яруги Ходынский, "известный также под кличкой Ходына" (как отмечает Кинбот в Указателе) и собравший в 1798 г. земблянские варианты *"Kongs-skugg-sio"* ("Зерцало короля"), анонимного шедевра двенадцатого столетия", так или иначе связан с вопросом об авторстве "Слова". Сочинил ли он последнее сам или это сделал его тезка? Сам Кинбот в авторстве "даровитого поэта" Ходынского (Ходыны) не сомневается, называя его в Указателе "автором известной пастиши", т. е. "подделки, имитации, компиляции". Далее, как упоминает Кинбот, большинство историков считают, что Ходынский был отцом Игоря II, сына Яруги и прадеда Карла Возлюбленного. В связи с этим отметим, что Игорь I в книге ни разу не упоминается, так что "Игорем первым" вполне могло оказаться сочиненное Ходынским "Слово о полку Игореве". Последний штрих вносит указание его придворной должности — goliart, слово, которое Кинбот тут же переводит как "придворный шут". Между тем это земблянское слово лишь незначительно графически отличается от общеизвестного "гольярд" (goliard) — так называли себя в средневековой Франции бродячие поэты-школяры. Сами они выводили это слово из имени Голиафа, которого считали своим покровителем, однако, скорее всего, оно происходит от провансальского gualiador — "морочащий других". Другое их название, "ваганты" (от *лат.* vagari — странствовать, бродяжить), означает "бродяги, перехожие люди", а отсюда уже рукой подать до Ходына. Отметим наконец, что Набоков, как и Пушкин, в подлинности "Слова" не сомневался и что Игорь Святославович (1151—1202), князь новгород-северский, выступил в свой поход, благодаря которому появилось первое произведение русской художественной литературы, 23 апреля 1185 г., т. е. ровно за 714 лет до дня рождения Набокова.

Уран Последний — Помимо очевидной отсылки к властителю царства мертвых, здесь и намек на часто используемое Набоковым понятие "уранизм". См. комм. к "Пнину", с. 44.

Строка 682

С. 488 Ланг — художник, фигурирующий в нескольких набоковских текстах. См. комм. к с. 67 романа "Пнин".

фра Пандольф — имя художника в стихотворении Роберта Браунинга "Моя последняя герцогиня".

Строка 692

С. 489 ...совсем никакие не иволги. — Имеется в виду балтиморский трупиал, название которого дословно переводится с английского как "иволга балтиморская".

mowntrop — от *зембл.* muwan — "луг" и *рус.* "тропа".

...бабочек, что так приглянулись Шатобриану — В своих "Замогильных записках" (опубл. 1848—1850) Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) рассказывает о том, как он увидел американских бабочек примерно через шесть недель после его прибытия в Америку, состоявшегося 2 июля 1791 г.

С. 490 ...душка Марсель... — уже упоминавшийся Марсель Пруст (1871—1922).

...Жид Просветленный... — Подразумевается еще один "земблянский патриот" и нобелевский лауреат (1947), французский писатель-эстет Андре Жид (1869—1951), чьи эксперименты с романной техникой (в особенности с использованием приема "текст в тексте" и введением повествователя-романиста в число персонажей) учитывались Набоковым. "Жид Просветленный" перекликается с названием романа "Джуд Незаметный" ("Jude the Obscure", 1895) Томаса Гарди. М. Пруст и А. Жид упомянуты здесь Кинботом преимущественно из-за их гомосексуальной ориентации.

Билли Ридинг — Исторический Вильям Ридинг, священник, писатель и редактор латинских и греческих текстов, был в конце XVII столетия хранителем библиотеки в Колледже Сион в Лондоне. Известен тем, что 31 января 1714 г., в годовщину казни Карла I, прочитал в Вестминстерском аббатстве проповедь "Верность Давида царю Саулу", в которой осудил эту казнь и цареубийство вообще.

Строка 696

• *С. 492 ...с чахоточным боснийским бомбистом...* — Упоминание о "боснийском бомбисте" наводит на мысль о национальном ге-

рое Югославии Гавриле Принципе (1894—1918), члене организации "Молодая Босния", убившем 28 июля 1914 г. австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом к началу Первой мировой войны.

С. 494 Радуговитра — от *рус.* "радуга" и *лат.* vitrum — "стекло".

Строка 741

С. 496 умруды — Похоже, что это самоедское племя выдумано Набоковым для создания каламбурного созвучия с фамилией Изумрудов, а также, в комбинации с другой лексикой в данном абзаце, чтобы подчеркнуть двойничество Изумрудова и Геральда Эмеральда. Отметим, в частности, *смарагдовые* (emerald) воды, а также упоминание о "*глашатае* (herald) побед".

умиак — женская лодка у эскимосов (в отличие от каяка — лодки мужской), обитая шкурами, широкая и открытая, промысловая и грузовая.

Строка 810

С. 500 Лейн, Фрэнклин К. — американский политик, министр внутренних дел в администрации Вудро Вильсона. Книга "Письма Фрэнклина К. Лейна, личные и политические" выпущена в Бостоне в 1922 г.

Рейнир-парк — Национальный парк "Маунт-Ренир" в штате Вашингтон.

Строка 873

С. 502 "Орли" — один из Парижских аэропортов.

Строка 894

С. 503 Semblerland — от *фр.* sembler — "казаться, представляться".

С. 504 ...в существование в недавнем прошлом "эры Мак-Карти"... См. комм. к с. 140 романа "Пнин".

С. 505 kinbote — В английском языке словом kinbote (kinboot) исторически обозначалась денежная сумма (bote), которой убийца откупался от родни (kin, что, кстати, представляет собой давнюю форму слова king — "король") убитого. Не путать со *ст.-англ.* cynebyt — королевское возмещение. Но самое любопытное здесь,

что профессор Пардон недвусмысленно намекает на то, что Кинбот на самом деле является Боткиным (фамилии преобразуются посредством анаграммы).

С. 506 французское название шины — pneu.

Строки 895—900

С. 507 Да, мой читатель, Поп. — Пародируется пассаж из "Опыта о критике" А. Попа (строки 56—59):

Когда же память душу полонит,
Для разуменья будет путь закрыт;
А жаркие фантазии придут —
И памяти виденья пропадут.
(Перевод А. Субботина)

Строка 920

С. 507 Так дыбом волоски — В своем эссе "Имя и природа поэзии" (1933) Хаусман пишет: "И вправду, поэзия представляется мне явлением скорее телесным, чем интеллектуальным... Я по опыту знаю, что, бреясь, мне лучше следить за своими мыслями, поскольку, если в память ко мне забредает поэтическая строка, волоски на моей коже встают дыбом, так что бритва с ними уже не справляется".

Строка 922

С. 507 Швейцер, Альберт (1875—1965) — философ, теолог, врач, исследователь Баха, лауреат Нобелевской премии мира (1952).

Строка 929

С. 508 Фрейд, Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач-психиатр и философ, основатель психоанализа, объект постоянных нападок Набокова, слишком многочисленных, чтобы их здесь перечислять.

Фромм, Эрих (1900—1980) — немецко-американский теоретик психоанализа, пытавшийся объединить фрейдизм, экзистенциализм и марксизм; все три концепции были отвратительны Набокову.

Строка 937

С. 509 В Гренландии иль в Зембле... — Повествователь раскры-

вает источник, из которого заимствована Зембла. Цитируется строка 224 из Второй эпистолы "Опыта о человеке".

But where the Extreme of Vice was ne'er agreed.
Ask where's the North? At York? 'tis on the Tweed;
In Scotland? at the Oroads? ant there,
At Greenland, ***Zembla***, or the Lord knows where;
No creature owns it in the first degree,
But thinks his neibor farther gone than he.

К сожалению, в двух имеющихся русских переводах этого произведения слово "Зембла" отсутствует. Тем не менее приведем соответствующие места этих переводов:

А где порок? Он свой предел таит.
Где Север? Там, где Йорк, и там, где Твид,
В Гренландии, на ледяной гряде,
По правде говоря, Бог знает где:
Никто не знает всех его примет
И мнит, что ближе к полюсу сосед."
(Перевод В. Микушевича)

"Мы для порока ищем отговорки:
Спросив, где север, ты услышишь в Йорке,
Что он близ Твида, а шотландец, тот,
К Оркнейским островам тебя зашлет.
Порок для нас — чужая заграница,
И всяк в себе признать его боится..."
(Перевод В. Кутика)

Стоит отметить наличие у Попа "соседа" в непосредственной близости к "Зембле".

Строка 949

С. 510 rusker sirsusker — первое это, разумеется, "русский"; второе происходит от *англ.* seersucker — "ткань в полоску для летних платьев и костюмов".

маска Комуса — У греков и римлян Комус — бог кутежа, пьянства и чувственных наслаждений. Джон Мильтон (1608—1674) в своей драматической пасторали "Маски, представленные в замке Ладлоу" (1634) дал ему Бахуса в отцы и Цирцею (обратившую в свиней спутников Одиссея) в матери.

С. 511 Начал он со свежего выпуска "The New York Times". — Цитируется номер "Нью-Йорк Таймс" от 21 июля 1959 г. с некоторыми анаграмматическими преобразованиями: *драгоценности*

Рахиль (Rachel) получены из “Драгоценности Чарел (Charel)”, *братья Хелман* (Helman) — из “братьев Леман (Lehman)”, *Белоконск* — это основанный в 1898 г., во время “золотой лихорадки”, город Whitehorse (*англ.* white — “белый”, horse — “лошадь, конь”), ныне столица Юконской территории в Канаде; *Карл Сэндберг* (1868—1967) — американский поэт; *“присяжный обозреватель”* — Оливер Прескотт, написавший о “Лолите” (19 августа 1958 г., в той же “Нью-Йорк Таймс”), что это книга, “во-первых, скучная, скучная, скучная на претенциозный, цветистый и велеречивый манер, и во-вторых — отвратительная... высоколобая порнография”; *до встречи в Зембле* получено из “до встречи в Норвегии”.

С. 512 БВК — Библиотека Вордсмитского колледжа.

эфемериды — У древних греков так назывались ежедневные отчеты о деятельности важного официального лица (например, “Эфемериды Александра Македонского”); ephemeridae — бабочки-однодневки.

С. 516 ...маленький браунинг. — Выбор типа пистолета (как и в “Лолите”) закономерен и связан с множеством присутствующих в тексте браунинговских (т. е. восходящих к поэту Роберту Браунингу) аллюзий.

“бейсик-инглиш” — предложенный в 1932 г. лингвистом Ч. К. Огденом редуцированный английский язык, содержащий всего 860 слов.

С. 517 Флоренс Хаутон — В Хаутонской библиотеке Гарвардского университета, прославленной коллекцией славистики, находится, в частности, издание “Евгения Онегина” 1837 г., факсимильно воспроизведенное в первом из четырех томов Набоковского перевода и комментария к роману Пушкина.

С. 518 лысый профессор — это, разумеется, профессор Тимофей Павлович Пнин.

Строка 962

С. 520 Конмаль — Некоторые подробности биографии этого земблянского “великого князя” заставляют, кажется, вспомнить известного под псевдонимом К. Р. великого князя Константина Константиновича Романова (1858—1915), муза которого, как сообщает “Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона”, примыкала к “поэзии чистого искусства”. Ему, в частности, принадлежит перевод “Гамлета”. Нелестный отзыв о его поэтическом творчестве содержится в “Аде”.

"Стихи о трех котиколовах" — Это стихотворение Редьярда Киплинга (1865—1953) было впервые опубликовано в сборнике "Семь морей" (1896).

Альтамира — См. в первом томе настоящего издания комм. к главе 12 романа "Под знаком незаконнорожденных" (с. 596).

Строки 998—999

С. 525 Я могу перечислить здесь лишь некоторые из деревьев... — Все эпитеты, относящиеся к этим деревьям, взяты из следующих произведений Шекспира: *гордый дуб Юпитера* — "Буря", 5.1.45; *британский, как грозовая туча* — "Король Лир", 3.2.5; *узловатый средиземноморский; заслон ненастья (липа, line, а ныне — lime); трон феникса (а ныне — финиковая пальма); сосна и кедр"* — "Буря", 1.2.295; 5.1.10; 3.3.23; 5.1.48; *венецианский белый клен* — "Отелло", 4.3.40; *две ивы — зеленая, тоже из Венеции, и седолистая из Дании* — "Отелло" 4.3.41; "Гамлет" 4.7.66—67; *вяз летний ... летняя смоква* — "Сон в летнюю ночь" 4.1.44; 5.1.148; *грустный кипарис шута из Иллирии* — "Двенадцатая ночь" 2.4.52.

Строка 1000

С. 528 "еще прильнув к ненарушимой тени" — из стихотворения Мэтью Арнольда (1822—1888) "Школяр-цыган" (1883) ("Ловя неуловимость на бегу / Лелея неизбывную мечту" в переводе В. Орла).

С. 529 Тессерская площадь — от *лат.* tessera; первоначально так назывались кубические игральные кости, которыми пользовались в Древнем Риме, затем — в Византии — это название получили стеклянные кубики с золотой или серебряной накладкой на одной из граней, из которых набирались мозаики.

С. 531 схолия — от *лат.* scholium — "краткое изложение или замечание на полях классического текста".

УКАЗАТЕЛЬ

Указатель занимает в "Бледном пламени" совершенно исключительное положение, и это не просто своего рода "довесок", призванный способствовать стилизации всего романа под ученое сочинение, но вполне самостоятельный и самоценный элемент набоковского игрового текста. Основные его свойства выявлены

в содержательной статье Д. Бартона Джонсона "The Index of Refraction in Pale Fire // Johnson, Donald B. Worlds in Regression. PP. 60—73. Приведем здесь несколько основных ее тезисов.

1. Указатель не менее странный документ, чем Комментарий. Он почти не привязан к поэме и имеет отношение лишь к тем частям Комментария, где затрагивается земблянская тематика и (в меньшей степени) жизнь Кинбота в Вордсмите. Из 88 рубрик 44 посвящены персоналиям земблянской истории и 21 — земблянской топонимике.

2. В Указателе окончательно отбрасывается посылка, будто Кинбот и король Карл II — разные лица: сведения о них помещены в одну рубрику.

3. Здесь имеются перекрестные ссылки, создающие игровой лабиринт, из которого нет выхода.

4. Ряд персонажей сознательно не включен Набоковым в Указатель, в том числе профессора Х. и Ц., которые вопреки воле Кинбота стали соиздателями поэмы Шейда. Их присутствие здесь принимает лишь косвенные формы; в рубрике "Кинбот" мы обнаруживаем: "его презрение к профессору Х", и в скобках добавлено: "в Указателе отсутствует"; или "вместе с Ш трясемся над лакомыми кусочками из университетской антологии профессора Ц", и опять-таки в скобках: "в Указателе отсутствует".

5. Указатель также позволяет прояснить ряд вопросов. Например, из него четко видно, что Боткин и Кинбот — одно и то же лицо.

С. 535 Аффенпин — от *нем.* Affe (обезьяна) + Pinscher (пинчер) — охотничья собака. Аффенпинчеры — самые маленькие из пинчеров (весом меньше 3,5 кг), обладающие врожденной ненавистью к крысам. По поводу имени Освин см. прим. к строке 286, *Бретвит.*

С. 541 Круммгольц — "Круммгольцем", или "эльфийском лесом" называют угнетенный альпийский лес (от *нем.* Krummholzbaum — альпийская сосна; буквально krumm — "изогнутый, кривой", Holz — "лес").

С. 542 Макаронизм — элемент макаронического стиля, предполагающего пересыпание речи (как правило, шуточное) иностранными словами или словами, исковерканными на иностранный манер; также текст, составленный из элементов разных языков.

Марровский — Имеется в виду Комаровский, граф Евграф Федотович (1769—1848), военный и дипломат.

С. 543 Шамони — горнолыжный курорт в Альпах (Франция), место проведения первых зимних Олимпийских игр (1924).

С. 545 Ян, Йони и Ангелинг — Имена этих строителей потайного хода, по которому Тургус добирался до своей любовницы Ирис Акт, связаны как с разного рода проходами, так и с мужским и женским началами. Янус (женские формы имени — Яна и Диана) — бог входов и проходов в Древнем Риме; по традиции его изображение устанавливалось у двери дома. Библейского пророка Иону поглотил кит. В индуистской космологии yoni — женское начало, олицетворяемое стилизованными изображениями женских гениталий, также своего рода входом; ему противостоит изображение фаллоса, или linga, откуда, возможно, и Ангелинг. Впрочем, "ангелинг" вызывает ассоциацию с ангелом, который, как известно, считается существом бесполым, благодаря чему он и мог угодить в эту троицу. В древнекитайской философии мужское начало именовалось "ян", а женское "инь".

С. 548 ...страна далеко на севере. (A distant northern land) — Цитата из произведения А. Попа "Похищение локона" (1.5.155).

А. Люксембург, С. Ильин

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЫ "TELEVISION 13", 1965 г. [1]

Телеинтервью снималось в Монтре, Швейцария, где Набоковы поселились с осени 1961 г. Опубликовано в сборнике набоковских интервью и статей "Strong Opinions" (1973).

С. 551 Эйджи, Джеймс (1909—1955) — американский писатель и критик.

С. 554 "Неоткрытая страна" — из монолога Гамлета (3.1):

> Кто б стал под грузом жизни
> кряхтеть, потеть, — но страх, внушенный чем-то
> за смертью — неоткрытою страной,
> из чьих пределов путник ни один

[1] Комментарии к интервью подготовлены редактором.

не возвращался, — он смущает волю
и заставляет нас земные муки
предпочитать другим, безвестным.
(Перевод В. Набокова)

Казандзакис, Никос (1883—1957) — греческий писатель, с 1947 г. живший во Франции и ФРГ.

С. 555 ...перевел на английский две свои русские книги... — "Отчаяние" (1937) и "Камера обскура", получившую в авторском английском переводе название "Смех в темноте" (1938).

ИНТЕРВЬЮ В ЖУРНАЛЕ "PLAYBOY", 1964 г.

Интервью дано В.Набоковым сотруднику журнала "Playboy" Элвину Тоффлеру в Монтре в середине марта 1963 г. Опубликовано в январском номере журнала за 1964 г. Впоследствии включено в сборник "Strong Opinions" с дополнением краткой авторской преамбулы, которая завершается латинской фразой "Egreto perambis doribus!", до сих пор не получившей вразумительного истолкования.

Перевод интервью (в иной редакции) публиковался ранее в книге "Набоков. Pro et Contra". Изд-во РХГИ. СПб, 1997.

С. 564 "...нет ничего на свете вдохновительнее американской мещанской вульгарности". — Слово "американской" в этой фразе послесловия к "Лолите" отсутствует.

С. 582 Мочульский, Константин Васильевич (1892—1948) — литературовед. В эмиграции печатался в журналах "Русская мысль", "Современные записки". Автор книг о Достоевском, Вл. Соловьеве, Гоголе, символистах.

Иванов, Георгий Владимирович (1894—1958) — поэт-акмеист, литературный критик. В эмиграции в Париже принадлежал к враждебному Набокову кругу Г. Адамовича и журналу "Числа". Автор крайне отрицательных статей о Набокове.

Одоевцева, Ирина Владимировна (1901—1990) — поэтесса, ученица Н. Гумилева, участница акмеистского "Цеха поэтов". В 1923 г. эмигрировала вместе с мужем Г. Ивановым, в 1987-м вернулась в С.-Петербург. Автор воспоминаний "На берегах Невы" и "На берегах Сены". Набоков написал крайне отрица-

тельный отзыв на ее роман "Изольда" в берлинской газете "Руль" (30 октября 1929 г.): "Знаменитый надлом нашей эпохи. Знаменитые дансинги, коктейли, косметика. Прибавить к этому знаменитый эмигрантский надрыв, и фон готов... Все это написано, как говорится, "сухо", что почему-то считается большим достоинством. И "короткими фразами" — тоже, говорят, достоинство... Да, я еще забыл сказать, что Лиза учится в парижском лицее, где у нее есть подруга Жаклин, которая наивно рассказывает о лунных ночах и лесбийских ласках. Этот легкий налет стилизованного любострастия... и некоторая "мистика" (сны об ангелах и пр.) усугубляют общее неприятное впечатление от книги".

С. 587 Роб-Грийе, Ален (р. 1922) — французский писатель, называемый обычно основоположником антиромана.

ИНТЕРВЬЮ АЛЬФРЕДУ АППЕЛЮ, сентябрь 1966 г.

Беседам В. Набокова с А. Аппелем, происходившим 25, 27, 28 и 29 сентября 1966 г. в Монтре, позже был придан формальный вид вопросов-ответов. Опубликовано в виде интервью в "Висконсинских чтениях по современной литературе" (*Wisconsin Studies in Contemporary Literature,* vol. III, № 2) весной 1967 г.

Альфред Аппель был студентом Набокова в Корнельском университете (в 1954 г.), чем объясняются ссылки на "Литературный-312" — учебный курс, посвященный "Шедеврам мировой литературы" (Джейн Остин, Гоголь, Диккенс, Флобер, Толстой, Стивенсон, Кафка, Джойс и Пруст). Впоследствии А. Аппель — автор многих исследований творчества Набокова, один из наиболее авторитетных набоковедов.

Интервью было включено также в сборник "Strong Opinions". На русском языке ранее публиковалось в переводе М. Мейлаха в издании: *Набоков В.* Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе. Рецензии. Интервью. (Серия "Литературное наследие"). М.: Книга, 1989.

С. 591 ...поворот эпитета, винт... — отсылка к повести американского писателя Генри Джеймса (1843—1916) "Поворот винта".

С. 592 ...переработанная четырнадцатая глава в "Память, говори"... — на момент интервью "Память, говори" еще не вышла из печати.

С. 597 Витгенштейн, Людвиг (1889—1951) — австрийский философ и логик, занимавшийся проблемами теории языка. В 1912—1920 гг. работал в Кембридже.

...перекличка со словами Стивена Дедала из "Портрета художника в юности"... — цитата приводится в переводе М. Богословской-Бобровой (глава 5).

С. 598 Пьер Делаланд — французский философ (1768—1849), целиком и полностью выдуманный Набоковым. Эпиграфом из него открывается "Приглашение на казнь". Его философия обсуждается также в последней главе "Дара".

С. 601 ..."lane" — последнее слово в поэме Шейда. — Две последние строки поэмы: "Some neighbor's gardener, I guess — goes by / Trundling an empty barrow up the lane" — "Кажется, садовник кого-то из соседей проходит мимо / Катя по проулку пустую тачку".

С. 604 ...пушкинская пародия на Державина в "Exegi monumentum". — Имеется в виду "Я памятник себе воздвиг...". Набоков называет стихотворение по его эпиграфу.

Пинчон, Томас (р. 1937); *Барт,* Джон (р.1930) — американские писатели младшего (по отношению к Набокову) поколения, чьи творческие методы формировались не без влияния Набокова.

С. 606 ...термодинамику Сноу... лоренсоманию Ливиса... — Английский физик и романист Чарлз Перси Сноу (1905—1980) опубликовал в конце пятидесятых — начале шестидесятых несколько статей, в которых сетовал на разделение культуры на техническую и гуманитарную. Возникла дискуссия, в которой основным оппонентом Сноу выступил критик и литературовед Ф. Р. Ливис (1895—1978), бывший среди прочего автором книги о творчестве Д. Г. Лоренса.

С. 610 Дамьен, Робер-Франсуа (1715—1757) — фанатик, покушавшийся на Людовика XV и подвергнутый мучительной казни, продолжавшейся несколько часов.

Единственная цель и оправдание перевода... — Сам Набоков едва ли руководствовался этими принципами в других своих переводах, кроме "Евгения Онегина" и "Слова о полку Игореве". См. статью о Набокове-переводчике в пятом томе.

...или... вас подвела память... — В опубликованном печатном тексте интервью телевидению Би-би-си эти высказывания отсутствуют, но не исключено, что они были в телепередаче. Перевод

“Камеры обскуры” — “Laughter in the Dark” был выпущен в мае 1938 г. издательством New Directions. Второе издание — ноябрь 1938 г. в том же издательстве.

С. 611 “Herzog” — Имеется в виду роман “Герцог” (1964) американского писателя Сола Беллоу (р. 1915).

С. 613 ...в школе Св. Марка... — ошибка либо шутка Набокова. Виктор Винд из романа “Пнин” учился в школе Св. Варфоломея. В школе Св. Марка учился Дмитрий, сын Владимира Набокова.

С. 614 Марсель, Габриель (1889—1973) — французский религиозный философ, критик, писатель.

С. 616 Илья Сельвинский — Сельвинский Карл Львович (1899—1968), советский поэт, начинал как экспериментатор поэтической формы.

С. 618 ...русский, 1954 года, вариант книги “Память, говори”... — “Другие берега”.

СОДЕРЖАНИЕ

Набоков В. В.

Н 14 Собрание сочинений в 5 томах: Пер. с англ. / Сост. С. Ильина, А. Кононова. Комментарии А. Люксембурга, С. Ильина. — СПб.: «Симпозиум», 2004. — 702 стр. (Т. 3).

ISBN 5-89091-014-0
ISBN 5-89091-023-Х (т.3)

Собрание сочинений англоязычной художественной прозы Владимира Набокова (1899—1977) предпринимается в России впервые.

В настоящий том вошли романы «Пнин» (1957) и «Бледное пламя» (1962), действие которых происходит в американской академической среде, и все девять написанных по-английски рассказов. Впервые публикуются несколько интервью с писателем. Произведения сопровождаются подробными комментариями.

Владимир Набоков
Американский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том III

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Ответственный редактор *М. В. Горшков*
Художник *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректоры *Е. Д. Дмитриева*
Е. Э. Байер, Л. В. Томутова

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190000, Санкт-Петербург, ул. М. Морская, 18.
Тел./факс +7 (812) 314-46-13, тел. 595-44-22
e-mail: symposium@online.ru

Подписано в печать 25.10.04. Формат 84×108/32.
Гарнитура «Ньютон». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,96.
Тираж 3000 экз. Заказ № 896.

Отпечатано с готовых фотоформ
в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



Брайан
БОЙД

Владимир Набоков — русские годы
Владимир Набоков — американские годы

Энциклопедическая биография
в 2-х томах

Впервые на русском языке выходит обстоятельнейшая, монументальная, единственная в своем роде энциклопедическая биография Владимира Набокова, написанная Брайаном Бойдом, профессором Оклендского и Принстонского университетов. Публикация монографий Бойда не только вывела из научного обращения аналогичные опыты его предшественников, но и «закрыла» вопрос о новой биографии Набокова. Фундаментальные труды профессора Бойда получили высочайшие оценки исследователей и поклонников творчества В. Набокова за подробность и лаконичную точность изложения, универсальный справочный аппарат и примечания, тщательно подобранный комплект фотоматериалов.

Издание подготовлено совместно с издательством «Независимая Газета».

Авторизованный перевод с английского.

Формат 70x100$^{1}/_{16}$

Вышли в свет.

Том I. Объем — 704 стр. + вклейка

Том II. Объем — 926 стр. + вклейка

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»



Теперь за Красотой следить хочу,
Как не следил никто. Теперь вскричу,
Как не кричал никто. Возьмусь за то,
С чем сладить и не пробовал никто.
И к слову, я понять не в состоянье,
Как родились два способа писанья
В машинке этой чудной: способ А,
Когда трудится только голова, –
Слова плывут, поэт их судит строго
И в третий раз всё ту же мылит ногу;
И способ Б: бумага, кабинет,
И чинно водит пёрышком поэт.

С сожалением должен сказать, что не довольствуясь этими изящными выдумками, Цинтия выказывала смешную привязанность к спиритизму. Я отказывался сопровождать её на посиделки с участием платных медиумов: я слишком много знал о них из других источников. Я согласился, впрочем, присутствовать на маленьких фарсах, на скорую руку разыгрываемых Цинтией и двумя ее друзьями. Мы усаживались за легкий столик, и едва успевали уложить на него кончики пальцев, как он принимался трястись и потрескивать. Я имел удовольствие общаться с самыми разными духами, которые с величайшей готовностью отстукивали свои сообщения, хоть и отказываясь прояснить то, что мне не удавалось вполне разобрать.

ISBN 5-89091-023-x

